М·А·Алданов

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

М·А·Алданов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

ТОМ 4

Москва
Издательство «Правда»
1991

84 Р 1
45 А

Составление и общая редакция
А. А. Чернышева

Иллюстрации художника
Б. Н. Федюшкина

А $\frac{4702010201-2469}{080(02)-91}$ 2469-91
5-253-00484-X

Пещера

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

— Ah, jamais vous ne faites pas comme je veux!..[1]

Баронесса Стериан сердилась. Метрдотель был опытный, представительный, честный (продукты, правда, ворует, зато денег не трогает), и звали его Альбером,— после Батиста самое лучшее имя для метрдотеля. Но он все старался делать по-своему, просто надо следить за каждым шагом. Стол, впрочем, был недурен. Еды было необычайно много для маленького приема в Париже,— это и приводило в растерянность метрдотеля. Леони хотела поручить буфет модной кондитерской,— так она постоянно делала прежде: посчитают, при нынешней дороговизне, франков по 25 с человека (баронесса в сердитые минуты говорила про себя: «с морды»), зато никаких хлопот. Однако решено было устроить буфет собственными силами: и чище, и дешевле, и более distingué[2]. Да и не стоит платить метрдотелю жалованье, если поручать приемы кондитерской. При Леони было одно, а теперь другое. Икры не было — что ж делать, если Россия отрезана, да и там нет никакой икры; нигде больше нет икры, «и не будет»,— говорят мрачные люди. Но были бутерброды с цыпленком и новые, английские сандвичи, сделанные из четырех разных сортов хлеба и сыра, складывавшихся пластами в кубик и снова разрезавшихся сверху вниз; мужчинам лишь бы жрать, но дамы-хозяйки заметят. Баронесса только вздохнула, глядя на буфет с чувством мухи, сидящей на сетке, которой прикрыты пирожные. Ей, как всегда, очень хотелось есть. Режим разрешал ей по вечерам апельсин, чашку чая без сахару, да еще небольшой сухарь,— «но лучше бы и без сухаря»,— говорил доктор. «А вот возьму и съем большой бутерброд»,— решила баронесса.

Отдав распоряжения метрдотелю, она подошла к двери гостиной, стала так, что из игравших в бридж людей ее могла видеть только Леони, и попробовала силу своего

---

[1] Ах, вечно вы делаете не так, как я хочу!.. (*франц.*)

[2] Изысканно (*франц.*).

взгляда. Удалось: Леони оторвалась от карт и, по-прежнему улыбаясь, медленно кивнула головой, чуть заметно подняв брови. Это приблизительно означало: «Помню, помню, но еще нельзя, что ж делать!..» Разливать чай было рано. «У них, кажется, тогда и партии еще не было... До роббера не меньше, как пять — десять минут,— подумала баронесса.— Разве к Мишелю зайти? Что он все зубрит...»

Мишель готовился к экзамену в Ecole des Sciences politiques [1]. Однако баронесса застала его не за книгами. Он занимался боксом. Без пиджака, жилета и подтяжек, в толстых рукавицах, наклонив голову, упруго покачиваясь на странно расставленных ногах, он изо всей силы бил по большому черному мячу,— мяч так и носился в разные стороны на длинном металлическом стержне. «Господи! Сумасшедший!..» Баронесса, жмурясь, с ужасом представила себе, что в мяч на таком ударе можно невзначай попасть и ногтем,— «а у него такие хорошие, умные ногти! Вдруг расколется, ай!..» Она придавала у мужчин большое значение ногтям и как-то по-своему их классифицировала.

— Вот как вы готовитесь к экзаменам, тореадор?

— Mille pardons, grand'maman [2].

Он потянулся было к пиджаку, аккуратно повешенному на спинку стула, но решил, что можно остаться и без пиджака.

— Бабушка, нельзя входить, не стучась,— сказал он.— В России, верно, было можно, а в Париже нельзя.

— Дерзкий мальчишка, я постучала... Да ведь вы ничего не слышите, когда занимаетесь этой идиотской гимнастикой...

Мишель, ласково улыбаясь, попробовал взять ее за руку.

— Как вы великолепны! Позвольте поцеловать ручку.

— Сначала снимите эту гадость, ваши рукавицы.

— Oui, grand'maman [3].

Это обращение было, разумеется, милой шуткой, как и ее строгий начальственный тон. Баронесса по возрасту так не годилась в бабушки, что милая шутка не могла ее задеть. Однако она предпочла бы, чтобы он называл ее иначе. Родство между ними было очень отдаленное: неизвестно где находившийся муж баронессы чем-то приходился давно умершему отцу молодого человека.

— Ну, вот... Позвольте поцеловать... Ваше платье верх совершенства.

---

[1] Институт политических наук *(франц.)*.
[2] Тысяча извинений, бабушка *(франц.)*.
[3] Да, бабушка *(франц.)*.

— Очень рада, что вы одобряете.

Ей нравились почти все молодые люди. Но этот нравился ей особенно. «И некрасивый ведь, совсем некрасивый, а молодец... Очень *развитой*»,— выдала ему русский диплом баронесса. Мишель в самом деле много читал, но не «запоем», как русские студенты, а всегда одинаково, в определенные часы, за письменным столом, на котором в совершенном порядке были расставлены чернильница, стойка с перьями, пресс-папье, пепельница. Больше на его столе ничего не было. Неуютный вид имела и вся комната, с мячом для бокса, с гирями в углу, с двумя перекрещенными рапирами на стене. Он усердно занимался гимнастикой. Это тоже нравилось баронессе, хоть она называла его сумасшедшим. Нравилось ей и то, что он хорошо и неохотно играл в шахматы, в бридж, в покер, что он с недоброй усмешкой слушал речи старших, а в разговор вмешивался редко; но когда вмешивался, то отстаивал свой взгляд твердо, самоуверенно и злобно.

— А вы когда будете готовы? Сейчас подадут чай.

— Oui, grand'maman,— сказал Мишель с той же улыбкой. Эта раз навсегда принятая улыбка относилась и к ее смешному французскому языку, и к ее салону, и ко всему тому, что могла делать, думать и говорить баронесса Стериан. Впрочем, он почти ко всем знакомым, особенно к старшим, относился с беспредметной воинственной насмешливостью молодого человека, которого никак не проведешь.

— Кто у вас сегодня? — спросил Мишель, садясь перед зеркалом, стоявшим на низком комоде. Он неторопливо снял мягкий воротничок, бросил его в нижний ящик комода, достал из верхнего ящика твердый воротник и надел, ловко защелкнув запонку,— отчетливое тугое движенье пуговки доставило ему удовольствие. Ящик вдвинулся в комод ровно, не сбиваясь на бок у стенок, точно был смазан маслом. Баронесса однако успела заглянуть,— там тоже все было разложено в необыкновенном порядке. «Вот, с нашими, с Витей, например, его сравнить! Нет, никто как парижане... Жаль, что он не француз!.. И жаль все-таки, что некрасивый...»

— Во-первых, не «у вас», а «у нас».

— Я тут ни при чем. А во-вторых?

— А во-вторых, очень почтенные люди. Депутат Доминик Серизье...

— Вот кого я с удовольствием повесил бы!

— Перестаньте говорить глупости, тореадор... Затем мистер Блэквуд, тот самый, миллиардер... Его не повесили бы?

— У вас все американцы миллиардеры. У Блэквуда миллионов двадцать пять — тридцать. Разумеется, долларов.

— Говорят, гораздо больше. Но и это тоже недурно.

— Очень недурно. А идея его глупая.

— Какая идея?

— Производственный банк... Кто еще?

— Остальные русские. Нещеретов, затем один журналист... Ради Бога, простите, но он еврей.

— Муся будет?

— Она для вас не Муся, а госпожа Клервилль... Обещала приехать из театра с вашей сестрой. Какой у вас замечательный галстух!

— Восемь франков.

— Это много, восемь франков? — спросила баронесса, мысленно переводя на русские деньги. «Как считать? В Одессе платили по рублю за франк. Восемь рублей галстух... Однако!..» Она знала, что у Мишеля мало денег; у него было всего три костюма и ни одного нового; недавно он сам за столом говорил об этом в том шутливо-раздраженном тоне, в каком почти всегда говорил с матерью. Но на его костюмах никогда не было ни пятнышка, ни соринки, складка на брюках была туго приглажена, и всем, кроме очень осведомленных людей и портных, казалось, что он прекрасно одет, по самой последней моде.— Вы, как всегда, tirê en quatre épingles [1].

— A quatre épingles.

— Отстаньте!

— Вы сами просили, чтобы я вас поправлял... Галстук я купил на распродаже в Латинском квартале. В хорошем магазине он стоил бы вдвое. Как я могу хорошо одеваться, если maman дает мне двести франков в месяц?.. Она ведь почему-то считает, что все наши деньги принадлежат ей.

— Как вам не стыдно! — лениво попрекнула его баронесса. «А ведь в самом деле состояние, верно, детей, а не Леони,— подумала она, и у нее шевельнулась тревожная мысль о салоне.— Вдруг они потребуют денег?.. Скорее, та девчонка... Мишель не потребует, он не жадный...»

— Отчего стыдно? — с усмешкой переспросил Мишель. Баронесса немного смутилась: ей показалось, что он угадал ее беспокойство.— Я отлично знаю, что maman бережет деньги для нас. Но и она должна знать, что я не мот, не игрок, не развратник («правда»,— не без сожаления подумала баронесса). Пока мне не нужно... Не очень нужно,— поправился он.— А через два года понадобится, тогда я возьму свою долю.

[1] Одеты с иголочки *(франц.)*.

«...Ишь ты, «возьму»... у Леони зубами не выгрызешь,— усомнилась мысленно баронесса.— Ну, через два года будет видно...»

— Зачем вам деньги? Живете ведь... Отлично живете.

— Я пока ничего и не требую. Но потом... В политике, Hélène, прежде всего нужна денежная независимость... Тогда я не буду считаться с удобствами maman,— ответил он, слегка разгорячившись.— Тогда я с ней поговорю.

«Политика!.. Какая у них в Румынии может быть политика?» — подумала благодушно баронесса, довольная тем, что он назвал ее по имени, вместо этого глупого grand' maman.— «И книжки у него все политические, и вот, портреты...» В комнате молодого человека, против большого книжного шкафа, висели рядом Клемансо и какой-то румын, фамилию которого баронесса так и не могла запомнить,— знала только, что это очень правый румын. На другой стене висел портрет Карпантье. «В комоде порядок, а в голове, верно, каша... Все теперь левые, а он правый...»

— Поменьше болтайте, тореадор,— наставительно сказала она. Она почему-то так прозвала Мишеля.— Ну, я пойду... Как услышите шум в столовой, приходите чай пить. Удостойте нас посещением, приходите, а то невежливо, и с Блэквудом не познакомитесь...

— Oui, grand'maman — опять прежним нагло-почтительным тоном сказал Мишель. Он пожалел, что чуть только не заговорил серьезно с этой тупой и ограниченной, хоть хитрой, женщиной. В передней раздался звонок. «Кто бы это? Ведь у Жюльетт ключ»,— спросила себя баронесса, поспешно направляясь к передней. Неожиданные звонки бывали ей неприятны,— то ли это осталось от большевистского времени в России, то ли у нее всегда было беспричинно-тревожное чувство: вдруг скандал, полиция, мало ли что может быть? Перед зеркалом поправляла волосы Муся Клервилль в бархатном, отделанном горностаем манто. «Та модель Madeleine et Madeleine, bleu de roy [1], тысяча девятьсот,— оценила баронесса.— Нет, мех у нее был свой, тогда дешевле...»

— Здравствуйте, Елена Федоровна,— по-русски сказала Муся.— Это я позвонила, я не сообразила, что у Жюльетт ключ.

— Здравствуйте, моя прелесть... Какое чудесное манто! Не поцелуешь вас, боюсь помять...

Они в России были едва знакомы и понаслышке, как иногда бывает, терпеть не могли друг друга. Но, оказавшись

---

[1] Мадлен и Мадлен, королевский синий (франц.).

в Париже, неожиданно сошлись, очень часто встречались и в последнее время стали даже целоваться при встрече.

— Bonsoir, Juliette [1].

— Bonsoir, madame [2],— холодно ответила сестра Мишеля. Она не отдала метрдотелю пальто, которое тот хотел взять, и сама бережно положила на стул. Альбер вышел в столовую.

— Как же вы так рано? Ведь вы из «Vaudeville»? Что давали? — спросила по-французски баронесса.

— «Пастер». Скучная пьеса, но очень хорош Гитри, я его обожаю,— сказала Муся, не отворачиваясь от зеркала. По-французски певучие интонации у нее сказывались сильнее.— Нет лучше актера в мире!.. Какой странный этот ваш метрдотель... Ужасно похож на сыщика в фильмах...

— На кого? На сыщика? — спросила с некоторым беспокойством баронесса.

— Знаете, когда на улице сыщик подходит к возмущенному джентльмену и показывает свой жетон. Надпись: «благоволите немедленно следовать за мной»... А публика всегда очень довольна, даже если джентльмен честнейший человек... Так вот, у этих сыщиков такой же достойный, хмурый вид, как у вашего Альбера.— Муся весело засмеялась.— Кто у вас? Я так войду, можно?

— Немножко жарко будет, у нас единственный дом, где теперь хорошо топят,— ответила баронесса невозмутимо. Она отлично знала, что Муся войдет в гостиную в манто, а потом, минут через пять, скажет: «Ну, я у вас согрелась», и отошлет манто в переднюю. «И платье, кажется, новое... Денег куры не клюют...» Баронесса чувствовала себя разбитой наголову: на ней тоже было хорошее платье, но она его уже два раза надевала, и один раз это платье было на ней при Мусе.— У нас кто? — рассеянно переспросила она.— Сейчас кончают роббер, пойдем чай пить... Сегодня почти никого... Депутат Серизье, Нещеретов, дон Педро... Да еще мистер Блэквуд, богач этот,— небрежно добавила она,— вы, может быть, слышали?

— О! О! Жюльетт, что ж вы мне не сказали?

Жюльетт вдруг пригнула голову к груди и беззвучно захохотала. У нее была такая манера — заразительно-радостно хохотать, поднимая плечи и низко пригибая голову. Муся оглянулась на нее и тоже засмеялась с легкой завистью. «Собственно ничего нет красивого в этой манере, а забавно... Мне так уже нельзя смеяться... У нее по-старушечьи выходит смешно. Счастливица, девятнадцать лет...»

---

[1] Добрый вечер, Жюльетта *(франц.)*.
[2] Добрый вечер, сударыня *(франц.)*.

— Чему вы радуетесь?

— Нет, нет, я так...

— Elle est folle, cette petite [1].

Муся отвернулась от зеркала и, в полном вооружении, в манто bleu de roy, в еще скрытом платье и драгоценностях, пошла в атаку на гостиную. Баронесса задержалась в передней и неодобрительно поглядела на Жюльетт. Та перестала смеяться.

— Вы не идете в гостиную, Жюльетт?

— Да, сейчас. Сначала зайду к себе.

Она вышла из передней. «Тоже для Серизье прихорашивается»,— подумала с досадой баронесса. Сестра Мишеля очень ей не нравилась. В отличие от брата, она была недурна собой («Так себе, à peine [2] хорошенькая»,— говорила баронесса), да и ни в чем другом на брата не походила; у них и привязанности не было никакой друг к другу, только большая привычка. «Вот разве что оба такие аккуратные. Немецкая кровь сказывается»,— пренебрежительно подумала Елена Федоровна. Мадам Леони, мать Мишеля и Жюльетт, была по рождению немка, но об этом теперь в ее кругу никогда не вспоминали,— вроде того, как у союзников было не принято вспоминать о немецком происхождении бельгийской королевы.

II

— ...То, что вы говорите, интересно,— сказал мистер Блэквуд, обращаясь к дон Педро.— Я отношусь к кинематографу, как к деньгам: не люблю, но понимаю значение...

Все засмеялись, одни слабо, другие громко, как Альфред Исаевич. «Очень, однако, действует вид миллиардера, даже на независимых людей,— подумала Муся,— ничего не было ни умного, ни смешного в том, что он сказал...» Ей, впрочем, скорее нравился *мистер* Блэквуд (его и за глаза называли обычно мистер Блэквуд). «Совсем не такой, как полагается: американский миллиардер должен быть *высокий, сухощавый и флегматичный*, а он и не высокий, и не худощавый, и не флегматичный... Ему полагалось бы *кратко ронять слова*, а он болтает, как птичка поет... И, кажется, очень рад, что его слушают... Но отчего бы ему не сесть? Что ж так стоять у камина, нам всем неуютно. Вот и Серизье из-за него стоит, и дон Педро... Нещеретов, разумеется, развалился в лучшем кресле. И тот мальчиш-

---

[1] Она сумасшедшая, эта малышка *(франц.)*.
[2] Едва *(франц.)*.

ка, Мишель, тоже... Что если сказать этому миллиардеру: «Сядьте, мистер Блэквуд, вы нам всем надоели, помолчите!.. Или скажите, можете ли вы еще любить женщин?..» А этот бородатый социалист на меня «ноль внимания», как говорил Витя... Бедный Витя!.. Не забыть пятнадцатого послать ему чек».

— Кинематограф, как деньги, может служить и добру, и злу,— продолжал Блэквуд.— Все дело именно в этом: чему он будет служить?

— Et qu'est ce que je dis? C'est ce que je dis [1],— радостно подхватил дон Педро.

Разговор шел то по-английски, то по-французски. Большинство гостей понимало оба языка. Переводчицей изредка, когда нужно было, служила Муся или Жюльетт. Альфред Исаевич, оказавшись за границей, принялся изучать иностранные языки с железной энергией,— «немного подучился»,— скромно говорил он. Дон Педро еще при гетмане получил от сионистской организации командировку в Соединенные Штаты, пробыл четыре месяца в Нью-Йорке и вернулся в Европу восхищенный американской жизнью,— хоть почему-то считал нужным говорить: «а души, души, знаете, там все-таки нет, души... То, да не то...» Командировка его кончилась, и он искал занятий.

Альфред Исаевич развил свой план большого идейного кинематографического дела, которое должно служить примирению и братству народов. Понять его было нелегко; однако почетные гости, Блэквуд и Серизье, слушали со вниманием.

— ...Но для этого нужны деньги, большие деньги,— закончил дон Педро, испуганно взглянув на американца.— По моим подсчетам, не меньше двух миллионов франков.

Он, по-видимому, ожидал восклицаний ужаса. Американец только улыбнулся: здесь два миллиона франков считались большой суммой. Мистеру Блэквуду многое было смешно и непонятно в Европе,— как даме, прокалывающей для серег уши, смешна и непонятна негритянка, прокалывающая для серег нос. Он прекрасно понимал, что этот человек подбирается — довольно наивно — к его деньгам. Вероятно, к ним подбирались и другие: хозяева, гости, французский депутат, с которым он сыграл три роббера в бридж. Это нисколько не удивляло и не сердило мистера Блэквуда: того же хотели почти все знакомые с ним люди и очень многие незнакомые. Его, напротив, удивило бы, если б оказалось, что кому-нибудь он ни для чего не нужен. Это

---

[1] А что я говорю? Именно это я и говорю (франц.).

даже, вероятно, огорчило бы мистера Блэквуда: он свыкся со своей ролью общего благодетеля.

— Я таких астрономических цифр не запоминаю,— произнес он с улыбкой и прикоснулся к рукаву Альфреда Исаевича.— Представьте мне записку об этом деле. Я хочу знать, что вы мне предлагаете.

— С большим удовольствием! — сказал, просияв, дон Педро. Собственно он пока еще ничего не предлагал богачу, а говорил так, вообще, о пользе идейного кинематографа. Но приятно было иметь дело с человеком, понимающим все с полуслова. «Вот это и есть Америка!» — восхищенно подумал Альфред Исаевич. Нещеретов хмуро на него посмотрел. Елена Федоровна быстро оглянулась на Леони. Хозяйка дома, высокая, величественного вида дама, не отвечая на ее взгляд, тотчас обратилась к Нещеретову, налила ему коньяку, мягким движением вколола в волосы дочери выскользнувшую шпильку, затем заговорила с Мусей о театре. Она очень хорошо знала хозяйское ремесло. «С виду, grande dame [1] настоящая,— подумала Муся.— И с детьми она хорошо себя поставила, очень любит и держит в руках...»

— ...Напишите для начала кратко. Лучше по-английски, но можно и по-французски. Изложите, что вы хотите сделать и какая от этого будет польза.

— С величайшим удовольствием!

— Польза кому? — спросил, чуть улыбаясь, Серизье.

— Человечеству.

Улыбка на лице депутата-социалиста обозначилась яснее. Она могла означать разное, от «Ну что ж, дело хорошее» до «Знаем мы вашего брата...»

— Человечеству? — неопределенно протянул он. Нещеретов засмеялся. Дон Педро с беспокойством на него взглянул: еще испортит намечающееся дело.

— Я думаю, что в самом деле,— начал он. Но Блэквуд его перебил.

— Вы, кажется, социалист? — спросил он депутата.

— Да, социалист,— кратко ответил Серизье. Его раздражило слово «кажется»: он был достаточно известен. Однако чувство справедливости ответило в нем честолюбию, что и сам он совершенно не знает, даже понаслышке, американских политических деятелей, кроме Вильсона, Лансинга и полковника Гауза.

— Господин Серизье социалист-миллионер,— сказал Нещеретов.— Этого я не понимаю.

---

[1] Знатная дама (*франц.*).

— Что ж тут непонятного? — сухо спросил Серизье.— Если б даже ваши сведения о моем богатстве были верны...

— Как что? То, что господа социалисты так плохо соблюдают свои собственные принципы.

— Вы, кажется, христианин? Отчего же вы не следуете своим принципам? Если не ошибаюсь, в Евангелии говорится очень определенно о богатых людях, о раздаче имущества бедным. Не правда ли?

— Это совсем другое...

— Дело не в личной жизни социалистов,— сказал американец, перебивая Нещеретова.— Дело в том, что их учение неосуществимо.

— Отчего же?

Завязался спор. Мистер Блэквуд отдавал должное критической части социализма и признавал в ней много правильного, но не верил в социалистический идеал. Американец спорил с увлечением. Он любил говорить с учеными людьми, а теперь его особенно занимало, что он вел теоретический спор с социалистом, да еще с известным,— это в Америке случалось с ним не часто. Серизье отвечал с любезностью светского человека, мягко, снисходительно и чуть иронически равнодушно, как спорит с главой оппозиции министр-президент, совершенно уверенный в своем большинстве. Жюльетт влюбленными глазами следила за ним, глотая каждое его слово. Нещеретов отпивал чай из чашки и иногда вставлял с усмешкой грубовато-иронические замечания.

Муся слушала не слишком внимательно. Ей казалось, что точно такие же споры она не раз слышала в Петербурге. Так и Семен Исидорович доказывал молодым адвокатам неосуществимость социалистических идей, признавая в них многое справедливым. «Неужели везде одно и то же: в Петербурге, в Париже, в Нью-Йорке? Право, у нас в доме разговор был не глупее. А ведь, говорят, этот Серизье блестящий causeur...[1] Отчего все causeur'ы, которых я слышала, на самом деле совсем не так блестящи, как о них отзываются? Может, он для нас не старается... У него интересное лицо, зачем только он носит бороду? Рот и глаза очень красивые... Смешно, что один говорит по-английски, а другой отвечает по-французски. Но ничего: понимают друг друга. Какая у него прекрасная французская речь... Вот, я умру, а так не скажу «tergiversations»[2] с этим *r* и с этим *a*... Я, впрочем, и вообще не скажу tergiversations, я таких слов не могу себе позволить...»

---

[1] Острослов (*франц.*).
[2] Увертки, уловки (*франц.*).

Альфред Исаевич вполголоса говорил с Еленой Федоровной. Лицо у него было радостно-возбужденное. Леони подозрительно на них поглядывала: они шептались по-русски. «Что-то они такое здесь сегодня смастерили»,— подумала Муся. Она знала, что в салоне сводили друг с другом людей, которым нужно было познакомиться для разных дел. Если из знакомства потом выходил толк, то хозяйка салона получала соответственное вознаграждение. Вначале это показалось Мусе странным и грязным делом, чем-то вроде дома свиданий. Но потом ей объяснили, что тут нет решительно ничего дурного: та же в сущности комиссионная контора, только дела устраиваются на вечерах, за чашкой чая, за партией бриджа,— это иногда бывает удобнее, и таких салонов немало. Муся возражать не могла: в самом деле, как будто ничего дурного. Салон до войны процветал, потом захирел: у Леони Георгеску не хватило денег, она приняла в дело баронессу.

Елена Федоровна Фишер вышла в Одессе замуж за барона Стериана и таким образом породнилась с семьей Георгеску. Приехав в Париж, она поселилась у них, близко с ними сошлась, потом вступила в предприятие, внесла некоторые связи и деньги,— «отпускные, нещеретовские»,— думала с гримасой Муся. Нещеретов, оставшийся в лучших отношениях с Еленой Федоровной, был своим человеком в доме и уже провел через салон какое-то дело, на котором обе хозяйки недурно заработали. Муся догадывалась, что теперь они надеялись на американского богача. «Как однако они его заполучили? Кто платит? Дон Педро, что ли? Да ведь он гол, как сокол. Разве когда устроится это его кинематографическое общество?..»

— ...Я все-таки не совсем понимаю идею вашего производственного банка,— говорил Серизье,— пожалуйста, изложите подробнее.

— Это очень просто,— ответил с полной готовностью американец.— В кратких чертах дело сводится к следующему. Обе экономические системы, о которых мы говорим, имеют каждая свои достоинства и свои недостатки. Главный недостаток капиталистической системы в отсутствии общего плана, в беспорядке производства, в недостаточно рациональной его постановке с точки зрения государственного целого. Главный недостаток социалистической системы в том, что она уничтожает основной стимул человеческой деятельности: личную выгоду и личную инициативу.

— Вовсе нет...

— Как нет? Это установлено наукой,— мягко сказал Блэквуд, прикоснувшись к руке Серизье. Он особенно чтил

науку, будучи самоучкой; так генеалогией занимаются с восторгом люди самого незнатного происхождения.— Это научный факт,— с видимым удовольствием повторил он и продолжал, не давая ответить.— Да и в самом деле, для чего человек будет работать, если он не может стать ни беднее, ни богаче? Главное желание всех людей: стать богаче. Главный страх: стать беднее...

— Громадному большинству людей, к сожалению, бояться нечего: у них ничего нет.

— Моя система это устранит,— радостно ответил американец.— Итак, капитализм порождает энергию, но не имеет плана. Социализм имеет план, но убивает энергию. Моя же идея объединяет хорошие стороны обеих систем и отбрасывает плохие.

— Это интересно. Как же так?

— Очень просто. В Нью-Йорке создается акционерный банк с капиталом в миллиард долларов...

— Oh, là-là!..

— Я говорю примерно: миллиард долларов. Из них пятьсот один миллион вносится государством, а четыреста девяносто девять распределяются по подписке между акционерами. Таким образом государство обеспечивает себе верховное руководство банком, но не как власть, а как обыкновенное юридическое лицо. В правление входят лучшие финансисты и промышленники страны... На десять членов правления можно взять и двух-трех профессоров,— осклабившись, добавил он. Мистер Блэквуд, видимо, меньше уважал профессоров, чем науку.— Однако правление имеет только совещательный голос, решения принимает единолично председатель. Голов может быть много, воля должна быть одна.

— Это так. Диктатура,— сказал Нещеретов. Жюльетт взглянула на него с ненавистью.

— Да, я здесь признаю диктатуру, но при условии, что председателем правления будет человек со светлым и ясным умом, твердый, неподкупленный, безупречный...

— Rara avis in terris [1],— вставил Серизье. Американец взглянул на него с недоумением, видимо не разобрав цитаты. «Это по-латыни, но как они забавно произносят»,— подумала Муся. Жюльетт вполголоса перевела ей цитату, точно замечание Серизье было очень важно. Муся кивнула головой.

— Le latin, ça me connaît [2].

— Правление банка вырабатывает план работы в об-

---

[1] Редкая птица на земле (*лат.*).
[2] Это латынь, я знаю (*франц.*).

щенациональных интересах,— продолжал Блэквуд.— Допустим, что у вас во Франции можно и нужно создать пять машиностроительных заводов, десять сахарных, двадцать химических, да еще нужно провести две железные дороги и электрифицировать три водопада... И, скажем, создать новое кинематографическое дело,— опять осклабившись, добавил он, обращаясь к дон Педро, который тотчас встрепенулся («Это что? Ирония?» — озабоченно спросил он себя). Так вот, видите ли, банк образует акционерные общества для создания всех этих дел. При этом пятьдесят один процент акций он удерживает за собой, а сорок девять процентов расписываются преимущественно между людьми и предприятиями, которые имеют отношение к данной области труда. Частные акционеры намечают правление общества. Банк, имея большинство, осуществляет контроль и предоставляет им вести дело, разумеется, если они ведут его хорошо. Предположим, будет образовано для начала сто таких предприятий по строго продуманному плану, по последнему слову техники. Подумайте, что это будет означать для национального хозяйства!

— А если дело, выгодное для национального хозяйства, вдруг невыгодно для его владельцев? — спросил с усмешкой Нещеретов.

«Однако он очень хорошо говорит по-английски,— с неприятным чувством подумала Муся.— Но какой противный!..»

— Это может быть только в исключительном случае,— убежденно ответил американец.— То, что нужно для целого, должно быть выгодно и само по себе. Важно то, что такой банк создаст корректив к анархии капиталистического производства... Кажется, вы, социалисты, так говорите: анархия капиталистического производства? — благодушно обратился он к депутату. Серизье, видимо, ему нравился.

— Да... Но, если вы разрешите? Я не совсем понимаю...

Муся подавила зевок. Она любила слушать, как разговаривают о серьезных предметах умные и ученые мужчины. Но на этот раз спор был уж очень скучен. Серизье ни разу на нее не оглянулся. «Это врут, что он viveur [1]. Какое странное слово viveur. У американца кожа на шее совершенно отвисла, провалы какие-то... Да, неприятно быть стариком... Как они однако его сюда заполучили? Он верно думает, что здесь настоящий салон и цвет парижского общества. Впрочем, Серизье, пожалуй, цвет и есть, но он один... Ничего, кстати, нет в нем утонченного, в этом

[1] Прожигатель жизни *(франц.)*.

Серизье. А рот очень, очень красивый... Удобно ли будет пригласить его к нам? В первый раз видимся, не очень удобно, еще откажется... Хоть бы раз все-таки, из приличия, оглянулся на меня... Бедная Жюльетт совсем в него влюблена... То-то мы должны были уехать посредине пьесы...»

— Можно мне еще рюмку бенедиктина? — громко сказала Муся, нарочно прерывая спор мужчин. Все оглянулись. Она изобразила на лице испуг: ее здесь называли алкоголичкой, это ей нравилось.— Я выпила всего две рюмки, а имею право на три.

— Ах, ради Бога,— сказала, улыбаясь, Елена Федоровна и тотчас использовала перерыв для выполнения хозяйских обязанностей.— Господа, кто хочет еще чаю? Или портвейна? Вам можно? — обратилась она к американцу.

— Я не пью спиртных напитков,— строго, с некоторой гордостью, сказал он.

— А чаю?

— Да, пожалуйста... Но мне скоро надо будет уехать.

— Почему же так рано?

— Ведь подземная дорога у вас перестает работать очень рано,— сказал так же строго мистер Блэквуд. Все улыбнулись. «Ничего нет трогательного в том, что дуракстарик, при своих миллионах, жалеет пять франков на автомобиль. Изображает собаку на сене и еще, кажется, рисуется этим»,— подумала Муся, взяв у Жюльетт рюмку бенедиктина. Однако вид американца исключал мысль о том, будто он рисуется. Мистер Блэквуд был скуповат вследствие трудной молодости, и, как все скупые люди, легче расставался с большими деньгами, чем с грошами. Богатство досталось ему поздно; жизнь богача сама по себе почти не дала ему радости, как человеку, курившему долгие годы махорку, не может доставить наслаждения тонкая сигара.

— Почему же так рано? Ведь завтра воскресенье, верно вы не работаете...

— Мне нужно рано встать, чтоб поспеть в церковь...

Серизье изобразил на лице несочувствующее понимание культурного европейца.

— Все-таки еще пять минут... А вам, мосье Серизье, можно ликера или портвейна? — спросила Елена Федоровна.

— Нет, благодарю вас. Ничего,— ответил депутат. «Верно, у них так принято, у румын, у русских, вечером угощать ликерами и портвейном,— подумал он.— Странное, однако, общество...» Серизье знал этот салон и относился к нему со снисходительностью старого парижанина:

«всем надо жить»... Бывал он здесь, впрочем, очень редко; на этот раз приехал потому, что, по старым, добрым отношениям, неловко было отказать Леони Георгеску. Кроме того, знакомство с прибывшим в Париж американским богачом передовых взглядов могло пригодиться. Несколько непонятно ему было только, зачем его так настойчиво приглашали: среди гостей явно не было никого, кто мог бы заплатить хозяйкам за знакомство с ним.

— Господа, пожалуйста, продолжайте ваш спор, это так интересно,— сказала Леони, поставив на камин вазу с печеньем.

— Что же вы хотели сказать? — спросил Блэквуд, взяв депутата за пуговицу фрака.

— Мне не ясно, для чего нужен такой банк. Мы, социалисты, стоим за развитие хозяйственной деятельности государства. Пусть оно национализирует железные дороги, пусть оно само строит те заводы, о которых вы говорите.

Американец разочарованно посмотрел на него выцветшими голубыми глазами.

— Как же вы не понимаете? — с сожалением сказал он, видимо, убежденный в том, что несогласие с ним может происходить только от непонимания его идеи.— Конечно, я объясняю очень сжато, но я думал... Вся моя мысль заключается в сочетании личной инициативы с общим планом. Дела должны вести не чиновники, получающие определенное жалованье, а опытные люди, заинтересованные в результатах предприятия: ведь сорок девять процентов будет распределяться между акционерами...

— Можно заинтересовать и чиновника посредством системы премий...

— Вы говорите, государство,— перебил, не слушая его, Блэквуд.— Да разве государственную машину можно приспособить для коммерческих и промышленных дел! Поверьте моему опыту, в этих делах надо все решать мгновенно. А при государственном аппарате, Господи! Сначала министерство, потом палата, потом сенат... По каждому пустяку будут запросы, интерпеляции... А парламентская коррупция! Нет, помилуйте! — сказал он с ужасом.— Уж пусть лучше все будет как теперь! Только бы без правительства и без парламента!..

Все засмеялись.

— Это очень лестно для парламентских деятелей,— заметила Муся.

— Можно сделать и другой вывод,— сказал Нещеретов.— Если демократическая государственная машина никуда не годится, надо создать другую.

Блэквуд посмотрел на него вопросительно.

— Однако ведь большую часть денег вы хотите взять все-таки у государства, ведь оно даст пятьсот один миллион из миллиарда,— сказал Серизье. Его задело то, что американец так пренебрежительно отнесся к его возражению. Тон депутата несколько изменился, как если бы кабинету министра-президента неожиданно стала грозить отдаленная опасность.

— Оно даст их раз навсегда... Конечно, с согласия парламента, после обсуждения в демократической машине, мм...— пояснил Блэквуд Нещеретову. Он не помнил фамилии этого русского. Видимо, он обиделся за американские учреждения, которые сам только что ругал.— Потом банком руководит председатель, а отдельными предприятиями их правления.

— Почему же вы думаете, мистер Блэквуд,— мягко спросил дон Педро,— почему вы думаете, что служащие вашего банка не станут такими же бюрократами, как государственные чиновники? Ведь они тоже будут получать жалованье...

— По моему проекту все служащие заинтересовываются в прибылях. Но это и не так важно. Ведь каждое отдельное предприятие ведут частные капиталисты, собственники сорока девяти процентов акций. Банк от себя назначает только наблюдателей.

— Это чрезвычайно ценная и оригинальная мысль,— сказал дон Педро.— Главное бедствие мира — это теперь недостаток товаров. Война истребила их на долгие десятилетия. Надо удесятерить производство, иначе будет небывалый кризис, который может кончиться всюду так, как у нас.

— Это, конечно, верно, но я не совсем понимаю...— начал Серизье.

«Все-таки они злоупотребляют нашим терпением,— подумала Муся.— Пусть он открывает свой банк, я не возражаю, но я не хочу из-за этого банка умирать от скуки. Экая досада, даром пропадает вечер! А я бы с Серизье поговорила... Непременно приглашу его к нам, что ж, что в первый раз видимся?» — решила она и с удивлением заметила устремленный на депутата взгляд Мишеля Георгеску. Молчаливый молодой человек смотрел на Серизье с ненавистью. «Неужели из-за того, что он социалист? Какой однако напыщенный осел этот мальчишка!» — подумала Муся не совсем искренно: ей казалось, что это очень неглупый, хоть и неприятный юноша. То же говорила ей и Жюльетт, не любившая своего брата. Мишель обычно был любезен с Мусей и даже как будто ухаживал, однако

не очень ухаживал. С ним вдвоем бывало тяжело. «За весь вечер, кажется, слова не проронил. Не удостаивает... А уж если что скажет, то с таким видом, точно хотел укусить. Комары бывают такие: не жужжит и вдруг укусит. И лицо неприятное... В романах о таких пишут: «в его лице было что-то хищное и низменное...» Хоть хищного в нем собственно ничего нет. Омут без чертей...» Муся оглядела Мишеля с ног до головы, выдержала его насмешливый взгляд и отвернулась, изобразив на лице полное равнодушие и отогнав мысль о романе с Мишелем. «Совсем Мессалиной стала в воображении,— тревожно-радостно подумала она.— Пока только в воображении... А этот юноша ломается под нехорошего молодого человека из честного идейного романа...»

— ...Но каковы же будут взаимоотношения между этим банком и государством?

— Вот, наконец-то, вы попали в мое слабое место,— сказал озабоченно мистер Блэквуд.— Это самое трудное Государство дает деньги, оно назначает членов правления банка и его председателя. Какова будет их зависимость от правительства? Сменяемы ли они или несменяемы? Перед кем они ответственны? Как здесь уберечься от осложнений? У меня в проекте есть несколько вариантов конституции банка, все предусмотрено, все,— успокоительно добавил он.— Но главное, конечно, чтоб председатель банка был настоящий человек, человек со светлой головой и с независимым характером. Он будет, разумеется, получать огромное жалованье. Однако нужно подобрать такого человека, для которого и жалованье не имеет значенья.

«Вот куда, шельма, метит!» — с удовольствием подумал Нещеретов. Ему, наконец, стало ясно, чего хочет мистер Блэквуд со своим нелепым проектом. «Огромное жалованье, и уж по части доходцев на таком посту лафа: что ни дело «в интересах национального целого», то мне пожалуйте учредительские паи. Чтоб и я, мол, как служащий банка, был заинтересован в деле. Понимаем»,— подумал он. И вдруг им овладела злоба. Все то, что он строил годами в России, сорвалось, так глупо сорвалось, пошло прахом без всякой ошибки с его стороны. «Если б не революция, через пять-шесть лет было бы сто миллионов. Что ж теперь? Начинать все сначала, в новых непривычных условиях?..» Он этих условий не осуждал. Здесь все было так откровенно продажно, так подтверждало его общий взгляд на людей, на дела, на жизнь. Нещеретов, не занимаясь философскими вопросами, считал себя дарвинистом; однако теорию Дарвина он понимал как-то по-своему, применяя ее к де-

ловому миру. В России, кроме денег, имело значение еще что-то другое: власть, служба, родовитость, общественный стаж. В Европе, тем более в Америке, деньги были единственной властью. Но их у него было теперь мало: за границей он многое потерял из того, что вывез. Люди без его таланта, без его делового размаха, без его огромного опыта,— Бог знает кто — вывезли все и еще приумножили. «Эх, с прежними капиталами меня сюда пустить, я бы ему показал банк, этому блэквудианцу! Ведь совсем дурак малый, а какую деньгу зашиб!..» — Он выпил залпом большую рюмку коньяку.

— ...Я не берусь спорить по существу именно о вашем проекте,— мягко говорил Серизье,— но, не скрываю, все такие проекты напоминают мне предприятие человека, который половой щеткой пытался бы вымести пыль из Сахары.— Депутат недавно пустил этот образ в Палате; там он почему-то прошел незамеченным: упомянули только две мало распространенные газеты.— К сожалению, весь капиталистический мир построен на принципе паразитизма, а потому...

— Простите, что потому? — грубовато перебил его Нещеретов.— Принцип паразитизма, Господи!.. С точки зрения цыпленка, попадающего в руки повара, человек, наверное, является паразитом. Однако у человека ведь есть перед цыпленком некоторые преимущественные права?.. Ох, уж эти люди, пытающиеся починить мир! — произнес он с нескрываемой злобой. Серизье холодно на него взглянул.

— Что ж делать, я и в рабочем вижу не цыпленка, а человека,— сказал он.— И позвольте мне добавить, противоположный взгляд правящих классов в некоторых странах имел весьма печальные последствия.

— Вы не правы, мм...— ответил Нещеретову Блэквуд, очевидно не сразу понявший его слова.— Это настроение у вас пройдет, как прошло у меня. Вы еще молоды... К сорока годам у деловых людей часто вырабатывается циничное понимание мира, но к шестидесяти оно начинает исчезать... В том-то и дело, что мир нуждается в починке и может быть починен...

— Желаю вам успеха,— учтиво-недоверчиво сказал Серизье. — Во всяком случае это грандиозный проект.

Американец вздохнул.

— Я очень люблю Францию, может быть, это первая страна на свете после Соединенных Штатов,— сказал он (Серизье невольно улыбнулся,— «после Соединенных Штатов» было сказано так наивно-самоуверенно, что почти не казалось невежливым). Но вот чего я вам не могу простить:

вас теперь пугает все грандиозное... Почему вы во Франции так любите слово «petit»? «Petits soldats», «petites femmes», «Petit Journal», «Petit Parisien» [1],— с трудом выговорил Блэквуд.— Да, мой проект грандиозен. Я изложил его кратко, моя записка составляет целый том, в ней предусмотрено решительно все... Я нисколько не думаю, что дело произойдет гладко. Слава Богу, я немного знаю и дела, и капиталистов,— сказал он с усмешкой.— Будет травля, будет клевета, будут, конечно, и злоупотребления в самом банке. Это неизбежно там, где есть люди. Но другого выхода нет.

— Простите, есть наш выход,— возразил Серизье,— и уж к нему никак не относится ваш упрек в боязни больших дел. Мы предлагаем, еще при нынешнем строе, национализацию железных дорог, копей, тяжелой промышленности, строгий контроль над банками, всеобщее разоружение...

Серизье кратко перечислил реформы, значащиеся в социалистической программе. Это перечисление было для него очень привычным делом,— он говорил механически, но со значительной и убежденной интонацией, как старый парикмахер гостиницы в тысячный раз предлагает незнакомым клиентам удивительное средство против лысины, по долгой привычке не обижаясь при отказе. Американец слушал его с унылым видом.

— Нет, это все неосуществимо,— сказал он, тяжело вздохнув. Социалистическая программа, да и никакая другая, кроме его собственной, не интересовала мистера Блэквуда. Оживление с него соскочило. Он снова посмотрел на часы и поднялся. Торопиться ему, впрочем, было некуда. Ждала длинная томительная ночь,— дай Бог поспать часа три. Мистер Блэквуд подумал, что едва ли доживет до производственного банка: две его болезни зловеще осложняли одна другую. «Да, деньги пришли слишком поздно. Начало жизни было так трудно, а теперь уходить... Но, значит, так угодно Богу... Не может быть, чтоб все было неправдой»,— сказал он себе, как все чаще говорил в последнее время.

Елена Федоровна более вяло — во второй раз — попросила его посидеть еще немного. «То, что вы говорили, было так интересно»,— сказала мадам Леони огорченным тоном хозяйки, уже примирившейся с мыслью об уходе гостя и переходящей к прощанью от упрашиваний остаться. Вместе с Еленой Федоровной она вышла провожать мистера Блэквуда. За ними в переднюю скользнул Альфред Исае-

[1] «Маленький», «Солдатики», «малютки», «газетка», «Маленький парижанин» [название газеты] *(франц.)*.

вич. Он желает закрепить дело о своей записке. «Только чтоб не ответил: пришлите по почте. Это плохо, когда говорят: пришлите... Непременно пусть назначит день и час»,— озабоченно подумал дон Педро.

III

В гостиной в должность хозяйки тотчас вступила Жюльетт: положила сандвич на тарелочку Муси, с ненавистью отрезала кусок торта Нещеретову и робко-восторженно спросила Серизье, не возьмет ли и он чего-нибудь. Депутат отказался. Он и так на званом обеде, на котором был до приезда к Георгеску, съел больше, чем полагалось по его гигиеническим правилам. Серизье подумывал о липовом настое; после одиннадцати часов вечера он себе позволял только это. Собственно уже можно было уехать, но можно было и поболтать с красивой американкой,— почему-то он решил, что Муся американка,— до того мешал производственный банк. Гости и хозяева обменивались впечатлениями о Блэквуде.

— Очень интересный человек этот мистер Блэквуд,— сказал Серизье, подсаживаясь к Мусе.— И мысль у него интересная, хоть неправильная в основе. Это капиталист, потерявший или теряющий веру в правду капиталистического мира. Я сказал бы, что...

«Наконец-то догадался подсесть»,— удовлетворенно подумала Муся.

— Мысль, может быть, и интересная, а в нем самом решительно ничего интересного нет,— с полным убеждением сказала она, не принимая в расчет, что слово «интересный» у нее и у Серизье могло означать разное.— Я чуть не умерла от скуки! — вызывающе добавила она. Жюльетт посмотрела на нее с испугом и укоризной: это замечание было обидно для Серизье, да и прерывать его никак не годилось. Но депутат не обиделся — разве несколько осекся — и тотчас переменил тон. Он думал, что с американской дамой нужно вести серьезный, ученый разговор. «Я ошибся, тем лучше, так гораздо приятнее»,— сказало Мусе изменившееся выражение его ласковых голубых глаз. Депутат, считавшийся одним из самых левых социалистов, был, по крайней мере в нереволюционное время, не очень страшен: так Робеспьер в частной жизни чрезвычайно напоминал людей, у которых самое имя его вызывало отвращение и ужас.

— Нет, идея производственного банка очень интересна,— сказала Жюльетт.— Но едва ли можно в настоящее время...

— Банк, это мне все равно,— перебила ее Муся, захватывая инициативу боя,— а вот, если они создадут кинематографическое дело, это будет отлично. Я обожаю кинематограф! Нигде не спится так хорошо, как в кинематографе!

— Не могу и с этим согласиться, многое из того, что прежде считалось пустяками, потом оказывалось настоящим искусством,— возразила Жюльетт.— Над Мане, над Сезанном все смеялись.— «Juliette monte sur ses grands chevaux [1],— весело подумала Муся.— Еще не ревнует, но роет первую линию окопов...» Она чувствовала себя теперь в своей стихии и соперничества не боялась. Одно из замечаний Жюльетт Муся даже сочла возможным подчеркнуть одобрительной улыбкой,— так блестящий дирижер после концерта, вызвавшего восторг публики, великодушно показывает ей на «первую скрипку», которой никто и не заметил. «И зачем она, бедная, все старается говорить об умном! Гораздо лучше просто болтать,— серьезные разговоры им всем осточертели...» У этой молоденькой барышни было лишь одно преимущество: как ни хорошо говорила по-французски Муся, Жюльетт говорила еще лучше — она родилась в Париже. Завязался приятный разговор. Леони, вернувшись в гостиную, занимала Нещеретова. Скоро появились и баронесса с Альфредом Исаевичем, шептавшиеся о чем-то в передней. По-видимому, они были не совсем довольны друг другом. Мишель, ничего не сказав, ушел в свою комнату и больше не появлялся в гостиной.

— ...Я слышала, что она очаровательна, госпожа Вильсон. Но представьте, я еще не видела ни ее, ни президента! — говорила Муся, точно это был совершенно невероятный факт.— Я его увижу четырнадцатого на большом заседании в Министерстве иностранных дел. Мой муж достал для меня билет.

— Да, Лига Наций,— с улыбкой сказал Серизье.

— Что-то в этом роде. Кажется, он должен сделать какое-то необыкновенно важное сообщение? Но скажите, какой он?

— Вильсон? Вы, верно, его видели в кинематографе.

— Разумеется, но все-таки, какой он? Что вы о нем думаете?.. Ну, вы понимаете...

— Это очень представительный человек,— сказал Серизье, показывая улыбкой, что понимает: Муся его спрашивала не об идеях президента Вильсона.— Хорошо одевается, но платье на нем сидит не совсем естественно, точно на восковом манекене.

[1] Жюльетт важничает *(франц.)*.

— Ах, да, да,— сказала Муся, окинув быстрым взглядом Серизье. Он сам был одет безукоризненно, хоть слишком парадно для такого вечера: приехал со званого обеда во фраке.— А дальше?

— Что ж дальше? Конечно, он чувствует себя в Париже странно... Вот как большая морская рыба, заплывшая в устье реки: простора меньше и вода как будто другая...

— Но ведь более вкусная.

— Американцы другого мнения... Добавлю, что он чувствителен, как мимоза. Говорит не слишком ясно, но, если попробовать уточнить его мысль, он, я слышал, принимает это за личное оскорбление.

— Это как телефонные барышни у вас в Париже! Если они перепутают и им заметить: «барышня, прошу внимания», они нарочно не соединяют.

— Вот именно,— сказал, смеясь, Серизье.— Что же еще о Вильсоне? Говорят, он страстно влюблен в свою жену.

— Правда, ведь он недавно женился!

— Да, кажется, совсем недавно. Это чуть только не их свадебная поездка. Я их видел в театре...

Разговор перескочил на театр. Жюльетт заговорила с восторгом о Гитри. Оказалось, что Серизье с ним хорошо знаком.

— Обедали не далее, как позавчера. Он был в ударе, мы хохотали как сумасшедшие. Нас было всего шесть человек...— Он назвал остальных участников обеда; все это были известные люди, не социалисты и не политические деятели.— Когда Гитри хочет, он бывает совершенно очарователен...

— Ах, как бы я хотела с ним познакомиться!

— Не вы одна,— вставила Жюльетт.— Меня сегодня особенно поразила в нем мощь... Как бы объяснить? Да, мощь его слова... Я слышала раз Жореса незадолго до его убийства... Он произвел на меня очень сильное впечатление, необыкновенно сильное,— горячо говорила Жюльетт,— может быть оттого, что мне было четырнадцать лет («ненужно: и так видно, что тебе девятнадцать»,— сделала мысленное примечание Муся). Так вот Гитри мне сегодня напомнил Жореса.

— Вы не видели его в «Le Tribun» [1]? Говорят, Бурже именно с Жореса и писал своего героя,— сказал Серизье.

— Ах, как жаль, я не видела «Le Tribun»... Ведь это больше не идет?

— Неужели Бурже писал с Жореса? — пораженным тоном спросила Муся. Решительная атака, в соответствии

[1] «Трибун» *(франц.)* — название фильма.

с наполеоновской тактикой, требовала сосредоточенья сил на одном пункте, а этому все же несколько мешало присутствие Жюльетт: часть сил должна была действовать против нее. Но Елена Федоровна как раз ее позвала по хозяйственным делам: надо было подогреть воду, метрдотель уже ушел спать. По конституции салона, воду подогревала в таких случаях Жюльетт. Она нехотя оставила поле сражения за Мусей — и отступила, недовольная собой: вела разговор Муся.

— Скажите, ради Бога, кто эта дама? — с улыбкой вполголоса спросил Серизье, движением головы показывая на Елену Федоровну. Вопрос свидетельствовал, что они с Мусей издавна находятся в добрых отношениях. Муся засмеялась.

— С удовольствием вам скажу... А потом вы можете у нее спросить, кто такая я... Это одна моя соотечественница... Ваше положение стало еще труднее! В самом деле, какой я национальности?.. Я русская, она тоже, но я вышла за англичанина, а она за румына. Ее нынешняя фамилия — баронесса Стериан.

— Разве у румын есть бароны?

— Не знаю, но сомневаюсь, как и вы... По крайней мере, румыны слышат эту громкую фамилию с изумлением, а невежливые пожимают плечами. Она утверждает, что титул венгерский.

— И тогда пожимают плечами венгры?

— По всей вероятности. Хоть я ни одного венгра никогда в глаза не видела.

Оба смеялись.

— ...Как же однако вы попали в этот гостеприимный дом?

— Я сто лет знаю Леони, мы с ней учились в университете. Она была красавица.

— Верю... Она по рождению — фон и что-то очень длинное, правда? — спросила Муся, забыв, что об этом упоминать не полагалось.— Однако я думала, что она гораздо старше вас?

— Старше, но не гораздо.

— Она и теперь еще очень хороша, много лучше дочери... Хоть Жюльетт очень милая девочка... Ее брата я не люблю... Вы не находите, что он похож на юношу сезанновского Mardi-gras [1],— больше наудачу сказала Муся, недавно перелиставшая художественные издания: Клервилль дополнял в Париже свою, запущенную во время войны, библиотеку.

---

[1] Масленица (*франц*).

— Совершенно верно,— поспешно сказал Серизье, с легким испугом принявший ученость Муси. Он снова подумал, что, может быть, все-таки надо говорить серьезно: уж если это русская дама, то ничего нельзя знать.— Теперь скажите мне, пожалуйста,— перевел он разговор подальше от Сезанна,— тот ваш соотечественник, он собственно кто? Бывший царский министр? Вообще, великий человек?

— Не царский министр, но великий человек. Он был одним из богатейших людей Петербурга.

— Я так и думал. Говорят, у Вагнера был попугай, который говорил ему каждое утро и каждый вечер: «Рихард Вагнер, вы великий человек!..» Он не обзавелся еще таким попугаем?

— Вы угадали, у него мания величия,— говорила Муся, смеясь все веселее: разговор шел превосходно.— Я вижу, вы знаете толк в людях...

— И наконец главная часть интервью. Скажите же мне, кто вы?..

По другую сторону камина разговаривали по-русски.

— По-моему, это очень глубокая мысль, из его банка может выйти замечательный толк,— говорил оживленно дон Педро.— И увидите, мистер Блэквуд своего добьется!

— Как же! Я хотел ему сказать: «держи карман», да не знаю, как это по-английски,— сказал Нещеретов.

— А почему «держи карман»? Критиковать, конечно, все легко. Это очень выдающийся человек! — сказал с жаром дон Педро, который без всякого притворства, совершенно искренно, считал всех богачей замечательными людьми.— Вы заметили, какая у него милая улыбка, добрая и печальная-печальная...

— У него просто очень глупый вид, и этот вид не обманчив: дурак форменный. Но вы мне, почтеннейший, улыбками зубов не заговаривайте. Что, сделали гешефт? — спросил сердито Нещеретов, не стесняясь присутствием Елены Федоровны.

— Не понимаю, что вы хотите сказать,— обиженно ответил Альфред Исаевич. В Париже у него убавилось почтения к Нещеретову. Бывший богач теперь в этом салоне занимал отнюдь не первое, хотя еще почетное, место. Вначале это поразило дон Педро, помнившего петербургское величие Аркадия Николаевича. Так, Кеплер был, вероятно, поражен, убедившись, что солнце не находится в центре орбит, по которым вращаются планеты. Но дон Педро очень скоро привык к новому положению Нещеретова.— Для чего мне заговаривать вам зубы? — спросил он, даже с некоторым пренебрежением.— Никаких гешефтов я не

делаю. Я не банкир и не спекулянт, да и денег из России не перевел,— многозначительно добавил он.

— Не догадались?

— Зачем не догадался? Не перевел, потому что никогда не имел: всю жизнь жил своим трудом,— ответил с достоинством Альфред Исаевич и тут же подумал, что отсутствием денег трудно внушить уважение Нещеретову.

— Что, небось, скучаете, оставшись без газеты? Нельзя больше обличать исправников?

— Я вижу, вы имеете довольно смутное представление о моей публицистической деятельности. Я вел отдел Государственной Думы в «Заре», а также печать и иностранную политику в одной провинциальной газете.

— Тяжело вам, должно быть, что не можете похлопывать по плечику «Сен-Джемский кабинет?..» Или там «страну Восходящего Солнца»... В ваших газетах всегда так писали: «страна Восходящего Солнца», «Небесная Империя».

— Ничего, господа, скоро вернемся в Россию,— примирительно сказала Елена Федоровна.— Мне звонил из посольства знакомый, там получено сообщение, что Деникин опять продвинулся... Vous savez, le général Denikine est de nouveau allé avant. Aujourd'hui le soir on m'a dit par le téléphon. Très agréable [1],— сказала она, обращаясь к депутату и переходя на французский язык для установления общего разговора.

— Ah? Il parait en effet qu'il gagne du terrain [2],— уклончиво ответил Серизье. Ему не хотелось вести политический спор с русскими эмигрантами; но и выражать радость по случаю продвижения генерала Деникина он никак не мог. Сдержанно-сочувственное выражение его лица относилось к бедствиям, постигшим Россию. Серизье вдруг с досадой вспомнил, что, быть может, ему еще придется сегодня писать передовую статью. Он посмотрел на часы, изобразил на лице испуг и поднялся.

— Куда же вы?

— Что ж так рано?

— Нет, пожалуйста, посидите еще,— сказала умоляющим тоном Муся. Но выражение лица Серизье показывало, что он уйдет после первого прощанья, не выждав и пяти минут до второго.

— Что ж делать, если вы не можете,— сказала Леони.

— Я сам чрезвычайно сожалею... Боюсь, что мне придется еще сегодня писать передовую статью.

---

[1] Вы знаете, генерал Деникин снова продвинулся. Мне сегодня вечером сказали по телефону. Очень приятно *(франц.)*.

[2] А? Кажется, он действительно продвигается *(франц.)*.

— В двенадцать часов ночи! Господи!

— Да, печальное ремесло политика.

— Тогда мы вас не удерживаем.

— Долг прежде всего!

— Как жаль! Я так хотела бы, чтобы вы рассказали все это моему мужу, это было так интересно,— говорила Муся.— Вы его не знаете? Полковник Клервилль,— добавила она, запечатлевая в памяти Серизье свою фамилию.— Я думала, вы с ним встречались на этой конференции? Мой муж ведь прикомандирован к английской делегации... Как, вы не знаете, что мой муж прикомандирован к английской делегации! Он там занимает необычайно высокий пост, вот разве чуть-чуть пониже Ллойд-Джорджа! — подчеркнуто иронически сказала Муся. Она вообще редко хвастала, и не иначе, как в форме скромной насмешки над тем, что о себе сообщала. Но все-таки этот депутат не должен был думать, что их общественное положение уступает его собственному.

— Да, конечно, я слышал,— солгал Серизье.— Нет, мы не встречались. Я ведь не имею к конференции никакого отношения.

— Разве? Я думала... Но вам, быть может, будет интересно с ним побеседовать.

— Мне было бы очень приятно...

— Я буду так рада. Мы живем там же, где вся английская делегация...— Муся назвала гостиницу и, вынув из сумки книжку с золотым карандашом, записала адрес и телефон Серизье.— «Ох, ловкая баба,— подумала Елена Федоровна (совершенно так же, как о ней говорила Муся).— Заводить связи для своего салона. Ну, пускай, пускай...» — «Если она его позовет, то должна пригласить в этот день и меня, не может не пригласить»,— решила Жюльетт.

За депутатом в переднюю вышла только Леони. Хотела было выйти и Жюльетт, но осталась в гостиной под многозначительным взглядом матери. В передней Леони обратилась к депутату с горячей просьбой. Ее дочь скоро кончает курс и тогда запишется в сословие адвокатов — она ведь французская гражданка. Ей так хотелось бы попасть в помощницы к Серизье.

— У вас в адвокатуре такое блестящее положение. И Жюльетт такая ваша поклонница!

Депутат не слишком сопротивлялся: у него было правилом — в первый раз всегда оказывать одолжение, если это не стоило большого труда. С госпожой Георгеску он был знаком очень давно, ее дочь была милая барышня. Он испытывал легкое удовлетворение оттого, что загадка разрешилась: его пригласили именно для этого дела.

— ...У меня работы не так много, как думают. Но я с удовольствием запишу вашу милую барышню.

— Как я вам благодарна! Вы увидите, что будете ею довольны.

— Повторяю, это будет скорее фикцией.

— Все равно, я сердечно вас благодарю!

Он сказал несколько любезных слов о Жюльетт, простился и уехал. Леони медленно вышла из передней, не совсем довольная результатами. Жюльетт сильной жестикуляцией из-за двери зазвала ее в столовую.

— Ну? Ну, что?

— Обещал записать тебя, хоть настоящей работы пока не обещает... Очень тебя хвалил.

— Что он сказал? Но совершенно точно, мама...

Поговорив с матерью, Жюльетт в раздумьи вернулась в гостиную. «Работы не будет?.. Это мы увидим. Он меня еще не знает...» В гостиной — точно погасла люстра. Засидевшиеся скучные люди вели разговор, видно, тоже очень скучный, вдобавок по-русски. «И пусть разговаривают между собой. Мы им только мешаем...» Жюльетт поправила что-то на камине, улыбнулась Мусе и направилась к двери.

— Mademoiselle, pourquoi vous nous quittez? [1] — сказал торжественно-галантно дон Педро.

— Я сейчас вернусь,— ответила Жюльетт и вышла в столовую. Лицо у нее тотчас стало настоящее — умное, озабоченное и очень милое,— освободившись, точно от дешевой маски, от притворно-ласковой, светской улыбки.

— Ты не огорчайся, это все-таки большой успех,— сказала Леони, запирая на ключ буфет.

— Разумеется. Мне больше ничего не надо...

— А если он сделает вид, что забыл, я еще найду к нему подходы.

— Я знаю, что вы все можете, мама... Спасибо... Как, по-вашему, я теперь могу пойти спать?

— Разумеется, иди, моя девочка, Мишель уже в постели... Муся на тебя не обидится... Досадно, что все нужно запирать: Альберу все больше нравится наш бенедиктин. Иди, мой ангел, пусть она их занимает...

— ...Что вы сказали о Брауне, Альфред Исаевич? Я не расслышала,— спросила Муся, отрываясь от разговора с баронессой о цене платья, в котором появилась в третьем акте пьесы известная артистка. Муся морально поджала

[1] Мадмуазель, почему вы нас покидаете? *(франц.)*

хвост и была особенно мила с Еленой Федоровной: ее мучила совесть, из-за легкого предательства, незаметно совершенного ею в разговоре с Серизье. «Но ведь так все всегда поступают, иначе и разговаривать было бы не о чем и невозможно...»

— Вы его знаете? Тяжелый человек...

— Да, с косточками человечек... Можно им и подавиться,— вставил Нещеретов.

— Что я о нем сказал? Говорят, он бежал из Петербурга с какими-то необыкновенными приключениями. Я слышал, он ползком пробрался через финляндскую границу, в него стреляли большевистские пограничники.

— Из пушек,— вставил Нещеретов.

— Нет, этого не могло быть,— сказала Муся.— В Финляндии он не был, ведь мы сами были довольно долго в Гельсингфорсе... Я слышала, он бежал с Федосьевым в Швецию, и их будто бы обстреляли с какого-то форта.

— Врет,— убежденно сказал Нещеретов.— Это, я вам доложу, рекламист первого ранга.

— Нет человека, который был бы меньше рекламистом, чем он! Ему совершенно все равно, что о нем думают. Мало ли гадостей говорят об всех?

— Какой это Федосьев? — спросил мягко дон Педро, подчеркивая интонацией, что хочет загладить размолвку.— Надеюсь, не тот, который...

— Не надейтесь: тот самый.

— Что же у него общего с этим почтенным профессором? — озадаченно спросил Альфред Исаевич.

— Во-первых, он не профессор...

— И не почтенный,— вставил Нещеретов.

— «Почтенный» в жизни не ругательное слово. Но в газете это еще хуже, чем «небезызвестный».

— ...А во-вторых, общего у них то, что они вместе подготовляли какой-то террористический акт: чуть только не убили самого Ленина.

— «Чуть» не считается... А насчет их дружбы, то, я помню, Браун как-то сказал князьку Горенскому, что они с Федосьевым, видите ли, психологические изомеры, кажется, так... Такие, говорит, есть химические тела: состав одинаковый, а свойства совсем разные, изомерия, говорит, это называется. Проще говоря, два сапога пара, хоть один химик, а другой сыщик.

— Федосьев теперь в Берлине и, говорят, впал в какой-то мистицизм,— сообщила Елена Федоровна.— Так мне говорили в посольстве.

— Неужели?

— Что-то странно. Совсем не мистический был мужчина Федосини,— сказал Нещеретов.

— Все-таки это трогательно: мистик Федосьев!

— Меня не трогает... Вот как никого, должно быть, не умиляет вдова Клико...

— Правда, это наименее печальная из вдов,— смеясь, сказал дон Педро. Он подумал, что эта шутка может пригодиться для какой-нибудь статьи.

— А Браун, говорят, в Париже?

— Я тоже слышала, но ни разу его не видала и ничего о нем не знаю,— ответила с сожалением Муся.— И адреса его не имею, знаю только, что у него здесь большая квартира, где-то на левом берегу.

— Деньжата, верно, вывез, малый ловкий.

— Ничего он не вывез, а просто он и до войны жил в Париже, так что, верно, имел здесь состояние.

— Да хоть бы и вывез, что ж тут дурного? И я вывез деньгу, и ваш батюшка. Надо сказать: слава Богу!

— Я не говорю, что это дурно, но не мог он вывезти, если бежал на лодке.

— На лодке в Швецию? Да собственно почему вы так за него заступаетесь, Марья Семеновна? Я не знал, что он у вас в фаворе.

— Теперь будете знать. Он на редкость интересный человек и кристально-порядочный.

— Да вы точно его некролог пишете! Это в некрологах все оказываются кристально-порядочные люди и светлые личности... У него, впрочем, и то, на случай кончины, кажется, накоплено немножко славы? Этак строчек на двадцать некролога, а?

— Во всех газетах? Это лучше, чем на сто строк в одной, где есть добрые знакомые,— авторитетно разъяснил дон Педро. Он знал толк в некрологах и мастерски их писал. Ему было даже в свое время поручено редакцией «Зари» изготовлять надгробные статьи об еще не умерших известных людях, и у него собралась большая коллекция заготовленных впрок очень хороших некрологов, в которых не хватало лишь вступительной фразы: «телеграф принес известие...» или «еще одна жертва безвременья, тяжкой и неприглядной русской действительности». Посторонние люди, ничего не понимающие в газетном деле, могли над этим смеяться; но и дон Педро, и редакция «Зари» отлично знали, что так должно быть в каждой хорошо устроенной газете европейского типа. «Пропал, пропал труд»,— огорченно подумал Альфред Исаевич.

— А где наши милые хозяева? Или спать пошли, madame la baronne? [1]

— Что вы, что вы, господа... Леони сейчас выйдет,— сказала, зевая, Елена Федоровна.

IV

Доминик Серизье жил в старом доме на улице Риволи. Квартира перешла к нему после смерти дяди-холостяка, снявшего ее в ту пору, когда состоятельные люди еще селились в центре Парижа. Дядя устроил в квартире электрическое освещение; сам Серизье поставил ванну и телефон. Ему часто советовали переехать в одну из новых частей города; были даже случайные находки, по знакомству,— прекрасные долгосрочные, не очень дорогие квартиры. Однако, новый квартал, центральное отопление, подъемная машина так и не соблазнили Серизье: он без ужаса не мог подумать о переезде.

Квартира из четырех комнат была для него тесновата, особенно с той поры, как бывший будуар жены пришлось отвести под секретариат. Но в том же доме освободились еще две комнаты, этажом выше. Серизье снял их, обставил простой американской мебелью и устроил в этой небольшой квартире приемную: там он принимал людей, которых мог бы неприятно удивить вид его настоящей квартиры.

Враги называли депутата-социалиста циником и лицемером. Это было совершенно неверно: цинизм был ему чужд, насколько может быть чужд профессиональному политику, Обставляя небогато свою квартиру, Серизье просто делал уступку предрассудкам некоторых своих единомышленников. Вдобавок, и настоящая его квартира могла казаться очень роскошной только бедным людям, не видавшим подлинной роскоши. Враждебные газеты не раз писали о картинной галерее Серизье, о коллекциях старинного серебра и фарфора, об его Роллс-Ройсе, о вилле на Ривьере. Ничего такого у него не было, хоть он, по своим средствам, и мог бы иметь многое из этого. Серизье жил так, как привык жить с детства, как жили его родители или даже несколько скромнее. Коллекций он не собирал; но то, что у него было, было хорошее и довольно дорогое,— от переплетов большой библиотеки до мебели в стиле Империи.

Выдумкой были и слухи о кутежах, о многочисленных любовницах Серизье. Журналисты при всяком удобном случае писали шаблонно-игриво о прочных связях Серизье

[1] Госпожа баронесса *(франц.)*.

«dans les coulisses de l'Opéra» [1]. Серизье в молодости развлекался в Латинском квартале так, как в свое время развлекались его отец и дед. Тридцати лет от роду он женился и прожил с женой счастливо четыре года. Потом они разошлись без шума, без ссор и скандалов, шутливо объяснив приятелям, что надоели друг другу: хорошего понемножку; но продолжали встречаться в обществе и, назло приятелям, разговаривали при встречах дружелюбно и весело. Близкие друзья говорили, что причиной развода было какое-то увлечение госпожи Серизье: «Доминик вел себя очень благородно».

Позднее у него была продолжительная связь с артисткой,— это и оказалось причиной слухов о coulisses de l'Opéra (хоть артистка играла в драматическом театре). Связь эта тоже кончилась корректно и бесшумно. Говорили еще о романе Серизье с секретаршей; друзья это отрицали, утверждая, что он терпеть не может историй у себя дома. Так его отец и дед никогда не грешили с боннами и кухарками. Любовь вообще занимала не очень много места в жизни Серизье. Хорошо знавшие его люди считали его человеком несколько сухим, при чрезвычайной внешней благожелательности, при изысканной любезности и при безупречном джентльменстве.

Он был перегружен делами. Работоспособность его была необыкновенной даже для французского политического деятеля. Серизье вставал ежедневно в шесть часов утра и работал, почти не отдыхая, до обеда; часто занимался делами и вечером, но этого не любил: предпочитал по вечерам бывать в обществе и старался ложиться не позднее полуночи. Однако два раза в неделю, на пути домой, он заезжал еще ночью в редакцию и там выправлял, сообразно с последними известиями, написанную дома, после вечерних газет, передовую статью.

В этот день передовую должен был писать не он. Но другой редактор накануне чувствовал себя нездоровым и сказал, что, быть может, не явится на службу. Из редакции должны были предупредить Серизье по телефону. До половины восьмого вечера телефонного звонка не было, и Серизье уехал из дому очень довольный: ему не хотелось показываться в редакции во фраке,— а в этот день он был приглашен на большой обед. Товарищи по газете, впрочем, привыкли к его светскому образу жизни и только благодушно над ним подшучивали. В партии почти все, кроме главного вождя, любили Серизье, прощали ему и

[1] «За кулисами Оперы» *(франц.)*

светскую жизнь, и богатство, и быструю партийную карьеру. Выйти в лидеры он не мог,— не потому, что для этого не годился, а оттого, что уже был другой лидер, далеко не достигший предельного возраста и не собиравшийся уступать ему свое место. Однако для него потеснились: он занимал очень видное положение, часто выступал от партии в Палате и писал еженедельно две передовые,— почти без контроля и цензуры со стороны главного вождя.

Обед у знаменитого адвоката, угощавшего депутатом-социалистом консервативное общество, сошел очень приятно. Говорили, разумеется, о мирной конференции. Серизье высказал мысли, приятно удивившие других гостей (среди них были два академика и весьма известный боевой генерал). Слова его можно было понять и так, будто он не слева, а справа обходил самого Клемансо. Он доказывал, что тяжелые условия мира, которые предполагалось продиктовать побежденным, грозят повлечь за собой со временем новую войну. Между тем единая Германия, даже после потери Эльзаса-Лотарингии, Данцига, Силезии и после уплаты двухсот миллиардов контрибуции, останется, несмотря на разоружение, очень опасным противником,— ведь наполеоновский опыт насильственного разоружения Пруссии оказался совершенно неудачным. Генерал, вначале слушавший утописта с ироническим недоверием, одобрительно кивнул головой.— Значит, надо сделать вывод,— доказывал Серизье,— если мы хотим себя обезопасить исключительно силой, то необходимо расчленить Германию и отобрать у нее левый берег Рейна.— Он напомнил о вековой политике французских королей и привел цитату из Ришелье. Генерал, к собственному удивлению, согласился с мнением утописта.

Тут, конечно, было недоразумение. Мысль Серизье заключалась в том, что насильственно продиктованный договор не может обеспечить мира; эту мысль он и доказывал от противного, приноравливаясь к кругозору своих собеседников. Но уточнять и разъяснять политическую азбуку не стоило. Теперь основной задачей было — всячески подрывать политику и авторитет Клемансо.

Серизье подрывал авторитет Клемансо и в своих статьях, и в частных беседах (которые иногда были важнее статей). В гораздо более мягкой форме, со всяческими комплиментами, он осуждал и Ленина. Однако в глубине его души таилось что-то вроде любви одновременно к Ленину и к Клемансо (как ни мало они походили друг на друга). Серизье был бы искренно возмущен, если б это услышал. Ему полагалось ненавидеть всякую диктатуру (за исклю-

чением особо предусмотренной в социалистической программе). Но диктаторское начало в человеке, начало ненависти, то, за что Клемансо прозвали тигром,— внушало ему тайное, почти бессознательное благоговение,— вероятно, потому, что сам он был лишен этого свойства. Он дорожил репутацией властного человека, и наиболее хитрые из близких к нему людей порою на этом играли. В действительности желание нравиться людям часто подрывало настойчивость и энергию Серизье.

Так и на обеде у адвоката он невольно поддался настроению культурного, почвенного, чуть насмешливого консерватизма, которое там господствовало, и говорил именно так, как было нужно для того, чтобы понравиться: смягчал все то, что могло задеть и оттолкнуть других гостей, и в споре проявил гораздо больше уважения к их взглядам, чем на самом деле чувствовал. Серизье про себя называл это дипломатией, но можно было назвать это и иначе. В частных беседах он нередко высказывал суждения, прямо противоположные тому, что писал в газете,— и делал это с таким видом, точно иначе и нельзя было поступать. Он уехал от адвоката с очень приятным чувством: знал, что оставшиеся гости будут разговаривать о нем, и, по всей вероятности, отдадут ему должное: «On peut dire tout ce qu'on voudra, mais c'est un homme remarquable» [1].

Недурно сошел и вечер бриджа в странном русско-румынском салоне, где его должны были познакомить с американским богачом. Американец оказался менее интересным человеком, чем понаслышке думал Серизье. Но в идее международного производственного банка было и нечто ценное. Знакомство с Блэквудом могло пригодиться,— хоть и трудно было ждать от него поддержки для какого-либо социалистического дела. Денег на газету он, конечно, не даст. Никто не умел лучше, чем Серизье, получать у капиталистов деньги на такие дела, которым они не могли сочувствовать,— только сами потом изумлялись, почему собственно дали. Существующая в каждой партии роль человека, умеющего доставать средства, была у социалистов давно ему отведена, очень ценилась и способствовала его возвышению. Однако Серизье сразу почувствовал, что Блэквуд не из тех богачей, которые дают деньги только потому, что неловко и неудобно отказать. Гораздо легче было у него добиться личных выгод, получить, например, место юрисконсульта. При случае, Серизье не отказался бы и от этого,— разумеется, в деле чистом и на условиях, совершенно

[1] «Что бы там ни говорили, но это замечательный человек» *(франц.)*.

обеспечивающих его политическую независимость. Но увеличение доходов у него всегда стояло на втором плане; он был безукоризненно честным человеком, да и денег у него было вполне достаточно.

«Да, приятный вечер... Та русская дама очень мила»,— лениво думал Серизье, выезжая на Place de Concorde. Здесь еще три месяца тому назад стояли пушки, с крыши этого клуба прожектор всю ночь бороздил небо. Серизье вдруг охватила страстная радость,— оттого, что война кончилась, оттого, что Франция вышла победительницей, что это его город и его площадь — лучший город и лучшая площадь в мире,— оттого, что людям стало несравненно легче: везде начиналась нормальная человеческая жизнь, а перед ним открывалась большая политическая карьера.

Как многие политические деятели. он говорил, что ненавидит политику,— точно он занимался ею по каким-то особым побуждениям, каких у других политических деятелей не было и не могло быть. Говорил он, впрочем, почти искренно: больно чувствовал на себе отрицательные стороны политики. Однако он и с этими сторонами страстно ее любил. Только политика давала настоящую славу — без сравнения с наукой, литературой, даже с театром. Серизье был честолюбив и считал в людях необходимым здоровое честолюбие (ему было бы, впрочем, нелегко определить, в чем заключается нездоровое).

Он очень любил и свою партию, объясняя некоторые ее недостатки неумелым руководством главного вождя,— любил почти простодушно, как спортсмен любит свою команду и считает ее — если не в настоящем, то в будущем — самой лучшей командой на свете. Ничто не заставляло его в свое время вступать именно в социалистическую партию; Серизье избрал ее по искреннему убеждению. Но с годами инстинкты политического спорта стали в нем преобладать над взглядами: он теперь просто по привычке относился свысока, насмешливо и недоверчиво ко всем другим партиям.

Так же искренно или почти искренно он утверждал, что ненавидит ораторские выступления. Этому никто не верил; однако и в этом была доля правды (при легком кокетстве признанного всеми оратора). Серизье всходил на трибуну, не имея в руках ничего, кроме клочка бумаги,— неопытные люди делали вывод, будто он говорит без подготовки. В действительности он, тщательно это скрывая, готовился долгими часами к каждой большой речи: составлял план, кое-что писал, подготовлял остроты, шутки, боевые фразы, старался даже предвидеть возможные возгласы

с места и заранее придумывал на них победоносные ответы (иногда об этих возгласах он уславливался заранее с приятелями из других партий). Разумеется, многое менялось во время речи, и почти всегда позднее он с досадой вспоминал, что пропустил какой-либо довод или удачную фразу. Приходилось порою и импровизировать; но подготовка оказывалась очень полезной и для тех его выступлений, которые всем, кроме профессионалов, казались чистыми экспромтами; и в экспромт можно было вставить многое из подготовленного заранее. Подготовительная работа была порою мучительна; всходя на трибуну, Серизье нелегко справлялся с волнением. Однако речь, игра на трибуне (он обычно по ней расхаживал большими быстрыми шагами, как Клемансо), жесты, паузы, модуляции голоса (кое-что он заимствовал у Жореса, кое-что у Гитри), схватки с противником, магнетизирование его взглядом и жестом, и, наконец, в результате, «бурные рукоплескания на разных скамьях Палаты»,— все это доставляло ему наслаждение, с которым ничто другое не могло сравниться. Правда, оно отравлялось на следующий день отчетами в газетах,— так бледно журналисты передавали его речь, так бестолково сокращали, недобросовестно искажали ее, почти всегда недооценивая и выпавший на его долю успех. Серизье считался превосходным оратором. Его речи, и в Палате, и в суде, привлекали большую аудиторию. На них съезжались и чуждые политике светские люди.

Дамы очень им интересовались, хоть красивым его нельзя было назвать. Он был, при плотном сложении, небольшого роста и почему-то носил бороду,— артистка, приятельница Серизье, говорила, что в его наружности есть что-то старомодное. «Доминик мне напоминает обложку какого-то романа Мопассана...»

Парадная лестница была довольно крутая. На площадках, начиная со второго этажа, стояли кресла,— тяжелые, солидные, дедовские, как все в этом доме. Серизье, однако, никогда не позволял себе садиться и без передышки поднимался в свой третий этаж; еще года три тому назад это было совсем незаметно; теперь, особенно после ужина, ему на второй площадке иногда приходило в голову, что, собственно, отлично можно бы и посидеть: ерунда эта внутренняя дисциплина,— очень дешевое спартанство.

Электрическая лампочка, как всегда, потухла в то время, как он поднимался со второго этажа на третий. По двадцатилетней привычке, он бессознательно отсчитал в тем-

ноте ступени, не споткнувшись в конце лестницы, сразу безошибочно вставил в темноте ключ в замок, затем, за дверью, столь же точным движением протянул руку к выключателю. Первый взгляд его был на пол. «Конечно! Из редакции»,— подумал с досадой Серизье. На полу, сбоку от тяжелой ковровой дорожки, лежало маленькое смятое и испачканное письмо-pneumatique [1]. Серизье нагнулся,— это тоже теперь было не так легко. Неприятно треснула низко под жилетом, оттопырившись сверху, туго накрахмаленная фрачная рубашка. Еще в передней, не снимая пальто, он раздраженно разорвал ободок и прочел. Секретарь редакции сообщал, что второй редактор заболел гриппом.

«Quel métier, mon pauvre vieux! — писал он.— Il faut bien que tu t'exécutes. Envoie-donc promener les belles dames et ponds-moi cent vingt lignes. Sujet à ton gré. Engueule Poincaré ou Cecile Sorel ou le pape. N'engueule pas Clemenceau: on l'a engueulé hier. Viens si tu peux, sinon téléphone la copie, mais il faut que j'aie ta brillante prose à minuit au plus tard...» [2].

«Ну, вот, так всегда»,— подумал Серизье со вздохом. Он все же гордился тем, что его трудом и временем в партии несколько злоупотребляли (газета ничего ему не платила за статьи). «Нет, ехать туда я не согласен!» — решил он, взглянув на часы. Оставалось пятьдесят минут, больше чем достаточно (да и секретарь, конечно, оставил четверть часа в запас).

Он снял пальто, аккуратно положил его на деревянный диван, еще в передней с наслаждением отстегнул воротник. В кабинете, против двери, уголья камина красиво отсвечивались на длинной веренице золоченых корешков. Этот вид всегда успокаивал Серизье,— особенно приятно ласкали глаз красно-коричневые тома Сен-Симона. Он вошел в кабинет, зажег лампу, зажег электрическую печь под столом.

На столе лежала раскрытой новая книга религиозно-философского писателя. Философия мало интересовала Серизье; религия не интересовала его совершенно: он говорил о позитивистах с легкой иронией, так как и в философии, и в литературе, и в искусстве очень боялся оказаться отсталым. Заявлять себя позитивистом было не лучше, чем

---

[1] Письмо, присланное по пневматической почте *(франц.)*.

[2] Что за ремесло, старина! Тебе придется покориться. Отправь своих прелестных дам прогуляться и роди мне сто двадцать строк Сюжет на твое усмотрение. Можешь разнести Пуанкаре, или Сесиля Сореля, или папу. Клемансо не разноси: его разнесли вчера. Если можешь, зайди, если нет — передай по телефону, но я должен получить твою блистательную прозу не позже, чем без двадцати час...» *(франц)*

восторгаться «Новой Элоизой» или музыкой Обера и Галеви; но в действительности, по душевному укладу, Серизье был совершенным позитивистом. Он нехотя давал понять приятелям, что, помимо общественно-политической жизни, есть у него другой, высший строй мыслей, составляющий его частное дело. Из-за старых личных связей он посещал некоторые передовые философские собрания, даже изредка выступал на них, и выступал с честью, так как, читая все модное, знал и в этой области принятую расценку. Однако оставлял он эти собрания с тягостным чувством: было ясно, что на них каждый говорит о своем, преимущественно о предмете своих последних занятий, разве только из вежливости и для видимости порядка прислушиваясь к мнениям других и о них упоминая (всегда в преувеличенно-лестной форме); самые разные вопросы валились в одну кучу, основная тема заседания забывалась, создавалось впечатление ученого сумбура. Люди эти, в один голос, утверждали, что говорят о самом нужном. Между тем ему казалось, что они в жизни никому не нужны и всего менее друг другу. По сравнению с ясностью, отчетливостью, трезвостью политических и юридических споров, эти собрания особенно проигрывали, несмотря на высокий тон, дарования и эрудицию их участников.

Рядом с книгой, под пресс-папье, лежали вырезки из газет. В начале своей парламентской карьеры Серизье получал от агентства все газетные статьи, в которых о нем говорилось. Потом это стало дорого и ненужно; его имя теперь слишком часто упоминалось в газетах. Секретарша вырезывала только важные статьи или требовавшие ответа выпады,— Серизье это называл своей ежедневной грязевой ванной. Он говорил, что совершенно равнодушен к брани. Однако секретарша нередко пропускала особенно грубые оскорбительные статьи, не желая его расстраивать.

На этот раз в вырезках не было ничего неприятного,— только деловая политическая брань, относившаяся к нему и к главному вождю партии. Серизье называли безответственным человеком, а главного вождя карьеристом революционной фразы. Обратное было бы, конечно, неприятней. Он не без интереса пробежал вырезку. Журналист был второстепенный и недобросовестный; но, в сущности, характеристика Шазаля была не так уж далека от истины: «Карьерист революционной фразы? Да, к сожалению, доля правды есть... А это просто глупо: безответственный человек? Перед ними мне, что ли, отвечать?» — с досадой подумал Серизье, почти механически занося в память имя журналиста, чтобы при случае его продернуть. «Ну, что ж,

надо садиться за работу». Он потянулся, зевая, и отправился в кухню: там горничная все приготовила для липового настоя, который он пил по вечерам,— надо было только вскипятить воду. В его кабинетной жизни это изготовление настоя по вечерам было маленьким развлечением,— выходило забавно, что он работает на кухне.

Серизье рассеянно глядел на поднимавшиеся из воды пузырьки и думал о разных предметах: о русской даме, о разговорах на обеде у адвоката, о теме для передовой статьи. Писать вообще было не так трудно,— перо обычно само бежало по бумаге. Но выбор темы давался ему нелегко. «Веймарское Национальное Собрание?» Он мог написать и о Веймарском Национальном Собрании, но думал, что девять десятых французских читателей весьма мало этим собранием интересуются. «Вероятно, Эберт будет избран президентом... Нужно, конечно, его похвалить...» В уме у Серизье сразу сложилось несколько фраз о символическом смысле события: социал-демократ, ремесленник, сын и внук ремесленников, приходит на смену гордой династии Гогенцоллернов. Было, однако, ясно, что завтра десять других публицистов скажут об этом то же самое и усмотрят в событии тот же символический смысл. Вдобавок, Серизье не очень хотелось хвалить Эберта: при самом искреннем интернационализме, он недолюбливал немцев, хоть тщательно это скрывал, даже от самого себя. «Надо считаться с читателями. Нет, это неинтересная тема... Принкипо? Слишком острый вопрос...» В партии проект созыва русской конференции на Принкипо вызывал резкие споры. Серизье избегал таких вопросов: уж если идти на бурю, то, конечно, из-за серьезных вещей, а не из-за этой конференции. Русские дела за два года надоели ему чрезвычайно,— одним надо было говорить со вздохом: «как все это тяжело и печально!», а другим: «да, чрезвычайно интересный опыт...» Понять же, что творилось в России, было совершенно невозможно. «Напишу на общие темы»,— подумал с облегчением Серизье и потушил огонь: крутой кипяток переливался на газовую плиту.

С подносом в руке он вернулся в кабинет и сел в кресло. Из-под стола тянуло располагавшим к работе теплом. Он отхлебнул глоток светло-зеленого настоя, оторвал листок из блокнота, отогнул поля и набросал несколько строк. Вначале шло нелегко; накрахмаленные манжеты мешали писать. Серизье подумал, что во фраке человек невольно пишет не совсем так, как в халате. Наблюдение это доставило ему удовольствие. «Надо принять во внимание...» Работа вскоре пошла.

Через полчаса передовая была готова. Серизье пробежал рукопись, кое-что изменил и поправил,— на вертящейся этажерке у стола стоял Литтре[1]. Настоящим писателем Серизье, по скромности, себя не считал, но обычно бывал доволен своими статьями. В этой статье не было ничего замечательного,— не было придающих интерес глухих намеков на какие-то события, происходящие где-то за кулисами, в глубокой тайне (над этими намеками всегда ломали головы читатели). Это была очень приличная статья на общие миросозерцательные темы. «Как озаглавить?..» Ему сразу пришло в голову несколько заглавий: «Le bandeau tombe»? «La sève qui monte»?..[2] Серизье подумал, зевнул и надписал в заголовке: «Au pied du mur»[3]. Этими словами заканчивалась статья. В ней доказывалось, что к стене теперь прижат весь старый буржуазный мир.

Он снял трубку стоявшего на столе телефона и вызвал редакцию. Для начала обменялся шутливо-непристойными ругательствами с секретарем,— эту должность занимал старый партийный деятель, нисколько не соперник, жизнерадостный и милый человек. С преданными ему людьми Серизье поддерживал фамильярный тон, напоминавший немного Конвент, немного лицей. Фамильярность не мешала ему быть в работе мягко-требовательным человеком. Затем он пригласил к телефону стенографистку, спросил, как она поживает, не очень ли устала, и принялся диктовать свою передовую статью.

«...En face de ce monde qui s'écroule,— диктовал Серизье,— virgule... de ses pauvres politiciens sordidement rivés à la plaine. Oui, Mademoiselle, à la plaine... Virgule... le socialisme plein de ce lait de la tendresse humaine dont parle Shakespeare... «S» comme socialisme, «H» comme hydre... Shakespeare, c'est ça, dresse fièrement son idéal et sa doctrine. Un point...[4]

Он испытывал неопределенное беспокойство, происходившее главным образом оттого, что говорить приходилось сидя в кресле, медленно и ровно. Он думал, что его статьи читает вся Франция и уж во всяком случае весь рабочий класс. На самом деле рабочие не заглядывали в его передовые, да и газету покупали мало, предпочитая «Petit Parisien». Но все политические деятели Франции, все редакто-

---

[1] Название энциклопедического словаря.

[2] «Завеса падает»? «Восходящая сила»?.. *(франц.)*

[3] «Припертый к стене» *(франц.)*.

[4] «...Перед лицом рушащегося мира... запятая... жалких приземленных политиканов... Да, барышня, приземленных... социализм, полный молока человеческой нежности, о которой говорит Шекспир... «Эс» как в слове «социализм», буква «аш» как в слове «гидра», провозглашает свои благородные идеалы». Точка... *(франц.)*.

ры политических газет, действительно, читали Серизье. Его репутация публициста отставала от ораторской славы, и писал он, собственно, не статьи, а те речи, которые не удавалось произнести. Две-три передовые в месяц надо было уделять общим вопросам социализма: это поднимало дух и умственный уровень читателей. Серизье советовал старому миру ухватиться за идею президента Вильсона: Лига Наций еще могла отсрочить гибель старого мира.

«...Ce grand bourgeois représente non seulement le meilleur d'une classe condamnée par l'histoire... Un point... il est aussi l'expression vivante de sa détresse... Virgule... de l'angoisse profonde qui étreint la bourgeoisie mondiale devant le spectre qui se dresse à l'Orient... Un point... La noble révolte du peuple russe... Virgule... avec les erreurs que ses grands chefs ont commises et que nous sommes les premiers à reconnaître... Virgule... erreurs si excusables toutefois après de longs siècles de barbarie tsariste... Tsariste, Mademoiselle, «T» comme «travailleurs», «S» comme «soleil». Oui, c'est ça... Virgule... la grand révolution russe donne une terrible et magnifique leçon... Entre parenthèses: la dernière peut être... Fermez la parenthèse... au vieux mond acculé au pied du mur» [1].

V

Перед огромной гостиницей, отведенной британской делегации, по обыкновению стояла вереница частных автомобилей. Клервилль никогда не мог пройти мимо нее равнодушно,— как библиофилы не могут пройти мимо витрины книжного магазина. Он говорил, что знает больше ста автомобильных марок и на ходу безошибочно распознавал любую машину. Это приводило Мусю в восторженный ужас. Сама она, несмотря на объяснения мужа, узнавала только автомобили Рено,— «и то больше по восточному носу». Муся направилась было ко второму, меньшему зданию, где был их номер, и вдруг заметила, что первым в веренице стоит автомобиль Ллойд-Джорджа. Эту великолепную машину

[1] «...Этот хозяин-капиталист — не только лучший представитель класса, приговоренного историей... Точка... Он также яркое свидетельство его крушения... Запятая... глубокой тревоги, охватывающей мировую буржуазию перед призраком, поднимающимся на Востоке Праведное возмущение русского народа... запятая... с ошибками, которые его вожди совершили... и которые мы первыми признали... Запятая.. ошибками, столь простительными после долгих веков варварства царистского режима... Царист, барышня.. «Т» как в слове «трудящиеся», «Эс» как в слове «солнце»... Да, правильно... Запятая... Великая русская революция дает страшный и славный урок... В скобках.. может быть, последний... Закройте скобку... старому миру, припертому к стене» *(франц.)*.

она отличала по наружности шофера, и еще потому, что вблизи автомобиля обычно гуляли сыщики,— «люди из «Скотлэнд-Ярда»,— говорила Муся с тем же восторженным ужасом: слово «Скотлэнд-Ярд» вызывало у нее в памяти какой-то старый английский роман, которым в переводе увлекался когда-то Григорий Иванович Никонов. Но заглавие этого романа она так и не могла вспомнить, что отравляло ей жизнь (Муся сама себя ругала за это дурой). «Значит, он здесь!.. Верно, сегодня танцуют... Ах ты, Господи!» — сокрушенно подумала Муся. Надо же было, чтобы именно в этот день она возвращалась домой одна, без мужа.

Мусе очень хотелось познакомиться с Ллойд-Джорджем. Его необычайная слава чувствовалась в том, *как* англичане произносили слова «The Prime Minister» [1]. Но и независимо от своей личной славы, Ллойд-Джордж, the Prime Minister, был как бы символом величия и блеска того общества, к которому теперь *почти* принадлежала Муся. Вивиан обещал, что его начальник, очень хорошо к нему относившийся генерал, при случае познакомит ее с Ллойд-Джорджем. Сам он был представлен первому министру, но Муся догадывалась, что едва ли первый министр помнит имя ее мужа.

«Вот теперь как раз и был бы случай, может, больше такого не будет... Ах, какая досада! — говорила себе Муся.— Если б я знала, что сегодня будут танцевать!..» Ее вдруг взяла злоба против мужа, оставившего ее как раз в такой вечер. «Правда, я сама ему сказала за обедом, что поеду в театр с Жюльетт, а оттуда к Леони, и не позвала его ехать с нами (Клервилль не одобрял дружбы Муси с семьей Георгеску). Но он был рад, что я его не позвала,— раздраженно подумала она: ей было не до справедливости.— Нет, как ему угодно, а я не желаю пропустить такой случай...» Сказать мысленно «как ему угодно» было легко, но одной появиться на балу было невозможно. «Разве зайти спросить о чем-нибудь швейцара. Хоть издали увижу... Я попрошу разменять мне сто франков...»

Муся толкнула вертящуюся дверь,— мальчика у двери не было,— и вошла. Ее сразу ударил по нервам яркий свет, доносившиеся спереди знакомые звуки заразительно-радостной музыки. По тому отрезку холла, который был виден от входа, медленно проходили танцующие пары. В глазах Муси слились мундиры и черно-белые силуэты, белоснежные скатерти, серебряные ведерки с бутылками,— все, что она любила. Муся подошла к стойке справа от входа и с тем энергичным выражением, какое было свойственно ее отцу, попросила швейцара дать ей мелочи на сто франков.

[1] Премьер-министр (*англ.*).

Другой швейцар (вся прислуга в главном здании гостиницы теперь состояла из англичан) подал ей на подносе письмо. «Да, ведь я уехала до вечерней почты. Самое простое было — спросить, нет ли писем... От мамы»,— беспокойно подумала Муся, взглянув на конверт: в последнее время в письмах Тамары Матвеевны почти всегда было что-либо неприятное. На конверте сообщались по-немецки название, адрес, телефон, отличительные черты и преимущества того Hof'a на Kurfürstendamm'e [1], где жили ее родители. «Право, в такое время они могли бы мне писать в других конвертах... Все-таки я жена английского офицера, и тут везде ходят эти люди из Скотлэнд-Ярда...» Но, по-видимому, оба швейцара были вполне равнодушны к тому, откуда получает письма жена английского офицера. Старший швейцар отсчитывал деньги, чуть слюнявя палец. Муся попробовала надорвать конверт, тугой угол не поддавался. «Не читать же здесь... Что ж теперь?..» Она сунула конверт в сумку вместе с деньгами.— «Можно пройти к тому выходу...»

— Thank you ever so much [2],— сказала Муся швейцару. Это было лучше, чем «thank you very much» [3],— она теперь старалась запоминать настоящие английские выражения, но нередко употребляла их не там, где было нужно: Вивиан только весело смеялся. Муся оставила на подносе пять франков и тотчас пожалела: «Как будто взятку дала!..» Швейцар изумленно на нее посмотрел и почтительно поблагодарил. «Была, не была, пройду к тому выходу. Авось, не примут за кокотку»,— решила Муся: это значило пройти по всему холлу, на виду у танцующих, на виду у Ллойд-Джорджа. «Конечно, он здесь...» Муся пошла вперед, как, бывало, на морском курорте в первый раз пробегала из кабины к морю в модном купальном костюме, с мучительно радостным волнением, с желанием возможно скорее оказаться в воде, как другие. И тотчас, совсем как тогда на курортах, она, выйдя на простор холла, почувствовала, что на нее устремились все взгляды: очевидно, действовало манто bleu de roy. Оркестр играл ее любимый уон-степ. «Глупо смотреть в сторону, точно я их не замечаю, да и незачем было тогда лезть... Надо посмотреть и поклониться с улыбкой, подумают, что я кланяюсь знакомой даме...»

Она повернулась к залу и с милой улыбкой поклонилась в пространство. Весь холл был густо заставлен белоснежными столиками; для танцующих оставалось мало места. В ту же секунду Муся увидела Ллойд-Джорджа. Он сидел

---

[1] Здесь: пансион на Курфюрстендам (*нем.*).
[2] Спасибо вам огромное (*англ.*).
[3] Большое спасибо (*англ.*).

на почетном месте,— для него были сдвинуты два стола,— и, с радостной усмешкой на умном старчески лукавом лице, что-то говорил смеявшимся почтительно соседям. Муся продолжала на ходу улыбаться в пространство,— знакомая дама могла сидеть в том углу слева: оттуда на нее смотрело, правда, без улыбок, несколько дам. Вдруг ей бросились в глаза знакомые лица. Она чуть не ахнула от изумления. С высоким английским капитаном танцевала горничная ее этажа,— очень хорошенькая, нарядная девушка, но горничная! «Не может быть!.. Да нет же, конечно, это она!.. Так это «чопорные англичане, самая замкнутая среда в мире!..»

Капитан с горничной как раз проплывали мимо столика Ллойд-Джорджа. Первый министр, жизнерадостно покачивая головой в такт музыке (Мусе показалось, что он и ногой притоптывал под столом), блаженно глядел на проходившие пары. Смущение Муси вдруг исчезло. Замедлив шаги, она с любопытством смотрела на танцующих. Ллойд-Джордж потерял в ее глазах интерес. «Вот она, послевоенная демократия!.. Ну, и слава Богу! Я-то что за аристократка?..» Муся знала в лицо капитана, танцевавшего с горничной. «Сэр, сэр... Забыла, какой, но хороший сэр... Вивиан говорил, что он всю войну был на фронте... Конечно, ему теперь совершенно все равно, что горничная, что герцогиня, лишь бы хорошенькая... И слава Богу! — разочарованно подумала Муся.— Господи, сколько здесь бутылок!.. Кажется, они все пьяны!» В ее памяти почему-то встала матросская танцулька в особняке князя Горенского. «Может, завтра и здесь будут большевики. Никто теперь ничего не знает, не знает и этот старичок, их prime minister... Может быть, завтра горничная не пожелает с ними танцевать. Все везде спуталось, все запутались, и prime minister не лучше других... А то, на наш век хватит? Ах, дай-то Бог!..» Муся подходила ко второму выходу гостиницы.

— Voici la clef de Madame[1],— сказал Мусе швейцар, единственный служащий-француз, оставленный в малом здании гостиницы. Он очень благожелательно относился к Мусе, оттого ли, что она хорошо говорила по-французски, или оттого, что была не англичанка.— Mon colonel n'est pas encore rentré[2].

Швейцар, пробывший четыре года солдатом, и в глаза называл Клервилля «mon colonel»[3]. Это было не то что фамильярно, а несколько странно для такой гостиницы. Муся

[1] Вот ваш ключ, сударыня *(франц.)*.
[2] Мой полковник еще не пришел *(франц.)*.
[3] Мой полковник *(франц.)*.

вдобавок все еще не могла привыкнуть к мысли, что у нее вправду муж — английский подполковник. Она и к фамилии своей привыкла не сразу,— как люди в начале года по привычке ставят старый год в заголовках писем. Новый чин Вивиана, впрочем, нравился ей больше, чем прежний: в чине майора было что-то кавказское или шотландское, старенькое и провинциальное: Максим Максимыч, жюль-верновский майор Мэк-Набс... Муся, зевая, взяла ключ. Оживление прошло. «Что это было неприятное?» — спросила она себя, поднимаясь по лестнице; их номер был в первом этаже. «Да, письмо от мамы, верно, опять какие-нибудь заботы...» — полусознательно обманула себя Муся. Неприятное было то, что она *с облегчением* услышала слова «mon colonel n'est pas encore rentré».

В малом здании все уже спали. У дверей комнат стояли туфли, башмаки, военные сапоги со шпорами. Из официантской на мгновенье выглянул в коридор старичок, окинул Мусю быстрым взглядом и скрылся. Муся знала, что это человек из Скотлэнд-Ярда. В официантской горел огонь. На ходу Муся увидела ряд выстроенных плетеных корзин. Вивиан недавно объяснил ей, что сюда по вечерам сносились корзины с разорванными бумагами из всех номеров гостиницы,—здесь клочки старательно уничтожались: Скотлэнд-Ярд принимал меры, чтобы какая-либо интересная бумага не досталась французской разведочной службе. Это сообщение тогда поразило Мусю: вот тебе и вечная дружба союзников! Однако Вивиан не находил ничего странного в действиях Скотлэнд-Ярда. «Жгите, жгите, друзья мои»,— подумала Муся, отворяя дверь своего номера.

Она зажгла люстру, пустила маленькой струей воду в ванне,— «не забыть, чтоб не перелилась...» — заглянула в спальную; было все-таки неуютно одной в большом, очень холодном, номере из двух комнат. По оставшейся с детства привычке, Муся поглядела по углам,— в поразившем ее когда-то рассказе швеи Степаниды купеческая дочь увидела в углу под стоячим зеркалом ноги спрятавшегося разбойника. Муся оставила свет в обеих комнатах и в ванной, перешла в гостиную, сняла привычным движением ожерелье, кольцо (подарок Вивиана), аккуратно сложила их в небольшую шкатулку и вынула из сумки письмо, бросив в корзинку разорванный конверт (уничтожение ненужных бумаг всегда доставляло ей удовольствие). «Какое длинное!» — подумала она.

Родители Муси не без приключений выехали из Киева вскоре после падения гетмана. По словам Тамары Матве-

евны, спаслись они чудом, так как голова Семена Исидоровича была оценена, не то большевиками, не то петлюровцами, не то сразу и петлюровцами, и большевиками. Кременецкие прожили некоторое время в Польше, пока в Германии происходили тревожные события, затем, списавшись с Мусей, встретились с ней в Дании. Встреча была необыкновенная,— все трое плакали от радостного волнения.

Мусе показалось, что ее отец изменился, похудел и постарел. Но он подчеркнуто бодрился и говорил по-прежнему с большой энергией. После первого беспорядочного обмена впечатлениями о пережитом, Муся предложила родителям поселиться в одном городе с ней. По лицу Тамары Матвеевны было ясно, что она только об этом и мечтала, но мечтала безнадежно. Семен Исидорович тотчас твердо заявил, что хочет обосноваться в Берлине. «Нужно быть поближе к России»,— сказал он с особенно энергичным выражением, словно из Берлина собирался начать такие действия против большевистского правительства, которые из другого города вести было бы очень трудно.

Тамара Матвеевна, вздыхая, поддержала мужа: конечно, им нужно поселиться в Берлине. Немного поспорив, Муся согласилась с отцом. Она искренно любила родителей, но могла любить их и на расстоянии. Муся и думала о них главным образом при чтении писем. К тому же она понимала, что для ее отца теперь имеет большое значение дешевизна жизни в Берлине. Семен Исидорович перевел в марки значительную часть своих стокгольмских денег. Об этом Тамара Матвеевна заговорила с дочерью сейчас же после того, как осталась с ней наедине. «Кто мог подумать? — говорила она, тяжело вздыхая.— Тогда был очень выгодный курс, и сам Нещеретов сделал то же самое... Он это и нам посоветовал... Он массу потерял, массу!» — добавила, расширяя глаза, Тамара Матвеевна.

Семен Исидорович собственно стал жертвой одного своего афоризма: разобравшись в событиях после перемирия, он в Варшаве заявил жене, что Германия все-таки есть Германия, а марка все-таки есть марка. Тамара Матвеевна тотчас с ним согласилась, пораженная верностью этого замечания. Афоризмы Семена Исидоровича особенно действовали на его жену в момент их создания,— как химические элементы действуют сильнее in statu nascendi [1]. У него и довольно обыкновенные замечания часто звучали как «Жребий брошен!» или «Нет больше Пиренеев!». Но ко времени встречи с Мусей об афоризме «марка есть марка» Креме-

[1] В момент своего образования *(лат.)*.

нецкие больше не вспоминали: у них оставалась небольшая доля капитала, который Семен Исидорович в 1917 году перевел из Петербурга в Стокгольм. Муся видела, что ее отец очень угнетен. Он как-то вскользь даже сказал, что увы! наряду с адвокатурой,— какая же за границей адвокатура? — ему, быть может, временно придется заняться другими делами. Это в самом деле было очень тяжело; однако нервных людей могло раздражать горько-трогательное «увы» Кременецкого: так, Иоганн-Себастьян Бах зарабатывал хлеб уроками музыки — и латинского языка. Семен Исидорович впервые стал соблюдать строгую экономию в расходах. Правда, родители поднесли Мусе дорогой свадебный подарок, большую черную жемчужину с изумрудами, на платиновой цепочке,— «царский жест!» — говорила Муся. Однако это был последний царский жест Семена Исидоровича. Денег ей, после первого стокгольмского чека, родители больше не посылали, что очень их угнетало.

Это было неприятно и Мусе. У них были вполне достаточные средства. Двоюродная тетка Вивиана умерла,— «очень тактично, не засиживаясь, как полагается уважающей себя двоюродной тетке»,— говорила матери Муся, изредка себя примерявшая к циничному тону. Тамара Матвеевна ахала с искренним ужасом: «Муся, как тебе не стыдно! Это, все говорят, была такая чудная женщина!..» Полученное наследство оказалось менее значительным, чем они думали: пришлось заплатить очень большой налог,— Семен Исидорович только поднял брови, услышав, сколько ими было заплачено наследственной пошлины.— «Отчего же Вивиан не посоветовался с хорошим юристом?» — спросил он с искренним удивлением (этот вопрос вызвал столь же искреннее удивление у Клервилля). Они могли прекрасно жить на проценты с капитала. Однако пригодились бы и те двадцать тысяч фунтов, которые, по словам Семена Исидоровича, были им отложены для Муси в Петербурге — и, конечно, должны были к ней поступить тотчас по восстановлении России.

Муся знала, что Клервиллю в голову не приходила мысль об ее приданом: он по-настоящему оскорбился бы, если бы в нем такую мысль заподозрили. Она очень это ценила, и все-таки думала, что было бы много лучше иметь и собственное состояние. Так, на туалеты ей было положено триста фунтов в год. «Предостаточно! Больше чем достаточно на тряпки!» — энергично говорил Семен Исидорович. Тамара Матвеевна, с легким выражением грусти, говорила то же самое: «Подумай, Мусенька, в такое время, когда другие копейки не имеют, когда сама Мирра Константинов-

на ходит, как нищая! Ты помнишь, как она одевалась в Петербурге!..» Мусе однако не было дела ни до какой Мирры Константиновны. Она знала, что на триста фунтов в год, даже при ее умении и вкусе, нелегко быть хорошо одетой. Муся могла истратить и больше; но при первом их разговоре, когда после смерти тетки они составляли новый бюджет, Вивиан ассигновал ей на туалеты именно триста фунтов. В свое время, до революции, Муся, нисколько не стесняясь, спорила с матерью о тратах на платья и неизменно добивалась всего, что хотела. Мужу она поспешно сказала: «Разумеется, трехсот фунтов совершенно достаточно. Даже, по-моему, слишком много...»

VI

Письмо было, как всегда, довольно бестолковое. Тамара Матвеевна, не мастерица писать, вдобавок не любила точек, предпочитая им запятые. Но Муся давно привыкла к ее слогу; ей казалось, что большинство людей в письмах гораздо глупее, чем в жизни. Она невнимательно пробежала несколько первых строк. Вдруг сердце у нее забилось: «Бедный папа!..» Мать сообщала ей, что Семен Исидорович болен сахарной болезнью.

«...Ты знаешь, Мусенька, папу и его характер,— писала Тамара Матвеевна,— каково ему все это было, и еще потом эти денежные неудачи тоже очень на него повлияли, он, который все так хорошо понимает, послушался этого Нещеретова и купил эти проклятые марки и бумаги, если бы не это, мы и сами теперь были бы вполне обеспечены, благодаря папе, который еще в Петербурге понял, что надо перевести деньги в Швецию. И вам, дорогие дети, мы бы тоже тогда могли посылать, я отлично знаю, что вы, слава Богу, не нуждаетесь, и Вивиан такой благородный человек, но каково это папе, с его характером, что мы вам теперь ничего не даем, это ты сама понимаешь («четвертый раз они мне об этом пишут»,— подумала с досадой Муся). Но все это было бы полбеды, если б папа был вполне здоров. Ты сама в Копенгагене видела, как он плохо выглядит, и я из-за этого прямо ночей не спала, я еще в Варшаве требовала, чтобы он пошел к Верцинскому или к Гиммельфарбу, которых нам так хвалили, но ты же знаешь папу, как на него можно повлиять? Он говорил, что это все нервное, от тех киевских волнений, ты ведь представить себе не можешь, что мы тогда пережили... (Муся ясно себе представила выражение лица, испуганные глаза, интонацию Тамары Матвеевны, когда она говорила: «пережили», с ударением на втором слоге). Я тоже думаю, что нервы

здесь сыграли большое значение, а также этот переход к временному бездействию после кипучей деятельности папы, он ведь в Киеве был в центре всего, ничего без него не делалось, и, если б другие были как он, то большевики не сидели бы теперь в России. Папа говорит, что это только передышка и что Россия должна скоро возродиться и что мы скоро опять будем в Питере, я сама так думаю и чего бы я только ни дала, чтобы опять жить как прежде до всех этих несчастий, ты верно слышала, что бедный старик Майкевич умер в тюрьме, такой был славный человек и так любил папу. Одним словом я утешала себя, что это только нервы, а тут еще у папы были неприятные встречи и разговоры с разными тупыми доктринерами, которые все еще не могут понять, что для папы и Украина, и Рада, и гетман это была только необходимая стадия для восстановления единой России, папа сам мне говорил, что эти разговоры с тупыми доктринерами испортили ему много крови, ты ведь его знаешь. Но меня только удивляло, что он так много пьет воды, иногда целый графин за вечер, это совсем не было в его духе, и еще, что на нем пиджак и жилет стал сидеть свободно, и вот, представь себе, я его третьего дня упросила взвеситься в автомате, и ахнула, оказалось 78 кило, это значит, что он с Петербурга потерял двенадцать кило, ты наверное тоже помнишь, что он в последний раз взвешивался в Сестрорецке, и в нем было 5 пудов 16 фунтов, это на кило выходит 90 кило. Я сейчас же позвонила к профессору Моргенштерну, нам его очень хвалили, говорят, он первый в мире по внутренним, у него очередь такая, что я едва получила билет. Вчера мы у него были, и вот он сказал, что у папы, по-видимому, сахарная болезнь, хоть точно он еще не может сказать до анализа. Папу я, конечно, успокоила, ты знаешь, какой он мнительный при своем мужестве, но как только он прилег отдохнуть, он теперь отдыхает часок после обеда, я опять, уже сама, побежала к Моргенштерну и потребовала, чтоб он мне сказал всю правду, он меня тоже немного успокоил, говорит, что пока опасности нет, надо только соблюдать строжайший режим. Но сегодня я зашла в русский книжный магазин, где папу, конечно, знают, он там покупает много книг, и я там раньше видела русский Энциклопедический Словарь, тот самый, что стоял у папы в кабинете, и я там посмотрела о сахарной болезни, и думала, что я с ума сойду. Не сердись, моя дорогая, что я так тебя волную, но что ж я буду от тебя скрывать, кому же я напишу? Во всяком случае теперь о нашем переезде не может быть речи, Моргенштерн чудный профессор, и очень внимательный, я ему сказала, кто такой папа, он наверное и сам слы-

шал, и я хочу, чтобы папа был все время под его наблюдением, значит, мы увидимся не так скоро, но что же делать? Завтра, после анализа, опять тебе напишу, надеюсь, по крайней мере, что у вас все хорошо, дорогие мои дети, и радуемся за вас, каково мне жить так далеко от тебя (здесь было старательно зачеркнуто «но» и добавлено: «и от Вивиана»), но мы теперь из Германии так скоро не уедем, если только здесь можно будет хорошо устроить папу, а пока насчет продуктов тут очень неважно, масло я едва достаю, это Бог знает что делают союзники с их блокадой, скажи это Вивиану, папа говорит то же самое, он всегда предсказывал, что так будет...»

Вода в ванне подходила к краям. Муся, вздрагивая, вошла в ванную — там было теплее, повернула кран, попробовала рукой воду. «Бедный папа!» — повторила она. С сахарной болезнью у нее связывалось представление о людях, которые носят с собой коробочку с кружками сахарина и которым строго-гостеприимные хозяйки говорят: «Да бросьте вы ерунду, попробуйте моего варенья!», а остроумно-гостеприимные: «Самый выгодный гость, никакого расхода на сахар!..» «Разве это опасно? — с тревогой спрашивала себя Муся.— Мама пишет, в словаре сказано... Может, она не так поняла... А что, если это правда? Что, если не станет папы!..»

Она с ужасом постучала по стулу, покрытому мохнатой простыней. В ванной все было, как нарочно, мраморное, металлическое, стеклянное. Муся приподняла край простыни и постучала прямо по дереву. «Нет, этого не может быть, не дай Бог, не дай Бог!» — вслух повторила она. Ей стало жутко. «Скорей бы пришел Вивиан... Да нет же, этого быть не может!..» С отцом была связана вся петербургская жизнь, теперь казавшаяся ей безоблачно счастливой. «Бедный папа! И с мамой что я тогда сделаю?.. Вздор какой!» — мысленно прикрикнула она на себя. «Надо лечиться, ведь и профессор говорит, что не опасно»,— радостно вспомнила Муся и, заглянув в письмо, прочла снова: «говорит, что пока опасности нет, надо только соблюдать строжайший режим...» — «Ну, да, конечно... Вот только это слово «пока»... Что ж делать, если нужен режим: в пятьдесят четыре года у каждого человека должен быть какой-нибудь режим... Если у них не хватит денег, я попрошу у Вивиана (эта мысль была ей очень неприятна). Или сокращу свой расход на туалеты, деньги найдутся. Да и далеко не все еще они потеряли и прожили... Большевики к осени падут, все говорят...» Муся вздохнула и принялась раздеваться, ежась и трясясь от холода и волненья.

Через полчаса она лежала в постели, успокоенная ванной, очень красивая и нарядная в розовой шелковой рубашке с кружевами; по каким-то интимным воспоминаниям, эта рубашка у нее с Вивианом называлась «la chemise miracle[1]. Постель, мучительно холодная в первую минуту после ванны, понемногу обогревалась. Теперь можно было почитать. Муся с детских лет привыкла читать в постели. Чтение доставляло ей легкое физиологическое удовольствие, она читала — как курила папиросы: приятно, привычно, и перед сном хорошо. В Петербурге Тамара Матвеевна приносила ей яблоко, бутерброд или кусок торта,— тогда было совсем чудесно. Вивиан, однако, был решительно против этого. По его представлениям, есть надо было в столовой, читать в кабинете, а в постели — спать. От яблок и торта Муся должна была отказаться, но свое право читать в постели она отстояла, утверждая, что никогда не выдавала себя за спартанку. «Ты должен был бы жениться на спартанке или, в крайнем случае, если не было подходящей спартанки, то на хорошей английской мисс...» «Я и сам так думаю»,— отвечал обычно Клервилль. Муся, разумеется, истолковывала его слова, как шутку; но ей не нравилась эта шутка.

На одеяле лежал, с заложенным ножом, роман Барбюса. Этот роман в кругу Вивиана очень хвалили; Муся знала, что надо будет прочесть и хвалить; но ей приятнее было бы хвалить роман, не читая. За три вечера она не пошла далее двадцать третьей страницы, и теперь плохо помнила, что было на первых двадцати двух: «Что-то очень гуманное, за народ и против войны...» Муся тоже была против войны и заранее соглашалась с автором. И руки держать поверх одеяла было неприятно. «Уж не потушить ли? Нет, Вивиан должен прийти с минуты на минуту, два часа... Да, неприятное... Надо, надо, как следует, подумать о наших отношениях... Серизье, право, очень мил, зачем только у него борода? Он немного похож на Амонасро в «Аиде», как играл тот итальянец... Или это в «Африканке» Амонасро?.. Нет, в «Африканке» Нелюско... Но очень мил... Жаль, что я не попросила его похлопотать о визе для Вити... Он, наверное, легко мог бы это устроить. Впрочем, при первом знакомстве было бы неудобно, но в следующий раз, когда он к нам приедет, я непременно его попрошу. Прямо стыдно, что Вивиан до сих пор не получил для Вити визы... Может быть, он это делает нарочно?.. Неужели в самом деле ревнует меня к Вите? Это, разумеется, мило, но очень глупо... Если б я влюбилась в Витю, то это, право, было бы

[1] Волшебная рубашка (*франц.*).

почти как в идиотских сюжетах Вагнера: Зиглинда полюбила своего брата Зигмунда. Тогда папа — Вотан... Что это у меня все оперы на уме?.. Ну, хорошо, но я-то, я-то, чего же я хочу? Что это значит: не проворонить жизнь? Ах, все эти grandes amoureuses...[1] — Роман Жорж Санд с Мюссе — водевиль в двадцати действиях, одно пошлее другого... Так тушить?..»

Она увидела у лампы сложенный номер газеты и с облегчением вспомнила, что еще его не читала,— утром газету взял Вивиан. Не выпрастывая рук из-под одеяла, Муся подтолкнула роман. Он с мягким стуком упал на ковер: нож выпал, навсегда сгладив грань между известным и неизвестным в романе. Потом пришлось все-таки сделать усилие. Муся развернула газету, положила ее на колени и снова торопливо спрятала руки под одеяло. Как назло, попалась страница биржи и объявлений,— не перевертывать же опять.— «Belle propriété d'agrément, 8 pièces, garages, communs, parc, beaux arbres séculaires, pièce d'eau. Pris à debattre...»[2]. «Как же я с ним буду «дебатировать» цену? Сказал бы столько-то... И расписывает как... Beaux arbres seculaires... Просто деревья...» Приятно было думать, что в покупке такого имения теперь для них нет ничего невозможного. «Может, со временем и купим... Это когда будут дети... «Siphilis... Santal...» Какая гадость! New York 5.45, Londres 25.97»,— прочла она в ровненьких столбцах, симметрично напечатанных мелким шрифтом. «А я позавчера меняла фунты по 25.50... «Russe consolidé[3] 46.50...» Что такое russe consolidé? Плохо у нас все было consolidé. Где теперь бедная Сонечка? Думает ли обо мне? Жюльетт немножко на нее похожа, особенно в профиль, но она гораздо умнее... Сонечка была прелесть, но не умная, а эта ах какая девчонка! Нет, какая уж я grande amoureuse!.. Вот и этот длинный автомобиль можем купить, всего 9.800, сколько это на фунты? Четыреста фунтов и того нет... «Français, soutenez l'industrie française...»[4]. Как это глупо после войны! «Mesdames, si vous souffrez d'obésité...»[5]. Какой смешной этот человек с открытым ртом! Нет, спасибо, je ne souffre pas[6]. Муся взглянула в зеркало шкафа, стоявшего против постели, и улыбнулась. Да, очень мил Серизье... Неужели

[1] Великие любовницы *(франц.)*.

[2] «Прекрасное поместье, 8 комнат, гараж, службы, парк с чудесными вековыми деревьями, водоем. Цена по соглашению... *(франц.)*

[3] Русский обеспечен *(франц.)*.

[4] «Французы, поддержите французскую промышленность...» *(франц.)*

[5] «Дамы, если вы страдаете ожирением...» *(франц.)*

[6] Я не страдаю *(франц.)*.

я когда-нибудь буду лечиться от obésité? [1] И слово какое гадкое!.. А этот ксендз чего хочет? «Les 20 cures de l'Abbé Hamon. Rhumatisme, albumin, diäbéte...» [2] Диабет это и есть сахарная болезнь»...— Мусю опять толкнуло в сердце.— Так жаль папу!.. Бог даст, он поправится... Что еще было неприятного? Что-то такое я думала, когда увидела Ллойд-Джорджа... Да, конечно, обыкновенный старичок, запутавшийся, как все другие, может быть, еще несчастнее других... Все-таки это очень глупо, что я жалею первого министра Англии! Нет, не то... Вивиан? Витя? Ах, да, та танцулька... Князь, бедный князь!» — подумала Муся. Слезы вдруг навернулись у нее на глаза. «Бедный, несчастный Алексей Андреевич!..»

В гостиной блеснул свет, в спальную постучали, Муся поспешно вытерла слезы. Вошел Клервилль. Он всегда стучал, входя в комнату жены. В представлении Муси, это связывалось с тем, что она — иногда с гордостью, иногда с досадой — называла *стилем* своего мужа. «Смесь Тогенбурга с Maître de forges [3] Онэ»,— говорила Муся. Клервилля, вероятно, удивило бы предположение, что в обращении с женой он проявляет какой-то стиль, да еще заимствованный из иностранной литературы: он не читал Онэ и не помнил ни о каком Тогенбурге.

— Bonsoir, ma chérie [4].

— Bonsoir, mon chéri [5].

По желанию Муси, они обычно говорили между собой по-французски. Его английский выговор очень ей нравился,— «право, это выходит мило, совсем не то, что итальянский акцент или, о, ужас! немецкий»,— говорила Муся друзьям, со смехом повторяя забавные ошибки своего мужа.

— C'était amusant, votre soirée? [6].

— Très amusant [7],— ответила она, так же, как он, вставляя мягкий знак после m. Он засмеялся, сел на стул рядом с постелью и поцеловал Мусю. От него пахло сигарным дымом и вином. «Виски или шампанское? — спросила себя она.— Если виски, значит, был с приятелями. А если шампанское?.. Может быть, тоже был с приятелями...»

Муся ревновала классически: скрывая ревность, шутя, делая вид, что ей совершенно все равно,— она думала, что

---

[1] Ожирение *(франц.)*.

[2] Двадцать курсов лечения аббата Амона. Ревматизм. Белок. Диабет *(франц.)*.

[3] Хозяин кузницы *(франц.)*.

[4] Добрый вечер, дорогая *(франц.)*.

[5] Добрый вечер, дорогой *(франц.)*.

[6] Интересно было на вашем вечере? *(франц.)*

[7] Очень интересно *(франц.)*.

открыла свою, неизвестную другим женщинам, систему самозащиты. Этой системой Муся пыталась обмануть и себя, порою и здесь примериваясь к циничному тону, в подражание какой-то воображаемой парижанке — не то кокотке, не то маркизе: «Вот только не принес бы мне откуда-нибудь подарка...» Муся не знала, изменяет ли ей муж, но ей казалось, что он готов ей изменить с любой красивой женщиной: все они нравились ему почти одинаково. «Так он и на мне женился... Будем справедливы, я была для него отвратительной партией, глупее на заказ не найдешь»,— думала Муся, рассеянно слушая начало его рассказа о том, как он провел вечер. «Да, что-то неладно в наших отношениях... Так скоро, кто бы подумал? Я не люблю его... Нет, не «не люблю», но меньше, гораздо меньше. Чувствует ли он это? Кажется, нет. Он тактичный, умный...— да, умный,— но не чуткий... Можно не любить человека, однако это подкупает, если он все, решительно все делает для того, чтобы быть приятным... Разумеется, он милый, на редкость милый... Но вот то, что я о нем сейчас рассуждаю, как о милом чужом человеке, это показывает... Да нет, это ничего не показывает! — рассердилась на себя Муся.— И не в нем дело... Главное, я не хочу, чтоб все было одно и то же. Я не дам, не дам украсть у себя жизнь...» Вивиан говорил — все о своем, о скучном,— уже несколько дольше, чем мог говорить без реплики, и смотрел на нее с легким недоумением. «Верно опять что-нибудь из области âme slave» [1],— подумал он. Муся слова «âme slave» произносила с насмешкой,— так оно было принято и у всех ее русских друзей. Однако Клервилль решительно не понимал, над чем собственно они смеются. Он, впрочем, и вообще пришел к мысли, что понять Мусю ему трудно. Его женитьба была, очевидно, ошибкой, но эта ошибка не слишком тяготила Клервилля: в нем был неисчерпаемый запас оптимизма. Страстная любовь прошла что-то очень быстро, возможность тесного прочного сотрудничества оставалась: Мусю показывать было не стыдно, интересы были общие. «Не союзная, а сотрудничающая держава, assosiated power, как Соединенные Штаты»,— благодушно думал он.

— Я получила очень неприятное письмо. Папа болен,— нехотя сказала Муся в объяснение своего невнимания.

Клервилль тотчас принял озабоченный вид и подробно расспросил о письме. Муся искала, к чему придраться. «Нет, его корректность неприступна. Был ли тесть у Тогенбурга?»

— Надо подумать, что сделать,— сказала она, прервав его соображения о том, что распознанная вовремя болезнь

[1] Славянская душа (*франц.*).

чаще всего не опасна и что в Германии превосходные врачи. Ей хотелось рассказать о горничной, танцевавшей на их балу. «Нет, рано»,— решила Муся, тут же, в раздражении, признав, что их разговоры ведутся по какому-то им установленному порядку или этикету. «Сначала еще поговорить о папе, потом спросить, как он enjoyed[1] свой вечер с другими полковниками, потом можно и о горничной... Но что ж делать, если мне неинтересно, как он enjoyed полковников... А если были дамы, он все равно не проговорится. У него опыт достаточный,— не без гордости подумала Муся.

— Я очень все-таки расстроена.

— Да, конечно, я понимаю... Не пригласить ли их приехать сюда, в Париж?

«Предел самопожертвования,— прокомментировала Муся.— Корректность этого человека доведет меня до преступленья...» — Однако, несмотря на свою беспричинную злость, она почувствовала, что ценит его предложение. «Он очень милый, очень. Но мне с ним скучно... Когда дети пойдут, все изменится. Говорят, жизнь становится совершенно другой... Да, иметь от него детей... Будут красивые... Но дети это значит сейчас вычеркнуть чуть не год из жизни, изуродовать себя, аптека, грязь, потом мученья. Нет, не теперь!..»

— ...Я думаю, было бы прекрасно, если б они сюда приехали?

— Нет, не теперь!..— сказала Муся.— Какой же смысл? Это утомило бы папу, а в Берлине превосходные врачи,— поспешно добавила она, забыв, что он только что сказал то же самое. Клервилль взглянул на нее, затем встал и потянулся. Он по-своему объяснил себе ее раздражение. По наблюдениям Клервилля, Муся всегда была раздражительна, когда он устраивал два-три дня relâche[2],— это слово было принято в том языке, на котором они говорили по ночам и который нравился им обоим.

— «La chemise miracle»,— произнес он, улыбаясь. Муся тоже улыбнулась. «Программа принята...»

— A tantôt, ma chérie[3],— сказал Клервилль и с той же легкой улыбкой вышел в ванную.

VII

Доктор, под наблюдением которого находился мистер Блэквуд, рекомендовал ему совершенно безвредное снотворное средство. Однако мистер Блэквуд снотворных

---

[1] Провел *(англ.)*.
[2] Передышка *(франц.)*.
[3] До скорого, моя дорогая *(франц.)*.

средств избегал: он говорил, что не любит и боится этих крошечных серепьких кружков, каким-то непонятным способом отнимающих главную гордость человека: волю и сознание. Врач только снисходительно улыбался, слушая странные соображения своего пациента. Доктор был адмирал американского флота. Почему-то это было приятно мистеру Блэквуду, как бы придавая несерьезный характер лечению. По его взглядам, смерть была началом новой жизни, к которой надлежало себя готовить здесь на земле,— мистер Блэквуд это и делал уже лет десять. При таких взглядах, пожалуй, лечиться от болезней не приходилось. Правда, и в тех книгах, которые читал мистер Блэквуд, и по собственным его мыслям, здесь противоречия не было: земная жизнь все-таки оставалась величайшим благом, сокращать ее было не только бесполезно, но и грешно. Тем не менее мистер Блэквуд к врачам относился иронически. Он и приглашал адмирала больше для того, чтоб не лишать его заработка. Не было ничего худого в том, что этот старый военный врач,— не понимавший жизни, но почтенный человек, вдобавок очень не богатый,— тоже хотел на нем поживиться, как и все другие люди.

В третьем часу ночи, тщетно испробовав последнее средство — стократное ровное повторение слов «я должен заснуть и засну»,— мистер Блэквуд все же решил принять снотворное: ворочаться дольше в постели было нестерпимо. Он снова, в пятый или шестой раз, зажег лампу над постелью, дрожащей рукой разыскал стеклянную трубочку и, морщась, проглотил, не запивая водой, крошечный горьковатый белый кружок. Затем все произошло как всегда: потушив свет, он еще с полчаса ворочался с боку на бок, думая, что лекарство никакого действия не производит,— и заснул именно тогда, когда ему казалось, что заснуть больше не удастся.

Проснулся он в восьмом часу, с тяжелой головой, с неприятным вкусом во рту, с чувством неопределенной тоски и беспокойства. Однако мистер Блэквуд постарался преодолеть все это. Жизнь прекрасна, жаловаться — величайший грех. Неприятный вкус во рту проходил от ароматического эликсира. Мистер Блэквуд тотчас встал, принял тепловатый душ — холодный был запрещен адмиралом — и заказал завтрак.

Он доскабливал безопасной бритвой особенно старившую его желто-седую щетину на впалых морщинистых щеках, когда лакей с серебряным подносом вошел в гостиную номера. Завтрак был довольно обильный,— для работы требовались силы; но блюда, полезные для желудка, были

вредны почкам или сердцу. Если б запоминать все то, что говорил адмирал, и строго с этим считаться, то вообще есть не следовало бы ничего. Единственное, что любил мистер Блэквуд, было кофе, которое он сам готовил по особой, довольно сложной, системе. Гостиница предупредительно исполняла все причуды богача; ему приносили все необходимое для приготовления кофе.

Мистер Блэквуд зажег спиртовую лампу,— запах жженого спирта всегда оказывал на него бодрящее действие. Порылся ложечкой в Grape-fruit'e [1], посыпав его сахаром (Grape fruit, по словам адмирала, был полезен, а сахар вреден, но есть Grape fruit без сахара было невозможно, да и вредно из-за кислоты). Затем прикоснулся к овсяной каше, к ветчине, срезав с нее жир. Адмирал говорил, что чистое безумие — заваривать две столовые ложки кофе на чашку: это может позволить себе разве молодой человек с неутомленным сердцем. Мистер Блэквуд, улыбаясь, отвечал, что пьет такое кофе двадцать лет, по три раза в день.— «Вот оттого-то вы плохо спите!» — Завязывался вечный разговор, который ни к чему привести не мог: адмирал не думал, что смерть есть начало новой жизни, или, во всяком случае, не исходил из этого в своих предписаниях.

Позавтракав, мистер Блэквуд взял красный карандаш и принялся за корреспонденцию. Писем было одиннадцать, и, за исключением двух приглашений, все они заключали в себе просьбу о деньгах. Впрочем. и приглашения имели в сущности ту же цену, но в более прикрытой форме. Просьбы о деньгах мистер Блэквуд рассматривал, как крест своей жизни. Удовлетворять их полностью — никакого состояния не хватило бы и на год (так, по крайней мере, ему казалось). Большинство богатых людей, он знал, просто бросало подобные письма в корзину, если только за просителей или за благотворительное предприятие не хлопотали люди, с которыми надо было считаться. Так поступать мистер Блэквуд не мог. Он давно избрал средний путь: следовал инстинкту.

На этот раз пять писем пришлось надорвать, что означало «оставить без ответа». Одну просьбу он удовлетворил полностью: почтенная дама обращалась к нему в первый раз, прося его взять на свой счет годовое содержание воспитанника в благотворительном приюте: и цель была хорошая, и даме этой отказать было неудобно, и в письме назывались имена людей, уже исполнивших просьбу дамы: все это были люди приблизительно одинакового с ним по-

---

[1] Грейпфрут *(англ.)*.

ложения. Мистер Блэквуд поставил на письме крест. На остальных письмах он, следуя инстинкту, надписал красным карандашом цифры. Самым досадным оказалось последнее письмо. Другая дама предлагала билет, ценой в 100 долларов, на благотворительную лотерею в пользу впавшего в нужду известного скульптора. Сумма была невелика, гораздо меньше той, которой требовало содержание воспитанника в приюте. Но эта дама, профессионалка благотворительности, обращалась к мистеру Блэквуду не менее пяти раз в год. Она вдобавок была достаточно богата, чтобы оказывать своему скульптору помощь на собственные средства, без благотворительных лотерей. Мистера Блэквуда немного раздражило и то, что ему указывали, сколько именно денег он должен прислать. При всей своей доброте, он не мог в себе подавить и легкого презрения к скульптору, с которым он встречался в обществе, как равный, и который тем не менее просил у него милостыню. «Да, конечно, и очень даровитый человек может впасть в нужду,— подумал он хмуро.— Но это бывает редко. И все-таки это несколько странно, тут что-то не так... Может быть, он пьет или играет в карты? Во всяком случае я тут совершенно ни при чем...» Общество могло быть в долгу перед малолетним воспитанником приюта; перед взрослым, здоровым человеком никакого нравственного долга мистер Блэквуд за собой не чувствовал. Он надписал под выгравированным на письме адресом дамы: 50. Опытная секретарша должна была, по этой надписи, сообщить даме, что мистер Блэквуд, к большому своему сожалению, не может взятъ билета, но посылает 50 долларов, с просьбой передать их скульптору, о нужде которого он узнал с крайним огорчением. Это одновременно могло послужить косвенным указанием даме: впредь обращаться к нему с такими письмами несколько реже.

Покончив с корреспонденцией, мистер Блэквуд заглянул во французскую газету, узнал последние новости,— их было мало (в пору войны, особенно в последний ее год, у читателей дух захватывало каждое утро). В маленьком номере газеты, еще не оправившейся от военных потрясений, и читать было нечего. Мистер Блэквуд отложил ее и взял другую, американскую, раз в десять толще. Это была *его* газета. Он состоял в ней крупнейшим пайщиком; да ему отчасти принадлежал и самый замысел этой новой газеты. Другие богачи дали на нее деньги по его просьбе и больше из уважения к нему. Предполагалось создать неподкупный орган печати, ставящий себе целью службу обществу и нравственное влияние на народные массы. По обилию материала, по его качеству, по информации он должен был срав-

няться с лучшими газетами мира или даже превзойти их. Однако надежды мистера Блэквуда не оправдались.

Так и на этот раз он с неудовольствием пробежал заголовки на первой странице. «Denver Kidnapping»... «Six Suspects Held. Two Being from Puchlo»... «Killed by «Friends» Says Chief»... [1] «Убийства, грабежи, шантаж, зло, вот что царит в мире, теперь после войны еще больше, чем до нее...» Но газета, созданная для борьбы со злом, явно его раздувала и отнюдь не с обличительной целью, а, конечно, для увеличения числа читателей.— «Этим достигается увеличение числа читателей!..» Мистер Блэквуд с неприятным чувством вспомнил свои разговоры с главным редактором, который, по-своему убедительно, доказывал, что газетное дело не Армия Спасения и что никак нельзя замалчивать явления, больше всего интересующие читательскую массу. При этом на лице главного редактора светилась легкая усмешка,— в ее значении мистер Блэквуд никак сомневаться не мог: редактор, очевидно, считал его совершенным дураком и не выражал этого несколько яснее только потому, что, несмотря на договор и неустойку, не желал ссориться с крупнейшим пайщиком газеты.

Другие пайщики были газетой довольны: она шла хорошо, приносила доход, тираж все увеличивался. Этим был доволен и сам мистер Блэквуд: он не любил неудач и неудачников. Но с редактором они, конечно, говорили на разных языках. Для старого журналиста увеличение тиража газеты и количества объявлений было главной целью всего дела. По некоторым признакам мистер Блэквуд догадывался, что была и другая, еще более важная цель: раздавить конкурирующую газету: «Да, это у него спорт»,— думал мистер Блэквуд. Ему было известно, что редактор — человек в денежном отношении честный и почти бескорыстный; он вел игру в клубах и не только ничего не откладывал от своего жалованья, но обычно, в пору проигрышей, бывал кругом в долгу. По спортивным же инстинктам вел он — очень искусно — и те политические кампании, которые намечало правление газеты.

«Да, да, царство зла»,— пробормотал мистер Блэквуд, пробежав политический отдел. В России беспрерывно шли казни. В Германии дети умирали из-за блокады,— она продолжалась, хотя война давно была окончена. На мирной конференции дела шли не хорошо. Вильсон делал что мог, но зловещая фигура Клемансо господствовала над миром. Вырабатывавшийся мирный договор, очевидно, не мог оправ-

---

[1] «Похищение в Денвере»... «Шесть подозреваемых задержаны. Двое из Пухло»... «Убит «друзьями»,— сказал шеф»... *(англ.)*

дать связанных с ним надежд. «Для чего же *они* воевали?» — угрюмо спрашивал себя мистер Блэквуд.

По привычке он заглянул в финансовый отдел,— цены разных бумаг были ему известны из европейских газет, да и дел у него больше никаких не было. Решив уйти целиком в общественную деятельность, он распродал принадлежавшие ему предприятия. Теперь паи этих предприятий очень поднялись в цене. Статьи и заметки финансового отдела предвещали дальнейший хозяйственный подъем. Все было неприятно мистеру Блэквуду: то, что его акции поднялись после продажи, то, что, по-видимому, намечался хозяйственный подъем и без его плана, то, что, подъем этот, явно искусственный и непрочный, не соответствовал политическому положению мира. Люди наживались на общественном бедствии. Капиталистический мир не только не думал об исцелении от своих пороков, но, кажется, никогда не был так влюблен в себя, самоуверен и гадок, как теперь. «Вот что! Так он опять выплыл!» — с особенно неприятным чувством прочел мистер Блэквуд заметку об одном своем бывшем деловом враге. Этот банкир был накануне краха; теперь, как сообщал хроникер, он нажил большие миллионы, благодаря комбинации, которая изображалась в заметке чуть только не гениальной. Мистер Блэквуд знал, что ничего гениального в комбинации не было и что банкир человек весьма ограниченный, хотя и ловкий. «А может быть, никаких миллионов не нажил, и заметка пущена за деньги...» Мистер Блэквуд предполагал создать неподкупную и независимую газету. В действительности она вышла не совсем независимой и не совсем неподкупной. Редакция и правление, правда, взяток не получали и не приняли бы. Но кто разберется в финансовом отделе, кто выяснит происхождение всех этих заметок, кто поручится за их авторов? Были и запретные темы: о предприятиях, так или иначе связанных с крупными пайщиками газеты, не считалось возможным писать правду. Лучше было и не очень углубляться в исследование некоторых политических кампаний. «Это все-таки лучший из наших органов печати»,— утешал себя мистер Блэквуд, перелистывая огромную газету. В отделе «Obituares» [1] ему бросилось в глаза имя знакомого. «Неужели он? Да, это он... Сколько же ему было лет? 56—58?.. Он был значительно моложе меня...»

Мысли мистера Блэквуда приняли совсем мрачный характер. Он подумал о своей племяннице. Эта милая, молодая светская дама была замужем за состоятельным челове-

---

[1] «Некрологи» *(англ.)*.

ком и никак не нуждалась; вдобавок, он, мистер Блэквуд, давал ей немало денег и от себя. Его наследники относились к нему не только в высшей степени корректно (другого отношения он и не потерпел бы), но чрезвычайно ласково, почтительно, почти с восхищением, как к создателю семейного богатства. Однако никаких иллюзий мистер Блэквуд не имел: он прекрасно понимал, что и его племянница, и муж ее с нетерпением ждут его смерти, которая совершенно изменила бы их образ жизни. По совести, он не мог даже их за это осуждать: только бедным людям могло казаться, что почти все равно, иметь ли сто тысяч долларов или миллион дохода в год. Мистер Блэквуд чувствовал и то, что его наследники с тщательно скрытой тревогой принимают известия об его пожертвованиях, которые становились все крупнее. Он угадывал их тайную мысль: еще при жизни, из корректности и для избежания огромных наследственных пошлин, он должен был бы перевести на их имя часть своего богатства. «Ну, нет, пусть подождут»,— с внезапной злобой подумал он.

Мальчик постучал в дверь и подал на подносе визитную карточку. «Alfred Pevsner, homme de lettres» [1],— прочел с недоумением мистер Блэквуд. «Кто это?..» Мальчик сообщил, что этому господину, по его словам, назначено свидание в 10 часов утра. Мистер Блэквуд с досадой заглянул в свой карманный календарь,— он не любил рассеянности и считал забывчивость дурным признаком. «Ах, да, русский журналист, с которым я тогда разговаривал...» Собственно свидание ему не назначалось. Но за несколько дней до того мистеру Блэквуду была доставлена в гостиницу превосходно переписанная на машинке записка о необходимости создать новое кинематографическое дело, служащее идеям мира и сближения людей. К записке была приложена визитная карточка, с указанием, что автор позволит себе зайти к мистеру Блэквуду во вторник, в десять часов утра. Так как мистер Блэквуд ничего не ответил, то русский журналист, очевидно, имел некоторое право думать, что ему назначено свидание.

Записку мистер Блэквуд тогда же пробежал. Идея снова показалась ему интересной. Но в этот день он был в дурном настроении духа. Конечно, и журналист ни о чем другом, кроме денег для себя, не думал. Здесь дело шло не о сотне и не о тысяче долларов. «Ничего не выйдет из кинематографа, как ничего не вышло из газеты...» — сердито подумал мистер Блэквуд и велел сказать, что его нет дома. Ему однако тотчас стало совестно.

---

[1] Альфред Певзнер, литератор *(франц.)*.

— Скажите, что я экстренно должен был уехать и просил извинить,— добавил он. Мальчик почтительно произнес: «Yes, Sir».

Такого ответа дон Педро не ждал. Разумеется, миллионер был дома. Это достаточно ясно было и потому, что швейцар послал наверх карточку, и по улыбке вернувшегося мальчика, и по тону швейцара, когда он сообщил об отъезде мистера Блэквуда. Альфред Исаевич чрезвычайно огорчился. Если б было сказано, что его просят зайти в другой раз, оставалась бы некоторая надежда. Но «экстренно уехал»!.. Между тем на записку было затрачено немало труда, времени, даже денег: пришлось заплатить переводчику, переписчице. Дон Педро, впрочем, не обиделся,— он никогда не обижался на миллионеров, считая их особой породой людей,— и лишь автоматически сказал про себя: «Какой хам!..»

— Ах, уехал?.. Жаль,— небрежно заметил он швейцару и вышел на улицу. С запиской связывалось столько надежд! Альфред Исаевич уже был в мыслях директором огромного кинематографического предприятия с прекрасным жалованьем, с участием в прибылях. В этом плане его соблазняли не только деньги, он по-настоящему увлекся идейной стороной дела, своей будущей ролью в нем. Разумеется, дон Педро и прежде знал, что получить миллионы у мистера Блэквуда не так просто и что отказ вполне возможен. Еще четверть часа назад, в автомобиле, по пути в гостиницу, перебирая мысленно доводы и разъяснения, которые должны были подействовать на этого богача, Альфред Исаевич твердо себе говорил, что шансов мало: скорее всего ничего не выйдет (он не раз замечал, что дела удаются только тогда, когда заранее готовишь себя к неудаче). Но теперь не осталось и надежды. «Не выгорело, ничего не поделаешь... Но это ничего не значит. Не вышло с этим хамом, будем искать в другом месте»,— мысленно подбадривал себя Альфред Исаевич, направляясь к станции подземной дороги.

VIII

Рано зажженные фонари слабо просвечивали сквозь туман. Во двор Министерства иностранных дел беспрестанно въезжали автомобили. Клервилль помог жене выйти из потрепанной наемной машины; Муся едва успела осмотреться по сторонам; они вошли в подъезд и сразу оказались в мед-

ленно движущемся потоке людей. Ее обдало теплом, светом, запахом духов. И тотчас музыкальная фраза сонаты выскользнула у нее из памяти.

Они приехали в Министерство с утреннего концерта. Это было очень неудобно: можно было опоздать на заседание. Накануне за обедом вышла даже легкая размолвка. Клервилль, доканчивая работу, заметил, что для концерта следовало бы выбрать другой день: знаменитый пианист должен был еще два раза выступить в Париже. Муся почему-то не сказала, что на первом концерте будет исполняться вторая соната Шопена, которую она ни за что пропустить не согласна. Нравоучительный, как ей показалось, тон мужа раздражил Мусю, и она, ни с того, ни с сего, в туманно-общей форме ядовито прошлась насчет людей музыкальных и не музыкальных. Нельзя было чувствительнее задеть Клервилля: он прочел не одну книгу по истории музыки и отлично знал биографии всех знаменитых композиторов. Заглянув в записную книжку, он сухо озабоченно сообщил, что, к сожалению, не имеет возможности пойти на концерт: заседание его комиссии, наверное, так рано не кончится.

— Очень жаль... Что ж, я поеду одна, это будет не в первый раз,— таким же тоном ответила Муся. Совершенно некстати она вспомнила, что деньги его, а не ее, и тотчас сама устыдилась этой своей мысли.

Первое мясное блюдо было съедено в полном молчании,— было даже несколько неловко перед лакеем гостиницы, очень их ценившим. Но к следующему блюду Клервилль, который терпеть не мог ссор и очень любил индейку, счел нужным сказать, что напрасно хвалят парижский климат: ни зимы, ни весны, только лето и осень, вот и сегодня отвратительная погода. Муся, слабо торжествуя победу, процедила что-то неопределенное. Вскоре был найден компромисс: оказалось, что заседание не помешает Клервиллю заехать в концерт за Мусей,— никакого заседания у него не было, но престиж не позволял сдать позицию. А Муся согласилась уехать до конца концерта — соната шла в первой части,— и даже не раздражилась оттого, что Вивиан ест салат отдельно, после индейки,— обычно она это приписывала снобизму.

Муж действительно зашел за ней тотчас после того, как в антракте открылись двери залы. Он был в парадном мундире. На него сразу устремились взгляды, хоть публика еще хлопала раскланивавшемуся с эстрады седому пианисту. С высоты своего роста Клервилль быстро разыскал глазами Мусю и направился к ней. Она его увидела не

сразу. Взвинченная до слез музыкой, Муся аплодировала так восторженно, что пианист, выходя в третий раз, поклонился ей отдельно. «Как же я этого не заметила?.. Или это он неправильно истолковал? Но ведь тогда это другое, совсем другое дело, и я до сих пор сама не понимала, что я играю... Как же я *тогда* играла?..» Вивиан подходил к ней с улыбкой. «Да, это он»,— с непонятным удивлением подумала Муся. «Но ведь и он *тогда* был, и он имеет к этому отношение... Или, если не к этому, то к чему-то рядом...» Она вдруг почувствовала, что *все еще* его любит.

Муся сама играла эту сонату, думала, что хорошо ее играет, и страстно ее любила. Не нравился ей только финал, она обычно его пропускала. Однако на этот раз ей показалось, что старый пианист играет какую-то, лишь отдаленно ей знакомую, чудесную, изумительную вещь. «Что такое? Ведь я и в мыслях этого не имела!..» — спрашивала она себя, пытаясь разобраться. Она и не подозревала, что так значительно это начальное agitato[1]. И особенно ее поразила тема, над которой, она помнила, в ее растрепанной связке, валявшейся слева на крышке рояла, полустертым курсивом, над жирными черными очертаньями нот, было напечатано не совсем понятное и не важное слово: sostenuto[2]. Потом был марш. Муся играла его очень недурно, но теперь ей было стыдно вспоминать о своей игре. А за ним зазвучал финал, тот самый, который, по ее мнению, портил дивную сонату. Она и помнила его плохо. «Да, да, это там было,— думала, замирая, с расширенными глазами, Муся.— Но как же, как же я этого не видела? Ведь это главное!..» Финал у старого пианиста звучал загадочно, насмешливо и страшно, еще страшнее, чем «marche funèbre»[3]. У Муси рыдания подступили к горлу. «Да, разумеется, в этом все дело... Не случайно же он вставил похоронный марш в сонату... Ведь знал же он, что пишет! Он хотел сказать что-то очень важное, большое, таинственное... И значит, никто не понимал до этого старика...» Муся чувствовала, что пианист толкует загадочную сонату, как изображение всей жизни. «Но что же тогда может следовать за «marche funèbre»? Какой еще может быть «финал» после этого? Зачем это было ему нужно? Ведь нельзя было лучше кончить, чем этим гениальным маршем?..» Она слушала с восторгом и с ужасом. Муся понимала, что музыкальность в ней — самое чистое и лучшее, то, что старомодные люди, не смущаясь, называют иногда в ученых разговорах «святая святых».

---

[1] Взволнованно *(итал.)*.
[2] Размеренно, выдерживая темп *(итал.)*.
[3] Траурный марш *(франц.)*.

По дороге, в автомобиле, муж подробно ей объяснял, что эта соната — он называл ее сонатой in B flat minor — отнюдь не принадлежит к лучшим вещам Шопена: настоящее вдохновение в ней сказывается только в марше, к несчастью заигранном на похоронах сановников. Клервилль, видимо, старался рассеять в Мусе предположение, что он не музыкальный человек. Это ее трогало, но и слушать его было ей почти гадко. Муся предпочитала смотреть на своего мужа,— в парадной форме, необыкновенно ему шедшей, она видела его не часто. При всем своем волнении, Муся заметила в концертной зале, что на него смотрели все дамы. Настроения у нее менялись очень быстро. «Да, он красавец, писаный красавец, и надо быть идиоткой или сумасшедшей, как я, чтобы не быть в него влюбленной... Но я все-таки его люблю, хоть это и не о нем сказано в том sostenuto... То, верно, так мне и не дано...» Она сделала вид, что очень заинтересована его объяснениями, и даже спросила, что означает финал сонаты. Муся почти не сомневалась, что ему это известно. И действительно, Клервилль тотчас разъяснил, что финал — очень неудачный — изображает, как осенью сыпятся на кладбище листья. Это объяснение ошеломило Мусю: листья? какие листья? — но Клервилль говорил вполне уверенно, и, видимо, знал совершенно твердо, что в финале изображены именно падающие осенние листья. «Нет, он очарователен!.. Не «sostenuto», но очарователен...» Муся оглянулась по сторонам, быстро поцеловала мужа и отвернулась к окну, как ни в чем не бывало.

— Très flatté, ma chérie [1],— сказал Клервилль.

Он несколько недоумевал, но был очень доволен.

Толпа была парадная, еще параднее, чем на концерте. Взгляд Муси механически замечал все то, что стоило заметить. У нее мелькнула мысль об изменении фасона будущей новой шубы. «Эту зиму уж доношу котиковую, хоть начали чуть-чуть стираться рукава... А осенью котик на рукавах нужно будет подобрать, и сделаю новую, вот такую, как у этой,— соображала она.— Тысяч пять-шесть, если не у Грюнвальда. Но в сентябре будут свободные деньги... Моего и тут заметили...»

— Мы не опоздали?

— Кажется, приехали минута в минуту.

Впереди парадная лестница точно упиралась наверху в стенной ковер. Меха, мундиры, ливреи и фраки лакеев стеснились слева у огромных, открытых настежь, дверей. «Как

[1] Очень польщен, дорогая *(франц.)*.

у нас иногда бывало на балете в Мариинском театре»,— подумала Муся. У нее и чувство было то же, что в ту пору на парадных спектаклях: «как хорошо, что удалось достать билет!..» Кто-то сзади наступил Мусе на туфлю повыше каблука и сказал с иностранным акцентом «Pardon, Madame»... Она сердито оглянулась. «Болван этакий! Что, если порвал чулок!.. А уж запачкал наверное... Как в самом деле в министерстве допускают такую давку!..» Толпа медленно подвигалась по большим залам, мимо затянутых красным атласом стен, гобеленов, неестественно огромных каминов с такими же зеркалами, затем свернула вправо, еще стиснулась у двери, тоже неестественно высокой, и стала разливаться в большом зале. «Господи, что тут творится!..» Слева у открывавшихся куда-то просветов были в беспорядке сдвинуты столы, диваны, стулья. «Нет, я все-таки не думала, что в министерстве можно стоять на столах»,— успела сказать Муся. Но ее сердитые слова потонули в гуле радостно-возмущенных голосов. Толпа, ободренная беспорядком, напирала, заполняя залу. Муся и Клервилль оказались у бокового стола, на котором еще было место. Клервилль с улыбкой вопросительно посмотрел на Мусю и слегка развел руками, как бы показывая, что он здесь за порядки не отвечает.

— Иначе ничего не будет видно...

Муся растерянно оглянулась. «Да, разумеется, иначе ничего не будет видно! Все полезут на столы, сейчас и места на них не будет... Это глупо стоять на столе... Но что же делать?.. Не стоило тогда доставать билеты...» Она утвердительно кивнула головой. Клервилль очень ловко и бережно подхватил ее и поставил на стол без всякого усилия,— другие мужчины только с завистью оглянулись. «Да, с ним очень приятно... Il a du bon...[1] Стол, кажется, крепкий... Что, однако, если мы обвалимся?.. Не могли приготовить мест!..» — подумала Муся, осторожно ступая по столу вперед. На столе уже образовалось два ряда. Толстая дама окинула недоброжелательным взглядом Мусю и, слегка подвинувшись, сказала, с южным акцентом, своей соседке:

— Второй справа? Это министр финансов Клотц... А вон тот — президент сената Дюбост...

— Теперь будет видно отлично... Итак, после окончания, здесь,— сказал с улыбкой Клервилль и исчез. У него было место где-то среди английских экспертов. Муся, осторожно ступая по столу, продвинулась вперед — и ахнула.

---

[1] У него есть хорошие стороны *(франц.)*.

В большой густо раззолоченной комнате, под четырьмя люстрами, стоял огромный стол подковой, крытый зеленым сукном. За столом сидели люди,— все, как показалось Мусе, одинаковые, все седые и лысые, все в черных визитках. Но глаз ослепляли не они. Позади стола, вдоль стены, тремя рядами, расположились офицеры в пышных разноцветных мундирах, от которых за время войны отвык взгляд,— лишь изредка попадался скромный генерал в хаки. Красные, синие, черные мундиры в лентах и орденах пестрели ярким пятном на золотом фоне. «Господи, сколько золота!..» Золото здесь в самом деле было везде: на потолке, на стенах, на часах, на канделябрах, на мундирах. Значит, это и есть Салон Часов... Конечно, вот и часы, какие странные!.. Фигура на них нелепая. Какой это стиль? Кажется, Louis XIII [1]... Ах, как красиво!.. Точно на репинском Государственном Совете!..» В Салоне Часов все было чинно, не то что в зале, предназначенной для журналистов и для публики. «Да, конечно, *настоящие* там!.. Моего туда и не пустят...» Муся кое-как разбиралась теперь в погонах,— вдоль стен сидели люди поважнее ее мужа. Дам среди настоящих не было. За столом какой-то старичок в визитке старательно налаживал сложный акустический прибор, поднося трубку к уху и снова ее опуская. Другие переговаривались, поглядывая на красную портьеру сбоку. «Ах, как интересно!..» Муся была в совершенном восторге.

— Этот глухой — австралийский первый министр, не помню фамилии,— поясняла дама с марсельским акцентом.— Смотрите, в первом ряду, это маршалы, наши маршалы,— говорила она, называя имена. «Вот что здесь за персоны! — подумала Муся,— да, где уж моему?.. Очень смешной, однако, этот акцент... Я думала, в анекдотах шаржируют...» Она стала присматриваться к лицам. Многие из них показались ей знакомыми, но имен она не могла вспомнить. «Это Бальфур, красивый старик!.. Я видела его в гостинице. Этот тоже кто-то очень известный, но не помню кто... Впрочем, здесь все известные... Но где же Вильсон?.. Видно, его-то и ждут...» — «Ну да, вот она,— сказала неодобрительно ее соседка.— Я вам говорила, что она не пропустит такого случая...»

Из боковой раззолоченной двери в Салон Часов торопливо-смущенно вошла дама в красном платье, в красной шляпе с красным пером. По обеим залам пробежал сдержанный шепот: «Madame Wilson...» Дама поспешно прошла к концу стола, где, против отверстия подковы, чуть в стороне, стояло отдельное кресло. «Она-то не на столе... Все-

[1] Людовик XIII *(франц.)*.

таки это странно, что ее одну пустили сюда! У всех есть жены,— подумала с легким раздражением Муся, чувствуя, что и ее соседки, и вся публика разделяют эту невысказанную мысль.— Мне на ее месте было бы неловко... Приятно, конечно, но неловко... Платье красивое — кажется, я где-то видела эту модель... Но слишком яркое, и по-моему, ей не по годам... Я думала, она моложе...» — «Говорят, от нее все зависит, он ничего без нее не делает»,— сказала одна из дам на столе.— «Le voilà, le bienfaiteur de l'humanité!..» [1] — ответила дама-южанка.

Портьера открылась, на пороге сразу показались два человека в визитках, пропускавшие вперед один другого. Снова пробежал гул. Вдруг где-то раздался треск, что-то вспыхнуло, запахло гарью. Дамы ахнули и засмеялись своему испугу. Треск повторился. В разных местах зала щелкали аппараты. Делегаты за столом застенчиво улыбались. «Вот он, Вильсон! — восторженно подумала Муся. — Нет, он очень, очень представительный... И одет прекрасно, это Серизье врал из зависти...» Президент разыскал глазами жену, ласково улыбнулся ей и направился к столу. «Какое счастье быть таким человеком, первым человеком в мире! Думать, что весь свет на тебя смотрит... Жаль только, что он стар...» К удивлению Муси, жадно за ним следившей, Вильсон сел не в большое председательское кресло, стоявшее посреди подковы, а справа от него на стул, положив перед собой тонкую папку. В кресло уселся вошедший с ним человек,— Муся только теперь на него взглянула и увидела, что это Клемансо. «Вот кого не заметила! Забавно, надо будет рассказать... В самом деле, ведь он председатель конференции... Какие у него глаза, как будто удивленные, блестящие и, главное, злые-злые... Что это с ним? Или он всегда такой злой?.. Он в перчатках — это те самые перчатки, «легендарные»... Гул медленно затих.

— La séance est ouverte. La parole est à Monsieur le Président Wilson [2],— в наступившей тишине кратко и сухо сказал председатель. Голос у него был старческий; однако каждое слово было ясно слышно в самых отдаленных углах зала. Офицер в голубом мундире поднялся с места и повторил те же слова по-английски. «Как смешно!.. Ах, как интересно...»

Президент Вильсон встал, вынул из папки документ и снова улыбнулся жене. Та тоже приветливо ему улыбалась. Клемансо тяжело повернулся в кресле. Мусе показалось, что он смотрит на президента с отвращением и с насмеш-

---

[1] «Вот он, благодетель человечества!..» *(франц.)*

[2] Заседание открыто. Слово господину президенту Вильсону *(франц.)*.

кой. «Как он смеет так на него смотреть!.. Но и то, в самом деле, что за манера здесь любезничать с женой...» Вильсон приблизил документ к глазам и начал читать. Первые его слова не дошли до Муси. Сияя улыбкой, президент читал ровным голосом, без всякого выражения, не очень внятно. Позади Муси снова вспыхнул магний. На запоздавшего фотографа зашикали с разных концов зала. Муся оглянулась — и вдруг в нескольких шагах от себя увидела Брауна. Она задохнулась. И в ту же секунду в душе ее снова прозвучала та фраза из сонаты, нелепо и страшно смешиваясь с фразой «Заклинания цветов», взявшейся неизвестно откуда.

Он ее не видел. Он стоял вполоборота к ней и, приложив руку к уху, внимательно слушал. «...and to achieve international peace and security by the acceptance of obligations not to resort to war» [1]— говорил размеренный скучный голос. «Что делать? — замирая, спрашивала себя Муся.— Господи, как это неожиданно!..» Она не могла сойти со стола без помощи мужа. «Не прыгать же!.. Отвернуться так, чтобы он меня не видел? Нет, нет, я *хочу* с ним говорить... Ах, какая я идиотка, что забралась на этот стол! И ничего нет интересного в том, что тот говорит. «...and by the maintenance of justice, agree to this Covenant of the League of Nations» [2],— читал голос. «Потом при выходе? Но если он уйдет раньше! И мы не встретимся в такой толпе... Во всяком случае я должна узнать его адрес. Да, это была судьба. Неужели это *то*, любовь, настоящая любовь?..» Муся с испугом оглянулась на соседей. «Нет, никто не мог ничего заметить... Заметить что?.. Да что же собственно случилось? Появился Браун, только и всего. Это можно было предвидеть, здесь сегодня весь Париж. Сколько раз я замечала, что случается только тогда, когда не предвидишь... Он изменился и постарел...» Муся снова бросила взгляд в его сторону — и с ужасом встретилась с ним глазами.

По его лицу пробежала тень. Он поклонился, Муся закрепила его поклон радостно-изумленной улыбкой. «Теперь, конечно, должен подойти. Если не подойдет, значит, он совершенный грубиян... Потом — сейчас, конечно, нельзя... Но больше не надо на него смотреть...» Муся повернулась к Салону Часов и сделала вид, будто слушает. Слова Вильсона назойливо заглушали божественную фразу сонаты.

---

[1] «...и чтобы достичь международного мира и безопасности принятием обязательств не прибегать к войне» *(англ.)*.

[2] «...и укрепляя справедливость, согласимся с этим Уставом Лиги Наций» *(англ.)*.

«Нет, я не могу!.. Кому это нужно и когда же это кончится?.. Что такое covenant [1], какое мне дело до covenant'а?..»

Слушать она не могла. Ее глаза перебегали по Салону Часов. Где-то далеко впереди за деревьями прошел трамвай. «Как странно...» С волнением, стыдом и страхом Муся искала мужа. Его не было,— очевидно, он слушал из боковой комнаты. Вдруг ей пришло в голову, что сзади, на чулке над туфлей, у нее, быть может, дырка. «Да, конечно, тот подлец мог надорвать!..» Она повернула ногу, чулок был как будто цел. «Что же я ему скажу, если он подойдет... когда он подойдет?.. Только не «какими судьбами?», не «вас ли я вижу?», не «давно ли вы в Париже?..» И не надо вспоминать о Петербурге, о том, что было... Это потом, не здесь и не сейчас... Я приглашу его к нам, ведь он был приятелем Вивиана... Но когда же тот кончит?..» Муся умоляющим взглядом смотрела на Вильсона. Высокий человек с сияющей улыбкой читал несколько скорее, но так же утомительно однообразно. Древний старик на председательском кресле спал — или очень хорошо притворялся спящим.

IX

Витя простился с Кременецкими на берлинском вокзале, расцеловавшись и с Тамарой Матвеевной, и с Семеном Исидоровичем. Тамара Матвеевна даже всплакнула в ту минуту, когда, под дикий крик кондуктора «Einsteigen!» [2], в третий раз поднялась в вагон: устроив Семена Исидоровича на лучшем месте купе, она два раза спускалась за газетами и за содовой водой. Все это предлагал принести Витя, но Тамара Матвеевна деликатно не хотела вводить его в расходы; да и никто другой не мог, как следует, выбрать то, что было нужно Семену Исидоровичу,— даже содовую воду и газеты. Когда поезд тронулся, Тамара Матвеевна еще долго стояла в коридоре вагона, загораживая проход, к неудовольствию пассажиров-немцев: все кивала головой Вите и что-то наставительно ему кричала, хоть он этого больше никак не мог слышать.

Витя был и огорчен отъездом Кременецких, и чуть этому отъезду рад. В Берлине родители Муси были единственные близкие, почти свои, люди. Витя искренно их любил, ценил их доброту. Но мысль о деньгах без причины сказывалась и на его отношении к Кременецким.

Муся еще в феврале заставила Витю переехать из Гельсингфорса в Берлин. Он расстался с ней довольно давно:

[1] Здесь: устав *(англ.)*.
[2] «Посадка!» *(нем.)*

Клервилли все переезжали из страны в страну, побывали в Швейцарии, в Англии, в Дании, потом оказались в Париже, но и там были на отлете. Муся хлопотала о визе во Францию для Вити, но, как ему в тяжелые минуты казалось, хлопотала не слишком настойчиво: «теперь это для русских страшно трудно»,— писала она ему в Гельсингфорс. Когда Кременецкие перебрались из Польши в Берлин, Муся решительно потребовала, чтобы и он *пока* переехал туда же: она хотела, чтоб Витя жил не один, а под надзором ее родителей,— так ей спокойнее, да и им веселее. «Что ж делать, что ты не любишь немцев,— писала Муся,— я и сама, как ты знаешь, не очень их люблю. Но теперь война кончена, и обо всем таком надо скорее забыть. . А университет в Берлине великолепный, об этом какой же спор? Пока что ты будешь там слушать лекции, потом мы увидим. Теперь ведь у всех все временно, и давно пора тебе перестать бить баклуши...»

Собственно никаких серьезных возражений против Берлина у Вити не было. Перед войной он с родителями останавливался там проездом и сохранил приятное воспоминание — так все там было чисто, удобно, уютно, шумно и добродушно весело. Финляндия успела ему надоесть; сноситься с Петербургом не было никакой возможности и из Гельсингфорса. Витю отталкивала лишь мысль о поступлении в университет, как обо всем вообще, что надолго и прочно могло связать его жизнь.

Деньги, данные ему Брауном, растаяли в Гельсингфорсе с необыкновенной быстротой. Витя и сам не мог понять, куда они делись. Правда, можно было заказать костюм и пальто подешевле, купить меньше белья и галстухов, не покупать дорожного несессера, не посылать Мусе *той* корзины цветов, за которую ему так от нее досталось. Не следовало жить в дорогой гостинице, где остановились Клервилли,— он успел заплатить по двум недельным счетам. Но все это Витя сообразил лишь тогда, когда денег больше не оставалось. По времени это как раз совпало с отъездом Клервиллей из Финляндии. Муся очень просто, без видимого стеснения, назначила ему месячный оклад (она так и говорила: «оклад»), точно это само собой разумелось. «Когда вернемся в Петербург, мы с Николаем Петровичем за тебя сочтемся,— уверенно сказала она, скрывая решительным тоном собственное смущение.— Ты, пожалуйста, веди счет, но обо всем этом не беспокойся и не думай...»

Не думать об этом Вите было бы трудно. Теперь отпадала сама собой дорого стоившая поездка кружным путем на юг России. Муся не хотела слышать об его поступлении

в армию. Витя совершенно не знал, что с собой делать. Еще совсем недавно ему показалось бы крайне оскорбительным предложение получать деньги от Муси, то есть, в сущности, от Клервилля (хотя Муся вскользь ему сказала, что оклад идет из денег, присланных ей Семеном Исидоровичем). Другого выхода у него не было. Заработка в Гельсингфорсе он не мог найти никакого. Мысль о деньгах отравляла Вите жизнь. Он чувствовал, что и разлуку с Мусей перенес легче оттого, что получать от нее деньги из рук в руки было бы тяжело, при всей ее деликатности. В письмах это сходило легче. «Удивительно, как быстро человек привыкает к самым унизительным вещам»,— иногда говорил себе Витя.

То же чувство смущения он испытывал позднее, в Берлине, в обществе Кременецких. Они приняли его почти как сына — с ним, особенно у Тамары Матвеевны, связывалось воспоминание о счастливой петербургской жизни. Оказалось, однако, что родители Муси разорены, доедают последнее и берегут каждый грош. Витя беспрестанно думал, что те деньги, которые он получал от Муси, могли бы идти ее родителям. Кременецким и в голову не приходило попрекать Витю этими деньгами. Тамара Матвеевна делала даже вид, что ничего о них не знает. Но это, по его мнению, выходило как-то особенно неловко: ведь должна же она была поинтересоваться, на какие средства он живет. Вите казалось, что родители Муси только об его окладе и думают; в самых невинных их замечаниях он усматривал намеки и потом наедине долго их толковал в самую обидную для себя сторону. В действительности Кременецкие, как и Клервилль, находили совершенно естественным, что Витя, оставшись без гроша, получает деньги от Муси. Сами они охотно помогали бы и менее близким людям, если б только им это позволяли средства. «Все это не может долго продолжаться,— утешал себя Витя.— Разумеется, это мой долг и я его им заплачу... Он аккуратно записывал в особую тетрадку суммы, так же аккуратно доставлявшиеся ему Мусей. Оклад она ему назначила достаточный и скромный,— больше по педагогическим соображениям, чтоб не избаловался.

Здоровье Семена Исидоровича не улучшалось. Он худел, жаловался на головные и сердечные боли, вид у него был очень плохой. Несмотря на все усилия Тамары Матвеевны, доставать для больного продукты лучшего качества оказалось в Берлине невозможно: блокада Германии продолжалась. Профессор Моргенштерн хмуро говорил, что в

болезни господина министра всегда возможны осложнения,— Тамара Матвеевна бледнела, слыша это слово.

Все теперь лежало на ней, даже дела Семена Исидоровича. Прежде она к делам не имела никакого отношения; теперь научилась разыскивать в биржевом отделе цену бумаг, которые были ими куплены на последние деньги,— и очень правдоподобно теряла газету в те дни, когда цены на бирже понижались: Семена Исидоровича все так волновало. Посоветоваться ей было не с кем, близких людей не было. Были знакомые, в большинстве новые, киевляне или харьковцы, также бежавшие в Берлин после падения гетмана.

Семен Исидорович в политике оставался оптимистом и верил в близкое освобождение России, которое, по его мнению, должно было начаться с Украины. Он говорил с горечью, что большевиков давно удалось бы свергнуть, если б в Киеве не были допущены роковые ошибки. Бывшие украинские сановники, обменивавшиеся с ним визитами, вполне с этим соглашались; но роковые ошибки каждый из них излагал по-своему. Несмотря на разногласия, политическая беседа велась в тоне спокойном, академическом, как подобает разговаривать о прошлом отставным сановникам. Все же эти разговоры волновали Семена Исидоровича. Волновало его и то, что редкие русские политические деятели, проезжавшие через Берлин, не изъявляли желания повидать его или говорили с ним очень холодно и враждебно, хоть среди них были приятели по Петербургу. Несмотря на свой политический оптимизм, Семен Исидорович стал мрачен. Тамара Матвеевна приписывала то его нервность нездоровью, то нездоровье — нервности, и не раз плакала, когда оставалась одна. Диагноз профессора Моргенштерна был для нее очень тяжелой неожиданностью.

Дней через десять после начала лечения выяснилось, что, несмотря на строгое соблюдение режима, Семен Исидорович еще исхудал. Тамара Матвеевна совершенно потеряла голову. В первую минуту она хотела телеграфировать дочери, потом раздумала: «что же может сделать бедная Мусенька?..» Профессор, к которому она бросилась снова, на этот раз ее отнюдь не успокоил.

— Для тяжело больных людей, сударыня,— строго сказал он (Тамара Матвеевна обомлела, услышав эти слова),— Германия теперь, к сожалению, не очень подходящее место, при блокаде, которую установила эта шайка разбойников. Вдобавок, у нас и недостаточно спокойно для человека с расшатанным сердцем. Может быть, господину министру лучше было бы переехать в Швейцарию. Если, конечно, для этого

есть материальная возможность? — полувопросительно добавил он.— Я рекомендовал бы, например, Люцерн. Там мой почтенный коллега, профессор Зибер, один из лучших в мире специалистов по диабету...

В тот же вечер Тамара Матвеевна начала подготовку дела. Вначале Семен Исидорович слышать не хотел о переезде: надо поддерживать контакт с Россией. Потом он стал уступать.

— Из Швейцарии,— возражала Тамара Матвеевна,— через союзные страны гораздо легче поддерживать контакт, чем из Германии. Я уверена, что гораздо легче!

— Золото, но ведь в Швейцарии высокая валюта! Где же взять деньги? Если твой умный муж так удачно сыграл на повышение марки и этих проклятых бумаг...

— Во-первых, не ты виноват, а Нещеретов, это он тебе посоветовал. Кому же ты мог верить, если не ему!.. Да, конечно, в Швейцарии жизнь будет стоить немного дороже, но что же делать? Все-таки наши «Diskonto», ты видел, поднялись до 168, «Bochumer» тоже немного поднялись. Я уверена, они еще поднимутся, хоть ты и сомневаешься (Тамара Матвеевна обеспечивала себе удовлетворение: либо акции поднимутся в цене, либо Семен Исидорович окажется и на этот раз правым, как всегда). А главное, твое выздоровление в швейцарских условиях пойдет очень быстро. Хотя, конечно, у тебя и так вид гораздо свежее в последние дни. Это все говорят в один голос, вот и Ничипоренко сказал мне то же самое, он тебя не видел три недели...

— Зачем же тогда уезжать?

— Да, но все-таки! Суди сам, разве можно быстро отделаться даже от такой легкой формы диабета, если есть приходится эти эрзацы и всякую дрянь! Кроме того, в Германии теперь всего можно ожидать! Я тебя знаю, ты ничего не боишься, но я не согласна опять еще и здесь переживать большевистскую революцию: после русской — немецкую. Нет, с меня достаточно! В Галле, в Бремене уже делается Бог знает что!.. И ты сам говоришь, что если эти спартаковцы придут к власти, то для нас...

— Да, уж тогда мне первым висеть на веревочке! Вот здесь на фонаре на Kurfürstendamm'е. Уж в Германии собачьи и рачьи депутаты обо мне позаботятся, если русские проворонили,— мрачно пошутил Семен Исидорович.

— Хорошо, хорошо... Но тогда тем более, что ж мы, дураки? Нет, говори что хочешь, а я завтра же начинаю хлопотать о визе...

— Не дадут.

— Мне дадут, если я скажу, что это для твоего здоровья!

Визу Тамаре Матвеевне действительно дали. Скоро пришло и письмо от Муси. Она вполне одобряла план переезда в Швейцарию.

«Совершенно ненужно,— писала она,— вам с папой сидеть в этой несчастной стране. В Люцерне папа оправится гораздо скорее. Я уверена, что и болезнь его от плохого режима и от волнений. Люцерн к тому же чудесный город. Жаль только, что Витя опять останется один. Пожалуйста, мама, устройте его перед отъездом, как следует. Я на вас одну и полагаюсь: ведь он сам ничего не умеет и не понимает. Скажите ему от моего имени, что он должен слушаться вас беспрекословно. Я, впрочем, сама ему напишу на этих днях...»

Витя очень опоздал к завтраку. Столовая была уже пуста; но хозяйка пансиона, госпожа Леммельман, немка, вышедшая замуж за русского дантиста, очевидно, признала уважительной причину опоздания — проводы на вокзал,— и Вите было подано все, что полагалось: и то, что тогда в Германии называлось кофе, и то, что называлось сливками, и то, что называлось маслом. Витя хотел было тут же сказать горничной, чтобы к обеду ему больше не подавали пива (горничная ставила перед ним кружку, больше его не спрашивая). «Нечего роскошничать, живя на чужие деньги... Ну, да это можно сказать и за обедом. Уважение они, конечно, потеряют... Но на какой черт мне их уважение?..» Он мысленно выразился даже сильнее, хотя не любил грубых слов и не имел к ним привычки: Витя вернулся домой с вокзала в очень дурном настроении.

За завтраком он читал немецкую газету. В Германии действительно было очень неспокойно. Ходили слухи, что советы рабочих и солдатских депутатов созовут в Берлине съезд и объявят всеобщую забастовку для установления социалистического строя. Особенно тревожно было в Мюнхене. Там правил красный диктатор Курт Эйснер; но его уже обходили слева какие-то «крайние элементы», во главе которых, как осторожно сообщала газета, стояли русские, Левиен и Левине, вносившие в движение славянскую мечтательность и фанатизм, едва ли соответствующий истинным интересам и желаниям баварских народных масс. Витя нисколько не был антисемитом, но его раздражило сообщение газеты; странное совпадение двух странных имен заключало в себе и что-то смешное. Вместе с тем он испытывал и некоторую зависть к этим людям. как они ни были ему отвратительны: «Все-таки они делают историю. Браун делил людей на две породы; одни, при очереди, на остановке

трамвая врываются первые, другие всех пропускают вперед... Кажется, я из тех, что пропускают вперед. А вот эти *мечтатели*, они не то, что в трамвай, они и в историю врываются благодаря природному нахальству... Из-за таких же мечтателей папа, неизвестно за что, сидит в Петропавловской крепости,— если правда, что еще сидит? Уж очень настойчиво все меня в этом уверяют. А я здесь — на чужой счет — живу, жду, сам не знаю, чего. Да, радоваться нечему...»

Когда он допивал кофе, в столовую вдруг вбежала очаровательная барышня-датчанка, жившая в первом этаже, в номере двадцать шестом (счет номеров в пансионе, для увеличения престижа, начинался с двадцати). Она остановилась на пороге, быстро оглядела столовую, задержавшись взглядом на Вите, ласково кивнула головой в ответ на его почтительный поклон, спросила весело: «Frau Lemmelmann ist nicht da? Wo ist sie denn?» [1] — и, звонко засмеявшись, выбежала снова в коридор. Мрачное настроение Вити как рукой сняло. Его охватила радость.

«Да, все-таки вся жизнь еще впереди»,— подумал он, поднимаясь к себе в третий этаж. «Будет интересная жизнь: мы живем в историческую эпоху, и не одни же эти Левиены и Левине делают историю!.. Нет никаких оснований думать, что с папой что-то случилось... Визу во Францию Мусенька мне все-таки выхлопочет... Там кстати и Елена Федоровна,— вот и этот вопрос будет разрешен. В Париже я найду заработок и выплачу долг. Я молод, здоров... Эта датская девочка на редкость мила. Ее зовут Дженни. Фрекен Дженни... Как это мило и поэтично: фрекен...»

Комната его уже была убрана, нигде не было ни соринки. Он взял со стола немецкую книгу — о перспективах социализма после войны,— и подумал, как бы устроиться поудобнее: хозяйка жалостно просила возможно меньше сидеть на ее чудном диване, купленном как раз перед войной. Покупка мебели для пансиона была, по-видимому, самым поэтическим воспоминанием госпожи Леммельман. Она рассказывала об этой покупке во всех подробностях каждому новому жильцу и всякий раз с истинным подъемом. О хозяйстве она тоже говорила с увлечением, но этого несколько стыдилась и всегда объясняла новым людям, что в доме своего отца почти не заглядывала на кухню: у них была отличная, опытная, честнейшая кухарка. «Мой отец был юстиц-асессором в Кенигсберге,— медленно радостно начинала она,— нас знало лучшее общество города, семья наша очень старая и хорошая, хоть, разумеется, не дворянская...»

[1] «Госпожи Леммельман здесь нет? Где ж тогда она?» *(нем.)*

Этот рассказ обычно доводился до революции, тут госпожа Леммельман только вздыхала и презрительно улыбалась: уж если шорник Эберт стал преемником императора Вильгельма! Она однако не прощала и императору его поспешного отъезда из Германии. «Нет, нет, он наш император, но он неправильно поступил, что вы ни говорите»,— энергично доказывала она Тамаре Матвеевне, которая впрочем, ничего не говорила: Семен Исидорович не высказался об отъезде в Голландию Вильгельма II.

Витя прилег на кровать,— о ней госпожа Леммельман его не предупредила, так как, наверное, просто и не представляла себе такого ужаса: ее дивное белоснежное пикейное одеяло!.. Перед социализмом после войны открывались везде самые блестящие перспективы. Витя начал с 74-й страницы и на 77-й задремал: он поздно лег накануне и встал очень рано из-за проводов. Ему снилась Муся. Она очень подружилась с фрекен Дженни, они втроем лежали на траве в Павловске и разговаривали по-датски... Была тут и Елена Федоровна,— и было то самое, что накануне отъезда из Петербурга.

X

Весна прошла безрадостно и странно. Впоследствии Муся думала, что это было, если не худшее, то самое беспокойное время ее жизни. Ей казалось даже, что в праздничном блестящем Париже 1919 года она была нервнее, несчастливей и раздражительней, чем в голодном, страшном Петербурге, при большевиках. Первая радость от освобождения, безопасности, сытости и комфорта у нее прошла дня через три после выезда из России.

В Париж съехались со всех концов земли самые знаменитые люди мира. Газеты писали, что подобного съезда не было со времен Венского Конгресса. Вероятно, все эти министры, дипломаты, писатели жили настоящей жизнью,— так представлялось по газетам и по тому, что — не издали, но и не совсем вблизи — могла видеть Муся. Однако в их общество она не попала. Знакомые и сослуживцы Клервилля были в большинстве люди холостые или оставившие жен в Англии,— люди очень милые, простые, но не слишком интересные Мусе. С ними, кроме кратких, случайных разговоров в холле гостиницы или в ресторане, никакой общей жизни не было. Мусе даже казалось, что, при всей их вежливости и любезности, им приятнее, особенно по вечерам, проводить время с ее мужем, без нее. «Я отлично их понимаю»,— говорила она насмешливо; в действительности такое ощущение всегда было нестерпимо Мусе.

Все ее интересы еще были в России. Русских в Париже собралось в ту пору немного. Браун *зашел с визитом*,— у него и на лице явно читалось: «да, именно, зашел с визитом». Он посидел с четверть часа — и больше не показывался; вдобавок, точно назло, с Клервиллями, в холле, за чаем, были посторонние люди, так что разговор вышел такой же незначительный, как при первой встрече. «Неужели я совершенно ему не нравлюсь? — с горестным изумлением думала Муся.— Право, в Петербурге он был гораздо милее, хоть и там не баловал нас вниманием...» К некоторому неудовольствию Муси, главным ее обществом была Елена Федоровна и семья Георгеску. «Все-таки в «столице мира», в пору «величайшего сезона в истории», можно бы найти и более интересное общество»,— иронически думала она. Муся все чаще впадала в иронический тон в мыслях и о себе, и о других.

— Правда, есть еще Серизье. Он — первый сорт... Браун это у меня для души... Нет, не для души, но для настоящего... А Серизье — так...

Серизье бывал у них раза два в месяц, ездил с Мусей и с Жюльетт в театр, в Лувр,— знаменитые картины, увезенные во время войны в провинцию, как раз вернулись в музей. Клервилль был чрезвычайно любезен с французским депутатом. «Рад или *делает вид*, что рад,— соображала Муся; эту поправку она теперь обычно вводила в своих мыслях о муже: можно было бы подумать, что Клервилль человек неискренний и лживый.— Я отлично знаю, что это неверно: он очень правдив. Но на *это* он просто иначе смотрит. Конечно, он мне изменяет (какое глупое слово!). Он типичный homme à femmes [1],— уж такое, видно, выпало мне счастье!.. Ведь он (точно я не вижу) волнуется, когда эта горничная входит к нам в комнату с подносом. Потому он и на мне женился, что homme à femmes: другой тогда в Петербурге не оказалось, а со мной нельзя было иначе как женившись... Теперь он очень об этом сожалеет... Впрочем, нет: сожалеет, но не очень,— я так мало ему мешаю, ведь всегда можно как-нибудь устроиться. Со всем тем он не лжет, когда говорит, что любит меня так же, как прежде. Почти не лжет: не так же, но почти так же. А в этом «почти», в сущности, все...»

На 28-ое июня было назначено главное торжество величайшего сезона в истории. В этот день в Версале предстояло заключение мирного договора. Билеты на места для

[1] Бабник *(франц.)*.

публики брались с боя. Самые влиятельные дамы Парижа пустили в ход свои связи. К большому огорчению Муси, Клервилль не сумел достать для нее билет,— сам он, по должности, имел право на место в Зеркальной Галерее. Чтобы утешить жену, он предложил заказать стол в знаменитом версальском ресторане, где в этот день должен был завтракать весь Париж.

— Все-таки это будет интересно... Мы можем пригласить этих румын,— с легким пренебрежением сказал он.— И, разумеется, нашего друга Серизье.

— Если он еще не занят!

— Если он еще не занят,— смиренно-иронически повторил Клервилль.

Муся подумала, что можно будет пригласить и Брауна, хоть это не совсем удобно, ввиду его полного невнимания. Однако стола они не заказали: как раз позвонила по телефону Елена Федоровна. Оказалось, что мистер Блэквуд,— «он, разумеется, моментально получил билет во дворец»,— пустила шпильку баронесса,— мистер Блэквуд уже заказал большой стол в этой самой гостинице, пригласил ее, всю семью Георгеску, Серизье и просил передать приглашение Клервиллям.

— Вы понимаете, это он реваншируется, ведь мы его принимали.

— Я понимаю («реваншируется» за то, что его хотели облапошить)... Это, конечно, очень любезно с его стороны, но он мог бы пригласить нас непосредственно, а не через вас, — с досадой сказала по телефону Муся.

— Он так и сделал. Верно, вы получите его письмо вечером или завтра утром. Нет, нет, уж пожалуйста, вы не отказывайтесь!

Придраться было не к чему. Браун таким образом отпадал. Но отказываться от приглашения мистера Блэквуда у Муси в самом деле не было оснований; Вивиан этого и не понял бы. Вдобавок оставалась в кармане по меньшей мере тысяча франков: цена того кружевного веера, которого не хватало для счастья Муси. Прикрыв рукой трубку аппарата, она обменялась вполголоса несколькими словами с мужем и попросила Елену Федоровну поблагодарить мистера Блэквуда.

Накануне поездки в Версаль Муся получила анонимное письмо. Оно было на редкость глупо, даже для анонимного письма. Кто-то по-английски сообщал Мусе, что один легкомысленный джентльмен слишком часто встречается с одной легкомысленной дамой в одном очень приятном баре в

квартале Оперы. Дама названа не была, но адрес бара и часы встреч сообщались в post-scriptum'е. Как Муся себя ни настраивала на полное презрение, это письмо очень ее взволновало. У нее сделалось даже легкое сердцебиение,— не столько от содержания анонимного письма, сколько оттого, что она получила анонимное письмо. Муся долго колебалась: показать ли мужу? — потом решила не показывать. В душе она не сомневалась, что письмо говорит правду. Ни бумага — обыкновенная, серенькая, маленького формата, какая продается за гроши в табачных лавках,— ни почтовое клеймо, ни стиль, ни почерк (письмо было написано от руки) не давали возможности что-либо предположить об авторе. Почему-то Мусе вдруг пришло в голову, что это дело Елены Федоровны. «Да нет же! Стыдно!.. С какой стати она это сделала бы? Да она и по-английски не знает: нельзя же поручать другому человеку перевод анонимного письма»,— говорила себе Муся, нервно наматывая на указательный палец цепочку жемчужины, подаренной ей родителями.

Днем к ней зашла Жюльетт, они должны были вместе поехать в Булонский лес. Ни с того, ни с сего Муся, с самым небрежным видом, показала ей письмо,— еще за минуту до того совершенно не собиралась это сделать. Жюльетт была поражена.

— Какая низость! Вы, надеюсь, не расстроены?

Муся улыбалась.

— Нисколько. Тем более, что это вздор.

— В этом я не сомневаюсь ни минуты! (Не «тем более, что это вздор», а *потому*, что это вздор? — с недоумением подумала Жюльетт).

— Для всякой женщины в моем положении первое анонимное письмо вроде как для писателя первый портрет в газете,— смеясь, сказала Муся. Ей, впрочем, самой было не совсем ясно, в чем тут сходство и что такое женщина «в ее положении».— Я совершенно к этому равнодушна.

— Но кто мог сделать такую гадость? И зачем?

— Зачем, я не знаю. А кто... На этот счет у меня есть предположения...

Она взяла с Жюльетт клятву: «никому никогда ни слова»,— и поделилась с ней своим предположением. Позднее Муся сама не понимала, как она могла это сделать. «Собственно, это почти так же гадко, как писать анонимные письма...» Но об этом она подумала лишь тогда, когда предположение было высказано. Жюльетт ахала, возмущалась и не хотела верить, хоть очень не любила баронессу Стериан.

— Какие у вас основания так думать?!

— Никаких. Интуиция.

— Как же можно!.. Боже мой!

Жюльетт не верила, но представление об анонимном письме навсегда связалось у нее с Еленой Федоровной, точно та и в самом деле написала это письмо. Впоследствии Муся пришла к мысли, что скорее всего письмо было написано какой-либо соперницей дамы из бара или, быть может, самой дамой.

Вивиану она так ничего и не сказала. Однако по виду жены он догадался, что случилась неприятность. Вечером, ложась спать, Муся не утерпела и самым банальным образом, «точно ревнивая асессорша», ввернула что-то ядовитое: «удивительно, как у вас, в комиссии, много вечерних занятий...» Произошел разговор, выяснялись отношения. Несмотря на искренний тон и честный открытый взгляд Клервилля, отношения не выяснились. Вообще все выходило не так, как в свое время представляла себе Муся, вырабатывая в Финляндии конституцию своей семейной жизни.

Неясны были и отношения с Серизье: точнее, Мусе было неясно, чего собственно она хочет. «Хочу, разумеется, чтоб «был у ног»,— в том же тоне насмешки над собой думала она.— «А соглашусь ли я couronner sa flamme [1],— это другой вопрос. Может быть, когда дойдет до дела, я предложу ему дружбу? Это будет во всяком случае забавно: la tête qu'il fera!..» [2] Однако *до дела* не доходило. Муся видела, что нравится Серизье; но больше она ничего не видела и была этим недовольна. «Да, он ухаживает (тоже какое глупое слово! Григорий Иванович говорил: «ловчится»... Вот уж о Серизье никак нельзя было бы сказать: «он ловчится»...). Опять же, я и его понимаю: русская дама, âme slave [3], очень сложно и длинно, да еще атлет-муж... Хотя он не трус. Но этот великий революционер, преобразователь современного мира, кажется, очень дорожит своим спокойствием и удобством жизни. То ли дело артистки и секретарши!.. Жюльетт хочет выйти за него замуж (убеждена, разумеется, что никто этого не видит!). Бедная девочка! Уж если со мной великому революционному деятелю слишком хлопотно, то связаться с барышней при мамаше, да еще при такой, vous ne voudriez pas, ma chère! [4] Со всем тем он

---

[1] Вознаградить его страсть *(франц.)*.
[2] Ну и вид у него будет! *(франц.)*
[3] Славянская душа *(франц.)*.
[4] Не соблаговолите ли вы, моя дорогая! *(франц.)*

очень мил... У меня теперь обо всех гадкие мысли, больше всего о себе самой... Отчего это? Оттого, что Браун не желает меня знать? Оттого, что нет детей? Скорее всего, я просто тема для психиатра... Но очень интересная тема»,— думала бестолково Муся.

Леони сослалась на нездоровье и отказалась от поездки в Версаль. Муся догадывалась, что дело, вероятно, не в нездоровьи, а в каком-либо новом обострении вражды между госпожой Георгеску и Еленой Федоровной. Их отношения очень испортились в последнее время. Дела салона шли нехорошо. После первых удач началась, как говорила баронесса, «полоса невезения». Елена Федоровна требовала сокращения расходов по салону: «зачем нам, например, этот ваш глупый метрдотель?» Леони холодно отвечала, что так могут рассуждать только люди, не знающие парижской жизни. Баронесса дала понять, что подумывает о выходе из предприятия. «Это ваше дело»,— ледяным тоном ответила госпожа Георгеску. Она знала, что выйти из предприятия, в которое вложены деньги, много труднее, чем в него войти. Знала это и Елена Федоровна. Но ей в последнее время не давала покоя новая мысль: maison de couture [1]. Открыть в Париже maison de couture по совершенно новому плану, для дам богатых, однако не архимиллионерок, для таких дам, которые тысячу франков истратят на платье, не задумываясь, а вот над двумя, пожалуй, задумаются. Баронесса советовалась со всеми,— разумеется, по секрету, чтобы не дошло раньше времени до Леони. Открылась она и Мусе за несколько дней до поездки в Версаль.

— Я не совсем понимаю... Что же собственно вы будете делать. Неужели шить?.. Да вы, верно, и не умеете.

— Почему же я не умею? — обиделась баронесса.— Уж толк-то в туалетах я знаю, позвольте вас в этом уверить! Если б подсчитать, сколько сот тысяч я извела на них на своем веку!

«Ну, уж и сот тысяч!» — усомнилась мысленно Муся. Ей впрочем было известно, что Елена Федоровна и в самом деле тратила в свое время на туалеты большие деньги.

— Но ведь это разные вещи: тогда вы заказывали, а теперь вы хотите шить?

— Не шить, а только руководить, давать указания. Мастериц нанять очень легко: заплатить француженке на сто франков дороже, любая перейдет из лучшего дома... Главное в таком деле, это вкус и связи. А у меня есть и то, и другое.

— Русские связи? — спросила Муся, демонстративно оставляя в стороне вопрос о вкусе.

---

[1] Ателье мод *(франц.)*.

— И русские, и не русские. Самое важное найти американок, это лучшие клиентки. А их я буду находить в обществе.

Муся слушала недоверчиво. Она очень сомневалась, чтобы можно было одновременно быть и портнихой, и дамой из общества. «То есть, какая-нибудь великая княгиня это и может: о ней растроганно скажут: «c'est vraiment très beau!..» [1] А ты если станешь портнихой, то все подумают: «портнихой бы тебе, голубушка, всю жизнь и быть, а не в общество лезть...» Она, кстати, кажется, третья или четвертая русская дама, которая хочет открыть в Париже maison de couture, и именно по этому плану: такой, чтоб для богатых, но не для архимиллионерок. Почему только все они думают, что у них больше вкуса, чем у француженок, и что они могут чему-то новому научить Париж? Это, как говорит Вивиан, все равно, что в Ньюкасл возить уголь!..»

— Что ж, это, может быть, хорошая мысль, я ведь не знаю.

— Вот вы же первая на мои модели наброситесь,— сказала Елена Федоровна: она очень рассчитывала, что Муся будет к ней приводить богатых англичанок.

— Да, отчего же? — неопределенно отвечала Муся.— Но, значит, вы тогда оставите Леони?

— Ну, это там будет видно. Можно, наконец, и совмещать.

— Разумеется.

Для поездки на завтрак в Версаль были заказаны на весь день два клубных автомобиля. Мистер Блэквуд был бережлив и по привычке, и по убеждению. Но когда он устраивал приемы, то денег не жалел. Быть может, он чувствовал, что для молодых, веселых людей его общество не слишком занимательно, и вознаграждал их за это так, как мог: он мог только тратить деньги.

Муся в этот день встала в самом дурном настроении духа. Она почти не спала всю ночь. Анонимное письмо не выходило у нее из головы. «Интересно, с кем сядет легкомысленный джентльмен? — раздраженно подумала она, когда подали автомобили.— Впрочем, мне совершенно все равно. Я во всяком случае сяду не с ним. Вот, если бы Браун был с нами... Да, конечно, все дело в нем: это я из-за него скоро, кажется, начну кусаться... Как бы только отделаться от этого сумасшедшего старика с его банком...» Мистер Блэквуд действительно намеревался по дороге во-

[1] «Это, право, очень мило!..» *(франц.)*

зобновить свой спор с Серизье. Клервиллю, по-видимому, как и Мусе, было безразлично, куда его посадят. «Ни Елена Федоровна, ни Жюльетт легкомысленному джентльмену не нравятся... Поскольку ему вообще может не нравиться женщина: верно, оттого, что они *дурного круга*»,— думала Муся, забывая, что, по ее же наблюдениям, его волновали и горничные гостиницы. «Ну, и отлично, подкинем его в первый автомобиль, к почетным... Так и быть, осчастливим Жюльетт, пусть распустит перышки...»

Мистер Блэквуд, по-видимому, и не заметил, какую именно даму посадили рядом с ним. Муся и Елена Федоровна сели с непочетным Мишелем во второй автомобиль. И вдруг Мусе вспомнилась петербургская поездка на острова, в день юбилея ее отца, с Глашей, с Сонечкой, с Никоновым,— из ресторана, где рядом с нею сидел Браун. «Так недавно было, и точно сто лет тому назад!.. Как я изменилась, как разменялась на нехорошие пустяки, на дешевенький флирт, на колкости с Еленой Федоровной...»

Она почти не разговаривала всю дорогу, односложно отвечая на вопросы. Мишель глядел на нее дерзко и насмешливо. У него с Еленой Федоровной дело, по-видимому, шло на лад. Вероятно, здесь результаты уже были достигнуты — не то, что в ее странных романах. «После Вити — этот. Она кончит пятнадцатилетними»,— сердито подумала Муся и вспомнила, что следовало бы ответить Вите на письмо, полученное недели две тому назад. «Куда оно запропастилось? Кажется, я его тогда сунула в шляпную коробку... Сегодня как только вернусь, сейчас же разыщу письмо и отвечу... Совершенно не помню, о чем он пишет. На что-то, бедный, жалуется... Да, как все это далеко, и насколько было лучше то, что было тогда, в моем Петербурге!..»

XI

Лет восемь-девять тому назад, в первую поездку Муси за границу, Тамара Матвеевна еще соблюдала экономию: Семен Исидорович только начинал тогда богатеть. Они поселились на хорошем курорте; но Тамара Матвеевна решительно отвела в путеводителе те гостиницы, которые назывались Palace'-ами или почтительно помещены были в рубрике «de tout premier ordre» [1]. Она выбрала «Hôtel du Fin-bec et de la Gare (30 chambre, véranda)» [2], по вечерам редко покупала дорогие билеты в Казино: «Мусенька, ведь

[1] «Высшего разряда» *(франц.)*.
[2] «Отель «Фин-Бек у вокзала» (30 номеров, веранда)» *(франц.)*.

мы только в среду были!.. На скамейке в садике, право, гораздо приятнее: и на свежем воздухе, и музыку слышно отлично...» 15-летняя Муся, глотая слезы от скуки, досады и зависти, смотрела на входивших в Казино счастливых, богатых, элегантных людей.

Это ощущение вспомнилось Мусе, когда завтрак в знаменитом версальском ресторане кончился,— она сама не могла удержаться от улыбки. Очевидно, все собравшееся здесь блестящее общество имело билеты во дворец, на большой исторический спектакль, который там должен был сейчас начаться. Мужчины неторопливо-равнодушно расплачивались, без споров о том, кому платить, без тщательной небрежности в просмотре счета, без всего того, что, по ее мнению, отличало людей второго социального разряда. Клервилль великодушно предлагал остаться с дамами. Муся его жертвы не приняла. «Это почему? Ни в каком случае! Разве можно пропустить такое зрелище?..» — Ее холодный тон еще подчеркивал: «Да, да, другие достали билет для жены, а ты не достал...»

Мистер Блэквуд был очень мил и всячески старался доставить удовольствие своим гостям: дамам говорил незамысловатые комплименты, в споре с Серизье похвалил социалистов за искренность и за искание справедливости, а для Клервилля заказал столетний коньяк, о котором тот любовно вспоминал дня три после завтрака. Однако настоящего оживления не было.

— ...Всякий раз, когда я слушаю Бетховена,— говорила Муся, продолжая с Серизье вялый разговор о музыке, который они случайно начали к десерту и не могли закончить до самого кофе,— мне хочется ему сказать: постой, постой, об этом в другой раз, сначала кончим то... Он для меня слишком богат, ваш Бетховен!

— La fiancée est trop belle [1],— ответил с улыбкой Серизье.

— Да, вот именно. И потом «шутливость» этого признанного весельчака! Две вещи для меня невыносимы в музыке: это *шутливые* страницы Бетховена и *нежные* страницы Вагнера.

Серизье опять улыбнулся. Взгляд его мимоходом задержался на стенных часах. Муся слегка покраснела.

— Я не очень люблю немцев,— говорила Елена Федоровна,— но, право, сегодня мне их жаль. А вам, Мишель?

— Нет, мне их не жаль. Зачем дали себя побить?

---

[1] Невеста слишком красива *(франц.)*.

— Однако они геройски сражались четыре года,— сказал мистер Блэквуд.

— Значит, надо было геройски сражаться еще четыре года,— резко ответил Мишель. Все на него посмотрели.

— Какая теперь пошла молодежь! — с искренним удивлением заметил Серизье. На лице молодого человека вдруг выразилась злоба. Он хотел что-то сказать, но его поспешно прервала Жюльетт.

— Господа, я на вашем месте поторопилась бы. Смотрите, все спешат.

— Как жаль, что я не могу дать вам свой билет! — сказал жене Клервилль.

— В самом деле, мне было бы трудно сойти за подполковника.

— Стыдно, стыдно, господин подполковник! — вставила Елена Федоровна, подсыпая соли в рану Муси.

— Если б вы ко мне обратились недели три тому назад, я думаю, что мне удалось бы достать для вас этот драгоценный билет,— сказал с сожалением Серизье.

— Я тогда надеялась, что получу так... Господа, в самом деле вы опоздаете...

— Значит, тотчас после конца заседания. И ради Бога, извините нашу беззастенчивость!

— Помилуйте!

— Все-таки мы видели весь Париж. Вы нам показали всех знаменитостей. А то бывает неприятно, на следующий день читаешь в «Figaro», в зале были такие-то великие люди,— а мы их и не видели!

— Я думаю, за другими столами показывали вас,— сказала депутату Жюльетт.

После ухода мужчин стало и совсем скучно. Муся все больше сожалела, что приняла приглашение американца. «Ничего интересного не видели и не увидим. А теперь ждать их по меньшей мере два часа, любуясь ее флиртом с этим противным мальчишкой!.. Нет, право, это невыносимо...» Ресторан пустел. Жюльетт предложила посидеть на террасе.

— Что ж, можно,— согласилась Муся, подавляя зевок теперь уж без всякого стеснения.— Пожалуй, я выпила бы еще кофе.

— Нам туда и подадут... Вот что значит пить так много вина,— укоризненно сказала Жюльетт, которой алкоголь был противнее всяких лекарств.— Вот вы и раскисли! — Муся, улыбаясь, вздохнула с видом грешницы.

— Qui a bu boira[1],— лениво проговорила она. Слова

[1] Кто пил, тот и будет пить *(франц.)*.

эти сказались как-то сами собой: после завтрака из пяти блюд, с двухчасовой застольной беседой, у нее умственный и словесный аппарат работали преимущественно по линии наименьшего сопротивления: что легче всего выговорится. На террасе лучше не стало. Жюльетт, тоже больше по инерции, продолжала доказывать, что Муся пьяна. Елена Федоровна находила, что так сидеть скучно: уж лучше погулять в парке, благо прекрасная погода.

— А вы, Мишель?

— Я тоже предпочел бы пройтись, — ответил молодой человек, переглянувшись с Еленой Федоровной. «Вот что... Сделайте одолжение!» — брезгливо подумала Муся.

— И отлично,— сухо сказала она.— Тогда разделимся: вы пойдете *в парк* (она не отказала себе в удовольствии: подчеркнула эти слова). А мы с Жюльетт еще немного посидим здесь. Уж очень печет солнце.

— Не соскучитесь? — спросила баронесса.— Смотрите, как мало осталось людей.

— Ничего, как-нибудь... Мы тоже пойдем потом в парк... А встретимся, как было с ними условлено, у автомобилей, после окончания церемонии.

— Отлично. Тогда пойдем, тореадор.

Елена Федоровна встала. Мишель весело кивнул головой дамам. «Совет да любовь»,— сказала мысленно Муся, вдруг почувствовав зависть к этой женщине, которая так просто, легко, почти открыто делала то, о чем она, Муся, не всегда позволяла себе и думать.

— Если в парк, то гораздо ближе через двор,— с насмешкой посоветовала она им вдогонку. Они сделали вид, будто не расслышали. Муся встретилась взглядом с Жюльетт. Та засмеялась своим спокойным, не совсем приятным смехом.

— Вы очень не любите моего брата.

— Какой странный вопрос!

— Нет, я не обижусь. Я ведь *тоже* его не люблю.

— Я ничего не сказала. Но если вы позволите сказать правду, то...

— То вы его терпеть не можете! Вы преувеличиваете: он не стоит острых страстей. Кроме того, они все такие.

— Кто они? Товарищи вашего брата?

— Да, нынешние молодые люди... Мне они все чужие.

— Это из-за политики? Оттого, что они правые?

— Из-за всего. Они из грубой материи. Вот как солдатское сукно.

— А мы с вами? А я?

— Вы еще не сложились. Вы вся в будущем,— убежденно сказала Жюльетт. Муся засмеялась.

— Это недурно! Мудрая девятнадцатилетняя Жюльетт!.. Забавнее всего то, что вы отчасти правы.

— Разумеется, я права... Разве вы живете по-настоящему? Но не стоит об этом говорить...

— Отчего же? Напротив, мне очень интересно, мудрая Жюльетт,— сказала притворно-весело Муся. Она все не находила верного тона в разговоре с этой молоденькой барышней. Говорить с ней, как когда-то с Сонечкой, тоном ласковой старшей сестры, явно не приходилось, хоть Муся нередко в этот тон впадала. Можно было, конечно, называть шутливо Жюльетт мудрой, но она и в самом деле была умна,— Муся это признавала с неприятным чувством.— Нет, скажите, мне очень, очень интересно.

— Что вам интересно? — спокойно спросила Жюльетт.

— То, что вы обо мне думаете. Почему я не живу, а прозябаю?

— Я этого, кажется, не говорила.

— Никаких «кажется»! Вы именно это сказали, и я жду объяснения. Но заранее говорю одно: если вы находите, что я должна посещать лекции в Сорбонне или войти в комитет защиты женского равноправия, то это мне совершенно не интересно.

— А отчего бы и нет?

— Оттого, что я не общественная деятельница. Но вы, конечно, имели в виду не это. Скажите, Жюльетт!..

— По какому же праву? Вы и умнее меня, и опытнее, и старше.

— Ах, ради Бога! Какие мы скромные!.. Кто же, по-вашему, вообще прозябает и кто живет?

— Прозябает тот, кто не любит.

Муся осеклась. Она не ожидала этого ответа.

— Кто никого не любит? А вы любите?

— Я хотела сказать, кто *ничего* не любит.

— Нет, мы не о Сорбонне и не о женском равноправии! Однако dazu gehören Zwei [1], как говорят немцы.

— Вот и надо бороться за свое счастье.

— Спасибо, я уже боролась! Но счастье оказалось средним! — сказала сгоряча Муся и сама ужаснулась, зачем говорит это. Жюльетт посмотрела на нее и покачала головой.— Что вы хотите сказать?

— Решительно ничего.

---

[1] Для этого нужны двое *(нем.)*.

— Неправда! — Муся инстинктом чувствовала, что они дошли до той степени ненужной откровенности, которая незаметно переходит в желание говорить неприятное.— За что вы меня осуждаете?

— Я нисколько вас не осуждаю... Но мне непонятно, как можно жить одним тщеславием.

— Разве я очень тщеславна?

— Очень. И главное, все в одном направлении: поклонники и свет, свет и поклонники, да что я думаю, да что обо мне думают...

— Это совершенно неверно!

— Я очень рада, если я ошибаюсь... Притом, повторяю, я убеждена, что это у вас пройдет.

— Это совершенно неверно! И потом, послушайте, моя милая Жюльетт, уж если так, то сделаем поправку к вашему мудрому изречению. Я тоже всей душой желаю вам полюбить...

— Благодарю вас, но, право...

— Но только не нужно, чтобы предметом вашей любви оказался камень.

— Как камень?

— Не надо любить человека на двадцать лет старше вас и, вдобавок, сухого и черствого, всецело поглощенного умственной работой, думающего о вас столько же, сколько о... не знаю, о чем... Тут и бороться не за что!

Жюльетт вспыхнула.

— Я, право, думаю, что мы напрасно начали этот разговор!

Муся смотрела на нее задумчиво, почти с недоумением. Она сама не знала, о ком говорит: когда начинала фразу, имела в виду Серизье, но теперь думала о Брауне. «Да, в сущности у нас горе одно... Но мне легче... Бедная девочка...»

— Я, разумеется, не хотела вас обидеть...

— Ваши слова меня обидеть и не могли...— Жюльетт тотчас сдержалась.— Давайте переменим тему,— сказала она, улыбнувшись (Мусю тотчас снова раздражила ее улыбка: эта девчонка оставляла за собой инициативу и в размолвке, и в примирении).— Пойдем лучше погулять? Вы любите Версальский парк?

— Люблю, конечно. Но Трианонский сад больше.

— Ах, это очень старый спор: Версаль или Трианон, порядок или беспорядок в природе. Я предпочитаю Версаль, я во всем люблю порядок. Но мне здесь страшно, так здесь везде все насыщено историей. Помните: «Et troubler, du vain bruit de vos voix indiscrètes, le souvenir des morts dans ses

sombres retraites» [1],— продекламировала она с шутливой торжественностью, как обычно цитируют в разговоре стихи.— Это из Виктора Гюго, вы не помните?

— Не то, что не помню, а не знаю. Я отроду не читала стихов Виктора Гюго.

— Стыдитесь!

— Я и стыжусь. Но их никто не читал... Посмотрите, что такое происходит!..

К воротам гостиницы подъезжало несколько автомобилей. Из них выходили офицеры, полицейские, штатские люди официального вида. Господин, сидящий у другого окна террасы, вдруг поднялся со стула и побежал к воротам. За ним бросились другие. Полицейские строились цепью на тротуаре, по обеим сторонам от ворот. В гостиницу быстро прошли офицеры. По улице бежали люди с радостно-мрачными лицами. «Немцы!.. Немцы!» — слышалось в собиравшейся у ворот толпе. Муся ахнула.

— Жюльетт, это немцев сейчас поведут! Немецких делегатов!..

— Да, правда! Ведь их поселили в этой гостинице!

Ворота открылись. Выбежал швейцар. С хмурым озабоченным видом прошли те же офицеры. За ними быстро вышли из ворот, нервно оглядываясь по сторонам, два смертельно бледных человека в сюртуках и цилиндрах. «Право, как затравленные звери!» — прошептала Муся. Полиция подалась назад, оттесняя толпу. Вдруг кто-то свистнул. Высокий человек в цилиндре растерянно посмотрел в его сторону. Свист оборвался. Настала мертвая тишина. Швейцар откинул дверцы автомобиля. Высокий человек так же растерянно повернулся к своему товарищу, привычным движением предлагая ему сесть первым, затем, точно опомнившись, поспешно сел. По улице рассыпались сыщики. Автомобили понеслись к Версальскому дворцу.

— Oui, quelle beauté, ce parc [2],— говорила томно Елена Федоровна.— Michel, vous aimez la nature? Moi, j'aime si la nature! [3]

Она говорила ему «вы»: это было очень по-французски, но настоящей радости «вы» ей не доставляло. Мишель нравился баронессе все больше. В гостиницу он вошел с уверенным видом, как будто сто раз водил туда дам из общества, а печенье и портвейн заказал таким тоном, точно у него

---

[1] «И потревожить ненужным звуком нескромных ваших голосов воспоминание о мертвых в обители их мрачной» *(франц.)*.

[2] Да, какая красота этот парк *(франц.)*.

[3] Мишель, вы любите природу? А я, я так люблю природу! *(франц.)*

были миллионы. Между тем Елена Федоровна знала, что едва ли у Мишеля сейчас наберется сто франков. Все шло отлично и потом: она любила очень молодых людей, но с тем, чтобы они были «настоящими мужчинами».

Но Мишелю теперь в парке было с ней очень скучно. Он смотрел на баронессу Стериан с ласковой насмешкой, чувствуя свое сердце неуязвимым. Все женщины — это была шестнадцатая по счету (он вел точный счет) — наивно думали, что занимают важное место в его жизни. Он их не разуверял. Лучше всего было просто с ними не разговаривать или нести совершенную чушь: им вдобавок такой прием внушал большое уважение. Но все это была очевидная ерунда, раздутая поэтами и романистами. *Настоящее* было в том, что сейчас происходило во дворце,— в который его не пустили даже на места для зрителей! «Ничего, мое время придет!..» Мишель весь день находился в раздраженном состоянии. Он и сам не мог бы сказать, что его раздражало: миллионы Блэквуда, убеждения Серизье, или власть, принадлежавшая не ему, а тем людям во дворце...

— Oui, parfaitement, la vraie beauté est éternelle [1],— лениво повторил он ее слова, чуть поправив слог.

Она погрозила ему пальцем.

— Vous êtes moqueur, Michel, mais très gentil moqueur! [2]

Заливавшая парк бесчисленная толпа уже немного утомилась от восторга. Пушки перестали греметь. Любители сверяли счет: одни говорили, что было сделано сто выстрелов, другие утверждали, что сто один. Спорили и о том, в какую именно минуту начали бить фонтаны парка. День потемнел. Солнце то выходило, то скрывалось. По небу неслись светлые облака. Муся чувствовала большую усталость. Они долго гуляли в Версальском парке; опасный разговор больше не возобновлялся, дружеские отношения восстановились. Но от бесконечных разговоров за день, от вина, от давки у Муси разболелась голова. «Все-таки мы отлично сделали, что закрыли лавку и взяли с собой Жано,— говорила рядом с ней женщина, любовно поглядывая на мужа, который держал на руках ребенка.— Он будет об этом помнить всю жизнь... Но лучше было бы захватить зонтик, вдруг он еще простудится...» — «Не простудится»,— уверенно отвечал муж. Муся смотрела на них почти с завистью. «Во всяком случае они гораздо счастливее меня...» — «Пушечное мясо будущих войн»,— сокрушенно говорил

[1] Да, совершенно верно, подлинная красота вечна *(франц.)*.
[2] Вы насмешник, Мишель, но насмешник очаровательный *(франц.)*.

Клервиллю Серизье.—«Зачем так думать в такой день!..»— «Мне и самому это очень больно, но это так...» — «Я надеюсь, это не так... Правда, здесь сегодня весь Париж?»

— Очень он шумит, Париж,— сказала по-английски Муся.— Не люблю толпу, даже самую лучшую.

— Сегодня у этих людей есть все основания веселиться. Недостаточную элегантность можно им простить.

Муся взглянула на мужа. «Что это, я тоже начинаю его раздражать? Ce serait du propre!..[1] Или его раздражает Серизье?»

— Но как же это было? Как? Расскажите все! — восторженно спрашивал Серизье Мишель, забывший на этот раз о своей антипатии к социалисту.

— Завтра вы все прочтете в «Petit Parisien», там это будет изложено умилительно... Это был в общем достойный финал четырехлетней бойни! — ответил иронически депутат. Мистер Блэквуд что-то неопределенно промычал.— Но как он на них смотрел! Нет, как он на них смотрел, этот старый дьявол! — вдруг добавил Серизье не то с негодованием, не то с восторгом.

— Кто на кого?

— Клемансо на немецких делегатов в ту минуту, когда они подписывали мир. Я думаю, эта минута согреет остаток его дней!

Мистер Блэквуд опять промычал что-то неодобрительное. Вдруг в толпе поднялся рев. Загремели рукоплескания. Из дворца на северный партер парка вышли два старика в той же парадной форме, в какой были немцы,— в сюртуках и цилиндрах. Один из них весело-лукаво улыбался. «The Príme Minister!» — прокричал жене Клервилль. В другом старике Муся узнала Клемансо. У него в глазах было все то же выражение: холодное, презрительное и как будто удивленное. Видимо, скучая, он стоял на лестнице и ждал: полиция, под руководством префекта, разрезала для министра-президента проход в восторженно беснующейся толпе.

...Он думал, быть может, что цель долгой жизни осуществилась, что ждать больше нечего: достигнуты полная победа, небывалая власть, бессмертная слава. Хорошо бы еще пожить несколько лет, но не беда и умереть от пули, которую всадил в него недавно тот глупый мальчишка, так же, как сам он когда-то, считавший себя анархистом: жалеть особенно не о чем, как не о чем было жалеть и до бес-

[1] Этого еще не хватало!.. *(франц.)*

смертия... В историю символического дворца вписана новая слава, затмившая все остальное. Разумный порядок не создан, да его никогда и не было, как нет его и в этом дворце, и в этом парке, хоть невеждам они кажутся символом порядка и разума. Везде хаос, все ни к чему, все нелепая шутка...

Рукоплескания оглушительно гремели. Старик уставился на толпу, отвернулся без улыбки, что-то сердито сказал префекту и пошел вниз по лестнице. Ллойд-Джордж последовал за ним, приветливо улыбаясь и кланяясь толпе. «А-а-а!..» — все нарастал дикий рев. Рядом с Клервиллем Мишель аплодировал и орал в настоящем экстазе.

— Это Клемансо и Ллойд-Джордж? — прокричала Елена Федоровна, обращаясь к Мусе.— Правда? — Муся утвердительно кивнула головой, показывая жестом, что говорить невозможно. Баронесса вдруг весело засмеялась.

— Что такое?

— Нет, ничего... Так, что-то вспомнилось забавное,— говорила беззвучно Елена Федоровна, поглядывая на Мишеля. Смех, вызванный каким-то воспоминанием, разбирал ее все сильнее.

XII

«...Народ же был только зрителем дела, присутствуя на нем, как на цирковых играх. Рукоплесканьями приветствовал он то одних, то других. Но когда одна сторона слабела, когда побежденные укрывались в домах и лавках, он грозно требовал их выдачи и казни, а сам грабил их имущество. Лик Рима был отвратителен и страшен...»

«Saeva ac deformis...» [1] Читать Тацита без словаря было трудно. Словарь лежал на комоде. Зеркало отразило недобрую усмешку на худом усталом, почти изможденном лице.

XIII

Гражданская война в Берлине началась по правилам, выработанным историей для всех гражданских войн: говорили о ней так долго, что никто больше в нее не верил, и для всех она оказалась неожиданностью,— для одних страшной, для других счастливой, для большинства волнующе-радостной.

[1] «Отвратителен и страшен...» *(лат.)*

В тот самый день, когда совет рабочих депутатов объявил всеобщую забастовку, в Берлине была назначена лекция знаменитого философа, приехавшего не то из Гейдельберга, не то из Иены. С этой лекции Витя Яценко хотел начать свою университетскую жизнь. На зимний семестр он опоздал, летний должен был начаться еще не скоро. Из-за лекции вышел за обедом неприятный разговор с хозяйкой пансиона. Она многозначительно сказала Вите, что было бы гораздо лучше, если б он в такой тревожный день остался дома: господин министр Кременецкий наверное посоветовал бы ему то же самое, будь он еще в Берлине.

В добрых чувствах хозяйки никак сомневаться не приходилось: уж ей-то наверное было бы приятнее, чтобы жильцы не сидели дома и не просиживали купленную перед самой войной мебель (она вежливо дала это понять). Но говорила госпожа Леммельман несколько настойчивее, чем было нужно. Вдобавок ссылка на авторитет Семена Исидоровича не понравилась Вите: он догадался, что Тамара Матвеевна перед отъездом поручила хозяйке пансиона нечто вроде негласного надзора за ним. Молоденькая датчанка с интересом прислушивалась к разговору. Витя сухо сказал, что видел в Петербурге не такие революции. Госпожа Леммельман, в оскорбленном тоне, начала что-то длинное и скучное о современном юношестве. Витя несколько демонстративно развернул газету. Сидевший на почетном месте стола министерский советник Деген на него покосился и вполголоса сказал что-то хозяйке. Она засмеялась и ответила: «Поздновато, но вы правы, господин министерский советник...» На этом разговор кончился. Витя выдержал характер и в четверть третьего вышел из дому.

Несмотря на всеобщую забастовку, трамваи, автобусы, подземная дорога работали как в обычные дни. Кто-то в автобусе сказал, что кое-где сегодня постреливали. Однако ничего тревожного на улицах не было видно. «Да, хороша их революция после нашей!» — думал Витя не без гордости: пролитая кровь точно увеличивала престиж русской революции. В университет он вошел с робким благоговением. Студентов в коридорах было немного. «Студенты как студенты, только буржуазнее наших. Их верно здесь не называют «учащаяся молодежь»... Они больше «учащаяся» и меньше «молодежь»,— подумал Витя, довольный своим определением. Ему нравилось задорное слово «молодежь»; он гордился тем, что теперь, с некоторых пор, оно относится и к нему. Из боковой комнаты вышло несколько почтенных пожилых людей. Они чинно раскланялись и, не сказав ни слова друг другу, пошли в разные стороны. «Конечно, про-

фессора!..» Витя подумал, что все они похожи на Ибсена и что им надо было бы постоянно носить сюртук с многочисленными орденами, с огромным галстухом, говорить служителям ты, а друг друга называть не иначе как Exzellenz [1]. Он не без труда разыскал аудиторию,— спросить долго ни у кого не решался. Зала была почти пуста, что удивило и немного разочаровало Витю. Осмотревшись, он сел поодаль, рядом с китайцем, которому на вид можно было дать и двадцать, и пятьдесят лет. На круглом бабьем лице китайца сияла беспричинно-радостная улыбка. Вите тоже вдруг стало весело. Все-таки, что бы там ни было, он слушал лекцию в одном из самых знаменитых университетов мира, в университете, где читал когда-то Гегель, где учились Тургенев, Бакунин, Грановский, быть может, в той же самой аудитории. «Верно, и у них были периоды слабости, депрессии, ничегонеделанья. Это однако им не помешало стать тем, чем они стали...»

Ровно в три часа боковая дверь открылась, и в зал вошел очень старый, дряхлый человек, с лицом болезненно-изможденным, с изжелта-седыми волосами над большим открытым лбом,— совсем не такой, как те гордые профессора. «Если б самому бездарному трафаретному художнику поручили написать философа или, например, алхимика, то он именно такого написал бы,— невольно подумал Витя.— Вот только он еще наградил бы алхимика «горящими глазами», а у этого глаза выцветшие. Верно, у него такой болезненный вид от недоедания во время войны...» Профессор оглядел наполовину пустой зал, вздохнул, снял очки, протер их платком и снова надел. Слушатели шаркали ногами. Витя догадался, что это знак приветствия профессору, и сделал то же самое, однако не совсем уверенно — так на парадном обеде непривычный человек, при новом, сложном блюде, украдкой оглядывается на ближайших соседей: как это едят? Сомнений быть не могло: шарканьем приветствовали профессора. «Ну что ж, это собственно не глупее, чем хлопать в ладоши»,— решил Витя. Его все больше переполняла гордость: он слушал лекцию знаменитого философа, который был известен трудной формой мысли. «Говорят, он размышляет в процессе чтения. Тот швед-поэт сказал, что высшее наслаждение именно в этом: присутствовать при его творческой работе... Как же это может быть? Ведь перед ним лежат листки. Да и странно было бы, если б он тут перед нами импровизировал. Нет, конечно, он тысячу раз передумал дома все то, что он нам говорит!..» Эти

---

[1] Ваше превосходительство *(нем.)*.

соображения помешали Вите слушать, начало лекции для него пропало. Он принес с собой тетрадку и еще дома написал на первой странице объявленное в газетах заглавие лекции: «Das Verlangen nach Freiheit und Ewigkeit» [1]. Но записывать по-немецки ему было трудно, хоть он хорошо знал немецкий язык. «Буду заносить кратко, двумя словами фразу... Дома потом все расшифрую»,— решил он. «So zeigt in Wahrheit die Geschichte das Verlangen nach Freiheit gewönlich mit Ueberzeugungen von den letzten Dingen verknüpft» [2],— доносился до него странно-напряженный голос,— профессор точно говорил по телефону. «Что такое die letzen Dinge, последние вещи?» — тревожно спросил себя Витя.— «Браун как-то сказал, что есть слова, которые ровно ничего не значат и потому незаменимы для врачей, музыкантов, учителей гимназий: «ноктюрн», «инфлюэнца», «эготизм»... Но этот, слава Богу, знает, что он хочет сказать. А вот я, по недостатку образования не понимаю...» Он опять пропустил несколько фраз. Профессор медленно, тяжелой старческой походкой, прошелся по эстраде, заложив за спину руку с трясущимися пальцами.

— ...Ja es scheint kein Freiheitsstreben die ganze Seele aufregen zu können, was nicht dem Menschen zu einer Art Religion wird. Das gilt selbst von den radicalen Bewegungen der Gegenwart; sie könnten sich nicht so schroff gegen die Religion wenden, wenn sie nicht sich so selbst zu einer Art Religion gestalteten. Keine echte Freiheit kann bestehen ohne Religion, freilich auch keine Religion ohne Freiheit... Wo immer die Religion in frischer Jugendkraft stand, da hat sie die Menschen einander näher gebracht, da ist sie ein Schutz der Schwachen, eine Hilfe der Aufstrebenden gewesen. Erst wo sie welk und greisenhaft wurde, mußte sie der Aufrechterhaltung von Sonderinteressen und Privilegien dienen [3].

Профессор на мгновенье остановился. В аудитории одни стали шаркать, другие сердито на них зашикали, как бывает при исполнении симфоний, когда неосведомленные слуша-

---

[1] «Жажда свободы и вечности» *(нем)*

[2] «Так в свете исторической правды жажда свободы обычно связана с убеждениями в последних вещах» *(нем.)*.

[3] Да, кажется, никакое стремление к свету не может воспламенить всю душу и стать для человека своего рода религией. Это относится даже к радикальным движениям нашего времени; они не могли бы так резко выступать против религии, если бы они сами не поднимались до своего рода религии. Без религии нет настоящей свободы, так же как нет религии без свободы Там, где религия была полна молодых сил, она сближала людей, была защитой слабых и опорой стремящимся ввысь Там же, где религия увядала, становилась старчески немощной, она должна была служить сохранению особых интересов и привилегий *(нем)*

тели принимают за конец произведения минутную остановку перед переходом к следующей части. Витя восторженно слушал профессора. «...Auch das geistliche Leben wird zu bloßem Schein und Schatten, wenn ihm kein Streben zur Ewigkeit innewohnt. Nun läßt sich die Forderung mittelalterisher Denker verstehen, daß der Mensch jeden Tag jünger wäre...» [1]— «Это говорит человек, которому жить осталось так недолго! Как же я смею сомневаться? Ведь передо мной вся жизнь, а за ней следует бессмертие. Мне казалось, что без этого не стоит и незачем жить, и тысячи людей поумнее меня думали, наверное, то же самое. Но если не верить ему, то кому же можно верить...»

— Die Menschheit hat in ihrer geistigen Arbeit eigentümliche Erfahrungen gemacht. Zu Beginn meinte sie im großen All die Tiefe der Dinge eröffnen und von daher das eigene Sein aufhellen zu können. Nun sind aber im Fortgange der Arbeit die Dinge immer weiter vor uns zurüchgewichen. Das wäre freilich für uns niederdrückend, wenn diese Unermeßlichkeit uns immer fremd und jenseitig bliebe. Aber sie bleibt es nicht durchaus... [2] — Профессор на мгновенье оборвал речь, точно проверяя свою мысль.— Sie braucht es wenigstens nicht zu bleiben! [3]—вскрикнул он.—An der Tat liegt demnach schließlich Vernunft des Lebens...[4].

Где-то, как будто совсем близко, вдруг загремели выстрелы. Вслед за ними послышался глухой мрачный гул. Витя вздрогнул, ему показалось, что стреляют и кричат под самыми окнами зала. Профессор остановился, склонив голову набок. Китаец, прислушиваясь к гулу, улыбался еще счастливее, чем прежде. Из слушателей многие побледнели. К окнам не подошел никто. Не решился подойти и Витя, подчиняясь немецкой дисциплине. На безжизненном лице профессора появилась горькая усмешка. Он тяжело вздохнул, передвинул листки на кафедре, снова протер очки и продолжал своим телефонным голосом:

— Nur die Tat kann dem Menschen einen Rückhalt geben gegen eine fremde, ja feindliche Welt...[5].

---

[1] «...Духовная жизнь — лишь видимость, тень, если ей не присуще стремление к вечности. Отсюда понятно требование средневековых мыслителей, чтобы человек с каждым днем молодел...» *(нем.)*

[2] У человечества накопился своеобразный опыт работы духа Вначале оно считало, что открывает в огромной Вселенной безмерность сущего и поддерживает таким образом собственное бытие. Но в ходе этой работы духа сущее все больше удалялось от нас. Это подавляло бы нас, если бы эта безмерность оставалась для нас чем-то чужеродным и потусторонним. Но таковой она вовсе не является. . *(нем.)*

[3] По крайней мере не нужно оставаться такой! *(нем.)*

[4] В деянии заключен весь смысл жизни... *(нем.)*

[5] Только деяние может дать человеку защиту от враждебного, чуждого мира .. *(нем.)*

XIV

На следующее утро Витя в девятом часу явился в столовую пить кофе. Несмотря на ранний час, столовая была почти полна. Госпожа Леммельман, волнуясь, объясняла жильцам, что она ни в чем не виновата: к обеду в этот день, как всегда во вторник, должны были подать Eisbein mit Sauerkraut [1], но кто же мог предвидеть, что закроются мясные лавки! К ее величайшему сожалению, не будет поэтому ни супа, ни жаркого, одна рыба — правда, Zanderfilet [2] — и еще Kartoffelpuffer mit Preisselbeeren! [3] Вместо мясного блюда подадут яичницу,— однако если кто-либо из жильцов недоволен, то она прекрасно это понимает и готова сделать скидку (тогда, конечно, без яичницы), хотя ее вины никакой нет. «Unerhört!.. Aber unerhört!» [4] — говорила взволнованно хозяйка. Жильцы, особенно иностранцы, ее успокаивали: ничего не поделаешь, да теперь и вообще не до обеда, если в городе происходят такие дела.

— Что такое случилось? — робко спросил Витя у соседей. Толком никто ничего не знал. Одни говорили, что ночью началась спартаковская революция. Другие это отрицали: никакой революции нет и не будет, просто разграбили несколько ювелирных магазинов.— «Но ведь, это хуже всякой революции!» — с ужасом говорила глубоким голосом нервная худая дама из тридцать второго номера.— «Да, между прочим, если у одного Фридлендера эти сволочи возьмут только то, что у него выставлено в одном окне, то это было бы дело для сына моего отца!» — говорил спекулянт Гейер, грузный рыхлый веселый рижанин, снимавший в пансионе лучший номер.— «Das wäre etwas für mein' Vaters Sohn...» [5] Гейер делал в Берлине большие дела; всегда шутил и острил, а за обедом, сразу на двух языках, по-русски и по-немецки, рассказывал анекдоты о внезапно разбогатевших людях: «Raffke schiebert» [6].— «Неслыханно, неслыханно!» — повторяла госпожа Леммельман, не то о революции, не то о грабежах, не то о невозможности подать гостям, как всегда во вторник, Eisbein mit Sauerkraut.

— Я вчера, правда, слышал, как стреляли,— сказал Витя.— Я был на лекции... Говорили, что есть раненые. Но потом, когда я возвращался домой, все было совершенно спокойно. А здесь, в районе Курфюрстендамма, все кофейни были полны.

---

[1] Свиные ножки с капустой *(нем.)*.
[2] Филе судака *(нем.)*
[3] Картофельные оладьи с брусникой! *(нем.)*
[4] «Неслыханно! Просто неслыханно!» *(нем.)*
[5] «Это было бы кое-что для сына моего отца..» *(нем.)*
[6] «Хапуга спекулирует» *(нем.)*

— Это оттого, что есть много неразумных людей,— сказала хозяйка, гневно взглянув на Витю. Очевидно, она хотела употребить более сильное выражение, но сдержалась. Витя вспыхнул. В столовую вошел министерский советник Деген, самый почетный из всех жильцов пансиона на Курфюрстендамме. Это был очень пожилой человек, среднего роста, но почему-то казавшийся высоким, с большим шрамом на необыкновенно гладко выбритом,— как думал Витя, ложно-значительном — лице. Госпожа Леммельман, в разговорах с другими жильцами, постоянно ссылалась на мнение министерского советника и обычно добавляла, что у него и сейчас огромные связи, хоть он с ноября в отставке. Она о ноябре 1918 года говорила просто «ноябрь», как если бы это был единственный ноябрь в истории. Точно так же советника Дегена госпожа Леммельман называла «господином министерским советником», никогда не упоминая его фамилии. Необычайное уважение хозяйки к советнику Дегену невольно передалось и жильцам. Его за столом все слушали с почтительным вниманием, даже тогда, когда он говорил о погоде. Правда, он и о погоде умел говорить чрезвычайно веско, так, что нельзя было не слушать.

Госпожа Леммельман рассказывала Тамаре Матвеевне, что у господина министерского советника было восемь дуэлей, но ранен он был только один раз. Тамара Матвеевна нерешительно ахала и наудачу говорила «Wunderbar!» [1],— она не знала, как надо относиться к студенческим дуэлям: Семен Исидорович о них никогда не высказывался. Витя относился к поединкам критически, но в душе не мог не испытывать уважения к человеку, который восемь раз дрался на дуэли. Внушала ему невольное уважение и физическая сила старика,— о ней тоже рассказывала чудеса госпожа Леммельман. Взглядов советник был настолько правых, что Вите, еще не отвыкшему от воспоминаний 1917-го года, это казалось почти несерьезным. Вдобавок, свои взгляды Деген высказывал всегда с таким видом, точно иначе думать, как всем известно, могли только совершенные идиоты. Это тоже производило впечатление на его собеседников: с советником не вступал в спор даже либерально настроенный Гейер, которого никак нельзя было упрекнуть в недостатке самоуверенности. Витя и себя как-то поймал на том, что кланяется Дегену почтительнее, чем другим жильцам пансиона. Это его раздражило, и на следующий день он поклонился советнику очень сухо, чего тот, впрочем, совершенно не заметил.

---

[1] «Чудесно!» *(нем.)*

Советник Деген был старым знакомым хозяйки пансиона и жил у нее давно. Семьи у него не было; он все же мог обзавестись квартирой, хоть перевели его в Берлин из Кенигсберга года за два до революции. «Господин министерский советник всегда говорит, что не будет нигде иметь таких удобств, как у меня»,— с гордостью объясняла госпожа Леммельман Тамаре Матвеевне. «Господин министерский советник знал еще моего покойного отца, который был в Кенигсберге юстиц-асессором. Одно время, правда, господин министерский советник на меня несколько сердился за то, что я вышла замуж за иностранца, да еще за еврея...» Госпожа Леммельман при этом нерешительно взглянула на Тамару Матвеевну: она все не могла решить, еврей ли господин министр Кременецкий. Муж ее утверждал, что Кременецкие еврейского происхождения; но с другой стороны, в России министров евреев как будто не было: кроме того, сам господин министр, и особенно Витя, которого она считала их родственником, совершенно на евреев не походили.

— Дозвонились, господин министерский советник? — почтительно спросила госпожа Леммельман: советник Деген по телефону наводил справки о событиях. Он сел за свой столик, лучший в столовой, у срединного окна, и, заказав кофе (прислуга впрочем твердо знала, что именно ест и пьет по утрам господин министерский советник), неторопливо объяснил, что спартаковцы действительно решили использовать для революции всеобщую забастовку, объявленную этими господами из совета,— по тону его ясно чувствовалось, что господа из совета отнюдь не пользуются его любовью. Правительство объявило осадное положение и перевело войска в состояние боевой готовности.— Слова «Standrecht» [1] и «Alarmbereitshaft» [2] у советника Дегена звучали очень внушительно; он и произносил их с видимым удовольствием. Не нравилось ему, по-видимому, лишь то, что главнокомандующим с чрезвычайными полномочиями назначен штатский министр, социал-демократ Носке. Спартаковцы пытались овладеть главным полицейским управлением, но были отбиты: «blutig abgewiesen» [3] — с еще большим удовольствием сказал он. И вообще беспокоиться не о чем: хотя эта Republikanische Soldatenwehr [4], действительно, не очень надежна, но зато в распоряжении правительства есть и бригада Рейнгарда, и дивизия Гюльзена, и Gardekavallerieschützendivision [5].

---

[1] «Законы военного времени» *(нем.)*.
[2] «Боевая готовность» *(нем)*.
[3] «Дали по носу» *(нем.)*.
[4] Республиканская армия *(нем.)*.
[5] Гвардейская конно-пехотная дивизия *(нем)*.

— Но эти войска, господин министерский советник, эти войска, по крайней мере, вполне надежны? — взволнованно спросила госпожа Леммельман.

Министерский советник только усмехнулся: в надежности Gardekavallerieschützendivision, по-видимому, никак сомневаться не приходилось. Все жильцы почувствовали облегчение. Почувствовал некоторое облегчение и Витя, подивившись и самому слову («надо будет подсчитать, сколько в нем букв!»), и тому, что министерский советник произносил его без малейшего затруднения, как «Ja» или «Nein» [1]. Советник Деген снисходительно отвечал на вопросы жильцов. Он настойчиво посоветовал дамам и иностранцам не выходить из дому: могут быть большие неприятности,— добавил он, покосившись на Витю, который, по-видимому, переходил в пансионе на роль сторонника революции.

— Большинство этих спартаковцев мальчишки. Их лучше всего было бы просто перепороть,— сердито сказал министерский советник.— Во всяком случае так дело дальше продолжаться не может. Необходимы решительные меры. «Gründliche Säuberung, gründliche Säuberung» [2],— повторил он, неторопливо намазывая подобие хлеба подобием масла.

Потянулись дни, грустно напомнившие Вите то, что происходило два года тому назад в Петербурге. Но здесь все было неизмеримо скучнее. Русским от событий ждать было нечего. Все происходившее, очевидно, следовало рассматривать не как революцию, а как контрреволюцию,— слово было мрачнее и неприятнее, но в душе Витя все время удивлялся: до чего революция и контрреволюция похожи одна на другую. Правда, были и черты, отличавшие германские события от русских. В Берлине вначале магазины и кофейни были открыты, конторы работали, и в районе Курфюрстендамма жизнь шла почти нормально,— вот только перестали выходить газеты. Кроме того, Витя помнил, в Петербурге на улицу вышли (это странное выражение было тогда общепринятым) юноши, как он сам, солдаты, да еще, пожалуй, рабочие. В Берлине же, после начала контрреволюции, в пансионе остались только женщины, дети, старики и иностранцы. Большинство взрослых немцев тотчас записалось в добровольческие отряды. «Кто же торгует в магазинах и ходит по кофейням? — с недоумением спрашивал себя Витя.— Впрочем, так это было и во время войны. У англичан это, кажется, называлось business as

---

[1] «Да», «нет» *(нем.)*.
[2] «Генеральная чистка» *(нем.)*

usual[1]. В Европе, видно, и к революции относятся спокойнее, чем у нас».

Записался в добровольцы и министерский советник Деген, которому было никак не менее шестидесяти лет. При этом выяснилось, что он офицер запаса. К обеду во вторник советник вышел в столовую в военном мундире очень старого покроя, но чистеньком и разглаженном, точно его владелец тридцать лет, со дня на день, ждал начала гражданской войны. По просьбе советника, госпожа Леммельман снабдила его бутербродами, которые тут же, с любовью и умилением, изготовила сама. Витя хотел было отнестись ко всему этому с иронией. Однако он должен был про себя признать, что здесь не было ровно ничего смешного. Советник Деген ушел, осмотрев револьвер, так же спокойно, как в течение долгих лет уходил каждое утро с портфелем на службу. По горячей просьбе хозяйки, он обещал при всякой возможности сообщать ей о событиях и, действительно, часа через три позвонил по телефону. Новости его были не слишком успокоительны. Значительная часть Republikanische Soldatenwehr, как он и предвидел, перешла на сторону спартаковцев. Революционеры по подземной железной дороге вплотную подступили к главному полицейскому управлению. Однако главное полицейское управление держится. Правительственным летчикам удалось сбросить полиции мешки с продовольствием, и есть все основания думать, что с минуты на минуту подойдет Gardekavallerieschützendivision. Она очень скоро справится с мятежом.

Хозяйка тотчас передала сообщение в столовой, которая превратилась в пансионский клуб. Говорила она озабоченно, но, подчиняясь национальной дисциплине, подчеркнула добрую сторону сообщения. «Ach, Gott!..»[2] — горестно вздыхая, сказал муж госпожи Леммельман, русский дантист, очень тихий, незаметный, пессимистического склада человек; его многие жильцы совершенно не знали: в обычное время он целые дни проводил в своем зубоврачебном кабинете. Выражение лица у господина Леммельмана было неизменно грустное и несколько брезгливое, быть может вследствие его профессии. Интересовали его только зубы и стихи. Он бывал доволен, когда его называли доктором, говорил и по-русски, и по-немецки очень литературно и по вечерам, запираясь от жены, которую считал низшей натурой, переводил на немецкий язык Фруга и Надсона.

Больше советник Деген ничего не сообщал. В тот же день перестал действовать телефон. Среди жильцов распро-

---

[1] Бизнес как обычно *(англ.)*.
[2] О Боже!.. *(нем.)*

странились панические слухи. Говорили, что спартаковцы победили, что они проникли в здание полицейского управления и что войска переходят на их сторону. Госпожа Леммельман с негодованием опровергала эти вести; однако видно было, что и она очень встревожена: советник Деген на ночь не вернулся в пансион. На следующее утро жильцы-иностранцы приняли решение не выходить из дому: в городе идет резня. Витя высказался против этого решения, но, проявив мужество, подчинился большинству, тем более, что ему идти было некуда. Несколько обеспокоило его, что фрекен Дженни к утреннему кофе не вышла в столовую. Обычно они с матерью появлялись очень аккуратно в четверть девятого.

Допив кофе, Витя отправился к себе наверх. На площадке первого этажа он вдруг с тревогой увидел, что у открытых настежь дверей номера двадцать шестого происходит нечто необычное. Витя поспешно прошел к дверям,— ему случалось и раньше бродить по этому коридору несколько чаще, чем требовалось. У дверей стояли ночной столик, кресло и ведро с водой. В комнате постель с голым матрацем была отодвинута от стены, стулья находились не там, где им полагалось быть, на одном из них валялись простыни. Краснощекая горничная усердно работала щеткой, как если бы в городе не было ни революции, ни контрреволюции.

— Разве госпожа Сванинг уехала? — растерянно спросил Витя.

Словоохотливая горничная подтвердила: да, фрау Сванинг и фрейлен Сванинг уехали сегодня рано утром к себе в Данию. Фрау Сванинг очень испугалась, что закрыли телефон: вдруг перестанут ходить и поезда. Собрались и уехали, не успели ни с кем проститься и очень всем кланялись.

— Ach, so![1] — растерянно сказал Витя. Им овладела острая тоска. Он едва был однако знаком с этой барышней,— все бранил себя, что не сумел познакомиться поближе; другие молодые люди делают это так легко и просто. «Теперь больше никогда ее не увижу!..»

— Говорят, это и в самом деле был последний поезд. Что это с Германией будет? А как думает молодой господин? — радостно говорила горничная. Но молодой господин теперь не думал о том, что будет с Германией. Расспрашивать горничную было больше не о чем и не совсем прилично.

— Ach, so,— повторил невпопад Витя и вышел. В этой комнате, где пахло мокрым деревом, ничто о фрекен Дженни

[1] Ах так! (*нем.*)

не напоминало. На ночном столике за дверью лежал номер иллюстрированной газеты. Витя оглянулся,— горничная усердно работала щеткой. Он взял газету «на память», тут же выбранив себя за сентиментальность.

В четверг погасло электрическое освещение. В столовой зажгли свечи. Жильцы-иностранцы ходили как тени и шепотом сообщали друг другу панические новости. «Ах, будет совершенно то же самое, что у нас,— говорил удрученно зубной врач.— Такова историческая линия эпохи». Брезгливое выражение на лице у него обозначалось еще сильнее. Гейер отвечал, бодрясь: «Ну, что ж, между прочим, как-нибудь поладим и со спартаковцами. Они в конце концов такие же люди, как мы с вами...» Молодой швед, сторонившийся в столовой, решительно заявил, что победа спартаковцев вполне ими заслужена: они одни не несут ответственности за четырехлетнюю бойню. Прежде госпожа Леммельман не потерпела бы таких речей в своем пансионе. Теперь она сдержалась и только после ухода шведа возмущенно сообщила другим жильцам, что это молодой человек из очень хорошей семьи: сын генерала, покинул Швецию из-за несчастной любви и из-за ссоры с родителями. «А кто он по профессии?» — с любопытством спросил Гейер. Госпожа Леммельман с досадой ответила, что по профессии он, кажется, поэт, ein Dichter, или что-то в этом роде.— «Кажется, целый день пишет стихи...» — «И этим он живет? — спросил недоверчиво спекулянт.— Странный господин...»

В этот день в городе остановились трамваи и автобусы, закрылось паровое отопление, и вода перестала идти из кранов. Начиналась первобытная жизнь. Говорили, что, быть может, удастся достать воду из какого-то колодца. Гейер, не выносивший холода, высказал мнение, что следовало бы затопить камины, использовав для этого стулья, табуреты и еще какое-нибудь здешнее старье,— госпожа Леммельман только на него посмотрела, и он больше на своем предложении не настаивал.

К вечеру вдруг загрохотала артиллерия, и гул пальбы стал зловеще приближаться к западной части города. Гейером вдруг овладел ужас. Радостно-ироническая улыбка, обычно державшаяся на его лице, сменилась мертвенным выражением: он сидел в кресле, держась рукой за сердце и тяжело дышал. Зубной врач принес ему успокоительное лекарство. «Может быть, это просто Schreckenschüsse [1],—

[1] Холостые выстрелы (*нем.*).

уныло говорил он, брезгливо отсчитывая капли; но в устах пессимиста и слова утешения имели гробовой характер.— «Ах, оставьте, пожалуйста, я знаю эти Schreckschüsse, я уже слышал в Риге эти Schreckschüsse»,— умирающим голосом шептал спекулянт. Зубной врач в полутьме просчитался: вышло восемнадцать капель, вместо пятнадцати.— «Выпейте это снадобье... Все-таки не надо так падать духом: отчаянье плохой советник»,— говорил он, внимательно вглядываясь в зубы спекулянта: коронку слева можно было бы сделать иначе и лучше.— «Я уже слышал эти Schreckschüsse, я уже их слышал»,— бессмысленно повторял Гейер.

В это время смельчаки, решившиеся «выглянуть на улицу», неожиданно принесли радостные известия. Им на улице сказали, что начался перелом. Понять это было нелегко, но госпожа Леммельман толковала сообщение очень благоприятно. Она знала, что Gardekavallerieschützendivision сделает свое дело как следует.

В девять часов в столовой зажглась люстра, по всему пансиону пронесся радостный гул,— хозяйка побежала спешно тушить лампы, которым гореть не полагалось: жильцы с горя целый день пробовали все выключатели. Оказалось, что забастовавших рабочих на электрической станции заменили добровольцы-инженеры. Затем двинулись автобусы и трамваи,— их вели студенты технических школ. А на следующий день рано утром горничная бесцеремонно, не постучав, вбежала в комнату Вити и восторженно сообщила ему, что из кранов идет вода и что трубы отопления начали согреваться. В столовой люди шумно, как новинке, радовались вновь обретенным благам цивилизации. Стало известно, что правительственные войска одержали полную победу. Кто-то с торжеством принес раздававшееся на улицах сообщение верховного командования. В нем говорилось: «Um unnötige Verluste zu vermeiden, wurde bei stärkerem Widerstand mit Artillerie und Minenwerfen vorgegangen. Die Verluste des Gegners sind sehr schwer» [1]. Гейер ожил и уверял, что никогда не сомневался в победе сил порядка над этими сволочами (он постоянно о самых разных категориях людей говорил: «эти *сволочи*»).— «Но сколько, между прочим,

[1] «С усилением сопротивления, дабы избежать ненужных потерь, были использованы артиллерия и минометы. Потери противника очень велики» *(нем.)*.

эта история будет стоить Михелю, даже и сказать трудно. Я хотел бы иметь десятую часть этого, это было бы дело для сына моего отца!..»

У подъезда дома остановился автомобиль. В переднюю пансиона вошел старик полицейский с седыми усами, с жесткой щеткой седых волос, одновременно похожий на всех знаменитых германских генералов. Поздоровавшись с встревоженным дантистом, он вынул из кармана записку, что-то в ней разыскал и осведомился, не здесь ли жил министерский советник Готфрид Деген. Получив утвердительный ответ, он так же неторопливо сделал на записке пометку карандашом, а затем сообщил, что советник Деген убит спартаковцами.

В пансионе произошел переполох. С госпожой Леммельман случился истерический припадок. Ее отвели в спальную. В передней стали собираться люди. Известие потрясло всех. Полицейский никаких подробностей сообщить не мог. В его записке, отбитой на пишущей машине, было только сказано: «Убиты зверским образом»,— далее следовали имена и фамилии, какие удалось установить по бумагам, и адрес школы, где находились сейчас тела: там и были убиты все эти люди. Зубной врач, совершенно расстроенный известием, вернулся из спальной и сообщил, что его жена непременно хочет отправиться за телом.— «Сейчас? Но ведь это безумие!» — воскликнул спекулянт.— «Нет, разумеется, не сейчас, но завтра утром. Я не могу оставить пансион, ведь на нас двух держится все учреждение. А между тем как отпустить бедную женщину одну в такое тяжелое время?..»

Никто из жильцов не изъявил желания поехать с госпожой Леммельман. После минутного молчания Витя предложил свои услуги. Несмотря на его молодость, предложение было тотчас принято с облегчением. Зубной врач достал план Берлина и озабоченно объяснял, как проще всего ехать в Лихтенберг.— «Я только на вас полагаюсь, добрейший господин Яценко. Она ведь способна все глаза себе выплакать, die elende Kreatur [1], вы не знаете, как она умеет плакать! Если б еще были какие-нибудь узы крови, но ведь этот покойный мученик был просто хороший человек»,— с особенной брезгливостью говорил зубной врач.— «Ах, нет, не говорите, я отлично это понимаю, я сам на ее месте сделал бы то же самое,— возражал спекулянт,— и между прочим, я вас прошу, молодой человек, непременно возьмите

---

[1] Несчастное созданье *(нем.)*.

автомобиль на мой счет туда и обратно! Пусть он даже вас там ожидает!» — «Не понимаю, почему на ваш счет?» — обиженно сказал Леммельман.— «Я вас очень прошу! И если будут еще какие-нибудь расходы, я все беру на себя!..» Нервная дама из тридцать второго номера вручила Вите флакон с солями, на случай, если с госпожой Леммельман гам случится припадок.— «Я с ним никогда не расстаюсь, но возьмите, ничего. Только сейчас же отдайте мне, как вернетесь...»

Полицейский, терпеливо все это слушавший, попросил хозяев расписаться в том, что о смерти министерского советника Дегена по месту его жительства объявлено.— «Но как же вы ничего больше не знаете? — укоризненно спросил зубной врач.— «Auf viehische Weise niedergemacht!» [1] Как можно относиться к этому с таким олимпийским спокойствием?» — Полицейский посмотрел на него с недоумением. За этот день он со своей запиской побывал не меньше, как в двадцати домах, и везде происходило одно и то же: растерянные крики, дамские рыданья, нелепые вопросы. Если б эти люди прожили столько, сколько он, и, главное, видели на своем веку такое же число убийств, они относились бы к подобным вестям спокойнее,— так философ мог бы истолковать неопределенные мысли старика-полицейского.

Витя поднялся в свою комнату и лениво сел за письменный стол. В предыдущие дни, при свече, работать было неудобно. Свеча еще и теперь печально-уютно стояла на ночном столике. На столе лежала книга о перспективах социализма,— Витя уже прочел ее почти до конца и даже кое-что выписал: вот только экономические главы как-то незаметно «пробежал»: он предпочитал пробегать по политической экономии, хоть твердо знал, что она теперь самое важное и главное. Рядом с книгой лежала тетрадь с записью лекции знаменитого философа. Именно над ней и следовало поработать. Витя просмотрел записи и с удивлением убедился, что по этим отдельным неразборчивым словам восстановить лекцию будет нелегко: многого он уже не мог вспомнить. «Все-таки, главное осталось: тон, музыка его речи... Он говорил: действовать. Какое же действие? На него подуть, он повалится, со всей своей гениальностью и со своей философской системой. А этот несчастный советник, который казался мне тупым и грубым человеком, он без всякой философской системы, но с револьвером вышел

---

[1] «Покончить, как со скотами!» *(нем.)*

на улицу и просто, без слов, отдал жизнь за родину. Вот и разберись: кто же из них создал настоящую Германию? Или оба? Или то общее, что у них, быть может, есть и чего я, русский, не вижу?.. Во всяком случае мне в такое время стыдно сидеть в Берлине и ходить в университет».

Витя вздохнул и, преодолев лень, начал записывать. Кое-что он должен был дополнять от себя. После часа работы лекция приняла вполне литературную форму. Особенно взволновавшую его фразу он перевел так: «В конечном счете весь смысл жизни в действии. Только оно дает человеку убежище от чуждого и враждебного мира».— «Но действие это ведь и есть: auf viehische Weise niedergemacht!»,— подумал Витя и потерял связь мыслей.

Он спрятал тетрадку в ящик стола. Там лежал номер иллюстрированного журнала, тот самый, который теперь для него был единственным воспоминанием о фрекен Дженни, навсегда ушедшей из его жизни. «Ведь смешно подумать: кроме «Mahlzeit» и «Guten Abend» [1] я ей, кажется, не сказал ни одного слова. Но я был по-настоящему в нее влюблен и, как мальчишка, бегал по ее коридору нарочно для того, чтобы ее встретить и сказать ей этот самый «Guten Abend»... И это несмотря на Мусю, несмотря на Елену... И все это разное, и все это совмещается, а сам я просто глупый резонер: не живу, а так, смотрю, как живут другие, и зачем-то копаюсь в себе...» Витя вздохнул и стал перелистывать в десятый раз журнал. Читать в нем было собственно нечего. Во всех видах, за работой, на прогулке, в кругу семьи изображались деятели Веймарского Национального Собрания с сосредоточенными, вдохновенными лицами. Особенно вдохновенные лица были у депутаток-социалисток. Троцкий принимал рапорт царского генерала, перешедшего на сторону коммунистической революции. У Троцкого и у генерала тоже были лица сосредоточенные и вдохновенные (хоть несколько по-иному — в их глазах *сверкал фанатизм*). На Мюнхенской Promenadenstrasse, на месте недавнего убийства Курта Эйснера, стоял в венке его портрет. Несмотря на дождь, офицер с обнаженной шпагой нес у портрета почетный караул. По сторонам, с раскрытыми зонтиками, толпились люди, и у всех у них также были преображенные лица. В этой насыщенной литературой стране шла игра в Шпильгагена,— с непривычки занятная и по непривычке трудная игра в свободу и в беспорядок.

Витя заглянул и в объявления: вдруг попадется подходящая работа? Владелец большого галантерейного магази-

---

[1] «Приятного аппетита», «Добрый вечер» *(нем.)*.

на сообщал о кончине служащего. «Für mich war er ein geschätzer Mitarbeiter, der in 23 jahrigem Wirken sich durch Pflichttreu und edlen Charakter ausgezeichnet hatte, so daß ich ihn mit der Leitung meiner Kinderwäsche-Abteilung betraute...» [1] Доктор философии искал для своего друга: «Dr., Vierziger, erstklass. Charakter, außerordentlich gebildet, jetzt im höheren Staatsdienst», подходящей невесты, «von heiterem Temperament, liebevollem Wesen, tiefe Herzenbild., Mitte 30 bis Anfang 40, mit entspr. Vermögen. Witwe ohne Kinder angenehm. Ev. Einheirat in gr. Unternehmen...» [2] — друг доктора ничего не должен был обо всем этом знать. Объявлений о службе для молодого иностранца, не имеющего ни первоклассного характера, ни необычайного образования, ни веселого темперамента, ни сердечной глубины, ни приличного состояния, в журнале не было. Очень много было объявлений о балах и дансингах,— Германия танцевала день и ночь. Витю заинтересовали какие-то caviar-girls [3],— что бы это такое могло быть? — и объявленный большой приз «за самые красивые ножки Берлина».

— Nee, lieba Herr, fah ick nich. Da schießen se sich de Köppe kaputt [4],— сказал благодушно старый извозчик, узнав от Вити адрес. Найти автомобиль было невозможно. Пришлось поехать по железной дороге. Вагон был необычайно переполнен. Не удалось посадить и госпожу Леммельман, а самого Витю прижали в угол и так сдавили, что он едва не задохся. Эта поездка в вагоне надолго осталась у него в памяти. Витя вздохнул легко, когда они, наконец, вышли из вагона. Госпожа Леммельман тихо плакала, не отвечая на озабоченные замечания, которые старался делать Витя: идти молча было неловко и тяжело. «Все-таки она очень хорошая женщина,— думал он,— не всякая другая взяла бы на себя такую заботу. И горе ее самое искреннее. Вот и погляди: за всеми ее Zanderfilet оказался человек с душой...»

---

[1] «Для меня это был ценный сотрудник, который за 23 года работы у меня отличался верностью долгу и благородным характером, так что я смог ему доверить руководство отделом детского белья...» *(нем.)*

[2] «Кандидат наук, 40 лет, первоклассный характер, всесторонне образован, занимает высокий пост на государственной службе»

«нежное существо бойкого темперамента, способное на глубокие чувства. От 35 до 40 с небольшим с соответствующим состоянием. Возможна вдова без детей. Возможен брак с владелицей крупного предприятия» *(нем.)*.

[3] Здесь: шикарные девочки *(англ.)*.

[4] Нет, почтеннейший, туда я не ездок, там они уже друг другу насквозь головы продырявили *(нем.)*.

День был солнечный и теплый. На площади перед вокзалом стояла толпа. Вдруг раздался радостный гул. Из-за угла медленно выезжал танк. За ним шел отряд солдат. Витя с любопытством уставился на чудовище — он никогда не видел танков. «Да, вот тут у них лица не *вдохновенные* и не *преображенные*. Вот это им действительно нравится!..» Танк внушительно пересек площадь,— для него проход тотчас нашелся. Очевидно, и пустили его на всякий случай, для острастки: бои кончились, правительство одержало полную победу.

Недалеко от школы Витя увидел пленных спартаковцев: под конвоем вели людей отталкивающего вида в самых странных костюмах,— некоторые из них были в солдатских мундирах и в штатских шляпах-котелках. Они шли с поднятыми руками. «Это должно быть мучительно, если долго... Но куда же их ведут? Неужели на расстрел?..» Толпа ревела и осыпала спартаковцев бранью

У ворот школы стояли часовые. В стене здания зияла огромная дыра. В собравшейся кучке людей говорили, что здесь позавчера происходили ожесточенные бои. «А потом всех тут и расстреляли...»

Накрытые простынями тела симметрично лежали на дворе школы, где были устроены разнообразные и сложные приспособления для гимнастики. К каждой простыне был аккуратно приколот листок бумаги с отбитой на машине фамилией убитого. В разных местах двора слышались крики и рыданья. Госпожа Леммельман слабо застонала еще у ворот. Полицейский спросил, кого они ищут, и, получив от Вити ответ, сразу проводил их к телу советника Дегена. Оно лежало в конце двора, у школьных качелей. Полицейский приподнял покрывало. Госпожа Леммельман вскрикнула страшным голосом и, опустившись на колени, зарыдала. Лицо убитого было совершенно изуродовано и залито кровью.

— Так они все... И все тело так,— мрачно сказал Вите полицейский.

— Но кто же это?..

— Кто? Эти скоты. Ничего, мы в долгу не останемся!

Полицейский отошел, с непонятным немецким ругательством. Витя не мог оторвать глаз от тела. «В самом деле, какие звери! Как быть с такими людьми? Ведь право,— у нас этого не было! По крайней мере, я в Петербурге такой холодной жестокости не видел... Что же все-таки для нее сделать?» Витя вспомнил о флаконе солей и предложил его госпоже Леммельман, она, рыдая, оттолкнула руку Вити.

«Воды разве ей принести?» Слева был вход в школу. Вите вспомнилось Тенишевское училище, залитый солнцем двор, огромный куб дров у стены... Он подумал об отце и поспешно отошел. «Может быть, в школе можно достать воду. Впрочем, никому от воды в таких случаях легче не становилось...» Какой-то высокий сутуловатый человек в длинном черном пальто медленно шел по двору, бесстрастно глядя на тела убитых. Почему-то Витя задержался на нем взглядом.

У входа в школу собралась небольшая толпа. Молодая женщина, вероятно, прислуга школы, рассказывала в десятый раз: она все видела собственными глазами. «Вот, вот мое окно, вон то,— тыкала она энергично рукой в направлении стены, точно другие это оспаривали.— Я тут всегда живу, уже пять лет, это моя комната, я все, все видела. Сначала спряталась, а потом не могла, подошла к окну...» Она говорила, что всех их, кого схватили, привели сюда и били, очень долго били. «Ремнями и резиновыми палками, страшно били и издевались! — поясняла она, расширяя глаза.— А потом стали расстреливать, одного за другим, одного за другим, из револьверов, и всех сюда, вот сюда...» Она показывала на лоб у переносицы. Слушатели ахали. Из глубины двора неслись рыданья. Вдали изредка слышались глухие залпы. Говорили, что это расстреливают спартаковцев. Витя повернулся — и вздрогнул, встретившись глазами с сутуловатым человеком в черном пальто. Он, видимо, тоже слушал рассказ женщины. «Кто это?.. Русский и петербуржец. Я его где-то видел, но каким-то другим... Кажется, и он меня знает...» Человек в черном пальто однако ничем не показал, что знает его, и усталой походкой отправился к воротам. Витя нерешительно отошел к госпоже Леммельман, оглянулся, сделал еще несколько шагов и вдруг остановился пораженный. «Неужели Федосьев?! Не может быть!..» Но человека в черном пальто уже на дворе не было.

XV

В залитом солнцем спальном вагоне возбуждающе-радостно зазвенел колокольчик. Лакей из вагон-ресторана торопливо проходил по коридору, заглядывая в отделения, и везде полуговорил-полупел с одной и той же интонацией: «Le dîner est servi!.. Premier service!..» [1] Клервилль положил газету, сунул в пепельницу папиросу и встал в самом приятном настроении духа. Он разрешил в пользу красного бургонского вопрос о выборе вина, уже давно его занимавший.

[1] «Обед подан!.. Первая очередь!..» *(франц.)*

— А книга для нашего друга Серизье? — с улыбкой спросил он жену, которая пудрилась перед зеркалом.

— Ах, да,— сказала Муся.— Она в моем несессере.

Колокольчик, удаляясь, продолжал радостно звенеть. Клервилль ловко снял с сетки несессер, щелкнул замочком и достал книгу, лежавшую на красном атласе, среди раззолоченных, хрустальных, черепаховых вещиц. Этот несессер они недавно купили вместе с целой коллекцией превосходных чемоданов одинакового цвета, разной величины и назначения.

Покупки очень занимали Клервиллей в первое время после смерти тетки. Мебели они не покупали, так как еще не имели дома и даже не знали точно, где именно будут жить: вопрос о службе Клервилля оставался нерешенным. Однако присматривались они и к мебели, составляли подробные подсчеты, сметы, не раз рисовали даже план квартиры, которую следовало бы снять. Муся заказывала платья, покупала меха, шляпы, безделушки. Клервилль входил во все и давал советы. Его мнению Муся верила плохо: в туалетах ничего не мог понимать ни один мужчина,— кроме, разумеется, тех знаменитых парижских портных, которые эти туалеты выдумывали. Однако, она очень внимательно прислушивалась к его советам. Клервилль тоже заказал у лучшего портного несколько штатских костюмов; во время войны он почти всегда носил мундир. Разные мелочи они выбирали вместе. Постоянно возникал спор, где именно делать покупки: Муся стояла за Париж, ее муж за Лондон. Зато оба они сходились на том, что приобретать надо дорогие вещи в лучших магазинах. В пользу этого говорили даже соображения экономии: дорогое и держится дольше,— уж лучше покупать немного, но только очень хорошее.

Покупки были чрезвычайно приятным делом. Муся не сразу себе созналась, что собственно они были даже самым приятным из всего,— «если не считать дней любовного угара», иронически добавляла она в мыслях словами какого-то романа, над которым принято было смеяться. Чемоданы не принадлежали к числу показных вещей. Однако это была одна из самых приятных покупок. После нее они долго сидели, в прекрасном настроении, на террасе кофейни в Елисейских Полях. Был солнечный весенний день. Говорили они о далеких путешествиях, в Египет, в Америку, в Японию. Муся хотела начать с Европы — она никогда не была в Испании, Константинополе, на фиордах. Вивиан со вздохом напомнил, что, быть может, его пошлют служить в Индию. Мысль об Индии занимала Мусю. Она представляла себе —

пожить немного в Бомбее (ей очень нравилось слово Бомбей), посмотреть на магараджей, на слонов, на *невольников*, затем вернуться в Париж, после большой охоты на тигров во владениях магараджи. Вивиан имел менее радостные представления о службе в Индии. «Во всяком случае, мы будем часто приезжать в Париж»,— несколько неожиданно добавила Муся. Ее увлечения Парижем Вивиан не разделял. Однако он должен был признать, что такой улицы, как Елисейские Поля, нигде нет, что в Лондоне нет кофеен, и что они купили у Вюиттона превосходные чемоданы,— лучше, пожалуй, и в Англии не сыщешь. Муся вдруг расхохоталась, вспомнив, что, когда давала приказчику инициалы М. К. для обозначения на чемоданах, то под К. она мысленно разумела свою девичью фамилию. «Chéri, je te jure que je t'ai complètement oublié, c'est une gageure! Mais quelle coïncidence de lettres!» [1] Вивиан тоже очень смеялся. В ту пору у них еще часто выпадали такие счастливые дни. Теперь они бывали реже.

— Не забыть отдать книгу нашему бедному другу, а то ему нечего будет читать на ночь,— сказал, улыбаясь, Клервилль. Эта улыбка, с которой он всегда говорил о Серизье, не нравилась Мусе. Не нравилось ей и то, что он всегда, как будто нарочно, называл депутата «нашим другом». Во всяком случае, скандала он никогда не сделает, на скандал он не способен... Изредка, впрочем, Мусе казалось, что он и очень способен на скандал, и тогда ей становилось не по себе,— этот геркулес в ярости должен был быть страшен. Однако сейчас Вивиан явно думал только о предстоящем обеде: он говорил, что перед обедом надо отгонять от себя неприятные мысли, иначе не стоит и жить. «Все-таки очень удачно устроилась эта поездка в Люцерн...»

Поездка в Люцерн устроилась не сама собой. Родители Муси давно, с трогательной робостью, просили ее навестить их. Муся долго откладывала поездку. Но, по случайности, все сложилось очень приятно. Оказалось, что в Люцерне состоится международная социалистическая конференция. На нее должен был отправиться Серизье. «Отчего же не поехать и нам приблизительно в это время?» — говорила мужу Муся с подчеркнуто беззаботным видом. Клервилль нисколько не возражал. Напротив, он сказал, что ему самому очень хочется посмотреть на социалистов,— «особенно, если наш друг так любезно обещает показать нам все».

---

[1] «Милый, клянусь, я тебя совершенно забыла, бьюсь об заклад! Но какое счастливое совпадение букв!» *(франц.)*

Самый приятный сюрприз был впереди. Незадолго до их отъезда Клервилль сообщил жене, что Браун, которого он встретил в кофейне, тоже собирается на конференцию в Люцерн.

— Зачем, не знаю: у этого таинственного человека не разберешь,— смеясь, сказал Клервилль.— Он, кажется, понемногу сходит с ума...

— Как сходит с ума? Почему?

— Не знаю, почему. Я шучу, разумеется... Он, кстати, обещал зайти завтра... Надеюсь, вы ничего против этого не имеете?

— Я очень рада,— небрежно ответила Муся. (Сердце у нее замерло).— Завтра? В котором часу?

— Я позвал его к шести. Мне хочется познакомить его с нашим другом Серизье.

— Отлично... Что, если б мы и поехали в Люцерн все вместе?

— В одном поезде? Отлично. Мы так и устроим. Он тоже едет накануне открытия конференции, кажется, вечером. Надеюсь, они оба заказали спальные места...

— Право, это будет приятная поездка,— с беззаботным видом сказала Муся.— В самом деле, это хорошо складывается.

— Ну, разумеется!

— Все-таки без всякого общества, кроме папы и мамы, нам в Люцерне было бы скучновато. Серизье покажет нам конференцию. Я ничего в этом не понимаю, но, право, и мне это интересно... («Зачем эти идиотские «право» и «все-таки», точно я оправдываюсь!..»)

— Ну, разумеется! — повторил Клервилль, любезно улыбаясь.

Вивиан закрыл несессер и поставил его на маленький чемодан. В отличие от Тамары Матвеевны, которая постоянно умоляла носильщиков сносить все вещи в купе даже тогда, когда это было очевидно невозможно, Клервилль почти все сдавал в багажный вагон. «Он умеет путешествовать, это не так просто... И сам он еще лучше своего чемодана...» В превосходно разглаженном костюме, который почему-то назывался дорожным, в перчатках, в фуражке, Клервилль был в самом деле очень хорош. «Каждый вершок джентльмен»,— полунасмешливо думала Муся, как бы со стороны, расценивая своего мужа. Она в сотый раз выбранила себя идиоткой за то, что его не любит — или не так любит, как следует. «Но как же следует?..»

Они вошли в цепь людей, оживленно-радостно передвигавшихся по мягкому ковру коридора в направлении вагон-ресторана. Все это были люди того высокого сорта, который особенно любила и ценила Муся, люди неофициального масонства роскошных поездов и гостиниц первого разряда. «Да, первый класс жизни. Слава Богу, что сюда попала, теперь уж, кажется, это обеспечено навсегда...» В одном из отделений два молодых человека, торопясь, доигрывали партию в карты. «Allons, allons, vite, j'ai une de ces faims...» [1] — сказал один из них; другой весело расхохотался без видимой причины, верно, просто оттого, что тоже принадлежал к первому классу жизни. В соседнем отделении на кушетке лежала дама устало-страдающего вида. Старый господин в светло-сером пиджаке озабоченно накрыл ее пледом, хоть было жарко,— подвинул к краю столика бутылку, и, сказав даме что-то сочувственное, вышел в коридор. Закрыв за собой завешенную дверь, он с легким поклоном посторонился, пропуская вперед Мусю. Поезд толкнуло, Мусю бросило на старого господина. «Oh, pardon, madame»,— улыбаясь, сказал он, и в его ласковом одобрительном взгляде она как бы прочла, что старый господин признает ее своей, полноправной участницей масонства спальных вагонов. Муся и перед войной жила в очень хороших условиях, если не в богатстве; а под властью большевиков, в разоренной России, оставалась сравнительно недолго. Однако теперь она чувствовала свою принадлежность к миру богатых, праздных, элегантных людей так радостно и живо, точно вышла из полуголодной семьи.

Солнце сверкало последними лучами. За окном пронеслось какое-то высокое сооружение, похожее на печатную букву Г; мелькнула сложная сетка,— Муся бессознательно вспомнила рояль с поднятой крышкой; у сторожки женщина, прикрыв ладонью глаза от солнца, с любопытством смотрела на проносившийся поезд; мальчик проехал внизу на велосипеде, держа руль одной рукой и высоко подняв в другой шапку,— он что-то радостно кричал пассажирам. Третий класс жизни без злобы приветствовал первый.

Муся осторожно ступила, точно боясь упасть, в трясшийся и гремевший проход со странными створчатыми стенками. «Как Мост Вздохов»,— с беспричинно-счастливой улыбкой подумала она, чувствуя на своих плечах взгляд шедшего за ней старого господина. За Мостом Вздохов начинался второй класс — второй класс жизни,— шесть-семь человек в купе, пол без мягкого ковра, потертые чемоданы,

---

[1] «Пойдем, пойдем скорее, я так проголодался...» *(франц.)*

кульки с провизией. Отсюда тоже выходили люди с билетиками для обеда и вливались в общий поток,— как казалось Мусе, не совсем уверенно. «Это хуже всего, второй класс... Только не сюда, остаться там...» За новым проходом пахнуло кухонным жаром, мелькнул сбоку человек в белом колпаке — последний класс жизни,— и почтительный метрдотель в синей куртке с раззолоченными пуговицами принял у Клервилля билетик.— «Numéro dix et douze... C'est ici, madame...»[1] За их столиком уже сидел Серизье. Брауна в ресторане еще не было. «Неужели он взял на вторую серию? Тогда это нарочно. Нет, верно, сейчас придет и он...» Старый господин взглянул на свой номерок с лестным для Муси разочарованием.

XVI

«Что такое? Уж не случилось ли что?» — спрашивала себя Муся, тревожно оглядываясь по сторонам. На вокзале не было ни Тамары Матвеевны, ни Семена Исидоровича. Первая волна вновь прибывших пассажиров уже выливалась за ограду контроля, толпа на перроне начинала редеть,— нет, родителей не было. «Наш спальный вагон последний... Папа мог не прийти по болезни, но мама?»

Ритуал встреч в их семье был давно установлен. До войны Семен Исидорович летом уезжал на воды отдельно от жены и дочери. Дня за четыре до приезда они всегда получали письмо с просьбой ни за что его не встречать на вокзале — это совершенно не нужно, только лишнее беспокойство,— и с подробным указанием маршрута обратной поездки. «Чтоб знали, где искать, на случай ежели кондрашка. Все мы, человеки, под Богом ходим»,— говорил шутливо Кременецкий, к ужасу и гневу Тамары Матвеевны, которая стучала по дереву и произносила мысленно одной ей известные заклинания, отвращавшие опасность сказанных мужем слов. Несколько позднее приходила телеграмма о выезде, потом еще, из Вены или из Берлина, какое-нибудь «Küsse Grüsse»[2] или «Priedu vtornik 11.15 Zeluiu». А в назначенный день, задолго до прихода поезда, Тамара Матвеевна в их новеньком щегольском экипаже уже подъезжала к вокзалу; ждала мужа на перроне с радостным волнением, с легкой тревогой: все может быть, случаются ведь и крушения (постучать сейчас по дереву). Муся в таких случаях

[1] «Номер десять и двенадцать . Это здесь, сударыня...» *(франц)*
[2] «Поцелуи Приветы» *(нем.)*

неизменно сопровождала мать на вокзал, хоть ей Тамара Матвеевна великодушно предлагала остаться дома, тоже не без тревоги: вдруг согласится и останется,— папе было бы так неприятно. Выезжал на вокзал и Фомин. Он звал, случалось, и Никонова, но тот благодарил и отказывался, поясняя, что шесть недель мужественно прожил без Семы, чувствует себя в силах претерпеть еще лишних полчаса. Строго соблюдал уютный, ласковый обряд встреч и Семен Исидорович: отрываясь от самых важных дел, иногда во фраке, прямо из суда или из Сената, он выезжал встречать жену и дочь, когда они возвращались из-за границы.

Серизье отделился от кучки встречавших его людей, подошел к Клервиллям, спросил с улыбкой, как спали,— «я как убитый,— и тотчас простился,— à bientôt, n'est-ce pas» [1]. Муся с любопытством скользнула взглядом по социалистам, встречавшим ее приятеля. Вид у них у всех был необычайно озабоченный. «Невзрачные какие-то, не то, что он... А Браун не соблаговолил подойти... Верно, его вагон далеко... Мог все-таки проститься, хоть, должно быть, сегодня же встретимся опять... Все-таки вчера за обедом он был любезен, хотя и разговаривал так мало...»

— Все-таки это очень странно, что мамы нет,— сказала она мужу, который пересчитывал чемоданы на тележке носильщика.— Я начинаю беспокоиться.

— Значит, что-либо помешало,— вполне хладнокровно ответил Клервилль, вынимая портсигар.— Какая досада, не осталось ни одной папиросы!

— Может быть, они не получили нашей телеграммы?

— Тоже может быть,— согласился ее муж.— Так получите большой багаж и все на такси,— обратился он по-английски к носильщику, очевидно в полной уверенности, что носильщик обязан понимать английскую речь. Носильщик, действительно, понял, взял квитанцию и покатил тележку.— Я надеюсь здесь есть Gold Flake [2]—сказал Клервилль и, увидев озабоченное лицо Муси, тотчас добавил:

— Скорее всего они решили, что незачем вставать так рано. И совершенно правильно... Идем...

— Нет, это не может быть,— возразила обиженно Муся. Однако уверенный тон мужа произвел на нее обычное успокоительное действие. Как в свое время ее отец, он, очевидно, не допускал возможности каких бы то ни было бед или даже неприятностей.

---

[1] «До скорого, да?» *(франц.)*

[2] Марка табака — «золотой лист» *(англ.)*.

— Браун исчез, я так и думал!..

— Кажется, он был далеко, в том вагоне,— начала Муся и вдруг, слегка вскрикнув, побежала вперед. По перрону им навстречу неслась, переваливаясь, Тамара Матвеевна. Они заключили друг друга в объятия. Клервилль терпеливо ждал своей очереди, прислушиваясь к восклицаниям: «Ах, я так бежала!..» «Ну что, ну как?..» «Ради Бога, извините меня... Ты чудно выглядишь, слава Богу!..» «Все благополучно? Вы, однако, осунулись, мама... Как папа?..» Тамара Матвеевна едва могла говорить, задыхаясь от бега и от волнения. Несмотря на строгую экономию в расходах, она приехала в автомобиле и все-таки опоздала. Клервилль, усвоивший русские обычаи, почтительно поцеловал теще руку.

— Я так рада... так рада...

— Я тоже... Но что папа? Как он?

Тамара Матвеевна вдруг вынула из сумки платок и поднесла к глазам.

— Что? Что? Ему стало хуже? — растерянно спросила Муся.

— Да... Ему хуже,— ответила Тамара Матвеевна и всхлипнула.— Извините меня, ради Бога... Да, ему хуже!..

— Oh! — огорченно произнес Вивиан.

— Но что же?.. Что говорят врачи?

— Зибер говорит, что опасности нет...

— Так в чем же дело? А тот другой?.. Лихтенберг?

— Лихтерфельд тоже говорит, что опасности нет... вчера был консилиум... Уже с прошлой недели... Я не хотела тебе писать...

— Но почему же? Как это странно, мама!..

Они медленно пошли вперед. Тамара Матвеевна сбивчиво объясняла, понять было трудно. По словам врачей, в ее передаче, выходило так, что опасности нет, но есть опасность.

— Я все-таки не понимаю, мама, что это значит? — строго спрашивала Муся, точно через мать делала выговор Зиберу и Лихтерфельду.— Ведь одно из двух, мама?..

— Я же тебе объясняю, Мусенька,— робко говорила Тамара Матвеевна, вытирая слезы.— Я повторяю то, что они сказали...

— Но я не могу понять!

— Они сказали, непосредственной опасности нет,— выговорила Тамара Матвеевна, с очевидным ужасом произнося слово «непосредственной».

— О, я так огорчен,— не совсем впопад сказал Клервилль, тщетно стараясь приспособиться к их черепашьему

ходу. Муся сердито на него оглянулась. Он подал контролеру билеты и вдруг сбоку, к большой своей радости, увидел табачный киоск; прежде его заслонял поезд, стоявший на соседнем пути.— Надо справиться о большом багаже,— озабоченно заметил он и отошел.

— Все-таки, в конце концов, значит, особенно тревожного ничего нет? — неуверенно, упавшим голосом, сказала Муся. Она сразу вошла в этот мир родителей, когда-то свой, уютный, хоть скучный, теперь мрачный, тяжелый и почти чужой. Как нарочно, в поезде все было так хорошо... У нее опять скользнула мысль о Брауне. «Да, он мог подойти...» — Значит, оба они ясно сказали, что нет опасности? Но отчего вы мне не написали? Прямо стыдно!

— Мусенька, дорогая, что ж я буду тебя волновать! Я ведь знала, что ты все равно приезжаешь... И потом я ждала консилиума.

— Все равно... Надо было написать сейчас же, если даже немного хуже! — «Да, поездка пропала, а я так ее ждала!» — со вздохом подумала Муся, подавляя беспредметное раздражение. Все у нее заволоклось мраком. «Они не виноваты, бедные... Но ведь и я не виновата...» Вивиан их нагнал; он купил папиросы и свежий номер Observer'a.

— ...Я только тебя прошу, дорогая, и Вивиану ты тоже это объясни: когда вы зайдете к папе, чтоб вы и виду не подали. Он плохо выглядит, очень плохо,— горестно говорила Тамара Матвеевна,— ты знаешь, какой папа мнительный... Если он что-нибудь у вас заметит...

— Ну, разумеется! Будьте спокойны, мама.

— Он очень исхудал, бедный!.. Ты хочешь прямо к нам заехать или сначала в гостиницу?

— Как прямо к вам? Разве вы нам приготовили комнаты не у вас?

— Что ты, Мусенька! — испуганно сказала мать.— У нас ведь совсем простая вилла!.. Я для вас приготовила две комнаты с ванной в «Национале»...

Муся вспыхнула и оглянулась на мужа. Ей все еще трудно было привыкнуть к мысли, что у нее и у ее родителей теперь разные условия жизни. Семен Исидорович, бывший прежде, всю ее жизнь, источником земных радостей — игрушек, конфет, платьев, лож на дорогие спектакли,— теперь стал почти бедным родственником.

— Какой вздор! Конечно, мы будем жить там же, где вы с папой.

— Разумеется,— подтвердил Вивиан, без большой горячности, но с достаточной теплотой.

— Я даже не понимаю, мама, как вы...

— Мусенька, ты не подумай, Боже упаси!.. Ты меня не поняла,— оправдывалась Тамара Матвеевна, угадавшая чувство дочери.— Наша вилла очень хорошая: тихая и спокойная, все что нужно папе. Ты понимаешь, что я его не устроила бы в плохом месте.

— Так тем более!..

— Но вам на этой вилле было бы скучновато... Ведь это вроде санатории...

— Какой вздор! Мы приехали сюда не веселиться, а чтобы побыть неделю с вами...

— Я конечно, понимаю, но, правду сказать, я не хотела бы, чтоб вы были рядом с папой,— сказала Тамара Матвеевна, отметив с сокрушением «неделю» — «только неделю!..» — Если он будет знать, что вы живете рядом, он не будет соблюдать режим... Ему нужно отдыхать, а он будет все время разговаривать с тобой, с Вивианом, это ему очень вредно...

— Тогда другое дело...

— Зибер прямо говорит, что для папы самое важное не волноваться, а при вас он...

— Это другое дело.

— В самом деле это серьезное соображение,— сказал по-французски Клервилль.

— И мы живем в двух шагах от вас... Я вам сняла две отличные комнаты с видом на озеро. Сорок франков в день, конечно, с полным пансионом. Не очень дорого? — тактично спросила Тамара Матвеевна, смягчая этим вопросом разницу в их материальном положении.— Спальня прямо чудная, салон немного меньше...

— Спасибо, мамочка,— сказала Муся, наклоняясь к ней и снова целуя ее. «Бедная, она очень осунулась, в самом деле...»

— Папа тоже жил в «Национале» перед войной, помнишь, когда он к нам приехал из Люцерна на Лидо?.. Ах, Боже мой!..

Она тяжело вздохнула. Их обступили у выхода комиссионеры, предлагавшие свои гостиницы. «Hier National!» [1]— сказала Тамара Матвеевна.

— Я с вами заеду и все вам покажу, а потом пойдем к папе... Я так с ним и условилась: в десять часов, он уже будет готов.

— Я думала, прямо к папе, но как вы хотите...

— Зибер сказал, что он должен лежать минимум до девяти утра. Ему завтрак приносят в постель.

— Бедный папа!..

---

[1] «Здесь, Националь!» *(нем.)*

XVII

Семен Исидорович обычно очень уставал за день (хоть ничего не делал), ложился рано и тотчас засыпал; но часа через два просыпался и потом до рассвета ворочался в постели,— лишь под утро удавалось снова заснуть. Из-за жены ему в бессонные часы было совестно зажигать лампу: он знал, что Тамара Матвеевна не может спать при свете. Снять две комнаты не позволяли средства. Иногда Семен Исидорович испытывал настоящее бешенство, думая о большевиках, всего его лишивших (он и свою болезнь, быть может, не без основания, приписывал революции), о Нещеретове, который ему посоветовал перевести деньги из Швеции в Германию, о себе самом, что послушался Нещеретова. Деньги не могли бы его излечить, но, при необходимости беречь каждый грош, и болезнь становилась несносней, тяжелее, даже опасней.

Ночь перед приездом Муси была мучительна. Кременецкий очерствел с годами и без всякого волнения, чуть только не с некоторой радостью, узнавал о смерти, о болезнях, о несчастьях людей, бывших его друзьями,— в последний год подобных известий было очень много. Но Мусю он любил почти так же нежно, как прежде. Собственно он никого и не любил, кроме жены и дочери. Предстоящее свидание с Мусей волновало Семена Исидоровича. В эту ночь он проснулся еще раньше обычного — от сильного толчка в грудь, с непонятным ужасом в душе. Без всякой причины, едва ли не в первый раз, ему пришло в голову, что он умирает. «Какой вздор!» — замирая, прикрикнул он сам на себя. Ничто не говорило о настоящей, серьезной опасности,— вот только неприятный вид, с которым его выслушивали врачи, особенно старый профессор с длинной бородой, походивший на Иеремию Сикстинской капеллы. Этот угрюмый профессор получал такой гонорар, что даже Тамара Матвеевна сочла возможным пригласить его только два раза. Как нарочно, попались врачи, не находившие нужным радовать больных.

Ровное дыханье Тамары Матвеевны немного успокоило Семена Исидоровича. «Что с ней *тогда* будет!.. Что с ней было бы! Она не может жить без меня. Да и не на что ей будет жить...— Эта мысль вернула ему мужество.— Во всяком случае дела надо привести в ясность... Я не дама, я старый адвокат...» Он стал рассуждать спокойно, точно речь шла о другой семье. При больших расходах, вызывавшихся его болезнью, остатка денег им может хватить на полтора-два года. Одной Тамаре Матвеевне хватило бы, пожа-

луй, и на пять лет. «Но, значит, все зависит от того, *когда* я умру!.. Нет, нет, об *этом* потом, теперь о делах... Разумеется, большевики скоро падут, и тогда она получит то, что у меня там осталось...» Однако Семен Исидорович сам не знал, что у него оставалось в России. Были разные паи, облигации Займа Свободы, наличные деньги в банках. Теперь трудно было даже приблизительно определить стоимость этого имущества. Может быть, оно ничего не стоило. «И банки, и предприятия, все разорено, разграблено... Но если будущее национальное правительство ревалоризирует все обязательства? Или хотя бы только часть? Тогда другой разговор»,— подумал Семен Исидорович. Мысли о ревалоризации, о банках, о сложных юридических вопросах, которые возникнут после падения большевиков, ненадолго заняли Кременецкого. «Для нашего брата будет раздолье»,— подумал он, разумея адвокатов, правда, преимущественно гражданских, и тотчас вспомнил, что раздолье будет не для него: не потому, что он преимущественно уголовный адвокат. Дыхание Тамары Матвеевны слышалось так же ровно и безмятежно. «Да, с ней, с ней что будет! Деньги, это не так важно. Ну, ничего не останется.— Муся будет ей помогать. Но разве она может жить без меня!..»

Он почувствовал, что внутри у него что-то трясется. Семен Исидорович решил зажечь лампу, с риском разбудить жену. Оглянувшись на соседнюю постель, он осторожно повернул выключатель, как если бы от медленного движения свет должен был оказаться слабее. Тамара Матвеевна не проснулась. Кременецкий поднял подушку, устроился удобнее, отпил с жадностью воды с вином из стакана и взял со столика книгу.

В последнее время, к немалому беспокойству жены, он стал читать книги религиозно-философского содержания. Как раз дня два тому назад Семен Исидорович купил новую книгу, которая соблазнила его названием и дешевизной. Вначале чтение доставило ему грустную радость, напомнило гейдельбергские времена,— он давно не читал подобных книг, да еще по-немецки. Потом книга стала надоедать. Семен Исидорович и к вопросам, изучавшимся в этой книге, подходил как адвокат. Ему попалась глава с доказательствами бытия Божия. Он читал ее так, как, бывало, слушал неубедительную речь прокурора или гражданского истца. То обстоятельство, что все люди, все народы, во все времена имели представление о Боге, никак не могло служить серьезным доказательством в пользу вывода автора книги. «У всех народов, во все времена было также представление о дьяволе,— не прикажут ли нам верить и в дья-

вола? И если признать бессмертие души человека, то нет оснований отрицать бессмертие души обезьяны, лошади, насекомого...»

О смерти в этой книге говорилось довольно много, в возвышенном, спокойном и уверенном тоне. «Может быть, господин профессор-доктор здоров, как бык,— с кривой усмешкой думал Семен Исидорович.— Ну что ж, и до него дойдет, как теперь, кажется, дошло до меня. Ничего тут нет особенного: одним Кременецким меньше, только и всего...» Прежде такая мысль не могла у него явиться, не могла бы принять подобную форму. Смиренные настроения Семена Исидоровича теперь были почти искренни. «Да, был великий человек — для своей жены... Хороший адвокат, талантливый оратор, вот и все,— со стороны, беспристрастно, в первый раз в жизни, расценивал себя он.— Одним больше, одним меньше. В Петербурге в газетах были бы некрологи, здесь и некрологов не будет. И не надо... Все к черту!. Разве для нее? — он опять оглянулся на жену.— Ее некрологи не утешат! Хоть приятнее, конечно, чтоб были... Вот о профессоре-докторе будут, наверное, писать этак дня три. Особенно если он удачно выберет сезон для своей преждевременной кончины, так чтоб без всяких революций и без других газетных сенсаций. А через три дня забудут и профессора-доктора, точно и не жил никогда человек... Моя жизнь не удалась, но и у других не лучше»,— думал Семен Исидорович. Где-то и прежде у него таились эти мысли, однако определенной формы они не принимали, да и некогда ему было об этом думать. Теперь сюрприз, очевидно ждавший профессора-доктора, доставлял Кременецкому мрачную радость. С самого начала своей болезни он стал чувствовать отвращение от всего: от сахарина, от лекарств, от людей, от жизни. Семен Исидорович вспоминал все зло, которое видел на своем веку,— по своей адвокатской работе он видел вблизи очень много зла. «Было, разумеется, и добро. Но еще Бог ведает, по каким побуждениям оно творилось... Да хотя бы и сам: разве девять десятых того, что я делал, не делалось ради карьеры или ради денег? А этот самодовольный немец разве на обложке не упомянул, что он профессор-доктор, хоть это, кажется, не имеет никакого отношения ни к Богу, ни к бессмертию души? Бог и бессмертие души, наверное, не помешали ему как следует торговаться с издателем,— все они, писатели и философы, на один образец и по этой части доки, только говорится, будто они мечтатели и не от мира сего, а на самом деле они хуже нас, адвокатов... И так везде, во всем. Такова жизнь... А потом умирать!.. Все к черту! Все глупая шутка!.. А этот пишет

об испытании, о глубоком смысле. У человека, например, рак пищевода, перед ним медленная мучительная смерть, а его уверяют, что это кому-то так нужно, что это нужно ему самому, что это испытание свыше! А тут же рядом отъявленные мерзавцы живут припеваючи, без всяких испытаний свыше, ни горя, ни болезней... Какая там справедливость! Какая загробная жизнь! Все ерунда! И то, что этот немец написал, ерунда! И то, что я об этом думаю, тоже — не ерунда, а старо, как мир. Миллионы людей, так, верно, думали перед смертью...»

Он со злобой закрыл книгу и сел на постели. «Все-таки, ничего не надо преувеличивать... Я могу прожить еще десять, пятнадцать лет, даже больше... Ведь у меня не рак пищевода! Сахарная болезнь не опасна, это все говорят!..» Собственно, никто этого не говорил, кроме Тамары Матвеевны. Ему так казалось,— быть может, вследствие несерьезного названия болезни. «Ну да, сахарная болезнь, диабет, ничего страшного, десятки болезней хуже... Нельзя же судить по лицам докторов, это просто их манера, чтобы набить себе цену...» Ему хотелось разбудить Тамару Матвеевну. Она ничего не могла знать, да если б и знала, то не сказала бы ему правды. Тем не менее ее простые слова всегда его успокаивали. «Вот это было настоящее, прекрасное в жизни: ее любовь ко мне, моя любовь к ней, к Мусе... Да, еще правосудие, русский суд, которому я служил всю жизнь. Он был для меня храмом, это не фраза из некролога. Пошляк скажет: вам за служение в этом храме платили деньги... Да, мы были люди, а не ангелы, но только слепой не увидит правды, святости нашего дела. И я в этом прекрасном, чистом суде был не последний человек... Это вспомнят, не могут этого забыть... Кто вспомнит? В каком-нибудь юбилейном издании, через двадцать лет?... Кому я буду тогда интересен? И не все ли равно?..» Цинично-отрицательное настроение сразу ему опротивело, он пытался ухватиться за другое, мысли его путались, усталость, тоска, душевные мученья у него все росли.

Тамара Матвеевна уже давно не спала — притворялась спящей, с трудом сдерживая слезы. Сердце у нее рвалось от тоски, от любви к этому человеку, который был для нее всем... Ему теперь — она знала — грозила большая опасность. Следовало бы встать и налить в графин воды с вином. Но если б Семен Исидорович заметил, что разбудил ее, то это его расстроило бы. Тамара Матвеевна лежала неподвижно, дыша так же ровно, изредка украдкой взглядывая в сторону постели мужа. Он все читал свою немецкую книгу. Потом он сел. Ему, очевидно, было худо.

Тамара Матвеевна так искусно, как могла, сделала вид, что просыпается.

— Ты не спишь? Это я тебя разбудил?

Тамара Матвеевна потягивалась.

— Ты? Почему — ты? Я чудно спала... А тебе не спится?

— Не спится... Скажи мне только одно: все будет хорошо?

— Что? Разумеется, все будет хорошо.

— Нет, ты правду говоришь? Ты действительно так думаешь?

— Какой вопрос!.. Денег не хватит? Хватит... Все говорят, что большевики падут к зиме, самое позднее,— сказала Тамара Матвеевна, делая вид, что относит его вопрос к деньгам. Это и в самом деле немного успокоило Семена Исидоровича.— Все будет отлично. Всегда во всем будем вместе, это главное... Вот и Мусенька, слава Богу, завтра приезжает...

— А если я умру?

— Какой вздор ты говоришь! Я тебя очень прошу...

— Нет, ты только скажи...

— Слава Богу, еще никто не умирал от диабета в легкой форме...Как тебе не стыдно! Особенно после консилиума, когда они оба ясно сказали, что никакой опасности нет...

— А ты мне правду передала насчет того, что они сказали?

— Даю тебе слово,— солгала Тамара Матвеевна. Эти слова резнули Семена Исидоровича: если б действительно была полная правда, то Тамара Матвеевна сказала бы: «клянусь твоей жизнью!» — Я встану, пить что-то хочется... Может, и тебе налить свежей воды?

— Да, пожалуйста,— упавшим голосом сказал Кременецкий.

XVIII

Первое впечатление было у Муси очень тяжелое. Она была достаточно подготовлена: по дороге с вокзала, в узком автобусе гостиницы, Тамара Матвеевна, вытирая слезы, говорила ей, что Семен Исидорович потерял больше пуда в весе и очень ослабел. Но все же Муся не думала, что ее отец так болен.

Он сидел в кресле, у покрытого белой скатертью столика, на котором стояли лекарства, графин, стаканы. Семен Исидорович с радостным волнением встал при виде дочери. Муся подбежала к отцу и горячо его поцеловала. «Господи, как он изменился!..»

Еще входя в комнату, она полусознательно подготовляла выражение лица и тон,— радостно-деятельный, бодрый и веселый. Но обычное чутье ей несколько изменило: тон ее был веселее и шутливее, чем следовало.

— ...Да, конечно, вы не пополнели, папа, что правда, то правда. Верно, вас здесь плохо кормят? Как же это вы, мама? Я думала, на вас можно положиться... Мама, кстати, тоже похудела,— говорила, не останавливаясь, Муся.— Не иначе как вас плохо кормят...

— Кормят швицеры не важно, берегут деньгу,— сказал Семен Исидорович.— Аппетит у меня слава Богу... Вот только пичкают всякой дрянью. Хлеба не ешь, сахару не ешь, какая уж еда без хлеба? А сахарина этого я видеть не могу...

— Сами виноваты, папа, сами виноваты. Я где-то читала, что сахарная болезнь чаще всего бывает от пьянства и излишеств. Вот теперь и расплачивайтесь за грешки...

Семен Исидорович слабо улыбнулся.

— «Вкушая вкусих мало меду»,— сказал он. Тамара Матвеевна вздрогнула, она знала конец этой цитаты.— Мало меду, а уж алкоголя и того меньше.

— Вот теперь и питайтесь акридами,— ответила Муся. Ей самой ее тон показался глупым и фальшивым.— Слава Богу, что врачи обещают вас скоро поставить на ноги.

— Кажется, не очень обещают,— сказал Семен Исидорович, взглянув искоса на дочь.— Это тебе мама сказала?

— Ну да, мама, кто же другой? То, что говорилось на консилиуме. Нет, правда, папа, скажите мне сами, как вы себя чувствуете. Вы ведь знаете: каждый себе самому лучший врач.

— Неважнецки себя чувствую, милая, неважнецки. Хвастать не могу.

— Вид у вас — как сказать? Конечно, вы похудели, но лицо свежее, чем было тогда, в Копенгагене... А самочувствие? Хуже, чем было весной?

Семен Исидорович только вздохнул. Выражение лица его ясно показывало: и сравнивать нельзя.

— Моргенштерн мне еще в Берлине говорил, что так всегда бывает при легкой форме диабета,— начала Тамара Матвеевна.— Сначала как будто на вид ухудшение, а потом быстрое улучшение и полное выздоровление, если, конечно, строго соблюдать режим... Но папа...

— Как хорошо, мама, что вы тогда свели папу к Моргенштерну! Это прямо счастье, что болезнь удалось захватить в самом начале. Хуже всего, когда запускают... Вы знаете, у Вивиана одна тетка больна сахарной болезнью...

— Та, которая недавно скончалась?

— Нет, другая, папа. Эта, слава Богу, жива и по сей день... Мама, постучите по дереву... Ей семьдесят третий год. Так вот, эта умная английская леди пять лет прожила с сахарной болезнью и не догадалась обратиться к врачу. Не мудрено, что она теперь, кажется, десятый год на режиме...

— Где же она живет? Я думал, у Вивиана только одна тетка?

— Целых три. Богатая, к сожалению, была только одна, вот та и умерла. А эта живет где-то в Шотландии.

— И ей семьдесят три года?

— Ну да, почему вас это собственно удивляет, папа? Она свободная британская гражданка и может жить сколько ей угодно... Но возвращаясь к вам, что вы чувствуете? У вас боли?

— А ты думала!.. Все время внутри что-то трясется... Не знаю, как это тебе передать... Здесь трясется... Да еще фурункулы. Как будто пошаливает и сердце... Постоянная жажда...

— Так вы пейте. Слава Богу, мы не в Сахаре.

Тамара Матвеевна с укоризной посмотрела на дочь. Она тоже чувствовала, что Муся взяла неверный тон. Это видно было и по тому, что Семен Исидорович даже не улыбнулся.

— Нет, правда... Что вам можно пить, папа?

— Зибер разрешил папе воду с красным вином,— сказала Тамара Матвеевна.— Вот видишь, в графине. Папа очень много пьет, это тоже не следовало бы.

— А вино у швицеров дрянное...

— Отчего же вы мне не написали? Я бы вам привезла из Парижа.

— Ты думаешь, что я даю папе швейцарское вино? Это самое лучшее французское бордо, я только случайно здесь достаю очень дешево.

— Может, оно и бордо, а по-моему, бурда, хоть, верно, влетает здесь в копеечку. Она скрывает от меня расходы по моей особе. И то, делишки скверные. Башка чиста, так и мошна пуста.

— Вот когда выздоровеете, будете пить с Вивианом шампанское на Монмартре. Он, как вы, много пьет. Правда, чистое вино, без всякой воды...

Семен Исидорович на этот раз улыбнулся, но, видимо, нарочно, с напряжением.

— «Батюшка Монмартр»,— как говорили в старину наши ветераны... Да, так что же твой Вивиан? Я и не спросил. Иногда кажется, что у меня и память ослабела.

— Ничего подобного!

— Ты не замечаешь, золото... Так что же Вивиан?

— Ничего, спасибо. Он придет через полчаса: решил, видите ли, что вначале нам будет приятнее между собой.

— Он страшно деликатный, Вивиан,— вставила Тамара Матвеевна.

— Как же господин подполковник смотрит на милое положение вещей в Европе?

— А уж это вы у него спросите, меня он в это не посвящает, по моему бабьему уму...

— Знаешь, Мусенька, кого мы встретили в Люцерне? Меннера! Да, он с женой здесь в Люцерне уже довольно давно. Бежали из России еще в декабре...

— Это тот петербургский адвокат? Ведь папа, кажется, очень его не любил?

— Нет, отчего? Когда-то он, действительно, очень завидовал папе. Но разве ты не помнишь, на юбилее они совершенно помирились.— Тамара Матвеевна обычно говорила просто: юбилей, разумея чествование Семена Исидоровича.— Они довольно приятные люди, мы здесь с ними часто встречаемся.

— Да, да, встречаемся... А кто старое помянет, тому глаз вон.

— У вас, папа, новый халат?

— Да, я купила папе в Берлине.

— Очень красивый,— похвалила Муся. Халат был дешевенький, ей это было странно: Семен Исидорович в Петербурге одевался у лучшего портного, и все его вещи были очень дорогие.— В Петербурге ваш халат носил Витя, у него он волочился по полу...

— Витя? Ах, да... Ну, что он? Все в Берлине? (Витя был на море, и Семен Исидорович должен был это знать, Тамара Матвеевна незаметно сделала Мусе знак, чтобы она не поправляла). Очень славный мальчик, жаль его... Налей еще стакан, золото...

— Может быть, не надо? Это все-таки вредно пить так много?

— Налей,— раздраженно сказал Кременецкий. Тамара Матвеевна тотчас налила неполный стакан.— Ужасная жажда,— пояснил Семен Исидорович.— Да, да...— Он, видимо, потерял нить разговора.— О чем ты рассказывала?

— О халате, о Вите, о моем муженьке. («Господи, как глупо: «муженьке», «акриды»!.. Что я сегодня говорю?..»)

— Да, да... Ты нам писала, что он хочет стать военным агентом?

— Это еще не решено. Кто теперь, папа, может строить планы?

— Да, конечно, кто теперь может строить планы? — грустно повторил Семен Исидорович.

XIX

Первый день в Люцерне прошел очень скучно. Муся не считала удобным сразу оставлять родителей. Клервилль не считал удобным сразу оставлять Мусю. Шла борьба великодуший. Тамара Матвеевна умоляла *детей* (так она их называла) покататься — чудесная погода,— осмотреть Люцерн или пойти в кинематограф. Муся отказывалась и о том же ласково просила мужа, который также отказывался. Между тем все предметы разговора были исчерпаны очень скоро — к вечеру даже Тамара Матвеевна почти искренно хотела, чтобы дети ушли возможно скорее. Ушли они лишь в обеденное время, ссылаясь на свою усталость и на утомление Семена Исидоровича. Борьба великодуший продолжалась при уходе: Муся заявила, что завтра еще с утра *забежит* к родителям.

— Мусенька, но ведь ты так с нами соскучишься... Может быть, лучше днем к чаю?.. Тебе будет скучно с нами, стариками.

— Нет, не будет скучно... Спокойной ночи, мама... Поправляйтесь же скорее, папа...

После обеда в Национальной Гостинице они погуляли по набережной, полюбовались озером, и в самом деле отправились в кинематограф, в тайной надежде встретить знакомых. Но никого не встретили и рано легли спать.

На следующее утро Клервилль встал в девятом часу, выбрился, принял холодную ванну, поцеловал Мусю, которая еще лежала в постели, и вышел. Он очень приятно позавтракал на террасе гостиницы. Ветчина, крепкий кофе, свежий альпийский мед, вносивший couleur locale[1], были очень хороши. Клервилль вдруг почувствовал, что недурно снова завтракать в одиночестве, без необходимости поддерживать с женой разговор, вдобавок по-французски. Это настроение чуть-чуть его встревожило. Еще очень недавно он тяготился холостой жизнью. Неожиданно у него в памяти скользнул Серизье. Но Клервилль был в хорошем настроении духа и тотчас отогнал неприятные мысли. Идти на конференцию было рано: верно, и билета до десяти часов не получить. Он закурил папиросу, велел подозвать автомо-

---

[1] Местный колорит *(франц.)*.

биль и поехал осматривать окрестности, чувствуя не без удовольствия, что совершает легкое предательство: лучше было бы для осмотра окрестностей подождать Мусю,— ну, да с ней можно будет поездить в другой раз. Прогулка оказалась чудесной. Покатавшись с полчаса, он приказал шоферу ехать в Курзал, в котором было снято помещение под конференцию,— и только у подъезда подумал, что сюда было бы приличнее прийти пешком.

Подъезд Курзала был задрапирован красными флагами. Над лестницей висела надпись на французском, немецком и английском языках: «Международная Рабочая Конференция». Впрочем, никаких рабочих у входа не было. У гладко подстриженных пышных растений в кадках стояло несколько молодых людей с красными повязками на рукавах,— очевидно, распорядители. Один из них сбежал по лестнице к автомобилю, но, увидев незнакомого человека, вернулся на площадку с видом легкого неодобрения. Шофер долго отсчитывал сдачу. Молодые люди с любопытством глядели на Клервилля. До него донесся заданный вполголоса вопрос и такой же ответ: «...Вандервельде?» — «Даже не похож, Вандервельде я отлично знаю...» Клервилль спросил себя, сколько оставить на чай: мало неудобно, много тоже неудобно; он оставил франк и, услышав «Merci bien, camarade» [1], смутился еще больше: этот франк, данный социалисту, который его еще и поблагодарил, Клервилль и потом вспоминал с неприятным чувством.

К подъезду подкатил другой автомобиль. Из него вышли господин с дамой. По волнению бросившихся к ним молодых людей Клервилль понял, что это очень важный партийный вождь. Пропустив вперед даму, вождь с уверенным и решительным видом поднялся по ступенькам подъезда, на ходу пожимая руки распорядителям. Дама с красной гвоздикой, улыбаясь, приветливо кивала народу головой, как императрица в провинции.

В большой входной комнате было очень накурено. Везде висели флаги и плакаты. Прямо против входа стоял памятный Клервиллю по России бюст, задрапированный красной материей и украшенный зелеными ветками. «Что ж, право, здесь все очень прилично, и ничего такого...» На социалистической конференции, ему казалось, все должно было быть совершенно другое, непохожее на то, что он видел до сих пор. Какая-то толстая дама — не красавица, правда, но и не *красная амазонка,* дама как дама,— бросилась к вождю, обмахиваясь на ходу брошюрой. С этой да-

---

[1] «Большое спасибо, товарищ» *(франц.)*.

мой вождь обменялся несколькими словами. Затем они втроем скрылись за боковой дверью,— не той, куда проходили рядовые члены конференции.

У стола Клервилля остановила молодая миловидная секретарша. Как было условлено в поезде, он сослался на Серизье, который обещал достать билеты для него и для Муси. Действительно для них были приготовлены две именные карточки. Но, по-видимому, вышло недоразумение: Клервиллю показалось, что секретарша говорит с ним, как с партийным товарищем. Вместе с красной карточкой она ему вручила подробное расписание работ конференции, приглашение на экскурсию и даже какой-то бант, который Клервилль смущенно сунул в карман. Он испытывал неловкое чувство, точно прописался по фальшивому паспорту. Любезная секретарша порекомендовала ему недорогую гостиницу и сказала, что можно будет тратить в Люцерне не более пяти франков в день: два обеда предполагаются бесплатные. Клервилль поспешно ответил, что уже нашел комнату — у него не повернулся язык сказать: в «Национале». Не совсем приятно было ему и то, что для получения билетов пришлось воспользоваться услугами Серизье.

— Сегодня, товарищ, ожидаются интересные прения в комиссии по выработке статутов Интернационала,— сказала секретарша, ласково улыбаясь Клервиллю.— Там заседание уже началось... Это во второй комнате. Быть может, вы хотите туда попасть до общего заседания?..

— Нет, я только на общее заседание,— торопливо, с легким испугом, ответил Клервилль и поспешил отойти, поблагодарив секретаршу несколько горячее, чем было нужно. Он так и не решился сказать, что не принадлежит к Интернационалу. «Ей тогда еще пришлось бы взять назад слово «товарищ», ведь это у них чин,— подумал он.— Все-таки не мог же Серизье выдать меня за делегата!..» Он взглянул на свою карточку и с некоторым облегчением увидел слова «presse socialiste»[1]: Серизье, очевидно, достал для них места на трибуне для печати. «Ну, это ничего...»

Общее заседание конференции должно было происходить в театральном зале. Занавес был поднят. За ним открывалась декорация, с дорогой, уходившей куда-то вдаль,— «верно, к социалистическому строю»,— подумал Клервилль, но тут же усомнился в своем толковании символа: может, и символа тут не было, а декорация принадлежала Курзалу? На сцене стояло два стола,— один, покрытый красной скатертью, посредине сцены, прямо против уходившей вдаль дороги; другой, поменьше и без

---

[1] Социалистическая пресса *(франц.)*.

скатерти, сбоку. В зрительном зале, на месте вынесенных театральных кресел, перпендикулярными к сцене рядами стояли другие столы, заваленные бумагами, папками, брошюрами. Зал еще был пуст. Только в бельэтаже уже собралась публика, простая, не нарядная, но публика как публика,— такая на обыкновенном спектакле была бы двумя ярусами выше. «Нам, верно, тоже туда?» — подумал Клервилль. Мимо него пробежал второй юноша-распорядитель, с таким озабоченным видом, что Клервилль никогда не решился бы остановить его и спросить о своем месте. Однако юноша неожиданно сам остановился и, взглянув на билет, объяснил очень любезно и подробно, что товарищ должен занять место в ложе бенуара,— вот в этой. Клервилль рассыпался в выражениях благодарности. На барьерах лож бенуара лежали соломенные шляпы. «Может, и мне положить, чтобы закрепить место?» — подумал он, но счел свою светлую шляпу недостаточно демократической. Он чувствовал себя, как иностранный турист, попавший в мало посещаемую страну, обычаев которой он совершенно не знает.

Выйдя из залы, Клервилль оказался у дверей комнаты, где, очевидно, происходило важное совещание. Оттуда слышались голоса. Перед дверьми стоял третий юноша с красной повязкой на рукаве. По его мрачному, нахмуренному лицу чувствовалось, что неизбранным лучше и не пытаться войти в эту дверь. Подходивший осанистый человек, по внешнему виду, мог быть избранным,— юноша вопросительно на него уставился. Клервилль поспешно от него отвернулся с тем же неловким чувством человека, которого принимают за другого, и, к большому своему облегчению, увидел буфетную стойку, столики и стулья.

XX

Не решившись почему-то потребовать коньяку или виски — может, тут неудобно? — он спросил бутылку лимонада и хотел было сам отнести ее к столику. Оказалось однако, что здесь так же разносят напитки, как в любой кофейне. Клервилль наконец почувствовал себя свободнее.

Он смотрел на проходивших мимо него людей и испытывал легкое чувство раздражения, в котором сам разбирался плохо. Эти люди зачем-то нацепили на себя красные банты и смешно называли друг друга. Но ведь и военные в сущности поступали точно так же: банты, ордена, «товарищ», «Ваше превосходительство» — одинаково предназначались для того, чтобы выделить группу людей из человеческого рода. По-видимому, фамильярное слово нисколько не ме-

шало иерархии: вождь, который приехал в автомобиле, явно был самым настоящим генералом, хоть его и полагалось называть товарищем. «Вот только чины здесь, верно, приобретаются без большого труда и без подвигов,— подумал Клервилль.— Если б я, например, пожелал стать социалистом?..» Эта мысль его развеселила. В британской рабочей партии он, конечно, очень скоро стал бы генералом, без выслуги лет, просто по своему весу,— оттого, что принадлежал к интеллигенции и к обществу, носил хорошее имя, даже оттого, что был подполковником... «В парламент мог бы пройти, мог бы стать министром, вносил бы запросы о разных генералах,— вот кое с кем свел бы счеты»,— весело думал он. Собственно во всем этом не было ничего нелепого и невозможного. «Стать министром, конечно, не мешало бы...» Клервилль находился в том возрасте, когда ушедшую молодость недурно заменить известностью или общественным положением. Однако он прекрасно знал, что никогда социалистом не будет: что-то неуловимо-несерьезное в этих людях вызывало в нем недоверчиво-насмешливое чувство. Против их деятельности он, по своим взглядам, особенно возражать не мог. «Пожалуй, военная карьера теперь не более разумна: другой войны люди ближайших поколений не увидят; бессмысленна жизнь офицера, который всю жизнь готовится к войне и так до нее и не доживает,— жизнь пожарного в городе, где не бывает пожаров. Собственно, у нас преимущества, главным образом, эстетические. Прекрасен смотр конной гвардии, прекрасен выход короля во дворце, но в большинстве цивилизованных стран и этого больше нет, и везде, даже у нас, это идет к концу... К тому же, что такое красота? В известном смысле вот тот человек без пиджака, в дешевенькой рубашке и в надорванных подтяжках, и этот скверный бюст, и флажки с зеленью, которыми они наивно стараются разукрасить свою конференцию, в известном смысле все это, быть может, близко к идеалу красоты Рескина или Морриса,— неуверенно думал Клервилль.— Я не люблю социалистов, но вполне возможно, что именно они и перестроят человеческую жизнь...»

— ... — негромко произнес сзади, со злобой, знакомый голос. Клервилль изумленно оглянулся,— он в России не раз слышал это народное выражение. К буфету подходил Браун. С ним никого не было; очевидно он разговаривал сам с собой,— Клервилль знал странную привычку своего русского приятеля.

— Hallo, comrade Brown,— весело позвал он. Браун сердито оглянулся. Лицо его было искажено злобой. «Ну, да

это теперь его обычное состояние»,— подумал Клервилль, показывая на свободный стул за своим столиком.

— Дайте мне кофе,— сказал, садясь, Браун подошедшему буфетчику.— И коньяку, если есть французский,— добавил он, видимо, не задаваясь вопросом, прилично ли здесь пить спиртные напитки. Клервилль слово «коньяк» разбирал и по-немецки.

— Мне тоже... Коньяк,— весело повторил он с ударением на первом слоге.— Вы, кажется, чем-то недовольны? Может быть, вам не нравится конференция?

— Я в восторге,— мрачно ответил Браун.

— Я тоже в восторге,— смеясь, сказал Клервилль.— Но прежде всего, где вы остановились? Моя жена очень хочет вас видеть.

— В «Швейцергофе».

— А наш друг Серизье? Там же?

— Черт его знает, где он остановился, ваш друг Серизье.

— Зачем так говорить? — радостно спросил Клервилль.— Или он что-нибудь сделал не так? Уж не высказался ли он за добрых старых большевиков?

— Он завидует большевикам, как импотент может завидовать Распутину,— сказал Браун, отпивая сразу полрюмки коньяку. Клервилль засмеялся.— Да и вся эта шайка не лучше его.

— Что сделала шайка?

— Ничего не сделала... Разве она может что-нибудь *сделать?* Вон там чешут язык,— он показал со злобой на боковую комнату.— Сговариваются за счет России. Мне только что сказал об этом один их присяжный остроумец... Знаете, в каждой партии есть человек на роли обязательного остряка...

— О чем же там идет спор?

— Сразу обо всем. Видите ли, столкнулись два течения. Одно течение хочет, чтобы немцы приняли на себя ответственность за июль тысяча девятьсот четырнадцатого года. А другое течение доказывает, что в июле тысяча девятьсот четырнадцатого года были чуть-чуть виноваты все. Забавно то, что у этих интернационалистов и идеалистов спор почти так же определяется исходом мировой войны, как в Версале! Победили в войне союзники, поэтому здесь французы и англичане — аристократия, а немцам, вероятно, придется признать, что хотя все чуть-чуть виноваты, но они, немцы, виноваты чуть-чуть больше, чем другие. Если б война кончилась победой Германии, то немецкие социалисты об ответственности и обо всем другом разговаривали бы иначе. Во

всяком случае, разумеется, все радостно сойдутся на том, что уж в следующий раз все будет превосходно и пролетариат больше никогда ни за что ничего худого не допустит...

— Да, конечно, этот спор теперь не имеет практического значения,— нерешительно сказал Клервилль.

— Как не имеет практического значения, помилуйте! Именно под этим видом у них идет грызня: у французских левых с французскими правыми, у немецких правых с немецкими левыми. Это грызня фракционная, внутренняя под видом международной, борьба людей за фирму, за доверие пролетариата, за их так называемую власть. Важно то, кого засудит апелляционный суд, то есть кого признает умницами и красавцами международный конгресс: мажоритеров, миноритеров, независимых, зависимых, черт бы их всех побрал! — почти с бешенством сказал он.

— При чем же здесь Россия? — озадаченно спросил Клервилль. Ему казалось, что Браун с утра выпил больше, чем следует.

— А как же? В России идет, видите ли, *великий опыт*. А у себя они, разумеется, такого опыта не произведут и не желают произвести, по очень многим причинам и прежде всего потому, что Клемансо тотчас свернет им шею. На Россию же этим интернационалистам наплевать. Если не умом, то сердцем они приняли ту мысль, что для интересного социального опыта стоит пожертвовать миллионами людей. Во всяком случае они решили все сделать, чтобы никто интересному опыту не помешал... А как только они эту мысль приняли, то ничего и не осталось от их духа. Ведь вся их сила была — у большинства в подлинном идеализме, у меньшинства в мастерской подделке под идеализм. В обыкновенной же грязненькой политической кухне этим людям грош цена.

— А научно-философская ценность их учения? — спросил с улыбкой Клервилль. Браун махнул рукой.

— Научно-философская ценность! Их учение — планиметрия,— мы, я думаю, вправе требовать и стереометрии. Их руководители, за самыми редкими исключениями, разве только проехались по философии и по науке, как туристы по Парижу в автокаре Кука... А вот моральная ценность у них была, особенно по сравнению с другими, что делалось в мире. Теперь и это, все, все продано с молотка, да как продано — по глупости, за бесценок!.. Что они потеряли и что получили взамен!.. У обезьян нет политической истории,— если б она у них была, то очень походила бы на человеческую. Социалисты, по крайней мере, некоторые, в свое время пытались преодолеть в истории обезьянье на-

чало — и, очевидно, теперь в этой попытке раскаялись. Надо их поздравить: им вполне удалось загладить свою вину... Они теперь и похожи на героев — страшных сходством обезьяны с человеком... Произносят необыкновенно благородные слова — по памяти, по долгой привычке, совершенно автоматически, вот как кондуктор парижского автобуса поет на всякой остановке: «laissons descendre, si-y-ou plait...»[1] Вы думаете, мне легко это говорить? Вы думаете, мне легко смотреть на то, что здесь происходит? Не с одной иллюзией я расстался в последние пять лет. Я сам разделял когда-то *их* надежды и настроения. Я и сюда приехал, как раньше на ту парижскую комедию: может быть, все-таки что-то еще можно сделать, может быть, есть люди, способные увидеть пропасть не в двух шагах от себя, а подальше, вдали, на горизонте...

— Это на русском горизонте? — спросил с усмешкой Клервилль и тотчас стер усмешку. Браун мрачно на него посмотрел.

— Да, на русском,— кратко сказал он.

— И не нашли таких людей на конференции?

— Нашел несколько стариков. Умные, чистые, замечательные люди. Но они здесь теперь никакого влияния не имеют, хоть обращаются с ними почтительно. Знаете, во Франции, когда гонят в шею заслуженного, почтенного чиновника, то официально сообщают об этом в учтивой форме: «admis à faire valoir ses droits à la retraite» [2],— незнающим может показаться, что человеку сделано одолжение... Ну, а большинство на этой конференции... Моральный уровень, пожалуй, все-таки чуть выше среднего, умственный уровень, наверное, чуть ниже среднего, и вдобавок самоуверенность, доходящая до самовлюбленности.

Клервилль закурил папиросу.

— Не сердитесь на меня,— сказал он примирительно,— но, право, ваше разочарование очень преувеличено. То, что вы говорите о социалистах, может быть сказано о всех людях... Я знаю, у вас, эмигрантов, есть такая тенденция думать, что все ненавидят Россию и обижают ее по каким-то маккиавелическим соображениям...

— Нет, нет, я этого не думаю,— раздраженно перебил его Браун.— Никакой ненависти к России у вас нет. Правда, вам очень трудно поверить, что *на русском горизонте* (он подчеркнул эти слова) могут быть явления покрупнее и поважнее европейских,— все равно, положительные или

---

[1] «Пожалуйста, дайте выйти...» (*франц.*)

[2] «Предоставлена возможность воспользоваться своим правом на отставку» (*франц.*).

отрицательные... Но это другой вопрос, я его не касаюсь... Скажу вам больше: если б, вместо России, была, например, Англия, то все социалисты,— тогда кроме англичан,— отнеслись бы к этому делу точно так же. Нет, дело простое. Где-то далеко происходит «великий опыт», которого они у себя устроить не хотят, да и не могут. Но расшаркаться перед опытом необходимо, и тут внутренняя борьба ведется на том, насколько грациозно и почтительно будет это расшаркиванье. Правые социалисты готовы уделить великому опыту одну унцию сочувствия,— больше никак не можем. Левые требуют три унции,— меньше не возьмем. А центральные примирительно предлагают: давайте, сойдемся на двух унциях, черт с ней, с Россией!.. Вы говорите, другие не лучше. Другие, может быть еще хуже, но о многих из них не стоит и говорить,— те, вдобавок, не кричат на весь мир о своей добродетели. Из этих же европейских социалистов одни свой мелкий, дешевенький политический спорт подделывают под какое-то богослужение, под бетховенскую мессу; а другие, с кругозором, с культурой, с опытом школьных учителей, глубокомысленно творят высокую политику, напялив на себя тигровую шкуру Клемансо...

Клервилль развел руками.

— Я, конечно, здесь чужой человек,— сказал он.— Но ваш взгляд мне представляется несколько упрощенным и неверным!.. Дело гораздо сложнее и в московском опыте, и в ответственности за войну... Вы что ж думаете, что не надо было защищать родину?

— Да нет же! Разумеется, надо было защищать, да и не могли они поступить иначе. Если б и хотели, то не могли бы: общее настроение не позволяло,— мир ощетинился, и они ощетинились с миром, они ведь все-таки люди, а не схемы и не уравнения. Беда была в том, что до войны они десятилетиями обманывали других и себя: мы не допустим, пролетариат не дозволит! Потом допустили и дозволили, и теперь конфузливо взваливают друг на друга мнимую вину. Одни вошли в правительство, другие поддерживали, третьи голосовали за военные кредиты, четвертые воздерживались от голосования, пятые как-то чего-то потребовали, шестые однажды против чего-то протестовали,— все это у них зарегистрировано и теперь каждая фракция хочет на этом сломать шею другой фракции. А затем все будут врать пролетариату дальше, что уж в следующий раз, мол, ни за что не допустим. Тут судьба им послала Россию и «великий опыт»: на этом собственно можно было бы сговориться,— дело далекое. Но они так ненавидят друг друга, что, увидите, и на этом не сговорятся!.. Да вот, слышите? — сказал он,

показывая на боковую комнату. Оттуда в самом деле доносились очень повышенные голоса, порой переходившие в крик. Браун засмеялся.— Я ни на каких других конференциях не наблюдал подобного исступления. Так, верно, спорили друг с другом начетчики средневековых конгрессов: в самом деле, сколько чертей может поместиться на шпице Кельнского собора? Или, иными словами, когда именно падет капиталистический строй?

— Я не социалист и недолюбливаю социалистов,— сказал Клервилль.— Но нужно быть беспристрастным. Я видел вблизи кухню Парижской конференции. Люцернская, по-моему, чище.

— Не чище и не грязнее, а точно такая же. Ваш друг Серизье в политике такой же делец, а в душе такой же циник, как Клемансо, только гораздо глупее.

— Почему же вы больше сердитесь на Серизье?

— Потому, что он напялил на себя рыцарские доспехи, на которые не имеет никаких прав и которые к его фигурке не идут. У них калибр разный. Ведь Клемансо — сорокадвухсантиметрового калибра. Кроме того, повторяю, Клемансо не орет о благе человечества. А ваш Серизье всю жизнь прикидывался идеалистом и под конец, кажется, сам почти поверил, что он идеалист... А может быть, впрочем, и не поверил,— еще как этот человек кончит? Заметьте, самых циничных ренегатов поставляет правящей Европе социалистическая оранжерея идеализма. Так самые ожесточенные безбожники выходят из семинарий.

— Мой мрачный друг,— сказал Клервилль,— вы классифицируете людей, как энтомолог Фабр, писавший чудесные книги, классифицировал насекомых. Но он их, по крайней мере, любил... Сочувствую вам: должно быть, вам очень нелегко жить на свете. Что можно делать в жизни с взглядами, подобными вашим? Когда-то, еще в Петербурге, вы мне сказали слово, оставшееся у меня в памяти: «le grand vide des vies bien remplies...» [1] Не помню сейчас, к кому вы его тогда относили,— я же нескромно отнес его к вам. Вижу в вас живое доказательство тщеты и сухости рационализма.

Браун засмеялся.

— Я знаю, вы меня стилизуете под какого-то провинциального демона,— сказал он.— Если хотите, я рационалист: слово не очень ясное. Но рационалист я без подобающего рационалисту энтузиазма и, главное, без малейшей веры в торжество разума. Как было бы хорошо, если б разум торжествовал везде и во всем! Но не торжествует он

---

[1] «Полная пустота деятельных жизней...» *(франц.)*

почти ни в чем и нигде. Ньютон однажды сказал, что Господу Богу со временем придется переделать мир, вследствие каких-то несовершенств во взаимоотношениях небесных светил,— эти несовершенства грозят нам большими неприятностями. Так то небесные светила. А ведь на земле еще продолжается каменный век!

— Я этого никак не думаю, но тогда в самом деле вам с разумом торопиться некуда.

— Я не очень и тороплюсь... Разум это стратосфера. У каждого человека должна быть какая-нибудь стратосфера. Однако в свою я попасть не рассчитываю.

— Да может быть, в вашей стратосфере скучно и холодно?

— Очень может быть. Горжусь редкими завоеваньями разума, но самое лучшее из всего, что я в жизни знал, было все-таки иррациональное: музыка. Одно иррациональное, пожалуй, и вечно. Бетховен переживет Декарта.

— Я с некоторым удовольствием вижу, что и у вас есть противоречия... Полноте, друг мой, и Россия не погибла, и каменный век давно кончился. Кризис передовых идей? Насколько я помню, передовые идеи всегда переживали кризис. Это, по-видимому, их обычное состояние, на то они и передовые. Точнее, всегда были и будут люди, которым приятно или выгодно говорить о кризисе передовых идей. Я старый либерал,— разве прежде не казалось, что существует либеральный островок в море насилия и реакции? Да оно, собственно, так и было. Кто правил до войны в Германии, в Австрии, у вас? Не говорю уже об Азии, где живет, кажется, две трети человечества. А с войной Европа кое-что у Азии отвоевала. Вот и Лига Наций появилась, и это уж хотя бы потому очень приятно, что мы с вами встретились в момент ее рождения на свет Божий, в день речи президента Вильсона,— весело сказал Клервилль.— Хотя вы наверное и против Лиги Наций? Я уверен, что вы считаете Лигу нелепостью, правда?

— Нисколько. Лига Наций не нелепость. Версальский мир тоже не нелепость. Зато их сочетание совершенно нелепо. Помните ли вы ту пышную залу, в которой говорил Вильсон? Чувствовали ли вы весь трагикомизм этой сцены? Проповедь идеализма слушал Клемансо, проповедь разоружения — лучшие боевые генералы мира. Историческую Францию, историческую Англию поучал человек — в политическом смысле без роду и племени. Мехи были старые, но дорогие, вино новое, но не первого качества. Впрочем, и не очень новое... Этот американец, трижды застрахованный и перестрахованный географией, помог евро-

пейцам создать вулкан, а затем, уезжая за море, предложил им устроиться на вулкане возможно лучше, прочнее и покойнее. Разумеется, они его пошлют к черту или, вернее, уже послали... Мир за все это дорого заплатит. Мы, мы поплатимся! Поплатимся за то, что родились не вовремя. Мы как тот анекдотический иностранец, который требовал билета на relâche[1]. Наш спектакль был и кончился. Да в конце концов, и то сказать: homo sapiens избаловался от свободной жизни двух-трех поколений. До того никакой свободы в мире не было. Ну, и опять не будет. Жили же три тысячи лет.

— Да ведь были дикарями!

— Были дикарями и будут дикарями. А нам с вами теперь делать в мире нечего: relâche. Не сгорели, так истлеем: горение и тление — один и тот же процесс, разница только во времени.

— Не сгорите и не истлеете, все это только страшные слова.— «В самом деле, у него маленькая литературная слабость к страшным словам,— подумал благодушно Клервилль.— Верно, все это из его «Ключа»... Забавно: все русские уверены, что они самый простой народ на свете, органически не выносящий красноречия. А в действительности где же французам до них!..»

— Конечно, Россия не погибла,— сказал Браун.— Ведь и Греция тоже не погибла: и поля те же, и горы те же, и реки те же, и греки есть,— правда, другие. В коммунистическом мире появится новая порода людей. Они, как рыбы на дне морей, приспособятся к невыносимому давлению... Ну, что ж, пусть и будут две среды и две людские фауны. Лишь бы только они не общались,— с внезапной злобой сказал он.— Мне противны и та среда, и та фауна!.. О, я знаю, разумеется, разумеется, виноваты будем мы, они будут правы! Через сто лет историк коммунистической Европы снисходительно о нас напишет: «К сожалению, они не поняли, они не приняли идей нового строя и отвернулись от этих идей с ужасом...» Тут он, конечно, упомянет о римлянах времен упадка... Жаль, что я не буду иметь возможности поговорить с этим дураком. Он будет в восторге от своей проницательности, от своей исторической правоты, от всего того, о чем они и теперь трубят с утонченной discrétion[2] пожарной команды, мчащейся на пожар... Разве только лишь выручит какая-нибудь «шутка судьбы»,— Господи, как мне надоело это выражение! Но судьба ведь только и делает, что шутит... Смотрите, заседание вождей кон-

[1] Антракт *(франц.)*.
[2] Сдержанность *(франц.)*.

чилось... Число чертей на шпице установлено, но, кажется, не единогласно.

Из боковой комнаты стали выходить люди. Лица у них в самом деле были раздраженные и злые. Тот вождь, которого Клервилль встретил в подъезде, возбужденно говорил с толстой дамой. У дамы лицо было в красных пятнах,— она ахала и стонала, поднимая к потолку руки с брошюрой. Шум усилился. Из открытых дверей доносился визгливый крик. Невысокий человек с рыжей бородой, вцепившись в Серизье, что-то убедительно ему доказывал. Французский депутат раздраженно от него отмахнулся и пошел к буфету. Увидев Клервилля, он остановился. Лицо у него сразу изменилось.

— Начинает становиться жарко,— с улыбкой сказал он, здороваясь. Это замечание могло относиться и к погоде, и к настроению на конференции.

— Выпейте с нами чего-нибудь,— предложил Клервилль.

— Не могу, сейчас открывается заседание, надо идти туда.

— Разве работа идет не совсем гладко? — ласково осведомился Браун, глядя на Серизье с нескрываемой насмешкой.

— Где люди, там и разногласия,— уклончиво ответил Серизье.— Вот идет ваша супруга.

К ним поспешно подходила Муся. Вид у нее был оживленный и радостный.

— Папе лучше!.. Гораздо лучше! — сказала она мужу и тотчас обратилась к Серизье и Брауну.— Болезнь моего отца оказалась более серьезной, чем я думала... Нет, ничего опасного, сегодня он чувствует себя прекрасно.

— Как я рад! Я был уверен, что это не опасно.

— Сегодня я прямо его не узнала, они пошли гулять... Господа, я непременно хочу, чтобы вы пришли к нам послезавтра обедать в «Националь». Непременно!

— Прекрасная мысль,— подтвердил Клервилль.

— Очень благодарю, но я, право, не знаю, как послезавтра будет здесь,— начал Серизье. Муся не дала ему кончить.

— Ничего не хочу слышать! Послезавтра здесь все будет так же благополучно, как сегодня. А если будет и неблагополучно, то обедать вам ведь все равно надо? После обеда я вас тотчас отпущу. А вы? — менее решительно обратилась она к Брауну.— Я надеюсь...

— Спасибо,— равнодушно до невежливости ответил Браун.

— Вот и прекрасно, так мы вас будем ждать ровно в восемь. Вам удобно в восемь? Отлично... А теперь покажите же мне все, я все, все хочу видеть... Мне страшно у вас нравится, страшно,— говорила Муся после двух минут пребывания на конференции.— Отдыхаешь от атмосферы Версаля,— пояснила она, инстинктом ловя настроение.— Покажите мне все... Кто этот человек? Очень красивый... Кто это?

— Этот? Это соотечественник вашего мужа,— ответил Серизье.— Рамсей Макдональд.

— Вот как! Это он? — переспросил Клервилль с неприятным чувством. В его кругу считалось не совсем приличным говорить об этом человеке.

— Тот самый, о котором тогда с таким ужасом говорила тетка? — спросила удивленно Муся.— Большевик?

— Нет, он не большевик,— возразил Серизье.

— Так полубольшевик.

— И не полубольшевик. Это просто фанатик, человек не от мира сего,— сказал Серизье тоном, который свидетельствовал, что он отдает людям не от мира сего должное, не одобряя их.— Весь круг его мыслей вне жизни. Эти люди выражают романтику непримиримого социализма, не идущего ни на какие компромиссы. Конечно, в их душевной чистоте есть свое очарование, какое, вероятно, было у Франциска Ассизского... Toutes proportions gardées[1],— добавил он, смеясь.— Вот этот тоже фанатик, но в другом роде. Немец, независимый, Гильфердинг, редактор «Freiheit»... Это очень интересное явление,— продолжал Серизье.— Свобода так неожиданно досталась немцам, что они совершенно опьянели. Гильфердинг говорит, что германская демократия осуществит социалистический строй теперь же, сейчас... Мало того, Германия, по их мнению, освободит весь мир!

— Это какой-то мессианизм,— сказала Муся.

— Утопический мессианизм,— пояснил Клервилль. Он не хотел, чтобы весь мир освободила именно Германия.

— Мир в один день не освобождается и не перестраивается,— сказал Серизье,— но пора, конечно, подумать о новом слове.

— Разумеется,— подтвердила Муся. О новом слове она не раз слышала в России, и с этим было связано немало неприятностей.— Так ради Бога, покажите мне все,— обратилась она к Серизье,— и объясните подробно, потому что я дура и ничего не знаю... Мне ужасно нравится у вас, но не все, не все... Вот этот мирный старичок, например, почему

[1] Все пропорции сохранены *(франц.)*.

он социалист? Он, наверное, где-нибудь служит бухгалтером? Это смешно... Право, смешно! Знаете, как в опере, когда толстые старые хористки изображают полет Валькирий: «Хайа-Тага!.. Хайа-Тага!...» Да вы не сердитесь, я правду говорю...

XXI

Улучшение в здоровье Кременецкого продолжалось и в следующие дни. Боли прекратились. Семен Исидорович перестал думать о смерти. Не думал он больше и о том, что жизнь, в сущности, не удалась, несмотря на общественные заслуги. Философские книги Тамара Матвеевна потихоньку убрала со столика. Она все еще не верила счастью: перед ней был прежний Семен Исидорович! В этот день утром он весело и остроумно разговаривал о политике с Клервиллем и со своим украинским приятелем. Перед завтраком они долго гуляли, и прогулка не утомила больного.

— Это ты, мое солнышко, принесла мне здоровье,— сказал Мусе Семен Исидорович днем за чаем, который они теперь пили не в номере, а на веранде, выходившей на озеро.

— Как я рада! Вас, папа, действительно, узнать нельзя, когда вы выбриты и одеты, не то что в первый день после нашего приезда.

— Просто другим человеком себя чувствую!.. Ведь я, право, одно время думал, что окочурюсь...

— Я тебя очень прошу! — начала, бледнея, Тамара Матвеевна.— Ты отлично знаешь, как я это ненавижу! Никакой опасности и прежде не было. Зибер мне прямо сказал...

— Много он знает, твой Зибер! Все это одна грабиловка, всех их в мешок, да в воду! — сказал с досадой Семен Исидорович, вспомнив опять профессора с длинной бородой, который не находил нужным успокаивать больных.— Это форменный дурак, Мусенька, ты его не знаешь. Придет, выслушает с похоронным видом за свои сто франков, и потом велит не волноваться, точно в насмешку! Хорошо, что я не из пугливых и не слишком боюсь старушки с косой... Двум смертям не бывать...

— Я тебя умоляю!..

— Ладно, ладно, не буду...

— Тем более, папа, что теперь вы совершенно здоровы. Старушка с косой очень далеко.

— Может, и не совершенно здоров, но я прямо другой человек стал,— повторил весело Семен Исидорович.— По сему случаю под вечер выйду, один, погуляю, когда жар спадет... Думаю пойти к Люцернскому льву, люблю этот шедевр без меры, так бы часами смотрел,— говорил Семен

Исидорович вполне искренно: Люцернский памятник льва напоминал ему его самого, особенно на посту в Киеве.

— Ты, Мусенька, представить себе не можешь,— вставила, сияя, Тамара Матвеевна.— Мы прошли минимум пять километров, к самой Drei Linden[1] и еще дальше кругом... Ты ведь знаешь, что доктор настаивает: гулять, гулять и гулять! Но обыкновенно мы ходим медленно,— из-за меня, конечно,— добавила она,— мне трудно ходить быстро. А сегодня я за папой прямо не поспевала! Все хочет бежать, как будто его, как в Питере, ждет десять тысяч дел!

— Я так и думала, папа,— сказала Муся, с ужасом представляя себе скуку этих прогулок ее родителей. Муся не догадывалась, что для Тамары Матвеевны они были высшим наслаждением: потеря состояния и горе, которое бедность причиняла Семену Исидоровичу, в значительной мере возмещались для нее тем, что она теперь проводила с мужем целый день.— Я так и думала, что ваша болезнь, не говорю вся, но на три четверти, была от переутомления и от нервов. Вспомните, как вы переволновались с тысяча девятьсот семнадцатого года!

— Скажи еще, что папа почти не отдыхал с самого начала войны! Две недели в Сестрорецке, или несколько дней на Иматре, разве это был отдых при его каторжном труде! Сколько раз я его умоляла уехать месяца на два, в Крым или в Кисловодск... А потом Киев, ты забываешь Киев! Я иногда во сне вижу, как мы оттуда бежали! Как мы только с ума не сошли! Это просто чудо, что нас не схватили и не расстреляли! — говорила с ужасом Тамара Матвеевна, видимо, находившая вполне естественным, что заодно с мужем полагалось расстрелять и ее и что они должны были сойти с ума вместе.— Я всегда повторяю папе, что после нашего спасения из Киева мы ни на что больше не имеем права жаловаться.

— Знаете что, папа? — сказала Муся.— По-моему, вы должны написать свои воспоминания.

— А что я ему всегда говорю!

— Мемуары? Вы думаете, это мне самому не приходило в голову? — спросил со вздохом Семен Исидорович, жадно выпивая залпом стакан холодного чая.— Я всегда жил очень интенсивной жизнью, и было не до записывания. А жаль! Теперь, конечно, надо бы написать...

— Так вот вы и напишите.

— Вот я сам всегда шутил над сановниками, которые, уйдя в отставку, садятся за мемуары. А ведь шутки в сто-

---

[1] Три липы (*нем.*).

рону: разве то, что я видел и делал хотя бы в этом самом Киеве, Рада, гетман, моя роль, разве это не самая настоящая история?

— Разумеется! Какой вопрос! — подтвердила Тамара Матвеевна.

— И особенно теперь, когда на нас только ленивый не вешает собак,— продолжал, увлекаясь, Семен Исидорович,— собственно, моя прямая обязанность, мой морально-политический долг произнести для потомства защитительную речь по этому большому делу. От нее многим не поздоровится, от моей речи,— с угрозой добавил он.— Я не спорю, были допущены ошибки, все мы человеки, и не ошибается тот, кто ничего не делает. Но общая моя линия была безукоризненно верной, и я это докажу... Я знаю, было очень легко и просто встать в стороне, со скрещенными руками, не лезть в драку и критиковать, храня белоснежность ризы. Но это не в моей натуре, и я...

— Тебе вредно волноваться, я тебя прошу, ради меня...

— Ах, оставь, золото! Да, конечно, надо написать мемуары! — сказал Семен Исидорович, вставая. Он большими шагами прошелся по веранде.

— Вот вы за них и сядьте, папа. Я уверена, что это будет интереснейшая статья.

— Не статья, а целая книга. Еже писах, писах. Тогда начать с молодости, провести, так сказать, основную линию, по которой мы шли, нарисовать идеалы, которым я служил с первых лет жизни. Я начал бы с Деляновских гимназий, бывших рассадником глухого оппозиционного духа в России, вся эта мертвечина людей двадцатого числа, латынь, которой нас пичкали чехи,— как все это претворялось в юной душе харьковского гимназиста! Потом Питер, университет, первая заря освободительных идей, адвокатура, общественное служение, замечательные люди, которых я знал, и, наконец, революция, тот крах, который я предвидел с первого дня!..

— Я тебя умоляю, не волнуйся!

— ... Потом Киев,— и вот, разбитое корыто! — сказал горько Семен Исидорович, обводя жестом Люцернское озеро.— Ну да, что ж! Для работы всякого человека есть предел, его же не прейдеши.

— Ты знаешь, Мусенька, я ведь, конечно, вывезла папку с юбилеем, все отчеты, статьи, фотографии, речь самого папы. Только смялось немного, когда мы бежали: у меня это было спрятано под лифом. В Житомире, когда мы с минуты на минуту ждали, что попадем в руки чекистов, я чуть сама ее не сожгла. Все приготовила, чтобы сжечь в послед-

нюю минуту, но, слава Богу, удалось провезти. Едва ли у кого-нибудь есть все это в Европе. Ты это вставишь в книгу.

— Да, конечно, может пригодиться и этот материал. В качестве простой иллюстрации,— скромно сказал Семен Исидорович.

— А если тебе трудно писать от руки, так ты можешь мне диктовать.

— Нет, диктовать я не мог бы. Тут надо обдумывать каждое слово, это не письмо. Но уж если я решусь засесть за мемуары, то мы возьмем напрокат машинку.

— Разве вы умеете писать на машинке, папа? Я не знала.

— Представь себе, папа научился в какие-нибудь две недели,— и как! В Берлине, где мы жили, у хозяина пансиона была русская машинка, и он ее предоставил папе, чтоб научиться. Он так уважал папу! И папа через две недели стал писать прямо, как Анна Ивановна... Помнишь Анну Ивановну, которая у нас в Питере служила в канцелярии папы? Хорошая девушка, так была привязана к папе. Мы слышали, она теперь страшно бедствует...

— Не как Анна Ивановна, но кое-как строчу.

— А от руки папе теперь труднее писать. Я даже настаивала, чтоб папа купил машинку. Он здесь видел чудный Ремингтон с русскими буквами, но страшно дорого: пятьсот франков.

— Разве это так дорого?

— Мусенька, пятьсот швейцарских франков!

— Папа, вот что я вам скажу. Через шесть недель день вашего рождения (Тамара Матвеевна просветлела оттого, что Муся это помнила). Мы с Вивианом уже давно думаем: что бы вам купить в подарок? Но в сентябре я опять буду далеко от вас. Надо будет, значит, посылать по почте, это трудно, и пересылка стоит денег, да еще придется платить пошлину. Так вот что мы сделаем: вы нам позволите поднести вам теперь, раньше срока, в подарок эту самую машинку.

— Какой вздор!

— Почему вздор?

— Где же видано дарить такие дорогие подарки! И это выйдет, что мама напросилась...

— Папа, как вам не стыдно! Вот не ожидала!.. Вы мне всю жизнь делали самые дорогие подарки,— вот и это еще недавно, все восхищаются,— она показала на цепочку с жемчужиной, которой не снимала в Люцерне, чтобы сделать удовольствие родителям.— А теперь, когда у меня впервые появились свои деньги, я, очевидно, должна послать вам ко дню рождения коробку конфет? Да?.. Вы говорите, пять-

сот франков дорого? Ничего не поделаешь, должна вам сказать по секрету,— не выдавайте только меня Вивиану,— что он для вас в Париже выбрал подарок почти в полтора раза дороже: хронометр, вместо того, который у вас украли,— экспромтом солгала Муся.

— Как это мило! Я говорю об его внимании. Хронометр мне теперь не нужен, купил в Варшаве стальные часы за два доллара и с‵ень доволен. По одежке протягивай ножки.

— Он страшно милый, Вивиан, страшно.

— Вивиан не купил хронометра только потому, что я его уговорила не торопиться: сознаюсь вам, я хотела сначала у мамы узнать, что именно вам доставит удовольствие. Значит, вы нам на этой машинке только сделаете экономию.

— Милая Мусенька, я не о деньгах говорю: мне и коробка конфет от вас была бы, разумеется, равно мила: мал золотник, да дорог. Но я к тому говорю, что радоваться, собственно, нечему: пятьдесят четыре года стукнет человеку, плакать бы надо,— что ж, знаменовать сие событие подарками, да еще такими дорогими?

— Да ведь я вам всегда по таким же событиям дарила подарки, только на ваши же деньги. Нет, нет, это дело решенное!

— Нисколько не решенное.

— Я слышать ничего не хочу! Куплю машину и велю вам послать. Что вы можете со мной сделать?

— Если Мусенька так настаивает? — сказала нерешительно мужу Тамара Матвеевна. Ей самой было несколько неловко, особенно от того, что о машине заговорила она; но она знала, что этот подарок будет большой радостью для Семена Исидоровича. Он все любовался Ремингтоном в витрине и отказывался от покупки из-за высокой цены.— Если они так решили, и если они еще рассердятся на нас?..

— Я очень рассержусь, прямо говорю. Нет, папа, пожалуйста, не спорьте.

— Милая моя, сердечно тебя и Вивиана благодарю,— сказал, сдаваясь, Семен Исидорович.— Я очень тронут. И уж если говорить правду, то лучше подарка ты никак не могла бы мне сделать. Сам бы я этой машинки не купил, при наших пиковых делишках: был конь, да изъездился. А если машинка будет, то я, наверное, тотчас засяду за работу... Ничто так не уясняет собственных мыслей, как чтение текста, написанного на машинке: тотчас видишь то, что в рукописи совершенно теряется. Я думаю, Достоевский писал бы иначе, если бы в его время были пишущие машинки... А мне, повторяю, давно хочется все записать и подвести итоги... Ума холодных наблюдений и сердца... Чего сердца?..

— Я страшно рада. Но давайте, не откладывая, сделаем это сегодня же. Дайте мне адрес магазина и объясните, какая машина?

— Ну, нет, это так не делается. Машинку покупать, это что жену выбирать...

— Благодарите, мама.

— Надо самому все осмотреть, проверить буквы, попробовать, и так далее. Тогда уж пеняй на себя, пойду с тобой.

— Отлично, но когда же? Хотите, поедем со мной на эту несчастную конференцию,— я сейчас туда должна бежать,— а на обратном пути купим машинку? Я на конференции пробуду недолго. Надо ведь позаботиться и о нашем сегодняшнем обеде... Как жаль, что вы не хотите прийти к нам обедать.

— Нет, что же, мы с папой только вас стесним.

— Нисколько, мама, но как знаете...

— Кто у вас будет к обеду? Этот француз и доктор Браун? Ну, что же он?

— Ничего... Живет, на всех сердится. Злые языки говорят, что он медленно сходит с ума.

— Неужели? Ты нам вообще так мало рассказала, Мусенька. Кого же вы еще видите в Париже из наших питерцев?

— Из тех, что бывали у нас в доме? Нещеретова иногда вижу (по лицу Семена Исидоровича пробежала тень), дон Педро... Ах, да, папа, вы помните дон Педро?

— Разумеется, помню. Тот репортер?

— Очень умный человек,— начала Тамара Матвеевна,— он тогда написал такую хорошую статью о папе...

— Так вот, он теперь вышел или выходит в большие люди. Представьте, у него открылся необыкновенный талант к кинематографу. Какие-то новые, замечательные идеи! Да, да, представьте себе! Лучшее доказательство: он нашел огромные капиталы и теперь стоит во главе большого кинематографического предприятия.

— Что ты говоришь! Ловкий человек!

— Нам как раз перед нашим отъездом рассказывали, что и Нещеретов примазался к этому делу. Но он на втором плане, а главный там именно дон Педро... Ну, мне пора... Что же, папа, пойдете с нами на конференцию? Билет я вам достану через Серизье.

— Мне на социалистическую конференцию, голубушка, и показаться нельзя. Ты забываешь гетмана,— сказал с усмешкой Семен Исидорович таким тоном, точно социалисты всех стран непременно тотчас разорвали бы его на части,

если б он среди них появился.— И Вивиану не советую там говорить, что он мой зять...

— Ему что! Он, слава Богу, не социалист... Так как же нам быть с машиной?

— Милая моя, эта покупка не к спеху... Спасибо, Мусенька...

— Нет, я непременно хочу, чтобы вы сегодня или завтра приступили к работе над воспоминаниями. Говорят, для этого нужен запал...

— Можно так сделать,— предложила Тамара Матвеевна, чувствовавшая, как и Муся, что Семену Исидоровичу страстно хочется получить машину именно сегодня.— Вот ты собираешься пойти днем на вторую прогулку, один, без меня,— сказала она, подавляя легкое чувство обиды.— Так ты по дороге зайди в магазин и скажи, чтобы машинку прислали к нам сюда.

— А счет пусть пошлют мне в «Националь».

— Зачем же так сложно: машинку нам, а счет тебе? Нет, тогда я ее куплю и заплачу, уж если вы так милы. А ты маме вернешь деньги... Она у меня теперь казначейша... Боюсь, не обкрадывает ли меня? — пошутил Семен Исидорович. Он был чрезвычайно обрадован подарком.

— Разумеется. Это, в самом деле, еще проще.

— Только мне, Мусенька, будет странно и смешно получать от тебя деньги,— сказала Тамара Матвеевна.

XXII

Магазин, в котором продавалась пишущая машина, был расположен довольно далеко от виллы Кременецких. Семен Исидорович вышел из дому в шестом часу, поцеловав на прощание жену,—хотел пройтись один: надо было собрать мысли. Он чувствовал радостное волнение, какого давно не испытывал. Вопрос о мемуарах теперь был решен окончательно, и эти мемуары давали смысл его жизни.

— Только, пожалуйста, долго не оставайся в магазине,— говорила на прощание Тамара Матвеевна, вполне утешенная поцелуем мужа.— Вот деньги... Двести, триста, четыреста, пятьсот... Заплати и вели к нам прислать. А из магазина, пожалуйста, сейчас же пойди гулять.

— Слушаю-с, ваше превосходительство!

— Ты шутишь, а помни, что сказал Зибер: главное, это режим и моцион, режим и моцион... Я тебе советую потом пойти по набережной, до лаун-тенниса и назад. Этого вполне достаточно. Все-таки мы сегодня уже много ходили, и ты, должно быть, очень устал.

— Никак нет, ваше превосходительство!

— А я очень устала и даже немного теперь прилягу.

— Так точно, ваше превосходительство!.. Честь имею откланяться...

В самом лучшем настроении духа Семен Исидорович вышел из дому. Мысли его были всецело поглощены Ремингтоном. Это была не переносная, маленькая, а настоящая прочная машина, какая может служить долгие годы,— Семен Исидорович точно сам себя подкреплял заботой о долговечности Ремингтона. «Правда, перевозить неудобно... Но я не так часто переезжаю, а в Люцерне, верно, останусь надолго... Какие они милые, Муся и Вивиан!.. Да, непременно начать работу сегодня же. Надо только, чтобы на клавиатуре было все, что мне нужно»,— озабоченно-радостно думал Кременецкий. В той, берлинской машине почему-то не было ни вопросительного, ни восклицательного знаков; они потом проставлялись от руки,— выходило некрасиво. «Но это, конечно, можно заменить... Значок процентов, например, или номер мне едва ли будут нужны...» — Он соображал, где ему могли бы понадобиться эти знаки: как будто нигде. Семен Исидорович мысленно прикидывал: мемуары составят книгу в 600—700 страниц. Если писать по три-четыре страницы в день, то работу можно кончить в полгода. Потом надо будет найти издателя. «В крайнем случае, издам на свой счет. Сколько это может стоить? Скажем, три тысячи франков? Правда, это теперь очень большая сумма. Но для чего же и беречь последние деньги, если не для такого дела, для объяснения смысла своей жизни, для книги, имеющей подлинное общественное значение? Притом значительная часть издания, наверное, разойдется, даже и при нынешних условиях. Каждому будет интересно узнать мой взгляд на прошлое, на будущее. Может, со временем будет и доход? Могут быть иностранные переводы... Один том или два? Нет, конечно, издание окупится. Это даже неплохое помещение капитала. Во всяком случае, лучше, чем мои марки...» Кременецкий вдруг, проходя мимо часов, увидел, что до закрытия магазинов осталось не более десяти минут. «Как же это я так опоздал? — спохватился он. — Непременно надо поспеть...» Он пошел быстрее. Вместе с ускорением шага выросло и его возбуждение. «На завтра ни за что не надо откладывать. Нужно непременно, чтоб прислали сегодня же...»

На повороте в улицу, где находился магазин, Семен Исидорович вдруг почувствовал, что у него стучит сердце. Он на мгновение остановился и передохнул. Тамара Матвеевна не допустила бы, чтобы он шел так быстро. Было без пяти минут шесть. «Да, прямо летел... Сердце это ничего, это сей-

час пройдет...» Он подошел к магазину. Ремингтон все так же стоял на своем месте, на краю витрины, слева.

— Guten Abend [1],— радостно-дружелюбным голосом сказал Семен Исидорович, входя в магазин. Приказчик, причесывавшийся перед зеркалом, поспешно к нему повернулся.— T-n Abend,— совсем как немец и как старый знакомый, повторил Семен Исидорович. Справляясь не без труда с дыханием, он объяснил, что желает купить ту русскую машину, о которой спрашивал позавчера.

Приказчик, видимо, не совсем довольный, тотчас достал машину. Она была прелестна: все в ней, и клавиши с металлическими ободками, и блестящие лакированные стенки, и сверкающая сеть рычажков, и золотые буквы Remington на черном лаке, все было необыкновенно изящно. Приказчик вставил под валик листок бумаги. Семен Исидорович перепробовал все буквы,— они отпечатывались так отчетливо, что было любо смотреть. Он передвинул бумагу на валике, попробовал регистры, движение назад — все работало превосходно. Радость переполняла сердце Кременецкого. У него даже чуть закружилась голова. Приказчик, поглядывая на часы, быстро объяснял, как надо менять ленту. Это было довольно сложно, но ведь до перемены ленты еще далеко?

— Наши ленты держатся пять-шесть месяцев... Вот здесь, в этой брошюре все объяснено очень подробно, с рисунками...

— Да, да, очень благодарю... Я что-то хотел еще спросить, не помню... Да.

Семен Исидорович пробежал взглядом клавиши. Вопросительный знак был, но восклицательного знака не было. «Ах, какая досада!..» Он обратился к приказчику, но забыл, как по-немецки восклицательный знак. Вопрос у него вообще как-то не вышел. Семен Исидорович пояснил движением пальца по бумажке.— Ausrufungszeichen? [2] Приказчик признался: к сожалению, восклицательного знака нет.

— Но вы можете его поставить? Вместо чего-нибудь другого?

— Разумеется. Очень охотно.

Семен Исидорович колебался: поставить ли восклицательный знак вместо процентов или вместо номера,— вот он, под цифрой 8. Ему жалко было лишиться и того, и другого: все-таки может понадобиться. «Нет, проценты никогда не понадобятся... Можно ведь написать и буквами: столько-то процентов...»

— Пожалуйста, поставьте вместо процентов.

---

[1] Добрый вечер *(нем.)*.

[2] Восклицательный знак? *(нем.)*

— Очень охотно. Послезавтра будет готово... Куда прикажете послать?

— Как послезавтра? — испугался Семен Исидорович.— Мне необходимо сегодня.— Приказчик удивленно на него взглянул и пояснил, что сегодня заменить букву никак нельзя: магазин сейчас закрывается.

— Но тогда не надо менять! Тогда пусть сейчас будет так, как есть! А через два-три дня вы это замените.

— Очень охотно. Всегда к вашим услугам. И в случае какой-либо починки, машина нами гарантируется на год.

— Починка? Как, только на год? Разве это непрочная машина? — опять заволновался Семен Исидорович.

Приказчик его успокоил уже с легким нетерпением: нет, машина чрезвычайно прочная, но все может быть, не правда ли? Например, если она упадет? В течение года магазин исправляет бесплатно, это и есть гарантия.

— Ах, да, я было не понял... Так, пожалуйста, пошлите сейчас же. Вот мой адрес...

Однако, к большому сожалению приказчика, оказалось, что сегодня нельзя и послать машину на дом: мальчик-велосипедист уже уехал.

— ...Завтра утром, если нужно, в восемь часов, машина будет доставлена совершенно точно.

Семен Исидорович рассердился. Как завтра? Как нельзя доставить? Ему необходимо сегодня, необходимо.

— Очень жаль. Сегодня совершенно невозможно, магазин, собственно, уже должен был бы закрыться. У нас здесь очень строго,— печально и сухо говорил приказчик, видимо, не смягченный ценой покупки. Он даже демонстративно опустил, с грохотом, штору на одном из двух окон магазина.

— В таком случае, я ее возьму с собой,— оскорбленно сказал Семен Исидорович. Приказчик выразил крайнее сожаление, еще раз с удивлением взглянув на покупателя.— Машина довольно тяжелая. Разве на автомобиле?

— Да, на автомобиле. Здесь поблизости есть автомобили?

— В двух шагах отсюда стоянка. Первый угол направо... Я могу, если угодно, позвать?

— Благодарю вас, не надо.

Приказчик накрыл машину крышкой и показал Семену Исидоровичу, как это делается. Затвор крышки приятно щелкнул, образовался изящный ящик. Кременецкий заплатил деньги и холодно выслушал извинения приказчика. «Если б господин пришел немного раньше... Мальчик всегда уезжает в шестом часу с покупками и больше не возвра-

щается. Но автомобили стоят совсем близко...» Семен Исидорович взял машину. Она, в самом деле, была очень тяжела, пришлось держать ее обеими руками перед грудью. Приказчик с сочувственным и виноватым видом отворил дверь магазина.

— Может, прикажете подозвать автомобиль?

— Да, пожалуйста,— сказал Семен Исидорович. «Какие у меня с ним могут быть счеты? Да он и не виноват...» — Приказчик побежал за автомобилем. Семен Исидорович медленно пошел за ним, чуть задыхаясь и пошатываясь под грузом. «Это ничего... Это сейчас пройдет,— подумал он.— Что не гулял, это тоже ничего, не каждый день... Сейчас приеду домой, там горничная ее возьмет или шофер... Немного отдохну и потом, после ужина, сяду за работу. А что восклицательного знака нет... Все-таки, я не думал, что она такая тяжелая... Вот, это подъезжает автомобиль...» Вдруг его с страшной силой ударило в грудь, Семен Исидорович задохнулся, раскрыл рот, выронил машинку и взмахнул руками, почувствовав невыносимую боль в груди, в ноге. Что-то внизу загремело, зазвенело. «Разбилась! Что это?.. С колена содрало кожу... Господи, что же это!..» Подбегавший приказчик перевернулся в воздухе. Автомобиль изогнулся и опрокинулся. Кременецкий с хрипом упал на мостовую.

XXIII

Для Муси устройство обеда еще было непривычным делом. Она и чувствовала себя почти как перед экзаменом, хотя за обед отвечала гостиница, на которую можно было положиться. Вернувшись из Курзала, Муся зашла в ресторан и еще раз, не без волнения, все осмотрела, как экзаменующийся в последний раз просматривает конспект за час до экзамена. Отведенный им на террасе лучший, угловой стол был очень уютен. Вина выбрал Клервилль: рейнвейн, шамбертен и шампанское; перед обедом еще должны были подать коктейль. «Не много ли?.. А впрочем, они пьют, как извозчики. И отлично... Право, все будет очень мило, особенно когда зажгут эту настольную лампу с красным абажуром...» Сообразуясь с люстрами, Муся выбрала для себя за круглым столом самое выгодное место. «Справа будет Браун, слева Серизье...» Она велела метрдотелю убрать цветы в высокой, узкой, легко опрокидывающейся вазочке и положить на стол, прямо на скатерть, несколько роз,— перед самым обедом и не очень много.

В парикмахерской гостиницы уже горели лампы, хотя на дворе еще было совершенно светло. Вид этой небольшой,

необыкновенно ярко освещенной комнаты, мрамор и красное дерево столов с белыми тазами, блестящий никель кранов, пульверизаторов, цилиндрических приборов, многочисленные зеркала, горы белоснежного белья, красные, зеленые, розовые, желтые флаконы на полках и в висячих стеклянных шкапчиках, стоявший в комнате легкий спиртной запах,— все это доставляло беспричинную радость Мусе. Парикмахер, странно потрясая шипцами, восторженно хвалил ее волосы. Одновременно с завивкой, миловидная дама, со слегка обиженным видом, полировала ей ногти. Это сочетание двух производившихся над ней работ еще усилило у Муси радостное впечатление напряженной деятельности. Приятны были даже глупые комплименты парикмахера,— так столичный артист на гастролях не без удовольствия читает похвалы в провинциальной газете.— «Ah, Madame, des cheveux comme ça, je peux bien dire qu'on n'en voit pas souvent de nos jours» [1],— говорил парикмахер с озабоченным видом, явно означавшим тревогу за будущее дамских волос. Этот старательно стилизованный под дурачка человек оказался художником своего дела, и Муся по первым же его движениям оценила подлинный дар,— как папа Бенедикт XI оценил гений Джотто по нарисованному им обыкновеннейшему кругу. Миловидная дама находила преувеличенными похвалы парикмахера и подчеркнуто-неприятно молчала. Она, по-видимому, не одобрила и бриллиантовых шпилек, которые парикмахер взял у Муси с восторженным «Oh!..» и очень ловко вколол в шиньон... «Да, все хорошо, чудесно,— думала Муся,— потом будет шампанское, Браун... Я скажу ему... Нет, не надо придумывать наперед, буду говорить, что придет в голову, и выйдет отлично...» — «Выйдет отлично»,— подтверждало милое зеркало в белой раме. У Муси были любимцы среди зеркал.— «Выйдет отлично»,— подтверждала своим треском машинка. Ток нагретого воздуха щекотал кожу. Запах жженой бумаги и одеколона приятно смешивался с грушевым запахом лака для ногтей. Муся радостно вспомнила о своем подарке отцу, которому эта машинка доставила такое удовольствие. «Бедный папа»,— подумала она привычными в последнее время словами.

Потом у себя в номере Муся долго занималась туалетом. Надела черную combinaison [2] под черное тюлевое платье, и к нему темно-серые чулки,— такое соединение было

---

[1] «Ах, сударыня, такие волосы не часто встретишь в наше время» *(франц.)*.

[2] Комбинация *(франц.)*.

последней парижской новинкой; едва ли впрочем Браун или даже Серизье могли оценить это или хотя бы заметить. «Да, все-таки вышла отличная поездка!.. Сегодня, после шампанского, я знаю, будет мило, я всегда это чувствую наперед...» Ей хотелось играть на рояле, но рояля не было. Это для нее было большим лишением — после Петербурга они все время жили по гостиницам. «Как только устроимся, прежде всего купим Стейнвэй... И, право, надо будет заняться музыкой серьезно...» Ей вспомнился концерт знаменитого пианиста в тот день, когда Вильсон читал о Лиге Наций,— наглые, торопливые звуки, наскакивавшие на божественную простую фразу *той* сонаты.— «Торопись, проходи, некогда»,— говорили эти звуки, которым не поддавалась божественная фраза. «Теперь я совсем иначе буду ее играть»,— подумала Муся, надевая драгоценности перед зеркалом. Это зеркало было не такое милое, как то в парикмахерской; но она и в нем была очень хороша. Вдруг на столе неприятно-резко прозвучал телефонный звонок. Муся вздрогнула. «Что такое?..» Ей сразу пришло в голову самое неприятное, что могло случиться. «Браун отказывается от приглашения? Нет, это теперь было бы просто грубо!..» Муся поспешно подошла к аппарату. Незнакомый мужской голос печально и твердо спрашивал господина Клервилля. «Слава Богу, не то...»

— Господина Клервилля нет дома... Кто говорит?

Незнакомый человек помолчал несколько секунд и спросил, еще печальней и настойчивей, госпожу Клервилль.

— Это я... Что такое? — произнесла, бледнея, Муся. Мысль об отце вдруг ее поразила. «Нет, не может быть, ведь два часа тому назад было совсем хорошо...» — Что? Кто говорит?

Говорил хозяин виллы «Альпийская Роза». Госпожу Клервилль просят немедленно приехать... «Да, немедленно, сию минуту. По телефону неудобно говорить... Да, к сожалению, господину Кременецкому худо...»

— ...Я ...Я сейчас,— сорвавшимся голосом сказала Муся. Она повесила трубку, снова было схватилась за нее, но уже было поздно: сообщение прервали. «Боже мой, что же это! — задыхаясь, подумала она.— Нет, не может быть, ведь только два часа тому назад...» Муся растерянно взглянула в зеркало. «Что ж это... Так бежать, в этом платье? Не переодеваться же... А обед!.. Куда звонить? Его там не знают. Он сказал: худо... Неужели?..» У нее вдруг рыданья подступили к горлу. Она опустилась на стул, потом вскочила, побежала к двери, вернулась за манто и выбежала в коридор.

XXIV

Решено было устроить похороны без религиозных обрядов. Семен Исидорович по документам значился лютеранином. Мусе однако показалось странным приглашать пастора,— так представление о пасторе не связывалось в ее памяти с отцом. Тамара Матвеевна лежала в кресле, то безжизненно как труп, то истерически рыдая и колотясь головой о стол. Муся все же спросила ее, как следует похоронить отца. Получить ответ было нелегко. Тамара Матвеевна долго не понимала, чего от нее хотят, затем проговорила: «Сделай, как хочешь, Мусенька, дорогая... Сделай, как нужно»,— и зарыдала. Через некоторое время она вспомнила, что однажды в Петербурге Семен Исидорович, после чьих-то похорон, выразил удивление, отчего в России не разрешают сжигать тела,— ведь это чище и красивее.

— Так он сказал, папа, папа, я помню... Это он в столовой сказал, за столом, на его месте... На его месте... Я все помню... Я все отлично помню... Откланяться... Он сказал: честь имею откланяться...— рыдая, говорила Тамара Матвеевна.

— Тогда, по-моему, вопрос решен,— ответила Муся и попросила мужа навести справки на кладбище.

На эту ночь Муся осталась в «Альпийской розе». Хозяин, добрый и приветливый человек, тяжело вздыхая, сделал все, что мог, несмотря на огорчения и неудобства, которые причинил ему русский гость. Жилец, снимавший комнату рядом с Кременецкими, с полной готовностью и даже с видимым облегчением, согласился уступить свой номер вдове умершего соседа и перебрался во второй этаж. Нашлась комната и для Муси. Клервилль привез жене все нужное из Национальной Гостиницы и довольно настойчиво говорил, что и сам останется в «Альпийской розе». Но Муся решительно это отклонила.

Около полуночи Тамара Матвеевна задремала в кресле — ни за что не хотела лечь в постель,— потом проснулась с ужасом и стыдом — как могла заснуть! — и снова заснула. Муся перешла в свою комнату. На столе лежал незапечатанный конверт, адресованный на ее имя. В нем оказалось объявление на плотной глянцевитой бумаге, очень похожее на те, что раздаются в агентствах по устройству путешествий. В объявлении подробно излагались, на немецком языке, преимущества сожжения тел; перечислялись ученые, политические деятели, титулованные лица, очень сочувствовавшие такому способу погребения; указывалось, что в сожжении нет ничего противного религии и

что сам Лютер отзывался о нем одобрительно. Были и рисунки, со странными названиями: урна, крематорий, колумбарий. Исходил листок от союза *крематистов*,—в этом слове Мусе показалось что-то гадкое и страшное. Но в рисунках ничего гадкого не было: нарядные чистенькие залы, напоминавшие не то помещение банка, не то ботанический кабинет. «И слово какое-то ботаническое: *колумбарий*»,—подумала Муся, содрогаясь. На оборотной стороне листка были напечатаны немецкие стихи. Муся, совершенно измученная, села в кресло, положила листок, затем снова взяла его со стола. «Wenn ein Mensch, ein faulend Aas,— Liegt unter Erd und Gras,— читала она машинально,— In und auf ihm Würmer, Käfer, Sagen Sie: «der müde Schläfer...» [1] «Что же это? Ведь это издевательство?»—сказала Муся и заплакала.

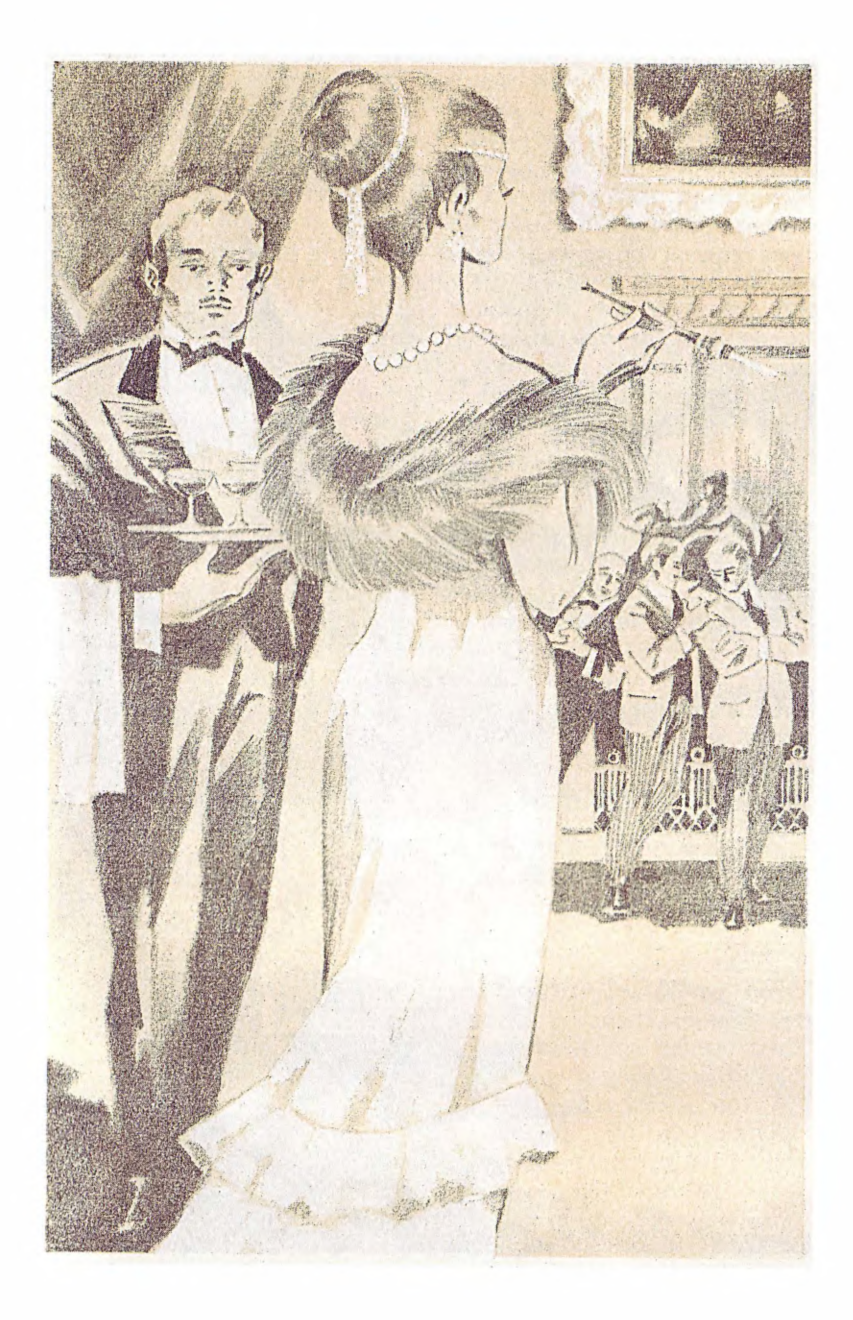
За эти ужасные пять часов она просто не имела времени подумать об отце. Теперь у нее в памяти встал какой-то вечер в Петербурге, осенний или зимний холодный вечер, уютная комната, ярко освещенная желтоватым светом... Муся не представляла себе, какой это был вечер и какая комната,— в их квартире как будто такой не было,— да она и не видела этой комнаты ясно,— только теплый желтый свет, особенно уютный от холода и мрака на дворе. В этой комнате ее отец делал что-то уверенное, радостное, доброе. Может быть, это было в суде,— он говорил речь? нет, речи не говорил,— может быть, он шутил с товарищами где-нибудь в буфете суда, или дома готовил с помощниками дело? От этого неясного, непонятного воспоминания о чем-то никогда, быть может, не происходившем у Муси вдруг рыдания подступили к горлу; ею овладела такая тоска, какой она не испытывала даже в первые минуты, отчаянно рыдая над мертвым телом отца.

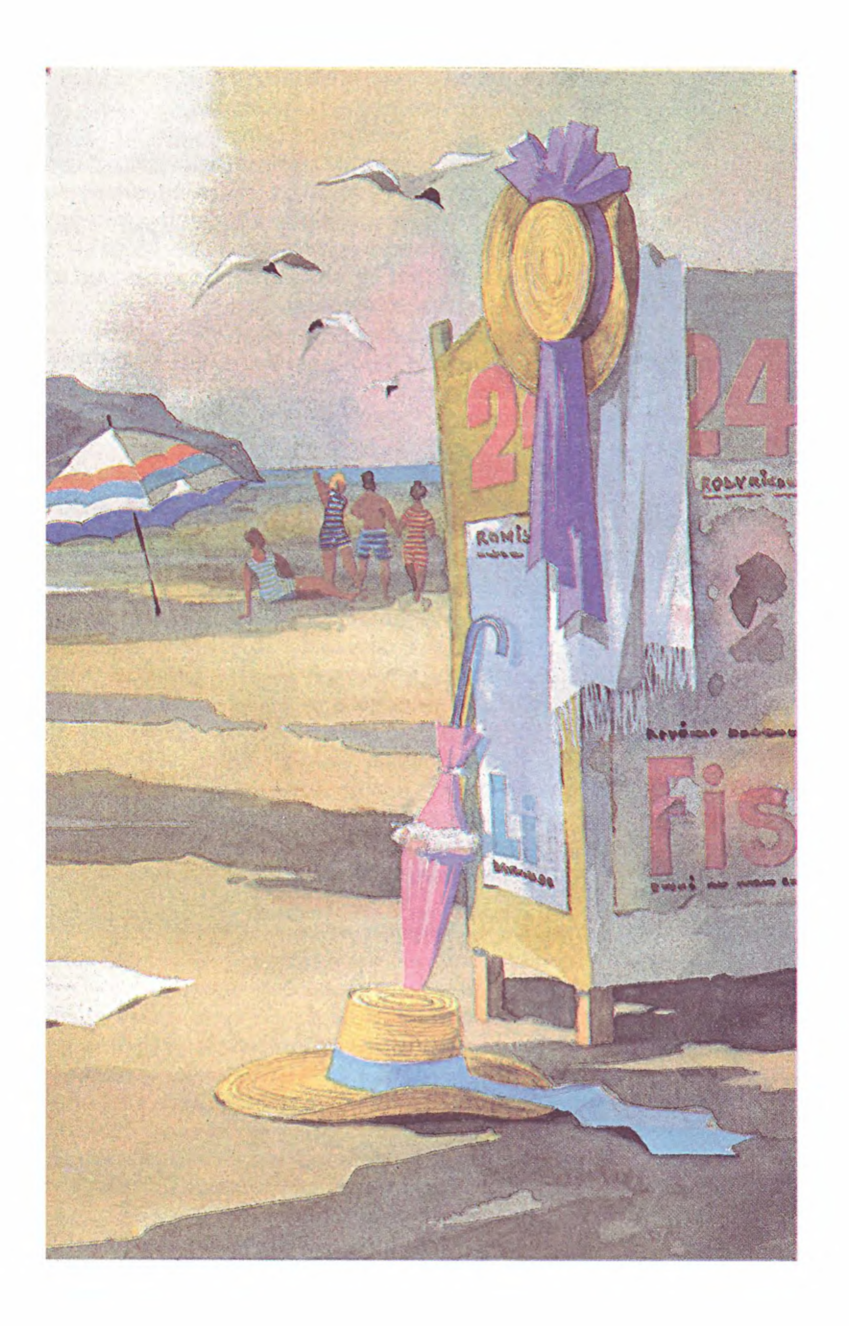
«Да, да, что ж делать теперь? — утирая слезы, говорила себе Муся.— Недостаточно любила, теперь поздно, теперь поздно... Только соблюдала приличия: отвечала на письма, вот и сюда приехала... И этот подарок!..» Мысль об ее подарке отцу, доставившем ему такую радость, была единственным утешением,— хоть доктор и говорил, что смерть, collapsus cardiaque [2], последовала от усилия: со слов растерянного приказчика выяснилось, что иностранный господин захотел сам снести машинку в автомобиль, как он, приказчик, ни убеждал этого не делать. «Да, он был так рад, так рад... Если б я знала!.. Как много еще можно было сделать, чтобы скрасить его жизнь!..»

---

[1] «Когда человек, добыча тления, лежит под землей и травой, черви, жуки в нем и на нем говорят: «бедный усопший...» *(нем.)*

[2] Сердечный коллапс *(франц.)*.




24
Li
Fis

За открытым окном раздался томительно-сладкий свисток уходящего вдаль локомотива. Муся вытерла слезы. «Что ж, жить все-таки надо... Будут дети... Нет, нельзя откладывать, слишком страшно!.. Все-таки у меня еще целая жизнь впереди. Мама? Что я сделаю с ней, несчастной? Это было очень благородно, что Вивиан тотчас предложил поселить ее вместе с нами... Я и к нему была несправедлива, теперь надо будет и с ним все поставить по-другому: чище, лучше, добрее. Я люблю его, он свой... (свисток поезда повторился еще дальше, слабее и таинственней). Да, надо жить... Что ж делать? Послезавтра похороны, потом сейчас же, сейчас уехать...» Муся снова взяла со стола листок, точно там могло быть объяснено и то, как уезжают после похорон. «Glaubt, das schönste wär' noch heut' — Das Verbrennen alter Zeit; — Feuer lässt zurücke keine — Totenköpf' und Totenbeine...» [1] «Нет стыда у этих людей...»

Муся разделась и, вздрагивая, легла в постель. Она уже почти год не спала одна. В несессере, привезенном ей Клервиллем из Национальной Гостиницы, был и роман, который она читала в последние дни. «Может быть, чуть-чуть бестактно, но заботливо, мило,— с нежностью подумала Муся.— Нет, даже и не бестактно...» Она попробовала заглянуть в роман. Сухой, насмешливый, литературно-искусный рассказ о женщине, бросившей *светские узы* для свободной жизни, а затем свободную жизнь для чего-то еще, и под конец вернувшейся к светским узам, не заинтересовал Мусю. В романе выводились те самые весело-аморальные, цинично-мужественные, иронически настроенные, элегантные люди, которые ей нравились; и тон был тот, что ей нравился: пора бросить старые, глупые слова,— о них и вспоминать в наше время стыдно,— нужно жить во всю полноту, ничего не пропуская, нужно испытать все ощущенья, вот что главное... Но уж очень этот тон был теперь далек и невозможен. В соседней комнате стоял гроб. Муся потушила лампу. «Как я могла еще вчера с удовольствием это читать!» В окне противоположной комнаты погас свет. У стены потемнел шкаф для платья, дешевенький, плохо закрывавшийся шкаф, с полками, выстланными газетной бумагой. «Как он бедно жил, папа, в последние месяцы!.. Они берегли каждую копейку. Я ведь не знала всего этого. Да папа и не взял бы у меня денег... Но уход был за ним очень хороший. Вот и консилиум был... Не помог консилиум...— «Всех их в мешок да в воду»,— вспомнила она.

И перед ней снова встала залитая желтоватым светом

---

[1] «Поверьте, самое прекрасное — сейчас сжечь свое прошлое. Огонь не оставляет от мертвого ничего — ни головы, ни ног» *(нем.)*.

комната в Петербурге, где прошла бодрая, шумная, радостная жизнь, теперь закончившаяся так непонятно... Муся долго лежала в темноте, глядя в окно неподвижным блестящим взглядом. Где-то медленно били часы. Начинало рассветать. «Да, я в последнее время жила слишком быстро... Надо переключить жизнь на другую скорость, вот как в автомобиле... И все теперь должно стать другое... Хочу чистой, доброй, хорошей жизни»,— думала Муся, сама удивляясь своим мыслям.

Утром Серизье прислал венок с милой и трогательной надписью,— он совершенно не знал отца Муси. Хозяин «Альпийской розы» возложил на гроб букет. Несколько цветков, конфузясь — имеет ли право? — принесла горничная, прислуживавшая Кременецким. Люди проявляли много участия к горю родных умершего. Меннер с женой просидел с ними несколько часов, все говорил о Семене Исидоровиче, о себе, о смерти и замучил Мусю. Но Тамаре Матвеевне его участие было приятно, — если что-либо вообще ей теперь приятно могло быть. Зашел и украинский знакомый. Зашел — правда, очень ненадолго — Браун. Владелец магазина, где была куплена пишущая машинка, вернул за нее деньги, узнав, что она не нужна семье умершего покупателя,— вычел только восемь франков за починку. А распорядитель из похоронного бюро, приходивший к Клервиллю для переговоров, очень правдоподобно прослезился при виде Тамары Матвеевны,— Клервилль усмотрел в этом фамильярность и лицемерие, однако он ошибался: распорядитель плакал на всех похоронах — правда, по привычке, но искренно.

На следующий день пришло несколько телеграмм, Муся невольно останавливалась мыслью на том, кто как узнал, кто как мог принять известие,— особенно Браун и Серизье («Им сказали в гостинице...»). Телеграммы были совершенно одинаковые, свидетельствуя о нищете слова. Но и в их казенном красноречии было некоторое утешение,— читала все приходившее даже Тамара Матвеевна, и мертвые глаза ее на мгновение как будто становились менее мертвы.

XXV

Похороны сошли без обычного радостного оживления. С утра стал накрапывать дождь. Людей собралось немного, хоть и больше, чем можно было ожидать. Среди местной русской колонии оказались петербуржцы, знавшие Семена Исидоровича. Пришло и несколько человек, его не знав-

ших: при бедности русской общественной жизни в городе, всем, в такое время, хотелось обменяться впечатлениями. Распорядитель добросовестно, но тщетно делал, что мог, для создания чинности и благолепия. Так, на невеселом балу, при малом числе танцующих, дирижер напрасно старается оживить плохо идущую кадриль.

Во время сожжения тела на хорах играл оркестр из пяти человек. Публика разместилась группами, больше в последних рядах. В первом ряду сидели родные, во второй никто не решался сесть,— слишком близко к родным, неудобно разговаривать. Вначале, впрочем, не разговаривал никто, но церемония очень затянулась. Музыканты, кроме похоронного марша, успели раза три сыграть «Смерть Азы» и «Смерть Зигфрида». Никто в публике не знал толком, сколько времени продолжается сожжение. Одни вначале предлагали минут двадцать, двадцать пять. Другие мрачно говорили: часа полтора, а то и два.

Живший с начала войны в Швейцарии инженер-подрядчик, дело которого когда-то вел Семен Исидорович, шепотом объяснял полной красивой даме, что здесь, очевидно, устарелая система печей: какой-нибудь древний Сименс.

— В Германии вас так сожгут, что опомниться не успеете,— ласково шептал он, щеголяя своим мужественным отношением к смерти.

— Какой ужас!

— Боши на это мастера, сожгут вас, как какой-нибудь Льеж...

— Которого они вдобавок не сожгли,— поправил другой сосед, угрюмый, больной адвокат.

— Ну, так Лувэн.

— И Лувэна не сжигали. Пора бросить этот разговор о Льежах и Лувэнах! Тоже хороши и ваши союзнички, клявшиеся нам в вечной дружбе. Боком у нас стала их дружба!

— Вы знаете, Николай Борисович, вон тот господин в третьем ряду, это известный французский политический деятель, приехал на социалистический конгресс. Забыл фамилию.

— Тот, бородатый?.. Какое же он имеет отношение к Кременецким? — спросила дама.

Инженер приложил указательный палец ко рту.

— Я ничего не знаю.

— А разве что? Ну выкладывайте.

— Я ничего не знаю.

— Да говорите же! Ведь сами горите желанием рассказать.

— Нисколько не горю... Опять «Смерть Зигфрида»... Ну, жарь!.. Знаете, я человек не верующий, но, по-моему, без религиозных обрядов похороны не похороны, а что-то такое, странное... На концерт я могу пойти в Курзал.

— Господа, тише!

— Так не скажете? Ну, хорошо!

— Ладно, так и быть, — сказал, еще понизив голос, инженер.— Ходят разговорчики, будто у этого француза роман с дочерью Кременецкого.

— Что вы говорите!

— За что купил, за то и продаю.

— Господи! Что она в нем нашла?

— В такие подробности я входить не могу.

— Перестаньте говорить пошлости... Имея такого красавца мужа!... Должна сказать, что траур ей очень к лицу... Кажется, она довольно философски переносит смерть отца.

— Зато мать ее очень убита. Прямо мертвый человек.

— Да, бедная, страшно ее жаль!.. Я сама позавчера была так поражена, прямо заснуть не могла всю ночь... Мне еще вечером сказала Надежда Артуровна... Я тоже против гражданских похорон, не все-таки он был до конца последователен с самим собой и со своими идеями. Его жизнь одно гармоническое целое... Говорят, он ничего им не оставил?

— Значит, унес с собою в печь: я знаю из верного источника, что он вывез огромные деньги. Ох, и у меня в свое время немало перебрал покойник, не тем будь помянут! Мастер был на это... Но прекраснейший человек, вы совершенно правы...

— Господа, мы на похоронах!

— Тсс... Однако, когда же это кончится?.. Да, прекрасный человек. И она тоже, бедняжка... Смотрите, прямо живой труп... Куда вы отсюда направляетесь?

Серизье все возвращался мысленно к своей речи. План был разработан, многое написано, подготовлены две шутки, из них одна очень удачная,— чего-то однако не хватало. Под конец следовало дать поэтический образ: он любил и ценил образную речь. Лучше всего было бы кончить каким-нибудь видением, означающим близкий конец буржуазного общества. Бирнамский лес из «Макбета», символ шествия красных флагов, уже был многократно использован на рабочих конгрессах. Другого видения Серизье так и не мог придумать. Для работы времени оставалось немного. По его расчету выходило, что после завтрака останется не более часа,— и то, если не будет речей. При столь неболь-

шом числе провожавших уйти до окончания похорон было невозможно. «А тут еще эта проклятая резолюция по национальному вопросу...»

Муся в глубоком трауре сидела рядом с матерью. Она от мучительной усталости теперь ни о чем связно не думала. Вначале пыталась вообразить то, что происходит там, впереди. Но это было слишком страшно. Клервилль накануне сказал, что печь развивает температуру в 2000 градусов,— Муся не могла себе представить ни такую температуру, ни печь,— самое слово это, в сочетании с отцом, звучало так дико и оскорбительно (она, содрогнувшись, отогнала мысль о запахе жареного мяса, как на кухне). Когда они подходили к крематорию, внизу одно окно было открыто. Муся украдкой бросила туда взгляд,— ждала чего-то ужасного,— и увидела обыкновенную жилую комнату, маленький стол, заваленный бумагами, продырявленный соломенный стул, висевший на гвоздике пиджак. В этом страшном здании, очевидно, шла будничная, унылая, бедная жизнь.

В небольшой, темной наверху, зале крематория тоже все было просто. Люди почтительно уступали им дорогу, неестественно кланяясь, неестественно на них глядя,— может быть, и она сама не совсем естественно поддерживала под руку мать (Тамара Матвеевна находилась почти в оцепенении). Муся на ходу замечала лица,— многих она не знала. Когда сели, стало легче. Впереди было что-то странное, напоминающее саркофаг, дальше занавес, по сторонам живые растения в кадках. Окна с цветными стеклами были полуоткрыты. За ними стало еще темнее. Слышно было, как льет дождь.

Впереди из-за занавеса,откуда-то снизу, точно из подземелья, донесся глухой голос,— разобрать слова было невозможно. У саркофага что-то произошло.— Муся не поняла, что именно. Тамара Матвеевна едва слышно ахнула и подалась вперед. В ту же минуту заиграла музыка. Общее напряжение ослабело. Незнакомый старик в дождевом плаще осторожно расправил на коленях мокрую шляпу и сел удобнее. В третьем ряду кто-то приложил к уху часы и с досадой начал их заводить. Две дамы поменялись местами. В дальних рядах люди перешептывались, сначала робко, потом смелее. Оркестр играл похоронный марш Шопена. Это было почему-то неприятно Мусе. Неприятно было и то, что музыканты играли так плохо; на какой-то трели у нее даже передернулось лицо. Вдруг зажглись электрические лампы. «Отчего они устроены не как свечи?» — устало подумала Муся.— И зачем эти растения?.. Все не то, все не то...»

Сзади открылась дверь. Из окон рванул сырой ветер.

Все с любопытством оглянулись. Невольно оглянулась и Муся (это было не совсем прилично, но никто не заметил). Вошел Браун. Он снял шляпу, остановился на пороге, затем сел на ближайший стул. Оркестр играл вторую фразу марша. «Да, это навсегда кончено... Не было и не будет... Не суждено! — подумала Муся почти с облегчением.— Верно, ему очень скучно... Но ему все в жизни смешно и скучно. Разве он понимает людей? Разве у него есть сердце?.. Разве он видит что-либо, кроме зла,— хотя бы эту настоящую беспредельную, неизлечимую скорбь»,— подумала она, взглянув на мать. Глаза Муси наполнились слезами. «Все пройдет, все, только эта простая, вечная любовь, эта собачья преданность, ничего смешного не видящая, не понимающая, это и есть то, для чего стоит жить на свете...»

— ...Вы слышали, Николай Борисович, в Эстонии образуется северо-западное русское правительство.

— Ну и радуйтесь.

— Надеюсь, радуетесь и вы?.. Специально для похода на Петроград. Англичане обещали высадить десант...

— Черта с два они высадят! Кукиш с маслом вам всем будет, а не десант.

— Ну, вы известный скептик. Вот помяните мое слово, большевичкам теперь крышка... На днях я видел одну учительницу, она две недели как уехала из России и говорит, что они до осени не продержатся. Любовь Ивановна, приглашаю вас ревейонировать[1] у Донона. Существует ли еще наш добрый старый Донон? Порядком и моих денежек там осталось... Грешил, грешил...

— Это по-русски: ревейонировать?

— Может быть, Кременецкий тоже собирался ревейонировать в Петрограде.

— Типун вам на язык, Николай Борисович,— рассердился инженер.

— В самом деле, vous avez toujours le mot pour rire[2].

— Ах, ради Бога, извините, Любовь Ивановна. Желаю здравствовать... С тех пор, как кончилась война, многие русские швейцарцы цветущего призывного возраста страстно рвутся на родину...

— Добавляю, что ваш скептицизм теперь особенно странен, после этих венгерских событий...

— Вы знаете, господа, я долго была уверена, что Бела Кун — женщина! То есть прямо была убеждена!

— Жаль все-таки, что ее не повесили, эту самую Белу.

---

[1] Ужинать в рождественскую ночь (от франц. réveilloner).

[2] Вы всегда найдете повод для смеха (*франц.*).

Музыка оборвалась. Какой-то человек в странной одежде вышел из-за занавеса с торжественным видом и показал маленькую урну с прахом. Люди вздыхали, высказывая шепотом глубокие мысли. «Вот что от нас остается»,— сказал угрюмо адвокат. Красивая дама неожиданно прослезилась. Тамара Матвеевна приподнялась на стуле и опустилась безжизненно,— Клервилль ее поддержал. Привычные музыканты на хорах собирали инструменты. Все с облегчением встали. Муся расширенными глазами глядела на урну. «Feuer lässt zurücke keine — Totenköpf' und Totenbeine...» [1]— вспомнилось ей. И вдруг перед ней опять всплыла та непонятная комната, освещенная ярким желтоватым светом.

С видом дирижера, переходящего к новой фигуре кадрили, распорядитель торжественно вывел из крематория родных и выстроил их там, где им полагалось стоять, затем пригласил провожавших принять участие в новой фигуре. Дамы, даже мало знакомые, грустно и неловко, из-за вуалей, целовались с Тамарой Матвеевной и Мусей. Тамара Матвеевна — она больше не плакала — безучастно исполняла то, чего от нее требовали. Мужчины подходили, соображая, целовать ли руку: может, на похоронах нужно целовать, несмотря на перчатки? От Тамары Матвеевны все отходили с облегчением,— на нее было страшно смотреть. Клервилль был достойно декоративен, как всегда,— им распорядитель был вполне доволен. Серизье тепло и просто выразил Мусе сочувствие. Он очень хорошо притворялся естественным — самый трудный вид притворства.

Все перешли в колумбарий.

Simon Krémenetzky,
1865—1919
Eternels regrets [2].

Гравер за двойную плату сделал надпись в один день и даже предложил Клервиллю выгравировать, правда, маленькими буквами, какое-нибудь изречение. У него их было несколько на выбор: «Oh soleil, réchauffe mes cendres», «Ton souvenir nous console», «Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé»... [3] Клервилль отказался от изречения, немного поколебавшись: «éternels regrets»? «regrets éternels»? Но те-

---

[1] «Огонь не оставляет от мертвого ничего — ни головы, ни ног...» *(нем.)*

[2] Вечная скорбь *(франц.)*.

[3] «О солнце, обогрей мой прах», «Нас утешает воспоминание о тебе», «Без единственного существа мир опустел...» *(франц.)*

перь он, с легким беспокойством, сравнивал плитку с соседними. Нет, другие были такие же. На белых, серых, черных плитках, в узких вазочках, были кое-где подвешены цветы. На стене висел картон со строгой надписью на двух языках: «L'administration reprend dès maintenant les concessions de l'année 1917 non renouvelées»... [1]

В публике все были очень утомлены. Как обычно бывает на плохо идущих спектаклях, неудача стала всем ясна одновременно. Кто-то первый пожал плечами,— люди сразу начали переглядываться с недоумением. Похороны провалились.

XXVI

Клервилль получил свободу вскоре после похорон. В течение двух дней на нем лежали тяжелые практические дела. Их оказалось много. Нужно было условиться обо всем с хозяином «Альпийской розы», договориться с похоронным бюро, съездить в крематорий, заказать доску граверу, получить деньги в банке. Все это осложнялось тем, что он не знал немецкого языка. Клервилль только с недоумением пожимал плечами, слыша, что для погребения человека, умершего самым естественным образом от разрыва сердца, совершенно необходимы какие-то длинные и непонятные «amtliche Sterbeurkunde», «amtsärtzliche Bescheinigung über die Todesursache», «Bescheinigung der Ortspolizeibehörde des Sterbeorts» [2] и т. д. На континенте ухитрялись делать все бессмысленно сложным и затруднительным.

Смерть Кременецкого чрезвычайно огорчила Клервилля. Он считал своего тестя выдающимся и прекрасным человеком. Горе Тамары Матвеевны внушало ему искреннюю жалость. При одном из первых припадков ее истерических рыданий у него даже навернулись на глаза слезы, чего с ним давно не случалось. Клервилль в душе не одобрял всю эту истерику и про себя называл это «Азией»: вопли, стоны и рыдания дамы в европейском платье над телом мертвого мужа в его воображении вызывали Древний Восток. На второй день они стали чуть-чуть его раздражать.

Муся вела себя гораздо лучше, но все же не так, как казалось бы естественным Клервиллю. Вечером, обнимая

---

[1] «С настоящего момента администрация оставляет за собой места захоронения 1917 года, аренда которых не возобновляется...» *(франц.)*

[2] «официальные документы», «медицинское свидетельство о причинах смерти», «свидетельство местных полицейских властей с места смерти» *(нем.)*.

мужа перед его уходом, она со слезами умиления благодарила его «за все», разумея выпавшие на его долю заботы и разъезды. В действительности он только и отдыхал, что во время этих разъездов. Хуже всего было оставаться в «Альпийской розе».

Клервилль, конечно, совершенно забросил конференцию, и даже к себе, в Национальную Гостиницу, возвращался лишь на ночь. Они завтракали и обедали в самые необычные часы. Из уважения к горю жены, он не заказывал вина, пил воду и после мясного блюда вместе с Мусей уходил наверх. Скрытый смысл этого, очевидно, заключался в молчаливом признании, что их горе еще может мириться с супом, рыбой и мясом,— надо же поддерживать силы,— но совершенно несовместимо с сыром, компотом и вином. Стол в «Альпийской розе» был диетический и невкусный. воду Клервилль терпеть не мог, без вина ему обходиться было нелегко. Но самое тяжелое во всем этом было притворство. Они как бы равнялись по Тамаре Матвеевне, которая почти ничего не ела. Мусе стоило больших усилий заставить ее проглотить немного бульона, причем усилия эти неизменно сопровождались новыми рыданиями и бессмысленными словами.

Клервилль не роптал и старался себя не спрашивать, сколько времени может продолжаться все это. Напротив, он в день смерти Семена Исидоровича предложил теще поселиться у них. Тамара Матвеевна только замахала руками и, рыдая, проговорила, что об этом не может быть речи: никуда больше она из Люцерна не уедет и будет ждать: может, Бог над ней сжалится и скоро призовет ее к себе. Клервилль был искренно тронут, но вместе с тем почувствовал невольное облегчение: все-таки никто не мог от него требовать, чтобы и он навсегда остался из-за тещи в Люцерне.

После похорон, вернувшись в «Альпийскую розу», Муся с тем же умилением сказала мужу, что никогда не забудет, как он вел себя в эти дни. Однако теперь ему необходимо вернуться к нормальной жизни: он должен отдохнуть. Муся не просила, а требовала, чтобы Клервилль поехал завтракать в Национальную Гостиницу, а оттуда отправился на конференцию, которая, верно, не сегодня-завтра кончится.

— Это ведь не развлечение,— сказала она.— Я сама пошла бы, если б могла оставить маму.

Клервилль немного поспорил, потом взял с Муси слово, что она днем пойдет погулять, и простился с ней.

После утреннего дождя установился прекрасный солнечный, не слишком жаркий день. С озера веял чудесный ветерок. Клервилль сразу ожил. В последние два дня, а особенно в крематории, он сам поддался общему настроению похорон. До дневного заседания конференции оставалось еще часа полтора. Он шел по набережной, чувствуя необыкновенную, даже для него, свежесть и бодрость. По дороге купил в киоске английскую газету; в последние два дня он ничего не читал и не знал, что происходит в мире,— только, улучив минуту на похоронах, спросил Серизье, как идет работа конференции. Депутат озабоченно ответил, что теперь в центре всего венгерские события. Клервилль не мог расспросить толком,— ни о каких венгерских событиях он ничего не знал.

После мертвого тела в спальной, после истерических воплей Тамары Матвеевны, после крематориев и колумбариев, чинная, тихо праздничная обстановка превосходной гостиницы необычайно приятно подействовала на Клервилля. Терраса ресторана была переполнена. Были красивые женщины,— одну американку,— как будто одинокую? — он заметил еще дня четыре тому назад. Обычно во время завтрака, быть может, не без стратегических комбинаций Муси, Клервилль сидел к американке спиной. Теперь он устроился иначе.

Меню завтрака оказалось в этот день очень удачным. Поколебавшись между закусками и дыней, он выбрал дыню, затем форель, баранью котлету, и даже заказал дополнительное блюдо,— индейку,— так проголодался. На столике сиротливо стояла оставшаяся от последнего обеда, на три четверти опорожненная, бутылка красного вина. Метрдотель оставлял за гостями начатые бутылки; но у вазочки с цветами была многозначительно поставлена треугольничком переплетенная карта вин. «А что, если выпить шампанского?» — спросил себя Клервилль. Собственно, это было неловко: только что похоронили тестя. Но знакомых в ресторане не было ни души; Муся в счета гостиницы заглядывала редко. «Можно будет под каким-нибудь предлогом заплатить за вино тут же, чтобы его не ставили в счет... Если есть 1904 или 1911 год, закажу»,— решил он и заглянул в карту. Был, действительно, Поммери 1911 года. Оставалось только выполнить решение. Сиротливую бутылку немедленно унес приветливый красноносый sommelier [1], видимо, вполне одобрявший вкус английского гостя.

Завтрак был отличный,— не то, что на той несчастной

[1] Официант (*франц.*).

вилле. Как будто выяснялось, пока еще, впрочем, недостоверно и неуловимо, что можно будет познакомиться с американкой. От дыни до ледяного шампанского, от ветерка до американки, все сливалось в одно впечатление необычайной свежести.

После форели американка ушла. Клервилль, улыбаясь, проводил ее глазами, затем, со вздохом, развернул газету. Из-за пропущенных двух дней не все было ему понятно. Однако сущность венгерских событий выяснилась. Румынские войска,— очевидно, по негласному предписанию Клемансо,— подошли к Будапешту. Революционное правительство, во главе с Белой Куном, бежало в Вену. Образовался новый кабинет. Клервилль прочел сообщение с радостью: этот палач Бела Кун залил кровью Венгрию. Газеты ежедневно писали об ужасах красного террора. «Теперь несчастные венгерцы вздохнут свободно...» Некоторое сомнение вызвало у Клервилля лишь то, что консервативная газета также была весьма обрадована событием.

Клервилль мог выпить, не пьянея, очень много: был, однако, у него предел, за которым действие вина, и, в особенности, шампанского, изменялось. Он сам шутливо называл это своей алкогольной кривой и не без гордости говорил о начинавшейся у него неврастении,— ей, впрочем, решительно никто не верил. Алкогольная кривая Клервилля точному расчету не подчинялась. На этот раз он, по-видимому, достиг высшей точки кривой раньше обычного. После бараньей котлеты настроение у него стало хуже. Он подумал, что американка, может быть, сегодня уедет куда-нибудь в Нью-Йорк, и он ее больше никогда не увидит. В отношениях с женой многое нехорошо. Едва ли и теща его навсегда останется в Люцерне,— это так говорится в первый день.

Метрдотель торжественно вынес на блюде индейку и показал ее Клервиллю прежде, чем отрезать кусок.— «Крыло»,— сказал, кивнув, Клервилль и вдруг вспомнил, как, два часа тому назад, в крематории, человек в странном костюме, с таким же торжественным видом, вынес и показал собравшимся урну с прахом Кременецкого, перед отправкой ее в колумбарий. Клервилль несколько изменился в лице,— так было грубо и неприятно это неожиданное сопоставление. Он мысленно назвал себя идиотом, но индейки не тронул, к удивлению и неудовольствию метрдотеля. «Нет, нельзя, нельзя думать об этом! Конечно, мы все умрем, это не очень новая мысль,— с досадой сказал себе он.— А дальше что? Дальше то, что ничего другого нам не предлагают, так что и рассуждать нечего... Отсюда, значит, следует...»—

но отсюда ровно ничего не следовало. Клервилль отменил сладкое блюдо, выпил чашку кофе и вышел.

Символически разукрашенный подъезд Курзала, надпись на трех языках «Международная рабочая конференция» на этот раз несколько его раздражили. За столиком распорядитель с красной повязкой по-прежнему продавал тоненькие брошюрки. «А Браун, кажется, прав: здесь все научно предусмотрено»,— подумал Клервилль. Раздражение против социалистов у него все росло. Бородатый бюст, украшенный красной фланелью и зелеными веточками, казалось, подтверждал: да, все предусмотрено. И отблеск этой научной уверенности, шедший от бородатого бюста, играл на лицах людей, которых вокруг пьедестала снимал, приятно улыбаясь, фотограф, тоже с красным значком на пиджаке. Мягко светился этот отблеск и в чарующей кроткой улыбке британского фанатика Макдональда.

В Курзале настроение было явно повышенное. Заседание еще не открылось. В малой комнате происходило совещание вождей, по-видимому, очень важное: лицо у стоявшего перед дверью молодого человека с красной повязкой было на этот раз не просто озабоченное, а грозное. По холлу нервно расхаживала толстая дама с брошюрой, очевидно, кого-то поджидая. «Верно, того вождя, которого я тогда встретил...» Толстая дама была необычайно предана этому вождю и бурно аплодировала всякий раз, когда он выступал,— вождь выступал довольно часто. Клервилль прошел по другим комнатам. Везде кучки людей взволнованно о чем-то говорили на разных, в большинстве непонятных ему языках. До него донеслись слова: «Будапешт»... «Бела Кун»...— «Ах, венгерские события»,— озабоченно подумал Клервилль: по выражению лиц говоривших можно было сделать вывод, что здесь к венгерским событиям относятся не так, как отнесся он. «В самом деле, ведь это, собственно, интервенция, вмешательство во внутренние дела чужого народа... Правда, Бела Кун...»

В холл вошел вождь, в сопровождении жены,— у нее был все тот же вид раскланивающейся с народом императрицы. В толпе перед ними рассекался проход. Толстая дама бросилась к вождю. Выражение у него было мрачное и решительное. Оно ясно говорило о новых кознях врагов и о том, что против этих козней будут тотчас приняты самые энергичные меры. Вождь обменялся краткими словами с толстой дамой,— она сокрушенно подняла руки к потолку. Императрица приветливо кивала головой. У входа в комнату, где происходило совещание, вождь молча пожал руку сторожевому юноше,— юноша расцвел. Дверь отворилась

только на мгновение. Толпа в обеих комнатах замерла. Смутный гул повышенных голосов донесся из комнаты и снова затих,— юноша затворил дверь.

XXVII

Серизье опоздал на заседание конференции,— похороны Кременецкого затянулись. Между тем работы оставалось довольно много. Речь, правда, была готова, но она не очень его удовлетворяла. Были сильные места, убийственные для правых делегатов, однако чего-то в речи не хватало. Теперь нужно было еще написать проект резолюций по национальному вопросу. Этот проект ему навязали: он отказывался, ссылаясь на недостаточное знакомство с предметом. Но ему ответили, что достаточного знакомства с предметом нет и не может быть ни у кого. Пришлось разделить работу с одним испанским товарищем: на долю каждого досталось по несколько стран.

Наскоро позавтракав в пансионе, Серизье поднялся в свой номер. Комната еще была не убрана,— это сразу его расстроило. Он вынул из портфеля брошюры, которыми его снабдили в бюро, и сел за работу с неприятным чувством. Вместо его огромного письменного стола, был неудобный, небольшой, вдобавок пошатывавшийся столик. Писать надо было карманным пером, чего он терпеть не мог: лучшие мысли приходили ему в голову тогда, когда он опускал в чернильницу мягкое тупое перо на тонкой суживающейся кверху ручке с резиновой обкладкой внизу. Не было его любимой бумаги с изображением верблюда на розовой обложке блокнота, не было прессбювара, справочников, словарей. Неприятно мешала работе и неубранная постель,— он все время на нее оглядывался с досадой.

Серизье просмотрел брошюры и начал с наиболее тонкой. На ней было написано: «La question Grecque. Un appel à la conscience universelle» [1]. «Какой же, собственно, греческий вопрос?» — озадаченно подумал он: в Греции, ему казалось, все было благополучно. Однако первая же строчка брошюры показывала, что такое мнение совершенно ошибочно. «Le présent appel,— читал Серизье,— est adressé à tous les hommes en qui l'étincelle divine qu'on nomme conscience n'est pas encore éteinte...» [2].

Горничная постучала в дверь,— она как раз хотела убрать комнату. Серизье сердито ответил, что это надо было сделать раньше, и продолжал читать. «...Dans la lutte fratri-

[1] «Греческий вопрос. Призыв к совести мира» *(франц.)*.

[2] «Настоящий призыв обращен ко всем людям, в ком божественная искра, называемая совестью, еще не угасла...» *(франц.)*

side des grands nations, le peuple grec, qui les considère toutes comme héritiers de son génie, ne faisait que sentir une immence douleur pour le sang versé...»[1]. Эта фраза его раздражила. «Все-таки порядочное нахальство,— подумал он.— Мы, их духовные наследники, воевали, а они, Периклы, чувствовали великое горе!..» «Il hésitait à se lancer précipitamment dans une conflagration mondiale... L'Hellénisme n'aspire pas à des conquêtes; il ne revendique que la délivrance de ses frères irrédimés...» — «Irrédimés!»[2] — Серизье пожал плечами. По крайней мере, теперь было ясно, в чем дело: божественная искра, называемая совестью, очевидно, относилась к каким-то землям, населенным греками. «Но тогда это можно пристегнуть к резолюции по общей политике»,— радостно подумал Серизье. Он с облегчением отложил в сторону брошюру.

Из пачки выпала карточка. На ней изображен был скачущий на белом коне всадник с поднятым мечом и с двойным крестом на красном щите. Слева от всадника было напечатано: Lietuvo. Territoire 125 000 km. Под конем был обрывок географической карты с обозначением городов при кружочках: Klaipedes, Kaunas, Vilnius. «Это что-то русское»,— подумал Серизье. Сбоку светло-синяя краска, очевидно, изображала море: «Baltijos Jüra» — «Ну да, Балтийское море»,— как старому знакомому обрадовался он.— «Значит, Lietuva это Латвия...» Он перевернул карточку. На ее оборотной стороне было написано карандашом: «24 rue Bayard, Délégation de Lituanie».— «Нет, это Литва»,— вспомнил Серизье: карточку ему дал два дня тому назад литовский делегат на конференции.

Он постарался собрать в памяти все свои знания о Литве. Как нарочно, ничего не вспомнилось, кроме каких-то рыцарей, да и те, кажется, были ливонцы. На столе лежали брошюры о Бессарабии, о Грузии, об Украине, но о Литве ничего не было. Впрочем, он ясно помнил свой разговор с литовским товарищем: Литва добивалась полной независимости, ссылаясь на постановления международного социалистического конгресса о праве каждого народа на самоопределение. «Ну, что ж, это в самом деле справедливо»,— решил Серизье. Он был, вдобавок, непрочь сделать неприятность русским делегатам,— эти эмигранты, реакционеры и централисты, продолжали называть себя социалистами.

---

[1] «В братоубийственной войне великих народов греческий народ, который всех их считает наследниками своего гения, лишь испытывал безграничную боль за пролитую кровь ..» *(франц.)*

[2] «Он не решился немедленно броситься во всемирный пожар .. Эллинизм не стремится к завоеваниям; он только отстаивает права своих порабощенных братьев.. » — «Порабощенные!» *(франц.)*

«Все-таки надо знать хоть в общих чертах, как и что...» Он опять с сожалением вспомнил о своей великолепной библиотеке, где были всевозможные справочные издания. «Там внизу, у хозяина, кажется, я видел какие-то словари».

Серизье спустился по лестнице. В гостинице на полке оказался только краткий французский словарь. Серизье взял с собой книгу, подавляя чувство неловкости. «Ну да, что же делать? Кто может знать все это? Я не географ. Это не общая политика, а частный вопрос, изучать его нет времени...» Такой способ работы мог со стороны показаться легкомысленным, но другого, он понимал, не было: на социалистических конгрессах поднималось множество самых разных вопросов; некоторые из них, за отсутствием специалистов, очевидно, могли решаться только в общей, принципиальной форме. Вернувшись в свою комнату, Серизье открыл французский словарь. «Lithuanie, province russe. Les Français s'en emparèrent en 1812. V. pr. Vilna, Kovno. Grodno» [1]. Сокращения V. pr. означали главные города, и названия, как будто, соответствовали тем, что были указаны на карточке: Vilnius это, очевидно, Вильно, а Kaunas — Ковно. Сведения были очень краткие, но, собственно, вопрос мог считаться бесспорным. «Важно то, что существует такой народ, и что он хочет основать у себя демократическую республику...» Серизье отвинтил крышку пера и четким каллиграфическим почерком написал проект резолюции, предоставлявший полную независимость литовской республике.

«Очень хорошо, сжато»,— подумал он с удовольствием. По этому типу могли быть составлены резолюции и о других странах, добивавшихся независимости. Перечень их у него был записан на обороте одной из брошюр, с указанием фамилий тех товарищей, которые представляли эти страны. «Так даже лучше, чтобы резолюции были совершенно однообразны: этим подчеркивается принципиальность наших формул и равенство всех стран...» Работа шла легче и быстрее, чем он думал. «Азербайджан?» Это еще что такое?.. Кажется, это где-то на Кавказе?..» Он заглянул в словарь, там никакого Азербайджана не было. Представлял Азербайджан товарищ Шейхульисламов,— в этом имени было что-то русское, но было и что-то турецкое; Серизье думал даже, что так называется какая-то духовная должность. За Азербайджаном следовала Корея. Серизье задумался. «Нет, ничего, сойдет...» Резолюция, правда, задева-

[1] «Литва, русская провинция. Французы захватывали ее в 1812. Гл гор. Вильна, Ковно, Гродно». (*франц.*)

ла Японию; однако, японских делегатов на конференции не было. «И наконец, Индия... Это гораздо труднее...»

Индусских делегатов на конференции тоже не было, но один из правых немецких социалистов настаивал на признании независимости Индии,— как соображал Серизье, назло левому английскому социалисту Макдональду. Своей цели он, впрочем, не достиг: британский фанатик, по-видимому, ничего против независимости Индии не имел. «Все-таки с другими англичанами лучше не связываться. Надо будет написать осторожно...»

Серизье посмотрел на часы. Для резолюции об Индии совершенно не оставалось времени. Он с досадой подумал, что без толку потерял полтора часа на похоронах чужого человека. «Ну, что ж, кончу завтра»,— решил он и отправился на заседание, снова вернувшись в мыслях к своей речи.

Когда он подходил к Курзалу, из боковой улицы на набережную выбежал разносчик, выкрикивавший название газеты. Несмотря на опоздание, Серизье купил газету, пробежал ее и ахнул. В экстренной телеграмме сообщалось, что бежавшие из Венгрии народные комиссары, Бела Кун, Ландлер и Поганый, арестованы австрийскими властями в Дроссендорфе. Союзники, под давлением Клемансо, намерены заставить Австрию выдать Белу Куна для суда над ним.

Серизье взбежал по ступенькам Курзала. Судьба послала ему подарок. Последнее известие было не очень правдоподобно, но оно, поистине, свалилось с неба. В холле было тихо и пусто: заседание уже началось. Здесь, очевидно, газеты еще не видали. Серизье бросился в зал. Под влиянием этой телеграммы, у него быстро складывался новый, сильный, превосходный конец речи. Шлифовка заменялась вдохновением. Так крик птицы, услышанный Бетховеном на Пратере, мгновенно родил в его воображении бессмертную Пятую симфонию.

XXVIII

Второстепенный делегат второстепенной страны торопливо заканчивал свою речь,— это чувствовалось и по его интонациям, и по легкому нетерпению слушателей. Первое «я кончаю, товарищи», уже было сказано; кончился и тот трехминутный срок, который терпеливо дается аудиторией после успокоительного обещания. Серизье на цыпочках вошел в зал и, в ответ на укоризненную улыбку председателя, слегка развел руками.— «Нехорошо опаздывать...» — «Никак не мог, очень прошу извинить...».— «Этот кончает,

сейчас ваше слово...» — «Что ж, я готов, если все меня так ждут. Хотя, право, мне приятнее было бы не выступать...» — таков был приблизительный смысл обмена жестов и улыбок между ним и председателем конференции. На ходу Серизье обменялся жестами и улыбками также с ближайшими друзьями и присел на первое свободное место, торопливо пожав руку соседу, с видом: «Не сажусь, а только присаживаюсь. Сейчас, сейчас услышите...» Представители малых народов, участь которых отчасти от него зависела, беспокойно искали его взгляда. Серизье ободрительно ласково кланялся им, — со сладкой улыбкой главы государства, угощающего бедных детей на елке во дворце.

Он плохо слушал оратора; ему всегда было нелегко слушать других перед собственным выступлением. Теперь, вдобавок, приготовленную речь надо было совершенно перестроить. Потраченная на нее работа, разумеется, не пропадала: могли быть использованы и выигрышные места, и шутки, и остроты. Но приходилось изменить настроение, весь план боя. Серизье каждую большую речь рассматривал как бой со слушателями, — иногда дружелюбный, иногда злобный. Он редко знал наперед, удастся ли ему установить то, что называл контактом с аудиторией и что ощущал почти физически. По школьным воспоминаниям о рисунке в учебнике физики Серизье себе представлял этот загадочный контакт как идущие в зале от оратора фарадеевские силовые линии. На трибуне, сохраняя безупречную стилистическую форму речи, помня и о порядке доводов, и о шутках, и о жестах, заботливо ведя сложную актерскую игру, он, вместе с тем, внимательно следил за аудиторией и бросал силовые линии то в один, то в другой конец зала.

Здесь, на международной конференции, говорить было много труднее, чем в парламенте. Вдохновение отчасти парализовалось тем, что некоторые слушатели плохо понимали по-французски. А, главное, в палате депутатов были открытые враги, — была ясная мишень для стрельбы. Здесь открытых врагов не было. Некоторых участников конференции он совершенно не переносил, одних презирал, других ненавидел. Но формально все это были товарищи, — порою кое в чем ошибающиеся, однако, друзья, с которыми и говорить полагалось, за редкими исключениями, в сладком дружественном тоне. Этим чрезвычайно ограничивалась возможность красноречия: в гамме оказывалось половинное число нот.

Он обводил глазами зал, изучая поле предстоящей битвы. Вражеская позиция находилась у столов, где сидели русские делегаты. Тон по отношению к ним был выработан:

грустно сочувственный тон, уместный в отношении эмигрантов. Все эти люди понесли в России жестокое поражение, потеряли свою страну и утратили связь с ее рабочим классом. За ними теперь никого не было. Их и допустили сюда, собственно, больше из вежливости, да еще по дореволюционным воспоминаниям. Правда, у них были мандаты с бланками, печатями и с социалистическим девизом: но всякий понимал разницу между сомнительными бумажками этих сомнительных делегатов и подлинным мандатом, вроде того, который, например, сам Серизье получил от французского рабочего класса. Из вежливости, по воспоминаниям о прошлом, из-за фиктивных бумажек с печатями и с девизом, нельзя было лишить голоса этих людей. Однако, конференции не следовало забывать, что перед ней эмигранты, выброшенные собственным народом и потому насквозь проникнутые злобой к победителям. Конечно, коммунисты преувеличивали, называя их реакционной армией Конде. Некоторые из этих людей, он знал, провели долгие годы в тюрьмах, на каторге, в Сибири. Но, при своих личных достоинствах, при своих заслугах в прошлом,— они были эмигранты. Все это неудобно было сказать прямо. Это следовало дать понять конференции тем грустно-сочувственным тоном, в котором Серизье обращался к русским делегатам.

Другие вражеские столы принадлежали правым французам и правым немцам. Эти с первого дня должны были занять на конференции оборонительную позицию. За ними, в пору войны, скопилось столько грехов, что их всех, собственно, можно было бы исключить из партии,— если б их не было так много. Венгерские события должны были нанести им решительный удар.

Главными союзниками были англичане, почти все представители нейтральных стран и немецкие независимые. По случайности, Серизье как раз присел к левому немецкому столу. Нерасположение к немцам было у него в крови, но с независимыми и с австрийцами он поддерживал самые добрые отношения, благодушно ими любуясь. Люди эти в полном совершенстве владели марксистским методом. Никто в мире так не владел марксистским методом, кроме русских большевиков,— Серизье очень забавляло, что люди, пользуясь одним и тем же безошибочным методом, пришли к необходимости истреблять друг друга. Он никогда не спорил с этими людьми: достаточно было взглянуть на их лица, чтобы убедиться в полной безнадежности спора: решение, все равно, будет ими принято по методу, которым они так хорошо владели. Но иногда он натравливал их на своих противников, цитируя еретические суждения,— они прихо-

дили в ярость, и Серизье улыбался, чрезвычайно довольный. На этот раз резолюция, которую он предлагал, совершенно совпадала с предписаниями марксистского закона; поддержка левых немецких делегатов была обеспечена.

Пожалуй, не менее ценными союзниками были англичане. Эти, правда, марксистским методом не владели, сочинений Маркса отроду не видели и вообще в книги заглядывали мало. Но зато они представляли весь английский рабочий класс, а косвенно — всю мощь Британской империи, что было еще лучше марксистского метода. Англичан, в особенности, фанатика Макдональда, можно было взять идеализмом.

Второстепенный делегат произнес, наконец: «еще последние два слова, товарищи», сказал эти два слова и сошел с трибуны со скромным видом: «да, конечно, бывают и более важные речи, но все же и я говорил очень прилично». Ему похлопали. Председатель, не владевший французским языком, знаком пригласил на трибуну Серизье, старательно выговорив его фамилию. Несколько человек, гулявших в коридорах, поспешно, на цыпочках, вошли в зал и заняли места. Разговоры вполголоса прекратились. А на хорах старый журналист,— он представлял буржуазную газету и потому имел право только на место наверху,— угрюмо написал в тетрадке с отрывными листочками: «На трибуну поднимается Серизье. В зале движение».

Серизье не поднялся на трибуну, так как ступенек при ней не было; ораторская кафедра просто стояла на полу, почти у самой сцены. На лице его играла улыбка, все так же означавшая: «да, да, сейчас скажу чрезвычайно важную речь. Но, право...» Он взглянул на графин и привычным жестом оперся на стол обеими руками,— стол был чуть-чуть высок. Юноша с красной повязкой пронесся по залу и налил воды в стакан. Серизье поблагодарил его улыбкой. Вступительной фразы он так и не успел заготовить: рассчитывал уцепиться за что-либо в речи предшествовавшего оратора. Однако уцепиться было не за что; предшествовавший оратор был слишком незначителен и представлял неинтересное государство.

— Camarades, ce n'est pas sans une certaine hésitation que je prends aujourd'hui la parole [1],— начал Серизье, примеряя голос к залу: он никогда еще здесь не выступал. Первые его слова решительно ничего не означали. Но их всегда можно было сказать — так газетный человек пишет «считаем излишним напоминать о том, что...» — и напоминает.

[1] Товарищи, я взял сегодня слово не без некоторых колебаний *(франц.)*.

Серизье, собственно, еще и сам толком не знал, какие именно колебания у него были,— что-либо подходящее можно было придумать в процессе составления фразы (да и никто не мог, в самом деле, потребовать у него отчета, почему именно он решил выступить с речью). Первые фразы предназначались для звукового введения. В зале все заняли места. Установилась тишина. Серизье медленно и равномерно обводил слушателей взглядом; ни одна часть зала не могла пожаловаться на невнимание. Он начал с левых. Первая силовая линия была брошена к ним.

— ...Ah, combien vous avies raison, camarade Mac Donald,— говорил мягко и нежно Серизье (обращение, впрочем, пропадало даром, так как Макдональд не понимал ни слова),— combien vous aviez raison de dire que la Grand-Bretagne est aujourd'hui entrée plus loin dans la méthode révolutionnaire que tout autre pays! Votre beau discours d'un si puissant souffle socialiste, et le vôtre, mon cher Hilferding, d'un esprit révolutionnaire si élevé, laissez-moi vous dire,— он повысил голос (эти слова тоже всегда можно было сказать: они были очень удобны в звуковом отношении и для передышки),— laissez-moi vous dire, ces magnifiques discours m'ont profondément impressionné!..[1]

Начало его речи было посвящено ужасам войны и преступлениям вызвавшего ее капиталистического строя. Он говорил лишь о капиталистическом строе, но несколько ядовитых вводных фраз показывали, что, кроме капиталистического строя, виноват еще кое-кто другой. Строго укоризненный взгляд Серизье держался при этом на правых немцах. Правые немцы были немедленно изолированы, силовые линии были сразу брошены к бельгийцам, к правым французам,— те и другие требовали осуждения правых немцев,— к главному англичанину,— Рамсей Макдональд был против вмешательства Англии в войну,— к немецким независимым,— они так же строго-укоризненно кивали: все, что говорил Серизье, совершенно соответствовало марксистскому закону. У изолированных правых немцев был смущенный и виноватый вид. Сражение началось превосходно. Серизье осторожно подходил к главной вражеской позиции.

— ...Eh, mon Dieu, l'idéal socialiste, je ne dis pas qu'il sera

[1] ...Ах, как вы были бы правы, товарищ Макдональд, как вы были бы правы, говоря, что Великобритания в революционном методе сегодня пошла дальше, чем какая-либо другая страна! Ваша прекрасная речь, проникнутая столь мощным социалистическим духом, и ваша, мой дорогой Гильфердинг, исполненная высокого революционного пафоса, позвольте мне вам сказать... позвольте мне вам сказать, эти великолепные речи произвели на меня глубокое впечатление!.. *(франц.)*

réalise demain partout [1],— говорил мягко Серизье. Эти слова успокаивали правую часть собрания, но, собственно, против них, благодаря словам «demain» и «partout», ничего не могли возразить и левые: нельзя же немедленно осуществить социалистический строй, например, в Абиссинии или в Китае.— Et pourtant,— он на секунду остановился, качая головой, и немного повысил голос.— Et pourtant, comme beaucoup d'entre nous, je ne sais pas si nous avons fait tout notre devoir socialiste!.. [2]

Послышались первые рукоплескания из-за столов левых делегатов. Правые молчали еще недоверчиво, но не гневно: Серизье говорил в первом лице,— да и кто может сказать, что выполнил весь свой долг? На трибунах для публики настроение еще не определилось. Трибуны были битком набиты людьми. По их виду, по одежде, по лицам, Серизье смутно догадывался, что они настроены решительно и радикально. Люди на трибунах не голосовали, не имели здесь никаких прав, однако, их настроение было очень важно: они точно давили своей темной массой на зал.

— ...Je ne sais s'il peut s'agir aujourd'hui de créer l'état socialiste [3],— продолжал Серизье. Он на мгновение остановился в глубоком раздумьи, как бы решая про себя этот вопрос: сокрушенное выражение его лица показывало, что, быть может, еще нельзя создать социалистическое государство.— «Oui, oui!» — «Jawohl!..» [4] — послышались голоса.— Vous en êtes sûres, camarades allemands! Je suis le premier à saluer votre fière et courage certitude. Montrez-nous l'exemple et nous le suivrons, je vous le promets! [5] — воскликнул он при аплодисментах всего зала,— правые усмотрели иронию в его словах; однако ничто не говорило, что в них, действительно, была ирония.— Ce que je sais,— повторил он,— c'est que notre devoir est de soutenir aujourd'hui les Etats socialistes là où ils ont été créés!.. Il est de notre devoir,— все повышал он голос, заглушая легкий ропот,— de secourir partout et toujours les gouvernements socialistes quels qu'ils soient! [6]

---

[1] ...И, Бог мой, я не говорю, что социалистический идеал будет реализован завтра повсюду *(франц).*

[2] И однако, как многие из нас, я не знаю, все ли мы сделали, чтобы выполнить наш социалистический долг!.. *(франц.)*

[3] ...Я не знаю, может ли сегодня идти речь о создании социалистического государства *(франц.).*

[4] Да, да! Разумеется!.. *(франц., нем.).*

[5] Вы в этом уверены, товарищи немцы! Я первым приветствую вашу смелую и гордую уверенность. Покажите нам пример, и мы ему последуем, обещаю вам! *(франц.)*

[6] Я знаю... что наш долг поддерживать сегодня социалистические государства там, где они были созданы!.. поддерживать всегда и везде социалистические правительства, каковы бы они ни были! *(франц.)*

Он с силой бросил слова «qu'ils soient», и ударил кулаком по столу,— самая интонация показывала, что тут необходимо аплодировать. И, действительно, аплодисменты раздались не только за столами левых делегатов, но и на местах для публики,— председатель укоризненно взглянул наверх. В ту же секунду Серизье почувствовал, что выиграет бой. Жесты его стали увереннее и энергичней. Он уже ходил около стола, вполне владея собой, пристально вглядываясь в зал. Голос его окреп, фраза стала глаже и полнее. Теперь он довел себя до того нервного напряжения, при котором только и удавалось делать все одновременно: строго следовать плану боя, облекать мысль в правильную фразу, чеканно бросать слова, находить нужный жест, следить за аудиторией и за темной массой там, далеко, наверху. Раза два чеканные фразы уже вызвали тот *тон* рукоплесканий, который его заражал счастливым волнением. Правые немцы подавленно молчали, видимо, сокрушенные всем, что происходило в мире, от победы маршала Фоша до настроения этой конференции. Независимые одобрительно кивали,— Серизье говорил по закону. Ропот слышался только за русским и грузинским столами,— теперь он подбирался к ним искусным обходным движением.

— ...Cette Russie, ce gouvernement bolcheviste,— говорил Серизье, низко пригибаясь к столу.— Mais oui, mon cher Mac Donald, mais oui,— растягивал он слова, точно обращаясь к детям,— mais oui, n'oublions pas le tzarisme! Votre forte parole, je l'ai toujours présente à l'esprit. Ayons de l'indulgence pour ceux qui, après avoir héroïquement renversé l'abominable régime tzariste, ont reçu de lui un lourd héritage séculaire! [1]

Аплодирующая часть зала сразу очень расширилась. Аплодировали даже правые, смутно припоминая, что царский строй был свергнут не большевиками. Серизье отпил глоток воды и продолжал:

— ...Et cette République des Soviets,— говорил он необычайно мягко, склонив голову на бок.— Camarade, ai-je besoin de dire que je ne suis pas ni bolchevik, ni bolchevisant? [2] — Он даже слабо засмеялся: так невероятно было подобное предположение.— Il y a certainement des choses que nous autres, Occidentaux, ne saurions ni comprendre ni accepter [3]...

[1] .. Эта Россия, это большевистское правительство... да, мой дорогой Макдональд, да .. да, не забудем царизм! У меня навсегда осталась в памяти ваша сильная речь! Но отпустим грехи тем, кто героически сверг отвратительный царский режим, получив от него тяжкое вековое наследие! *(франц.)*

[2] ...Республика Советов... Товарищи, нужно ли говорить, что я не большевик и не сторонник большевиков? *(франц.)*

[3] Конечно, есть вещи, которые мы, люди Запада, не в состоянии ни понять, ни принять .. *(франц.)*

Улыбка стерлась с его лица, оно приняло грустное и нахмуренное выражение: под этим choses[1] Серизье разумел большевистский террор.— Je me réserve pour les débats ni ultérieurs, pour notre futur congrès, l'examen des procédés de la dictature révolutionnaire. Mais, sans copier ni approuver la méthode de ceux qui transforment la société capitaliste en société socialiste, ne condamnons pas de grands révolutionnaires!.. Car grands revolutionnaires ils sont, oui camarades[2],— с грустно-сочувственным выражением обратился он к русскому столу, откуда слышался ропот.— Et surtout ne les condamnons pas sans les avoir entendus! — N'oublions pas que nous avons décidé d'envoyer une commission d'études en Russie. En attendant cet effort de clarté entrepris dans un esprit fraternel à l'égard d'un grand peuple, saluons, saluons ses efforts splendides, saluons avec enthousiasme les victoires de la classe ouvrière russe![3]

Так он говорил минут двадцать, испытывая несравненное наслаждение от борьбы, развивавшейся очень успешно. Контакт со слушателями был полный,— они все сочувственнее откликались почти на каждую его фразу. Клервилль из своей ложи хмуро смотрел на Серизье. Личная неприязнь его к этому человеку теперь дополнялась общим раздражением против социалистов. Ему даже было досадно, что он оказался на этой конференции, хотя бы и на местах для посторонней публики. «Может быть, в самом деле, во мне говорит сословное или классовое чувство?.. Но какими же все-таки дураками, верно, считает своих слушателей этот беззастенчивый демагог! Чего, собственно, он хочет? Принятия его резолюции? Кому интересна его резолюция? Ее напечатает одна газета из десяти, а помнить ее через три дня будет один читатель из тысячи. Слава же,— с насмешкой думал Клервилль,— слава от резолюции, вдобавок, разделится между всеми левыми вождями... Так и при матче в футболе победа сама по себе ни для чего не нужна, и слава дробится между всей победоносной командой... Господи, что он говорит!..» Серизье осторожно доказывал, что соб-

---

[1] вещи *(франц.)*.

[2] Я оставляю за собой право при последующих обсуждениях, на будущем конгрессе, рассмотреть образ действий революционной диктатуры!.. Однако, не одобряя и не копируя методы тех, кто преобразует капиталистическое общество, не будем осуждать великих революционеров А они, да, они поистине великие революционеры *(франц.)*.

[3] И тем более не будем осуждать, не выслушав их! — Не забудем, что мы решили направить в Россию ознакомительную комиссию. В ожидании выяснения этого вопроса в духе братского отношения к великому народу, мы приветствуем его великолепные усилия, мы с восторгом приветствуем победы русского рабочего класса! *(франц)*

ственно, и победой своей союзники отчасти обязаны большевикам, разлагающему действию их пропаганды на войска германского императора. Эта фарадеевская линия, впрочем, не вполне удалась. «C'est stupide, ce que vous dites là!» [1] — закричал, не выдержав, правый французский социалист. За грузинским столом вскочил в бешенстве один из делегатов. Но в других частях зала, и особенно на местах для публики, рукоплесканья становились все дружнее. Серизье встретился глазами с грузинским делегатом,— он знал, что это очень сильный и талантливый противник,— и, опершись обеими руками на стол, продолжал, повысив сильно голос и отчеканивая каждое слово.

— Non, camarade, ce n'est pas au moment où les puissances alliées, contrèrement au vœu unanime du peuple russe, donnent tout leur appui à la pire contrerévolution... [2] — аплодисменты загремели в зале и наверху...— Ce n'est pas au moment où les soudards tsaristes tels qu'un Denikine ou un Koltchak, étranglent la volonté populaire, ce'n'est pas à ce moment-là que je condamnerai cette belle, cette magnifique révolution russe! [3]

Конец его фразы потонул в бурных рукоплесканиях. Теперь аплодировал почти весь зал: Серизье, собственно, говорил не столько о большевиках, сколько о русской революции вообще. Он, к тому же, как будто не отказывался осудить большевиков, он только не хотел их осуждать в то время, когда они подвергались насилию со стороны генералов. Против этого не возражали и русские социалисты,— на русский стол и так начинали поглядывать косо. Обходное движение удалось превосходно. Внезапно Серизье оторвался от стола, вынул из кармана газету и торжественно ее поднял. Он теперь походил на тореадора, который, после долгого блестящего боя, нацеливается для последнего удара быку. Рукоплескания затихли.

— Camarades, je viens d'apprendre une chose terrible, abominable [4],— сказал Серизье совершенно другим, дрогнувшим и разбитым голосом. У него даже несколько исказилось лицо.— Ce journal qui vient d'arriver, vous ne l'avez pas encore lu...— Он, видимо, с трудом справлялся с волнением. В зале настала тишина.— Vous connaissiez la pénible défaite de la

[1] «То, что вы здесь говорите,— глупо!» *(франц.)*

[2] Нет, товарищи, только не тогда, когда союзные державы вопреки единодушному стремлению русского народа оказывают всемерную поддержку отъявленной контрреволюции... *(франц.)*

[3] Не тогда, когда царские солдафоны Деникин или Колчак душат народную волю, только не тогда стал бы я осуждать эту прекрасную, эту великолепную русскую революцию! *(франц.)*

[4] Товарищи, я только узнал ужасную, отвратительную вещь *(франц.)*.

classe ouvrière hongroise... Tandis qu'il se trouve parmi nous des socialistes (с горькой иронией он подчеркнул это слово) que ne veulent accorder leur solidarité fraternelleaux républiques prolétariennes traquées par les gouvernements bourgeois, un abominable attentat vient d'être commis contre la liberté du peuple hongrois! (Hou! Hou!) [1] (раздались возмущенные крики). Camarades! Les troupes roumains entreent à Budapest sur l'ordre de Georges Clemenceau!.. [2]

В зале поднялась буря. Председатель стучал по столу, строго глядя на трибуны. Серизье поднял руку, призывая к молчанию.

— Voici la nouvelle que nous annonce un journal bourgeois. On exigera de l'Autriche (он на мгновение остановился. Зал напряженно ждал)...— Les bourreaux étrangères, obeissant au sinistre vieillard, exigent de l'Autriche... l'extradition du camarade Bela Kuhn! [3] — вдруг почти истерически вскрикнул Серизье.

Левые делегаты в зале повставали с мест. Их примеру последовала большая часть журналистов и публики. Крики негодования наверху превратились в настоящий рев. Серизье стоял на трибуне, опершись левой рукой на стол и держа в протянутой правой руке газету, как бы предлагая каждому удостовериться в точности его сообщения. Только в глазах его, направленных к русскому столу, едва заметно играла торжествующая усмешка победителя. Вдруг он бросил на стол газету и, подняв руки к потолку, закричал совершенно диким, бешеным голосом:

— Camarades, ce cerait le crime des crimes!.. Camarades, vous ne le permettrez pas!.. [4]

Бурные рукоплескания покрыли его слова. Наверху кто-то затянул «Интернационал». Все поднялись с мест. Серизье, с вдохновенным лицом, в застывшей позе стоял у стола. В зале гремел негодующий хор.

---

[1] Эта газета, которая только что вышла, вы ее еще не прочли... — Вы знали бы о тяжелом поражении венгерского рабочего класса... В то время, когда среди нас находятся социалисты.., которые не захотели выразить свою братскую солидарность с пролетарскими республиками, преданными буржуазными правительствами, совершенно чудовищное покушение на свободу венгерского народа! (У-у! У-у!) *(франц.)*

[2] Товарищи! По приказу Клемансо в Будапешт вступают румынские части!.. *(франц.)*

[3] Вот новость, которую нам сообщила буржуазная газета. От Австрии потребуют...— Иностранные палачи, послушные мрачному старцу, требуют от Австрии выдачи Белы Куна! *(франц.)*

[4] Товарищи, это было бы преступление из преступлений!. Товарищи, вы не допустите этого!.. *(франц.)*

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

«О человеке этом поистине могу сказать, что дан ему дух бодрствующий, сильный и беспокойный и что любит он все новое. Обычное же существо людей и действия их ему не нравятся: ищет он дел редких и неиспытанных, и в мыслях у него много больше того, что замечают другие.

Восхождение Сатурна свидетельствует, что мысли этого человека бесполезны и печальны. Он имеет склонность к алхимии, к магии, к колдовству и к общению с духами. Человеческих же заповедей и веры он не ценит и не уважает. Все раздражает его, все вызывает в нем подозрение из того, что творят Господь и люди. А покинутый одинокий месяц показывает, что эта его природа весьма вредит ему в общении с другими людьми и не вызывает в них добрых чувств к нему.

Однако лучшее при его рождении было то, что показался тогда и Юпитер. Посему есть надежда, что с годами отпадут его недостатки и что этот необыкновенный человек станет способен к делам высоким и важным» [1].

II

«Может быть, еще и неправда»,— подумала Муся с надеждой: она села в автомобиль так же легко, как всегда, и не чувствовала ничего такого, что описывалось в книгах. «Очень может быть, еще и неправда... Доктор ведь и сказал только: «по всей вероятности»... Но отчего же я так устала? Правда, очень жарко... Вот сейчас он повернет направо...» Шофер действительно выехал на большую дорогу. «Прекрасный автомобиль, и мы отлично сделали, что купили его. Вивиан был совершенно прав. К сожалению, он всегда прав...»

Автомобиль все ускорял ход. Между двумя виллами, в

---

[1] Это подлинный гороскоп юного Валленштейна, составленный Кеплером (*Navitas Wallensteinii*, Jannis Kepleri, astronomi, opera omnia, volumen primum, p. 388).— *Автор.*

просвете, за участком земли с огромной надписью: «Terrains à vendre» [1], показалось море с мелкими беловатыми волнами и снова исчезло. В саду, весело смеясь и крича, играли в крокет полуодетые барышни и молодые люди. Под пестрым зонтом, в своем саду, пила чай семья. «Вот и у меня будет со временем такая,— с ужасом подумала Муся.— Так лет через двадцать... Со всем тем, тогда это будет уютно... Еще propriété à vendre... [2] Здесь, кажется, все продается...»

Нехитрый гипсовый поваренок, в белой куртке и голубых штанах, у дверей ресторана протягивал руку с меню. Синим пятном мелькнула на огромной афише роковая женщина кинематографа. «Les Ondes», «Les Dunes», «Jeannette», «Réséda», «Camélia», «Louisette» [3]...— читала Муся названия вилл, все в нормандском стиле: косые и вертикальные коричневые полосы на светло-желтом фоне, крыши с непостижимым количеством острых углов. «Боже, как бедна человеческая фантазия!.. Отлично идет автомобиль... Какие это стихи он отбивает? Не помню, какие, но это *были* чудесные, грустные стихи... Опять поваренок. Этот, по крайней мере, негр. Да, очень может быть, что неправда: сейчас, например, я решительно ничего не чувствую... «Zanzibar»... Как глупо! Выпить cocktail?.. Нет, гадко... Да, кажется, дурно при одной мысли,— тревожно проверила себя Муся.— Это ничего не доказывает... Не надо было уезжать тотчас после завтрака, в самое жаркое время дня. Но иначе я, наверное, не застала бы этого несчастного дон Педро. Как хорошо тогда было!.. «Кто прежней Тани,— бедной Тани,— теперь в княгине б не узнал»... Этот автомобиль доставляет мне такое же удовольствие, какое папе доставлял в Петербурге наш первый экипаж. Бедный папа! О нем теперь, кроме мамы, забыли решительно все на земле. Как ни стыдно, и я забыла. То есть, не забыла, а я не испытываю больше горя. Но у меня теперь *это* вытеснило все другое».

Это она не хотела называть и в мыслях. Слово было некрасивое, грубое, редко употребляющееся в разговоре,— «беременность»,— оно и прежде резало слух Мусе. Забыв о своих люцернских мыслях, она приняла почти как несчастье сообщение доктора. Проплакав всю ночь, она утром потребовала от мужа, чтобы об *этом* никто пока ничего не знал. Клервилль недоумевал.

— Я никому не собирался рассказывать, но собственно отчего такой секрет? И отчего такое горе?

---

[1] «Участок продается» *(франц.)*.

[2] Усадьба продается *(франц.)*.

[3] «Волны», «Дюны», «Жаннетт», «Резеда», «Камелия», «Луизетт» *(франц.)*.

Муся взглянула на него почти с ненавистью. Ей вдобавок казалось, что и он принял известие без восторга.

— Конечно, рожать не вам, а мне.

— Без всякого сомнения, но я не думал, что это для вас будет неожиданностью,— сказал, рассердившись, Клервилль.— С другой стороны, на войне, например, был я, а не вы...

Он сам тотчас почувствовал, что замечание вышло глупое: одна из тех глупостей, которые могут сорваться у умного человека. Муся, не ответив ни слова, вышла из комнаты. «Все-таки странно ссориться по такому поводу. С англичанкой этого не могло бы никак быть»,— подумал Клервилль, и опять ему пришло в голову, что его женитьба была непоправимой ошибкой.

«Да, если это правда, то личная жизнь кончена. Может быть, навсегда, но уж наверное надолго... Все, все кончено»,— думала Муся, прислушиваясь к автомобилю, отбивавшему такт ее мыслей: «Кто прежней Тани — бедной Тани»... «Все» — это были и надежды на новую, совсем новую, встречу с Брауном, и то неловкое, нехорошее, но тоже новое, волнующее, что завязывалось между ней и Серизье, и еще больше, быть может, легкая свободная, беззаботная жизнь, которой она жила в Париже.

Жизнь эта почти не изменилась после смерти отца: Тамара Матвеевна, ссылаясь на волю Семена Исидоровича, требовала, чтобы Муся не соблюдала траура. Муся сомневалась, действительно ли выразил такую волю ее отец (он, по ее мнению, вообще никогда не думал о смерти, хоть часто говорил о ней),— и смутно чувствовала, что Тамаре Матвеевне было бы приятно, если б все же траур соблюдался.

Вначале предполагалось, что, по возвращении из Люцерна в Париж, Тамара Матвеевна поселится вместе с ними. «Не могу же я выбросить маму на улицу!» — сказала мужу Муся с легким раздражением, точно он ей возражал. Клервилль поспешно ответил: «разумеется». «Однако, в следующий раз он ответит сдержаннее, а потом и в самом деле станет возражать. Да, собственно это и вправду *демагогия* с моей стороны: никто ведь не предлагает выбросить маму на улицу, дело идет только о том, чтобы устроить ее на отдельной квартире, поблизости от нас... Жизнь Вивиана не может быть испорчена оттого, что умер папа, которого он, в сущности, и знал очень мало...» Тамару Матвеевну устроили в пансионе по соседству с их гостиницей. Муся заходила к ней ежедневно, Клервилль раза два в неделю. По

воскресеньям Тамара Матвеевна обедала у них. Вначале говорилось, что со временем они снимут квартиру и поселятся вместе. Потом об этом перестали говорить: «Все-таки я не вправе требовать такой жертвы от Вивиана»,— думала Муся. Она в душе признавала, что ее муж ведет себя чрезвычайно корректно. Муся этого ему не говорила: никогда не надо было признавать вслух, что муж прав,— так или иначе он мог это потом использовать.

Траур соблюдался в легкой форме. Можно было ходить в концерты, но в театр Муся не ездила. Она больше не танцевала, но весь день проводила на людях, то в гостях, то у себя, то в ресторанах Булонского леса. Не помешал траур и покупке автомобиля. Через неделю после их возвращения из Люцерна Клервилль, со смущенным видом, сказал жене, что, к сожалению, приходится упустить совершенно исключительный случай: один из его сослуживцев совсем недавно купил превосходный автомобиль Даймлера, а теперь получил назначение в колонии и продает за полцены машину, едва ли сделавшую две тысячи километров.— «Такой находки, конечно, больше никогда не будет, и если б не было неловко из-за нашего несчастья...» Автомобиль был куплен по настоянию Тамары Матвеевны. «Папа был бы так рад, Мусенька, он так тебя любил... И Вивиана»,— сказала она и заплакала.

Цена, уплаченная за автомобиль, была, несмотря на редкий случай, высока. Муся даже имела сомнения насчет случая. Она знала, что их состояние внезапно очень увеличилось. Значительная часть полученного ими наследства была вложена в какие-то экзотические акции, которые вдруг чрезвычайно поднялись на бирже. Клервилль, смеясь, рассказывал, что его тетка купила эти ценности вопреки предостережению своего банкира,— больше, кажется, потому, что ей нравилось их звучное название. Что такое с ними произошло, он и сам в точности не знал: не то найдена была какая-то руда, не то оказалась недоброкачественной руда конкурирующего предприятия. Банкир Клервилля не советовал торопиться с продажей бумаг,— цена все росла. Клервилль однако их продал и, как оказалось позднее, продал в самый выгодный момент: потом акции снова упали. Это внезапное увеличение состояния пришлось как раз после кончины Семена Исидоровича. Совпадение вызывало у Муси грусть и неловкость, как она ни рада была неожиданно свалившимся деньгам. Теперь было бы так легко скрасить жизнь ее отца. «Да, как все странно!» — думала она.

Клервилль ничего этого не думал и был очень весел. Заседания комиссии все учащались. Невольно поддавалась его

настроению и Муся. Они оба вдруг почувствовали, что нет ни причины, ни смысла оставаться в опустевшем душном Париже. Серизье уезжал в Довилль. Муся предложила также туда отправиться,— она словно нарочно испытывала терпение мужа. Однако Клервилль тотчас согласился. В Довилле начался большой сезон поло,— он страстно любил эту игру и теперь собирался приобрести лошадей. Отпуск на службе ему давно полагался.

Тамара Матвеевна только руками замахала, когда Муся нерешительно предложила ей отправиться с ними на море. Но их она очень убеждала остаться там подольше.— «Я, Мусенька, отлично могу жить в пансионе одна, что со мной может случиться? А мне так приятно, что ты отдохнешь... И Вивиан...» — сказала она со слезами (ее слезы теперь утомляли не только Клервилля, но и Мусю).

Одобрила Тамара Матвеевна и то, что в Довилль выписали Витю. Муся, тотчас по возвращении из Люцерна, решительно потребовала от мужа, чтобы он достал для Вити визу. В том состоянии доброты, душевной мягкости, заботы о других людях, в котором она недолго находилась после смерти отца, Мусе стало страшно, что Витя почему-то живет далеко от нее, один, в Германии, где происходили и снова могут начаться кровавые события (он еще раньше, по ее настоянию, переехал из Берлина на немецкий морской курорт). Визу оказалось возможным устроить в несколько дней. «Приезжай немедленно или во всяком случае, как только ты устроишь soi-disant[1] дела, что у тебя будто бы завелись, если, конечно, ты не врешь,— писала Муся, впадая в ласково-повелительный тон старшей сестры.— Мы оба ждем тебя с нетерпением (это «мы оба» доставило немало горя Вите). Готовься к поступлению в Сорбонну и к серьезной работе с осени. Давно пора». Ласково-повелительный тон еще в России был привычен Мусе в обращении с Витей, но с тех пор, как он получал от нее деньги, тон этот, независимо от ее воли, принял чуть иной оттенок.

Встретились они радостно-нежно, все же не так, как год тому назад, в Гельсингфорсе. «Я ли это изменилась, или он? — спрашивала себя Муся.— Конечно, он очень хороший мальчик, но все-таки довольно обыкновенный, и главное, именно мальчик. Во всяком случае с ним будет нелегко, даже и независимо от денег... Ах, эти проклятые деньги, как они все отравляют!»

Витя жил на ее средства. Клервилль ни разу об этом не сказал ни слова; но именно это тяготило Мусю,— почти

---

[1] Так называемые *(франц.)*.

так, как Витю мучило в Берлине, что ни слова о деньгах не говорили Кременецкие. Отправляя ему чек на переезд, Муся вдруг и себя поймала на мыслях о том, что можно было бы купить на эту сумму. Она тотчас, со стыдом, отогнала от себя эти мысли. Однако, деньги беспрестанно о себе напоминали. «Если мне так, то каково же ему, с его деликатностью?» — говорила себе Муся и старалась быть особенно милой с Витей. Но это было хуже всего: прежде *стараться* было не нужно,— оба они это чувствовали. Как-то за обедом, вскоре после приезда Вити, Муся заговорила о предстоящем начале университетского семестра в Париже.— «Я думаю, очень приятно учиться в Парижском университете»,— сказала она.— «В самом деле, это, должно быть, очень приятная жизнь»,— подтвердил Клервилль. Хотя слова его не имели решительно никакого скрытого смысла, Витя покраснел; смутилась и сама Муся. После обеда, оставшись с Мусей наедине, Витя решительно заявил, что об его поступлении в университет говорить не приходится.

— Я не могу жить несколько лет на счет твоего мужа! Достаточно того, что...— Голос его дрогнул.— Конечно, мне лучше всего поехать в армию...

— Перестань говорить глупости!

— Это не глупости, а самое разумное, что я могу сделать, и самое порядочное,— сказал Витя и опять покраснел, вспомнив, что точно такой же разговор у них был год тому назад в Гельсингфорсе. Он почувствовал, что и Муся подумала об этом.— Во всяком случае об университетских занятиях не может быть и речи. А вот если б ты могла найти для меня платную работу...

— Деньги это вздор, очень стыдно, что ты об этом говоришь! Однако если тебя, по твоей глупости, это тревожит, то я не возражаю. Может быть, такую работу можно сочетать с университетом? Кроме того, ты так молод, что университет не убежит,— сказала Муся.— Знаешь что? Надо бы нам воспользоваться тем, что дон Педро поблизости, и обратиться к нему? Я уже о нем думала («Значит, она сама думала, что мне пора поискать заработка»,— отметил мысленно Витя). Это прекрасная мысль. Вдруг ты станешь великим кинематографическим артистом? — продолжала она в шутливом тоне.— Или кинематографическим режиссером, а? Дон Педро, конечно, может тебя устроить. Вот только захочет ли он?

— Мне все равно, какая работа, лишь бы я мог жить без чужой помощи,— сказал Витя. В голосе его Мусе послышалось оскорбление.

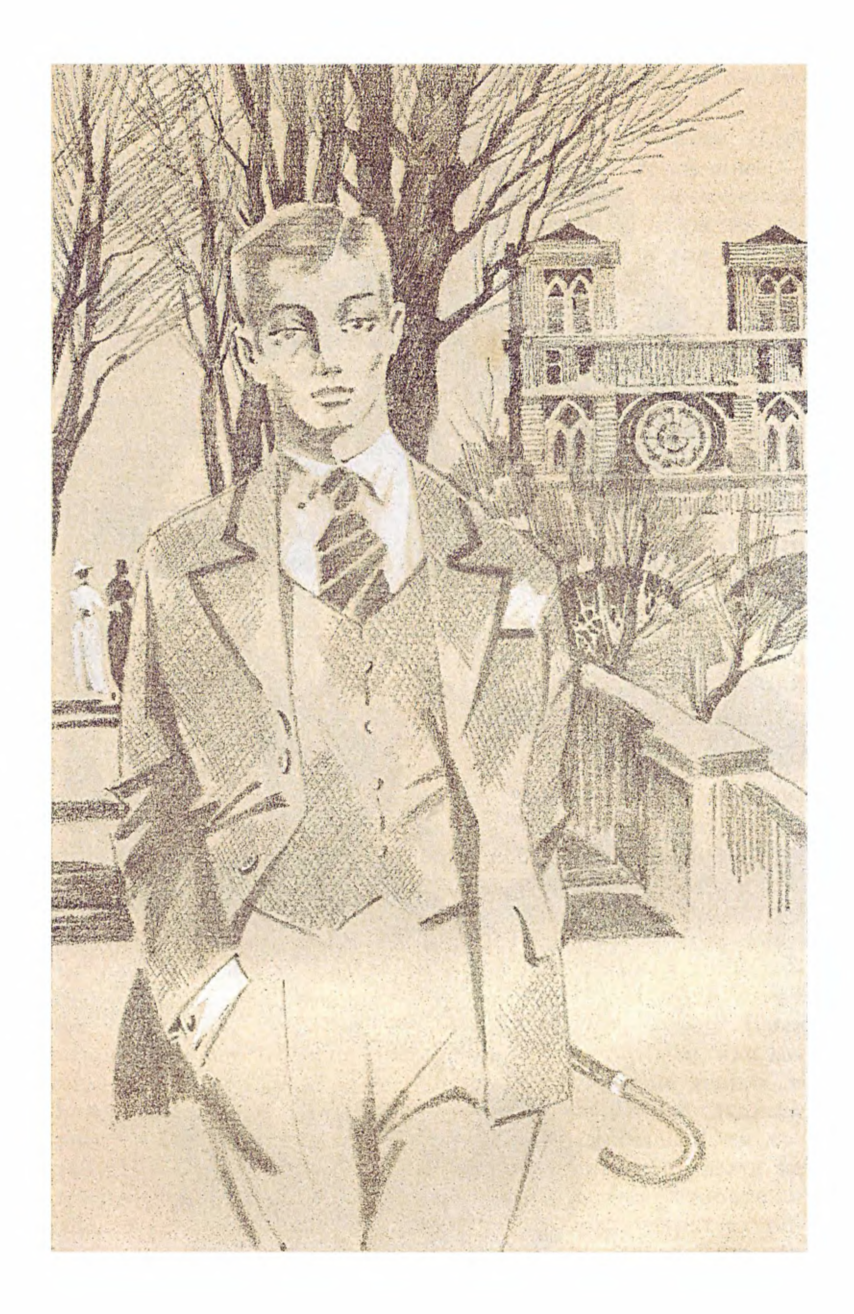
— Спасибо за это «чужой»... Ну, что ж, я попрошу дон

Педро назначить мне свидание. Говорят, он теперь великий человек. Может, надо говорить не «свидание», а «аудиенцию»?..

О свидании Муся попросила дон Педро не сразу. Сначала что-то помешало,— дело было все-таки не спешное,— а потом доктор ей объявил, что она, по всей вероятности, беременна. Только дня через два после этого известия, по настойчивой просьбе Вити, Муся отправилась к дон Педро, который жил на соседнем курорте.

Муся и сейчас еще не знала, какого места будет просить для Вити у Альфреда Исаевича. «Неужели статиста в кинематографе? Я понимаю, что это обидно для его самолюбия. Я и сама желала бы для него другого. Конечно, и среда это, должно быть, не Бог знает какая, особенно вредная в его годы. Сонечка тоже была статисткой или чем-то в этом роде. Но это было в Петербурге, в большевистское время... В России все было совершенно другое. Тогда все они у нас жили, ели, пили, и никому в голову не приходило, что это неестественно, неловко или стыдно. Удивительно, как на нас подействовал парижский воздух, воздух «буржуазной Европы»... Могла ли бы я прежде подумать, что во *мне* скажется самый обыкновенный эгоизм богатых людей, что деньги будут занимать такое место в моей жизни, в жизни папы, что они отразятся на моих отношениях с Витей! У него нет ни отца, ни матери и если б не я, то он погиб бы в самом буквальном смысле слова. Он и погибнет, если я умру от родов...» — Муся с первого дня решила, что у нее мрачные предчувствия, и тотчас им поверила. «Да, умру, меньше чем через год после кончины папы... О маме позаботится Вивиан... С ним вышла глупая ссора. Удивительно: у нас ссоры почти всегда по таким поводам, что ни понять, ни рассказать потом нельзя... Но о Вите некому будет позаботиться. Поэтому я должна его устроить. Надо, кстати, купить ему подарок, хороший, дорогой, такой, чтобы мог ему пригодиться и в случае нужды, когда меня не будет. Денег в подарок он не возьмет. Кольцо ему купить, что ли, или запонки, или булавку, как только появятся лишние деньги...» Несмотря на значительное увеличение состояния, *лишних* денег у них все-таки как будто никогда не было. Они попрежнему проживали весь свой доход. «Вивиан и знать не должен. Но во всяком случае, я обязана его устроить...» Мусе хотелось плакать оттого, что она скоро умрет от родов, оттого, что она больше не любит Витю, оттого, что так много странного в жизни, в особенности оттого, что надо бросить *все*. «Конечно, надо. Теперь это было бы просто гадко и глупо... Все гадко: и эти мои *похождения*, и *комис-*





сия Вивиана... Все надо изменить, как я и хотела тогда в Люцерне»,— думала Муся. «Теперь — в княгине б — не узнал...» — стучал, переговариваясь с ней, Даймлер.

III

Дон Педро, предупрежденный из Довилля по телефону, встретил Мусю в hall'е своей гостиницы, самой дорогой на курорте. Неприятной неожиданностью оказалось то, что с Альфредом Исаевичем был Нещеретов. Увидев его, Муся вспомнила: бывший богач теперь состоял компаньоном дон Педро, она слышала об этом еще в Париже.

Альфред Исаевич был чрезвычайно внимателен и любезен. Но это был другой человек.— «Право, кажется, он и ростом выше стал»,— с улыбкой подумала Муся. Одет дон Педро был превосходно, именно так, как полагается быть одетым на морском курорте не очень молодому богатому человеку: светлый костюм, шелковая рубашка с открытым воротником, галстук, пояс, белые башмаки, все так и сверкало новизной.

— ...Да, да, Марья Семеновна, поверьте, я был совершенно потрясен кончиной вашего батюшки,— говорил он, пододвигая Мусе кресло у небольшого стола, на котором стояли кофейный прибор и рюмки с ликером.— Ведь вы в Люцерне получили мое письмо?

— Да, очень вас благодарю... Мы никому тогда не отвечали, но...

— Что вы! Какие тут ответы!.. Ваша матушка здорова? Я понимаю, какой это был ужасный удар для Тамары Матвеевны.

Нещеретов пробурчал что-то сочувственное. Он после смерти Семена Исидоровича не прислал ни письма, ни телеграммы.

— Мама здорова, как может быть здорова теперь, но ее жизнь кончена.

Дон Педро глубоко вздохнул. Он искренно жалел Тамару Матвеевну.

— Я понимаю... Ваша матушка с вами в Довилле?

— Нет, она отказалась с нами поехать, как мы ее ни просили.

— Я понимаю... Вы позволите вам предложить чашку кофея? Здесь превосходный кофей, какого я, кажется, с Петрограда не пил.

Дон Педро теперь говорил не кофе, а кофей. Он обменялся с Мусей замечаниями о жаре в Париже, о погоде на море, о Довилле,— Альфред Исаевич уже знал и Довилль.

«Нет, я не очень люблю эти модные светские места,— тихо сияя, говорил он.— Каждый вечер напяливать смокинг, покорно благодарю...»— Нещеретов слушал его с усмешкой.

— Какие же теперь, Марья Семеновна, ваши планы? Ваш супруг будет служить в Англии?

— Он сам еще этого не знает. Мы из Довилля поедем в Лондон, там все это выяснится. Может быть, мой муж будет назначен военным агентом на континенте... У меня к вам просьба, Альфред Исаевич...

— Не просьба, а приказание,— любезно сказал дон Педро.— Я слушаю.

Муся перешла к делу. Альфред Исаевич тотчас ее прервал.

— Яценко? Сын петроградского следователя по важнейшим делам?

— Да. Вы его знали?

— Конечно, знал... Марья Семеновна, я знал весь Петроград.

— Николай Петрович Яценко,— добавил он со своей безошибочной памятью на имена и отчества.— Это был прекрасный человек. Я слышал, что он погиб?

— Да, по-видимому. Но сын этого не знает и все еще надеется, что его отец жив.

— Дай Бог, чтобы он был прав!.. Ужас-ужас!.. Прекраснейший был человек. Так сын его здесь? Помнится, я видел одного сына Николая Петровича, не тот ли это? Тот во время войны еще был гимназистом.

— Тот самый. У Николая Петровича был только один сын, вот он теперь и оказался здесь...

— И, конечно, никаких средств не имеет,— докончил за нее дон Педро.— Бедный юноша... Сколько теперь таких драм! Вы, верно, собираете для него деньги? Я охотно готов принять участие в подписке,— сказал Альфред Исаевич и вынул из бокового кармана новенький изящный бумажник. Это теперь для него уже стало довольно привычным делом. В последние месяцы к нему часто обращались за пожертвованиями дамы. Дон Педро и заранее уверен был после телефонного звонка Муси, что она хочет просить о пожертвовании.— Рад помочь, сколько могу...

— Нет, нет, Альфред Исаевич, вы ошибаетесь,— сказала Муся.— Видите ли, этот юноша очень близок нашей семье, он долго жил у нас, и папа очень его любил. Следовательно, пока у меня есть средства, он нуждаться никак в подписке не может,— пояснила она, с досадой чувствуя на себе насмешливый взгляд Нещеретова.

— Так чего же вы желаете, Марья Семеновна? — спро-

сил Альфред Исаевич. С полной готовностью вынимая бумажник из кармана, он клал его назад еще охотнее. Узнав, в чем дело, дон Педро только вздохнул. По доброте своей и по опьянению властью он и так уже принял на службу больше людей, чем требовалось делу.— На службу это, конечно, труднее... Однако я все сделаю... Не только потому, что вы этого желаете, хоть и этого, разумеется, было бы достаточно, но еще и потому, что сохранил о Николае Петровиче светлое воспоминание. Мы с ним были в самых добрых отношениях,— почти искренно сказал дон Педро: ему теперь действительно казалось, что он всегда был в самых добрых отношениях с разными видными людьми.— Что он умеет делать, ваш молодой человек?

— Что он умеет делать?.. Начать с того, что он прекрасно знает иностранные языки: французский, английский, немецкий.

— Это очень важно,— одобрительно сказал дон Педро.— В нашей бранше[1] языки первое дело... Может, и стенографию знает?

— Нет, стенографии он не знает... Но я уверена, он в деле быстро ей научится.

— Было бы веселее, если б малец уже ее знал,— сказал Нещеретов.— А то в деле учиться, делу накладно-с.

— Разумеется,— подтвердил дон Педро, смягчая улыбкой тон своего компаньона.— Со всем тем стенография не есть условие sine qua non[2]... Вот что мы сделаем, Марья Семеновна. Мы с Аркадием Николаевичем послезавтра возвращаемся в Париж...

— Так скоро?

— Да, увы! Дела вот сколько,— Альфред Исаевич показал на горло.— Вы адрес нашей дирекции знаете? Я его вам дам... Так вот, пусть этот молодой человек зайдет ко мне, как только он вернется в Париж. Я с ним поговорю, расспрошу его, как и что, и почти уверен, что работа для него найдется. Правда, Аркадий Николаевич? — обратился дон Педро к Нещеретову. Впрочем, по его вежливо-снисходительному тону ясно было, что он спрашивает только из корректности, чувствуя себя полным хозяином.

Чувствовал это и Нещеретов. Он занимал в деле должность члена правления, но был на вторых ролях, от которых очень давно отвык. Его и взяли больше за связи, да еще потому, что участие Нещеретова было лестно Альфреду Исаевичу, который помнил прошлую славу разоренного богача. Нещеретов старательно поддерживал свой обычный

---

[1] Отрасль (*франц.*— branche).
[2] Обязательное (*лат.*).

грубовато-насмешливый тон, по привычке продолжал зачем-то подделываться под купца или мещанина; но все это выходило не так, как прежде.

— Работа для работящего человека всегда найдется,— ответил он, угрюмо взглянув на Альфреда Исаевича. Нещеретова раздражало, что распорядителем фирмы, чуть только не его начальником, оказался Бог знает кто. Однако так повернулось денежное колесо, которым он сам работал всю жизнь. Работу этого колеса он привык принимать и признавать без споров. Одни, богатея, взлетали, другие разорялись и падали,— так всегда было. С раздражением и с тяжелым чувством он теперь признавал в этом мелком газетчике *хозяина*. Альфред Исаевич и смешил Нещеретова, и внушал ему некоторое подобие уважения: как-никак, именно он придумал дело, обещавшее блестящий успех; он и капитал нашел, и с обстановкой быстро освоился, и справлялся со своими обязанностями не худо. «Только они это могут»,— думал Нещеретов, разумея евреев.

— А что, Марья Семеновна, если б мы пустили вашего юношу не по конторской, а по артистической части? Как вы думаете?

— Я уверена, Альфред Исаевич, что вы выберете для него лучшую, самую подходящую работу,—сказала Муся.— И заранее сердечно вас благодарю.

— Жалованья у нас небольшие,— вставил Нещеретов.

— Большого жалованья я не могу обещать,— подтвердил Альфред Исаевич.

— Я всецело на вас полагаюсь, Альфред Исаевич. Говорят, вы создали колоссальное предприятие,— польстила ему Муся.

— О нет, пока еще отнюдь не колоссальное,— скромно ответил дон Педро.— Может быть, со временем оно разовьется, но сейчас еще и весь мир находится в недостаточно устойчивом состоянии для колоссальных предприятий.

— Ведь, кажется, в вашем деле принимает участие мистер Блэквуд? —спросила Муся. Тотчас, по недовольному выражению лица Альфреда Исаевича, она поняла, что сделала ошибку. Нещеретов засмеялся.

— Ничего подобного! Кто вам сказал?

— Не помню, кто... Может быть, я просто что-то спутала.

— Не понимаю, кто мог вам это сказать.— Дон Педро остановился на мгновенье, соображая. Муся была близко знакома с баронессой Стериан, бывала в том румынском салоне, куда он давно больше и не заглядывал. «Вероятно, это идет оттуда. Может быть, та госпожа подозревает, что

я деньги у Блэквуда достал, а комиссии ей не заплатил!..»— Альфред Исаевич возмутился: он всегда честно выполнял свои обязательства.— Мистер Блэквуд никакого, даже самого отдаленного, отношения к нашему предприятию не имеет! Я действительно предлагал ему в свое время заняться кинематографом, и то в совершенно другом варианте моих идей. Но он отклонил мое предложение,— извините меня, это не ваш друг? — отклонил мое предложение в довольно хамоватой форме...

— И теперь рвет на себе волосы,— заметил весело Нещеретов.

— Вероятно, не рвет, но мог бы рвать волосы,— сказал, успокаиваясь, дон Педро.— А если вы хотите знать, кто наши акционеры, то...

— Помилуйте, Альфред Исаевич, зачем мне это знать?

— Это не составляет секрета.— Нещеретов смотрел на дон Педро с неудовольствием: секрета тут действительно не было, но без всякой надобности сообщать имена пайщиков дела мог только свежеиспеченный финансист. Альфред Исаевич и сам это почувствовал. Не называя имен, он сказал, что в дело вложили капитал самые разные люди: среди них есть и аргентинцы, и один швед, почитатель Аркадия Николаевича, и даже какой-то индусский богач.

— Кроме того, я пустил в ход некоторые свои еврейские связи,— закончил дон Педро.

— Так что мы не какие-нибудь антисемитники,— сказал Нещеретов.— А что до вашего Блэквудианца, Марья Семеновна, то он теперь отсюда рукой подать, в Кабуре.

— Я не знала. Вы его видели?

— Не видал и о том не скорблю-с. Но прочел в газете, что он остановился в Гранд-отеле. Если он вам нужен...

— Нет, он мне не нужен,— сказала Муся, вставая.— Еще раз сердечно вас благодарю, Альфред Исаевич. Значит, мы так и сделаем. Как только этот молодой человек вернется в Париж, он зайдет к вам.

— Так точно... Для верности пусть сошлется на вас, и я его тотчас приму. А то вы знаете, у меня там теперь столпотворение, голова кругом идет... Вот вырвались сюда отдохнуть, на две недельки, с Аркадием Николаевичем, и то целый день телефонируем в Париж.

— Вы что же предполагаете ставить? — спросила Муся, холодно прощаясь с Нещеретовым.— Если, конечно, это не секрет.

— О, у нас интереснейшая вещь! — сказал дон Педро. Он взял Мусю обеими руками за руку. Дон Педро ставил

драму из древних времен. Муся слушала, думая, как бы освободить руку.

— ... Да, да, остро-авантюрная вещь, но поставленная в совершенно новых, истинно-художественных тонах,— говорил Альфред Исаевич.— Мы хотим дать высший синтез. Мой девиз: простые, всем доступные, общечеловеческие чувства на фоне художественной фантастики, с остро-напряженной фабулой. Я хочу, чтобы у зрителей все время комок стоял в горле и чтобы они в то же время были ослеплены красотой, богатством постановки...

— Это очень интересно...

— Это будет необыкновенно интересно. По моей мысли, действие происходит на востоке, в пору римского владычества. Вы понимаете, борьба двух начал: с одной стороны римляне времен упадка, скептики и эпикурейцы, утратившие веру в правоту своего мира, с другой стороны иудаизм, физически подавленный, но несущий античному миру новую мораль, новую высшую правду. Помните, как у Алексея Толстого: «слаб, но могуч...» Большая идея побеждает силу упадочников. И на этом фоне, на фоне восточной неги и роскоши, разыгрывается любовная драма, с напряженно-острым действием. Это моя идея. Нам было представлено шесть сценариев по моему заданию, я их синтезировал, и мы уже крутим вовсю. Через неделю начнется декупаж.

— Очень, очень интересно,— повторила Муся, пытаясь освободить руку. Она и сама не рада была своему вопросу.— Это, кажется, немного напоминает «Quo Vadis» [1]?

— Ах, нет! У нас гораздо лучше, и не то, совсем не то!..

— Я понимаю, что не то,— поправилась Муся, увидев огорчение, изобразившееся на лице Альфреда Исаевича,— только отдаленное сходство.

— Нет, даже отдаленного сходства нет, ни намека!

— Идея прекраснейшая,— вмешался Нещеретов.— Евреи во всем мире валом повалят, их печать не нахвалится. Продажа в Америку совершенно обеспечена. Эх, жаль, Альфред Исаевич, что вы больше не сионист. У сионистов теперь хорошие деньги, они и в Палестину купили бы фильмишко.

— Кто вам сказал, что я больше не сионист?

— Вот ведь и действие будет в Палестине... Люблю я слово «Палестина», единственное красивое из сионистских слов. А то все какие-то «экзекутивы».

— Ну, это очень условно, какие слова красивые, какие нет,— сказал дон Педро, с сожалением выпуская руку Муси.

---

[1] «Камо грядеши» (*лат.*) — роман Г. Сенкевича.

IV

Море было довольно далеко. Муся шла по топкому песку, старательно обходя лужи, и, прикрыв глаза рукой, разыскивала палатку. Они сняли ее сообща,— все внесли свою долю. Кабину решили не нанимать, узнав с ужасом, что она стоит в сезон пятьсот франков. «По-моему, без кабины можно обойтись, а впрочем, как вам угодно»,— посоветовал в первый же день жене Клервилль.— «Разумеется, можно обойтись»,— согласилась Муся, подавляя раздражение, которое теперь вызывало у нее почти все, что говорил ее муж. «Пятьсот франков на кабину жалко, а пятьсот фунтов для себя за этих лошадей на поло не жалко»,— и теперь подумала она с досадой, увидев выходившую из кабины даму в великолепном пеньюаре. Муся сама чувствовала несправедливость упрека: уж в скупости Клервилля упрекнуть было бы трудно. Но они действительно по-разному понимали, на что нужно и на что не нужно тратить деньги. Последнее увлеченье Клервилля — поло — было совершенно непонятно Мусе. Она нисколько не возражала. Игра была очень красивая и элегантная, фамилия Клервилля появлялась теперь в светской хронике газет,— это было приятно Мусе. Но все-таки это была игра для мальчиков,— так увлекаться ею мог, по ее мнению, только ограниченный человек. Клервилль проводил на полях поло, на ипподроме, в конюшнях ежедневно долгие часы. По тому, как он смотрел на лошадей, как о них говорил, как доказывал, что английская система игры — семь периодов по 8 минут — лучше американской — восемь периодов по 7 минут,— Муся все яснее чувствовала, что перед ней чужой человек, человек другой расы,— «высшей или низшей, уж этого я не знаю... Верно, он и сейчас на поло. А другие уже, должно быть, тут. Где же однако наша палатка? Она была левее клуба»,— ориентировалась Муся по стоявшим на берегу домам. Мимо нее, провожая ее взглядом, шли мужчины, одетые как уличные мальчишки. Ветер рвал пестрое полотно палаток. Впереди над Трувиллем зеленел лес. «Вот сейчас за той веревкой должна быть наша палатка. Кто это лежит? Да, Жюльетт...»

— Вы одна, мой друг?

— Как видите,— ответила сухо Жюльетт, приподнявшись ровно настолько, насколько требовал минимум вежливости. Она не спросила Мусю, как сошла поездка.

— Вы не знаете, где Вивиан?

— Не знаю. Кажется, на поло.

— А остальные?

— Сейчас должны прийти. Купаться...

— Все?

— Кто все? («Ей, конечно, нужно знать, где Серизье»,— мысленно перевела Жюльетт почти с ненавистью).— Мама не придет, у нее болят ноги, море плохо на нее действует.

— Зачем же она приехала в Довилль? — спросила Муся, чувствуя, что под влиянием враждебного тона Жюльетт раздражается сама.— Лучше было бы выбрать курорт не на море («Это значит: лучше было бы, чтобы нас здесь не было, чтобы мы *им* не мешали»).

Муся села в холщовое кресло, распахнув свой купальный халат, и положила на колени книгу, французский роман из русской жизни. «Нет, еще, разумеется, ничего не может быть заметно... Почему она на меня сердится? Ревнует к Серизье, конечно... Какой уж теперь Серизье! Сказать ей? Нет, не скажу... Жюльетт — самая трезвая девочка на свете. Вот кто твердо знает, чего хочет: теперь ученье, теннис, разные романы — без глупостей, конечно: потом «выйти замуж за любимого человека». И она всего этого добьется, зубами вырвет у жизни. Так и надо, за свое счастье надо бороться безжалостно... Но теперь с ней что-то творится странное... Не хочет разговаривать, ну и не нужно. Она поздоровалась со мной вот как сердитый мопс подает лапу: на, отвяжись... Так как же князь Иримов?..»

Мимо палатки, таща за собой ведерко, с озабоченным деловым видом, плелся, переваливаясь, трехлетний мальчик. «Сейчас иди сюда»,— кричала бонна в очках.— «Что ей от него нужно? Зачем она кричит? Хочу ли я иметь такого карапуза? Это должно быть забавно»... «Chocolat... Fruits glaçés...» [1] — пел проходивший разносчик. Муся откинулась на спинку кресла, взглянула на море, устало закрыла глаза, затем снова открыла. «Совсем оно не такое, как пишут теперь художники. У них море выдуманное...» У палатки справа, лежа на животах с необыкновенно деловым видом, загорали две дамы средних лет. Слева старый актер, которого знала в лицо Муся, рассказывал свою биографию,— по его тону ясно чувствовалось, что рассказ будет длинный. Море гипнотизировало Мусю, дурманило ветром, рябью, мерным шумом, запахом соли. «Это выдумали, что море красиво: оно слишком велико, чтоб быть красивым. Но такт его действует как музыка...» — «А когда я кончил, он бросился мне на шею и воскликнул: «Мой мальчик, ты будешь великим артистом! Это я тебе говорю! я!...» — с растроганной улыбкой рассказывал актер.— «Все-таки в ее годы немного смешно носить розовые платья,— говорила дама.— Ведь ей лет под сорок?» — «Что вы! Ей по меньшей

---

[1] «Шоколад... Глазированные фрукты...» *(франц.)*

мере сорок четыре!..» — «Правда? Вот я не подумала бы!» — «Я наверное знаю! Она училась в пансионе с моей старшей кузиной, и была двумя классами выше ее...» В море атлетически сложенный человек, подойдя к краю высокого похожего на эшафот сооружения, раскачивался, готовясь к прыжку в воду. «Как хорошо сложен!.. Показать его Жюльетт? Здесь как будто все устроено для того, чтобы доводить нас до белого каления. Только мы в этом друг другу не сознаемся... Браво, молодец!. Да, море дурманит...» «Chocolat! Fruits glaçés!» — орал разносчик. «Так мы тогда с папой в Сестрорецке, в день его рождения, ели глазированные фрукты с присохшим песком... Потом был званый ужин. Банкет не банкет, но с речами... Засиделись до того часа, когда ораторам начинает «вспоминаться одна старая легенда». Кажется, в тот вечер старая легенда вспомнилась Фомину. И, право, было весело... Березин затянул: «Как цветок душистый...» Мне показалось смешно и глупо: «Выпьем мы за Сему, Сему дорогого...» За глаза папу все называли Семой, это его сердило... А теперь та урна в Люцерне». За эшафотом вдали медленно шел пароход. Струя дыма как будто переходила в облако. Отгороженный облаком голубой свод замыкал над Мусей огромную коробку. «Ах, как хорошо! Только бы не уходить из этой коробки подольше. Да, «Simon Krémenetzky, Eternels regrets...» [1] Как можно после этого ссориться!..»

— Жюльетт, за что вы на меня сердитесь?

— Нисколько не сержусь.

— Нет, я вижу...

— Вы ошибаетесь.

— Жюльетт, я хочу сказать вам одну вещь, которой я ёще никому не говорила. Я, кажется, жду ребенка.

Жюльетт изменилась в лице.

— Я вас поздравляю,— не сразу выговорила она.

Обе не знали, что сказать друг другу.

— Вы... Вам сказал доктор?

— Да... Пожалуйста, никому не говорите.

— Я никому не скажу.— Жюльетт чувствовала, что ее так и заливает радость.

— Вивиан хочет девочку, я мальчика, верно, и здесь сказывается начало пола. Я говорю глупости? Все равно. Говорят, это открывает новую жизнь,— с грустной насмешкой сказала Муся.— Но я...

— Не говорят, а наверное.

— Но я этого не чувствую. Вы твердо знаете? Я сейчас чувствую себя какой-то машиной, и это гадко...

---

[1] Семен Кременецкий, вечная скорбь... *(франц.)*

— Какие глупости!

Жюльетт вдруг встала на колени и поцеловала Мусю.

— Я так рада!

— Я вижу и очень тронута.— Муся с удивлением в нее вглядывалась.— Со всем тем вы на меня дуетесь уже давно. За что?

— Вам так показалось.

— Не думаю.— Муся вдруг догадалась о причине радости Жюльетт и вспыхнула.— Вот, кажется, они идут... Так, пожалуйста, никому ни слова!

К ним подходила Елена Федоровна, Мишель и Витя, все в купальных костюмах и в плащах. Увидев Мусю, Витя подбежал к ней.

— Ты уже вернулась? Ну как? Что он сказал?

— Все отлично.

— Правда?

— Обещал место, хотя и с небольшим жалованьем,— сказала Муся, показывая глазами, что не хочет говорить подробнее при посторонних. Ей просто не хотелось об этом говорить.

— Но когда?

— Как только ты вернешься в Париж.

— Тогда я тотчас и поеду,— с легким вздохом сказал Витя.

— Совсем это не нужно.— Муся перешла на французский язык.— Во всяком случае, и сам дон Педро еще здесь пробудет некоторое время. Он был чрезвычайно любезен. Надо бы сделать ему какую-нибудь politesse[1]...

— Позовите его к обеду,— посоветовала Елена Федоровна.— Я его люблю, хоть он и бестия...

— Потому, что он бестия,— поправил Мишель.

— Нет, обедать с ним это скучно. Разве взять ложу в театр и его позвать... Но в театр я не могу пойти из-за траура.

— Позовите его на этот матч бокса,— сказал Мишель.— Это будет чрезвычайно интересно...— Он назвал фамилии боксеров.— Один негр, другой белый.

— Да, я читала. Это, быть может, мысль,— сказала Муся, подумав. Бокс подходил, пожалуй, к разряду зрелищ, которые можно было посещать и в трауре.

— В благодарность за мысль вы приглашаете и меня.

— Всех... Разве билеты стоят так дорого?

— Как для кого. Для меня очень дорого, а, например, для мистера Блэквуда не очень.

— Вы мне подаете еще одну мысль. Оказывается, мистер Блэквуд в Кабуре, мы позовем и его.

---

[1] Знак внимания (*франц.*).

— Это зачем?

— Все-таки мы у него в долгу за тот версальский завтрак.

— То он у вас в долгу, то вы у него. Он так богат, что по отношению к нему не может быть светской задолженности.

— Нет, может быть, и есть, но пониженная: на его обеды с шампанским надо отвечать чаем с лимоном. Если же не отвечать совсем, он потеряет уважение.

— Такова жизнь.

— Какие глубокие мысли мы высказываем! Кроме того с одним дон Педро я умру со скуки.

— Господа, пойдем в воду. Скоро пять часов.

Муся встала и сбросила на песок пеньюар, чувствуя на себе взгляды Мишеля и Вити. «Нет, разумеется, еще ничего не может быть видно...» Жюльетт аккуратно складывала пеньюар, сумочку, шляпу.

— Камень положить, а то еще улетит?

— Улететь не улетит, а как бы не стащили.

— В моей сумке три франка... Идем, господа! — сказала Муся. «Как все-таки эти мальчишки неприятно смотрят голодными глазами... А, впрочем, неправда: это не неприятно...» Она сбросила туфли и побежала вперед по влажному теплому песку. «Очень хорошо сделала, что сказала Жюльетт...»

— Господа, идем назад! Вода мокрая и безумно холодная,— по-русски кричала Елена Федоровна.

«Вот это и есть «блаженство»,— думал Витя, подплывая сзади к Мусе и глядя на нее влюбленными глазами. Стоял тот гул счастливых голосов, который бывает только при морском купанье. Волны ровно набегали и разбивались, гул рос и превращался в визг. Витя стал на дно, на мгновенье повернулся спиной к набегавшей волне, выдержал ее удар и, снова повернувшись, увидел в белой пене Мусю, которая радостно орала:«Спаси меня, Витька, я тону!»

— Ты спасена! Я спас тебе жизнь! Что я за это получаю?

— Вот что! — она вырвалась, плеснула Вите в лицо водой и поплыла. Новая волна вдруг наросла недалеко от них. «А-а!»— слышался со всех сторон счастливый писк. Витя поплыл за Мусей. «Да, вот теперь она та же, что была когда-то. «Кто прежней Тани — бедной Тани — Теперь в княгине б не узнал!..»— выплыли у него в памяти стихи.— «Как она мило тогда читала это».— «Муся, не уплывайте так далеко!» — кричала откуда-то слева Жюльетт, делавшая

по всем правилам гимнастические движения в воде.—«Лишь бы только она к нам не подплыла...» — Елены Федоровны и Мишеля не было видно.—«А? что?» — кричала Муся.— «Я говорю, не уплывайте так далеко. И вообще пора выходить!..» — «Да вы с ума сошли, Жюльетт, мы только что вошли!»—«Не только что, а десять минут тому назад. Дольше купаться вредно...» Муся подплыла к Вите и стала на дно, фыркая и откашливаясь. Мимо нее, ошалело визжа, проплыла собачка вдогонку за мячом, которым с криками перебрасывались молодые люди. Счастливый отец, раскачиваясь всем телом, нес на плече ребенка; оба видимо так же, как собачка, ошалели от радости жизни.

— Какой ужас!.. Я наглоталась соленой воды!

— Ничего, так тебе и надо... Ах, какое сегодня море!

— Смотри, волна!.. Ах!.. Нет, разбилась!..

— Кажется, никогда не было такого моря!.. Мусенька, расскажи подробнее, что же сказал дон Педро?

— Обещал твердо, что даст тебе работу... Он сам еще не знает, какую. Вероятно, по этой... по административной части (Мусе не хотелось сказать: по конторской части).

— Что такое административная часть?

— Ты думаешь, я знаю? Важно то, что ты будешь получать жалованье. То есть это для тебя важно: ты почему-то так к этому стремишься. Значит, кончены все глупости, ты остаешься в Париже, и больше никаких разговоров!

— Даже никаких разговоров? Рабство давно отменено.

— Это очень досадно. Мне страшно хотелось бы иметь рабов... Правда, дивное море? В Германии, верно, и море было хуже?

— Гораздо!

— Дай мне руку... Ты рад, что ты здесь?

— Мало сказать: я рад... Я счастлив, что я с тобой, что ты сегодня опять такая же, как была прежде.

— Когда прежде?

— В Петербурге... В Гельсингфорсе...

— Разве я была не такая же? Ты, кажется, ошалел от моря?

— Может быть... Только в море, Мусенька, испытываешь эту беспричинную радость жизни. Вот когда кажется, что живешь каждым вершком тела!..

— Нет, как ты красиво говоришь! Повтори! повтори! «Каждым вершком тела»?

— Какой-то философ назвал это «наличной монетой счастья»...

— Господи! Он и купается с философскими цитатами! Кроме того ты ни одного философа не читал.

— Но я слышал эту цитату от Брауна...

— Ах, это он говорил? В самом деле это хорошо: «наличная монета счастья»... Так то Браун!

— Отчего же мне нельзя цитировать философов?

— Вот отчего! — Муся опять плеснула на него водой.

— Ах, ты так!..

— Гадкий мальчишка, как ты смеешь?! Люди смотрят.

— Мне все равно.

— Жюльетт, уймите его! Он с ума сошел... Где ваш брат, Жюльетт?

— Разве я сторож моего брата?

— Он не может оставить баронессу,— по-русски сказал Витя.

— Прошу тебя не злословить.

— Я ничего дурного не сказал. У тебя испорченное воображение.

— Погоди, вот я сейчас надеру тебе уши!.. Ах, ах, какая волна!

Все потонуло в радостном визге.

V

Клервилль не любил баккара и находил не совсем приличным, что Муся одна ходит в казино. «Ты совершенно прав, мой друг,— отвечала ему иронически Муся,— я и не сомневаюсь, что ты бросишь лошадей и будешь ежедневно сопровождать в клуб свою дорогую жену (она уже не замечала, что ей в другом тоне почти невозможно говорить с мужем). Со всем тем, мне, слава Богу, не шестнадцать лет, и я имею основания надеяться, что и одну меня никто в казино не обидит...» Друзьям Муся без большой уверенности объясняла, что играет из любопытства. «Все-таки надо испытать и это ощущение, да и очень уж интересно: кого только там не видишь, и нигде характеры так не сказываются, как в игорном доме». Про себя она думала, что у нее наследственная страсть к игре, обострившаяся из-за неудачной личной жизни. «Ведь не для денег же я играю! Хотя, что греха таить, проигрывать всегда неприятно».

В этот день ощущения в клубе были особенно острые. Муся сначала проиграла тысячи две и была сама себе жалка сознанием собственной греховности, желанием казаться равнодушной, мыслью о том, что на эти деньги можно было бы купить подарок Вите, бинокль, веер. Потом ей удалось переменить место за столом и освободиться от соседства со старичком бароном, который явно приносил ей несчастье. Новое место оказалось превосходным: Муся не только все отыграла, но была в большом выигрыше. Груда жетонов

перед ней росла. Мудрость предписывала использовать до конца полосу счастья, но стрелка на часах все продвигалась, шел шестой час. Она обещала мужу приехать на поло, для нее был взят билет. «Собственно, это очень глупо думать о билете, стоящем десять франков, когда здесь игра идет на тысячи. Однако «вы обещали, я для вас взял билет и, право, моя милая, я нахожу это странным»,— с досадой думала Муся, хоть Клервилль скорее всего ничего такого и не сказал бы. Она собрала жетоны, получила в кассе несколько пачек заколотых булавками ассигнаций и, не считая, сунула их в сумку. Не игравшие мужчины не сводили с нее глаз (игроки не интересовались ею совершенно).

Муся прошла к выходу с деланным смущением: она уже привыкла бывать одна в казино; ее почти забавляло, что многие, верно, принимали ее за кокотку высокого ранга. В холле она остановилась у столика и сочла выигранные деньги,— оказалось 6.600 франков. «Господи! Такого случая еще не было! Прямо совестно!..» Какой-то господин, читавший в углу газету, издали на нее поглядывал. Муся поспешно спрятала деньги. Впрочем, вид у господина был отнюдь не разбойничий, а благодушно-насмешливый, почти нежный. «Нет, мне нисколько не совестно. У того жокея выиграть— сделать доброе дело. Он вчера за этим же столом обобрал всех тысяч на полтораста. Да и другие такие же, и жокеи, и бароны. Выиграла и очень рада, что выиграла. Но что же сделать на эти деньги? Да, прежде всего подарок Вите, ведь он в пятницу уезжает. Как жаль, что воскресенье: сейчас бы и купила ему какое-нибудь кольцо. Тысячи на полторы, на две? Теперь уж прямо грех был бы, после такого выигрыша, не купить дорогого подарка. Завтра же куплю, сейчас надо ехать на поло... Казино, поло, вечером матч бокса, а ведь я в самом деле живу как кокотка. Сознаться ли им, что выиграла больше шести тысяч? Вивиан скажет: «Правда? Это забавно, поздравляю», и заговорит о своих лошадях. Жюльетт посмотрит на меня уничтожающим взглядом. Елена Федоровна и Мишель лопнут от зависти. Наизусть их всех знаю...» Муся вышла на улицу и с удивлением увидела, что магазины открыты. «Да ведь сегодня вторник! Это мне все время в Довилле кажется, будто воскресенье. Тогда сейчас же зайти к ювелиру...»

Она пошла по улице, останавливаясь у витрин знаменитых парижских магазинов. В том, что здесь эти магазины находились почти рядом, было для нее особое очарование Довилля. Мусе хотелось купить все выставленное в витринах; она знала толк и в платьях, и в мехах, и в драгоценностях.

— Дайте мне что-нибудь подходящее для подарка молодому человеку,— сказала приказчику Муся,— не знаю, что именно, полагаюсь на вас. Так тысячи на полторы.

Приказчик, густо напомаженный человек, с бриллиантовой булавкой в галстуке и с бриллиантовым кольцом, поднял крышку стола и стал выкладывать на стекло изящные кожаные коробочки. Пользуясь случаем, Муся осмотрела чуть ли не все, что было в магазине. «Мадам спрашивает о том ожерелье из розового жемчуга, которое у нас было выставлено на прошлой неделе? — говорил приказчик.— Оно позавчера продано. Да, разумеется, за три миллиона, как было написано в витрине, у нас цены без запроса. Через несколько лет такое ожерелье будет стоить вдвое больше. Жемчуг ведь,— мадам, конечно, знает,— теперь считается лучшим помещением капитала. Но та дама купила ожерелье для свего удовольствия. Это жена аргентинского миллионера, который на войне нажил огромное состояние: он поставлял кофе, говорят, и нам, и немцам. Мадам верно видела его даму в «Норманди»...» — Тон приказчика раздражил Мусю. «Верно, недоедал годами, чтобы купить эту булавку, а на выборах в величайшем секрете голосует за социалистов. В такую жаркую погоду у него, должно быть, помада течет за воротник»,— брезгливо морщась, подумала она. Муся хотела было купить для Вити кольцо, но отказалась: кольцо сверкало и на пальце у приказчика. Она выбрала запонки для фрака, заплатила 2 900 франков и вышла, сожалея о том, что необдуманно истратила гораздо больше, чем собиралась, и сама удивляясь нелепости своей покупки. У Вити и фрака никакого не было. «Но ведь я именно для того и делаю этот подарок, чтобы он мог продать или заложить на случай какой-нибудь frasque de jeunesse[1]. Деньги дарить неприятно. Воображаю, впрочем, frasques de jeunesse Вити!.. Ну, да запонки он может носить и не к фраку. Вот и сегодня нацепит их на этот матч бокса, пусть утрет нос Мишелю: у них, верно, это так же, как у нас...» Она подозвала автомобиль и велела ехать на поло. И тотчас опять стала ее мучить все та же мысль. «Нет сейчас нельзя об этом думать! — предписала себе она.— Завтра доктор должен дать окончательный ответ. Если «да», уедем в Лондон на всю зиму. Я им в таком виде не покажусь. Я знаю, что многим мужчинам гадко на это смотреть, как на гусеницу, я их отлично понимаю... Но сейчас еще ничего не видно. Серизье, впрочем, завтра все равно уезжает...»

Автомобиль остановился у ворот. Еще издали Муся услышала радостный гул. По низко выстриженному полю

---

[1] Проказы молодости *(франц.)*.

неслись люди на конях. В первом всаднике Муся узнала своего мужа. Наклонившись к голове лошади, бешено вертя колесом длинный молоток в правой руке, он мчался за мячом далеко впереди всех. «Прямо сумасшедшие! Как они лошадей не калечат!» — с ужасом подумала Муся. Молоток взвился над головой Клервилля и упал со страшной силой. Мяч понесся вдаль. Загремели рукоплесканья. «Кажется, всех победил. Экая радость», — иронически подумала Муся. Однако и она испытывала чувство гордости. Бешеный бег лошадей стал замедляться. Рукоплесканья гремели все громче.

За столом Георгеску были только дамы. Муся тотчас увидела, что произошло что-то неприятное. У Леони лицо было в красных пятнах, это с ней, особенно на людях, бывало очень редко. На лице у Жюльетт было упрямое выражение, которое хорошо знала Муся. «Даже глаза у нее пожелтели от злости. Что это творится с девчонкой в последнее время? Ее просто узнать нельзя!..» Только Елена Федоровна весело улыбалась.

— Вы попали как раз к триумфу вашего мужа.

— Я не знала, что был триумф.

— Говорят, он играет лучше всех... Садитесь сюда, под зонтик, а то очень печет солнце... Разве вы не слышали, какую овацию устроила ему публика?

— Я чрезвычайно тронута... Это у вас лимонад? Жюльетт, можно выпить из вашего стакана?

— Сделайте одолжение.

— Я умираю от жажды. — Вид Муси говорил ясно: «Ну, рассказывайте, в чем дело. Я первая спрашивать не буду».

— Рассудите нас вы, Муся, — обратилась к ней взволнованная Леони. — Час тому назад моя милая дочь неожиданно объявляет мне, что в пятницу едет в Париж!..

— Мама, право, это совершенно неинтересно *госпоже Клервилль.*

— Нет, оставь меня, наконец, в покое! Жюльетт объявляет мне, что в пятницу уезжает в Париж!..

— Но ведь я сто раз объясняла вам, мама, что я еду на несколько дней.

— Тем более дико! Подумайте, в такую жару ехать в Париж, когда там нестерпимая духота, когда наша квартира ремонтируется, так что и остановиться негде!

— Но ведь Мишель тоже едет и остановится у нас на квартире.

— Мишель другое дело! Мишель — молодой человек, он дома будет только ночью.

— Зачем вы хотите ехать? — осторожно-дипломатично спросила Муся. Она не понимала, в чем дело. «Неужели потому, что Серизье уезжает завтра? Но тогда она совершенно сошла с ума. И для приличия хоть неделю надо было бы выждать».

— Мне необходимы кое-какие книги для моей работы.

— Ты говоришь вздор! Здешний книжный магазин выпишет тебе в три дня любую книгу.

— Мама, я вас прошу не волноваться, для этого причин нет никаких. Поймите, что книг, которые мне нужны, в продаже нет. Я сделаю в библиотеке выписки и вернусь через несколько дней. Я, право, не понимаю, почему об этом нужно спорить, да еще так. Кажется, и мосье Виктор едет в пятницу?

— Да, ему тоже приспичило. Я его не пускаю, но он решительно стоит на том, что дон Педро будет нанимать служащих тотчас по возвращении в Париж, значит, ему нужно торопиться. По-моему, дело не убежало бы и через две недели. Но, может быть, Витя и прав, поэтому я согласилась отпустить его с Мишелем,— сказала Муся, подавляя зевок. Спор матери с дочерью совершенно ее не интересовал. «Поезжай, моя милая, или оставайся здесь, мне все равно...» Муся вдруг, со странным чувством свободы, почувствовала, что никого не любит. «Да, ни Вивиана, ни Витю, а об этих и говорить не стоит. И Серизье вздор... Браун? Браун не вздор. Я люблю в нем то, что он шалый человек. Другим он, верно, кажется образцом спокойствия, уравновешенности. Но я-то знаю, одна я чувствую, что душа у него бешеная. Если б он играл в баккара, то прикупал бы к шестерке! Он и в жизни прикупает к шестерке, а я только таких могу любить. Серизье, тот в жизни и к четверке не прикупает... Серизье это у меня так... А Браун это колдовство: он зачаровал меня, зачаровал раз навсегда в тот день, когда Шаляпин пел «Заклинание цветов». Но с таким же успехом я могла бы влюбиться в президента Вильсона или в архиепископа Кентерберийского... Никого не люблю. Это страшно... Нет, не страшно. Так жить спокойнее, хоть скучно...»

— ...Молодые люди совсем другое дело. Но ты!.. Ведь мы все пробудем здесь еще недели две, не больше. И ты приехала сюда не учиться, а отдыхать. Как же можно тратить на эту бессмысленную поездку несколько дней! Не говорю уже о расходах.

— В Париже жизнь мне будет стоить дешевле, чем здесь, а поеду я в третьем классе.

— В такую жару в третьем классе! Нет, ты просто сошла с ума!

— Мосье Серизье говорит, что поедет завтра в первом поезде, это самый удобный,— ядовито вставила Елена Федоровна. Госпожа Георгеску изменилась в лице. Жюльетт, бледнея, поспешно обратилась к Мусе:

— Надеюсь, мосье Виктор ничего не будет иметь против моего общества?

— Он-то будет в восторге, если вы в самом деле поедете. Кстати, где же наши молодые люди?

— Они пошли к лошадям. Верно, им там интереснее, чем с нами.

Прозвенел колокол, начиналась новая партия. На доске появились фамилии игроков; среди них были титулованные французы и англичане, какие-то экзотические принцы, сыновья известных еврейских банкиров. «Демократическое сближение народов»,— смеясь, сказала Жюльетт.— «Да, и игра самая демократическая: нарочно все устроено так, чтобы сделать ее доступной только для архимиллионеров»,— ответила Елена Федоровна. «За демократией приезжать в Довилль было не совсем разумно»,— подумала Муся, и польщенная, и раздраженная тем, что ее мужа причислили к архимиллионерам. На поле медленно выезжали игроки, на небольших гнедых конях с перевязанными хвостами, с бинтами на ногах. За оградой возвращавшийся с работы нормандский крестьянин остановил свою огромную лошадь, встал на тележке и, вытирая лоб цветным платком, с любопытством смотрел через забор на то, что происходило на поле. Мелкой рысью выехал судья. Опять прозвенел колокол. Лошади перешли на галоп. Высоко взлетел мяч. «Hallo boys!»,— закричал один из игроков.— «В сущности ничего интересного,— сказала баронесса, оглядывая туалеты вновь входивших дам.— У этой слева то, помните, от Калло, я сейчас узнала,— обратилась она к Мусе, называя фамилию дамы.— Я сегодня читала о ней в газетах: она заказала белье и мебель в спальной под цвет своих глаз. Если б еще хоть глаза-то были красивые, а то ведь морда...» — Нормандский крестьянин опустился на тележке и медленно тронулся дальше.

— ...Какая сигнализация? Этого я не понимаю.

— Очень просто, какая. Многим посетителям этого заведения, наверное, неудобно было бы встретиться там со знакомыми. Поэтому они ждут в особой комнате, пока не будет дан сигнал: вестибюль и лестница свободны, можете идти спокойно.

— А там?..

— Где там?

— На лестнице... То есть там, куда приводит лестница?

— Там вы попадете в зеркальную гостиную. В ней вас встречают женщины в упрощенном туалете...

— Полуодетые?..

— Разумеется, в костюме Евы. Я впрочем думаю, что это глупо. По-моему, главное удовольствие именно в том, чтобы раздевать женщину. Это надо делать медленно.

— Медленно?

— Да. В зеркальной комнате вы выбираете ту, что вам нравится, и удаляетесь с ней.

— И удаляетесь с ней... Но вы там бывали?

— Говорю вам: десять раз,— солгал Мишель.

— И вы поведете меня?

— Вопрос денег. Это самый дорогой дом Парижа. Считайте сами. В зеркальной комнате меньше, чем тремя бутылками, вы от этой оравы не отвяжетесь. А цены на шампанское там зверские. Затем и ей ведь надо заплатить. Вы при деньгах?

— Нет, не очень.

— И я сейчас совсем не богат. Если хотите, пойдем в дом победнее. Неужели вы никогда не бывали?

— Когда-то в Петербурге бывал, но... Впрочем, не буду врать: никогда не бывал. Любовницы у меня, разумеется, были.

— И отлично сделали, что не ходили. Если б вы знали, как мне надоели женщины! Так и лезут, так и лезут... Поверьте, мосье Виктор, единственная интересная вещь на земле — политика...

— Муся, вот идет ваш супруг. Господи, как он великолепен!

Елена Федоровна говорила искренно. Она недолюбливала Клервилля и угадывала в нем презрительное нерасположение к себе. Но вид его был сильнее личной антипатии. Клервилль и в самом деле был великолепен. В белой куртке, в желтых сапогах, он казался еще выше ростом. Несмотря на час бешеной скачки, на его загорелом, только что умытом ледяной водой лице не было видно и следов утомления. По-видимому, игра отнюдь не истощила запаса его энергии. Он шел вдоль изгороди быстрым шагом, то похлестывая себя по ботфорту тяжелым хлыстом, то сносяударами хлыста попадавшиеся на дороге камешки. Подойдя к столику, он снял белый шлем и весело поклонился. Из-за соседних столиков все на него смотрели.

— Поздравляем! Поздравляем!

— Это было удивительное зрелище.

— Я немного опоздала, но видела конец игры. Вы всех победили! — насмешливо-ласково сказала Муся, невольно им любуясь.

— Заслуга не моя. Этой лошади цены нет.

— Садитесь к нам. Хотите лимонаду?

— Благодарю вас. Но где же ваши молодые кавалеры? Неужели они оставили вас одних?

— Где-то шляются. Дамы мало их интересуют.

— О! Странная молодежь,— сказал Клервилль с искренним недоумением.— Ах, да,— обратился он к Мусе, у меня есть для вас письмо. Я как раз перед поло встретил одного своего товарища, ему в Стокгольме передал знакомый, недавно приехавший из России.

— Из России? Где же оно?

— Оно было без адреса, и тот господин не догадался, что можно переслать в наше посольство или в военное министерство, почему-то ждал оказии. Недогадливый человек,— сказал Клервилль, протягивая Мусе довольно толстый конверт.— А вот и наш молодой друг.

— Поздравляю вас с победой,— сказал Витя, протягивая руку Клервиллю.— Вы отлично играете...

— Витя, письмо из Петербурга!

— Мне? О папе?

— Нет, мне... С оказией. Еще не знаю, от кого...

Из конверта выпала пачка скомканных грязноватых серо-желтых листков с каким-то печатным текстом. «В демократической Швейцарии все готово к казням рабочих, если они посмеют нарушить капиталистический строй...» — В чем дело? — спросила с недоумением Муся. «В Америке каторга, электрический стул и суд Линча являются самыми излюбленными символами демократии и свободы».— В чем дело? Что за ерунда?

— Мусенька, да ты не то читаешь? Письмо на другой стороне!

— Как? Ах, вот что!.. Господи, да это почерк Григория Ивановича!

— Не может быть!

— Ну, разумеется! Разве ты не узнаешь? Письмо Никонова... Господи!

Муся и Витя ахали. Клервилль смотрел на них равнодушно-вопросительно.

— Это ваш друг? — начал он,— должно быть, очень интересно...

Жюльетт переглянулась с матерью и встала.

— Ну, вот вы прочтите письмо,— сказала она Мусе, —а мы пойдем домой. Вы заплатите, Муся, мы потом сочтемся.

— Я сейчас заплачу в буфете,— поспешно сказал Клервилль. Ему не хотелось слушать чтение длинного письма.— И если письмо приятное, то мы за обедом выпьем шампанского. Заодно и по случаю моей великой победы,— шутливо добавил он.

— А меня не зовете? — кокетливо спросила баронесса. Клервилль сделал вид, будто не расслышал.

— Так я буду ждать в гостинице,— сказал он жене.

VI

«Милая, дорогая Мусенька, ангел мой»,— прочла Муся, и голос ее дрогнул.— «Я не знала, что вы так интимны»,— вставила Елена Федоровна.— «Не сердитесь на меня за это обращение, не изумляйтесь бумаге, на которой я пишу. Все будет объяснено в свое время, если у вас хватит терпения дочитать письмо до конца. Надеюсь отправить его с вернейшей и необыкновенной оказией: одному моему знакомому сказала одна его знакомая, что у нее есть один знакомый, который... Короче говоря, 8 марта выезжает будто бы за границу какой-то иностранный империалист, и он соглашается...»

— Восьмого марта! — вскрикнул Витя.— Когда же это написано?

— Помечено четвертого марта! — ответила Муся, заглянув в заголовок.

— Дикие времена!

— «И он соглашается, без ручательства, конечно, доставить это письмо. Дойдет ли оно до вас? Где вы, эфирное заграничное существо? Я нахожусь, как видите, в Москве. Впрочем, Вы этого не видите, и прежде всего надо объяснить Вам, откуда я пишу. Я пишу Вам... Ну, догадайтесь! Нет, ни в жисть не догадаетесь. Я пишу Вам из Кремля, из настоящего, всамделишного московского Кремля! А почему из Кремля, тому следуют пункты.

Но страшная мысль! По примерному подсчету, я изведу на сие письмо по меньшей мере десть бумаги!! Хватит ли у Вас, эфирное существо, захваченное вихрем светской жизни, желания и терпения дочитать до конца? Об одном умоляю Вас: когда наскучит, ради Бога, бросьте. Или, лучше, дайте прочесть любезнейшей Тамаре Матвеевне: она дама терпеливая, добросовестно все прочтет и расскажет главное своими словами Вам и почтеннейшему Семену Исидоровичу...»

Муся остановилась.

— Ну да, они там ничего не знают,— смущенно сказал Витя.

«Но прежде о Вас, эфирное существо, завтракающее и обедающее каждый день (неужели и белый хлеб иногда еди-

те? вкусен ли он?) Догадываюсь, что Вы утопаете в славе, неге и величии. Не стал ли Ваш дорогой супруг главой «Интеллидженс Сервис»? Мы здесь в неге не утопаем, но это ничего не значит: жизнь на земле дивно-прекрасна, у меня ведь есть вобла и кирпичный чай, и порошок против вшей (не помогает), и комплект «Вестника Европы». Надо же помнить, что гусь свинье не товарищ: русский гусь должен быть очень тактичен и не докучать западной свинье,— имею в виду «цивилизованный мир».

Не сердитесь, дорогая, я знаю, Вы моих шуток терпеть не можете, простите, что так глупо пишу. Все не знаю, с чего начать. Надо бы собственно с конца: «И еще кланяется Вам дяденька Тимофей Миколаевич». Но как говорил один из богатырей-старших адвокатуры, старших товарищей Семена Исидоровича (в письме было зачеркнуто «Семы» и написано «Семена Исидоровича»), «иных уж нет, а те далече». От меня же теперь далече все. Вы за границей,— один Бог ведает, где именно. Другие остались в Петербурге, и я давно их не видел. Я переехал в Москву месяца через три после Вашего отъезда: в Петербурге нечего было есть (ведь в последнее время Вы меня подкармливали). Переходить же на положение нищего или стрелка я не хотел,— хоть и от этого не отказывайся. А здесь предложили какую-то работишку не то, чтобы совсем чистую (таких у нас нет), но и не очень грязную,— а какую, скучно рассказывать. О бывших друзьях наших сведенья, впрочем, получаю. Ваш друг Березин, как Вы знаете, оказался стопроцентным хамом (с некоторой гордостью вспоминаю, что я всегда его недолюбливал): Сонечка все при нем, по последним известиям они поженились». (Муся ахнула). «Когда разженятся, не знаю; у нас это просто: женился, развелся, опять женился,— и это единственная популярная реформа большевиков, и с этим никакое правительство ничего поделать не сможет. А пока не разженились, Ваш друг, по слухам, поколачивает нашу милую Сонечку...»

— Господи! Быть не может!

— Это актер Березин? — спросила с интересом Елена Федоровна.

«С сожалением добавляю, что Сонечка очень подурнела, и, если я при встречах лез к ней по-прежнему, то делал это больше из приличия. Что до Глаши, то... С этим именно связано мое пребывание в Кремле. Очень плоха бедная Глаша. Не скрою от Вас, для нее единственное спасение возможно скорее переехать в Финляндию, где есть санатории, есть лекарства, а, главное, где есть мясо, хлеб, молоко и прочие вещи, вид и вкус которых я иногда смутно вспоминаю. Впро-

чем, было у меня сокровище: шесть фунтов крупы, но отобрали при продовольственном обыске...»

Муся положила письмо, вынула из сумки платок и поднесла его к глазам.

— А у нас обед из шести блюд... Вивиан каждый день пьет шампанское...

— Да, и у меня сегодня кусок в горле застрянет.

— Не застрянет! — сказала Елена Федоровна уверенно. Муся посмотрела на нее с ненавистью.— Друзья мои, я вас покидаю,— добавила баронесса, вставая.— Вы меня извините, ведь я не знаю ваших приятелей. Да и пора. Значит, вечером встретимся.— Муся и Витя остались одни.

— Читай же дальше, Мусенька...

«И вот дня три тому назад я получил, тоже с оказией, два письма из Петербурга — от кого бы Вы думали? От поэта Беневоленского! От автора «Голубого фарфора»!! Известно ли Вам, желанная, что «Голубой фарфор» имеет теперь бешеный успех, что он переиздан — правда, на оберточной бумаге — в несметном числе экземпляров, что им, судя по тиражу, зачитываются в деревнях наши фермеры и фермерши? А если это вам неизвестно, то о чем же сообщают ваши буржуазные империалистические газеты?»

— Как он однако смело пишет! Ведь это явное издевательство. Неужели он подписался?

— Точно ты его не знаешь! Григорий Иванович и шалый, и бесстрашный человек... Подпись буквы, но, конечно, выследить очень легко.

«Это не помешало нашему гениальному поэту остаться человеком порядочным, из чего, пожалуй, социолог мог бы сделать выводы неожиданные: ведь Беневоленский был «дряблый упадочник», а Березин «художник-общественник», правда? (теперь он «артист-гражданин» и «жертва царской реакции»). Впрочем, это и ясно: художники-общественники только и жили, что страхом перед «Русскими Ведомостями». Исчез «общественный контроль», т. е. газетные рецензии и хроника, вот они и показали свои настоящие художества, благо теперь премия выдается за хамство. А с Беневоленского или с меня, грешного, что было взять прежде и чего у нас не стало теперь? Мы поэтому и оказались меньшими прохвостами, чем они,— говорю «меньшими», так как вполне порядочным человеком у нас быть нельзя. Но я не социолог, Мусенька, и продолжаю рассказ. Итак, получил я два письма от Беневоленского. Одно — мне, и в нем он просит похлопотать о заграничном паспорте для Глаши. А другое письмо было рекомендательное, на имя товарища Каровой, которая теперь в большой силе. Это письмо знаменитого

поэта я в тот же день передал по назначению, и вчера вечером получил приглашение явиться пред светлые очи. И приложен был к нему пропуск в Кремль, и с этим пропуском я проник через Кутафью в место величественное и древнее, когда-то двор боярина Андрея Клешнина, потом здание судебных учреждений (где и я, грешный, однажды перед войной проиграл беспроигрышное дело),— оно же ныне главная берлога большевиков, главное гнездо Соловья-разбойника...»

— Да он сумасшедший!

— Ведь прямо головой рискует!

— Просто полоумный!.. Я дрожу от ужаса...

«Однако товарища Карову я пока не видел. Обещают допустить к ней вечером. Правда, прием мне был назначен на 10 часов утра, но отчего же малость и не подождать? Видите ли, эфирное создание, здесь сейчас происходит съезд. Какой именно съезд, не берусь сказать, тем более, что плохо понимаю разговоры: на дворе боярина Клешнина сейчас говорят на всех языках, кроме русского. Но, по-видимому, основывается Третий Интернационал,— да-с! О том, какие такие первые два интернационала, Вы верно знаете лучше меня; а если не знаете, то спросите у Семена Исидоровича» (опять было зачеркнуто «Семы»). «Я же с радостью узнал о создании Третьего Интернационала из проекта резолюции, который лежит предо мной на столе. Прилагаю его вам на память.

За этим столом я и сижу, милая Мусенька, и строчу Вам настоящее письмо на проекте резолюции по поводу зверств, совершаемых подлой Швейцарией. Резолюций на столе целая гора, а рядом чернильница и перо, а перед столом стул, а на стуле сижу я и пишу. Вид у меня при этом настолько интеллигентный, что я легко могу сойти за марксиста. Быть может, меня в этом зале, по славянскому облику моему, принимают за делегата черногорской коммунистической партии и думают, что я составляю текст поправки к резолюции о зверствах швейцарской буржуазии. По крайней мере, проходящие люди смотрят на меня с почтением. И, каюсь, милая Мусенька, мне доставляет детское удовольствие, что я пишу такие нехорошие слова под самым носом у всей этой шайки. Страха же никакого не испытываю, не бойтесь за меня и Вы, ибо если Вы получите это письмо, значит, со мной ничего не случилось.

Народ же здесь толчется всякий. Трудно только проникнуть в Кремль, а внутри совершенный беспорядок. Главных впрочем нет: насколько я могу понять, «пленум» заседает в Митрофаньевском зале, а здесь суетится мелкота. Знать друг друга в лицо они никак не могут. Передо мной

лежат листки со списком делегатов, прилагаю также на память: вам будет ведь полезно узнать, что Турцию, например, тут представляет товарищ Субхи, Грузию — товарищ Шгенти, Китай — товарищи Лау-Сиу-Джау и Чан-Сун-Куи. Попадаются впрочем изредка и русские фамилии, напр., товарищ Петин: он представляет Австрию (отчего бы и нет?). Но утешила меня фамилия представителя Кореи: для простоты и краткости, он называется просто товарищ Каин. Если б я умел отличать корейские физиономии от китайских, если б я был уверен, что вон тот желтолицый субъект не товарищ Лау-Сиу-Джау и не товарищ Чан-Сун-Куи, а корейский товарищ Каин, я бросился бы к нему и обнял бы его за столь откровенную, удачную и символическую фамилию!

Мусенька, письмо мое сумбурно, я знаю: я выпил больше денатурата, чем нужно бы (сколько-то, разумеется, нужно), и мысли у меня скачут, скачут... Вот и сейчас не знаю о чем писать, хоть столько нужно Вам сказать, столько нужно сказать...

Начать бы надо так: «Действие происходит в гостиной, в стиле ампир... На фоне дверь в старый помещичий сад» и т. д. Итак, действие происходит в комнате — Вы догадываетесь, что в комнате? — верно: в довольно большой комнате. Двери? Да, есть и двери, но не в старый помещичий сад, а в какой-то коридор, где пахнет кошками и карболкой. Столы, стулья, табуреты, уж там ампир или не ампир, не знаю. На стенах картинки: убитый Либкнехт, почему-то голый до пояса, и какой-то плакат: здоровенный верзила с длинными волосами, в фартуке, сделав идиотски-зверское лицо, выпучив глаза, бьет по цепям, сковывающим земной шар. Вдали что-то светлое: заря? восход пролетарского солнца? Ценная аллегория плаката Вам, надеюсь, понятна. Говорят, это будет обложка их журнала. Другие картины в том же роде. Перед ними останавливаются, с необыкновенно умным видом, проходящие по комнате люди. Смотрят на верзилу,— на лицах бодрая вера в пролетарскую зарю. Смотрят на Либкнехта,— тихая грусть и грозная жажда мести... Вот в эту самую минуту перед Либкнехтом лохматый субъект в сапогах,— ему зверское выражение создать себе не трудно: судя по его виду, за ним не одно мокрое дело.

Только что прозвенел звонок, в комнате оживление: все куда-то уходят, пойду за другими и я, не оставаться же одному в этой комнате. Допишу письмо, верно, дома».

«Звонок означал историческое событие, милая Мусенька: Третий Интернационал открылся речью «самого». Мне

его увидеть не пришлось, слышал только гром рукоплесканий. Тут же какой-то каин раздавал эту самую речь, но ее Вам не посылаю: получил всего один экземпляр и естественно сохраню на пямять. Вернулся на свое место, прочел речь Ильича с искренней радостью и продолжаю это письмо.

Вы спросите: почему же «с искренней радостью». Он говорил, что советская система победила во всем мире: в Германии социальная революция, Италия накануне социальной революции, Соединенные Штаты тоже накануне, а у вас, в Англии «широкий, неудержимый, кипучий и могучий рост советов и новых форм массовой пролетарской борьбы». Ваше «английское правительство приняло Бирмингемский совет рабочих депутатов», «советская система победила не только в отсталой России, но и в наиболее культурной стране Европы — в Германии, а также и в самой старой капиталистической стране — в Англии»[1]. Мусенька, мы здесь ничего, ничего не знаем, и я смутно боюсь, что великий человек врет? Или по крайней мере привирает, а? Но ведь все-таки не на сто же процентов он врет, и если хотя бы одна только десятая доля правды!..

Почему же я рад? Это я скажу позднее: опять гремят рукоплесканья, но теперь совсем под боком, надо посмотреть, что такое...

Видел, Мусенька, видел. Видел и «самого», и главных его сотрудников, и всю шайку. Не слышал, но видел: они снимались для потомства,— уж как такой сцене обойтись без фотографических снимков! Было это поблизости от Митрофаньевского зала, в какой-то не очень большой комнате с тремя ступеньками. Комната выстлана коврами, на стене надписи: «Да здравствует III Интернационал», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» на всех языках... Вот только не заметил, есть ли надпись по-корейски. Нас в комнату не пустили, но я с порога все видел, все, своими глазами, отсохни у меня руки и ноги! На верхней ступеньке стул, а на стуле он, Мусенька, он самый, наш голубчик, наш кормилец,— Ильич!

Человек как человек: небольшой, сутуловатый, лысый, рыжеватый, со злыми, умными и хитрыми глазами. Ловкий человек, хитрый человек, что и говорить! Все диктаторы выдающиеся люди, да это и не может быть иначе. Стать диктатором, это дело исторического счастья; но уменье в том, чтобы стать кандидатом в диктаторы: подумайте, какую

---

[1] Это, разумеется, подлинные слова Ленина. Точно также и в других исторических главах «Пещеры», как заседание Палаты Общин с инцидентом и с речью Ллойд-Джорджа, автор считал для себя обязательной точность.— *Автор.*

конкуренцию надо преодолеть в среде собственной своей партии,— ведь хитреньких и ловких людей там, как везде, достаточно, и всем им хочется из каинов-просто попасть в обер-каины. Эти люди его «боготворят»— мне и смотреть было любо на выражение их товарищеско-верноподданнических чувств. За его стулом стояли Троцкий во френче и Зиновьев в какой-то блузе или толстовке. Мусенька, понимаете ли вы, какие люциферовы чувства они должны испытывать к нежно любимому Ильичу: «сел, сел-таки на стул! а мы тут стой за стулом, и сейчас, и в завтрашнем журнальчике с верзилой на обложке, и до конца времен, до последнего Иловайского истории! А ведь если б в таком-то году, на таком-то съезде, голосовать не так, а иначе, да на такую-то брошюру ответить вот так, то ведь не он, а я, пожалуй, сидел бы «Давыдычем» на стуле, а он стоял бы у меня за спиной с доброй, товарищески-верноподданнической улыбкой!..»

У ног Ильича на ступеньках расположились рядовые каины. Эти, может быть, обожают его искренно: ни один из них обер-каином стать не мог и не может. Мусенька, ангел, что за лица! Какое воронье слетелось в Москву! Что они здесь делают? Как сюда попали? За какие грехи наши очутились в Кремле? Не подумайте, что я стал монархистом или что уж так на меня действует память о боярине Андрее Клешнине! Я и не знаю, кто он такой был, боярин, может, был гусь не лучше этих! Я и не то хочу сказать, что Клешнин, как никак, был здесь у себя дома, нет, не то! Но чудовищная нелепость этой маскарадной сцены,— нелепость политическая, историческая, эстетическая, какая хотите,— Вас конечно, поразила бы совершенно так же, как меня. В Кремль перенесены арестантские роты. Господи, что за лица! Чего стоит один Зиновьев! Мне запомнился Каин в высоких сапогах, который сидел у самых ног Ленина на нижней ступеньке, обняв руками колени, с видом необыкновенно-горделивым. Они-то знают, что сцена историческая (ведь и в самом деле она историческая, как бы я ни потешался), и выражения придали себе соответственные, самые что ни есть исторические. Мусенька, может быть, их идеи и хороши, может быть, их идеям принадлежит будущее, может быть, они спасут грешный мир. Но, Господи, какие прохвосты спасают от грехов человечество!

Все же наш национальный Ильич понравился мне больше других. Все остальные играли. Для потомства? Может быть, и для потомства. Троцкий, наверное, думал о потомстве, как получше объяснить, что он отлично мог сесть на стул, но сам по такой-то причине не хотел. А другие больше, я думаю, для нас, для галерки, для товарища Степани-

ды (или Минхен или Су-Цу-Сян), которая увидит фотографию в этом самом журнальчике с верзилой. Этот же не играл. Он даже не смотрел ни на фотографа, ни на каинов, ни на галерку. Он, видимо, обдумывал какую-то очередную деловую пакость и только жаждал, чтобы его скорее отпустили.

И еще: может быть, я ошибаюсь, но у громадного большинства других в душе, кроме изумления — где очутились! — был и страх, самый обыкновенный, но смертельный страх: дела-то наши, кажется, не очень хороши, Деникин понемногу продвигается. Я уверен, если бы вон там, за окном, на Сенатской площади, солдат нечаянно разрядил винтовку, три четверти каинов забыли бы об истории и мгновенно бежали бы без оглядки, куда угодно, поскорей, подальше. А этот — нет. Ему тоже будет крайне обидно, если Деникин явится в Москву, но обидно не столько оттого, что висеть ему тогда на веревке,— нет, сорвался опыт, такой интересный опыт: если б на двадцать шестом ходу пойти коммунистическим конем на другое буржуазное поле, опыт мог бы продолжаться и дальше.

Каровой я среди снимавшихся не видел. Спросил у кого-то из тех, кто в Кремле кое-как говорит по-русски, мне сказали, что она в комиссии по выработке резолюции о привлечении работниц к борьбе за социализм. Не теряю надежды, что она меня примет. Может быть, я предложу ей руку и сердце, а? Не удивляйтесь, если услышите. Вообще раз навсегда ничему не удивляйтесь, что бы Вы ни услышали о нас, грешных!

Но писать больше не могу: замучился и Вас замучил, эфирное существо. Не перечитываю, ничего не вычеркиваю, хоть знаю: Вы усмотрите в моих словах «националистский душок», которым вы меня попрекали еще до революции. И вы будете правы, эфирное творенье! Ненавижу всех иностранцев лютой ненавистью, той ненавистью, которую, быть может, на операционном столе вшивый щенок испытывает к публике, явившейся на вивисекцию. Он ненавидит экспериментаторов, но публику, вероятно, ненавидит еще острее. До последней капли русской крови воевали, до последнего русского вшивого щенка будут изучать великий опыт! Будь все они прокляты, пропади они все пропадом, и единственное мое искреннее, последнее желанье, чтобы и они, еще при моей жизни, подпали под власть товарища Каина. Об этом, только об этом я и буду мечтать, когда придет моя очередь и тифозная вошь обратит на меня благосклонное внимание: в горячке, от сыпняка пошлю товарищу Каину свое предсмертное благословение: Каины всех стран, соединяйтесь! Пришло, пришло ваше времечко!»

Здесь письмо на листках с резолюцией кончалось. Далее на обыкновенном клетчатом, неровно вырванном из школьной тетрадки листке было добавлено:

«Не сердитесь, милая Муся. Считаю нужным добавить, что вчера, отправляясь в Кремль, я для храбрости хватил денатурата. Кажется, это отразилось на моем поведении и особенно на письме. Все же отправляю его не перечитав: полюби нас черненькими, красненькими нас всякий полюбит. Карова приняла меня вчера вечером, должен сказать, очень любезно и обещала все сделать. Сделает ли, не знаю. Как-нибудь брошу с гибнущего корабля второе письмо в бутылке, пошлю новую весть из потустороннего мира. Эту же отправляю с гордым империалистом. Он занимает такое положение, что обыска у него на границе быть не может,— не волнуйтесь же ни за него, ни за меня. Ну, а если невзначай обыщут, то одним вшивым щенком и одним гордым империалистом будет на земле меньше: не так жалко. Надежд ни на что не имею: в нашем положении всякая надежда — прямой вызов черту.

Сердечный привет всем, всем, всем.

Г. Н...»

VII

Господин в смокинге и легком черном пальто шел по террасе к столику Клервилля с необыкновенно радостным видом, еще издали протянув обе руки. Клервилль, тоже очень радостно, поднялся навстречу господину. Он совершенно не знал, кто это такой. «Лицо знакомое... Конечно, один из гостей...» Весь поглощенный поло, Клервилль не знал толком, кого именно пригласила Муся на матч бокса. Однако, он привык к подобным положениям и говорил с гостем так уверенно-любезно, что Альфреду Исаевичу в голову не могло прийти подозрение; оно очень его обидело бы.

— О нет, нет совсем... Не поздно,— говорил Клервилль, одновременно заботясь о том, чтобы не сказать чего-либо неподходящего, и стараясь припомнить свой скудный запас русских слов. Неизвестный гость заговорил с ним по-русски.— Рано, очень рано... Не поздно совсем... Имейте папиросу...— Он протянул гостю стальной портсигар.

— Покорнейше благодарю, дорогой мистер Клервилль.

— Стакан порт? Они здесь получили в самом деле славный порт.

— Нет, благодарю вас, мы и то целый день пьем. Искренно рад вас видеть, дорогой мистер Клервилль.

— Я так рад...

— Марья Семеновна?

— Марья Семеновна будет скоро,— ответил Клервилль с некоторой гордостью: он знал, что Марьей Семеновной зовут его жену.— Будет сейчас. Она сейчас одета... Славный вечер, не правда ли?

— Дивный вечер! Это нас вполне вознаграждает после таких жарких дней...

С появлением Муси трудное положение Клервилля кончилось. По первым ее словам выяснилось, что новый гость тот журналист, который стал кинематографическим деятелем и который должен оказать протекцию бестолковому русскому мальчику, другу Муси. Товарищ журналиста не приехал: его экстренно вызвали в Париж. Отсутствие Нещеретова собственно не могло быть неприятно Мусе,— она его терпеть не могла. Тем не менее Муся обиделась.

— Он очень просит у вас извинения, Марья Семеновна. Его утром вызвали по телефону. Он так сожалел!

— Мне тоже очень досадно... Жаль все-таки, что мосье Нещеретов не предупредил нас утром, тоже по телефону. Тогда можно было бы отдать билет.

Клервилль холодно взглянул на жену, ее замечание показалось ему еще более некорректным, чем поздний отказ гостя, для которого был взят дорогой билет на матч бокса.

— Ах, он будет в отчаяньи!

— Для отчаянья нет оснований... Мы можем идти. Молодежь уже там, а мистер Блэквуд должен приехать прямо туда.

— Мой автомобиль ждет у ворот.

— Отлично. Мы приедем как раз к десяти, как было условлено.

Дорогой дон Педро, сознавая, что часть вины ложится на него, рассыпался в комплиментах туалету Муси. Она скоро смягчилась; вдобавок, ссориться с Альфредом Исаевичем теперь не следовало. Дон Педро вспоминал свои петербургские встречи с Клервиллем. Тот поддакивал, хоть и этих встреч совершенно не помнил.

Здание, в котором происходил матч бокса, было ярко освещено. У входа, на крыльце, в вестибюле, толпились мужчины во фраках. «Как раз вовремя: антракт перед главным матчем»,— сказал Клервилль удовлетворенно. Автомобиль Альфреда Исаевича отъехал, за ним к подъезду подкатила великолепная машина. «Дюйзенберг, последняя модель,— мгновенно, с завистью, определил Клервилль.— Да, очень хороша, а все-таки наши Роллс-Ройсы лучше, что бы там ни говорили».— «Кажется, это *он*»,— сказал дон Педро. Шофер соскочил и, сняв фуражку, отворил дверцы кареты.

Из нее с трудом вышел, сильно сгорбившись, мистер Блэквуд. На него тотчас обратили внимание в толпе. Кто-то рядом с Мусей почтительно назвал фамилию миллиардера. Он издали увидел Клервиллей, поднял руку с легким подобием улыбки и, сказав что-то шоферу, с трудом поднялся по лестнице. «Однако, он очень сдал»,— заметила по-русски Муся Альфреду Исаевичу, который почтительно снял шляпу. Они поздоровались и поговорили в вестибюле.

— ...Надеюсь, я не заставил вас ждать?

— Нет, мы сами только что приехали. Зато наша молодежь уже тут с половины девятого, они ни за что не пропустили бы и первых матчей.

— Разве их несколько?

— Всегда несколько,— ответил Клервилль, улыбаясь неопытности гостя.— Вы незнакомы?

— Я имел честь однажды встретиться с вами в Париже, мистер Блэквуд,— сказал с достоинством дон Педро. Раздражение его тотчас прошло: он не мог долго сердиться на такого богача. Мистер Блэквуд что-то промычал и протянул Альфреду Исаевичу холодную, слабую руку.

— Какое странное здание, не правда ли?

— Его нарочно приспособили под матч бокса.

— Но как нарядно: фраки и фраки! Я просто стыжусь за свой скромный смокинг,— с улыбкой вставил Альфред Исаевич, смущенный тем, что и хозяин, и американский гость были во фраках. Капельдинер взял у Клервилля билет. В коридоре им попались Мишель и Витя. Мистер Блэквуд опять что-то промычал. Он был не в духе,— не любил приглашений: ему и забавно было, и странно, и не совсем приятно, что кто-то за него платит: всегда, везде, за всех и за все платил он.

— Вот ваш будущий адъютант, Альфред Исаевич.

— Очень приятно. Рад с вами познакомиться, молодой человек. Я хорошо знал вашего отца...

— Ну что, интересно?.. Но где же, наконец, наша ложа?

— Вот эта.

Суетливая старуха открыла дверь, ярко сверкнул белый световой конус посредине огромного зала. Муся только скользнула по залу первым *черновым* взглядом.

— Наконец-то! Мы боялись, что вы опоздаете,— сказала баронесса. Серизье встал навстречу вошедшим.

— Ради Бога, извините, но мы не опоздали. Я вам так и сказала: в десять.

— Я пришел ровно две минуты тому назад.

— Наша вторая ложа эта? Отлично. Как бы нам разместиться поудобнее? Я мгновенно все устрою,— шутливо

говорила Муся. Она устроила так, что Серизье был переведен в соседнюю ложу, где с Мусей заняли место еще Блэквуд и дон Педро. «Быть может, Серизье не очень удобно публично se commettre avec un milliardaire[1]? Нет, здесь никаких социалистов нет»,— подумала она. Клервилль сел с баронессой, Жюльетт, Мишелем и Витей. Елена Федоровна настойчиво шептала, что очень рада: «Я дрожала, что меня посадят с этим надутым американцем! Ведь это со скуки умереть, с ним и с вашим Серизье!..» В действительности она была уязвлена, оказавшись в менее почетной ложе. Клервилль подал ей программу, пошутил с молодежью и вышел покурить.

Когда он вернулся, в главной ложе шел горячий политический спор. Клервилль занял свое место у барьера и стал слушать без большого интереса. «Однако этот американец чрезвычайно полевел... Кажется, он немного левее Ленина!..» Мистер Блэквуд желчным тоном доказывал, что капиталистический строй прогнил насквозь и даже не желает ничего сделать для своего очищения. Прогнила и вся капиталистическая культура. Серизье озадаченно кивал головой, тоже, по-видимому, удивленный левизной миллиардера. Дон Педро мягко защищал капиталистический строй и культуру; он по-французски теперь говорил много увереннее и бойчее, чем прежде. Но мистер Блэквуд не слушал возражений и упрямо повторял свое. «Это женщины думают, что, если несколько раз с жаром сказать одно и то же, будет убедительно»,— весело подумал Клервилль.

— Какой осел! Все дело в том, что никто не желает слышать об его идиотском банке,— шепнул на ухо Вите сидевший рядом с ним Мишель.

— Однако некоторая доля правды есть в его критике,— слабо поспорил Витя.

— Вы думаете? И я не очень люблю капиталистический мир, но он переживет правнуков этого дурака.

Муся, успев рассмотреть зал начисто, думала, что надо еще перетасовать гостей: в диспозиции были сделаны ошибки. «Что та злится, это отлично! Но Жюльетт не надо бы разлучать с ее ненаглядным сокровищем. Она думает, что я это сделала нарочно. Положительно с ней происходит что-то непонятное! У нее лицо Шарлотты Корде, идущей убивать Марата... Воплощение здравого смысла сочетается с бабьим упрямством. Лучше бы ее посадить в эту ложу... Кроме того нужно, чтобы Витя мог поговорить с дон Педро... Почет Альфреду Исаевичу уже оказан...»

---

[1] Общаться с миллиардером (*франц.*).

— Жюльетт, я хочу делиться с вами впечатлениями. Мужчины меня понять не могут! Что, если б вы перешли к нам?

— У вас в ложе только четыре стула.

Дон Педро любезно предложил Жюльетт свое место.

— Вам все равно, правда?

— Я уверен, что меня и у вас не обидят. В обеих ложах такие очаровательные соседки.

— Вот именно! И притом надо же вам поговорить с вашим адъютантом,— сказала Муся, настойчиво закрепляя данное Альфредом Исаевичем обещание.— Жюльетт, пожалуйте сюда. «Смотри, покажи товар лицом»,— шепнула она Вите, у которого тотчас прилип язык к горлу. Охраняя в разговоре с будущим начальством достоинство будущего подчиненного, он кратко отвечал на вопросы Альфреда Исаевича. Тот впрочем скоро оставил его в покое. «Кажется, не орел мальчик,— подумал он,— ну, пусть переписывает бумаги...» Устроив хозяйские дела, Муся вздохнула свободно.

— Вам так будет видно, Жюльетт?

— Отлично... Пожалуйста, не беспокойтесь, мистер Блэквуд.

— Правда, как странно, что сцена посредине зала? — ласково сказала Елене Федоровне Муся, наклонясь к барьеру ложи.

— Это не сцена, а ринг,— поправил Клервилль.

— Ринг так ринг. Но, право, я не думала, что здесь будет так элегантно. Смотрите, та в третьей ложе...

— Да. Я все вижу,— холодно ответила баронесса.

VIII

Публика действительно была парадная. В туалетах, в драгоценностях многих дам Муся видела ту степень роскоши, которая ей казалась излишней и несколько ее раздражала (Клервилль совершенно не испытывал этого чувства). В зале было очень много иностранцев, везде слышалась английская и испанская речь. Англичане сидели и в соседней ложе; Клервилль только скользнул по ним взглядом и сразу признал в них людей своего круга. Ему на мгновенье стало неловко, что сам он оказался, хоть и не в дурном, но не в своем обществе. Он тотчас с досадой подавил в себе это чувство. «Одна семья: отец, сын, внук. Дама — жена сына»,— определил он. Говорили в этой ложе о боксе и говорили с явным знанием дела. Старый англичанин рассказывал о каком-то историческом матче; сын и внук слушали

взволнованно, хотя, по-видимому, давно и хорошо знали эту историю. «...И Джорджи Рук повалился как подкошенный! Мы долго не могли понять, в чем дело»,— тихо улыбаясь, говорил старик. «Верно, какой-нибудь посол в отставке. Сын тоже дипломат, и внук будет дипломатом»,— подумал Клервилль. Ему прежде был немного скучен этот круг людей, в котором он родился и вырос. Но было в его круге спокойное, нехитрое, уверенное очарование, теперь особенно милое Клервиллю: он несколько отвык от этого в последние годы. «Да, старая Англия»,— с легким вздохом подумал он, приспособляя к глазам бинокль. Ему пришло в голову, что не худо бы вернуться в эту старую Англию и в прямом, и в символическом смысле слова. «Это был первый knock-out [1] в истории бокса. Я счастлив, что видел это»,— рассказывал старик. Сын и внук сожалели, что не видели первого knock-out'а в истории бокса.

Дон Педро тоже поглядывал искоса на соседей. Он понимал в их разговоре не все, но главное. Ему особенно нравилось то, что все три англичанина были ладные как на подбор, что они чрезвычайно походили один на другого и что фраки на них сидели совершенно безукоризненно. «А белые жилеты у всех разные. Я себе закажу такой, как у среднего. Это и солидно, и не слишком старо... Замечательный народ! Но глупый! О чем они говорят!..» Средний англичанин убеждал младшего, что upper cut [2] в Адамово яблоко действительнее uppercut'а в подбородок. «Какая гадость!» — с искренним отвращением подумал дон Педро, смутно себе представляя оба эти uppercut'а. «Очевидно, какой-то род мордобоя. Ну, хорошо, два идиота бьют друг друга по морде, но они хоть деньги получают. А эти что?..» Альфреду Исаевичу было скучно. Он никогда не видел бокса и нисколько не желал его видеть. Ему хотелось спать. Если б не приглашение Муси, он уже сидел бы у себя, в своей прекрасной комнате с видом на море, без тугой крахмальной рубашки, без высокого резавшего шею воротника, пил бы чай с лимоном, а, может быть, уже лежал бы в постели с газетой,— постель в его номере была изумительная. «Дай Бог, чтобы кончилось в двенадцать, а потом сколько еще ехать...» Он сладостно зевнул и оглянулся с испугом на соседей. Никто ничего не заметил.

На небольшом квадратном обнесенном веревками ринге, в ярком конусе белого света, уже ходили какие-то люди. Служители в белых куртках сыпали порошок по углам. Галерка выражала нетерпение, мерно стуча о пол. Маленький

[1] Нокаут *(англ.)*.
[2] Апперкот *(англ.)*.

толстый господин в смокинге поднялся по ступенькам на борт ринга, оттянул вверх упругую веревку и не без труда, изогнувшись, пролез в отгороженный четырехугольник. Несколько человек в зале зааплодировали. Но публика не поддержала рукоплесканий. Толстенький человек смущенно улыбнулся и, наклонившись над барьером, заговорил с кем-то в первом ряду. Мишель разъяснил Вите, что это арбитр, известный человек, знаток своего дела.

Витя не очень внимательно слушал объяснение. Матч интересовал его, но его внимание отвлекали голые плечи, спина Муси, которая сидела прямо перед ним в первой ложе. Витя запрещал себе смотреть на это, старался думать о другом, но плечи Муси, с нитью жемчуга, неровно повисшей у корней волос, возвращали к себе отводимый им взгляд.— «Ах, арбитр! — повторил он.— Я думал, арбитры тоже из боксеров?..» «Неужели же никогда? никогда?» — вдруг прорвалась в его уме мысль. Он ужаснулся и прикрикнул на себя. Клервилль, улыбаясь, повернулся к барьеру и чуть прикоснулся к руке Муси пониже плеча.— «Вот он, тот магараджа. В первом ряду, слева от судьи».— «Где? Тот, который позавчера проиграл в баккара два миллиона франков?» — «Да, тот самый. Для него два миллиона франков то же самое, что для нас два фунта».— «C'est monstrueux!» [1]— сказал, пожимая плечами, Серизье. Клервилль поправил бриллиантовый фермуар ожерелья на шее Муси. Витя с ненавистью глядел на его руку. «Да, это *хозяин!..»* Ему пришло в голову, что если б он мог неведомо для всех, безнаказанно убить Клервилля, то непременно сделал бы это. «Был бы такой яд, не оставляющий следов... Да, отравил бы! Нет, нет моральных преград, которые могли бы меня остановить! Я, как Иван Карамазов, убийца в мыслях. Я, конечно, не убью его, но если б он умер просто, от болезни или на войне... Говорят, его пошлют в Индию»,— думал, бледнея, Витя.

Вдруг где-то в углу зааплодировали, и сразу во всем зале загремели рукоплесканья. Из боковой двери в залу вошел великан-негр в ярко-красном купальном халате. Обмениваясь на ходу кое с кем рукопожатиями, придерживая рукой поднятый воротник халата, сияя ослепительной улыбкой, он прошел почти у самой ложи Муси. Она только ахнула,— так неестественно громаден был вблизи этот страшный человек. Такое же чувство, почти облегчение, было у всех остальных,— точно мимо ложи, никого не тронув, прошел носорог. Дон Педро, испуганно очнувшийся от рукоплесканий,— он было задремал,— открыв рот, смотрел

[1] «Это чудовищно!» *(франц.)*

вслед негру. «Ноги! Ноги! Посмотрите на ступню!» — восторженно говорил Вите Мишель. У мистера Блэквуда на лице появилось очень хмурое выражение,— для него было неприятной неожиданностью, что один из боксеров негр.

Рукоплескания гремели все сильнее, галерка орала. Негр поднял руку и весело помахал ею в воздухе; рев наверху еще усилился. Он подошел к рингу, не пользуясь лесенкой шагнул на борт и, легко опершись о столб, который однако покачнулся, перескочил через веревки. Одновременно служитель в белом халате подал сквозь веревки на ринг небольшой табурет; по лесенке взбежали два человека без пиджаков: «Менеджер и суаньер»,— пояснил Вите Мишель. «Странное слово «суаньер» [1], как перевести?» — думал рассеянно Витя. Толстенький человек в смокинге радостно подошел к негру,— голова его не доходила до уровня груди боксера. Галерка гоготала. Негр осторожно приоткрыл воротник халата и стал медленно разматывать шарф, закутывавший его шею. Весь зал захохотал: так забавен был у этого колосса бережный жест неврастеника, боящегося летом схватить насморк. «Какое чудовище!» — сказал дон Педро, когда негр, наконец, снял халат и голый, в красных трусиках, предстал перед восторженно оравшим залом. «Да, именно чудовище! Посмотрите на его спину!..» — блестя глазами, ответила Елена Федоровна.

В эту минуту в партере, в ложах снова раздались аплодисменты. В противоположном проходе появился белый боксер, тоже в халате, но гораздо менее ярком. «И этот ничего себе ребеночек! Тоже не меньше трех аршин»,— сказал Альфред Исаевич.— «Вес у них почти одинаковый: 98,6 и 99,2»,— сообщил Мишель. Галерка аплодировала, но слабее. Ясно почувствовалось, что в зале два лагеря: аристократия партера и лож в большинстве желала победы англичанину, галерка — негру.

Боксеры в противоположных концах ринга развалились на табуретах, опершись шеей на веревки, вытянув ноги. Менеджер негра показал арбитру огромные перчатки, затем стал их натягивать на руки боксера, забинтованные в белое, точно после пореза. Негр слушал наставления менеджера, сияя все той же радостной улыбкой. Арбитр вышел на средину ринга и поднял руку. Вдруг наступила совершенная тишина. Противники подошли к арбитру. Он представил их публике, указав вес каждого, и монотонно прочел что-то длинное, скучное. Когда он кончил, боксеры прикоснулись обеими перчатками каждый к перчаткам про-

[1] Секундант (*франц.*).

тивника,— это означало рукопожатие,— мгновенным взглядом, с ног до головы, осмотрели друг друга,— негр больше не улыбался,— затем разошлись по углам. Арбитр озабоченно обменялся замечаниями, через барьер, с одним из судей, который с листком бумаги в руке сидел в средине первого ряда. Менеджеры, суаньеры, служители покинули ринг. Тишина становилась все страшнее. Дамы настраивались на пренебрежение, но сердца у них колотились. Елена Федоровна поправилась на стуле, нервно обмахиваясь веером. Вдруг прогремел гонг, арбитр произнес какое-то английское слово, боксеры выбежали на средину ринга. Табуреты исчезли.

Клервилль, в свое время интересовавшийся боксом, за годы войны отстал от этого дела. Однако ему сразу стало ясно, что черный боксер принадлежит к новой американской школе, о которой он читал и слышал. Негр стал меньше ростом, точно горилла, опустившаяся на четвереньки. Правая нога его, согнутая в колене, была отставлена назад гораздо дальше, чем полагалось. Он подпрыгивал, как длинный хищный зверь. Обе руки его в почти одинаковом положении были на уровне головы. Маленькие злые глазки снизу вверх впились в глаза англичанина, который начал бой в классической позе, чуть вдавив голову в плечи, вытянув вперед левую руку и ногу. Клервилль расценивал некоторые преимущества новой системы. «Защищен положением тела, парировать можно меньше, обе руки освобождаются для нападения...» Но эта школа ему не нравилась, казалась не изящной, не рыцарской, не английской. Клервилль вдруг почувствовал, что был бы очень огорчен победой негра. Прежде подобная мысль неприятно его удивила бы,— он считал себя выше этого. Теперь было не так. В белом великане, в его старой классической манере боя, тоже было нечто свое, чем дорожить не мешало,— та самая старая Англия, что и в соседях по ложе.

Боксеры, непрерывно меняя положение на ринге, обменивались ударами. Однако чувствовалось, что удары еще не настоящие. Противники только изучали друг друга. «Знакомятся»,— страстным шепотом пояснил Мишель, изучавший с напряженным вниманием каждое движение знаменитых боксеров. «Конечно, знакомиться можно и так,— думал дон Педро,— но у меня вот, например, от этого знакомства по животу немедленно сделался бы перитонит... Господи, какие идиоты!..»

Опять прогремел гонг. Противники разошлись по местам, по-видимому, не причинив друг другу ни малейшего ущерба. На ринг бросились снова менеджеры, суаньеры,

служители, с табуретами, с губками, с полотенцами. Негр растянулся на табурете в той же позе падающей в обморок, больной дамы. Служитель обмахивал его квадратной салфеткой, суаньер смочил ему губы, лоб, грудь. Но оба, и служитель, и суаньер, чувствовали, что делают дело, еще вполне бесполезное: несколько ударов, полученных негром, не произвели на него решительно никакого действия. Галерка разочарованно роптала. Знатоки обменивались впечатлениями. «Десять раундов впустую, ничья. В лучшем случае победа англичанина по пунктам»,— предсказывал Вите Мишель. Елена Федоровна, обмахиваясь веером, ласково на них смотрела, в десятый раз сравнивая молодых людей: у каждого были свои преимущества. Она непрочь была бы возобновить роман с Витей,— в Довилле они встретились просто как старые знакомые. Витю это смущало и тяготило, но жизнь на море сложилась так, что ничего нельзя было сделать. «...А все-таки бокс прекрасная школа для молодежи. Как хотите, в этом зрелище есть подлинная красота»,— говорил Серизье.— «И в бое быков красота?» — хмуро спросил мистер Блэквуд.— «Разумеется, вспомните Гойю, Теофиля Готье». Но мистер Блэквуд ни Гойю, ни Теофиля Готье не вспоминал. Ему все было противно в этом грешном языческом зрелище, оно тоже свидетельствовало о культурном упадке человечества. «Все эти люди в партере, в ложах только что пили шампанское, ликеры, они полупьяны, им теперь нужно любоваться кровью. А эти женщины! Их просто возбуждает бокс. Да, всех, даже эту молоденькую барышню. И у нее гадкое лицо, как она ни хочет скрыть свое возбуждение. Это чистый разврат!» То, что он называл развратом, с некоторых пор вызывало в мистере Блэквуде неопределенную злобу,— он сам не знал, против кого ее направить. «Но уж если дерутся, то пусть белые дрались бы между собой. Зачем еще привлекать цветных людей!..» Несмотря на свой радикализм, мистер Блэквуд терпеть не мог негров.

Серизье спорил больше по профессиональной привычке. Его приятно забавляла каша в голове американца. По сравнению с ней особенно выигрывал его собственный ясный, научный строй мыслей. Но бокс и в самом деле нравился депутату,— не красотой, к которой он вообще был не очень восприимчив, а зрелищем напряженной человеческой энергии. Кое-что в действиях боксеров напоминало ему его собственную тактику при столкновениях с противником в парламенте, на конгрессах. «Да, то же стремление проникнуть в намерения врага, парализовать его волю. Я так же магнетизирую противника взглядом, так же слежу за каж-

дым его шагом...» Эта мысль позабавила Серизье. Ему было приятно, что он в чем-то походил на этих колоссов. «Да, вся жизнь — борьба, здесь только она в совершенно чистом, неприкрашенном виде. Но этот вид хорош для них, все-таки они ведь животные». На мгновенье он себя вообразил в костюме боксера,— со своим выпученным животом, с руками, повисшими как плети. Серизье поморщился. «Жаль, что с детских лет не занимался спортом. Теперь, разумеется, поздно. Хотя люди гораздо старше меня ходят в гимнастические залы. Не начать ли и мне?..» Матч заражал его бодростью, ему захотелось каких-то смелых, энергичных, решительных действий. Взгляд его остановился на Мусе. Откинувшись на спинку стула, она смотрела на ринг. «Все-таки это очень глупо, что я здесь не подвинул дела. Этот болван муж, кажется, к ней довольно равнодушен и лошадей предпочитает женщинам... В случае чего дуэль? Ну, что ж, дуэль так дуэль...» Серизье не был трусом; он знал вдобавок, что эффектный поединок мог бы только способствовать его светским и даже его политическим успехам. «Правда, в партии относятся к дуэлям отрицательно, они даже, кажется, запрещены. Но это *так*. У Жореса было несколько дуэлей... Впрочем, и дуэли не будет. У англичан это не принято, да и у нас какие мужья теперь дерутся на дуэли из-за жен?..»

Гулко прозвучал гонг. Боксеры вышли на средину арены и снова стали танцевать, обмениваясь ударами. Напряжение в зале несколько ослабело. Старик в соседней ложе вполголоса говорил, что бой ведется без темперамента; в его время дрались иначе.— «Тогда действовали грубой силой, а теперь все дело в уме»,— заступился сын за современный бокс. «Вот как, в уме?» — иронически подумал дон Педро.— «Интересно все-таки, при чем тут ум? Хорош бы я, например, был, если б вышел против какого-нибудь из этих кретинов. И белый кретин, и черный кретин, конечно, убили бы меня насмерть первым же ударом!..» — Самая мысль эта показалась неприятной Альфреду Исаевичу. Чтобы успокоиться, он стал подсчитывать, сколько денег скопится на его трех текущих счетах к концу контракта с фирмой. Выходило очень много, даже если еще увеличить ежемесячную посылку денег семье в Висбаден.— «В сущности, это самая обыкновенная драка: я тут никакой красоты не вижу»,— говорила Муся.— «Да, но все-таки это волнует,— отвечала баронесса, слабо смеясь,— а вы как находите, молодые люди?» Мишель не удостоил ее ответом.— «По-моему, интересно»,— сказал Витя.— «Интересно? Это самое прекрасное зрелище, какое я знаю»,—

возразил Мишель; с мужчиной, хотя бы и совершенным новичком, он все-таки мог говорить о боксе.

Третий раунд начался в еще более медленном темпе, чем первые два. Однако, галерка вдруг перестала роптать. В зале вновь наступила тишина. На ринге происходило что-то тревожное. Боксеры странно поплясывали, не спуская глаз друг с друга. «Кажется, они просто смертельно друг друга боятся»,— сказала неуверенно Муся.— «В этом я их отлично понимаю»,— вставил дон Педро.— «А вы знаете. я ошибся»,— прошептал Мишель,— «это игра не на ничью, а на knock-out!..» — «Но чего же они ждут» — «Ждут случая, из-за пустяков не хотят рисковать».— «То есть как из-за пустяков?» — «Из-за обыкновенных ударов. Ведь каждый понимает, что ими другого не возьмешь, сколько его ни молоти». Елена Федоровна ахнула и схватила Мишеля за руку: белый боксер вдруг бросил взгляд на ноги противника, прыгнул в сторону и необычайно быстрым движением левой руки нанес негру страшный удар. Черная крепость нырнула, но недостаточно низко: удар, предназначавшийся в челюсть, пришелся в правый глаз негра. Гул от этого удара пронесся по всему зданию, отозвавшись подавленным ревом на галерке. В партере раздались бурные рукоплескания. Елена Федоровна трепетала, прижимаясь к Мишелю. Он сердито отодвинулся, не отрывая глаз от ринга. Клервилль с облегчением опустил бинокль: все-таки этот прославленный негр был уж не такой безошибочный тактик. «Groggy!» [1] — восторженно проговорил вполголоса молодой англичанин в соседней ложе. Но их надежда не оправдалась. На лице черного боксера выступила радостная улыбка, он оскалил зубы, запрокинув назад голову. Галерка разразилась хохотом. «Il encaisse!..» «Ça ne lui fait rien!..» «Il s'en fiche!» [2] — орали наверху. Улыбка негра, в самом деле, свидетельствовала, что и этот удар, который, казалось, мог свалить лошадь, на него подействовал мало. Однако лицо его быстро заливалось кровью. Англичанин ринулся на противника. Негр ловко перешел в corps-à-corps [3]. Упершись лбом в плечо один другому, оба великана с минуту короткими ударами колотили друг друга в бока, в грудь, в живот. Арбитр бросился к ним. Вите показалось смешно, что этот кругленький человечек пытается разнять людей, каждый из которых мог его раздавить одним движением. Однако боксеры тотчас подчинились воле кругленького человека. Одного из них он даже сердито хлопнул по руке.

[1] «Сник!» *(англ.)*.

[2] «Держится!..» «Это ему нипочем!..» «Плевал он на это!..» *(франц.)*

[3] Ближний бой *(франц.)*.

Прогремел гонг. Противники разошлись по углам, совершенно измазанные кровью. Муся, искривившись, закрыла глаза, она вида крови не выносила. Суаньеры взбежали на ринг. Вода в их чашках стала грязно-красной. В театре стоял стон волнения и восторга. «Теперь я за него держал бы три против одного»,— воскликнул Клервилль.— «Еще ничего нельзя сказать,— возразил взволнованно Мишель,— но, конечно, он допустил серьезную ошибку». Мистер Блэквуд имел вид несколько менее мрачный, чем прежде. «Какая мерзость! Какая мерзость!» — повторял дон Педро с истинным отвращением. Ему физически гадко было смотреть на эти тела, покрытые кровью и потом.

Негр полулежал на табурете, неторопливо растирая башмаками порошок на полу. Над ним работали сразу три человека. Служитель отчаянно, изо всех сил, обмахивал его полотенцем; суаньер нежно, как ребенка, гладил его губкой по груди, по лицу, по рукам, подносил к его губам стакан с полосканьем; менеджер прижигал рану палочкой и давал наставления, которые боксер слушал совершенно безучастно. Когда ударил гонг, негр, к некоторому разочарованию партера, поднялся и выбежал на середину арены так же легко, как после первых раундов. Не изменил он и стиля боя: на ринге снова запрыгало скорчившееся длинное чудовище. Только маленькие глазки негра стали еще злее, чем были. Англичанин видимо хотел кончить в этом раунде и сыпал тяжелыми ударами. В партере, в ложах гремели рукоплесканья. Галерка пасмурно затихла. «Кажется, сейчас кончится»,— сказал вполголоса Клервилль.

«Но если сейчас кончится, то куда же мы денемся? — озабоченно спросила себя Муся,— ведь еще и одиннадцати нет. Тогда надо их всех пригласить в казино. Но не ужинать, это дорого...» Она вдруг с изумлением почувствовала, что ее сбоку, между креслом и барьером, взяли за левую руку, немного повыше кисти. Муся чуть было не вскрикнула. Выждав мгновенье, она неторопливо, почти естественно, повернулась. Серизье, как ни в чем не бывало, поверх ее плеча, смотрел на ринг. Только в углу рта у него играла приятная улыбка. «Господи! Как он смеет?» — неуверенно подумала Муся, чувствуя, что в ней ужас борется с радостью. «Ведь это неслыханная наглость! Под самым носом Вивиана!..» Она осторожно, не поднимая плеча, пыталась высвободить руку. Серизье держал ее крепко. «Господи! Что же делать? Нельзя же рисковать скандалом!.. Потом я ему покажу, но сейчас!.. Вивиан не видит,— барьер,— но Жюльетт! Правда, здесь полутемно и она от меня справа... Господи, как это глупо! Как в фарсе... Что

делать? Этого со мной никогда не было! В фарсе заранее знаешь, что муж появится именно тогда, когда жена целуется с любовником. Что, если Вивиан заметит? Кончится ли это?..»

— Кажется, сейчас кончится,— сказал негромко за барьером Клервилль.— «Если по пунктам, то негр уже разбит наголову»,— ответил Витя. Он понемногу входил во вкус бокса. Его также заражала чужая энергия. Под градом ударов англичанина негр корчился и пригибался к земле все ниже, то ныряя, то откидываясь в сторону. «Сейчас будет конец!» — повторил, торжествуя, Клервилль. В задних рядах партера многие повставали с мест. «Assis! Assis!» [1]— кричали возмущенно из лож. Мишель вскочил; вслед за ним вскочил и Витя. Он сверху скользнул глазами по плечам Муси, платье отставало немного от спины. У него закружилась голова. Вдруг он увидел, что Мусю у самого барьера ложи держит за руку Серизье. Витя не успел понять, что случилось. Наверху вдруг поднялся дикий рев.

Англичанин, потерявший самообладание от успеха, неосторожно открылся. В ту же секунду расправилась черная пружина. Негр оторвался от земли, стремительно бросился вперед и левой рукой нанес противнику чудовищный удар в живот. Одновременно правая рука его сбоку молотом обрушилась на подбородок белого боксера. Адский рев галерки потряс зал. Англичанин пошатнулся, поднял руки и упал на левое колено. Арбитр маленькими шажками побежал к нему. Белый боксер свалился с колена, судорожно перевернулся на полу и растянулся навзничь, раскинув руки. Кровь потоком заливала пол. Арбитр с отчаянным лицом, грозно протянув левую руку к негру, отсчитывал секунды, опуская и поднимая правую руку. Счета не было слышно из-за рева. Впрочем, всем было ясно, что считать незачем: белый боксер не встанет.

Арбитр махнул рукой. На ринг бросились служители, менеджеры, врач. Клервилль и Мишель с перекошенными лицами что-то кричали, не слушая друг друга. В соседней ложе так же остервенело орала британская семья.— «Двойной удар! Удар Фитцсиммонса! Это был удар Фитцсиммонса!..» — кричал, задыхаясь, Мишель.— «Хоть двадцать раз Фитцсиммонса, будь он проклят, но это черт знает, что такое!» — вопил по-русски дон Педро. Елена Федоровна визжала. Служители выносили англичанина, взяв его за руки и за ноги. Менеджер негра повис на его шее. В зале стоял оглушительный зверский рев.

---

[1] «Сядьте! Сядьте!» *(франц.)*

IX

Жюльетт, Мишель и Витя вернулись в Париж из Довилля в жаркое пыльное утро. По пути с вокзала, в автомобиле, Мишель, со снисходительным вниманием парижанина к провинциалу, называл Вите улицы и здания. Витя послушно восхищался, поглядывая на счетчик. «Нас трое, но заплатить надо будет половину: барышни не платят»,— соображал он; денег Муся, все по педагогическим соображениям, дала ему немного, ссылаясь на то, что скоро сама вернется в Париж.

Жюльетт молчала. Она и в поезде за всю дорогу едва вымолвила несколько слов: так и просидела три часа в углу купе, уткнувшись в книгу, в которой иногда, спохватившись, перевертывала страницы.

По приглашению хозяев и по настоянию Муси, Витя должен был остановиться на квартире Георгеску. Дом встретил их неприветливо. Шофер отказывался носить вещи на четвертый этаж, молодым людям пришлось ему помогать, Витя оцарапал руку до крови о зазубренную скобку чемодана. Неуютно было и в квартире со сдвинутой мебелью, с задернутыми занавесками: ее только что отремонтировали, было душно, сильно пахло краской и нафталином. Жюльетт надолго заняла ванную комнату. Перевязать палец было нечем, Витя запачкал кровью костюм, полотенце, наволочку подушки и сам был себе гадок, как убийца. Чемодан его был слишком полон, вещи уложены плохо, все смялось. «А ведь, кажется, в Довилле ничего не покупал». Он надел свой лучший костюм,— у него всегда было именно одним костюмом меньше, чем нужно. «Есть же люди, у которых все в полном порядке, от совести до чемоданов». Одеваясь, Витя угрюмо думал, что на нем все поддельное: часы томпаковые под золото, костюм полушерстяной под шевиот, галстух искусственного шелка. Только подаренные Мусей запонки были настоящие, но их он далеко запрятал на дно чемодана.

Жюльетт приоделась и ушла, ни о чем не условившись с молодыми людьми и даже не простившись с ними. Когда дверь за ней захлопнулась, Мишель только пожал плечами с деланно-веселым видом: он привык к независимому характеру сестры, ко всяким ее выходкам, но все же недоумевал и злился. У него у самого, по его словам, была в Париже «тысяча дел» (Витя немного в этом сомневался). Они уговорились встретиться дома в семь часов вечера.

— Вот вам ключ от входной двери... Вы, конечно, пойдете осматривать Париж,— сказал Мишель; он дал несколько полезных указаний и попросил Витю купить на обратном пути кое-что по хозяйству.— Пожалуйста, извините, что утруждаю вас, у меня сегодня до вечера ни единой свободной минуты...

Витя погулял по городу, стараясь не отходить очень далеко от дома. На извозчика тратиться не приходилось,— надо было беречь деньги на предстоявший ночной кутеж. В автобусах и трамваях он не разбирался, несмотря на приобретенный еще в Берлине старый русский путеводитель по Парижу с картами и планами; указания Мишеля тотчас позабыл. Есть ему не хотелось, однако он зашел во втором часу в маленький ресторан, прочитав на дверях, на бумажке, список блюд, выписанный расплывшимися фиолетовыми чернилами: цены были приемлемые. Витя позавтракал, стараясь восхищаться парижской кухней. Долго изучал карту вин, стараясь запомнить названия белых и названия красных, какие бордосские, какие бургундские. После завтрака еще побродил по улице, наблюдая «разлитое в воздухе неуловимое изящество Парижа», о котором говорил путеводитель. В действительности все казалось ему грязноватым, потрескавшимся, недокрашенным. Мысль о том, что у них было условлено с Мишелем, все время волновала Витю. Память подсказывала ему мелодию грота Венеры. Сходство с Тангейзером было очень приятно. Но поэзия была и в пении хора пилигримов. Он колебался: каков его удел,— пилигримы или грот? Все это мешало ему изучать Париж. Витя то и дело поглядывал на часы. Гулял он довольно долго,— стыдно было возвращаться домой: столько интересного! Он смотрел *на настоящих парижан*, останавливался у витрин разных магазинов,— белья, шляп, книг, произведений искусства. Следовало бы купить многое, но денег на это не было.

В одной антикварной лавке его внимание привлекла картина, изображавшая Парижский Собор Богоматери. Витя мельком видел этот собор: по пути из Берлина в Довилль, часа три пробыл в Париже и успел на последние деньги покататься по городу. Он долго стоял перед витриной, не мог свести глаз с картины. Собор на ней был другой, но, быть может, еще лучше настоящего. «Странная картина... В чем же дело? Ни об одном искусстве собственно нельзя судить, если не знаешь его техники...» В нижнем углу полотна четким аккуратненьким почерком была выведена фамилия художника, иностранная и незнакомая Вите. Его удивило соче-

тание с иностранной фамилией французского имени «Морис» и то, что после «Морис» была запятая. В дверях показался приказчик.

— Сколько стоит эта картина? — робко спросил Витя.

— Сто франков,— ответил приказчик, оглядев его.

Витя вздохнул и отошел. Цена картины показывала, что он ошибся: художник незначительный. Но и сто франков были Вите не по карману. Он зашел в лавку съестных припасов, купил заказанное Мишелем и вернулся домой.

Дома он с жадностью съел апельсин, запил тепловатой водой из-под крана, осмотрелся получше в квартире,— при хозяевах было неловко. Мебель тоже была вроде его вещей: дешевая под дорогую. Особенно не понравилась ему неестественная, как бы театральная, гостиная. «Сюда бы еще стену с нарисованными переплетами книг... Да, не только Кременецкие, но и мы в Петербурге жили побогаче»,— подумал Витя почему-то с некоторым удовольствием. Он заглянул в комнату Жюльетт и вздохнул. Квартира была неприятная, все же у молодых Георгеску был свой угол. Так одинокий холостяк с завистью смотрит на жизнь чужой семьи, догадываясь, что и в ней, должно быть, не все мило и уютно. Делать Вите было нечего. Ему самому было странно, что он скучает в первый день своего пребывания в Париже,— так хотелось сюда попасть. «Разве в Лувр поехать? Для музеев времени еще будет достаточно. Уж очень жарко... К Брауну раньше пяти никак нельзя». Он непременно хотел повидать Брауна, и Муся сказала, что он должен зайти к Брауну с визитом,— но именно это слово напугало Витю; с визитом, по его мнению, можно было отправиться только в пять часов. Сидеть было негде: на диванах, на креслах был рассыпан нафталин. Витя лег на постель, опять с неприятным чувством заметив пятно от крови на наволочке, пробежал газету, встал и неожиданно для самого себя позвонил по телефону Тамаре Матвеевне.

Он не успел ее повидать по пути в Довилль и чувствовал, что Муся была этим не совсем довольна. «Собственно, за три часа ты отлично мог заехать к маме»,— сказала она как-то вскользь на пляже. «Заехать,— мысленно отметил Витя.— У меня после той прогулки оставалось в кармане семь франков...»

Тамара Матвеевна чрезвычайно обрадовалась телефонному звонку Вити. Он хотел было выразить ей соболезнование по случаю кончины Семена Исидоровича, но раздумал. Витя дал по телефону первый отчет о Мусе, об ее здоровье, о том, как она проводит время. Тамара Матвеевна не отпускала его от аппарата.

— ... Да, конечно, Витенька, приезжайте ко мне сегодня же, я так хочу вас видеть. Да хоть сейчас... Нет, я не отдыхаю, я очень рада! Так вы будете помнить: метро Буассьер, оттуда очень близко. Я вас жду, голубчик!

Витя с облегчением повесил трубку; в этом огромном городе нашелся близкий, хоть старый и скучный, человек: Мишель, Жюльетт были все-таки чужие, да в сущности и не очень приятные люди. «Кажется, надо было сказать хоть несколько слов об ее несчастье. Но по телефону неловко. Я ведь написал им из Германии в Люцерн длинное письмо...» Он был тогда очень поражен кончиной Семена Исидоровича, которого искренне любил.

В подземной дороге все сошло благополучно. Витя не ошибся при пересадке, попасть на станцию Буассьер оказалось не так трудно, как можно было думать. Легко разыскал он пансион, показавшийся ему крошечным и бедным после довилльской гостиницы Клервиллей.

Тамара Матвеевна прослезилась, увидев Витю. Он едва ее узнал,— так она изменилась. В небольшой, тесно заставленной комнате, везде, на камине, на столе, на ночном столике стояли фотографии Семена Исидоровича. Одна из них, где Кременецкий был изображен во фраке, особенно взволновала Витю и необыкновенным сходством, и тем, что на картоне были выдавлены буквы имени петербургского фотографа. Витя вспомнил Невский, отца, свое первое появление в доме Кременецких, в тот вечер, когда у них пел Шаляпин,— и также прослезился, целуя руки Тамары Матвеевны.

Тамара Матвеевна все не могла привыкнуть к тому, что жизнь в мире не изменилась после кончины Семена Исидоровича. Газеты писали о каких-то событиях, о которых Семен Исидорович не знал, в пансионе за столом разговаривали и смеялись люди, в городе действовали театры, ходили трамваи, автобусы. Тамара Матвеевна понимала, что это не может быть иначе, что удивляться этому совершенно нелепо. Но внутренне она не могла примириться с полным равнодушием мира к катастрофе, навсегда разбившей ее жизнь. Ей было не с кем и поговорить. Муся в последние дни неохотно шла на разговоры об отце. Тамара Матвеевна давала этому какое-то сложное психологическое объяснение. Она не допускала мысли, что Муся просто об отце забывает, что ей некогда о нем думать; когда это подозрение все же закрадывалось в душу Тамары Матвеевны, она гнала его со стыдом и ужасом.

После отъезда Муси на море не оставалось и вообще ни-

кого. Немногочисленные парижские знакомые не показывались. Близких среди них у Кременецких не было, но были люди, которые захаживали бы, если б был жив Семен Исидорович. Тамара Матвеевна сама по себе, без мужа, точно и не существовала. Все отдавали должное ее чувствам и, после первой недели визитов соболезнования, все говорили, что ее лучше оставить одну.

С Витей она отвела душу. Тамара Матвеевна долго, подробно, бессвязно рассказывала о Семене Исидоровиче, об его болезни, об его последних днях, плакала и просила извинить ее. Витя сначала слушал с волнением, потом стал немного скучать. Он спросил о Мусе,— как она узнала о смерти отца, как перенесла горе (в Довилле Муся ему об этом сказала очень кратко).— «Ах, она так убивалась. Я думала, она с ума сойдет!» — с жаром ответила Тамара Матвеевна.

Потом разговор перешел на довилльское времяпрепровождение Муси. Витя чувствовал, что говорить надо грустно, и изобразил их пребывание на море в траурном тоне: Муся делала только то, что было строго необходимо для поддержания здоровья, купалась по требованию врача, поддерживала силы морским воздухом и весь день говорила с ним о Семене Исидоровиче. Вите было стыдно, что он так лжет; но Тамару Матвеевну его слова, видимо, утешили чрезвычайно. «Бедная моя Мусенька, несчастная девочка! — умиленно говорила она.— Но она, должно быть, ужасно выглядит!» — «Нет, вид у нее недурной,— отвечал Витя,— морской воздух берет свое». Поговорили они о Клервилле. В словах Тамары Матвеевны Витя с некоторой радостью почувствовал недоброжелательство, хоть она осыпала Клервилля похвалами.

— Он такой джентльмен, Вивиан... И потом такой красавец! — говорила Тамара Матвеевна; на лице ее выступило однако не шедшее к словам отвращение.

— Он очень красивый человек,— нехотя соглашался Витя...

— Мусенька так с ним счастлива.— Тамара Матвеевна вопросительно смотрела на Витю.— Это редкий джентльмен!

— Да...

— Да... Мое единственное утешение, что они так счастливы... Ну, а этот их друг? Этот Серизье... Он все еще с ними? — вдруг испуганно спросила Тамара Матвеевна. Витя изменился в лице.

— Нет, он вчера вернулся в Париж.— «Не может быть! Конечно, я тогда ошибся: он просто прикоснулся случайно к ее руке»,— твердо объявил себе Витя.— Вчера вернулся,

у него дела,— сказал он и, встретившись взглядом с Тамарой Матвеевной, опустил глаза.

— Мне он почему-то не особенно нравится,— тоже смущенно заметила Тамара Матвеевна.— Хотя, конечно, он очень замечательный человек... Он со временем будет, говорят, главой французского правительства. Я очень рада, что *Вивиан* так с ним сошелся,— добавила она, снова взглянув на Витю.

— Этого я не думаю. До социалистического кабинета во Франции еще очень далеко,— сказал Витя, как бы отвечая на вопрос о будущем Серизье. Они вяло поговорили о политических событиях. Тамара Матвеевна по утрам читала газеты, больше потому, что так делала при жизни Семена Исидоровича. Вите, к его удивлению, показалось, что Тамара Матвеевна говорит теперь о политике тверже, свободнее, даже по форме определеннее, чем в прежние времена (прежде она, например, не употребила бы выражения «глава правительства»). Он объяснил себе это именно исчезновением Семена Исидоровича, авторитет которого раз навсегда подавил его жену. Это замечание показалось Вите тонким. «Что если б я стал писателем?» — вдруг поразила его мысль. Он взглянул на часы и стал прощаться. Тамара Матвеевна просила посидеть еще немного. Они опять заговорили о Семене Исидоровиче.

— Он и вас, Витенька, очень, очень любил... И вашу бедную маму, и вашего отца... Вы не имеете о нем известий?.. Я думаю, с ним все благополучно,— говорила со слезами Тамара Матвеевна.— Послушайте, Витенька, останьтесь у меня обедать.

— Благодарю вас... К сожалению, не могу. Я хочу еще заехать с визитом к профессору Брауну, а потом условился встретиться с Мишелем.

— С кем? Ах, да, тот молодой человек.— Тамара Матвеевна видела один раз румынских друзей Муси; они сделали ей визит. Ей было странно, что она знает людей, которых не знал Семен Исидорович.— Ну, хорошо, тогда завтра приходите ко мне завтракать. Чем вы меня стесните? Мне с вами было так приятно... Я просто скажу хозяйке пансиона поставить лишний прибор. Здесь кормят сносно, а в ресторанах в такую жару вас еще отравят, голубчик,— говорила, вытирая слезы, Тамара Матвеевна.

X

За дверью играла музыка. Витя с тревожным удивлением прислушался: звуки показались ему знакомыми, это играла в Петербурге Муся. «Ах, да, вторая соната Шопена...

Далась же им эта соната, с надоевшим маршем! А звук какой-то не живой, верно механическое пианино?..» Он нерешительно постоял у двери, потом позвонил. Ему и хотелось повидать Брауна, и было немного не по себе. Звонок прозвучал резко. Музыка тотчас оборвалась.

Дверь отворила нарядная горничная. Она ласково оглядела Витю и не без недоумения взяла у него визитную карточку. Карточка,— без адреса, не гравированная, а печатная — конфузила Витю. Но без нее фамилию перепутали бы,— еще не примет. Горничная попросила его войти в библиотеку. Это была большая, довольно мрачная, комната, сплошь заставленная по стенам книжными шкапами черного дерева. Окна выходили в запущенный сад; Браун жил в небольшом павильоне, стоявшем в глубине двора. Никаких картин, безделушек, украшений в библиотеке не было. Посредине комнаты у круглого стола стояли кожаный диван и два покойных кожаных кресла.

Витя подумал, сесть ли? — и решил не садиться. Остановился у шкапа, посмотрел на книги. С края стояли большие толстые томы Декарта, плотно прижатые один к другому; их ровный раззолоченный строй ласкал глаз. Много было книг философских и исторических, особенно по истории 17-го века. Витя со вздохом подумал, что у него, верно, никогда не будет такой библиотеки. Ему показалось, что в одинокой, печальной жизни Брауна, всецело отданной умственному труду, должно быть большое очарование. «Но женщины?.. Странно, что у него молодая, хорошенькая горничная. Глаза у нее очень красивые, такие были у Сонечки, но светлее... Неужели она его любовница? Конечно, нет!..» Витя отошел к другому краю шкапа. На левом конце полки были философские книги. «Платон... Плотин... Как странно, что такие похожие имена... Что такое еще было в этом роде?.. Ах, да, те Левиен и Левине... Все-таки хорошо, что я попал во Францию... Диоген Лаэртский... Кажется, был такой, а кто он был, хоть убей, не знаю!..»

Витя отворил боковую дверь и, остановившись на пороге, с умилением увидел, что в соседней комнате лаборатория. «Да, это и есть настоящая, достойная жизнь... Но я, если б и хотел, если б и мог ею жить, то бедность все равно не позволила бы...» В лаборатории стоял легкий эфирный запах. Вите бросился в глаза огромный мрачный вытяжной шкап. Перед ним стоял высокий табурет, тоже какой-то неуютный. Что-то кипятилось на бунзеновской горелке. Огонь под укрепленной в штативе колбой на песочной бане особенно взволновал Витю. В огне этом было что-то сумрачное, безнадежное и вместе успокоительное. «Ах, как хорошо! Как

на гравюрах об алхимиках. Вот бы взял он меня на службу!.. Опять работать под его руководством...» Витя вспомнил их мастерскую нитроглицерина. «Все-таки очень приятно, что то было, но кончилось. Я не показывал этого, но уж очень было страшно. Странно: в Петербурге папа... Если он еще жив?..— сердце резнула боль,— Витя был почти уверен, что отец его погиб, однако, никогда этого не говорил и старался об этом не думать,— в Петербурге папа, в Петербурге прошла вся моя жизнь, но я рад и счастлив, что бежал оттуда...» Он услышал шаги в коридоре и затворил за собой дверь лаборатории. В библиотеку вошел Браун. Витя замер. «Господи, как он изменился... как поседел!..» Браун с улыбкой протянул ему руку.

— Очень, очень рад вас видеть. Давно ли вы в Париже? Я не знал, что вы здесь.

Он говорил любезно, даже ласково, но так, точно они расстались недели три тому назад, в самой обыкновенной обстановке. Витя отвечал на его расспросы смущенно: он ждал другого приема.

— ...Да, конечно, я знал, что вы выбрались из России благополучно. Мне говорила об этом Марья Семеновна. Но я думал, что вы поселились в Берлине. Садитесь, пожалуйста... Так вы гостили у Клервиллей на море?

— Да, гостил у них на море, а теперь я здесь,— ответил Витя, садясь в кресло и неловко кладя руки на колени. Огорчение и разочарование его все росли. Конец фразы показался ему глупым. «Но не все ли равно?.. Нет все-таки он не должен был так меня принимать. Ровно пять минут посижу и уйду...»

— ...Что ж, вы здесь поступите в университет?

— Да, может быть.

— До начала занятий еще далеко.

— Да, конечно... Впрочем, едва ли я поступлю в университет.

— Почему же нет?

— Я, может быть, отправлюсь в армию.

— Вот как? — Браун, по-видимому, одинаково безучастно принял оба сообщения: и то, что Витя отправляется в армию, и то, что он поступает в университет.— В армию? Вот как?

— Да...— Витя почувствовал, что ему с досады хочется сказать: «Да, вот как...» — Вы мне это когда-то советовали.

— Я?

— Вы, Александр Михайлович. Вы говорили в Петербурге Мусе... Марье Семеновне. Она это от меня скрывала, но как-то проговорилась.

— С тех пор многое изменилось.

— В каком отношении?

— Во всех.

— Я не вижу.— Витя замолчал безнадежно. «Так можно разговаривать до вечера: «вот как... да... нет... во всех...» Господи, как он изменился! Эти неживые глаза... Ну, теперь пусть он сам меня спрашивает, если находит нужным поддерживать разговор...» Однако молчать было неудобно.— Вы думаете, Александр Михайлович, что не следует участвовать в гражданской войне?

— Кому следует, кому не следует... За вас думать я не могу.— Голос его вдруг прозвучал резко. Витя встрепенулся: этот резкий тон, прежний петербургский тон Брауна, был ему приятнее усталого безразличия.— Если поедете туда, то, по всей вероятности, погибнете. А вам рано. Не советую вам заниматься политикой, но уж если непременно хотите, то занимайтесь ею так, как люди занимаются шахматами или гольфом.

— Из-за гольфа люди на смерть не идут!

— И слава Богу. Жизнь стоит недорого, но, поверьте, нет и ничего такого, из-за чего стоило бы ее отдать в молодости... Да и испортитесь вы там; в пору революций и гражданских войн даже порядочные люди обычно ведут себя как разбойники... Не хотите ли чаю?

— Если позволите, выпью охотно.

— Я сейчас велю подать. А впрочем, теперь для чая не время, да и жарко. Я лучше угощу вас перно со льдом. Вам все равно?

— Выпью с удовольствием и перно... Хоть собственно я не знаю, что это такое.

Браун чуть улыбнулся, Вите стало немного легче. «Растаял, кажется, лед... Впрочем, и льда никакого не было. Просто я ему совершенно не интересен, как я не интересен никому и как ему не интересен никто... Однако, у него в этом шкапчике целый бар! Тоже хорошо бы иметь. Странно, как это уживается с Платонами и с лабораторией?»

— ...Долго вы гостили у Клервиллей?.. Добавьте льду и пейте, но не сразу... Как они?

— У них все благополучно.— Витя послушно отхлебнул большой глоток помутневшей ото льда желто-зеленой жидкости. Она показалась ему отвратительной.— Очень вкусно. Это анисовый apéritif?

— Да... Хорошая погода была в Довилле?

— Прекрасная.

— Вы купались?

— По два раза в день...— Витя отхлебнул второй

глоток, еще больше.— Александр Михайлович, а как же?..

— Что как же?

— Как же наша тогдашняя работа в Петербурге? Не вышло?

— Значит, не вышло. Вы только теперь это заметили?

— Нет, конечно... Не шутите, Александр Михайлович, ведь я вас с той поры не видал!

— Благодарите Бога, что ноги оттуда унесли!

— Я отчасти должен благодарить за это и вас. Ведь вы меня тогда спасли этим паспортом, наставлениями, деньгами...— Витя чувствовал, что у него вдруг стал развязываться язык.

— Это как сказать. Ведь я же вас и ввел тогда в организацию. Может быть, и не должен был этого делать.

— Вы сожалеете? Я — нет! Нет, я не сожалею!

— И я не очень жалею. Не пейте так быстро, это крепкий напиток... Отчего же вы уехали из Довилля так рано? В Париже жарко. Марья Семеновна еще там? Она тоже купается?

— Да, мы купались вместе...

— И долго они еще там пробудут?

— Еще недели две, если погода будет хорошая...

— А потом в Париж?

— Да...

— Что поделывает мой приятель Клервилль? Говорят, он на пути к блестящей карьере?

— Не знаю... Я его видеть не могу! — сказал неожиданно Витя, тотчас ужаснувшись собственным словам. Браун посмотрел на него и снова улыбнулся.— Нет, Александр Михайлович, я не сожалею о наших петербургских делах. Пусть нам не повезло, но ведь идея была большая!

— Все идеи большие для тех, кто им служит... И пока служит. Нет такой идиотской идеи, которая не годилась бы для соблазна людей. Ведь у большевиков тоже «большая идея». Правда, обезьянья, да обезьяньи-то для этого, пожалуй, самые лучшие... Попробуйте печенья, оно очень хорошее.

— Почему обезьяньи лучшие?

— Я говорю так, не каждое слово записывайте... Значит, Клервилли возвращаются в Париж еще не скоро?

— Нет, не обезьяньи, Александр Михайлович. Есть и настоящие идеи, те, которым служили лучшие люди, люди, бывшие совестью человечества...

— Ох, уж эти люди, бывшие совестью человечества... От них все зло... Вот эту штуку с орехом советую взять.

— Спасибо,— сказал Витя с досадой и все-таки взял штуку с орехом, хоть она мешала ему высказаться.— Вы,

Александр Михайлович, ни во что не верите! Ведь это нигилизм? — Несмотря на кружение в голове, он не без робости выговорил это слово. «Не дерзко ли? Нет, дерзкого ничего нет... Но мне непривычно *так* с ним говорить...» — Вы меня, ради Бога, простите, Александр Михайлович!

— Ничего, ничего... Нет, это не нигилизм. Я не нигилист, да если б и был нигилистом, то вас, мальчика, не стал бы этим портить. Я вас только предупреждаю. Не очень вообще верьте в человеческий энтузиазм: ни в «чудо-богатырей», ни в «божественную лихорадку тысяча семьсот девяносто третьего года». Это вранье.

— Все вранье?

— Три четверти. Вранье или условная безобидная нелепость: так абиссинский император называется царем царей... А то, что не вранье и не нелепость, то просто выдохлось и никому больше не интересно.

— Что ж, на смену прежним богам приходят новые,— сказал Витя, сам себе удивляясь: так легко произносились им теперь самые страшные слова, которых он до Pernod никогда себе не позволил бы.— Старое рождается, новое... Старое умирает, новое рождается...

— Рождается, да дрянное. Человечество в самом деле собирается переменить игрушки. Но игры нашего поколения были все же не такие глупые и грязные... На моих глазах человечество шло не вперед, а назад. Может быть, это случайность, но это так. Да, назад и все назад! Значит, неудачно родился... Неудачно родился,— повторил он.— Ну, да довольно об этом.

Он замолчал. Его лицо потемнело, еще усилилось на нем то выражение, которое Витя мысленно назвал отрешенностью.

— Вы давно здесь живете, Александр Михайлович? Какая у вас прекрасная квартира!

— Давно. Здесь и умру.

— Это ведь никто сказать не может. Особенно теперь.

— Особенно теперь,— повторил Браун, видимо не слушая.

— Простите, что я обо мне, но чего бы я не дал, чтобы узнать, что со мной будет лет через десять.

— Да.

— И с Россией, с миром... Разве вам, Александр Михайлович, не интересно?

— С миром? Мир теперь le cadet de mes soucis [1]. Пусть он идет к черту.

---

[1] Меньше всего меня занимает *(франц.)*.

— Ну, так хоть с вами? — озадаченно спросил Витя. «Пусть он идет к черту!..» А говорит, что не нигилист...»

Браун молча на него смотрел безжизненным взглядом. «Все-таки, это странная манера! Хоть бы сказал, наконец, еще что-нибудь»,— подумал Витя с тревогой.— Я думаю...

— *Свое* будущее предвидеть иногда можно,— перебил его Браун.— Разумеется, не каждому. Кто много жил, тот может себя довести до предвиденья... Вот сны, например. Ведь от сна до безумия только волосок... Что это такое?

— Это вам, ученым, лучше знать,— ответил Витя и развязно, и несколько сконфуженно: ему обычно снилась всякая ерунда.

— Науке об этом ничего не известно. Она не знает даже, как к этому подступиться. Сны вне законов природы, или же законы их непостижимы. А мне в снах открывалось многое.

— Но как же вы можете знать, что...

— Случалось и без сна. Иногда случалось,— разумеется, только ночью и в очень тяжелые ночи... Кофе, музыка очень этому способствуют. Это и есть вдохновенье, а не то, о чем врут поэты, чего они ждут, корпя над своим рукодельем. Радости от этого мало. Да и ясности немного. Ведь и зная, ничего не поймешь. Зачем было все это? Into this wilderness, and why not knowing» [1],— медленно проговорил он.— А в будущем что? Вот как знаменитая артистка Жорж окончила свои дни содержательницей общественной уборной,— сказал Браун и точно опомнился.— Да, да, Бога благодарите, что ноги унесли из того петербургского пекла.

— Я знаю, но и здесь плохо.

— А что? Влюблены и несчастны?

— Что вы!

— В чем же дело?

— В том дело, что нет дела... Извините дурной каламбур. Мне делать решительно нечего, Александр Михайлович.

— Средств у вас, конечно, никаких нет?

— Никаких, я живу на средства Марьи Семеновны,— произнес, побагровев, Витя.

— Вы говорите так, точно вы у нее на содержании. Что ж тут дурного, если ваши друзья вам помогают?

— Это не так просто... Можно мне выпить еще?

— Нет, нельзя.

— Я хочу сказать... Александр Михайлович, сделайте милость, помогите мне найти работу.

---

[1] «В этой глуши, кто ведает зачем» *(англ.)*.

— Какую?

— Все равно. Мне предлагают стать статистом в кинематографе, но мне стыдно...

— Стыдного в этом ничего нет.

— Да и об этом приходится просить, кланяться! А этого я не выношу! («Говорю, что не выношу, а его прошу! Но его можно...»)

— Я подумаю. Ведь вам однако надо учиться. Если Марья Семеновна готова вам помогать три-четыре года, то, быть может, лучше принять ее помощь, чтобы кончить университет, а? Этот долг вы ей потом отдадите. Вы не хотите, чтобы я поговорил с Клервиллями?

— Нет, нет!.. Ни в каком случае! Это не так просто... Я очень, очень вас прошу, Александр Михайлович.

— Я подумаю. Вполне одобряю, что вы стараетесь оберечь свою независимость. Дороже нет ничего в жизни, помните это. И чем талантливее человек, тем ему труднее независимость достается: тем больше людей, посягающих на нее. Немногие устояли против соблазна до конца... Расин, говорят, умер от немилостивого взгляда Людовика XIV.

— Я не знал...

— Вероятно, это выдумка, но ведь интересно и то, *как* лгут о больших людях... Я подумаю о работе для вас. Говорю это не для того, чтобы отвязаться: «буду вас иметь в виду, если что представится». Я в самом деле о вас подумаю. Надо найти для вас такую работу, которая давала бы вам возможность учиться, ходить на лекции или, по крайней мере, сдавать экзамены.

— Диплом мне не нужен.

— Нужен,— сказал Браун.— Такую работу найти довольно трудно. Но я постараюсь это сделать. Вот что, наведайтесь ко мне через неделю... У вас есть телефон? Пожалуйста, оставьте мне ваш телефон и адрес.

— Я буду несказанно обязан вам, Александр Михайлович,— сказал, вставая, Витя. «Несказанно обязан» было от Pernod, но он и в самом деле был в восторге.— Не хочу больше вам мешать.— Запишите же телефон и адрес,— повторил, не удерживая его, Браун.

XI

В Регенсбурге, в 1630 году, был назначен имперский сейм для разрешения многочисленных важных дел. Война шла двенадцать лет, и конца ей не было видно. Грабежи, налоги, поборы разорили Германию. Между тем, дело все запутывалось, и никто уже не мог бы толком объяснить,

из-за чего собственно воюют князья: были лютеране на стороне императора Фердинанда, были католики в лагере сторонников реформы. Говорили, что курфюрст баварский, ревностный католик, вступил в тайные сношения с французским двором; между тем Франция оказывала поддержку князьям лютеровой веры. Мира хотели почти все князья, но большая часть их находила, что для умиротворения страны прежде всего необходимо иметь мощную армию.

Всем, впрочем, было известно, что главное, первое, самое важное дело сейма: как угодно, но во что бы то ни стало, избавиться от Валленштейна. Он стоял во главе императорской армии, и кормил ее будто бы на свои средства, то есть не требовал на это денег из венской казны. В действительности же, все брал у князей и у населения тех земель, по которым проходили его войска: говорил, что так и быть должно, ибо кормит войну война,— и всех извел поборами, а еще больше своей гордостью, пышностью своего двора, подобного которому не было у самых богатых курфюрстов. Одни князья хотели назначить главнокомандующим венгерского короля, другие — курфюрста баварского, но на одном все стояли твердо и единодушно: император должен уволить герцога Фридландского в отставку. При этом, у всех было сомнение: подписать приказ об увольнении легко, но уйдет ли в отставку Валленштейн, если приказ и будет подписан? Армия же его стояла совсем близко: в Меммингене.

Курфюрсты и князья, прелаты и графы, благородные люди и городские советники начали съезжаться в Регенсбург в июне. И так было всем грустно и беспокойно, что немного времени заняли сложные вопросы этикета: кому где сидеть? Ведавшие этим старики, помнившие не один сейм, с двух-трех заседаний порешили, что рядом с майнцским курфюрстом в первый день сидеть курфюрсту трирскому, а во второй — курфюрсту кельнскому. Остальное пошло совсем гладко.

В среду 29 июня с часу дня стали проезжать, по пути ко дворцу архиепископа, разные повозки и коляски. Население города дивилось обилию и роскоши поезда, числу императорских слуг,— их было до трех тысяч. К общему горю, стал накрапывать дождь. Советники в черных шелковых костюмах, с золочеными цепями, заволновались,— как теперь сойдет прием, ведь они ни в чем не виноваты!

Стрелка городских часов уже подходила к трем, когда показался отряд венгерских телохранителей императора,— у их серых коней хвост, грива и копыта выкрашены были в красный цвет. за ними следовали коляски, одна лучше дру-

гой, и, наконец, квадратная, раззолоченная, запряженная шестериком карета. В ней на почетном месте сидел император Фердинанд, а против него императрица Элеонора, оба в шелковых одеяниях итальянской моды, одного серебряного цвета.

Поезд остановился у кордегардии. Пажи, в черных бархатных костюмах, отворили дверцы. Бургомистр, с должным числом поклонов в пояс и до земли, приблизился к карете и, по обычаю, поднес императору ключи города и подарки: кусок сукна, вино, сено и рыбу. Жена бургомистра произнесла выученное назубок приветствие императрице и не сбилась даже в конце его, хоть очень замысловатый конец выдумал старый советник, знавший придворные обычаи: «...И если не могу я, недостойная, поцеловать Вашему Величеству руку, то да будет мне дозволено поцеловать ногу Вашего Величества». Оказалось, однако, что старый советник не так уж знал обычаи венского двора и только осрамил Регенсбург, ибо полагалось жене бургомистра прикоснуться губами не к руке и не к ноге, а к подолу платья императрицы. Встреча не очень удалась. Император был в дурном настроении — из-за дождя, из-за утомительной дороги, из-за того, что у заставы его не встретили курфюрсты. Улыбался советникам в обрез,— видом своим показал, что доволен Регенсбургом, но не слишком доволен. Пажи захлопнули дверцы кареты, поезд двинулся дальше.

Сейм же открылся нескоро. После молебствия в соборе св. Петра, император, в тяжелой отороченной мехом мантии и в короне, держа у плеча, как ружье, скипетр, оглядываясь по сторонам, вытирая бархатным платком лоб, щеки, короткую седоватую бороду, прошел в зал, сел на крытый красным бархатом трон и, чуть наклонив голову направо и налево, открыл первое заседание: имел к своему делу большую привычку. Камерарий сделал перекличку лицам духовным и светским.

Императорское послание было туманное, ибо сочинивший его канцлер Верденберг знал толк в политике: ничего в послании не сказал. Говорилось в нем, что император всей душой жаждет мира, но это его желание не у всех находит отклик. А потому о сокращении армии, к несчастью, не может быть и речи, как ни искренно миролюбие его величества. Первый с ответом выступил курфюрст майнцский Ансельм-Казимир, и так как он тоже был опытный политик, то ничего не сказал и курфюрст, зная, что не на заседании в большом зале, перед сотнями людей, решаются важные дела: заседания же и послания, да и весь сейм, нужны больше потому, что это очень приятно благородным людям и

городским советникам. О герцоге Фридландском не было сказано ни слова, точно его и не существовало на свете. И только позднее, в покоях архиепископа, где остановился император, началось настоящее политическое дело: переговоры, торг, вежливый шантаж и контршантаж пяти-шести человек, от которых все зависело на сейме.

Потом город дал обед в честь императора Фердинанда. Сошел обед невесело. Император, человек нездоровый и печального нрава, почти ни к чему не прикоснулся из поданных тридцати блюд, даже к утке, утопленной в старом венгерском вине, зажаренной с гвоздикой и с ароматами, начиненной трюфелями и посыпанной золотой пылью. Многие гости, особенно дамы, заметили, что после утки и рыбных блюд император, и императрица, и венгерский король, и эрцгерцогиня не облизывали пальцев, а вытирали их о скатерть; те из гостей, что побойчее, тут же переняли эту новую французскую моду. Государственные же люди обратили внимание на то, что после десерта был к его величеству подозван и долго с ним беседовал непобедимый баварский полководец граф Тзерклас Тилли — маленький, сухенький, остроносый старичок, который за обедом ел только хлеб и овощи, к вину не притрагивался и на обедавших поглядывал исподлобья с злобным презрением. Государственные люди тотчас сделали вывод, оказавшийся вполне правильным: так как император не хочет назначать главнокомандующим баварского курфюрста, а курфюрсты не желают императорского сына, то, верно, все сошлись на графе Тилли: именно он и будет назначен преемником герцога Фридландского.

Император же был грустен и после разговора. Ему и нужно, и страшно было расстаться с Валленштейном. Не хотелось и уступать желанию сейма. И вид его показывал, что он недоволен Регенсбургом, но не слишком недоволен. Грусть же императора передалась курфюрстам и князьям, прелатам и графам, благородным людям и городским советникам.

Отряд католиков, направлявшийся в Регенсбург для вступления в армию графа Тилли, последнюю остановку сделал недалеко от Меммингена. Гостиницы в городке были, наверное, переполнены, хозяева везде драли немилосердно, погода стояла жаркая, и решено было в Мемминген не заезжать, а весь остаток дня и ночь провести в лесу вблизи большой дороги. Съестные припасы были на исходе. Драгун Деверу — родом ирландец, много поездивший по Европе и знавший разные языки (понимал даже и по-латыни),—

взялся съездить в городок и привезти все нужное. Отряд составился в пути, из случайно встретившихся людей; в большинстве, они не знали друг друга, однако Деверу поверили: деньги не очень большие, а подсыпать отраву в вино ему расчета нет. Ехать же в одиночку, или даже вдвоем, да еще лесом, никому не хотелось.

По дороге в Меммінген, Деверу подкреплял себя водкой; но с ним ничего не случилось. Только на опушке леса увидел он дерево, увешанное людьми. Казненных было человек пятнадцать,— очевидно, все провинившиеся солдаты, так как разбойников и дезертиров никогда на зеленом дереве не вешали, а не иначе, как на сухом или на виселице. Не то, чтоб Деверу испугался, но смотреть было неприятно,— провиниться мог каждый,— он выпил еще водки и хлестнул лошадь.

Свое поручение выполнил он в Меммингене вполне честно: ни одним грошем товарищей не попользовался, с лавочниками торговался долго и жестоко, а мяснику велел поклясться памятью матери, что колбаса не из человечьего мяса,— его теперь подсовывали всюду,— и в дополнение к клятве ясно намекнул, что в случае какого обмана зарежет. Угроза была непозволительная и не очень страшная: герцог Фридландский поддерживал порядок в городке, не церемонясь с преступниками. Но лицо у драгуна было такое, что связываться с ним никому не хотелось. Мясник, впрочем, человечьим мясом не торговал, вел дело честно и сдачу заплатил правильно. Деверу долго ее проверял. Одна монета вызвала в нем сомнение: был на ней изображен сам герцог, а на обороте вокруг гербового орла вилась надпись крупными буквами: «Dominus protector meus [1]». Деверу не знал, что Валленштейн чеканит свою монету. «Вот куда зашел человек! — с завистью подумал он,— а ведь был простой солдат, как я!..» Вина он купил разные, и каждое пробовал в интересах товарищей. Под конец он стал очень весел и булочнику сообщил, что в Регенсбурге ждут его очень важные особы, и что, по всей вероятности, он скоро приобретет капитанский патент в армии графа Тилли. На что булочник недоверчиво, но почтительно ответил: «Дай Бог! Дай Бог!»

Выехал Деверу из Меммингена уже часу в восьмом вечера, стараясь не думать о неприятном возвращении через лес. На окраине городка он еще остановился в кабачке,— как раз оставалось одно свободное место у вынесенного за ворота стола. Но только он сел и заказал пива, как раздались трубные звуки, все повставали с мест. В Мемминген

---

[1] «Господь защитник мой» (*лат.*).

въезжал пышный поезд: были тут и драгуны, и кирасиры, и мушкетеры, за ними трубачи, лакеи, пажи, дальше коляски одна за другой и, в конце поезда, хорваты с кривыми саблями наголо. Легко было догадаться, кто так ездит в Меммингене. И действительно, в первой раззолоченной коляске, с видом величественным и хмурым, сидел, подтянутый и строгий, тот самый человек, который был изображен на монете. Деверу никогда до того не видал герцога Фридландского и так и впился в него глазами: коляска проехала медленно, совсем близко. Лицо у Валленштейна было надменное, как ему и полагалось. Из-под шляпы на белый кружевной воротник падали длинные, вьющиеся светло-рыжеватые волосы. Увидев вытянувшихся солдат, герцог прошелся по ним неприятно-внимательным взглядом и встретился глазами с Деверу...

«Вот кому служить бы! — подумал драгун и пожалел, что уже подписал договор с вербовщиком графа Тилли.— Принял бы этот меня на службу, не было бы у него человека вернее, чем я...» Он грустно расплатился и сел на коня. Не встретил Деверу разбойников и на обратном пути. Мимо того дерева он проскакал галопом, стараясь на него не смотреть, но не удержался, взглянул и опять подумал, что все может случиться с воином и ни от чего отказываться наперед нельзя. На привале все заждались.

Тотчас начался шлафтрунк. Как человек деликатный и воспитанный, Деверу первый пробовал все привезенное: понимал, что у других могут быть нехорошие мысли. Он и сам знал, что такие случаи бывали: грабители переодевались солдатами. Однако, подозрение было ему обидно: грехов на совести было у него немало, но товарищей или даже случайных попутчиков не убивал и не грабил. Скрывая обиду, он прикасался к еде акульим зубом, который, по обычаю, при себе носил: таким образом уничтожалась сила заговора,— хоть только дурак или совершенный разбойник мог предположить, что он заклял колбасу! От обиды Деверу и разговаривал за шлафтрунком мало. Говорили о предстоящей войне, рассказывали о походах; он угрюмо молчал. Раз только горячо вмешался в беседу,— одобрил, что драгунам платят больше, чем мушкетерам.

Потом, впрочем, Деверу смягчился, и когда сели играть в карты, ясно всем показал, что он человек образованный, знающий обычаи хорошего общества: при каждой сдаче привставал,— хоть прямо с земли было неудобно,— и, по французской моде, с легким поклоном, делал жест рукою.

В 12-м часу легли спать. Раздевшись, Деверу вытер тело сухим полотенцем: воды не употреблял, зная, что от нее

портятся глаза и появляется зубная болезнь. Проверив заряженные пистолеты, он положил их рядом с собой. Затем, оглянувшись на товарищей и убедившись, что никто не видит, снял и спрятал в пороховницу странный предмет: маленькую золотую розу, висевшую у него на груди на синей ленте.

Одновременно с имперским сеймом, но в глубокой тайне, была созвана в Регенсбурге большая ложа розенкрейцеров. Называли их *невидимыми*, и много о них говорили, особенно с той поры, как разоблачила их и опозорила книга, неизвестно кем выданная во Франции: «Effroyables pactions faites entre le Diable et les prétendus Invisibles avec leurs damnables instructions, perte de leurs Escoliers et leur misérable fin» [1]. Страшно было непонятное слово «розенкрейцеры», страшно определение «невидимые», но гораздо страшнее было то, что в городе Лионе, в ночь на 23 июня 1623 года, состоялся капитул 36 главных розенкрейцеров и закончился он великим колдовским шабашем. Рассудительные люди допускали, что не всякому слову надо верить, даже если оно и печатное. Но все же о невидимых говорили больше по вечерам, когда за окнами был мрак и холод, говорили, понижая голос и расширяя глаза, так, как рассказывали о гнусных проделках Каспара Черного или о ведьме Клодине Удо, сожженной на костре в Везуле за устройство грозы. Собирались невидимые, по слухам, изредка, в больших городах, всегда на восточной окраине и перед самым рассветом, узнавали же друг друга по особым словам, значкам и приметам. Созывал их тайным образом их невидимый император, и будто бы хвастали они, что первым розенкрейцерским императором был Адам, а за ним следовали Ной, Авраам, Моисей, Соломон и другие всеми почитаемые лица.

Однако почти никто не знал (разве жена его, ибо как от жены утаишь?), почти никто не знал, что в пору регенсбургского сейма императором невидимых розенкрейцеров состоял Иоганн-Карл фон-Фризау, человек весьма почтенный: если бы знали это в его городе, то усомнились бы в мрачных слухах о невидимых, ибо кто же мог допустить, что Иоганн-Карл фон-Фризау поддерживает сношения с дьяволом? И еще больше было бы общее удивление, когда бы стало известно, что в розенкрейцерском капитуле состоят или состояли очень знатные люди и даже владетельные кня-

---

[1] «Ужасный сговор Дьявола с так называемыми Невидимыми, достойные порицания наставления, гибель и жалкий конец последователей оных» *(франц.)*.

зья, как Мориц, ландграф Гессен-Кассельский, или Христиан, князь Ангальтский. Вместе с владетельными князьями был в капитуле ученый, голландский профессор Ионгман, нисколько не знатный и не родовитый. А как раз перед сеймом, к великому своему счастью, попал в капитул и совсем простой человек, старый магдебургский печатник Тобиас-Вильгельм Газенфусслейн.

Выбрали его потому, что это был человек праведной жизни и светлой души, вдобавок, большой мастер своего дела: он работал и у Джунти, и у Жан Мэра, и у Эльзевиров, потом открыл мастерскую в своем родном городе, в протестантском Магдебурге (хоть сам был верующий католик), и по ночам, скрываясь от подмастерьев, печатал бумаги, дипломы, грамоты невидимых, несмотря на свою бедность, совершенно бесплатно, рискуя, быть может, костром. Тобиас-Вильгельм Газенфусслейн тоже ни за что не согласился бы вступить в сношения с дьяволом и даже верил в дьявола плохо, ибо трудно ему было допустить, что существует в мире столь злобное и вредное существо. Да верно (так позднее казалось многим) и другие члены капитула, за самыми редкими, быть может, исключениями, никогда с дьяволом дела не имели и только грустно удивлялись, слыша, с какой ненавистью и с каким страхом говорят люди об их ордене. Настоящая же цель розенкрейцеров была совершенно иная: они хотели положить конец войнам, казням, пыткам и прочим страшным и бесполезным для человека вещам, найти способ лечения всех болезней, установить равенство и дружбу между гражданами, а равно мир и любовь между всеми народами, кроме разве каких-нибудь турок. И, наверное, они этой цели достигли бы, если бы не мешали им разные случайные обстоятельства, а всего больше козни врагов.

В Регенсбурге же должны были невидимые обсудить главные вопросы, интересовавшие образованных людей. Нужно было поговорить о том, прав ли престарелый Галилей, занимавший должность первого философа при дворе великого герцога Тосканского: вслед за давно умершим польским каноником, этот знаменитый и почтенный старец утверждал, что не солнце вращается вокруг земли, а земля вокруг солнца. Второй же вопрос был политический, связанный отчасти с регенсбургским сеймом: необходимо было выяснить, как относятся невидимые к Валленштейну, и должно ли ему сочувствовать в его таинственных и великих замыслах. Были также и другие вопросы: о странном брате Андрэ, о несерьезной и непристойной книге «Химическая свадьба Христиана Розенкрейца» и о том, что должно предшествовать при изготовлении философского камня: нигредо,

альбедо или рубедо? Однако эти давние, хоть волнующие, вопросы могли подождать и до следующей ложи.

Торжественное заседание было назначено на последний вечер июня. Но часть невидимых уже съехалась в Регенсбург, ибо всем было интересно посмотреть и на имперский сейм. Вновь приехавшие должны были являться к местному розенкрейцеру, почтенному врачу Майеру, который имел свой дом и, по достатку своему, мог принимать друзей без стеснения для себя, не возбуждая ни в ком подозрений.

В первый день сейма собралось в доме Майера семь или восемь невидимых, и они, без малейшего церемониала, за пивом беседовали и о важных, и о суетных предметах. И всем было очень приятно: иноземельным, что благополучно пройдена ими опасная дорога, местным, что пришли вести из разных земель, а всем вообще, что встретились они в гостеприимном доме в своей дружеской среде. Особенно же радовался чистой душою своею член капитула, печатник Тобиас-Вильгельм Газенфусслейн: были в столовой почтенного врача Майера и католики, и сторонники Лютера, и ученые люди, и только любившие просвещение. и знатные дворяне, и простые ремесленники, как он сам. Нужно ли было лучшее доказательство того, что все люди братья, и что не по греховности их природы, а по невежеству, творится зло, которым полон мир?

Больше всех говорил, сияя радостной улыбкой, голландский профессор Ионгман, ибо профессор любил поговорить, был ученее всех других и видел очень много: постоянно ездил по разным странам,— как только хранил его жизнь Господь? — и всячески служил делу розенкрейцеров, поддерживая между ними связь. Кроме науки и этого дела (да и были они одно), ничто в жизни не интересовало профессора: не имел ни жены, ни детей, средства же были у него достаточные. Как весьма ученого человека, невидимые его расспрашивали о взглядах Галилея и просили прочесть на торжественном собрании доклад, дабы им, наконец, стало ясно, что именно обо всем этом думать. Однако, от доклада о земле и солнце профессор отказался (хоть очень доклады любил), а на вопросы отвечал уклончиво. Понять можно было так, что во вращение земли он не верит, но лучше пока не высказываться, ибо Галилей весьма мудрый старик и не стал бы говорить на ветер. А, главное, перед самым отъездом из Амстердама, профессор встретился там с Декартом,— да, с тем самым»,— многозначительно добавил он, намекая на давние, хоть запутанные, сношения Декарта с невидимыми: не то он сам был невидимый какого-то иного толка, не то над ними над всеми потешался,— нелегко ра-

зобрать душу этого человека. И при встрече, зная, что Декарт Галилея недолюбливает, профессор, хоть нерешительно, но с неодобрением отозвался о новой теории мироздания. Однако, собеседник его, помолчав и не вступая в спор, сказал только, что если Галилей ошибается и солнце вращается вокруг земли, то, значит, и он, Декарт, ничего в устройстве вселенной не смыслит, и лучше ему бросить научные знания. И этим ответом смутил профессора, который, как все, знавшие Декарта, имел чрезвычайное доверие к силе его ума.

Потом заговорили о политических делах, о том, что, вместо Валленштейна, главнокомандующим назначается Тилли. Об этом пожалели, ибо всегда обидна замена умного человека тупым,— так сказал почтенный профессор Ионгман, и все с ним согласились: граф Тзерклас Тилли был, по общему мнению, и тупой, и невежественный, и жестокий человек. Только Тобиас-Вильгельм Газенфусслейн, не любивший дурных отзывов о людях, напомнил, что и Тилли имеет добрые свойства: очень храбр, не пьяница, не развратник и никогда солдатскими деньгами не пользовался. За Валленштейном же все невидимые признавали и великий ум, и дарования и сильную волю,— очень много дано ему, вплоть до звучного красивого имени. Лишь в том, они думали, вопрос: к чему направлена воля герцога Фридландского? Ибо верно сказал профессор: важно не то, что человек ищет власти, а то, для чего он ее ищет. И если иные и Валленштейна считают розенкрейцером, то никаких оснований для этого ведь нет: ибо желающий найти путь к розенкрейцерам рано или поздно найдет его. Но человек он большой, об этом и спорить невозможно. Идет молва, будто он хочет стать богемским королем, а потом, пожалуй, выставит свою кандидатуру на императорский престол. Да и правду сказать, если б, по розенкрейцерскому учению, полагалось одному человеку управлять полновластно миллионами других, то нельзя было бы, конечно, подыскать достойнейшего цезаря, чем герцог Фридландский. И много еще разумных и справедливых слов сказал, сияя радостной улыбкой, всеми уважаемый профессор Ионгман.

А затем сообщил он невидимым, что доклад свой на торжественном собрании сделает о важном предмете, грозящем многими бедами и науке, и розенкрейцерам, и всем честным людям. В Париже не так давно образовалось тайное общество. Оно называет себя просто «La Compagnie» [1];

[1] «Общество» *(франц.)*.

люди же, о нем прослышавшие, именуют его «La Cabale»[1]. Стремится это общество к счастью человечества, но для этого хочет установить в мире единую веру и мысль, так чтобы все обо всем думали совершенно одинаково и так же одинаково жили, ни в чем никуда не уклоняясь. Страшна цель этих людей, но еще много страшнее их способы работы. Общество имеет агентов во всех классах и сословиях, обзавелось ячейками в разных странах мира, даже на далеком востоке. Средства у него большие, действует оно беззастенчиво и бессовестно: каждому члену общества прямо вменяется в обязанность идти на любое преступление, если только оно может быть обществу полезно. И чем больше кто преступлений совершит, тем больше этим гордится, ибо служит счастью человечества. Основал компанию Вентадур, человек мрачный, жестокий, фанатический,— попросту другой, французский Тилли. Окружают же его всевозможные мошенники и злодеи. И если вначале еще можно было подавить это общество в зародыше, то теперь чрезвычайно трудно, и очень этим во Франции напуганы и розенкрейцеры, и все вообще просвещенные люди. «Однако,— добавил профессор Ионгман,— для потери надежд никаких оснований нет: свет науки и благородная работа розенкрейцеров преодолеют, конечно, и эту новую беду...»

Не успели невидимые обсудить это странное и печальное известие, как раздался стук в дверь. Кое-кто из невидимых вздрогнул, но хозяин пошел отворять почти без робости, ибо ничего противного законам ни он, ни его гости не делали. На пороге стоял незнакомый драгун. Спросив вежливо хозяина о фамилии и оглянувшись в сенях, драгун раздвинул камзол и показал под ним золотую розу на синей ленте.— «Ave Frater»[2],— прошептал хозяин недоверчиво (ибо не понравилось ему лицо гостя).— «Roseae et Aureae»[3],— шепнул драгун. И так как слово было в совершенном порядке, то хозяин произнес: «Benedictus Dominus, qui nobis dedit signum»[4] и пригласил вошедшего в свой кабинет. Там драгун, сообщив, что зовут его Деверу, показал, кроме розы, пергамент за подписью Роберта Флудда, главы английских невидимых. Сомнений больше не оставалось, хозяин обнял брата, повел его в столовую, познакомил с другими розенкрейцерами и налил ему кружку пива. И хоть другим тоже не очень понравился новый гость, откровенная беседа продолжалась. Драгун же больше молчал, слушал и оглядывался по сторонам.

---

[1] «Заговор» *(франц.)*.
[2] «Здравствуй, брат» *(лат.)*.
[3] «Розовое и золотое» *(лат.)*.
[4] «Благословим Господа, подающего нам знак» *(лат.)*.

Граф Тзерклас Тилли говорил своим друзьям, что никогда в жизни не проигрывал сражения, не пробовал вина и не прикасался к женщине. Повторял он это часто и этим немного друзьям надоел. Знали, что говорит он чистую правду, но иным казалось, что не всем тут следовало бы ему похваляться: ведь не так уж много радостей дано в земной жизни человеку. У графа Тилли была только одна страсть: славолюбие,— и понимал он славу по-своему, а верно ли, об этом судить потомству. Думал же он, что потомство окружает почетом и восхищением лишь тех людей, которые умеют проявлять непреклонную и суровую власть. Поэтому впоследствии и вырезал, для своей славы, все население города Магдебурга.

Был ли он умен или глуп,— и о том нелегко было судить людям, близко его знавшим. Те, что посмелее, думали иногда, что Господь не щедро одарил разумом графа Тзеркласа Тилли. Но уверенности у них в этом не было, ибо шел он от успеха к успеху и считался непобедимым до тех пор, пока его не победили. Лишь после того, как в борьбе с Густавом-Адольфом, на Брейтенфельдских полях и на берегах Леха, оставил он свою военную славу, стали говорить люди, что на беду Германии, за ее грехи, послан был ей этот человек, и что много лучше было бы для всех, если б граф Тзерклас Тилли пил вино и любил женщин, но не занимался ни войной, ни государственными делами.

Сам же он и в молодости, и до последнего дня думал совершенно иначе, и счастливейшим днем его жизни был тот день, когда император ему сообщил, что назначает его главнокомандующим всеми вооруженными силами империи, вместо герцога Фридландского. В этот день, ложась на свою жесткую постель, граф Тзерклас Тилли долго и радостно смеялся, думая, что, быть может, в эту самую минуту посланец императора, канцлер Верденберг, сообщает Валленштейну о немилости и отставке.

В этот же вечер, рожденный в пещере Меркурий, благосклонный к ворам и поэтам, зловеще показался в седьмом небесном доме, заградив путь Марсу. День был не Меркуриев: не среда, а четверг. Но и сердце говорило то же, что звезды: быть беде. Тоска и бешенство томили душу Валленштейна. Склониться перед решением сейма, перед мелкими завистливыми князьками, перед маленьким чевовеком, который правил Германией, ибо родился Габсбургом! Чувствовал в себе не растраченные большими делами, еще почти безграничные силы,— кто другой мог отразить Густава-

Адольфа, кто мог прекратить нелепую междоусобную войну, кто мог спасти германскую землю? Неправ лукавый Сократ, говоривший радостно: «как много в мире вещей, которые мне не нужны!» — Все нужно человеку с ненасытной душою.

Не открытая герцогская корона, когда-то волновавшая воображение, так давно надоевшая,— закрытая корона императора, с золотым полукругом, с изображением мира, с крестом, корона Карла Великого, все тревожила сердце. Об этом нельзя было говорить даже с астрологом. Об этом нельзя было говорить ни с кем. Но кто мог бы читать, как в книге, в сердцах людей, тот, при виде Альбрехта Валленштейна в пору его занятий звездами, наверное, сказал бы, что одна сокровенная, неотступная, мысль гложет, томит и, наконец, разорвет душу этого человека.

Двинуть же армию на Регенсбург было трудно, очень трудно, ибо велика над людьми власть породы, еще крепче власть привычки, и много ли офицеров пойдет за простым дворянином против потомка Рудольфа Габсбургского? Итальянец-астролог робко спорил: Меркурий непостоянен, в четверг он ничего означать не может. Заглянули в пророческий календарь. На его обложке значилось, что составлен он Иоганном Кеплером, честным математиком герцогства Штирийского. На 1630 год предсказаний, как на беду, не было,— были на другие годы. Можно, правда, заказать: старичок всегда принимал заказы,— только этим и жил.

Сени молчал с видом достойным и обиженным: уж если ему предпочитают шарлатана! Достали другие инструменты, принялись составлять гороскоп. Непостоянный Меркурий стоял на своем: быть беде. Сени согласился с герцогом,— его светлость всегда прав, больших дел теперь начинать не должно; но дальше звезды связываются превосходно: только переждать, и счастье вернется. Валленштейн тщательно проверил. В самом деле, было так. И в это самое время ему доложили о приезде из Регенсбурга посланца императора, канцлера Верденберга.

От столь отчаянного человека можно ждать всего. Канцлер очень беспокоился: вдруг прикажет арестовать и двинет свои войска на Регенсбург! Нет в Германии ни такой армии, ни такого полководца. Узнав же от мажордома, что у его светлости сидит итальянский плут, Верденберг и совсем испугался: не любил, чтобы звезды вмешивались в государственные дела, плутов предпочитал обыкновенных,— не звездных,— а сумасшедших боялся, как огня. Канцлер давно привык прятать чувства под спокойную улыбку, но на этот раз они из-под улыбки выскользнули, и в глазах

мелькнул ужас при виде герцога Фридландского у стола с приборами. Валленштейн понял и усмехнулся. Александр, Помпей, Цезарь верили звездам,— старый хитренький чиновник не верит! Нет людей, недоверчивее глупцов, нет никого глупее скептиков.

Цветистая же речь канцлеру не понадобилась. Герцог прервал его с первых слов и чуть было не обнял от радости. Неужели правда? Неужели его величество над ним сжалился и всемилостивейше освободил от дел, во внимание к расстроенному здоровью? Верденберг тотчас успокоился: слава Господу Богу! Значит, звезды на этот раз пригодились.

Узнав же, что преемником его будет граф Тилли, Валленштейн почти утешился и вправду: где старому дураку справиться с Густавом-Адольфом! Герцог Фридландский весело сказал, что его величество не мог сделать лучшего выбора.

К ужину пригласили генералов. Ужин был такой, какого канцлер не помнил и в императорском дворце,— оценил, хоть страдал катаром желудка. Потом сели играть в эсперанс, в три жетона. Партия затянулась, никто не выходил в мертвецы. Канцлеру везло: у других оставалось по одному жетону, а у него два. И вдруг выбросил он из рожка сразу и туза, и шестерку. Все захохотали.

— Вы бесславно умерли, господин канцлер! — сказал, смеясь, герцог.

— Il me reste l'espérance [1],— ответил Верденберг, отдавая свои жетоны. Он любил говорить по-французски.

После игры канцлер простился с хозяином так цветисто, что все гости заслушались, и вышел на крыльцо. Перед крыльцом стояла великолепная карета, запряженная кровными лошадьми рыжей масти. Пышно одетый человек, сняв шляпу с перьями и низко поклонившись гостю, сказал торжественно и важно, что его светлость Альбрехт, Божьей милостью герцог Мекленбургский, Фридландский и Саганский, князь Венденский, граф Шверинский, Ростокский, Штаргардский и других земель, главнокомандующий всеми армиями и флотом его императорского величества, просит его превосходительство господина канцлера принять на память, в дружеский дар, коней, карету и все то, что его превосходительство найдет в карете.

И долго еще на обратном пути радуясь подарку, канцлер думал, что же такое он получил бы, если б привез не злую, а добрую весть этому загадочному человеку.

---

[1] Мне остается надежда *(франц.)*.

XII

Серизье не удалось выехать из Довилля в первом поезде; вернулся он в Париж поздно вечером. Подъезжая к своему дому, он, как всегда после отлучки, испытывал беспокойное чувство: какие еще будут неприятности? Такое ожидание, он знал, от неприятностей страхует: они приходят неожиданно. Серизье не любил возвращаться в Париж до начала большого сезона: по его наблюдениям, главные огорчения да и общественные несчастья, как мировая война, чаще всего случались именно в мертвый сезон.

Сухо щелкнул автоматический замок. Консьержка выглянула из завешенной стеклянной двери. Узнав Серизье, она что-то на себя накинула, вышла на площадку, и стыдливо, таинственным шепотом, с радостной улыбкой, осведомилась, хорошо ли он отдохнул. Серизье поздоровался с ней за руку, спросил, здоров ли ее ребенок, и все ли благополучно в доме. Оказалось, что ребенок здоров и что в доме все благополучно. Жюстин должна вернуться только послезавтра,— мосье это ведь ей разрешил? Мадмуазель Лансель приходила днем; она так и думала, что мосье приедет вечером. Квартира в полном порядке, письма и газеты сложены на письменном столе в кабинете мосье. Серизье, несколько успокоенный (хоть консьержка о неприятностях не могла знать), пожелал, тоже полушепотом, покойной ночи и поднялся наверх. Электрическая лампочка, как всегда, погасла, когда он вступил на лестницу третьего этажа; это тоже произвело на него успокоительное действие,— так было давно знакомо и привычно. Он не успел нажать кнопку, как лампочка зажглась: консьержка, из внимания к лучшему жильцу дома, оставалась внизу, пока он не повернул ключа в дверях своей квартиры.

На письменном столе лежала груда конвертов. Серизье пробежал письма. Никаких неприятностей не оказалось. Напротив, в одном письме было очень приятное известие: большое дело, которое он вел в суде и которое могло затянуться, заканчивалось примирением сторон на предложенной им основе. Оставалось только составить документ. Это для Серизье означало заработок тысяч в двадцать пять. Письменного условия, правда, с клиентом не было,— запрещала традиция парижской адвокатуры, казавшаяся ему нелепой. Однако был твердый словесный уговор.

Под пресс-папье лежали вырезки из газет,— «грязевая ванна». Но Серизье был в таком радостном настроении духа, что даже не заглянул в вырезки. Он с усмешкой посмотрел на пресс-папье, словно говоря невидимым противникам:

«Сделайте одолжение, друзья мои, мне совершенно все равно!» Сняв воротник, он прошел в ванную, зажег синенькое пламя над трубкой газового аппарата, повернул кран, пламя вспыхнуло по рожкам,— все это тоже было так привычно, уютно, приятно. Он думал, что на курорте хорошо, но дома лучше: уж очень благоустроена его парижская квартира. Серизье разделся, вернулся в кабинет за несессером и опять, выдержав характер, с торжествующей усмешкой поглядел на коварное пресс-папье. «Пожалуйста, не стесняйтесь, друзья мои...» Приняв ванну, он лег и мгновенно заснул.

Серизье проснулся на следующее утро много позже обычного, в самом лучшем настроении духа: в переходную минуту от сна к сознанию радостно смешалось что-то довилльское с чем-то парижским. Потом сознание уточнило: Муся Клервилль, выигранное дело. Он сладостно потянулся. «Да, дело кончено, двадцать пять тысяч. Надо только написать бумагу...» Серизье не встал, а вскочил как юноша,— несмотря на брюшко,— надел халат и вышел в столовую. На столе лежали свежий хлеб, масло, газета; все это бесшумно приготовила консьержка, заботившаяся о нем, как о родном.

Напившись кофе, наскоро пробежав газету, он сел за письменный стол. На столе все было на месте: бумага с верблюдом на розовой обложке блокнота, суживающаяся кверху ручка с резиновой обкладкой внизу, английская коробка с золочеными тупыми перьями. Настольные часы показывали четверть десятого. Серизье вызвал по телефону контору клиента-промышленника. Он ждал «pas libre» [1], номер дали немедленно; все удавалось,— и большое, и малое.

Разговор был любезный и твердый. Быть может, клиент был бы и не прочь заплатить Серизье часть гонорара комплиментами; но ему сразу стало ясно, что придется заплатить деньгами, и не двадцать тысяч, а именно двадцать пять, хоть дело до суда не дошло. Клиент не торговался и даже предложил продать на эту сумму, по номинальной цене, паев только что основанного им предприятия. Серизье вежливо отклонил предложение. Он никак не думал, что его хотят обмануть: слишком это было бы мелко для птицы большого полета. Напротив, клиент, наверное, предлагал очень выгодное дело, искренне желая упрочить добрые отношения с влиятельным человеком противного лагеря,— мало ли что может случиться? Буржуазия становилась все менее самоуверенной и смелой. Но Серизье, человек безукоризненно щепетильный, не считал возможным иметь с промышленником какие бы то ни было дела, кроме адвокатских. Его по-

---

[1] «Занято» *(франц.)*.

литическое положение требовало большой осторожности. «Если завтра там вспыхнет забастовка, то их газеты поднимут вой, я окажусь главным собственником завода, эксплуататором рабочих! Нет, мы это знаем...» Все состояние Серизье было вложено в государственные бумаги. Государства были разные — для уменьшения риска,— но это были демократические государства.

Он достал свою счетную книгу и с удовольствием вписал в графу доходов пятизначную сумму. Между вертикальными столбцами графы было место только для четырех цифр; первая приятно выдавалась за черту. Серизье подвел итог: за две трети года он не только не прикоснулся к доходам с унаследованного капитала, но от одного заработка, после покрытия всех расходов, отложил до сорока тысяч.

Затем он вынул из-под пресс-папье вырезки,— они стали почти безобидными, так было доказано полное к ним презрение. Все же Серизье с удовлетворением убедился, что и в вырезках ничего неприятного не было. По тону статей он с радостью почувствовал, как выросло, после Люцернской конференции, его положение в политическом мире. Враждебные газеты теперь то и дело называли его вождем социалистов. В одной статье социалистическая партия была даже названа «партией господина Серизье». Это было неточно: партийным вождем оставался Шазаль, которого такая неточность должна была привести в ярость. Однако, в ореоле люцернской славы, Серизье себя теперь чувствовал как писатель, становящийся при жизни классиком, как художник, картины которого были бы перевезены из Люксембурга в Лувр.

Раздался звонок, он открыл дверь, появилась секретарша. Они дружески поздоровались. Серизье извинился, что выходит к ней в халате, и на первую минуту прикрыл ладонью шею: давно был уверен, что секретарша тайно в него влюблена, и не ошибался. Так и теперь он прочел это на ее лице, при встрече после трехнедельной разлуки. Мадмуазель Лансель, как женщина, для него не существовала, хоть ее нельзя было назвать безобразной. Было ей лет тридцать, замуж она не выходила, не имела, по-видимому, и друга. В те редкие минуты, когда у Серизье было время и желание заниматься чужой душой, он себя спрашивал, чем может внутренно жить мадмуазель Лансель. Партийная работа как будто ее увлекала,— однако на сколько-нибудь значительное повышение в партии секретарша рассчитывать не могла. Она была militante [1] и должна была, очевидно, оста-

---

[1] Член партии (*франц.*).

ваться в этом звании до самой смерти. Серизье иногда приходило в голову, что хорошо было бы выдать замуж мадмуазель Лансель за какого-нибудь militant. Но подходящего человека у него на примете не было; он, вдобавок, боялся лишиться секретарши, которой очень дорожил. «Каждый должен сам находить свою дорогу в жизни!» — со вздохом говорил себе в таких случаях Серизье. Мадмуазель Лансель никогда на судьбу не жаловалась, была неизменно в добром настроении, ничего ни от кого не требовала, жила изо дня в день, как живут все. Ее стиль был: le frais sourire d'une Parisienne toujours gaie et toujours courageuse [1],— такой же стиль, как у тысяч других бедных барышень, работающих, правда, не в партии, а в магазинах, в банках, в конторах, и тоже понемногу теряющих надежду выйти замуж.

— ...Mais c'est vrai, patron! Il y a beau temps que je ne vous ai pas vu comme ça! [2] — весело говорила секретарша.

Фамильярности между ними не было. При самых добрых отношениях, мадмуазель Лансель отлично знала и свое место, и разницу в их общественном положении. Она шутливо-официально называла его патроном (хотя это было не принято): вначале ее интонация показывала, что слово это употребляется ею в кавычках; потом кавычки отпали, осталось удобное обращение: «Monsieur» было неприятно, «maitre» не очень годилось,— она была по преимуществу политическая секретарша,— «camarade» и «citoyen» предназначались, разумеется, лишь для митингов... Серизье обычно никак не называл секретаршу, но в особенно добрые минуты говорил «ma petite» или «mon petit», [3], что доставляло мадмуазель Лансель необыкновенное наслаждение.

Они поговорили о море, затем перешли к делам. Выяснилось, что Серизье так и не ответил на два письма, которые мадмуазель Лансель переслала ему в Довилль и которые требовали личного ответа, не на машинке, а от руки.— «Как же так, патрон? Разве вы не умеете писать письма?» — спросила весело секретарша таким тоном, каким на маленьком балу в частном доме шутливо настроенный хозяин мог бы спросить Анну Павлову: «Разве вы не умеете танцевать вальс?» Серизье смущенно улыбался.— «Да, я разленился на море...» — «Надеюсь, хоть Шазалю вы ответили?» Лицо мадмуазель Лансель стало озабоченным. Она сообщила о последних событиях в партии. Тон секретарши

---

[1] Свежая улыбка парижаночки, всегда веселой и неунывающей *(франц.)*.

[2] —...Право, патрон, я давно вас таким не видала! *(франц.)*

[3] «Господин», «хозяин», «товарищ», «гражданин», «малышка», «малыш» *(франц.)*.

ясно показывал, что и она понимает, как вырос престиж патрона после Люцернской конференции. Мадмуазель Лансель теперь говорила о Шазале как бы даже с соболезнованием.

— Вы *пробежали* мои вырезки, патрон? — вскользь спросила она.— Я принесла вам утренние газеты... Кстати, появилась одна гнусная статья... О Шазале,— поспешно добавила мадмуазель Лансель, увидев, что Серизье слегка изменился в лице. Она протянула ему газету. В ней вождя социалистической партии ругали не просто (что не составляло бы почти никакой неприятности), а с пренебрежением и, главное, со ссылкой на давно якобы установившееся о нем общее мнение, разделяемое и его собственными сторонниками. Ссылка на сторонников была неопределенная, но должна была поселить подозрение у Шазаля: может быть, и правда? В статье говорилось о том, что Шазаль давно выжил из ума, да собственно никогда умом и не отличался. На смену этому признанному ничтожеству,— писала правая газета,— идут новые честолюбцы, впереди всех, разумеется, Серизье, имевший в Люцерне такой шумный успех. «Sous la direction autrement ferme de ce jeune ambitieux, qui est déjà, paraît-il, une des plus pures lumières de l'Internationale rouge, le parti du désordre et de la guerre civile ne manquera pas de donner un vigureux assaut à tout ce qui fait l'honneur, la grandeur, la force morale de la société française» [1].

— Какая гадость! — сказал Серизье, борясь с охватившей его радостью.— Какая гадость!

— Они потеряли последние следы совести,— подтвердила секретарша.— Наш старик будет однако расстроен этой гнусностью.

— Не думаю. Вы знаете, мы люди обстрелянные, бранью нас не удивишь. Травля — наш профессиональный риск.

— Есть брань и брань... Боюсь, как бы старик немного не рассердился и на вас.

— При чем же тут я?

— Вы, конечно, не при чем, патрон, но мы все люди,— сказала, улыбаясь, секретарша.

Серизье не понравилась ее улыбка. Он иногда подводил мины под Шазаля,— вроде как Расин писал «Андромаху» назло Корнелю. Но в глазах рядовых членов партии оба они должны были стоять на недосягаемой высоте: Корнель и Расин. Лицо у него приняло сосредоточенное выражение

[1] «Под руководством некогда сильного молодого честолюбца, который сейчас, кажется, стал одним из самых ярких светочей красного Интернационала, партия беспорядка и гражданской войны не преминет устремиться на яростный штурм всего, что составляет честь, величие, моральную силу французского общества» *(франц.)*.

(Муся в таких случаях говорила, что он похож на министра-президента se recueillant devant la tombe d'une victime du devoir [1]). Он в самых лестных выражениях отозвался о Шазале: у этого человека огромные заслуги перед партией, перед рабочим классом, перед международным социализмом. «А что до клеветы,— закончил Серизье,— то я всегда думал: лучший урок смирения,— узнать, что за один день говорят о тебе и враги и друзья...»

Улыбка на лице у мадмуазель Лансель стерлась. Она почувствовала легкий выговор, но оценила благородство патрона и смотрела на него с искренним восторгом. Серизье знал, что секретарша видит в нем высшее духовное явление; это сознание отчасти им руководило в его беседах с ней: держался на должной духовной высоте (с многими товарищами по партии он разговаривал совершенно иначе). Дав косвенный урок секретарше, которая заподозрила в нем земные чувства, Серизье переменил разговор и напомнил мадмуазель Лансель, что, кроме двух недель отпуска, полученного ею в июне, ей теперь полагается еще неделя.

— Не полагается, но вы, по вашей доброте, действительно мне предложили третью неделю,— живо перебила его секретарша. Лицо ее просветлело. Она надеялась, что он вспомнит о своем обещании; однако ни за что не напомнила бы ему, если б он не вспомнил.

— Двух недель отдыха недостаточно после года такой работы! Предстоящий год будет еще труднее. Мне и то жаль, что я не даю вам более продолжительного отпуска, но вы сами знаете, как мне без вас трудно.

— В таком случае я останусь с вами, патрон!

— Об этом не может быть речи! — сказал Серизье. Он говорил теперь с секретаршей, как Наполеон мог говорить с беззаветно преданным сержантом старой гвардии: притворно-строго, но по существу отечески-любовно.— Куда вы поедете? На море?

Секретарша потупила глаза. Она тотчас бессознательно усвоила тон преданного сержанта.

— Патрон, я, может быть, не поеду никуда. Париж, что бы там ни говорили, очарователен в это время года. Уж если вы так любезны, я просто отдохну дома. Буду ездить по окрестностям...

— Знаю, знаю! Это значит, что у вас нет денег,— сказал Серизье с улыбкой.— Моя милая, я непременно хочу, чтобы хоть эту неделю вы прожили в хороших условиях.— Он вынул из бумажника пятьсот франков.— Вы поедете на мой счет.

[1] Склонившийся перед могилой жертвы долга *(франц.)*.

— Патрон, я, право, не знаю, как вас благодарить,— дрогнувшим голосом сказала мадмуазель Лансель. Эти деньги — очевидно, не аванс, а подарок,— были для нее неожиданностью. Она была тронута чрезвычайно. «Никто другой этого не сделал бы или сделал бы не *так*...»

— Не благодарите меня и уезжайте лучше всего сегодня же. На море теперь чудесно, по крайней мере в Нормандии.— Серизье чуть не сказал: «В Довилле», но поправился: странно было бы предлагать самый дорогой курорт Франции секретарше, получающей шестьсот франков в месяц жалованья.

— Но этого слишком много, патрон! Неделя на море обойдется мне франков в двести, самое большое.

— Пожалуйста, не жалейте моих денег. Остановитесь в хорошей гостинице. Я хочу, чтобы вы отдохнули как следует.

— Но даже в хорошем пансионе...

— En voila assez, mon petit [1]! — строго сказал Серизье. Секретарша опустила глаза, замирая от счастья.

XIII

Отпустив секретаршу, он просмотрел принесенные ею газеты. В них проходила очередная группа людей, занимавших внимание мира. Во французской части этой группы он знал всех. Он сам принадлежал теперь к той сотне людей, словами которых газеты живут. В сущности, у жизни было взято все или почти все. Что же дальше? Министерский портфель, должность главы правительства, волнение парламентских кризисов? «Je ne suis pas de ceux qui s'incrustent dans leurs fonctions...» «J'ai pris mes responsabilités, à vous de prendre les vôtres!» [1] (бурные продолжительные рукоплескания). Та атмосфера цинизма, в которой невольно жил Серизье, его утомляла — когда он замечал ее. В эти редкие минуты ему казалось, что он мог бы устроить свою жизнь лучше или, по крайней мере, спокойнее: да, мог стать писателем, мог добиться избрания во Французскую Академию. Но разве там не то же самое? Член Французской Академии, глава революционной партии,— пути ко всему этому были не так уж различны. Серизье просмотрел около десяти газет. Особенно важных событий не было. Как будто подготовлялся финансовый скандал,— одна газетка зловещим тоном обещала его разоблачить, грозя всякими ужасами ви-

---

[1] Довольно об этом, малыш! *(франц.)*

[2] «Я не из тех, кто ограничивается выполнением своих обязанностей...» «Я взял на себя свою долю ответственности, вы должны взять вашу!» *(франц.)*

новным. Дело шло о хищениях. Имена пока не назывались, но Серизье приблизительно догадывался, о ком идет речь,— газетка все сделала, чтобы догадаться было нетрудно. И по сумме хищений, и по значению газеты, и по весу обличаемых людей, скандал был не очень большой,— средний рядовой скандал, от которого виновные — или невиновные — люди могли, вероятно, откупиться не слишком крупной суммой. «Возможно, что все выдумано, от первого слова до последнего. Но, может быть, и правда»,— думал Серизье, как думало громадное большинство читателей газетки, отлично знавших ей цену и неизменно ее покупавших. Редактор этого издания был вполне способен на шантаж. Но обличаемый политический деятель был не менее способен на взятки.— «Кажется, все-таки похоже на правду...»

Серизье брезгливо морщился. Как почти все революционеры, и парламентские, и настоящие, он не чувствовал никакой любви к тому, что проповедовал; в отличие от большинства революционеров, не чувствовал и ненависти к тому, что обличал. В практической жизни его правила не имели ничего общего с тем, что у них называлось «революционной этикой». Конечно, собственность была кражей, но к этому виду кражи они относились неизмеримо мягче, чем к другим. Серизье всегда искренно удивлялся тому, что люди могут идти на грязные денежные дела. Правда, он был богат от рождения; если б родился бедным человеком, то безупречность досталась бы ему труднее,— но на подобных гипотетических мыслях у Серизье не было ни времени, ни охоты останавливаться.— «Да, как будто правда...» — Он соображал, может ли скандал иметь политическое значение. Это зависело от сил, которым будет выгодно раздувать дело; само по себе оно большого значения не имело: «Commovent homines non res sed de rebus opiniones...» [1]. Однако на его положении скандал отразится во всяком случае. Если это правда, то его значение понизится на пятьдесят процентов; а если клевета, то процентов на двадцать пять,— думал Серизье, любивший определенные формулы со скептическим оттенком.— «Как все-таки он мог пойти на такое дело? Он не богат, но ведь не голодал же! Я считал его порядочным человеком. Очевидно, решил сделать в жизни одну большую гадость, чтобы потом иметь возможность больше никогда не делать маленьких. А может быть, связь? — В парламенте обычно знали, какие у кого любовные дела, но об этом политическом деятеле Серизье ничего не слышал.— Вероятно, связь. Так это объясняется в громадном большинстве случаев».— Он вспомнил об одном преступнике, ко-

[1] «Людей волнуют не дела, но мнения о них...» *(лат.)*

торого защищал по назначению суда. Этот убийца, совершивший зверское преступление, целиком потратил похищенные 150 франков на подарок своей возлюбленной. «Да, вот он, их хваленый капиталистический строй. Конечно, деньги последнее рабство истории!.. Только социалистический строй может положить конец всей этой грязи, взяткам, хищениям, шантажу».

Эта мысль его поддерживала в трудные минуты, когда политическая кухня становилась особенно грязной и противной. «Я не делаю того, что делают другие,— не делаю и десятой доли! — но, быть может, не все можно оправдать и в моих собственных действиях,— покаянно, с некоторым умилением, думал Серизье.— Им легко говорить: прямой путь,— он разумел серую массу militants.— Совершенно прямой путь может привести в монастырь — или в ночлежку. В политике все относительно... Если б я позволял наступать себе на ноги, то я и в партии не занимал бы никакого положения,— неожиданно подумал он, несколько отклонившись от хода своих мыслей.— Те прохвосты говорят «честолюбец»! Я не ищу власти, она сама придет ко мне неизбежно, безболезненно, волей народа, когда все начнет тонуть в капиталистической грязи. Старый мир будет сопротивляться, в его руках все,— армия, полиция, государственный, административный аппарат. За нами будет только принцип народной воли. Но этого вполне достаточно!»— Он в душе не был уверен, что этого вполне достаточно. Теперь думать об этом было рано. «Кажется, Наполеон сказал, что о будущем говорят безумцы...» Серизье знал (выписывал в записную тетрадь из книг и газет) много изречений знаменитых государственных людей; были подходящие изречения на все случаи политической жизни и, в зависимости от надобности, он мог цитировать то «о будущем говорят безумцы», то «управлять это предвидеть».

Раздался звонок несколько странный: кто-то чуть надавил кнопку, затем тотчас надавил во второй раз, сильнее. Серизье удивленно направился в переднюю; об его возвращении в Париж еще не мог знать никто, кроме секретарши и клиента. Он отворил дверь. На площадке стояла Жюльетт Георгеску. Серизье вытаращил глаза и опять прикрыл ладонью шею.

— Мадмуазель Жюльетт? Простите меня, я не одет.

— Я...

— Ничего не случилось?

— Нет... Мне нужно было вас видеть.

— Пожалуйте вот в ту дверь, в гостиную. Я сейчас к вам выйду.

— Ради Бога!..

— Три минуты.

Серизье с досадой удалился в спальную. Секретаршу он мог принимать в халате, в туфлях на босу ногу; принять так барышню, с которой он на днях пил шампанское в Довилле, было невозможно. «Чего ей нужно?»— спрашивал он себя с недоумением. Серизье поспешно снял халат, натянул носки на панталоны пижамы. «Верно, опять разговор о том, чтобы стать моей помощницей. Но почему такая спешка? Ведь они, кажется, только сегодня должны были приехать...» Подвязка все не застегивалась; он раздраженно сорвал ее с носка, надел брюки, пиджак и оглянул себя в зеркало; так на худой конец можно было показаться. Серизье вышел в гостиную. Жюльетт, опустив голову, стояла у стены.

— Мадмуазель Жюльетт, я чувствую себя опозоренным человеком,— сказал он шутливо, подвигая ей кресло.— Вы все-таки, надеюсь, не думаете, что я встаю в двенадцать часов? У меня дурная привычка работать по утрам в халате, когда я никого не жду.

В том, что она ожидала его, почему-то стоя у стены, во всей ее позе, в опущенной голове, в бледном лице было что-то странное и беспокойное.

— Садитесь, пожалуйста.

— Благодарю вас.— Она села, держась в кресле неестественно прямо.

— Когда вы приехали? Неужели вчера вечером? Тогда мы, очевидно, путешествовали в одном поезде.

— Нет, я приехала сегодня... Часа два тому назад.

— Надеюсь, ничего не случилось? — осведомился уже с некоторой тревогой Серизье, садясь против нее в кресло.

— Нет, не случилось ничего,— медленно произнесла Жюльетт.

Все выходило не так, как она хотела, как она ждала. Его халат был первой неожиданностью. Как было сказать все *это* человеку, который первым делом пошел надевать брюки? Серизье глядел на нее с удивлением. Он хотел было спросить: «чем могу служить?» — но почувствовал, что это неудобно после их более тесного знакомства в Довилле.

— Ваш брат тоже приехал с вами?

— Да.

— Ваша мама здорова?

— Да, здорова.

Серизье замолчал. Удивление его все росло.

— Ведь, в самом деле, ничего не случилось? — повторил он через минуту.

— Я хотела вам сказать одну вещь.

— Я вас слушаю.— Серизье вдруг почувствовал, что у него без подвязки начинает спускаться левый носок на ноге, это могло быть видно. Садясь, он механически, как всегда, дернул брюки у колен.— Я вас слушаю, мадмуазель Жюльетт,— сказал он, стараясь поставить ногу так, чтобы носка не было видно.

— Я вам хотела сказать одну вещь... Я знаю, что это глупо... Может быть, гадко... Я хочу остаться у вас!

— Остаться у меня? — повторил Серизье. «Что такое: гадко?» — удивленно подумал он.— Я знаю, мадмуазель Жюльетт, вы хотите у меня работать. Я уже говорил вашей маме, что с удовольствием сделаю все от меня зависящее. Хотя должен предупредить вас, что...

— Я говорю не об этом.— Жюльетт собрала все силы.— Я была бы счастлива служить вам и помощницей, но... Я люблю вас...

И это вышло худо, совсем худо: она не «выпалила» этих слов и не «выговорила их едва слышно». Привычка к спокойной рассудительной речи была в ней слишком сильна: слова сказались просто, без интонации, как самая обыкновенная фраза в ужасном противоречии со смыслом.

Серизье вытаращил глаза.

— Вы меня любите? — растерянно повторил он. Носок на его ноге опустился до туфли, открыв волосатую ногу.

— Я хочу быть вашей любовницей.

Эти слова Жюльетт приготовила заранее. Она приготовила заранее многое,—теперь все забыла, кроме этих коротких страшных слов,— но они тоже прозвучали так обнаженно, просто, грубо. «Вышел фарс»,—промелькнуло у нее в голове.

— Хочу быть вашей любовницей,— сказала она снова, с отчаяньем.

— Вы хотите быть... Вы шутите, мадмуазель,— наивно произнес Серизье.

В ту же секунду он пришел в себя. «Вот оно что: экзальтированная девчонка! Так она в меня влюблена! И она!...» — На него нахлынула радость. Наивность сразу соскочила с Серизье. С ним никогда подобных происшествий не было, но экзальтированных девчонок он видал на сцене, как видал и сходные положения. Из глубины подсознания Серизье выплыл первый любовник, высокого роста, с сильными уверенными движениями, с мощным грудным голосом. Он спокойно, не торопясь, рассматривал Жюльетт. Носок на левой ноге перестал его беспокоить. «Да, она недурна собой. Как это я ее не замечал? Муся Клервилль гораздо лучше, но...» Серизье давно не испытывал такого волнения. «Да, сейчас... Здесь? В спальной не убрана постель».

Он взял ее за руку. Независимо от волнения, жесты его, взгляд, интонация голоса почти всецело определялись полусознательными воспоминаниями о том, что он где-то когда-то видел на сцене.— «Дитя мое»,— начал он, и это «дитя мое» было из какой-то пьесы или книги.— «А ведь ей в самом деле нет двадцати лет! — вдруг подумал он.— Конечно, несовершеннолетняя и, должно быть, девушка».

Эта мысль немного его охладила. Он хотел сказать: «Дитя мое, какой луч света, какое счастье вы внесли в мою жизнь!» — и обнять ее. Вместо этого Серизье поцеловал Жюльетт руку — выше перчатки — и сказал: «Дитя мое, вы бесконечно меня тронули!» Жюльетт заговорила, объясняя свой поступок, свои чувства. Но слова, которые дома казались безрассудно-красивыми, здесь звучали плоско, глупо, бесстыдно. С растущим отчаянием она чувствовала, что все пропало, что она тонет. Жюльетт остановилась, с ужасом на него глядя. Серизье представились многочисленные неприятности, которые неизбежно должно было повлечь то, что он вперед называл минутой увлеченья.— «Иметь дело с Леони! «Вы обесчестили мою дочь! Вы обязаны жениться!» Она не очень хороша собой. Муся Клервилль гораздо лучше, да и Люси не хуже... Нет, нет, я не могу связать судьбу ребенка с бурной жизнью социалистического агитатора!..» Эта отчетливая формула сразу все решила.— «Связаться с Леони и с ее салоном! Через неделю об этом напишут в газетах: я окажусь содержателем салона Леони или на его содержании!..» — Серизье совсем остыл. Сознание перевело: «она мне не нравится».— «Дитя мое,— сказал он снова, проникновенным голосом. Жюльетт вздрогнула, опустила глаза, скользнула взглядом по его волосатой ноге и снова подняла голову.— Дитя мое, вы не представляете себе, как меня тронул ваш безрассудный поступок!»

Он говорил минуты три, совершенно овладев собой: связная гладкая речь успокаивала его в самых трудных случаях жизни. Серизье и теперь говорил как первый любовник, но так, как может говорить с экзальтированной девчонкой первый любовник, страстно влюбленный в другую женщину. Он сказал все то, что мог бы сказать экзальтированной девчонке большой человек редкой порядочности

— ...Я уверен, вы скоро забудете это трогательное детское чувство. Мой долг, забота о вашей молодой жизни, о ваших интересах заставляет меня сказать вам это,— произнес он проникновенным тоном, так, как, случалось, на митингах предостерегал рабочих от всеобщей забастовки, в принципе вполне законной, но сейчас неподходящей и опас-

ной: надо иметь мужество говорить пролетариату правду. Серизье вдруг опять вспомнил о носке. Улучив минуту — Жюльетт мертвым взглядом смотрела на стену,— он наклонился и быстро подтянул носок.

Жюльетт встала.

— Простите меня...

— Не мне вас прощать,— еще более глубоким, мягким, проникающим в душу голосом произнес Серизье.— Я должен от всей души благодарить вас за...— Он не сразу придумал, за что именно следует благодарить Жюльетт, и кончил: «за этот луч света»,— теперь можно было сказать «луч света», но в другом смысле и с совершенно другой интонацией. Жюльетт быстро направилась в переднюю.

XIV

Патенты офицеров, наборные свидетельства солдат были давно проверены. Но полка синих драгун еще не было. Воины держались по нациям: баварцы с баварцами, поляки с поляками, испанцы с испанцами; были и хорваты, и венгры, и московиты, уведенные в неволю турками и бежавшие или выкупленные из плена. О прошлом, о родине, даже о вере спрашивать никого не полагалось. Ежедневно палатки обходили вербовщики и вели с драгунами беседу. Говорили, впрочем, лишь они сами и все об одном предмете: о графе Тзеркласе Тилли, о том, какой он великий, мудрый, справедливый человек, и какая честь служить под его начальством. В первый раз это удивило Деверу, на второй его раздражило, но с десятого раза он поверил. Служил он уже не первый год, и нигде такого обычая не было. Может, граф Тзерклас Тилли и в самом деле на других вождей ни в чем не походил, если о нем говорят так много?

Плату же выдавали исправно, кормили хорошо, а женщин при армии было тысяч пятнадцать, не меньше. Нельзя было пожаловаться и на одежду: Тилли не любил новшества,— однообразных мундиров. Но одевал своих солдат отлично, в одежды, шитые серебром и золотом; на рукавах у всех была белая повязка, чтобы в бою могли отличать своих от неприятеля. Полка же все не было: говорили, что спешить некуда, и объясняли воинам, какое выпало Германии счастье, что есть у нее граф Тзерклас Тилли. Ходили слухи о предстоящем походе на Магдебург — гнездо сторонников Лютера. Потом стали поговаривать и о том, что на севере высадился с немалой армией шведский король Густав-Адольф,— но беды в этом никакой нет: Тилли живо ему укажет дорогу на родину. И, наконец, вскоре после вы-

садки шведского короля, объявили драгунам, что полк будет основан на следующий день, в шесть часов утра, а потом состоится большой парад, в присутствии самого императора.

Синие драгуны, числом до двух тысяч, выстроились в поле позади вбитого в землю высокого древка, у которого стоял знаменосец, семи футов ростом. Не слышно было ни шуток, ни разговоров,— не каждый день записываешься в полк, а что ждет тебя в нем, неизвестно! Ровно в шесть часов заиграла музыка, и на регенсбургской дороге показался отряд офицеров. Впереди ехал, на серой в яблоках лошади, старик в зеленом кафтане. С первого взгляда Деверу с волнением признал в нем графа Тзеркласа Тилли. Вид у него был скорее невзрачный,— не то, что у герцога Фридландского. Старик подъехал к древку, оглядел драгун и сделал знак рукой,— музыка тотчас перестала играть.

Граф Тилли заговорил,— он умел говорить с солдатами. Объяснил им, какая честь выпала на их долю, поздравил, выразил надежду, что из всех его полков лучшим будут синие драгуны. И только он сказал эти слова, как забили барабаны, знаменосец что-то развернул, дернул веревку, и на древко медленно поднялось синее знамя,— по его цвету и назывался полк.

Сердце у Деверу дрогнуло. И знамени нигде так не поднимали, как у графа Тилли. В оранжевом полку, где он прежде служил, все было просто, буднично, некрасиво,— полк этот был в прошлом году бесславно разбит. «Может, и вправду, вся моя жизнь до сих пор была ни к чему?»,— подумал он, решив никому никогда о своей прошлой жизни не рассказывать, и нехитрой душою почувствовал, что, начиная с этого дня, будет служить не ради платы, не от безделья, а за совесть, верой и правдой. И тотчас ему стало легко, как бывает легко всякому, над кем есть твердая власть любимого вождя. Он сам удивлялся, что мог прежде служить другим людям, и еще больше тому, что недавно,— правда, лишь на мгновение — увлек его душу герцог Фридландский,— только что, по заслугам, немилостиво уволенный от должности императором. И уж совсем странно, и смешно, и совестно казалось ему, что в июне месяце понесла его нелегкая к каким-то розенкрейцерам, и что он целый вечер слушал ерунду, которую несли болтливые лекари, хилые ремесленники, неслужащие дворяне. Напрасно соблазнил его тот старый англичанин, намекавший, что им известны великие тайны. Ничего им, наверное, не было известно, ибо, если б знали они секрет изготовления золота

и эликсира вечной юности, то иначе одевались бы, не имели бы ни лысин, ни морщин, и говорили бы друг с другом о предметах более занимательных.

Дальнейшее же проходило перед Деверу, как в сказке: император в золотой карете, непобедимый граф Тилли верхом на сером в яблоках коне, музыка, барабаны, пальба. Потом был пир. И в сне после пира больше ничего не было, кроме новой жизни, полка синих драгун и старого вождя в зеленом кафтане.

XV

Большинство мелодий этой оперетки было знакомо Вите; но он не знал, что взяты эти мелодии из нее, и принимал их с удовольствием, как неожиданно встреченных старых приятелей. «Конечно, забавная вещь. Но каков, по-вашему, ее тон?» — спрашивал Витя Мишеля.— «То есть как тон?» — «Что вы могли бы сказать о человеке, написавшем эту оперетку, об его мировоззрении?» — «По совести, меня мало интересует мировоззрение опереточных композиторов».— «Я сказал бы, что он так понимает жизнь: все чудесно, все живут очень весело, у всех есть деньги, все влюбляются, все имеют успех в любви, кроме разве глупых выживших из ума старичков, да и тем собственно тоже довольно весело, хоть не так весело, как другим: в конце действия поют ведь и старички».— «Ну, и что же?» — «Ничего, конечно... Добавлю, что в каждом действии все пьют шампанское. Все-таки, как можно так грубо лгать на жизнь?» — «Во-первых, в жизни есть и это, многие люди именно так живут, не мы с вами, конечно. А во-вторых, кто же, чудак вы этакий, ищет правды в оперетке! Все это ваша русская манера: философствовать по каждому удобному и неудобному случаю»,— сказал решительно Мишель. Он был очень доволен опереткой; как все люди, не безнадежно лишенные слуха, но и не музыкальные, он любил *всякую* музыку.— «Нет, я в искусстве требую полной правды. Вот, в «Уроке анатомии» Рембрандта от трупа чуть только не идет трупный запах. Это я понимаю».— «Так то Рембрандт! Русская манера!» — повторил Мишель.

«Собственно, это общее место неверно,— подумал Витя.— Мишель где-то слышал и повторяет. Но и у Достоевского неправда, будто русские мальчики обычно разговаривают друг с другом о Боге и о бессмертии души и будто, если русскому мальчику дать карту звездного неба, то он на следующий день вернет ее исправленной. Я русский, а почти никогда о Боге с товарищами не говорил. А уж кар-

ту звездного неба и не подумал бы исправлять: напротив, всегда благоговел перед чужой ученостью... А вдруг я в самом деле стану писателем? — с наслаждением вернулся он к мысли, которая не покидала его весь вечер.— Тогда не забыть вставить в книгу и про Рембрандта, и про Достоевского».

Заиграл оркестр. Актер, переходивший от разговора к пению, повернулся лицом к публике и с веселой улыбкой потаптывался с ноги на ногу, ожидая дирижерского сигнала. Дирижер изогнулся и стремительно подал знак. Актер затянул куплеты, все так же изображая на лице крайнее веселье.— «Говорят, революция в Венгрии началась после исполнения берлиозовского марша. Венгры бросились на баррикады,— сказал Витя,— интересно, куда можно броситься после этих куплетов?» — «Именно туда, куда мы с вами и собираемся броситься сегодня ночью».— «Да, правда...» — «Но, если я стану писателем, то что же мне писать, где печататься?..»

Первый комик заливался смехом, хлопал других актеров по животу, прыгал на стол, падал с хохотом в кресло, дрыгал ногами. «Может быть, я тоньше других людей, если меня это нисколько не смешит. Глупая пьеса, но как чудесен этот французский язык, когда *они* говорят! По одному слову отличаешь от нашего выговора, хоть мы и думаем, что хорошо говорим по-французски. Мишель тоже хохочет. Он воображает себя призванным вождем людей... Я вижу его насквозь, мне дана от Бога наблюдательность. Я не так умен, как Браун, и знаю очень мало. Но я умнее Мишеля. Да, надо, надо стать писателем!.. Что скажет Муся, когда прочтет мой роман? Я выпущу его под псевдонимом...»

Третье действие подходило к концу. Обманутый старик из пустой бутылки налил шампанского обманувшей его женщине и ее любовнику, затем все трое выстроились с пустыми стаканами в руках и запели заключительные куплеты. В ложах мужчины, стоя, помогали дамам одеваться.— «Для летнего спектакля очень недурно»,— сказал Мишель, аплодируя актерам.— «Публика, верно, провинциальная?» — «Да, это вам не Довилль... Но надо же было нам где-нибудь посидеть до двенадцати. Так как же, идем?» — «Я думаю, да? Пойдем в самом деле»,— столь же небрежно ответил, замирая, Витя.— «Я вас предупредил: денег у меня нет. Я могу истратить не более сорока франков».— «Я заплачу за все».— «Я хочу сказать, что у меня сейчас нет, я взял в обрез. Разумеется, как только maman приедет, я верну вам свою долю».— Мишель в самом деле не любил, чтобы за него платили другие.

Они вернулись домой в четвертом часу ночи. Ключ был у Вити. Когда он отворил дверь, ему показалось, что на полу бокового коридора исчезла полоса света; в этот коридор выходила комната Жюльетт. «Неужели она еще не спит? Но зачем же было тушить свет при нашем появлении? Нет, верно, мне так показалось»,— подумал он. В квартире было совершенно тихо. Противный запах краски и нафталина точно еще усилился.

Они на цыпочках прошли в столовую. На столе в бумажках лежала провизия, купленная днем Витей. Мишель только на него посмотрел.— «Экий лентяй,— подумал он, морщась.— В такую жару оставить все на столе, да еще без тарелок!..»

— Очень кстати, что можно закусить,— сказал он.— Я обычно не ужинаю, это нездорово. Но сегодня я проголодался, вы верно тоже. Странно, что Жюльетт не убрала все в garde-manger [1].

— Я забыл убрать. Я не такой хозяйственный, как вы оба,— рассеянно ответил Витя. Он думал о другом, весь полный, пресыщенный впечатлениями, грустью, стыдом, гордостью, радостными укорами совести.

— О, да, мы люди аккуратные, в этом мы с сестрой сходимся. Так воспитаны,— сказал Мишель, доставая из буфета тарелки, ножи, вилки. Засаленные бумажки тотчас исчезли.— Ветчина... Колбаса... Сыр... Так. Все, что нужно для человеческого счастья. А хлеб?

— Хлеба я не купил. Вы мне не сказали.

Мишель качал головой, глядя на него с укором и жалостью.

— Какой вы бестолковый, мосье Виктор!.. Что ж, тем хуже: будем есть без хлеба. А это что? — он взял со стола сложенную тонкую бумажку.— Веронал. Разве вы плохо спите?.. Послушайте, как вы насчет винца?

— Не много ли? Там пили шампанское.

— То есть, это я пил и они. Вы не пили.

— Мне было не до вина,— сознался Витя. Мишель засмеялся.— Пожалуй, если есть вино, я готов.

— Настоящего погреба у нас нет, но бутылок десять недурного вина всегда есть.— Он отворил дверцы второго, маленького буфета; видно, хорошо знал, где что находится в их квартире.

— Graves [2]. Нет, белого я теплым пить не стану... «Moulin à vent» [3]. Как вы к нему относитесь?

---

[1] Чулан, шкаф для провизии (*франц.*).

[2] Тяжелые (*франц.*).

[3] «Ветряная мельница» (*франц.*).

— Сочувственно.

— Вот и отлично.— Мишель достал пробочник и очень ловко откупорил бутылку.— Ваше здоровье, мосье Виктор... Можно вас называть просто Виктор?

— Разумеется, можно.

— Ваше здоровье, Виктор, хоть вы на редкость бестолковы.— Мишель был чуть навеселе и в самом лучшем настроении духа. Он жадно ел, болтал без умолку, гораздо откровеннее, чем обычно, и, не переставая, пилил Витю за то, что он не купил хлеба, за то, что он баба и не знает жизни. «Еще несколько уроков, и я буду ее знать»,— подумал Витя.— Ветчина отличная,— говорил Мишель,— и вино тоже недурное. В графине есть коньяк, но его я вам не рекомендую. Наш метрдотель, Альбер, систематически пил коньяк из графина и доливал водой.

— У вас есть метрдотель?

— Был. Его рассчитали, когда дела стали хуже. Я был этому очень рад... Не тому рад, что дела пошли хуже, а тому, что рассчитали метрдотеля. Во-первых, только maman могла держать заведомого вора, а, во-вторых, к чему нам метрдотель? Состояние у нас крошечное. Maman его временно прибрала к рукам... Вам не нравится вино?

— Нет, вино отличное,— ответил лениво Витя. Он думал, что Мишель от всего — от оперетки, от вина, от женщин, от жизни — получает в десять раз больше удовольствия, чем он.— Ваше здоровье!

— В общем, вы довольны вечером? Не скучали?

— Не притворяйтесь, Мишель: «скучали» самое неподходящее слово, вы это отлично знаете.

Мишель опять весело засмеялся.

— Вы правы.— Он налил еще вина в стаканы.— Женщины очень ко мне лезут, но я знаю им цену. Все они одинаковые: и герцогини, и наши сегодняшние. Моя, кстати, была гораздо лучше вашей!

— Я не нахожу.

— Уж вы мне поверьте! Я это дело знаю. И тут вы сплоховали!

— Послушайте, Мишель, а мы не заболеем?

— Ни в каком случае!— уверенно ответил Мишель и дал технические разъяснения.— А заболеете, так будете лечиться. Нельзя заранее отравлять себе существование.

— В этом вы правы. Это главное несчастье. Я недавно научился бриться: пока боялся бритвы, ничего не выходило. Такова и жизнь.

— Я во всем прав, но не умею говорить так образно, как вы. Сыр отличный... Два семьдесят пять? Неужели три

двадцать? И здесь переплатил! Скажите, друг мой, зачем вы заказали ту третью бутылку шампанского? Можно было отлично отделаться двумя.

— Не я спросил. Они сами потребовали.

— Еще бы они не требовали! — Мишель смотрел на Витю с благодушным пренебрежением, видимо ни в грош его не ставя. Это стало у него привычкой: все, что делал Витя, Мишель тотчас объявлял верхом непрактичности.— Давайте теперь считаться.

— Потом сочтемся, не к спеху. «Никогда не откладывай на завтра того, что можно отложить на послезавтра».

— Это ваш жизненный девиз? Нет, нет, сегодня! — Мишель вынул карандаш и стал подсчитывать на валявшейся тонкой бумажке от веронала.— За автомобиль заплатил я, двенадцать франков, так что шесть скинуть... Я вам должен сто четыре франка.

— Однако!.. Неужели мы истратили больше двухсот?

— А вы думали? Что? Большая брешь в вашем бюджете?

— Да,— кратко ответил Витя. Он сразу пришел в дурное настроение. «Хорош бюджет — деньги от Муси!.. Мишель хочет знать, сколько я от нее получаю. И, конечно, думает, что это гадко: жить на чужие деньги и тратить по сто франков в ночь на разврат. В самом деле, это очень гадко! Да, нашел, чем гордиться!..»

В коридоре послышался шорох. Мишель поспешно встал и отворил дверь.

— Жюльетт, это ты? Ты не спишь!

— Дай, пожалуйста, мне стакан, Мишель. Мне хочется пить.

— Хочешь вина? Зайди, ты в пеньюаре отлично можешь ему показаться.

— Нет, я налью воды из-под крана... Впрочем, дай вина.— Она подошла к двери, оставаясь в неосвещенном коридоре.

— Доброй ночи, мадмуазель Жюльетт,— сказал Витя. Надеюсь, это не мы вас разбудили?

Жюльетт ничего не ответила. Мишель протянул ей стакан с вином.

— Ты здорова ли?

— Здорова... Спокойной ночи... Мишель, который час?

— Три часа. Что это у тебя такой странный вид? Ты бы, знаешь, закрыла лицо руками, как преступник из общества, проходя перед газетными фотографами.

— У меня болит голова... Спокойной ночи. Не пей так много. Спокойной ночи, Мишель!

— Спокойной ночи,— проворчал Мишель с досадой. Он вернулся к столу.

— Странная девушка моя сестра,— сказал он, наливая себе еще вина, как бы наперекор совету Жюльетт.

— Она на меня не сердится?

— За что?

— Не знаю. Быть может, за то, что мы так поздно вернулись.

— Только не хватало бы, чтобы я терпел ее контроль! Достаточно того, что я не слежу за ней.

— Она ничего худого, кажется, не делает.

— О нет! Жюльетт всю свою жизнь построила на логике. Она самая рассудительная женщина в мире. Именно поэтому она не имеет у мужчин успеха... А в самом деле, пора спать,— сказал он, потягиваясь.— Я отлично сплю после вина. Но недолго, часов пять, а мне нужно ровно восемь часов сна.

— Спокойной ночи... Так не заболеем?

— Какие глупости!.. Вы посмотрели, у вас есть все, что нужно? Одеяло? Подушка?

— Благодарю вас. Вот читать нечего. Дайте мне какую-нибудь книгу,— зевая сказал Витя.

— У меня книги больше политические. Ведь вам роман?

— Что хотите... Какую это книгу так хвалил тогда в казино Серизье?

— Не интересовался. Романов у меня нет, а книгу, которую хвалил Серизье, я буду читать последней.

— Вы очень его не любите? — небрежно спросил Витя.

— Терпеть не могу.

— Потому, что он социалист?

— И поэтому, и по другим причинам. А вы его любите?

— Ценю.

— Я забыл: ведь вы демократ. Можно ли вас спросить: пошли бы вы на смерть ради Серизье?

— Ну, на смерть! Я не уверен, есть ли такие идеи или люди, ради которых вы пойдете на смерть.

— Это другой разговор! Нет, сознайтесь, у вашей Муси отвратительный вкус.

— У Муси? Почему у Муси?

— Полноте прикидываться,— сказал Мишель, искоса на него взглянув с порога.— Вы заметили, где в коридоре выключатель?

— Да, заметил. В чем прикидываться?

— Точно вы не знаете, что она любовница Серизье... Так не забудьте же потушить в столовой и в коридоре. Спокойной ночи, мой друг.

XVI

Сон не приходил. Сказанное Мишелем сливалось с впечатлениями ночи, с головной болью, с тяжелым запахом краски и нафталина в общее чувство отвращения от всего на свете. «Да, теперь мне все — все равно,— думал Витя.— Моральных преград больше нет. Покончить с собой не жалко, убить — не грешно... Все могу сделать. Я сейчас готовый преступник. Но и все люди, верно, такие же. Очень мало нужно самому обыкновенному человеку, чтобы перейти эту грань...»

В столовой он выдержал характер. На слова Мишеля «Точно вы не знаете, что она любовница Серизье?» Витя равнодушным, не дрогнувшим голосом ответил: «Полноте, какая ерунда!..» Мишель саркастически засмеялся.— «Собственно, почем вы знаете?..» Не получив ответа (молчание Мишеля было необыкновенно значительно), Витя небрежно добавил: «Обо всех ведь говорят гадости...» — «Да, да, конечно, конечно!» — сказал Мишель подчеркнуто-уступчивым тоном. Так семье летчика, пропавшего в море без вести две недели назад, близкие говорят, что в самом деле, он верно опустился где-нибудь на необитаемом острове.— «А впрочем! — произнес Витя и потянулся,— мне-то что?.. Эх, спать хочу...» «Что потянулся, это отлично, но не нужно было говорить: «спать хочу»... Кажется, я как раз до *этого* сказал, что не засну, и просил дать мне книгу. А впрочем, не все ли равно? И если побледнел, тоже все равно, хотя бы он и заметил...»

Затем он остался один. Витя и себе сначала попробовал сказать: «мне-то что?» Но это не вышло. У него рыдания подступили к горлу. Он разделся и лег в постель. Ему пришло в голову, что до этой ночи он просто никогда не имел времени или, вернее, случая подумать о себе, о своей жизни, о жизни вообще. «Может быть, и у других людей то же самое? Многие, верно, умирают, так и не успев о себе подумать правдиво, по-настоящему...» Он долго разбирался в своих чувствах к Мусе. «Да, конечно, влюбился в первый же день, когда ее увидел. Но в Берлине я думал о ней гораздо меньше. Одно время почти совсем не думал, мне нравилась фрекен Дженни. То было спрятано на дне души. В Довилле моя страсть вспыхнула с новой силой. Но если б я опять уехал, если б зажил другой жизнью, быть мо-

жет, я забыл бы о Мусе опять,— не через неделю, но через год, через два. И потом, перенес же я ее брак! В сущности, не все ли равно, с кем она живет, если не со мной: с мужем или с любовником»,— нарочно самыми грубыми словами говорил Витя.

Он себе представлял, где Муся может встречаться с Серизье. «Верно, в *гарсоньерке*. У него достаточно денег, он, должно быть, имеет для всяких таких дел постоянную гарсоньерку»,— Витя с особенной радостью повторял мысленно это пошленькое и по звуку слово. Происходившее, по его мнению, в гарсоньерке он воображал с полной наглядностью, в картинах прошедшей ночи (сопоставление это своей грубостью было мучительно-приятно). «А в Довилле она, верно, приходила к нему в гостиницу,— когда говорила нам, что идет играть. Так было и в тот день, когда она пришла на поло... «Раздевать женщину надо медленно»,— вспомнились ему слова Мишеля. Чтобы совершенно вымазать Мусю своим цинизмом, Витя отнесся к делу *хладнокровно и объективно:* «Если б это в той же гарсоньерке было у нее со мной, я смотрел бы на дело иначе. Серизье ничем не хуже меня, только то, что он богат. И, разумеется, я ему завидую, что у него есть деньги, что у него есть гарсоньерка. Конечно, готтентотская мораль. Весь мир состоит из готтентотов...» И Витя долго себе представлял, что сделал бы с Мусей, если б она оказалась в гарсоньерке, в полной его власти.

Потом он вдруг, со злорадством, вспомнил о Клервилле. «Собственно, он здесь наиболее заинтересованное лицо! Знает ли он? Нет, конечно, не может знать: мужья узнают последними. Но нужно, нужно, чтобы он узнал...» Витя вдруг подумал об анонимном письме. «Что ж, Лермонтов ведь писал анонимные письма. Страсть все оправдывает». Он долго соображал, что сделал бы Клервилль. Мысль о физической силе Клервилля, всегда неприятная Вите, впервые доставила ему удовольствие. «Как было бы хорошо обладать самому такой силой, как у того негра в Довилле!.. Но если б я *в самом деле* вздумал написать Клервиллю,— значит, на пишущей машине? Анонимные письма (он почти с наслаждением повторил про себя эти отвратительные слова), анонимные письма всегда пишутся на машине. Там, за углом, я видел бюро переписки. Но ведь в переписку нельзя отдать такое письмо, продиктовать тоже нельзя. Значит, надо взять машину напрокат. Это не может стоить дорого... Говорят, эксперты умеют различать почерк машины. Но какие же тут эксперты, и не все ли мне равно? Пусть знает, что это я! По-английски написать? Он

догадается по стилю, что писал не англичанин. Лучше по-французски». Витя стал мысленно сочинять — и вдруг, ужаснувшись, опомнился. «Да, я не могу написать анонимное письмо, как не могу вытащить в трамвае бумажник у соседа. Но если б случилось что-либо другое, случилось без меня, само собой? Если б например, Серизье оказался тайным большевистским агентом?..» Он остановился в мыслях и на этом. «Да, это нелепое предположение. Ревнивцы всегда такие предположения и делают...»

Несмотря на душевные мучения Вити, ему была смутно-приятна мысль — почти незаметная мысль — о том, что он ревнивец, что герои романов, больше всего ему нравившиеся, именно так переживали измену любимой женщины. «Все же об *измене* говорить тут не приходится... А вдруг Мишель просто соврал или повторил сплетню? У Муси столько врагов,— Витя никаких врагов Муси не знал.— Собственно, я не должен был его слушать. Может быть, я должен был бы дать ему пощечину?» — Он представил себе пощечину, изумление Мишеля, затем безобразную драку. «Он занимается боксом, он наверное избил бы меня, и, быть может, я именно поэтому и не дал ему пощечины. Нет, не поэтому, но... Я у них живу в доме, да и вообще пощечина это не ответ, не выход. Но он не врал! Я чувствую, что он говорил правду. Кажется, он сказал это нарочно, для меня, хоть и с пьяных глаз. Он ведь думает, что я живу с Мусей, и завидует мне. В Довилле он намекал на это,— правда, шутливо,— и я не остановил его потому, что его намеки были мне приятны. Но если он так думает обо мне, то, может быть, и о Серизье такая же ложь? Нет, нет! Разве я не видел того, что было на матче бокса? Только по моей глупости я мог истолковать это как-то иначе. У меня просто не укладывалось в голове: Муся и этот бородатый фразер!» — он вспоминал разные поступки, слова, улыбки Муси; из них из всех теперь следовало, что Муся в связи с Серизье.

Снизу послышался шум оторвавшейся от пола подъемной машины. Витя напряженно ждал, где она остановится,— точно кто-нибудь мог прийти к ним в этот час. Машина проплыла мимо их этажа. «Кто это возвращается так поздно?..» Витя зачем-то зажег лампочку, взглянул на часы и изумился: еще не было пяти. «Я думал, прошла — не «целая вечность», как пишут в книгах, но прошло пять-шесть часов после *этого*». Машина остановилась где-то далеко наверху, отдохнула, сухо щелкнула и медленно поплыла вниз. Вдруг он подумал: что, если сбежать по лестнице и положить голову на решетку? — недавно он читал в га-

зетах о таком случае. Витя рассчитал, что никак не успеет сбежать. «Да и нельзя: я не одет... Впрочем, это очень просто: можно одеться, сойти вниз, подняться на машине, оставить ее наверху, спуститься опять по лестнице и нажать внизу на кнопку. Решетка у них невысокая, положить голову как-нибудь можно». Ему вспомнилась подъемная машина в доме Кременецких, не действовавшая в последний петербургский год: там решетка была, кажется, много выше. «Смерть мучительная: ведь машина не срежет голову, а задушит. Закричать не успею, но буду хрипеть, выбежит консьержка. Поднять машину верно невозможно. Крик, суматоха, полиция, пошлют телеграмму Мусе. Она, конечно, приедет, «Витенька, Витенька!..» Знаю я теперь цену этому «Витеньке»! А может быть, она и не приедет? Нет, она приедет именно под этим предлогом, это так легко объяснить мужу. А в Париже Серизье с гарсоньеркой. Что ж, пусть перед гарсоньеркой полюбуется на меня с высунутым языком! Странно, что у них такая низкая решетка. У нас в Петербурге и вообще не было подъемной машины. Папа снял нашу квартиру тогда, когда их не знали. Но я хотя бы из-за папы не могу кончить самоубийством! Да и вообще не могу и не хочу, все это вздор!.. У кого из наших знакомых была подъемная машина?..»

Он заснул на мысли о самоубийстве. Ему снилось что-то дикое. Вдруг раздался крик. Витя проснулся, и, задыхаясь, сел на постели. Сквозь ставни пробивался свет. Витя с ужасом соображал: он ли это крикнул? В коридоре как будто снова прозвучал не то крик, не то стон. «Да, это послышалось оттуда! Я никогда во сне не кричу. Жюльетт?.. Плачет? Ну, и пусть плачет. Мы достаточно плачем из-за них...» Больше ничего не было слышно. Нелегко справляясь с дыханием, Витя опять лег. «Спал никак не более получаса. О чем я тогда думал? Да, подъемная машина, решетка, все это вздор. Никто не кончает с собой из-за любви. Но ясно одно: оставаться здесь мне больше невозможно. Место у дон Педро? Нет, на это идти нельзя. И это нужно было бы сделать через Мусю, покорно благодарю. Браун? Он сам сказал, что шансов мало. В лучшем случае это будет не скоро. Что же делать теперь, сейчас? Через две недели опять получать деньги у Муси,— уже не в письме, а просто из рук в руки? «Вот твой *оклад*, Витенька»,— сказала она тогда, не глядя на меня. Ей самой было за меня стыдно. Так богатым людям стыдно за тех, кому они дают деньги... Будь проклята эта жизнь, при которой одни люди почему-то, без заслуг, богаты, а другие почему-то, без вины, нищие. Но во всяком случае теперь снова

услышать «вот твой оклад» я не согласен. Мне за нее стыдно гораздо больше, чем ей может быть за меня! Куда же мне деться?»

Он стал мысленно подсчитывать, сколько у него оставалось денег. «Если уехать тотчас, то с Мишеля получить долг нельзя. Как это некстати вышло! Весь сегодняшний вечер!..» Счет не выходил, Витя сбивался, считая. Внезапно ему показалось, что по ошибке он заплатил в том заведении лишних сто франков. «Недаром она тотчас спрятала деньги!..» Несмотря на мысли о самоубийстве и о преступлениях, эти потерянные, быть может, сто франков привели Витю в ужас. Он снова зажег свет, встал, отыскал пиджак; из бокового внутреннего кармана лезло все кроме бумажника: паспорт, какие-то счета, крышка самопишущего пера,— перо отвинтилось, он уколол палец и подумал с радостью, что, быть может, умрет от заражения крови. Бумажник, наконец, был вытащен. Витя пересчитал деньги. Было франков на тридцать меньше, чем выходило по его счету, но на тридцать, а не на сто: значит, лишней бумажки не дал. «Двести сорок пять франков. Куда же уехать?..»

Внезапно его пронзила мысль: «В армию!..» Витя задохнулся от радости. «Как только раньше не пришло в голову! Ведь целый год говорил, не думая об этом по-настоящему, а в такую минуту забыл, когда это единственный достойный выход! Если убьют, то умру за Россию. Если останусь жив, начнется новая жизнь!..»

Он долго лежал, уставившись в окно. Щель в ставнях медленно светлела. На улице начинался шум дня. Радость переполняла сердце Вити, он чувствовал, что спасен, точно принял душевную ванну, после тех чувств, которые его измучили. «Ведь в мыслях я дошел до полной низости, до анонимного письма! Да, теперь я спасен,— думал Витя.— Отчаянный летчик, бросившийся вниз с горящего аэроплана, верно, так себя чувствует в то мгновенье, когда раскрывается парашют. Да, мой парашют раскрылся!.. Там, на фронте, напишу и роман о себе, о своей жизни. Вот и этого летчика с парашютом вставлю!..»

Теперь оставалось только обдумать дело практически. Можно отправиться на юг России, можно поехать в северо-западную армию. Витя знал, что существуют полуоткрытые вербовочные организации. Главная борьба была на юге. Ею преемственно руководили знаменитейшие генералы России,— самые слова «под знамена Деникина» ласкали душу Вити. Зато северо-западная армия шла на Петербург. «Там

папа, Сонечка, Григорий Иванович...» Он представил себя в авангардном отряде, врывающемся на конях в Петропавловскую крепость. «Если ехать на юг, то нужно отправиться в Марсель, а если в северо-западную армию, то в Берлин. Хорошо, что запасся обратной визой! Там уже денежная забота отпадает: и отправят, и кормить будут за счет правительства. Но уехать из Парижа надо сегодня же! Прощаться не буду. Оставлю Мишелю записку, что возвращаюсь в Довилль. Или, лучше, что получил через Брауна работу в провинции. Пока они спишутся с Мусей, искать меня будет поздно. Муся впрочем не может ничего сделать, она мне не опекунша. Да и не будет она особенно искать меня... Может быть, будет рада: обуза с плеч свалилась! Когда-нибудь я ей все напишу — из Петербурга...»

Потом он подумал, что денег все-таки недостаточно. На дорогу, на жизнь в первые дни, пока не кончатся формальности, двухсот сорока пяти франков не хватит,— если ехать в Берлин, то не хватит и на билет. Витя злобно-радостно вспомнил: ведь есть запонки Муси! «Теперь сентименты кончены. Отлично можно продать подарок любовницы господина Серизье!..» Он знал, что запонки стоили две тысячи девятьсот франков: Муся об этом проговорилась Мишелю («а может, не проговорилась, а похвастала: вот как она меня осчастливила!») Если продать, верно тысячи полторы дадут? Но где же продать? Зайти к ювелиру? Еще покажется подозрительным: молодой человек продает такие дорогие запонки. Проще заложить в ломбарде. Да, заложить приятнее: когда-нибудь выкуплю и верну ей. Не из сентиментов, а так просто, с коротким письмом, без обращения. «Позвольте вам вернуть с извинениями...» — он довольно долго сочинял в мыслях и это письмо, потом вернулся к делу.— «В ломбарде дадут, скажем, тысячу, но и этого за глаза достаточно. Можно будет даже револьвер купить — на всякий случай. Где ломбард в Париже? Ну, это узнать нетрудно...» Витя встал и прошел в ванную.

Через полчаса он, с чемоданом в руке, на цыпочках прокрался к выходной двери. В передней у телефона лежал толстый указатель. «Ломбард по-французски Mont de piété...» Такого учреждения в телефонной книге не было. Витя сообразил, что это не официальное, а бытовое название. «Ах да, Crédit Municipal!». Он записал адрес, вернулся в спальную,— не забыл ли чего,— заглянул в столовую, где об *этом* узнал: «больше никогда не увижу» — и вышел на лестницу, бесшумно затворив за собой дверь.

XVII

Со скамьи, за окном, на противоположной стороне улицы были видны на желтой вывеске черные буквы: Pape... Над писчебумажным магазином, в глубине комнаты, у окна стояла вполоборота женщина,— кажется, молодая и красивая. С улицы доносились голоса. Везде были отворены окна, люди весело переговаривались между собой, здесь, повидимому, все знали друг друга. Только в сумрачной зале ломбарда не было этой ласковой провинциальной уютности. Здесь молчали или говорили вполголоса. Тихо входили и выходили люди, в большинстве бедно одетые, печальные. Рядом с Витей дама, одетая получше, старательно показывала, что очутилась здесь совершенно случайно и что она недовольна обществом. Все ждали очереди с французским уважением к правилам, с терпением бедных людей,— ждать нужно было долго. За перилами что-то подсчитывали и писали служащие в серых балахонах. Однообразно-четко стучали машины. Витя нервно поглядывал на боковое окно, выходившее в соседнюю комнату. Там валялись тюки, пакеты, чехлы. У крашеной серой стены сидел оценщик, пожилой, бородатый геморроидального вида человек. «Вот он и решит, ехать ли мне на войну с большевиками!..» Женщина с ребенком на руке вполголоса объясняла соседке, как она здесь очутилась: прежде они никогда не нуждались, но после войны... Соседка вздыхала. «Да, люди стыдятся бедности, все, даже они, вековые, наследственные бедняки...»— «Триста двадцать семь!» — каким-то странным, удалым голосом, со странным напевом и выговором, прокричал молодой веселый служащий, появившийся в боковом окне — «пятьдесят франков!». Пожилой господин, сидевший на отдаленной скамейке с видом совершенной покорности судьбе, сорвался с места и побежал к окну, оглядываясь по сторонам, точно он боялся встретить знакомых. «У него вид женатого человека, попавшего в дом терпимости»,— подумал Витя и погрузился в воспоминания о вчерашнем вечере. «Как много ощущений за один день! Там, в оперетке я не думал, что будет через несколько часов.— «Триста двадцать восемь! Пять франков!» — снова пропел служащий. Витя вздрогнул и взглянул на свой номер. «Сейчас все решится. Как странно! Для того, чтобы отдать жизнь за Россию, я почему-то должен пройти через все эти «engagement», «dégagement», «renouvellement» [1], и если что-либо здесь выйдет не так, вся моя жизнь сложится иначе... А если б она мне тогда не сделала без причины подарка,

---

[1] «Закладывание», «выкуп», «возобновление» *(франц.)*.

то я теперь был бы совершенно беспомощен, в ее полной власти. Она тогда, в Довилле, сказала: «Прими это как подарок, на память от папы, он так тебя любил...» И это мне было больно: я рад был бы получить подарок не от Семена Исидоровича, а от нее. Я знаю, она думала, что так будет деликатнее. Но это и показывает, что мы перестали понимать друг друга. Да, она изменилась ко мне, я это чувствовал и в те дни, когда она была весела. Даже тогда она задевала меня, иногда оскорбляла. На пляже она сказала, что у меня смазливая рожица. Она знала, не могла не понимать, что это оскорбительно... Она высмеивала мои манеры: «ты клоп, а стараешься говорить, как вельможа из Английского клуба. Может быть, ты говоришь и «давеча»... Все это мелочи, пусть! Но прежде таких мелочей не было. Отчего же это сделалось? Нет, конечно, не из-за денег, не надо быть болезненно мнительным, я просто надоел ей. У нее сухой ум и сухая душа... Я клевещу на нее, но я поступил правильно, что порвал с ней, с ее домом, с ее деньгами...» — «Но почему же пять франков? — с мольбой в голосе говорила женщина,— прошлый раз дали семь, ведь это настоящий никель».— «La petite dame veut avoir sept francs» [1],— сказал веселый служащий оценщику, показывая ему что-то в чехольчике.— «Хорошо, семь»,— ответил, вздохнув, оценщик.— «О, нищета, горе, везде горе! — думал Витя, едва сдерживая слезы.— Зачем все это? Почему все это так?» — «Триста двадцать девять! Тысяча франков!..» — Витя сорвался с места. Соседи глядели ему вслед с уважением и с завистью. «Oui, parfaitement» [2],— поспешно, как можно вежливее, сказал Витя. Служащий посмотрел на него и, по-видимому, не согласился с «parfaitement»».

— Сколько вам лет?

— Двадцать два,— быстро солгал Витя, почувствовав недоброе.

— Покажите, пожалуйста, ваши бумаги.

— У меня нет с собой бумаг...

— Ссуда не может быть дана.

— Но почему же?

— Несовершеннолетние должны представлять разрешение родителей или опекунов... Триста тридцать! — прокричал нараспев служащий, совершенно не так, как только что говорил.

«Вот и здесь «смазливая рожица», все надо мной потешаются»,— думал Витя, не предвидевший этого удара. Его душила злоба. Минут пять или шесть бежал он по улице,

---

[1] «Дамочка хочет получить семь франков» *(франц.)*.
[2] «Да, совершеннолетний» *(франц.)*.

сам не зная куда, и только отойдя довольно далеко от ломбарда, вспомнил, что ведь еще не все потеряно. «Не удалось заложить, можно продать... Скупщики о возрасте спрашивать не будут...» По дороге в ломбард, он полчаса тому назад видел несколько лавок с вывеской: «Achat de bijoux» [1]. Витя повернул назад. «Нельзя будет ей возвратить? Что ж, если говорить правду, какие шансы у меня вернуться в Париж и выкупить запонки из ломбарда? Это самообман. Наконец, в случае скорого возвращения, можно будет разыскать и ювелира...» На улице, проходившей вдоль ломбарда, было несколько ювелирных лавок. Витя заглянул в первую из них и прошел мимо: лицо хозяина показалось ему неприветливым. В следующей лавке старый бородатый еврей в очках с выражением напряженного, почти страдальческого любопытства на лице, полураскрыв рот, читал газету. Почему-то вид этого ювелира, то, что он был старик и еврей, то, что он с таким интересом читал газету, успокоило Витю. «Ну, этот за полицией во всяком случае не пошлет... И в конце концов не вор же я, чего мне бояться?» Он быстро оглянул себя в зеркале следующей витрины, поправил сбившуюся выемку мягкой шляпы, вернулся и, приняв возможно более уверенный вид, вошел в магазин. Приподняв шляпу, Витя спросил, не купят ли у него вот эту вещицу. Ювелир нехотя оторвался от газеты, оглядел вошедшего и, по-видимому, не нашел ни в его наружности, ни в предложении ничего подозрительного. У Вити чуть отлегло от сердца. Старик долго рассматривал запонки простым глазом, затем достал лупу, снова осмотрел и недовольно покачал головой, точно нашел в запонках большой недостаток. Витя ждал с тревогой.

— Тысяча двести франков,— сказал ювелир, проделав еще какие-то манипуляции.

Свет зажегся в душе у Вити. Он вспомнил однако, что надо поторговаться.

— Как тысяча двести? — развязно переспросил он.— За вещь заплачено больше трех тысяч франков.

Ювелир положил запонки назад в коробку.

— Тогда не надо.

— Я хотел бы тысячу пятьсот,— сказал Витя, несколько осекшись.— Вы можете смело дать тысячу пятьсот. За вещь заплачено больше трех тысяч.

— За вещь не заплачено больше трех тысяч,— спокойно и уверенно ответил ювелир.— Заплачено, может быть, две тысячи двести. И, вероятно, магазин что-то заработал? И ведь надо и мне тоже что-нибудь заработать, правда?

---

[1] «Скупка драгоценностей» *(франц.)*.

— Все-таки дайте, пожалуйста, тысячу пятьсот,— сказал Витя, сраженный логикой старика. «Верно догадывается, что я прямо из ломбарда и что там мне предложили тысячу и не дали ничего...»

Ювелир опять внимательно осмотрел запонки, подбросил их на руке и снова положил в коробочку.

— Тысяча триста, и ни сантима больше,— сказал он твердо.— Больше вам никто не даст.

— Ну, хорошо, я согласен,— сказал Витя и испугался, не покажется ли подозрительным его поспешное согласие. Ювелир отсчитал деньги и вынул листок бумаги.

— Где вы живете?

«Если сказать правду, потом могут разыскать»,— подумал Витя.— Елисейские поля, двадцать восемь,— брякнул он и покраснел, так неправдоподобен был этот адрес. Ювелир только пожал плечами: была ли ему совершенно безразлична предписанная формальность, или он привык к тому, что продавцы сообщают ложный адрес, или так наглядно свидетельствовала о честности наружность Вити, но старик ничего не возразил.— Запишите...— Витя дрожащей рукой написал: «28, Елисейские поля», но фамилию показал настоящую, так что и цель не была достигнута: разыскать все-таки могли. Не глядя на ювелира, он сунул деньги в карман, поблагодарил и вышел. На улице Витя невольно ускорил шаги, точно опасаясь погони. «Как глупо! Ведь я не вор. Но все-таки главное сделано, теперь я свободен!.. Слава Богу!..»

Поезд отходил только днем, деться было некуда, Витя бродил по этому кварталу,— одному из десятка городов, в общей сложности образующих Париж. Он думал и об отце, и о Григории Ивановиче, и о Сонечке,— о том, как все они его встретят, когда он с кавалерийским отрядом *ворвется* в Петербург. Думал и о Мусе, но без прежней злобы, почти без боли. «Что, если все-таки неправда? И если я погибну оттого, что Мишель соврал...»

Потом Витя вспомнил, что не записал адреса ювелира. Хотел было вернуться, но раздумал: «Не все ли равно? Теперь-то навсегда кончено!..» За поворотом улицы ему загородили дорогу люди, выстроившиеся у низкого, похожего на сарай строения. Над ним висела надпись: «Soupe populaire»[1]. Из сарая вышел дряхлый, очень плохо одетый старик. Опираясь на палку, заложив назад левую руку с трясущимися пальцами, он медленно прошел мимо Вити. Витя долго провожал его взглядом.

---

[1] «Суп для бедных» *(франц.)*.

Он зашел в кофейню, сел на террасе, спросил кофе, съел булочку. Решил не идти в ресторан: «куплю ветчины и хлеба, надо беречь каждый грош...» Витя точно считал себя теперь ответственным за свои деньги перед армией, в которую должен был поступить, перед той женщиной с ребенком, перед нищими людьми, выстроившимися у сарая для получения бесплатной тарелки супа. Кофе было крепкое. Витя почувствовал голод. Ветчину можно было съесть только в вагоне, а до поезда оставалось еще много времени. Объявление на доске кофейни сообщало, что choucroute[1] стоит один франк. «Это можно истратить»,— решил Витя. Он поел, выпил еще кофе,— на дорогу. И оттого ли, что так прекрасно было летнее утро, или из-за новой жизни, которая теперь открывалась перед ним наверное,— все препятствия, кажется, были устранены,— совершенно в иной цвет окрасились мысли и чувства Вити. «Да, борьба везде одна,— думал он,— кто борется за правое дело в России, борется и за этих бедняков, за всех несчастных, обиженных людей, за человечество,— не надо стыдиться жалкого слова. А там, на юге, в добровольческой армии дело правое, и за него не жаль отдать жизнь! Что такое мое личное горе, Муся, Клервилль, Серизье, какое значение это имеет! Все это потонет в большом деле. В нем, конечно, и я найду успокоение...» Солнце сияло ярко, заливая радостью все сердце Вити.— «Я не *найду*, я уже нашел его! Я нашел не успокоение, а счастье!..»

XVIII

У жены нейштадтского капрала в Магдебурге родился трехлетний ребенок, вышедший из чрева матери в каске, в латах и во французских модных сапогах кожи настолько тонкой, что походила она на бумагу. Были городу и другие тяжкие предзнаменования. После ужина у бургомистра городской советник Шульц, возвращаясь к себе домой, на площади Старого рынка вдруг остановился в ужасе: стены домов были кроваво-красного цвета. А 26 ноября пронеслась над Магдебургом буря, подобной которой никто не помнил: обвалились две башни, мельница и несколько домов. Вольнодумцы смеялись: ничего это означать не может,— и буря не такая уж редкость, и советник, верно, был пьян, и не все тайны природы известны: мало ли какие рождаются дети, да кто был при родах! Между тем, предзнаменования говорили тяжкую правду. В самый день бури, в Гаммельне, на совете у графа Тилли, было решено двинуться на Магдебург и разорить это гнездо врагов.

[1] Кислая капуста *(франц.)*.

И действительно, вскоре после того к стенам города подошел Паппенгейм с авангардом имперской армии. Жители вначале не беспокоились, стены крепкие, а король Густав-Адольф со своей армией не за горами. От него в Магдебург прибыл искусный вождь Дитрих Фалькенберг; к шведскому офицеру вскоре само собой перешло и руководство защитой города, ибо среди городских правителей не было энергичных военачальников. Фалькенберг же был воин доблестный, и, когда, по обычаю, Паппенгейм подослал к нему человека,— не согласится ли за приличное вознаграждение сдать город без боя,— отослал этого посланца без разговоров и пригрозил, что следующего повесит.

Затем к Магдебургу стала подходить и вся имперская армия, во главе с самим Тилли. Лазутчики доносили, что ей нет числа. В городе наступила тревога, особенно после того, как Фалькенберг очистил предместья — Нейштадт и Сюденбург — взорвал мосты и снес множество домов. Десяток тысяч людей остался без крова. Городской совет кое-как размещал их по частным домам, и от этого произошло много неудобств, неприятностей и споров: бедные говорили, что советники покровительствуют богатым,— вселяют не к ним, а к беднякам. Говорили также, что богатые службы под ружьем не несут, поставляют за деньги заместителей, и что в городе есть предатели, все сообщающие графу Тилли. В апреле часть имперских войск переправилась через Эльбу. Город был обложен со всех сторон, началась бомбардировка раскаленными ядрами, и настал ужас в Магдебурге.

Чтобы поднять дух населения, администратор распускал слухи, будто шведский король Густав-Адольф уже двинулся им на выручку из Шпандау. Для короля, на виду у всех, готовились богатые покои. Дозорные ежедневно поднимались на колокольню: не видны ли вдали шведские войска? А в своем кабинете администратор показывал всем к нему приходившим письма из королевского штаба с вестями о близком освобождении. Подложные письма эти изготовлял, по заказу администратора, адвокат Куммиус, большой мастер таких дел.

Не очень весело было, однако, и в штабе имперских войск. Шведский король был не за горами и в самом деле. Правда, молодые генералы за бутылкой вина хвалились, что разнесут и Густава-Адольфа,— пусть только покажется! Но граф Тзерклас Тилли не спешил сразиться с этим знаменитым полководцем; имея же в тылу всю шведскую армию, не решался штурмовать хорошо укрепленный город: Дитрих Фалькенберг знал свое дело, защитники Магдебурга дрались лучше, чем можно было ждать. Вдобавок, дело было и

не без колдовства. По крайней мере, Паппенгейм божился, что при штурме редута «Тротц-Кайзер» пули не брали врагов — их приходилось убивать прикладами.

На одном из военных советов в ставке тот же Паппенгейм предложил хитрый план: бомбардировать город беспрерывно три дня и три ночи; на четвертый же день прекратить огонь, убрать пушки с передовых позиций и сделать вид, будто уходим: «что, мол, делать, ваша взяла!» Конечно, городские власти решат, что граф Тилли получил тревожные вести о Густаве-Адольфе и потерял надежду взять город. На радостях, все эти вооруженные мещане, верно, разбегутся по домам к женам и деткам,— вот тогда-то и начать настоящий штурм, особенно с севера, где валы покатые, и воды во рвах почему-то нет.

Генералы были от выдумки в восторге, но граф Тилли ворчал: уж очень все это просто. Разумеется, может и выйти, да что если не выйдет? Молодым все равно, а он ставил на карту свою военную славу. Все же в конце концов старик согласился попытать счастья и даже потрепал ласково Паппенгейма по плечу. Велел завтра, 7 мая, и начать бомбардировку, а в день штурма, 10-го, выдать солдатам тройную порцию водки и сказать им: если возьмут город, то три дня могут делать там что угодно,— ни спроса, ни следствия не будет,— город же богатейший. Молодым генералам это не очень понравилось, но старики одобрительно улыбались: знает граф Тзерклас человеческую природу.

И все сбылось, как предсказал Паппенгейм. В первый день бомбардировки магдебургские горожане трепетали,— видно, пришел последний час. На второй день стало легче, а на третий — произошел в сердцах перелом: что ж, в средину города ядра не долетают, убитых мало, пожары тушим. Городской совет из старичков все еще подумывал о переговорах и о капитуляции, но большинство горожан уже думало иначе: посмотрим, кто кого побьет!

Когда же, в полдень 10-го мая, бомбардировка вдруг прекратилась, и дозорный закричал с колокольни, что у проклятых имперцев пушки увозятся с позиций, настали в городе радость и торжество: Густав-Адольф подходит к Магдебургу, пришел конец графу Тилли! Предчувствуя недоброе, Фалькенберг разрешил уйти с валов лишь половине бойцов,— остальным велел дежурить всю ночь. Но не все послушались его приказа, много людей ушло с позиций самовольно.

Печатник Тобиас-Вильгельм Газенфусслейн, как человек очень добросовестный, никогда не ушел бы с поста без раз-

решения начальства. Но ему шел шестой десяток, и толку от него было немного. Его отпустили под вечер, в числе первых. На валу он был приставлен к мушкету. Это оружие, изобретенное в далекой Московии, было длиннее самого длинного человека, стояло на вилке, и обращаться с ним было не очень трудно. Тобиас-Вильгельм Газенфусслейн, однако, тяготился своим делом, ибо не любил оружия. Шпагу он носил и в мирное время; еще император Фридрих приравнял к благородным людям цех печатников, и эту честь Газенфусслейн считал заслуженной: не было, по его мнению, ремесла более чистого, разумного и полезного людям, чем печатание книг. Но мушкета своего он побаивался, и хоть от всей души желал поражения врагам, все же, поднимая зажженный фитиль, втайне молился Богу, чтобы никто не был убит его выстрелом. И желание его всегда сбывалось.

По улицам, при свете фонарей и факелов, шла восторженная толпа. Но едва ли в ней кто радовался концу боев сердечнее, чем Тобиас-Вильгельм Газенфусслейн. Когда он подходил к печатне, показалось ему, что в толпе молодых людей мелькнула его племянница Эльза-Анна-Мария, она же попросту Эли. Газенфусслейн женат не был; племянница была им воспитана, обучена; в печатне она ведала правкой набора: по обычаю, шедшему от Эльзевиров, правка поручалась женщинам, ибо они не мудрят, не считают себя ученее авторов, не исправляют, кроме опечаток, ничего, опечатки же исправляют внимательно и за совесть. Недурно справлялась с работой и Эльза-Анна-Мария. Но с 16 лет она от рук дяди отбилась,— от его рук отбиться было и нетрудно, — и все бегала с какими-то мальчишками, к великому его огорчению: Тобиас-Вильгельм Газенфусслейн очень любил свою племянницу. Личико у нее было хорошенькое, а выражение — как у лисы, другого слова и не выдумаешь. В этот радостный вечер Газенфусслейну особенно хотелось побыть дома с Эли, поужинать с ней, обменяться впечатлениями. Было и беспокойно: бомбардировка, правда, кончилась,— а вдруг начнется снова. Правда, от ядра не спасет и крыша печатни, но Эли могла бы не уходить из дому в такой день.

И все же, несмотря на это огорчение, сердце отдохнуло у Газенфусслейна, когда он вошел в печатню и увидел знакомые, привычные, милые вещи: станки, талеры, кассы, рашкеты, книги на полке. В углу комнаты находился его собственный стол,— здесь была главная радость: Тобиас-Вильгельм Газенфусслейн собственноручно набирал, нарочно для того отлитыми буквами, Священное Писание по редчайшему старинному образцу: по 36-строчной Библии, выпущенной в Майнце Пфистером. Рядом лежали и книга, и

последняя страница набора, кончавшаяся словами: «Pereat dies in qua natus sum et nox in qua dictum est conceptus est homo. Dies illa vertetur in tenebras»[1]. Газенфусслейн только вздохнул, в тысячный раз полюбовавшись образцом: дивным наполнением листа, красотой букв, буквой i с полукружком вместо точки, знаками препинания не внизу строчки, а повыше, на уровне средины букв. Подмастерья ему говорили, что он и сам набирает не хуже Пфистера, но Газенфусслейн только с досадой слушал столь нелепую похвалу: знал, что секрет великих мастеров потерян. Он сел у стола и радостно улыбнулся: скоро можно будет совсем вернуться от мушкетов к любимому делу, столь милому и полезному людям.

В соседней комнате, под кастрюлей с супом из овощей, лежала записочка от Эли. Она поздравляла дядю с великой радостью, сообщала, что мяса, к сожалению, достать не удалось, и очень просила простить ее: у нее разболелась голова, и как раз за ней зашли Марта с Магдой,— дядя не будет ни сердиться, ни беспокоиться, правда? а в аугсбургском Петрарке для дяди лежит письмо, а ждать ее не надо, дядя, верно, очень устал. Тобиас-Вильгельм Газенфусслейн расчувствовался: в самом деле, после этих трех ужасных дней, бедная девочка могла немного погулять с друзьями.

Письмо было от профессора Ионгмана, и говорилось в нем о розенкрейцерских делах. В выражениях темных для непосвященного профессор извещал Газенфусслейна, что следующий съезд состоится в Италии или в Праге, но когда, еще не известно, во всяком случае, не очень скоро. Ионгман собирался в Рим, а на обратном пути рассчитывал побывать в богемских и в немецких землях, быть может, и в Магдебурге. Письмо было очень бодрое. Профессор не скрывал от себя, что нерадостно положение в мире, особенно в Германии, но он отнюдь не терял надежды и верил все крепче: невидимые спасут мир, и торжество правды близко.

Тобиас-Вильгельм Газенфусслейн был душевно рад письму профессора Ионгмана. В тяжелое время особенно приятно было, что о нем не забыли друзья и что столь ученый человек нашел час,— послал ему весточку. В самом деле, ужасы пройдут, близится торжество правды. Непонятно было, кто доставил письмо? Впрочем, вести в город проскальзывали, несмотря на осаду.

После ужина Газенфусслейн с жаром помолился Богу и лег спать. Сквозь сон он услышал молодые голоса, веселый смех на улице: Эльза-Анна-Мария прощалась у дверей с

---

[1] «Да будет проклят день, когда родился человек, и ночь, когда он был зачат. Да пребудет день этот во мраке» (*лат.*).

друзьями. Тихо отворив дверь, Эли на цыпочках скользнула в свою комнату. Тобиас-Вильгельм Газенфусслейн собрался было ее окликнуть, но раздумал, чтобы не конфузить девочку: верно, час уже поздний. И очень хотелось ему спать после трех тяжелых ночей. Он тотчас снова заснул. Было уже совершенно светло, когда его разбудили страшные крики, шум, выстрелы...

Герольд, в черном шелковом костюме, с вышитым на груди гербом графа Тилли, остановился перед полком синих драгун и прочел приказ: на утро назначен генеральный штурм,— в нем участвовать и драгунам, оставить лошадей в обозе.

Волнение было и радостное, и тревожное: все понимали, что такое штурм Магдебурга,— уж из пяти человек быть одному мертвецу. Большая часть драгун провела ночь без сна: одни молились, другие точили оружие или писали письма, третьи пили до позднего часа. А Деверу лег спать как ни в чем не бывало и даже выпил за ужином не больше обычного. Он был очень смелый человек, с характером счастливым и беззаботным. В палатке, ложась на солому, подумал было, что могут завтра убить, и решил, что не страшно: значит, прямо попадет в рай. Представлял он себе рай неясно, да и размышлял о таких предметах мало и неохотно, но знал, что в раю будет хорошо. А вот если тяжело ранят? Вообразил на мгновение худшие из ран,— бывают и такие, что подобны насмешке над человеком,— но и на этих мыслях он не остановился: почему же ранят? Нет, не ранят.

Разбудили драгун странно,— без трубы, без барабанного боя. Было еще совершенно темно,— верно, шел третий час. Вздрагивая от холода, Деверу наскоро привел себя в порядок: почистил кафтан, к которому пристала солома, проверил оружие, убедился, что амулеты на месте. Висела под камзолом и роза на синей ленте, он носил ее по-прежнему, хоть давно не имел никакого дела с розенкрейцерами: вещица золотая, ценная, да кто знает, может, и в ней есть какая-нибудь сила? Хмурый капитан пересчитал драгун и одного отставил: четное число приносит в бою несчастье. К палатке подкатили бочонок водки; всем велено было выпить по чарке. Затем драгун повели. Идти было приказано тихо. Долго-долго они шли, без фонарей, без факелов, в черную беззвездную ночь. Останавливались, шли снова, остановились совсем. От темноты и безмолвия было страшно, несмотря на выпитую водку.

Стало рассветать. Они стояли за холмом. Осторожно отойдя влево, к дороге, Деверу перед собой, совсем близко,

увидел высохший ров; за ним шли валы, кое-где настолько покатые, что можно было на них подняться и верхом. Но за валами была высокая каменная стена с башнями и с бойницами. На нее смотреть было неприятно. Деверу прикинул взглядом: вот оттуда сверху очень просто могут и кипятком облить, или столкнуть лестницу, когда уже будешь наверху. Однако, ни на стене, ни на валах не было видно никого, не было даже часовых и дозорных. Офицеры смеялись: хорошо же поставлено дело у купцов! Многие из драгун осмелели и больше за холм не прятались. Становилось все светлее. Капитан с раздражением пожимал плечами,— чего ждут, зачем упускают время? Прошел час, другой, люди начинали злиться.

Задержка объяснялась тем, что у графа Тзеркласа Тилли в последнюю минуту снова возникли колебания: не лучше ли отказаться от штурма? Проворочавшись без сна всю ночь, он перед рассветом велел созвать генералов. Военный совет продолжался более часа,— генералы просто не узнавали своего начальника. Тилли упрямо твердил, что дело рискованное: если отобьют, беда и позор, а если штурм и удастся, потери будут так велики, что уж какое сражение с Густавом-Адольфом! Да и весь план несерьезный: никогда Фалькенберг, опытный воин, не оставит стен без охраны,— верно, Паппенгейм начитался «Илиады», но теперь не древние времена! Брюзжал, брюзжал и, наконец, уступил, как и в прошлый раз. Ничего решительно не изменил сумбурный совет.

И так дивно устроен мир, что именно из-за этого совета, из-за нерешительности старика, из-за задержки дела, и был взят город Магдебург. До рассвета шведские офицеры еще кое-как держали караулы на позициях. Но с рассветом всем стало ясно: дело кончено, никаких боев не будет. И с позиций радостно побежали в город последние защитники Магдебурга. На северной стене осталось человек пятнадцать пожилых и старых горожан, которые не хотели возвращаться домой на рассвете,— зачем будить своих? Они потушили фитили, прилегли и задремали.

Прямо с военного совета в сопровождении ординарца примчался к северному валу Паппенгейм. На лбу у него обозначились два красных меча: с этой приметой он родился, но выступали мечи на лбу Паппенгейма лишь тогда, когда он очень волновался, и знавшим его стало ясно, что сейчас начнется штурм. Генерал выехал из-за холма,— все выходило так, как он рассчитывал,— радостно оглянулся на солдат, словно говоря им: «мы-то с вами друг друга знаем, болтать незачем». Однако, у солдат вид был угрюмый. Пап-

пенгейм вполголоса спросил, есть ли водка, и велел всем выпить еще по чарке. Затем отдал приказ, бесшумно прошедший по рядам. Солдаты, с лицами решительными и бледными, быстро прошли мимо апрошей и спустились в ров. Впереди тащили длинные лестницы. Было уж совсем светло, дул ветер. Поднялись на вал,— точно вымерли там все за стеной или перепились до бесчувствия? Деверу не спускал глаз с башни, вот-вот сейчас польется оттуда расплавленный свинец! Капитан с нахмуренным лицом шепотом отдавал приказания. Солдаты, тяжело дыша, приставляли лестницы к стене. «Вот по этой»,— думал Деверу. Сердце у него страшно стучало, но страха не было,— лишь бы только скорее! Первая лестница чуть пошатывалась наверху стены,— там по-прежнему все было непостижимо тихо. Деверу оглянулся в последний раз: «вдруг никогда больше не увижу...» Капрал плюнул на руки и, подбежав со стороны стены к лестнице, вцепился в нее, чтобы не шаталась. Капитан выхватил саблю, грозно оглянулся на солдат,— «попробуй-ка кто не пойти за мной!»,— и вдруг, изогнувшись, едва держась за борт, бросился вверх по ступеням. За ним ринулись другие. Кто-то дико заорал, хоть было запрещено, позади раздался выстрел,— это Паппенгейм подал сигнал,— и в ту же секунду все потонуло в диком реве.

Деверу на стене оказался четвертым; на мгновение он остановился, задыхаясь,— теперь самое страшное, лестница, осталось позади. Перед ним вдали блеснул великолепный город, храмы, дворцы, залитые утренним солнцем. «Что же теперь? Кого бить?» — мелькнула у него мысль. Капитан бежал вниз по откосу с поднятой саблей. Деверу бросился за ним и вдруг увидел перед собой на земле кучку людей. Один из них, пожилой человек, сидя, откинувшись назад, упершись левой рукой в разостланный на земле плащ, подняв правую руку, смотрел на подбежавших драгун остановившимися от ужаса глазами. Он, видимо, только что проснулся.— «А-а-а!»,— звериным голосом прокричал Деверу и, подбежав к сидевшему человеку, изо всей силы ударил его по голове саблей. Кровь хлынула потоком, человек слабо вскрикнул тонким голосом и повалился на плащ. Это был первый человек, которого Деверу пришлось убить в жизни холодным оружием: стрельба в счет не шла. Никакого волнения он не почувствовал. Потом, вспоминая, Деверу думал, что убить человека, в сущности, очень просто: почти так же просто, как зарезать курицу.

Летописцы же все сходятся на том, что ничего равного по ужасам взятию Магдебурга не было в истории мира.

За исключением тысячи людей, которой удалось укрыться в уцелевшем чудом соборе, истреблено было все население большого, прекрасного города, так что до самого конца месяца мая нанятые люди ежедневно сбрасывали в Эльбу сотни и тысячи обезображенных, разложившихся тел. Резали и расстреливали магдебургских граждан, истязали их, чтобы найти золото, три дня и три ночи. Но самое страшное происходило в первое утро, во вторник 10 мая. Хуже всего было женщинам,— почти все они были изнасилованы. Прозван был этот день магдебургской свадьбой.

А кто зажег город, этого летописцы не выяснили: быть может, брандскугели Паппенгейма, быть может, люди графа Тилли, быть может, Дитрих Фалькенберг, не желавший отдавать врагу город с его огромными богатствами. Сам он погиб в числе первых. Тело его сгорело, и не осталось ничего, кроме славы, от главного защитника Магдебурга.

К полудню усилился ветер, к вечеру же превратился город в пылающий костер. Низко стелился черный дым, а над ним уходили в небеса высокие огненные столбы,— это горели церкви: св. Ульриха, св. Николая, св. Иоанна, св. Себастиана, св. Петра, св. Екатерины, и много еще других старых, величественных храмов. На многие-многие мили видно было страшное магдебургское зарево. В Шпандау, в шведском лагере, вышел из палатки король Густав-Адольф и, с ужасом глядя на далекое кроваво-красное пятно в небесах, прослезился и сказал одному из своих соратников: «Свыше меры полна теперь чаша зла...»

А Деверу до полудня не догадывался, что можно грабить и насиловать женщин. И как только узнал, что можно, тотчас попалась ему хорошенькая блондинка, совсем молодая. Она вбежала в подворотню, он бросился за ней, она на лесенку, и он туда же. Старик в мастерской, молившийся Богу, вскочил с перекосившимся лицом, но не успел и пикнуть: Деверу подбежал к нему и перерезал ему горло. Теперь это было очень просто: позднее Деверу пробовал подсчитать по памяти, сколько человек он убил в этот день,— выходило не то десять, не то двенадцать. Противно было лишь то, что они почти не сопротивлялись.

В печатной он оставался долго. Денег не искал,— тоже было противно,— и какие деньги у ремесленника? Деверу даже от себя подарил талер Эльзе-Анне-Марии и прикрикнул на нее, чтоб взяла. Девчонка все плакала,— трудно понять, откуда берется у женщин столько слез. Ему было очень ее жаль. «Что ж делать, ведь война»,— сказал он смущенно и, чтобы оказать внимание ее горю, покрыл голову

печатника лежавшими на столе большими листами бумаги. На одном из них было набрано: «Pereat dies in qua natus sum et nox in qua dictum est conceptus est homo. Dies illa vertetur in tenebras». Лицо старика показалось Деверу знакомым, но не мог он вспомнить, где видел этого ремесленника. Спросил Эльзу-Анну-Марию, как их зовут,— фамилия Газенфусслейн была ему незнакома. Он думал, что это отец девочки. Когда узнал, что дядя, ему стало легче. «Что же с ней делать? — спросил себя Деверу.— Оставить здесь? Другие придут, подлый пошел народ. А то взять ее с собой».—Эта мысль ему понравилась: в армии Тилли чуть не все, кроме главнокомандующего, возили с собой женщин. «Надо бы ей что-нибудь подарить...» Он вдруг радостно вспомнил о своей розенкрейцерской розе: «вот и она пригодилась...» Надел на шею девочке и велел ей идти за ним.

И так много злодеяний совершено было в этот день, что потрясли они даже душу графа Тзеркласа Тилли. Угрюмо въехал в город.— «Tillius de tanta caede nauseabundus» [1],— говорит о нем свидетель. На площади Нового рынка главнокомандующий остановился: с крестом в руке, в белом облачении, приблизился к нему католический священник, патер Сильвий, и именем Господа Бога заклинал его положить конец злым, страшным делам, которые творятся в побежденном городе. Старик долго смотрел на священника. Вдруг на землистом лице его промелькнул ужас; патер Сильвий напомнил о неминуемой Божьей каре.

— Да, да, отец, спасайте всех,— сказал граф Тилли. Узнав, что в соборе укрылось до тысячи человек, помиловал их и велел поставить у собора охрану, а увидев грудного ребенка, ползаешего на земле у тела убитой матери, тяжело слез с коня, поднял дитя на руки и произнес: «Das sei meine Beute!» [2] Приближенные же умилились и доброте графа Тзеркласа, и великому его бескорыстию. Ибо всем было известно, что он не попользуется ни единым талером из бывшего в городе несметного богатства.

Но ни графу Тилли, ни приближенным его не было известно, что под площадью Нового рынка, на которой они стояли, вьется длинное темное подземелье, с ходами во все концы Магдебурга. Большое число бочек с порохом тайно заложил в этом подземелье Дитрих Фалькенберг. К первой бочке шел просмоленный шнур. В должное время рукой мстителя был приложен фитиль к концу шнура; сильна в душе человека жажда мщения. Взрыв же порохового

[1] «Тиллиуса стало тошнить от множества убийств» *(лат.)*.
[2] «Это будет моя добыча» *(лат.)*.

погреба уничтожил бы и графа Тзерклаcа Тилли, и его штаб, и большую часть его армии, а с ними весь город Магдебург. Но огонек добежал лишь до первой галереи, зашипел и погас шагах в двадцати от бочки. И столь странно устроен мир, что та магдебургская кошка, которая, накануне ночью гоняясь в подземелье за крысами, с разбега наскочила на шнур и порвала его, оставила больший след в мировых судьбах, чем сам Тилли, и Валленштейн, и Ришелье, и император.

XIX

Для Клервилля наступило тяжелое время. Ему по природе было несвойственно раздраженное состояние. Теперь он из этого состояния почти не выходил и вдобавок должен был тщательно скрывать свои чувства, приблизительно выражавшиеся словами: «Однако *все это* начинает очень мне надоедать!..»

Полусознательное значение «однако» сводилось к тому, что Муся, в конце концов, ни в чем или почти ни в чем не виновата. Что такое было «все это», Клервилль не мог бы сказать определенно. Сюда входили и беременность Муси, и ее мать, и ее друзья,— русские, французские, румынские,— мальчики, без причины исчезающие неизвестно куда, девочки, покушающиеся на самоубийство неизвестно почему. Исчезновение Вити, попытка самоубийства Жюльетт вызвали у Клервилля, несмотря на его доброту, не сожаление, а злобу. Муся внесла в его жизнь fait divers [1],— самое неприятное и неприличное из всего, что могло случиться с порядочным человеком.

«Но ведь это только последняя капля, переполнившая чашу»,— говорил себе он, с тяжелым чувством оглядываясь на последний год своей жизни. Клервилль не любил самоанализа,— видел и в самоанализе русское влияние. В последнее время это влияние становилось все более ему неприятным: здесь семья и окружение Кременецких странным образом смешивались с революцией, с Петербургскими островами, с «Бродячей собакой», с Достоевским. Он называл все это «экзотикой», с удивлением вспоминая, как нравилась ему экзотика в ту пору, когда он был влюблен в Мусю. «Да, все это было самообманом: ложная значительность пустых разговоров, вера в глубину балалаечных оркестров и балалаечных чувств...» Обычное в кругу Муси противопоставление английской элементарности и русской сложности казалось ему поверхностным, если не просто глу-

[1] Происшествия (*франц.*).

пым. «Видит Бог, я не страдаю манией величия, но, право, я, как человек, сложнее, чем она и чем большинство ее друзей».

Он сознавал теперь ясно свою непоправимую ошибку. Еще в Довилле, до происшествий с друзьями Муси, жизнь с женой, разговоры с ней стали чрезвычайно тяготить Клервилля, несмотря на весь его, казалось, неисчерпаемый, запас благодушия, оптимизма, savoir vivre[1]. Он знал наперед каждое слово и в своих, и в ее речах; но говорить и слушать эти слова было совершенно необходимо. Обряд был разработан точно. При всякой встрече с женой он заботливо осведомлялся об ее здоровьи, спрашивал, как она провела два часа их разлуки, была ли в Казино, рассказывал, что делал он сам, сообщал новости из газет, и, расставшись снова часа на два, целовал Мусю в волосы и просил твердо помнить о своем положении — не делать ничего неблагоразумного. Это было не слишком утомительно. Но однажды, к концу обряда, Клервилль поймал себя на мысли, что больше этого выдержать не может.

В Париж они выехали экстренно. Утром, на пляже, Елена Федоровна взволнованно сообщила Мусе, что Леони вдруг уехала в Париж, не простившись, ничего не объяснив: ее вызвал по телефону Мишель. Объяснения так и не последовало. Дня через два из Парижа вызвали по телефону Мусю. Мишель кратко сообщил об исчезновении Вити — и повесил трубку при первом ее восклицании ужаса.

Началась экзотика: нервы, суматоха. Клервилль успокаивал жену,— ничего страшного с Витей случиться не могло: ушел и, по всей вероятности, скоро вернется; а если в самом деле уехал в белую армию, как она предполагает, то это его право, и, быть может, его долг. Муся посмотрела на мужа почти с ненавистью. Ему это доставило удовольствие,— он сам изумился. Клервилль согласился с женой, что ей необходимо вернуться в Париж и что он должен ее сопровождать. Согласился, стиснув зубы, уехать немедленно. Он успел только забежать на поло, проститься с лошадьми, сделать о них распоряжения.

Не пожелала оставаться одна на море и Елена Федоровна,— ее терзало любопытство: что такое случилось в доме Георгеску? К тому же, погода резко изменилась, жаркие дни кончились. Елена Федоровна заявила, что тоже покидает Довилль. Она, видимо, надеялась, что Клервилли предложат ей место в своем автомобиле. Они однако этого не сделали, и их нелюбезность — она говорила: хамство — вызвала у нее слезы бешенства.

---

[1] Умение жить (*франц*).

Елена Федоровна отлично знала, что ее считают злой; она допускала даже, что в этом мнении может быть некоторая доля правды. Но люди, бранившие ее, не понимали и не желали понять, что она одинокая старящаяся женщина, что у нее никого нет, что небольшие деньги ее тают с каждым днем. У Муси был муж с миллионами (она очень преувеличивала новое богатство Клервилля). У Жюльетт были мать, брат, какие-то родные, какое-то имущество в Румынии. У нее же никакой опоры в жизни не было. Пока деньги оставались, с ней еще разговаривали как с равной — и то не совсем, а почти как с равной. Но если растают последние гроши, что тогда? Об этом она не могла подумать без ужаса и все больше приходила к мысли, что только деньги имеют значение в жизни, хоть почему-то люди считают нужным притворяться, будто есть еще что-то другое. И Муся с ее шальной роскошью, Жюльетт с ее уверенностью в своем умственном превосходстве, цепкая, ловкая Леони с ее видом кроткого терпения, с наигранной покорностью воле Божьей, вызывали у баронессы Стериан чрезвычайное раздражение, которого она по мере сил не проявляла только потому, что совсем поссориться с ними было бы ей тяжело и невыгодно. Она знала, что всем говорит неприятности, но знала также, что по природе своей не может не говорить их, — и самой себе объясняла, что по крайней мере она-то не лицемерит; другие же только прикрывают вежливостью, любезностью свой совершенный эгоизм, бесчувственность, злобу. Особенно раздражало ее теперь воспоминание о мужчинах, которые были с ней близки. Их, от Фишера до Загряцкого и Нещеретова (Витю она не считала), было много, и все они были ей одинаково гадки. «Только Мишель настоящий человек!..» Елена Федоровна бледнела, когда молодой Георгеску говорил о своем возможном отъезде в Румынию для политической работы.

Вернувшись в Париж по железной дороге, Елена Федоровна тотчас все о Жюльетт узнала, как ни старались Леони и Мишель скрыть семейную тайну. Никакой опасности больше не было. Елена Федоровна, закатывая глаза, всем рассказывала под строжайшим секретом, что полоумная девчонка отравилась вероналом из-за Серизье и что спасло ее лишь промывание желудка: «Слава Богу, что Мишель не растерялся, — если б врач пришел одним часом позже, она наверное погибла бы! И какое еще счастье, что дело не попало в газеты!» Несмотря на свое джентльменское отсутствие интереса к чужой психологии, Клервилль ясно видел, что эта румынская баронесса, которую он всегда терпеть не мог, черезвычайно рада унижению Жюльетт, скандалу, про-

мыванию желудка, и была бы совсем счастлива, если б дело попало в газеты.

Но ему было не до Елены Федоровны. Мусю оба происшествия потрясли необыкновенно. Она плакала целые дни. Беда с Жюльетт, по крайней мере, была понятна, не вызывала у Муси угрызения совести и не требовала с ее стороны никаких действий. Но относительно Вити она терялась в догадках. Если уехал в армию, почему не оставил письма, хотя бы записки в несколько слов? Муся не чувствовала, а *знала*, что дело связано с ней; но как связано, она понять не могла. Клервилль нехотя предложил обратиться к Серизье за рекомендательным письмом в префектуру. Муся поспешно отклонила предложение, сказав, что это неудобно из-за Георгеску; муж тотчас с ней согласился. Вместе с тем она требовала, чтобы на ноги была поднята вся французская полиция. Клервилль делал что мог, всюду сопровождал жену, ездил по ее поручениям.

Толку выходило немного. В участке, куда они бросились первым делом, комиссар внимательно выслушал рассказ Муси, осведомился, сколько лет молодому человеку, и затем саркастически-гробовым тоном заявил, что, к несчастию, никакого сомнения быть не может: конечно, девятнадцатилетнее *дитя* убито, ограблено и брошено в Сену,— все доказательства налицо: уж если оно ушло из дому и не возвращается четыре дня! Не только Муся растерялась, но и Клервилль несколько оторопел. Комиссар, фыркая, что-то куда-то записал,— было достаточно ясно, что он не спать ночей из-за этого дела не станет. Позднее Клервилль немало веселился, вспоминая физиономию, слова, интонацию голоса комиссара.

Ничего не дала и беготня по другим инстанциям, хотя везде Мусю вежливо выслушивали, записывали ее заявление в ведомость и обещали тотчас дать знать, если что выяснится.

Витя пропал без вести.

Клервилль должен был проводить с женой почти весь день,— нельзя было ссылаться и на службу: срок его отпуска еще не истек. Тамара Матвеевна, как ему казалось, воспользовалась случаем и от них не выходила. Она раз десять рассказывала со всеми подробностями свой разговор с Витей,— ей сразу показалось, что он какой-то странный!.. Высказывались о бегстве Вити (так же, как о причинах поступка Жюльетт) самые разнообразные догадки. Спорили обычно Тамара Матвеевна и Елена Федоровна,— как спорит большинство людей: каждая утверждала свое пото-

му, что другая утверждала противоположное. Клервилль чувствовал, что Витя ему осточертел. Ему было решительно все равно, куда бежал этот нелепый юноша, и зачем бежал, и что с ним будет: лишь бы только не возвращался возможно дольше. Но высказать это было, очевидно, неудобно. Напротив, требовалось поддерживать разговор, придумывать свои догадки, обсуждать чужие, умолять Мусю не волноваться,— волнением делу не поможешь. Скрытое раздражение Клервилля все росло.

Зато от Вити же, значительно позднее, пришло и спасение — или по крайней мере передышка. Писем от него не было, полиция ничего не выяснила, Муся была неутешна и отравляла жизнь мужу. Объявила она ему — совершенно некстати — и то, что не хочет иметь ребенка: «Он родился бы в такой обстановке сумасшедшим!» — «Это вполне возможно»,— подумал с негодованием Клервилль. Хоть он и сам не слишком хотел иметь детей, все же с этого дня отчуждение между ними еще усилилось. Муся не была противна Клервиллю, но почти все в ней и в близких ей людях раздражало его чрезвычайно.

Однажды, слушая в сотый раз, с тихой злобой, жалобы Муси на Мишеля, на себя, на полицию, Клервилль сказал, что английское военное ведомство теснее связано с белыми, чем французское: ему, наверное, гораздо легче навести справки. Сказал он это без всякой затаенной мысли,— и вдруг его так и осенило. Муся встрепенулась.— «Отчего же ты молчал до сих пор? Надо сейчас же принять все меры. Ведь мистер Блэквуд давно уехал из Довилля в Лондон, надо попросить, чтоб он похлопотал!» — «Отличная мысль,— подтвердил Клервилль,— у него большие связи. Вот только захочет ли он? Да и адреса его я не знаю. Разве написать наудачу в посольство?» — «Не написать, а телеграфировать!» — «Куда же? Да в телеграмме всего этого не изложишь, даже в письме трудно. Разумеется, и у меня нашлись бы в Лондоне связи...» — «Но отчего же ты молчал до сих пор?! Умоляю тебя, напиши сейчас же всем, кому только можно! А может быть, ты сам туда поедешь?» — «Поехать?» — раздумчиво спросил Клервилль,— «конечно, такие дела не устраиваются письмами, надо хлопотать лично». С видом готовности на всякие жертвы, Клервилль согласился завтра же выехать в Лондон.

Несмотря на его жертвенность, перед самым отъездом вышла размолвка, чуть только не ссора. Клервилль, допивая утреннее кофе, с энергичным видом излагал свой план действий: он первым делом бросится в министерство, в Intelligence Service, в штаб, затем разыщет мистера Блэквуда

и попросит его поговорить с министром. Муся слушала мужа недоброжелательно: его рвение показалось ей подозрительным. Она не очень удачно придралась к тому, что первым пришло ей в голову.— «Все-таки это странно, что в вашей Англии англичане должны обращаться за протекцией к американцу!» — «К сожалению, я с этим министром не знаком».— «Ни с этим, ни с другими. Но я не думала, что власть денег в Англии так велика».— «Я собственно не вижу, при чем тут власть денег? Англия в деньгах мистера Блэквуда не нуждается, но в некоторых случаях иностранцу бывает легче похлопотать: за ним дипломатическая поддержка».— «Однако если б этот иностранец был не американский миллиардер, а, например, сербский пастух, то было бы иначе».— «Возможно. Действительно, с миллиардерами везде больше считаются, чем с пастухами».— «Я именно это и говорю».— «Поздравляю с открытием».— Клервилль хотел было добавить: «Впрочем, если вам не нравятся англичане и английские порядки, то...» Он однако сдержался; да и сам не знал, что собственно последует за «то». Ссориться теперь, перед самым отъездом, было бы бессмысленно. Он улыбнулся, посмотрел на часы, по телефону попросил швейцара подозвать автомобиль и приступил к исполнению прощального обряда. Вместо обыкновенного поцелуя полагался поцелуй длинный, Клервилль мысленно называл его «экранным». Муся, по просьбе мужа, на вокзал его не провожала. Ей и тяжело было, что он уезжает: он был надежной опорой,— и вместе с тем она почувствовала облегчение после его отъезда.

XX

Клервилль оживился еще в автомобиле, отвозившем его на вокзал. Но по-настоящему он воспрянул духом только вступив на британскую территорию. В купе ему принесли чай, настоящий английский чай, о котором никто в Париже не имел понятия. В Лондоне почтительные носильщики без шума, без крика перенесли его вещи в изящный экипаж с почтительным кучером позади. Экипаж этот держался не правой, а левой стороны улицы. На перекрестках великаны-полицейские стояли с видом джентльменски-приветливым, а не угрюмым и злым,— полицейские других стран точно всегда составляли протокол за нарушение каких-то правил. Клервилль радовался всему этому как школьник на каникулах. Может быть, Париж или Петербург были красивее Лондона, может быть, и Муся лучше молодых англичанок,— это дела не меняло.

Остановился он в своем клубе. В комнатках этого клуба было что-то приятно-старомодное,— как в итальянской опере или в драме в стихах. О клубе ходил анекдот, будто один из его членов, которому кто-то, по неопытности, сказал в гостиной «Добрый вечер», немедленно послал дирекции заявление о своем уходе, не желая состоять в обществе столь назойливых и болтливых людей. Клуб очень гордился этим анекдотом; но Клервилль знал, что понимать его надо в переносном смысле. В столовой он встретил старых приятелей и пообедал так весело, как с ним давно не случалось. Обед был без тонкостей; но и Clear Turtle, и Fried fillets of Sole, и Baron of Beef, и Stilton [1] были солидные, честные,— самые слова эти, тоже солидные, честные, английские, доставляли ему наслаждение. Превосходный портвейн, хранившийся в погребах клуба более полувека, окончательно умилил Клервилля.

Говорили за столом не по-французски, а по-английски,— почему собственно он, коренной англичанин, должен был разговаривать по-французски с женой? Это его утомляло. Говорили о погоде с надеждой на ее улучшение, о недавнем провале всеобщей стачки с признанием полной победы разумной части населения над забастовщиками, о приезде Пуанкаре в Англию, о происках Франции, которая явно стремилась установить свою гегемонию вместо германской. Ругали Ллойд-Джорджа за лукавство, но отдавали должное его уму и гениальности. Вспоминали войну, погибших товарищей, обсуждали служебные новости, награды, повышения. Все продвинулись вперед, но лишь немногие быстрее Клервилля.

Он слушал приятелей с удовольствием, даже с некоторой завистью,— ни у кого из них в жизни экзотики не было. Клервилль был умнее и образованнее большинства своих товарищей и не считал нужным блистать в их обществе. В глубине души он и в Петербурге думал, что по образованию, по уму стоит отнюдь не ниже своих русских собеседников, быть может, выше очень многих из них. Но тон и характер петербургских разговоров часто его утомляли. «Что мне в их тонкости, если и есть у них тонкость? Она просто не нужна, как не нужно разрезывать хлеб бритвой... Да и бритва, может быть, у них не такая уж острая...» Здесь, в клубе, прекрасно воспитанные люди просто, весело болтали и о мудреных, и о немудреных предметах. О предметах мудреных они высказывали не свои мысли, но это было настолько всем очевидно, что тут стыдиться было нечего, столь же условно король говорит тронную речь от своего имени,

[1] Черепаховый суп, жареное филе камбалы, говяжий филей, сыр «стилтон» *(англ.)*.

хотя всем известно, что в ней нет ни одного сочиненного им слова. За всех думал вековой, превосходно работающий аппарат накопленной мудрости. Это нисколько не мешало каждому из них иметь внутреннюю жизнь, иногда богатую и напряженную. Клервилль знал и то, что во всей Англии эти нехитрые люди после выигранной ими войны,— которая оказалась войной за наследство русских царей,— ведут огромную социально-политическую работу, ведут без шума, без рекламы, без истерики — и главное без крови. До сих пор Клервилль никогда так не радовался тому, что он англичанин, так этим не гордился. «Браун говорит, что несколько бесспорных ценностей в мире еще все-таки осталось: «свобода мысли, таблица умножения...» Что ж, мы именно бесспорные ценности и сохранили...»

После обеда он позвонил к мистеру Блэквуду (отлично знал, что тот остановился в Savoy) и по телефону изложил ему дело так подробно, что, собственно, во встрече не было надобности. Мистер Блэквуд выслушал, записал имя и фамилию Вити и предложил встретиться завтра в галерее Палаты Общин. Он не был знаком с тем министром, от которого зависело дело, но сказал, что это ничего не значит: познакомиться будет очень просто. Его тон чуть-чуть покоробил Клервилля. Несмотря на свой спор с Мусей, он был немного задет тем, что иностранец достает для него билет в парламент и обещает, да еще с такой уверенностью, повлиять на британских министров. Кроме того не было никакой необходимости торопиться с этим делом.

Затем Клервилль позвонил по телефону одной своей молодой приятельнице. Хотел встретиться с ней еще сегодня,— это оказалось, к его огорчению, невозможным; они условились вместе позавтракать на следующий день. Вернувшись в гостиную, Клервилль, вопреки анекдоту, весело беседовал с приятелями за портвейном и сигаретами.

Поздно вечером, в своей комнате, он отворил окно настежь,— Муся с октября не соглашалась спать при отворенных окнах,— принял вторую за день ванну и перед сном открыл новый роман Голсуорси, купленный в Дувре,— не в Таухницевом, а в настоящем переплетенном английском издании. Клервилль читал с восхищением: здесь никто не сжигал в печке ста тысяч, но и без балалаек (метафора эта очень ему нравилась) сложная жизнь могла описываться чрезвычайно умно и тонко. Он встретил как-то в обществе автора этой книги; тот учтиво и просто поблагодарил его за комплименты, с видом достойным и искренним,— хоть Клервилль догадывался, что этого признанного всеми писателя может по-настоящему интересовать лишь мнение пяти или шести человек в Англии, знающих толк в литературе.

Он читал внимательно, следя за поступками, за словами героев романа, проверяя мысленно их, как знакомых. О себе Клервилль почти не думал, но всей душой чувствовал ту же тихую радость освобождения. Вспомнил о Серизье, но мысль об этом человеке теперь почти не была неприятна Клервиллю. В третьем часу ночи он оторвался от книги, потушил лампу и сказал себе твердо, что экзотика кончена, кончена навсегда. Точно в тугом, не развязывавшемся узле он вдруг оттянул одну нить,— теперь должен развязаться и весь узел. Та неясная мысль о разводе, которая тревожно у него вставала в последние дни, утратила непосредственное значение. Наваждение рассеялось и независимо от развода с Мусей.

Клервилль вернулся на родину.

XXI

Мистер Блэквуд сожалел, что назначил на этот день свидание Клервиллю в Вестминстерском дворце. Он чувствовал себя плохо, печень разболелась, и с утра его мучила мысль о том, что жизнь кончена,— «надо укладываться». Было не до встреч с посторонними людьми и не до ходатайств за посторонних людей перед английскими министрами. Но мистер Блэквуд всегда держал слово и в условленное время, в четверть третьего, уже находился во дворце.

Билет для него приготовил знакомый член палаты общин, очень любезный, прекрасно одетый старик, состоявший членом парламента лет двадцать. По профессии он был банкир. Мистер Блэквуд терпеть не мог банкиров и чуть только не считал их вампирами, почти сходясь в этом с коммунистами. Он был убежден, что если бы судить даже не по высшей справедливости, но просто по духу закона, а не по его букве, то для громадного большинства банковых деятелей — и уж, конечно, для всех почти банкиров новейшего, чисто-спекулятивного поколения,— нашлось бы место в арестантских отделениях. Между тем, в арестантские отделения они не попадали,— напротив, пользовались в обществе не меньшим почетом, чем он сам. К ним, вдобавок, в последние годы переходило решительно все: промышленные предприятия, дома, железные дороги, газеты. Это чрезвычайно раздражало мистера Блэквуда; он и свой план производственного банка разработал отчасти для борьбы с банковыми вампирами. Однако некоторые исключения он делал: член парламента, человек очень порядочный, был банкиром старого

поколения, и банк у него был фамильный, наследственный, а не акционерный с ограниченной ответственностью,— в ограниченной ответственности акционерных обществ мистер Блэквуд видел огромное общественное зло.

Они долго ходили по Вестминстерскому дворцу,— мистер Блэквуд никогда в этом дворце не был. Ему хотелось сесть, хотелось поскорее отделаться от учтивого члена палаты,— раздражали и длинные скучные объяснения старика, и его монокль, и его брюки, напоминавшие лезвие ножа, и даже его необычайная любезность. Мистер Блэквуд привык к тому, что знакомство с ним считалось особой честью, далеко не всем доступной. Обычно он принимал это как должное. Но в дурные дни чрезмерная любезность людей тяготила мистера Блэквуда: почтение, очевидно, относилось не к нему самому, а к его богатству. Здесь оно было, по существу, вполне бескорыстно: старый член парламента не ждал и не мог ждать от него ни денежных, ни каких бы то ни было иных услуг. И тем не менее разговаривал он с ним — мистер Блэквуд чувствовал — не совсем так, как говорил бы с другим человеком.

Достопримечательности Вестминстерского дворца не заинтересовали мистера Блэквуда. Историю он знал плохо, культа старины у него не было, да и старина была здесь как будто подкрашенная, не совсем настоящая. Он делал над собой усилие, чтобы хоть в малой степени изображать интерес к огромным историческим картинам, очень похожим одна на другую, и к той плитке на полу Вестминстер-холла, на которой стоял Карл I во время своего процесса.

Затем любезный член парламента повел его в «лобби»,— внутренние апартаменты палаты общин. Вход туда, собственно, запрещался посторонним людям, но для мистера Блэквуда, очевидно, запретов не существовало. В переполненном шумном лобби он тоже не нашел ничего интересного. Первого министра, которого, как главную достопримечательность дворца и всей Англии, желал бы увидеть мистер Блэквуд, в лобби не было: по объяснению банкира, наиболее известные государственные деятели заходили сюда редко; Гладстон, например, был в лобби всего один раз за десять лет. «Это, вероятно, для престижа, чтобы не смешиваться с толпой,— сказал мистер Блэквуд,— вожди демократии не должны быть ни слишком горды, ни слишком просты». Член парламента ничего не ответил. Оказалось впрочем, что в лобби находится тот министр, от которого зависело дело Клервилля. Мистер Блэквуд подумал, что может выполнить поручение и не

дожидаясь приезда своего знакомого. Он попросил члена парламента познакомить его с этим министром. Произошло опять то же самое: несмотря на то, что министру решительно ничего не было нужно от американского богача, он проявил к делу необыкновенное внимание и предложил одному из секретарей спешно затребовать справку. «Да, и здесь царство денег»,— угрюмо думал мистер Блэквуд, благодаря министра. «Другому для этой справки, верно, потребовалась бы неделя». Ему показалось даже, что сам министр вдруг почувствовал чрезмерность своего внимания и нарочно подтянулся, дабы не уронить достоинства. Мистер Блэквуд сознавал несправедливость своих мыслей; но печень у него болела все сильнее. «Да, само по себе все это не так скверно: и банки, и парламенты, и газеты, и министры. Но *что-то* делает это скверным, и они сами не желают своего спасения...»

Как раз тогда, когда мистер Блэквуд заканчивал разговор с министром — оба не знали, что еще сказать друг другу,— двери лобби отворились; за ними кто-то громко неестественным, парадным голосом прокричал нараспев: «Шляпы долой! Дорогу спикеру!..» У дверей тотчас все почтительно склонились. По коридору шла странная процессия: за людьми в камзолах, в коротких панталонах, в шелковых чулках проходил, тоже не совсем естественной, парадной походкой, немолодой, очень представительный человек в огромном парике, в длинной мантии, которую сзади поддерживали, как шлейф, другие неестественно одетые люди. Перед спикером кто-то нес на плече странный предмет. «Mace! Mace!»[1] — прошептал член парламента, видимо ждавший выражений восторга. Он пояснил мистеру Блэквуду, что это древняя реликвия палаты общин, правда, не настоящая,— настоящая, кажется, находится где-то на Ямайке,— но очень старая, знаменитая реликвия. «Шляпы долой! Дорогу спикеру!» — опять с точно той же строго-внушительной интонацией пропел впереди голос.

Депутаты устремились в зал вслед за процессией. Министр простился с американским гостем, выразив радость по случаю знакомства. Старый член парламента сдал мистера Блэквуда лакею, который по лестнице проводил его в галерею для почетных иностранцев. «Надо дать на чай»,— подумал мистер Блэквуд, опуская руку в жилетный карман. Как на зло, у него оказалась только монета в полкроны. Давать так много было неразумно и неприлично, но выбора не было. Мистер Блэквуд сердито сунул монету лакею, который вытаращил глаза. «Спикер молит-

---

[1] «Жезл! Жезл!» *(англ.)*

ся»,— прокричал внизу голос. Сразу во всем здании наступила тишина.

Входить в галерею для почетных иностранцев еще не дозволялось. Однако, лакей не решился затворить дверь перед носом такого гостя и избрал полумеру: оставив дверь незатворенной, он почтительным шепотом попросил немного подождать. Мистер Блэквуд остановился на пороге; ему была видна только часть зала. Спикер торжественно вошел в зал и, не садясь, поклонился собственному креслу. Послышались слова молитвы, ее читали в два голоса капеллан и спикер. Боль у мистера Блэквуда усилилась; он ухватился за борт двери, чтобы не упасть. Лакей беспокойно взглянул на его руку: это движение, очевидно, не было предусмотрено правилами. Внизу послышался шум, говор голосов; члены палаты занимали места. Мистер Блэквуд сел и передохнул. Стало легче.

Первое его впечатление было неблагоприятное. Все здесь напоминало ему масонские обряды. Как большинство американцев его круга, мистер Блэквуд был масоном. В свое время он вошел в лучшую ложу Нью-Йорка; это произошло само собой,— почти так же, как он стал членом лучшего нью-йоркского клуба. Бывал он в ложе редко, и всякий раз его там неприятно поражало несоответствие между старинным, торжественным, хоть не очень стройно (много хуже, чем здесь) выполнявшимся обрядом и теми незначительными, прозаическими, в большинстве благотворительными, делами, к которым переходили в ложе после обрядов.

Дверь в галерею отворилась, на пороге появился Клервилль. Он подошел на цыпочках к мистеру Блэквуду и сел рядом с ним, особенно крепко пожав ему руку. Лицо у него было веселое, возбужденное, от него пахло вином.— «Это не так важно,— сухо проговорил вполголоса мистер Блэквуд в ответ на извинения Клервилля,— заседание только что началось».— «Я страшно сожалею, что опоздал: совершенно неотложное дело...» — «Я так и думал».— «Говорят, сегодня очень интересное заседание... А, военный министр уже здесь».— «Где?» — «На правительственных местах. Это места по правую от спикера сторону стола. Против них, по левую сторону, сидят вожди оппозиции... Военный министр вот этот второй»,— шептал Клервилль, показывая глазами на плотного коренастого человека с умным, очень подвижным и выразительным лицом.

Лакей, считавший себя теперь обязанным заботиться об американском госте, принес ему большой белый лист,

и, почтительно наклонившись, прошептал, что особое внимание надо обратить на номер 66-й. На листе, под заголовком «Вопросы для устного ответа», были красиво, с шестиконечными звездочками в начале строчек, отпечатаны разные вопросы под номерами. Их было очень много. Мистер Блэквуд заглянул в 66-й номер. Первого министра запрашивали об Украине: не подвергаются ли там преследованиям Петлюра и его сторонники, не доставляет ли британское правительство оружие врагам Петлюры, не делается ли это с одобрения первого министра, и не намерен ли первый министр принять какие-либо меры для того, чтобы положить конец подобным действиям?

— Как это произносится и кто этот человек? — строго спросил Клервилля шепотом мистер Блэквуд, тыча пальцем в имя Петлюры.

— Это диктатор на юге России,— неуверенно ответил Клервилль.

— Разве диктатор на юге России не генерал Деникин?

— Да, конечно. Кажется, их два... Петлюра либеральнее генерала Деникина. Странно, что в вопросе помещено имя, обычно это не делается,— сказал Клервилль, не раз бывавший в палате общин.

Мистер Блэквуд сердито пожал плечами, отвернулся от Клервилля и уставился вниз. Вопросы уже начались. Один из членов оппозиции поднялся с места и попросил министра, значившегося в первой строчке белого листа, ответить на вопрос номер первый. Министр заглянул в белый лист, встал и очень ясно, кратко, толково дал ответ. Речь шла о доставке молока в какие-то благотворительные учреждения. Закончив объяснения, министр сел. Спрашивавший член палаты неопределенно кивнул головой, с видом неполного доверия. Выражение его лица как будто означало: «Спорить не буду, а может быть, все это совершенно не так...». Затем другой член палаты попросил другого министра ответить на вопрос номер второй — о постройке казенного здания в Манчестере — и получил столь же краткий, простой и деловитый ответ. Мистеру Блэквуду хотелось находить здесь все дурным, смешным или нелепым, но по совести он не мог этого сделать. То, что происходило внизу, было похоже на столь ему привычные заседания правлений хороших, процветающих акционерных обществ: акционеры вежливо задавали вопросы, члены правления вежливо и деловито отвечали. Риторикой никто не занимался, люди делали дело. Удивило мистера Блэквуда лишь то, что на одной из задних скамей спал какой-то член палаты в цилиндре. Видимо, это никого здесь не

смущало. У себя в правлении мистер Блэквуд этого не допустил бы. «Знаете, каковы обязанности того человека, что сидит у входа? — сказал Клервилль.— Он защищает палату от короля. Если б король пожелал сюда войти, этот человек обязан захлопнуть дверь у него под носом».— «Ничего умного в этом нет,— подумал раздраженно мистер Блэквуд.— Вероятно, в старину эту штуку изобрел какой-нибудь озорник. Серьезному человеку она не могла придти в голову. Традиция лишь закрепила озорство, только и всего...» — «Видите эту шкатулку, что стоит на столе рядом с mace? На ней остались следы перстня Гладстона! Увлекаясь во время речи, он с силой ударял рукой по шкатулке...» Мистер Блэквуд недовольно мычал.— «Обратите также внимание на кресло спикера,— шептал Клервилль.— Оно сделано из дерева фрегата Нельсона».— «Мне в одной вашей школе, помнится, говорили, что там скамейки сделаны из дерева Непобедимой Армады, на них, кажется, секут школьников»,— сердито сказал мистер Блэквуд. Его злило то, что Клервилль, видимо, всем здесь очень восхищался, и что от него пахло вином.

Члены палаты продолжали задавать деловые вопросы. Вслушиваясь в объяснения министров, мистер Блэквуд должен был признать, что трудно говорить проще, разумнее, лучше по тону, чем говорили они. Это прямо было ему неприятно,— так сильно в нем было желание все находить дурным. «Но какие же это государственные дела! Да, именно правление общества, не хватает только сигар и виски...» Сходству способствовал и зал, не очень большой, не очень роскошный, без ораторской трибуны. «Все торжественно и все крайне скучно». Некоторые депутаты выходили из зала,— в конце прохода они поворачивались к спикеру, кланялись ему и исчезали. Один из министров, отвечая на вопрос, нехитро пошутил. Весь зал засмеялся; члены оппозиции смеялись так же весело-благодушно, как депутаты правительственного большинства. Джентльмен в цилиндре проснулся, спросил о чем-то соседа, тоже посмеялся и снова заснул. Вождь оппозиции, смеясь, откинулся на спинку кресла и на радостях, к изумлению мистера Блэквуда, положил ноги на стол,— на тот самый, на котором находились реликвии, mace и Гладстонова шкатулка. Мистер Блэквуд в первую минуту подумал, что вождь оппозиции внезапно сошел с ума, и что его тотчас выведут из зала. Однако, никто в палате не нашел ничего странного в поступке вождя оппозиции. Мистер Блэквуд возмущенно оглянулся. Клервилль тоже весело смеялся. «Вот тебе и ритуал! Странные люди англичане»,— подумал мистер Блэквуд.

— Где же первый министр? — спросил он строгим тоном, точно Клервилль отвечал за все, что здесь происходило.

— Первый министр не бывает здесь в эти часы. Светила палаты обычно выступают только часам к пяти или вечером, после обеда... Я думаю...

— Вы знаете, я уже сделал то, о чем ваша жена просила,— перебил его мистер Блэквуд.— Министр приказал секретарю завтра снестись с вами по телефону.

— Правда? Я чрезвычайно вам благодарен...

Внизу что-то произошло. «Withdraw! Withdraw!» Order!» — закричали голоса. Мистер Блэквуд, занятый разговором, не расслышал сказанного. В зале, скрестив руки, стояли, с нахмуренными лицами, друг против друга, два члена палаты. Шум все рос. «Возьмите это слово назад! К порядку!» — кричали на правительственных скамьях. Лица у многих стали злобными. Джентльмен в цилиндре окончательно проснулся, осведомился о случившемся у соседа и возмущенно закричал: «Withdraw!..» Мистер Блэквуд несколько оживился. До него долетело слово «шиннфайн». «А, Ирландия! Это им не молоко и не дом в Манчестере»,— подумал он не без радости.

Спикер наклонился в кресле и необыкновенно внушительно поднял руку с вытянутым указательным пальцем. Этот жест, видимо, имел магнетическое действие,— тотчас восстановилась тишина. Из разъяснения спикера выяснилось, что достопочтенный член палаты от Дауна назвал дерзким заявление главного секретаря лорда наместника Ирландии. Спикер желал знать, употребил ли достопочтенный член палаты от Дауна слово «дерзкий» — impertinent — в смысле обычном или, быть может, в каком-либо ином смысле.

Все насторожились. Вождь оппозиции снял ноги со стола. Член палаты от Дауна, подумав с минуту, сказал, что употребил слово «дерзкий» в обычном смысле, ибо иначе и нельзя было квалифицировать замечание главного секретаря лорда наместника Ирландии, который назвал его адвокатом шинн-файнеров. «Order! Withdraw! Withdraw!»,— снова закричали сердитые голоса. На задних местах люди повставали с мест. Кое-где началась перебранка. Спикер холодно сказал, что в своем обычном смысле выражение это непарламентарно: достопочтенный член палаты от Дауна должен взять его назад. Член палаты от Дауна еще подумал и отказался взять назад свое выражение. Спикер снова сделал магнетический жест и ледяным тоном предложил достопочтенному члену палаты

от Дауна покинуть заседание. Ему придется назвать по фамилии достопочтенного члена палаты от Дауна.

Настала мертвая тишина. Член палаты от Дауна, побледнев, ответил, что подчиняется распоряжению спикера. «Наступит, однако, время,— произнес он торжественным голосом,— когда все члены этого дома будут одного мнения в оценке слов, произнесенных главным секретарем лорда наместника Ирландии». Сказав это, член палаты от Дауна направился к выходу, отвесил поклон спикеру и вышел.

Палата подавленно молчала. Вождь оппозиции снова положил ноги на стол. Настроение в зале переменилось. Мистер Блэквуд был очень доволен, у него и печень стала болеть меньше. «Да, Ирландия, это им не молоко...» — «Очень забавный инцидент,— сказал он Клервиллю.— Как жаль все-таки, что вам не удается наладить добрые отношения с Ирландией».— «Ах, да, этот вечный вопрос,— ответил Клервилль, улыбаясь несколько принужденно.— Кажется, это Талейран сказал: «Небо и земля пройдут, но шлезвиг-гольштейнский вопрос не пройдет...»

В это время один из членов палаты поспешно подошел к правительственным местам и что-то сказал с радостным видом военному министру, который тотчас вышел из зала. Внизу зашептались. Через минуту на галерею пришло известие, что приехал первый министр. Это, с такой же радостью на лице, сообщил мистеру Блэквуду лакей.— «Подобного случая не было больше трех лет!..» — «Какого случая?» — «Чтобы первый министр приехал во время вопросов». Клервилль кивнул головой мистеру Блэквуду, как бы говоря, что вот теперь-то самое настоящее и начнется. И мистер Блэквуд с раздражением почувствовал по выражению лица Клервилля, что это *его* первый министр и *его* палата, как существует *его* парикмахер, *его* портной и *его* сапожник.

В зал заседаний быстро вошел Ллойд-Джордж. Он, собственно, даже не вошел, а вбежал вприпрыжку, весело улыбаясь, видимо, нисколько не заботясь ни о церемониале, ни об эффектном появлении. С правительственных скамей неслись возгласы одобрения. Оппозиция угрюмо молчала. Первый министр пробежал к своему месту, сел, поздоровался с соседями, что-то сказал, о чем-то спросил, заглянул в белый лист, заглянул в бумаги, которые ему подавались с разных сторон,— он как будто делал все это одновременно. От него шел ток энергии, бодрости, оживления. Разговаривая с министрами, он искоса бросил лукавый взгляд на скамьи оппозиции, засмеялся, положил но-

ги на стол и, углубившись в бумаги, стал рассеянно подталкивать ногой к башмакам сидевшего против него вождя оппозиции шкатулку,— ту самую, на которой были следы перстня Гладстона. Мистер Блэквуд не верил собственным глазам.

XXII

Первый министр не успел в этот день по-настоящему ознакомиться с запросами. Войдя в свой кабинет в Вестминстерском дворце, он с досадой пробежал белый лист. Вопросов, относившихся лично к нему, было довольно много; все они касались России и почти все были неприятны Ллойд-Джорджу: на одни он не мог ответить правду, на другие не желал отвечать ничего, а на третьи не мог ответить вообще никто в мире, ибо они разумного смысла не имели.

Самым каверзным по намеренью был вопрос 66-й. Его задал необычайно левый полковник, специализировавшийся с некоторых пор на русских делах. Первый министр был не очень высокого мнения об уме этого полковника (как и об уме громадного большинства своих товарищей по парламенту). Однако, он не сомневался, что и сам полковник отлично понимает нелепость своего вопроса; выступает же отчасти из озорства, отчасти по непреодолимой потребности в работе, в шуме, в рекламе, а больше всего из желания сделать неприятность правительству.

Сущность этой неприятности заключалась в проявлении разногласия, наметившегося по русскому вопросу между главой кабинета и военным министром. Со времени гилдхоллской речи Ллойд-Джорджа вся Англия говорила о том, что он решил пойти на соглашение с большевиками, и что этому противится военное министерство, ведущее свою собственную политику.

Имя Петлюры было знакомо Ллойд-Джорджу. Но он ежедневно слышал такое число иностранных, трудно произносимых имен, что связывать с каждым из них вполне определенные представления было совершенно невозможно. Зазвонил телефон, секретари понеслись за справками, подоспел главный секретарь, который каким-то чудом помнил все бесчисленные бумаги, поступавшие на рассмотрение первого министра. Личность и дела Петлюры были тотчас установлены.

Затем в кабинет вошел военный министр, спешно вызванный из зала заседаний. Они дружески-радостно поздоровались и поболтали. Ллойд-Джордж знал, что военный

министр страстно желает сесть на его место,— проделать с ним точно такую же штуку, какую сам он проделал со своим предшественником. Это было довольно естественно и почти не вызывало раздражения у первого министра. Вражды между ними не было. Они давно знали друг друга наизусть, в душе друг друга считали шарлатанами, но очень любили и ценили: в самом мастерстве политического шарлатанства, доведенном до такой высоты, была и гениальность. Так и теперь они с полуслова поняли один другого. На разрыв идти было рано. Военный министр не имел пока никаких шансов стать главой правительства; Ллойд-Джордж еще не раскрывал своих карт по русскому вопросу.

Это принятое в политике выражение обычно его забавляло,— в большинстве случаев, никаких карт у него не было: он правил Англией осторожно, считаясь с обстоятельствами, следуя инстинкту государственного человека, и редко мог сказать наперед, какую политику будет вести на следующей неделе. Однако, в русском вопросе некоторое подобие плана у него, действительно, было. Ему давно хотелось порвать с белыми генералами,— Ллойд-Джордж вообще недолюбливал генералов,— и завязать добрые отношения с большевиками. Причин для этого было много. На первом месте среди них стояли государственные интересы Англии; но одним из второстепенных, почти бессознательных побуждений Ллойд-Джорджа был тайный сочувственный интерес, который ему внушали большевики.

Первый министр был искренен в своих демократических взглядах. По его внутреннему убеждению (распространяться об этом не следовало), сущность демократии заключалась в том, чтобы в процессе не очень нужных, но безвредных и порою занимательных прений в парламенте, на выборах, на разных собраниях, могли в короткое время выдвигаться настоящие, замечательные люди, как он сам. Этим настоящим людям и надо было предоставить всю полноту власти, с тем, чтобы другие им мешали возможно меньше.

Настоящие люди могли, правда, выдвигаться и по другому способу подбора, например, по обыкновенной государственной службе. Но это был порядок и слишком медленный, и недостаточно надежный. Вдобавок, демократический, парламентский способ перехода власти к настоящим людям имел то громадное преимущество, что он в Англии уже существовал.

Большевики вышли в люди другим путем, в Англии не принятым и невозможным. Первый министр, человек

довольно добродушный, не любил диктаторского пути к власти: уличные бои, кровь, насилия внушали ему отвращение и ужас. Но, подобно всем государственным людям, он принимал факты без лишних споров. В России существовала диктатура, как в Великобритании существовал парламентский строй. У парламентского строя (как у всего английского вообще) были несомненные преимущества, приятнее и разумнее было править при помощи британских политических приемов, чем посредством казней и ссылок. Но некоторые преимущества были и у диктатуры. Из них особенную зависть внушала Ллойд-Джорджу несменяемость диктаторов со всеми теми возможностями, которые она открывала в политике. Он и сам теперь обладал такой степенью несменяемости, какой не имел до него никто в Англии со времен Питта. И все же, при благоприятной обстановке, в удачно выбранный момент, его могли свергнуть этот левый полковник и другие подобные ему люди; по принятым правилам игры, они имели полную возможность делать ему неприятности (как, впрочем, и он им), хоть к делу правления были совершенно неспособны (наименее неспособных он взял в свой кабинет). С этим можно было мириться: в трудной, утомительной, но, в общем, интересной парламентской игре он не имел соперников и неизменно входил в зал заседаний палаты с той радостной, бодрой самоуверенностью, с какой входит в свой класс всеми признанный первый ученик.

Как только очередной оратор получил разъяснение по очередному вопросу, левый полковник, обращаясь к спикеру, заметил учтиво-ядовитым тоном, что надо было бы воспользоваться столь редким и счастливым обстоятельством — появлением первого министра: быть может, он согласится дать ответ на вопрос шестьдесят шестой, давно интересующий палату общин и эту страну?

В зале наступила тишина.

Ллойд-Джордж неторопливо встал. Лицо его сияло улыбкой: по-видимому, он даже и не заметил иронии относившихся к нему слов,— так ласково он улыбался полковнику. Первый министр сказал, что ему будет чрезвычайно приятно дать обстоятельные, откровенные объяснения, которых от него с полным основанием ждет его достопочтенный и храбрый друг, член палаты от Ньюкастла. Однако, он желал бы высказаться также и по некоторым другим вопросам. Поэтому он позволит себе соединить в своем ответе сразу несколько вопросов, а именно — он заглянул в лист,— а именно: 47, 52, 56, 60, 63, 64, 65, 66, 70, 72, 73, 74, 75 и 76-й.

Спикер изумленно взглянул на главу правительства. На местах оппозиции поднялась буря. Маневр сразу обозначился довольно ясно: соединяя 14 вопросов, первый министр, очевидно, собирался все запутать. На лице левого полковника выразился последний предел возмущения. Он только молча переводил глаза с первого министра на своих товарищей. Вид его говорил: «Нет, этого даже от него ждать было невозможно! Человек способный на это, может отравить свою мать!..»

Один из членов оппозиции вскочил и повышенным голосом спросил спикера, имеет ли первый министр право соединять в своем ответе множество вопросов: соответствует ли это традициям и достоинству палаты общин. Спикер не без смущения объяснил, что палата желает получить от главы правительства ответ на все вопросы; в какой форме ответ будет дан, быть может, не так важно. Первый министр смотрел на оппозицию с выражением глубокого изумления в широко раскрытых, честных глазах: он, видимо, не мог понять, в чем дело и чего, собственно, от него хотят. Рядом с Ллойд-Джорджем военный министр смеялся без всякого стеснения. Однако, он испытывал некоторое беспокойство: если первый министр ничего не хотел сказать, то ему незачем было приезжать в палату.

Спикер протянул руку, магнетическим жестом прекратив бурю. Ллойд-Джордж начал речь.

Говорил он деланно-просто,— так, как говорят на сцене очень хорошие актеры в первом действии реалистической пьесы (пока ничего не произошло),— чуть-чуть проще и отчетливее, чем разговаривают люди в жизни. Клервилль с гордостью сравнивал ораторскую манеру первого министра с певучей декламацией, с истерическими выкриками Серизье и других ораторов, которых он недавно слышал в Люцерне. Отдавал должное искусству Ллойд-Джорджа и мистер Блэквуд. «Собственно, главное в том, чтобы заставить себя слушать,— угрюмо думал он.— А это не его заслуга. На моих собраниях так слушали меня акционеры. Другой, мелкий акционер, случалось, говорил очень умно, но никому не было интересно знать, что он думает... Однако, здесь дело не только в том, что выступает первый министр Англии. Да, конечно, он замечательный оратор...» Ллойд-Джордж говорил о России, об ее громадной величине, о непонятном характере русского народа, и, несмотря на простоту его интонаций, почти у всех слушателей было одно впечатление: первый министр произносит необыкновенно важную речь, которая наделает много шума в мире. Знатоки парламентского дела взвол-

нованно отметили и прецедент: большая речь произносилась во время, положенное для вопросов.

Военный министр, как вся палата, слушал с чрезвычайным вниманием. Его совершенно не интересовали мысли Ллойд-Джорджа о русском национальном характере; он отлично знал, что первый министр не имеет об этом ни малейшего представления и пока просто чешет язык, отбывая скучную обязанность: приличие требовало, чтоб он поговорил с полчаса. Тем не менее, беспокойство у военного министра все росло: тактика Ллойд-Джорджа еще была ему неясна,— будет ли заметать следы, на сколько именно градусов сегодня повернет руль? Первый министр сказал, что к русским делам никак нельзя подходить с британской меркой. Мысль была всем довольно знакомая, но интонация у Ллойд-Джорджа вдруг стала чрезвычайно значительной, точно в этих словах заключался огромный политический смысл. Именно из значительности этих интонаций военный министр заключил, что Ллойд-Джордж еще только заговаривает слушателей, ничего серьезного не сообщая: так, по словам какого-то композитора, для передачи тишины в музыке, необходимы три оркестра. Оппозиция насторожилась. С лица левого полковника стало сползать возмущенное выражение. Ллойд-Джордж обвел взглядом свои скамьи — и затормозил. Его спрашивают, ведет ли правительство тайные переговоры с большевиками. Нет, правительство не ведет тайных переговоров с большевиками! Лицо первого министра так и засветилось искренностью: самое предположение это, видимо, крайне его обижало.

На местах правительственного большинства послышалось шумное одобрение. Военный министр только вздохнул. Как он ни привык к наивности рядовых членов парламента, эта наивность всякий раз его сокрушала. Они, очевидно, думали, что Ллойд-Джордж говорит им чистую правду и что может быть правда или неправда в ответе на подобный вопрос! Тайные переговоры и велись и не велись,— в зависимости от того, что называть тайными переговорами.

Ллойд-Джордж медленно, осторожно передвигал руль. Он говорил об услугах, оказанных Россией общему делу союзников в пору мировой войны.— «Слушайте! Слушайте!» — слышались обрадованные возгласы на правительственных скамьях. Говорил также, с искренним горем, об ужасах постигшей Россию гражданской войны. Говорил о прежнем богатстве России, которая была житницей всего мира,— и вдруг, как бы вскользь, вставил, что, если

теперь в Англии цены на хлеб так высоки, то это отчасти объясняется русской гражданской войной, столь затянувшейся к несчастью для всего мира.— «Слушайте! Слушайте!» — радостно закричал вождь оппозиции.— «Слушайте! Слушайте!» — хором за ним повторили его сторонники.

— Я не совсем понимаю,— сказал сердито вполголоса мистер Блэквуд.— Ведь его запрашивали не об этом, а о другом: о том диктаторе на юге России.

— Вероятно, он знает, о чем ему надо говорить,— ответил Клервилль с легким раздражением. Он считал Ллойд-Джорджа гениальным человеком и верил ему слепо почти во всем. Так Буало утверждал, что и в медицинских вопросах гораздо больше верит Людовику XIV, чем всем врачам вместе взятым. Кроме того, этому американцу, как Мусе, слишком многое очевидно не нравилось в Англии.

Мистер Блэквуд перестал слушать. «Да, что-то делает все дурным и ненужным,— снова подумал он и вспомнил о своей тяжелой болезни, о племяннице, которая так корректно ждала его смерти. «Однако было и хорошее»,— неожиданно ответил мистер Блэквуд на вопрос, которого себе не задавал. «Начало жизни было трудное, но потом все шло так удачно. Работа, живое дело, успех, почет, власть, настоящая власть, все это доставляло прежде так много радости. Худший грех неблагодарность Творцу...»

Заглядывая изредка в белый лист, Ллойд-Джордж давал объяснения по заданным ему вопросам. Пока он говорил, всем казалось, будто он именно на эти вопросы и отвечает. Но впоследствии никто не мог вспомнить, что именно ответил первый министр. Интонации его становились все значительнее, улыбка исчезла, голос изменился,— это теперь был голос большой сцены второго действия.— «Кто, кто может понять, что происходит в сыпучих песках России? — вдруг вскрикнул Ллойд-Джордж, подняв руки.— Туман, туман, куда ни повернешь, туман!» — глухо, почти с отчаянием, проговорил он. Многие из слушателей вздрогнули, и даже военный министр, тоже отличный оратор, почувствовал волнение: слова, жест, глухой голос Ллойд-Джорджа, все это было настоящим произведением искусства. Первый министр объяснял палате, что в России огромные территории переходят от белых к большевикам, от большевиков к белым,— кто победит, неизвестно. Однако,— голос его вдруг прозвучал резко,— однако, бесполезно скрывать от палаты, что дела адмирала Колчака идут очень плохо.

Члены палаты взволнованно переглядывались, хоть в этом сообщении тоже не было ничего нового: все из га-

зет знали, что белая армия в Сибири отступает. Военный министр все тревожнее ерзал на месте. Ллойд-Джордж искоса на него посмотрел и снова заговорил об услугах, оказанных Россией во время войны. У Англии есть долг чести в отношении русского народа. Тем не менее,— он остановился, как бы соображая, можно ли открыть всю правду,— и, чеканя каждое слово, с необыкновенной силой в выражении, сказал, что люди, имеющие честь управлять государственным кораблем Великобритании, не могут и не должны забывать о некоторых основных принципах британской политики в отношении России: «Большой государственный человек, принадлежавший к консервативной партии, лорд Биконсфильд, утверждал, что великая, все растущая, принимающая колоссальные размеры Россия, надвигающаяся, как ледник, на Персию, на Афганистан, на Индию, представляет собой самую страшную опасность, которая когда-либо грозила Британской империи».

В зале была совершенная тишина. Ллойд-Джордж помолчал, давая возможность палате оценить всю силу сказанного. Затем он вздохнул, заглянул в белый лист и, точно вспомнив о чем-то малосущественном, совершенно другим голосом,— снова голосом первого действия реалистической пьесы,— добавил: его спрашивали, сколько именно денег истратило британское правительство на помощь белым русским генералам. Он не может, к сожалению, сказать с совершенной точностью, но, во всяком случае, эта сумма превышает сто миллионов фунтов.

На скамьях противников правительства опять поднялась буря. «Позор, позор!» — закричал левый полковник. Осведомленные люди переглядывались все значительнее: слова главы кабинета заключали в себе прямой выпад против военного министра,— все знали, что деньги на поддержку белых армий тратились по его настоянию. Военный министр побагровел. Он было привстал, хотел что-то сказать, но сдержался. В небесно-ясных глазах Ллойд-Джорджа снова выразилось изумление: он совершенно не понимал, почему его слова вызывают такое волнение. Когда спокойствие восстановилось, он сказал, что не сожалеет об истраченных суммах. Но достаточно ясно всем: британские деньги не могут так расходоваться долго.— «Слушайте! Слушайте!» — закричал с торжеством вождь оппозиции.

Поднялся пожилой, усталого вида человек с высоким, переходящим в лысину, лбом, с умными глазами, в которых, видимо, навсегда установилось выражение удивленной печали. Одет он был плохо; над сбившимся набок

галстухом торчал высунувшийся язычок двойного воротника, через весь жилет шла цепочка с огромным брелоком.

Мистер Блэквуд не расслышал первых его слов,— разобрал только, что говорит он о большевиках. На галерею доносились отдельные фразы: «Вся их история есть летопись убийств и злодеяний... Нельзя вести переговоры с таким правительством... «Морально недопустимо и невозможно...» — «Кто этот субъект?» — хмуро спросил мистер Блэквуд, отрываясь от своих мыслей.— «Это один из знатнейших людей Англии, лорд Роберт Сесиль»,— ответил Клервилль, с видимым удовольствием произнося знаменитую фамилию. «Неужели это он? Я забыл, каких он взглядов?» — «Никто не может сказать, каких взглядов лорд Роберт Сесиль. Он во многом левее социалистов, но значится независимым консерватором».— «Почему же он значится консерватором, если он левее социалистов?» — «Потому, что он сын маркиза Сольсбери».

Мистер Блэквуд пожал плечами. Он попытался вслушаться в слова Сесиля. Ему показалось, что слушают этого члена палаты без большого внимания: он явно говорил не к делу. Первый министр поглядывал на него с нетерпением; они, видимо, недолюбливали друг друга. Лорд Роберт Сесиль заговорил об убийстве царской семьи. «Неслыханное убийство ни в чем неповинных детей...» — донеслось на галерею. Левый полковник вскочил с возмущенным видом. «Какие доказательства есть у достопочтенного джентльмена, что эти убийства совершены по приказанию советского правительства или хотя бы только с его согласия?» — с негодованием закричал он.

Больше мистер Блэквуд ничего не мог разобрать. Лорд Роберт Сесиль, махнув рукой, сел с устало-безнадежным видом.

Ллойд-Джордж вдруг точно вспомнил о левом полковнике. Лицо первого министра снова просияло улыбкой. Он сказал, что переходит, в заключение, к шестьдесят шестому вопросу. Однако, ему не совсем понятно, чего именно хочет его храбрый друг, интересующийся взаимоотношениями между генералом Деникиным и Петлюрой. По-видимому, он покровительствует Петлюре (послышался смех) и ни за что не желает, чтобы оружие, доставленное Англией генералу Деникину, употреблялось против Петлюры? Это очень ценная мысль, сказал бархатным голосом Ллойд-Джордж, но правительство не совсем уверено, что ее можно осуществить. Очевидно, по мысли достопочтенного члена палаты от Ньюкастла, британское правительство должно заявить генералу Деникину: «Мы вам дали,

генерал, оружие для борьбы с большевиками; если же на вас нападет кто-нибудь другой, например, Петлюра, то сделайте одолжение, отложите тотчас в сторону британские ружья и британские патроны, достаньте какие-нибудь другие ружья и зарядите их какими-нибудь другими патронами...»

Конец фразы Ллойд-Джорджа потонул в общем смехе палаты. «Какой удивительный оратор! — подумал мистер Блэквуд,— ни один актер не сказал бы этого лучше...» Первый министр сел очень довольный,— полковник был уничтожен. Правительственное большинство шумно выражало восторг. Руль повернулся ровно настолько, насколько можно было его повернуть в этот день.

XXIII

...Торговались же они упорно. Бутлер предлагал тысячу имперских талеров, с уплатой тотчас после дела,— а потом будет много больше. Деверу изображал на лице полное пренебрежение: «Тысяча талеров! Много больше,— что такое «много больше»? И кто будет платить?» — «В Вене»,— таинственно отвечал Бутлер. Деверу только сердито смеялся.— «Что такое: «в Вене»? Вероятно, его считают дураком?» Однако загадочный ответ интриговал его: почему за дело будут платить в Вене? Корректность не позволяла прямо спросить, о ком идет речь. Бутлер сказал: «об одном человеке».— «Да безопасно ли еще дело?» — «Вполне безопасно».— «И повышение по службе?» — «Твердо обещано».— «Кем обещано?» — «Сначала надо получить ответ».— «Да может, что противное чести?» — «Напротив, совершенно напротив!» — «Да в чем же все-таки дело? — спрашивал Деверу,— кто такой?» — «Сначала нужно дать ответ».— «Да как же дать ответ, когда не знаешь, о ком идет речь!» — «Сначала нужно дать ответ»,— упорно твердил Бутлер. Деверу понимал, что он прав. Думал, думал: Бутлер честный человек, поверить ему можно. Кому-то нужно от кого-то освободиться, дело житейское. За последние три года Деверу видел не одно такое дело, кое в чем и участвовал. Он согласился, поклялся честью, что никому не проговорится ни единым словом,— и обомлел: дело шло о герцоге Фридландском!

Правда, дурной слух ходил давно. Много крови утекло со дня падения Магдебурга. Погиб в сражении граф Тилли, два раза разбитый наголову Густавом-Адольфом. Императору пришлось пойти на унижение, обратиться за спасением к Валленштейну, принять все его условия. Дела

поправились: под Люцерном пал шведский король. А потом и поползли эти слухи: герцог сердится на императора, герцог изменяет императору, герцог хочет стать императором!

Бутлер положил руки на плечи Деверу, посмотрел на него глубоким взглядом,— как полагается: «больше хитрить с тобой не буду, не такой ты человек, так и быть, скажу тебе всю правду». И вынул из кармана документ, императорскую грамоту. Там все было сказано. Нет, не знал Бутлер толка в душе человека, и не так подошел к делу, и обоим теперь было стыдно вспоминать об их торге. Если герцог изменил присяге, то убить его должно, и не о деньгах тут надо говорить,— и не о тысяче талеров.— «Император даст за это дело тридцать тысяч гульденов»,— прошептал Бутлер.— «Что деньги!» — вскрикнул Деверу. И долго они еще обсуждали дело со всех сторон: и можно ли, и должно ли, и удастся ли, и как сделать, и куда бежать, если не удастся? Но, к досаде Бутлера, Деверу окончательного ответа не дал,— хоть именно сегодня вечером и нужно было убить герцога Фридландского. Условились через два часа встретиться в том кабачке, что наискось против дома аптекарской вдовы Пахгельбель.

Однако Бутлер уже ясно видел, что этот глупый человек согласится на дело,— и, по всей вероятности, доведет его до конца. И хоть философскими думами Бутлер никогда себя не утруждал, было ему и странно, и забавно, что мудрый, дальновидный, проницательный Валленштейн думал обо всем, а одно забыл: забыл, что он смертен, и что может его убить человек ничтожный, которого отроду и не видел; герцог Фридландский предусмотрел решительно все,— кроме Вальтера Деверу.

А тот и сам не знал, зачем попросил два часа на размышление. Размышлять он не умел. Человек он был не очень ученый, политикой никогда не занимался, и не его ума дело было судить, кто там прав: император или герцог?

Валленштейна он не знал, только раз его и видел тогда в Меммингене. На службу к герцогу попал вместе с остатками армии графа Тилли, когда их разгромил шведский король. Этот разгром был для Деверу большим горем и внес в его жизнь смятение,— до того все было для него ясно, почти все ему нравилось: и полк, и их синее знамя, и жизнь вольная в своем подчинении, и особенно то, что был у него признанный вождь, которому он верил, которого боготворил, любя больше собственной сво-

ей славы гений графа Тзерклаcа. Такими людьми, как он, а не жуликами и не разбойниками, Тилли и держался. И когда впервые Деверу услышал, как назвали его вождя старым дураком, чуть не заплакал от горя; но в драку не полез, ибо сам больше не знал, что ему думать. С той поры многое в душе его и в жизни изменилось: служил тем, кто платил ему, служил, пока платили; пока платили, служил честно, но без радости. Теперь же надо было пойти еще дальше. Нелегко солдату убить своего главнокомандующего, хотя бы тот и изменил присяге.

В сенях его точно случайно встретила Эльза-Анна-Мария: ей было беспокойно, ходила тревожная молва. Герцог Фридландский накануне прибыл в Эгер почти без армии, почти без обоза. А с утра только что приехавший из Праги маркитант шепотом на рынке рассказывал, что герцог предался шведам, их в Эгере и поджидает, и вместе с ними двинется на Вену,— так в Праге говорили со вчерашнего дня все открыто,— об этом на площади объявил императорский герольд.

Взглянув же на Вальтера, Эльза-Анна-Мария поняла, что ни о чем спрашивать нельзя, хоть, верно, и случилось недоброе: лицо у него было почти такое, как в тот день, когда она в первый раз его увидела. О дне этом вспоминать она не любила,— очень было горько и страшно; иногда тайком плакала, думая о дяде, и, в простом уме своем, утешала себя тем, что был он, несмотря на плачевный свой конец, человек очень счастливый. И втайне мечтала: когда-нибудь, не скоро, на том свете помирит его с Вальтером, которого очень любила. Что ж делать: война!

Деверу только посмотрел на нее тусклым взглядом, не поздоровался и велел подать вина. Эльза-Анна-Мария ни о чем его не спросила,— отхлещет хлыстом,— поспешно вышла, принесла бутылку и опять ушла, точно ничего не замечая. Он оставался дома недолго, выпил все вино, не оставил ни капли, взял алебарду и ушел.

Деверу направился к тому дому, в котором остановился герцог Фридландский. Уж если идти на такое дело, то все заранее обдумать. Бутлер предлагал: в десятом часу с шестью верными драгунами проникнуть в дом через двор, по внутренней лестнице взбежать на галерею, затем броситься вниз; спальня Валленштейна в первом этаже, первое окно справа от ворот.

Дом был трехэтажный, с покатой крышей,— хоть и лучший в городке, но обыкновенный дом: не в таких домах живал герцог Фридландский. У ворот стоял караул из

драгун Бутлера. «Да, хорошо налажено,— подумал Деверу,— должно выйти...» Пропуска у него не спросили: свой. «Неужели и они в деле?» — с ужасом спросил себя он, зная, как опасно посвящать людей в такое дело: очень много заплатил бы за эту тайну щедрый Валленштейн.— «Нет, быть не может...» Он вошел в ворота, не посмев с улицы бросить взгляд в окна спальной. Двор был неприветливый, темный, замысловатый: на высоте второго этажа вокруг всего дома вилась галерея,— «вот, та самая...» Сердце у Деверу застыло: «неужто через несколько часов?..»

Зимний день кончался, уже темнело. На дворе никого не было. Не смотрят ли из окон? Нет, точно вымер дом! Деверу небрежно прошел по двору, поближе к лестнице, увидел дверь. «Если такую дверь замкнуть на засов, то ее и в час не выбьешь! Экой болван Бутлер!.. Так ему и сказать: нельзя...» Он пошел к воротам. Внезапно силы оставили Деверу, голова у него закружилась: верно, очень старое было вино. Он поспешно поставил алебарду к стене и сел на скамью, завернувшись в плащ и дрожа мелкой дрожью.

В прошлом году старый мушкетер, долго прослуживший во Франции, рассказывал ему, как казнили Равальяка, убийцу французского короля Генриха. И хоть многое видел Деверу на своем веку, подробности этой ужасной казни навсегда остались у него в памяти. Однако не только это теперь тревожило его душу. Большой грех изменить данной императору присяге. Но убить своего главнокомандующего!..

И долго так сидел он, опустив голову на руки. Стемнело совсем. Ламповщик, с огоньком на длинной палке, вошел во двор и стал зажигать фонари, с недоумением поглядывая на драгунского офицера. В глубине двора зловеще чернел проход еще не освещенных ворот. Деверу дрожал от холода и страшной тоски.

Вдруг за воротами прозвучала труба, и мгновенно ему вспомнился Мемминген, июньский вечер, кабачок на окраине города, длинный, пышный поезд: то ли особые трубы были у Валленштейна, то ли один напев всегда играл трубач. Деверу сорвался со скамьи, схватил алебарду, оправил плащ. Огни стали быстро зажигаться за окнами дома. Двор наполнился людьми.

Валленштейн, тяжко страдая от подагры, медленно входил в ворота, опираясь на трость. У первого фонаря он остановился, чтобы передохнуть: боль была адская, и не следовало, чтобы люди это видели. Словно осматриваясь

во дворе, плотно сжав губы, герцог так простоял с минуту. С той поры, с Меммингена, он очень изменился: лицо его осунулось, голова совершенно поседела. Он подозвал кого-то из свиты, и, небрежно опираясь на палку, отдал какие-то распоряжения. Деверу вытянулся в трех шагах от Валленштейна, не сводя с него глаз. Почувствовав этот упорный взгляд, Валленштейн с досадой взглянул на драгунского офицера и подумал, что где-то, когда-то, кажется, очень, очень давно, видел этого человека...

Ему показалось также, что лицо у драгуна зверское, лицо преступника, перешедшего или переходящего преграду. По мнению Валленштейна, все люди были от природы преступниками: лишь преграды, разные преграды, и останавливали их от преступлений. Мудрость же государственного дела именно в том и заключалась, чтобы умножать число преград и увеличивать их крепость.

Валленштейн отдал честь и, превозмогая тяжкую боль, медленно пошел к лестнице. За ним следовала свита. Взойдя на три ступеньки, он, точно опять о чем-то вспомнив, остановился, еще поговорил с секретарем и, дав отдохнуть ноге, поднялся на площадку. Деверу, почти в оцепенении, смотрел вслед герцогу. «Вот сейчас задвинут запоры»,— с надеждой подумал он. Паж отворил дверь,— запоров на ней не было.

Герцог Фридландский вошел в дом.

«Значит, судьба! — подумал Деверу. Мысль эта его успокоила,— теперь будь что будет!..» Он еще походил по двору, соображая, как все нужно будет сделать. Затем отправился в кабачок и там сказал Бутлеру, что за сорок тысяч гульденов готов взять на себя это грустное дело.

Впоследствии же все спрашивали, как провел герцог Фридландский свой последний день: ибо так уж устроено человеческое сердце, что всего больше волнует его расставание с этой жизнью, даже тогда, когда нет в нем ничего необыкновенного. Но люди, которых Валленштейн видел 25 февраля, не имели ни охоты, ни привычки к ремеслу писания; а так как наиболее ему близкие погибли в один день с ним, то не все дошло до потомства из чувств и мыслей, которые он, верно, в этот вечер высказывал.

Известно лишь, что был он спокоен и даже весел более обычного (веселым характером никогда не отличался). Скорее всего — из-за звезд. Или нарочно поддерживал бодрость в других, так как положение их было трудное, а, может быть, особенно бодр был оттого, что к вечеру оставил его приступ господской болезни,— morbus dominorum:

помогли сорок восемь рюмок теплой воды и настойка на Суринамском дереве, излечивавшие тогда от подагры. Оделся, как обычно, вместе величественно и просто; не должно выходить к подчиненным в шлафроке больного; — только сапоги надел мягкие, с тупыми носками; вышел в парадные комнаты и велел позвать на ужин главных своих военачальников: Илло, Терцкого, Кинского и Неймана. Они тотчас явились, но принесли извинения: приглашены на ужин в замок, с Бутлером и другими драгунами. При слове «драгуны» что-то неприятное вдруг вспомнилось Валленштейну.

Но до ужина в замке еще оставалось немало времени; герцог приказал подать гостям вина, и сели они играть в кости. Партия сложилась странно: чуть кто останется с одним жетоном, тотчас выбрасывал туза сосед справа и отдавал ему свой жетон,— так что в *мертвецы* не выходил никто, и все очень этому смеялись. А жить им оставалось менее трех часов,— ибо на этом ужине драгуны их и зарезали,— и только герцог прожил еще часа четыре.

За игрою говорил он и о политике, утверждал, что дела идут не худо: скоро соберутся войска и можно будет двинуть их на Прагу и на Вену, и все будет верным его сторонникам, слава, власть, чины, богатство, титулы: звезды ему благоприятны, как никогда до того не были. При этом он вспомнил гороскоп, без малого тридцать лет тому назад составленный для него Кеплером. Но каков был гороскоп, не сообщил генералам. Они же заслушались Валленштейна. Кинский сказал, что в дни Регенсбургского сейма видел в городе старичка Кеплера, кажется, он тогда в нищете и помер. Мать же его была известная колдунья. Илло, которому хотелось играть, а не говорить о колдунах, заметил, что жизнь подобна игре в кости. На этих словах герцог выбросил из рожка дублет: таким образом, получал он сразу все,— везло ему счастье. Игра кончилась.

Когда генералы ушли, Валленштейн поужинал один,— из-за болезни почти ничего не ел и не пил. А затем велел позвать астролога.

Снова — в который раз! — вынули приборы, раскрыли книги и стали изучать седьмой солнечный дом. Остановка теперь была за Сатурном: Сени нерешительно говорил, что как будто Сатурн преграждает дорогу звезде его светлости. Валленштейн сердито отрицал это, и астролог перестал спорить. В заставке же ученой книги был изображен бог Сатурн, significator mortis [1], пожравший собствен-

[1] Предвещающий смерть (*лат.*).

ных детей,— бородатый силач с длинными волосами, с длинной косой в руке. Что-то неприятное опять проскользнуло в памяти герцога,— и он теперь вспомнил, что такое: на Сатурна был похож *тот* драгун, которого он где-то когда-то видел, очень давно, а где и когда, не мог вспомнить... Сени, приглядевшись к констелляции неба, согласился с его светлостью: да, все, как будто, благополучно.

Кровожадный Сатурн и погубил Валленштейна. Но не одна астрология может ошибаться. Верно, бывают отступления от того, что называют законами природы ученые люди. Могла также, в тот вечер, пронестись мимо Сатурна и отвлечь его своей тягой с обычного пути другая, еще неизвестная миру, звезда. Меняются, наконец, и законы природы, и по-разному в разное время толкуют их ученые. А потому нельзя сказать с полной уверенностью, обманули ли звезды Валленштейна: быть может, герцог Фридландский погиб оттого, что не разгадал движения Сатурна; а может быть, Сатурн в ту ночь прошел не обычной своей дорогой, так как герцог Фридландский погиб.

В это самое время в Эгерском замке убивали генералов Валленштейна. Деверу не принимал участия в их убийстве. Зарезали их другие люди, верно, очень походившие на него. А он, со своим приятелем Макдональдом и с драгунами стоял у двери зала, чтобы в случае надобности отрезать отступление генералам герцога. Затем вышел к нему смертельно бледный Бутлер, что-то сказал трясущимся голосом и взглянул на Деверу молящим взглядом: «Теперь твое дело! Не выдай же!..» Слова были не нужны. Настал тот час, из-за которого перешел навеки в историю драгунский офицер, почти ничем не отличавшийся от других людей.

Еще за несколько минут до того разные видения тревожно-беспорядочно пробегали в уме Деверу: сверкающая куча золота — сорок тысяч гульденов! — свободная, независимая, обеспеченная жизнь, свой дом, лошади варварийской породы, толедское оружие, алмазные серьги в ушах Эльзы-Анны-Марии,— и тут же колесо, огонь, раскаленные щипцы палача. Теперь больше этого не было. Он не думал ни о каре, ни о наградах, думал только о деле, как ездок на скачках не думает, зачем, собственно, скачет: надо одолеть препятствия. Какая сила руководила действиями убийцы? В чем в мире высшая, направляющая, творческая сила зла? Почему торжествует оно над добром? Почему столько ума, воли, храбрости, не в пример

служащим добру, проявляют творящие зло люди? И почему именно к ним благоволит то непостижимое, что называется случаем?

Они пробежали вдоль заборов, подкрались к дому, соседнему с домом Валленштейна, перескочили через первый забор — никто их не заметил, затем через второй — там тоже никого не было. Двор был освещен тускло, ночь была мутно-темная. Деверу не сразу нашел лестницу, у которой сидел несколько часов тому назад, стал лицом к полуовальным воротам,— в них теперь горел фонарь,— и, ориентируясь по ним, наконец разобрался: лестница слева, в углу. Ступая на цыпочках, поднялись они по ступенькам, попробовали дверь, она отстала и отворилась, только скрипнул замок. Они пробежали по галерее.

В комнате никого не было. Тускло-печально горела свеча. Деверу побежал по направлению к спальной герцога,— так же уверенно, как если б много раз бывал в доме. Ум у него работал ясно: лестница, еще две комнаты, а там спальня. Вдруг откуда-то показался лакей с подносом. Увидев драгун, он вытаращил глаза и отшатнулся в сторону. Что-то свалилось и зазвенело, разбиваясь. Деверу бросился вперед. В следующей комнате два пажа играли в шахматы. Один из них так и остался на стуле,— оцепенел. Другой вскочил, закричал диким ребячьим голосом: «Rebellen! Rebellen!» [1] — и повалился от страшного удара. Кровь хлынула на синий ковер, Деверу подбежал к двери, откинулся, уткнув в ковер рукоятку алебарды, и ударил изо всей силы ногой в дверь...

Валленштейн задремал минут за десять до того. Перед настоящим сном грезилось ему все то же: корона, закрытая корона с золотым полукругом, с изображением мира, с крестом,— корона Карла Великого... Она теперь была ближе, чем когда-либо прежде.

Трезвое рассуждение говорило не то. Вот уж много лет он все взвешивал шансы: взвешивал и тогда, когда император уволил его в отставку, по требованию Регенсбургского сейма, взвешивал и на покое, и в пору войны, под Нюрнбергом, накануне Лютцена; взвешивал и теперь, по пути из Пильзена сюда в Эгер. И хоть соратников своих он, естественно, убеждал в противном, трезвое рассуждение говорило, что шансы сейчас невелики, меньше, чем год, чем полгода, чем три недели тому назад. Но это не имело значения: только теперь, впервые в его жизни,

---

[1] «Разбойники! Разбойники!» *(нем.)*

звезды заняли в седьмом доме солнца то положение, которое обещало успех.

Валленштейн знал, что люди благочестивые относятся к предсказаниям звезд с тревожным недоверием, а вольнодумцы просто над ними смеются. Это совершенно его не интересовало, как зрячего человека не может интересовать мнение слепца о красотах природы. Чтобы дойти до звезд, надо было пережить ту жизнь, которую пережил он. В больших делах его не было ни нравственного, ни разумного смысла. Он видел на своем веку бесконечное количество зла и сам много зла сделал; лишь случайные внешние обстоятельства давали ему возможность осуждать и карать преступников: они были не хуже и не лучше, чем он сам. Того же, что вольнодумцы называли разумом, в его бурном существовании не было и следа: уж он-то знал, что на три четверти слагалось оно из дел и обстоятельств случайных, которых никто не мог ни обдумать, ни предусмотреть, ни осуществить. Люди кабинетные, люди светские, вольнодумцы, монахи просто этого не видели, потому что с ними почти ничего не происходило. Открывалось же это лишь таким людям, как он, или Александр, или Цезарь. *Это* означало судьбу. Тому, кто видит важность собственных своих земных дел, не может быть чужда мысль о связи их с основным в мире, с небом и звездами. Все остальное,— наверное, ложь; это, может быть, правда. Но людям, которым вообще незачем было рождаться, незачем и знать, под какой звездой они родились.

Затем сон смешал его мысли. Ему снилось, что Сатурн входит в седьмой солнечный дом и плывет по небесному полю, открывая,— наконец-то! — дорогу его звезде. И за звездой его шел спутник, на нем же вырисовывался золотой полукруг. И точно это раздражило Сатурна: он ускорил ход, и лицо его стало зверским, и сузилась борода, точно он подстриг ее по драгунской моде, и выпала из рук его, зазвенев, коса, и вместо нее появилась алебарда. Звезда герцога Фридландского остановилась в ужасе. Раздался дикий крик: «Rebellen!», за ним громовой удар. Валленштейн проснулся.

И в ту же секунду,— с непостижимой быстротой,— он понял все. С непостижимой ясностью понял, откуда идет удар, и кто его выполняет. Понял, что не успеет добежать до стены и схватиться за меч, да если б и успел, то это не спасет. Все сорвалось на пустяке: во дворе не была поставлена стража. Понял, что кости выброшены, что выпал туз, что игра сыграна, что не будет ни похода на Вену, ни короны Карла Великого, ничего не будет.

Оставалось только одно, необходимое: последняя картина для потомства. Герцог Фридландский спокойно поднялся с постели и с усмешкой стал у стола. Дверь сорвалась с петель и упала с грохотом. На пороге показался драгун — тот самый, со зверским лицом, похожий на Сатурна. Он на мгновение замер, что-то прокричал срывающимся голосом и, бросившись вперед, вонзил алебарду в грудь Валленштейна.

XXIV

Через час после отъезда Клервилля явилась Тамара Матвеевна. Вид ее ясно показывал, что, забывая свое горе, она пришла развлекать дочь, и пришла на долгое время. Этот вид сразу раздражил Мусю. «Ни минуты не могу пробыть одна!..» С трудом себя сдерживая, боясь сказать лишнее, Муся поздоровалась с матерью и подтвердила, что Вивиан уехал.

— Так ты не поехала на вокзал?

— Нет, зачем же? Он скоро вернется... Вы не хотите кофе, мама?

— Нет, Мусенька, я пила.

— Как вы спали?

— Ах, как я сплю! Не сомкнула глаз всю ночь,— сказала со вздохом Тамара Матвеевна.

«Наверное, неправда... Я отлично знаю, что мама убита, но зачем же она еще преувеличивает свое горе?» — подумала Муся и сухо посоветовала матери принимать веронал. Тамара Матвеевна как будто немного обиделась.

— Веронал ведь, кажется, то, чем отравилась эта бедная барышня?

— Мама, отравиться можно чем угодно, самым безобидным порошком, если принять двадцать пилюль вместо одной!

— Нет, я так спрашиваю,— испуганно сказала Тамара Матвеевна.— Покойный папа был против всех этих снотворных средств, он ведь совершенно не верил в медицину.

— Тут верить или не верить нельзя: от веронала люди засыпают, это факт, что ж тут верить или не верить.

Они помолчали.

— Ничего нового? — вздохнув, спросила Тамара Матвеевна.

— О чем?

— О Витеньке, конечно.

— Нет, ничего.

— Это просто непостижимо. Кто мог бы подумать, что Витя...

«Ну, пусть говорит, бедная,— подумала Муся, устало закрывая глаза.— Она ни в чем не виновата, и я обязана проводить с ней два-три часа в день... Характер у меня, действительно, портится с каждым днем».— Смягчившись, она поддерживала разговор с матерью, изредка вставляя свои замечания.— «Подумать, что этот разговор со мной — единственное, что у нее осталось в жизни. Все-таки к завтраку она уйдет: чтобы не вводить меня в расходы... А у меня-то что же осталось? Вивиан, которому со мной так же скучно, как мне с мамой? Да, моя жизнь разбита. Но если б я за него не вышла, то было бы еще хуже...»

— ...А все-таки, помяни мое слово, я совершенно уверена, что Витенька найдется,— говорила Тамара Матвеевна.— Посуди сама, куда он мог деться...

— О, да... Конечно, найдется.

— Ведь если даже он уехал к белым, то я не сомневаюсь, что...

«Господи, что мне делать? — с тоской думала Муся.— Ведь так надо будет разговаривать по крайней мере два часа, даже больше, до завтрака. Сказать, что у меня разболелась голова? Но тогда она днем придет меня проведать. Сказать, что покупки? Она поедет со мной, да я и не хочу ее, несчастную, обижать... И так будет всю мою остальную жизнь».— Деликатность запретила ей и *подумать:* «всю ее жизнь».— «Да, жизнь разбита. Я знаю, со стороны всякий скажет, что виновата я, а не Вивиан: я не умела создать настоящую жизнь, настоящие отношения с ним... И эта история с операцией (Муся с отвращением содрогнулась), *этого* он мне никогда не простит, я отлично знаю. Он хочет жить совершенно свободно, как жил в свои холостые годы, но с тем, чтобы у него вдобавок был home [1], дети, любящая жена, целый день занятая с детьми. И чтобы эта жена ласково ему улыбалась, когда ему вздумается прийти из клуба. Ведь называется все это «клубом».— Ею сразу овладело раздражение.— «Что ж делать, я для роли такой жены не гожусь! Надо было жениться на англичанке и поселиться с ней в Кенсингтоне...»

— Я тоже так думаю, мама,— поспешно сказала она, вспомнив, что давно не подавала реплики. Тамара Матвеевна говорила все тем же тягучим однотонным голосом. «Ах, она уже не о Вите. О чем же? О политике. Да, мама меня *занимает».*— Вы правы, мама, эта война долго продолжаться не может.

---

[1] Дом *(англ.).*

— Гражданская война никогда не бывает так продолжительна, как те войны. Покойный папа всегда это думал...

«...Но ради того, чтобы у него был home, я не дам отнять у себя жизнь! Нет, нет, я для роли кенсингтонской жены не гожусь,— ласковая улыбка не моя специальность! Уж если home, то без его «клуба», и не с тем, чтобы он приходил в этот home на полчаса, поиграть с детьми и поговорить со мной о погоде, о лошадях, о платьях! — Ее раздражение все росло.— Со стороны, конечно, он прав: то, что я сделала, не *этично* и не соответствует интересам Англии, его собственным интересам: род Клервиллей угаснуть не должен, хоть этот род мною, конечно, несколько подмочен! Разумеется, он теперь сожалеет, что женился на мне. Он будет это отрицать не только в разговоре со мной, ce serait la moindre des choses![1] Он джентльмен, и только я знаю, что это ложное джентльменство. Впрочем, всякое так называемое джентльменство есть ложное джентльменство, и всякий bonhomme — faux bonhomme[2], до той первой гадости, какую он сделает не скрываясь... Он раскаивается, что женился, но ведь раскаиваться могу и я. Нет, я не могу: для меня он был блестящей партией. Что в самом деле со мной было бы, если б он не подвернулся?..»

— Конечно, конечно... Мама, а все-таки вы не выпьете ли чашку кофе?

— Нет, что ты, Мусенька, я пила.

«Но так дальше жить нельзя, это я чувствую ясно. Нельзя жить тщеславием — Жюльетт была тогда права,— туалетами, флиртом... Нельзя жить без любви. Все, все было ошибкой: да, и то, что было в первую неделю в Финляндии, и та петербургская поездка на острова. Витя бежал, князь расстрелян, Петербурга нет, все, все ушло навсегда!..— Она вдруг с ужасом вспомнила ту непонятную освещенную желтым светом комнату, которая ей мерещилась после смерти отца.— Нет, так дальше нельзя жить! Помириться с Вивианом? Но ведь мы не ссорились. Нельзя мириться в том, что мы чужие друг другу люди, что я не люблю его, а он меня любит, как любит всякую молодую женщину, или несколько меньше, потому что я надоела... Ведь я хотела загладить свою вину,— да, я знаю, это вина,— *он* этого не пожелал. В тот вечер, когда я ему предложила поехать в ресторан на Монмартр, а затем вместе, вдвоем, провести весь вечер, он отклонил, любезно-холодно отклонил, сославшись на какое-то неотложное дело. Точно я не знаю, что он изменяет мне! «Измена» — в других случаях это звучит так

[1] Это были бы пустяки! *(франц.)*.
[2] Добряк — фальшивый добряк *(франц.)*.

страшно: «государственная измена»,— здесь слышится что-то змеиное,— да, ведь по звуку похоже: змея — измена! Но в этих случаях это так просто, для него в особенности. Со своими полковниками он, должно быть, весело об этом разговаривает: ведь лишь бы до жен не доходило, а они все джентльмены,— они никогда не проговорятся, Боже избави! Я хотела дать ему понять, что отлично все это знаю и что je m'en fiche complètement [1]. Но я боялась, что не справлюсь со своими нервами, не выдержу тона. К тому же, ведь ему это только развязало бы руки. Тогда я была бы, правда, не чистая, невинная, наивная кенсингтонская жена, но зато la perle des femmes [1]. Он рассказывал бы и полковникам, и своим дамам, что ему выпало необыкновенное счастье: его жена совершенно не ревнива, ни капельки, ей совершенно все равно,— «и я очень ее люблю, право. Вы смеетесь? Даю вам слово!..»

— ...Все-таки, что должен чувствовать такой Ленин, когда он подписывает смертные приговоры,— говорила Тамара Матвеевна проникновенно, но все на одной ноте. Музыкальное ухо Муси не выносило ее речи.— Я себе не могу представить таких людей, это такой ужас, что я просто...

— Да... Мама, вы меня извините, у меня голова болит,— сказала поспешно Муся, чувствуя, что у нее от злобы подходят к горлу рыданья.— Нет, нет, что вы! Я очень рада, что вы пришли. Я только объясняю свою неразговорчивость... Я, кажется, приму аспирин, если у нас есть.

— Мусенька, дорогая, я могу сходить в аптеку.

— Зачем же вы? В гостинице есть для этого мальчики. Но может быть, пройдет и так.

— По-моему, лучше без лекарств, покойный папа всегда это говорил. Ты знаешь, в Париже совсем не такой хороший климат. У нас, в Питере, был гораздо здоровее. Летом здесь у меня каждый день болела голова.

— А теперь как?

— Теперь, слава Богу, лучше. Ты не можешь себе представить, как здесь было жарко в августе, когда вы были в Довилле. Я помню, именно в тот день, когда у меня был бедный Витенька, была страшная жара. Я его упрашивала не бегать, просила, чтобы он остался у меня к обеду. Но он непременно хотел заехать к этому Брауну.

— К Брауну? Как к Брауну?

— Ну, да... А что?

---

[1] Мне совершенно наплевать на это (*франц.*).

[2] Лучшая из женщин (*франц.*).

— Он от вас поехал к Брауну?

— Да, сначала к нему, а потом они условились встретиться с этим молодым человеком...

— И он был у Брауна?

— Этого я не знаю, Мусенька, ведь я его больше не видела. Вероятно, был.

— Мама, но какая вы странная! Как же вы раньше не сказали?

— Чего, Мусенька?

— Что он от вас поехал к Брауну!

— Мусенька, я сказала: к Брауну, а потом в театр. Ты просто не расслышала. Но почему это тебя...

— Да ведь это, может быть, все объясняет! Ведь Браун его еще в Петербурге подбивал ехать в армию... Да, конечно! Теперь мне все ясно!

— Этого я не думаю, Браун на это не способен,— начала было Тамара Матвеевна, но Муся ее не дослушала. Она поспешно направилась к телефонному аппарату. «Все-таки это очень странно. Почему мама упомянула о Брауне именно теперь, когда я думала о том, что моя жизнь разбита? Почему он имеет отношение ко всем важным делам моей жизни? Впрочем, какое же тут отношение?.. Но мама ошибается, она никогда мне об этом не говорила»,— думала тревожно Муся, перелистывая телефонную книгу. Собственно она знала на память телефон Брауна: он назвал номер при одной из их первых встреч. Но Мусе точно стыдно было себе сознаться, что она этот номер помнит. «Что, если тут выход, ключ всей моей жизни?» — подумала она, замирая от волнения, точно так, как в Петербурге, когда звала Брауна к ним в коммуну. Она едва выговорила номер. Никто не отвечал. Муся подождала немного, затем попросила телефонистку гостиницы вызвать вторично. Нет, не отвечал никто. «Кажется, я сейчас заплачу,— подумала Муся,— я совершенно сошла с ума...» Тамара Матвеевна высказала предположение, что Брауна нет дома. Муся положила трубку с раздражением, точно Браун был дома, знал, кто его вызывает, и отказывался подойти к аппарату.

— Я сейчас ему напишу,— сказала она.— Вот вам пока газеты, мама.

Муся села за стол и начала писать. Сообщив кратко об исчезновении Вити, она спрашивала Брауна, не знает ли он чего-либо об этом деле. «Мама только что мне сообщила, что накануне своего исчезновения Витя от нее должен был заехать к вам. Если вы что знаете или имеете какие-либо предположения, пожалуйста, Александр Ми-

хайлович, дайте мне знать тотчас»,— написала Муся и остановилась: «Значит, если он ничего не знает, то ответа не требуется?..» Ей показалось, что она инстинктивно застраховала себя от грубости, на случай неполучения ответа. «Нет, ясно, что на такое письмо надо ответить во всяком случае».— «Не решаюсь просить вас заехать ко мне, знаю, как вы заняты, но, пожалуйста, позвоните мне по телефону. Мой муж уехал сегодня в Лондон, все по этому делу: наводить справки там. Мне очень, очень нужно поговорить с вами...»

Муся перечла письмо и осталась недовольна. «Вместо «мой муж» лучше было сказать Вивиан. И совершенно ненужно было упоминать, что он сегодня уехал: выходит, как только муж уехал, я обращаюсь к нему. Это повторение: «очень, очень» тоже придает какой-то неподходящий оттенок». Она соединила чертой заключительную точку с последней буквой и после «поговорить с вами» приписала: «по этому делу». «Теперь вышло два раза «по этому делу» в трех строчках!..» — Муся рассердилась на себя — «Что же это! Пишу так, точно исторический документ. Сойдет, как есть!» Она заклеила конверт, вызвала мальчика и велела тотчас отнести письмо.

Вечером, часов в девять, Мусе сообщил по телефону швейцар гостиницы, что внизу ее спрашивает Браун. Сердце у нее забилось. Она почувствовала, что этого ждала: именно потому осталась дома; но как раз перед звонком потеряла надежду и уже настраивала себя на приятную меланхолию разрыва,

— Пожалуйста, попросите подняться,— дрогнувшим голосом сказала Муся.— И больше меня ни для кого нет дома.

XXV

Мусе самой было странно, что она так волнуется: никакой причины для этого не было. Бросив в зеркало последний, окончательный взгляд, она вышла на порог комнаты, хоть этого не следовало делать. По коридору шел Браун. «Кажется, у меня *мрачные предчувствия*, как в мелодраме «Кривого Зеркала»,— подумала она с напряженной насмешкой над собою, и, спокойно-приветливо улыбаясь, протянула ему руку. Улыбка Татьяны Онегину на великосветском балу не вышла. Муся чувствовала, что лицо у нее выражает растерянность, чуть только не испуг.

— Как я рада, Александр Михайлович! — сказала она. В голосе ее прозвучали те самые модуляции, которыми

когда-то в Петербурге она пользовалась в разговоре то с ним, то с Клервиллем. Но и модуляции не совсем вышли, да и не соответствовали печальному делу, бывшему причиной его визита. Муся попробовала перейти на грустно-озабоченный тон — и вдруг совершенно растерялась.

— ...Вам здесь в кресле будет удобно? Это мое любимое, но, так и быть, я его вам отдаю, я сяду на диван... Не слишком близко от радиатора? Как быстро наступили холода, неправда ли? Но вы не беспокойтесь, у нас в гостинице топят недурно, не то, что в Англии, где я прямо мерзла... Я думала, здесь будет приятнее, чем внизу, в холле... Но как мило, что вы зашли. Я не хотела вас беспокоить, пыталась к вам дозвониться сегодня утром, но...

— Утром у меня телефон не работает.

— То есть, вы были дома? Нет, я так и думала, что вы дома и не хотите подойти к аппарату! Нет, какая низость! — *воскликнула*, смеясь, Муся и почувствовала, что не надо было ни восклицать, ни даже просто говорить «какая низость!»,— он не улыбнулся и пристально на нее глядел. После этих слов нельзя было сразу перейти к исчезновению Вити. Муся с ужасом и наслаждением чувствовала, что не владеет собой, что теперь с разбегу остановиться очень трудно. Ей казалось, что он отлично это видит, что он молчит нарочно,— быть может, издевается.

Она взяла трубку телефонного аппарата и заказала чай, очень пространно, чуть не с модуляциями, объясняя все лакею. Браун сбоку, со своего кресла, все так же пристально смотрел на нее. «У него блестят глаза, обычно они холодные, я таким его никогда не видала!» — замирая, думала Муся.— «Et le citron, n'oubliez pas le citron» [1],— пропела она.— «Oui, madame» [2],— недоумевая сказал лакей. С трудом сдерживая бег, как прошедшая мимо столба скаковая лошадь, Муся произнесла: «Mais surtout faites vite, je vous prie, nous attendons» [3],— повесила трубку с сияющей улыбкой, как бы означавшей: «вот вы увидите, как нам будет здесь уютно».— Сейчас, сейчас подадут! — сообщила она Брауну, точно он несколько раз с нетерпением требовал чаю.— И вы знаете, у моего мужа есть коньяк, какой-то необыкновенный, замечательный коньяк, старше нас с вами вместе взятых! Вивиан достал несколько бутылок у Корселле. Только где он? Если б я знала, где он? — Муся приложила руки к вискам, точно и в самом деле не знала, где у них находится коньяк.— Ах, да!.. Одну минуту...

---

[1] «И лимон, не забудьте лимон» *(франц.)*.

[2] «Да, сударыня» *(франц.)*.

[3] «И прошу побыстрее, мы ждем» *(франц.)*

Легкой *саввинской* походкой она вышла в спальную и остановилась за дверью, почти задыхаясь. «Что со мной? Я, право, с ума сошла! Господи, неужели сегодня!.. Ну, будь что будет!..» Муся направилась было назад, у дверей вспомнила о коньяке, вернулась, достала бутылку и вышла в гостиную.

— Слава Богу, нашла! Я боялась, вдруг Вивиан увез ключ от своего шкафа. Нет, коньяк есть, к счастью для вас! Впрочем, я тоже выпью рюмку, очень холодно. Кажется, вы знаете толк в винах не хуже, чем Вивиан?.. Но как же вы, Александр Михайлович, что же вы?

— Ничего, благодарю вас.

— Я вас сто лет не видала.— Ее немного успокоило, что он все-таки говорит.— Я так вам рада и так благодарна, что вы зашли. Сначала о деле...

Она принялась необыкновенно горячо рассказывать о Вите. Самый характер рассказа у Муси зависел от звука ее голоса,— как у писателей иногда работа зависит от пера, от бумаги, от чернил. Голос у нее был прекрасный, быть может чуть срывающийся на верхних нотах, но Муся и из этого умела извлекать пользу,— так старинные мастера расписных стекол лучших своих эффектов достигали благодаря несовершенствам их стекла. Браун слушал и пил коньяк, не облегчая ей рассказа ни вопросами, ни возгласами удивления.

— ...И вот вам их полиция! У нас бы мальчишку нашли в двадцать четыре часа, а мы еще ругали наши порядки. Но вы себе и не представляете, как я волнуюсь! Я просто не нахожу места...— Вошел лакей с подносом.— Posez cela ici. Merci...[1] — Вы ведь знаете, Витя мне все равно что родной, я с ума схожу... Вы, может быть, предпочитаете пить чай из стакана?

— Мне все равно.

— Да, вот их полиция... Но ваше мнение какое, Александр Михайлович?

— Ничего не могу вам сказать.

— У вас и предположений нет никаких? Вам Витя тогда ничего не говорил, что хочет куда-то уехать?

— Он просил меня найти для него в Париже работу.

— Работу? Да, это у него была idée fixe! Я хотела, чтобы он учился, не думая о деньгах, но он все приставал с работой. Я, наконец, достала или почти достала для него работу в одном кинематографическом деле.

— Помнится, он говорил мне и об этом, но без восторга. Упомянул и о том, что хотел бы уехать в армию.

[1] Поставьте сюда. Благодарю... *(франц.)*

— Ах, вот, значит упомянул? Я так и думала! В армию? Как же именно он сказал? Он не сказал, в какую армию? Вообще никаких подробностей не сообщил вам?

— Нет. Сказал довольно неопределенно. Мне казалось, что и не очень серьезно это говорится.

— Как мы все относительно него заблуждались! Но теперь я почти не сомневаюсь, что он уехал в армию... Я вам положила один кусок, Александр Михайлович, я помню по Петербургу, что вы пьете с одним куском. Помните нашу коммуну?.. То, что вы мне сообщили, чрезвычайно важно,— говорила быстро Муся,— чрезвычайно важно. Теперь мне ясно: он уехал в армию.

— Какие же у вас были другие предположения? Самоубийство?

— Что вы! — вскрикнула Муся испуганно.— Что вы, Александр Михайлович! Почему самоубийство?

— Или несчастный случай?

— Это уж скорее. Но, к счастью, и об этом нет речи,— Муся постучала по дереву: все путала приметы и средства против них, так же, как Тамара Матвеевна.— Ведь если б он, например, попал под автомобиль, мы давно знали бы: ведь все-таки подняли на ноги всю полицию.

— Да, конечно.

— Как вы меня напугали! Налейте, пожалуйста, и мне коньяку... Все-таки почему вы упомянули о самоубийстве? — Она опять постучала по дереву с искренним ужасом.— Из-за чего Витя мог бы покончить с собой?

— Из-за любви.

— Разве он был влюблен? В кого?

— В вас, конечно.

Муся изумленно на него смотрела.

— Почему вы думаете? Он вам говорил?

Браун усмехнулся.

— Напротив, так старательно замалчивал еще в Петербурге, что это было вернее всяких исповедей.

— Все-таки странно, что у вас было такое предположение,— сказала задумчиво Муся, не подтверждая и не опровергая.

— Это предположение довольно естественно. Я вдобавок и не слепой, хоть не обо всем вообще говорю из того, что вижу,— сказал Браун.

В голосе его Мусе послышалась не то насмешка, не то угроза.

— Да, конечно, у мальчиков их секреты белыми нитками шиты.

— Не только у мальчиков.

Они помолчали.

— Не буду утверждать, что вы ошиблись, Александр Михайлович, но, я думаю, в этом чувстве Вити ничего серьезного не было,— сказала Муся и почувствовала, что довольно говорить о Вите.

Браун вынул портсигар.

— Вы позволите? Ваш муж и не подозревает...— Он закурил папиросу. Муся тревожно ждала.— И не подозревает, что я истребляю его заветную бутылку. Что он поделывает?

— Ничего особенного. Он сегодня уехал в Лондон.

— Да, вы об этом мне сообщили.

— Уехал в Лондон все по тому же делу Вити.— Муся подумала, что, кажется, он истолковал ее письмо именно так, как она опасалась: вульгарно. Это ее раздражило. «И в тоне его сегодня есть что-то ему несвойственное, «галантерейное»,— говорил Никонов. Зачем он сказал «заветную бутылку»? Во всяком случае пусть теперь поговорит он, мне монолог надоел...» Браун все смотрел на нее в упор, чуть наклонив голову. «Несколько странная манера! И глаза у него так блестят... Что, если он морфинист!» — вдруг мелькнула у Муси дикая мысль. Почему-то она от Брауна всегда ждала самых странных вещей,— вроде как туристы, посещая средневековый замок, непременно ждут «комнаты пыток» или отверстий, из которых «на осаждавших лили кипящую смолу».— Еще рюмку коньяку, Александр Михайлович? Очень холодно. Ничего мне так не жаль, как наших русских печей. Да, я выпью тоже... Коньяк в самом деле прекрасный... А знаете, Александр Михайлович, вы сегодня не совсем такой, как всегда.

Он улыбнулся.

— Правда, мы давно с вами не встречались. Надеюсь, ничего не случилось?.. Извините мою нескромность, но, право, мне кажется...

— Вы не ошибаетесь,— сказал Браун.— Кое-что случилось, но это никому, кроме меня, не интересно. Я получил первое предостережение.

— Как вы говорите?

— Не интересно,— упрямо повторил Браун.— Кроме того, я кончил или почти кончил книгу, над которой работал много лет.

— Книгу? Разве вы пишете книги?

— Одну написал. Она называется «Ключ».

— «Ключ»? Это книга по химии?

— Нет, это философская книга. Книга счетов.

— Поздравляю вас. Вы так меня удивили, Александр Михайлович... Философская книга? Я что-нибудь пойму?

— Ничего решительно.

— Благодарю вас!

— Впрочем, может быть поймете «новеллу», которую я вставил в свою книгу. Есть такое смешное, старенькое слово «новелла», я его очень люблю, так и назвал. Новелла у меня с действием, с фабулой, это вы прочтете.

— Но разве в философские книги вставляются новеллы с фабулой?

— Фабула никогда не мешает. Недаром почти во всех создателях религиозных учений сидел Александр Дюма. Да и Священное Писание не завоевало бы мира, если б в нем не было и авантюрного романа.

Это замечание показалось Мусе и неприличным, и не очень умным. Она ничего не ответила,— пожалела, что он это сказал.

— Не думайте, однако, что я вставил новеллу для увеличения тиража книги. Но так легче было пояснить мои мысли.

— Что же, это новелла из современной жизни?

— Нет, из эпохи Тридцатилетней войны. Символическая и, разумеется, стилизованная, притом в разных стилях. Пишу, как хочу, хоть под Загоскина. У всякого барона своя фантазия.

— Да ведь вы барон не в литературе.

— И ни в чем другом. Барон, как всякий независимый человек. Стилей же несколько потому, что я писал в разное время: начал эту новеллу очень давно, в добрую минуту... Тогда даже документы собирал,— с одного старого документа и началось... Это гороскоп Валленштейна, составленный великим астрономом Кеплером.

— Валленштейна? Того, что у Шиллера? Ах, как интересно! Я почему-то уверена, что вы Валленштейна писали с себя... Только не сердитесь, ради Бога.

— Ну, а потом много изменилось, вот получил и предостережение... Может быть, во мне и пропал романист: Гоголь таких людей, как я, называл «душезнателями».

— Никогда не поздно переменить карьеру.

— Мне поздновато... Называется моя новелла «Деверу».

— Деверу? Что это такое? Впрочем, я прочту... Я все-таки надеюсь, что вы мне дадите вашу книгу, когда она выйдет. Вдруг и я, дура, что-нибудь пойму. Во всяком случае, я увижу, какой ваш violon d'Ingres[1]. Я представляла себе его иным.

---

[1] Здесь: пристрастие, увлечение *(франц.)*.

— Каким же? — спросил Браун без большого интереса.

— Не знаю, как объяснять, и не знаю, объяснять ли.— «От него станется, что он скажет: и не объясняйте, не надо»,— подумала она и поспешно продолжала.— Кажется, философы это называют миром подсознательного...

— Мир В.

— Что? Я не поняла. Мир В?.. Ну, да все равно. Но я все больше прихожу к мысли, что самые острые чувства, мысли, желания человека — те, в которых он сам себе не сознается.

— Отличие обыкновенных людей от необыкновенных отчасти в том, что обыкновенные могут ясно изложить, какой у них — в кавычках — «идеал счастья».

— А необыкновенные не могут? То есть попросту не знают сами, чего хотят?

— *Попросту* это именно так.

— В таком случае,— сказала, обидевшись, Муся,— я думаю...— Она не докончила фразы: глаза Брауна поразили ее выражением злобы, усталости, тоски. «Кажется, он не совсем здоров...» И опять Мусе пришло в голову: «Что, если он морфинист или сумасшедший?.. Во всяком случае ничего не будет, и так лучше...» Она предпочла засмеяться.

— Окончание книги, по-видимому, вас не привело в очень хорошее настроение. Но все-таки что такое ваш «Ключ»? Это философская система? — спросила Муся, тоже с легкой насмешкой в голосе.

— Зачем такие слова? Я не задавался целью ни создавать семьсот шестьдесят пятую философскую систему, ни писать сто восемьдесят четвертую книгу о Канте. Просто записал свои мысли о жизни, как собственно должен бы делать каждый человек перед уходом... Я хочу сказать: на старости лет.

— Да это кокетство. Какой вы старик! — сказала Муся и подумала, что, верно, тысячи женщин говорили мужчинам эту самую фразу.— Ради Бога, не будем вести похоронных разговоров. Скажите лучше, какие теперь ваши планы? — Она сама не знала, о чем спрашивает.— То есть, теперь после окончания вашей книги. Ведь вы остаетесь в Париже?

— Да, остаюсь.

— Вы вообще как думаете: долго нам жить в эмиграции?

— Совершенно не знаю. Это зависит от миллиона случайностей.

— А «законы истории»? — спросила Муся, подчеркивая шутливой интонацией ученые слова.

— Какие уж там законы истории,— эту шутку выдумали историки. Поверьте, все в мире определяется случаем. Ведь и Россия погибла оттого, что, по случайности, не нашлось пять — шесть решительных людей, готовых пожертвовать собой в атмосфере общего равнодушия — людям «общественное сочувствие» нужно и для того, чтобы идти на смерть... Разумеется, одной решительности было мало: надо было иметь еще и голову на плечах.

«Да вот вы же в Петербурге пробовали, с Витей»,— хотела сказать Муся, но не сказала.

— Что же мы тут будем делать?

— То, что делаем уже сейчас. Ходить на митинги со *стыдливой любовью* к России, пережевывать глубины Достоевского: «Я... я *буду* веровать в Бога»,— пролепетал в исступлении Шатов...» Зарабатывать хлеб как умеем... Станем бедными родственничками Европы,— дальними, очень дальними, такими дальними, что почти даже и не родственники. В душе потеряем веру в свою великодержавность, которую прежде не любили и даже не замечали. А главное будем голодать, это будет основное занятие...

— Вот чисто русская манера: вечно себя и все свое ругать.

— Все нации о себе утверждают то же самое и видят в этом свою особенность. Даже французы: «Cette manie que nous avons de nous dénigrer nous-mêmes...» [1] В действительности, каждая нация по уши в себя влюблена.

— Ну, хорошо, хорошо... Как можно жить одной иронией, ведь это так мертво! Я политикой не интересуюсь, но, поверьте, я сердцем чувствую: у нас, у эмигрантов, есть задача, и большая.

— Я этого и не отрицаю,— уж я-то всего менее живу иронией. Если дело затянется, то наша задача будет даже велика непосильно,— лишь бы только мы ее выполнили, тогда от иронии ничего не останется... Может быть, *та* Россия политически и спасется, но морально она обречена на гибель. Впервые, кажется, в истории появилась такая власть, которая вполне способна всех обратить в подлецов. Отсюда и задача эмиграции: спасти остатки русской духовной культуры. У Вергилия в «Энеиде» есть, помнится, такая сцена: Троя гибнет, до прихода врагов остаются часы или минуты, Эней колеблется: оставаться? бежать? К нему является тень Гектора и приказывает: «Беги! Тебе вручаются Троей святыни ее и пенаты!..» «Sacra suosque tibi commendat

[1] «Эта наша мания хулить самих себя...» *(франц.)*

Troia penates». Это отнюдь не значит, что я предлагаю «подвижничество», о, нет! Быть таким же народом, как французский или английский, таким же, каким *был* русский,— и только.

— Все-таки, тут у вас, кажется, противоречие...

— Не думаю. А впрочем, оставляю за собой право и на противоречие. Я живой человек, а не таблица умножения.

— Живой, но мрачный. На конкурсе мрачных людей вы могли бы получить первый приз. Когда вы выпустите книгу, придумайте для себя подходящий псевдоним: «Роберт-дьявол», например, или что-нибудь в этом роде, а? Впрочем, нет, не надо псевдонима! Мне нравится ваша фамилия, хоть она странная: Браун. И ваше имя вам идет! Я не очень люблю: «Александр», но это имя идет вам. Ну, вот, как папа может называться Пий, Лев, Бенедикт, но называться Эрнест или Адольф ему было бы неудобно, правда? — говорила Муся, чувствуя, что снова начинает нести чушь.— Может быть, впрочем, после «Ключа» ваше имя так прогремит, что его будут произносить без prénom [1],— вот как когда говорят Толстой-просто, то имеют в виду Льва Николаевича. Но заранее вас предупреждаю, я вас читать не буду: я очень люблю жизнь, да, да, очень!

— Тогда непременно читайте мрачных писателей. Помните, что писатель обычно достигает результатов как раз обратных тем, к которым он стремился. Вы упомянули о Толстом,— в «Анне Карениной» героиня в конце бросается под поезд, один герой подумывает о самоубийстве, другой идет на свое турецкое самоубийство, а вся книга так и дышит страстной любовью к жизни. Напротив, в «Воскресении» или там в сказочках все умиляются, очищаются, просветляются, но читателю хочется повеситься от тоски.

— Это неверно,— смеясь, сказала Муся. Коньяк успел ударить ей в голову. Ей было и жутко, и весело. В этом разговоре об умном наедине с Брауном, в легком кружении головы, было то самое, что она любила больше всего на свете. «Кажется, я пьяна»,— соображала Муся, стараясь следить за его словами: надо было вставлять ответные замечания. «Да, это необыкновенный коньяк, ведь я выпила всего две рюмки. А вот он хлещет коньяк как воду, и это очень мило! Он раньше сказал что-то неприятное, но я не помню что, и мне все равно: я люблю его...» — Это неверно... Налейте мне еще рюмку.

[1] Имя *(франц.)*.

— Вы догадываетесь, что я на громкую славу не рассчитываю,— продолжал Браун.— Да и не очень ее жажду. Книг, которые нравились бы очень многим людям, нет и быть не может; есть только книги, которых очень многие люди не смеют ругать. Этого писателю надо ждать довольно долго, мне не дождаться. Да о моей книге и говорить не станут: нет причины. Писатели и вообще завоевывают мир не тем лучшим, тонким или мудрым, что в них было, а тем, что, на придачу, было в них грубого, общедоступного, иногда пошлого. Гоголь был большой, очень большой писатель, но всероссийскую известность ему создало обличение взяточников.

— Ну, хорошо, не завоевывайте мира, так и быть,— сказала Муся, полузакрыв глаза, приложив руки к щекам.— Но... Я забыла, что я хотела сказать... Но ведь и вы эмигрант. На что же вы-то ориентируетесь? — опять шутливо подчеркнула она ученое слово, которое умным людям в разговоре упоминать не надо.

— Я? На Пэр-Лашэз.

— Полноте — вскрикнула Муся.— Мы все умрем, это достаточно известно, но ничего другого нам не предлагают. Что ж об этом говорить?

— Да я об этом и не говорю, вам послышалось.

— Увидите, сколько у вас еще будет хорошего в жизни!

— Принимаю к сведению. Но в общем с длиннотами была шутка, с длиннотами,— угрюмо сказал он, и опять что-то оперное, банальное показалось в его словах Мусе.— Я как престарелый Людовик XIV: «je ne suis plus amusable» [1],— простите сравнение, оно ведь условно... Жизнь груба... Ах, как груба жизнь! По высшей справедливости, я собственно должен впасть в гатизм [2]: слишком верил когда-то в разум. Значит, мне полагалось бы закончить дни кретином, так чтобы меня кормили с ложечки...

— Господи! Александр Михайлович, я терпеть не могу таких разговоров! — сказала Муся умоляющим голосом, совершенно так, как говорила ее мать, когда Семен Исидорович упоминал о старухе с косой. Она сразу проглотила всю рюмку коньяку. Голова у Муси закружилась. «Он все точно прицеливается... Ну, кто кого пересмотрит?..» — Браун внимательно в нее вгляделся и придвинул свое кресло к дивану. Муся слабо засмеялась и пыталась отодвинуться, но диван стоял у стены. «Григорий Иванович говорил: если вас, Мусенька, немного напоить, то с вами

---

[1] «Я больше никому не интересен» *(франц.)*.

[2] Слабоумие (франц. gâtisme).

любой предприимчивый человек может сделать что угодно...— вспомнила она.— Ну, это мы еще посмотрим! А впрочем...» — Вот что... Вы мне лучше расскажите, как вы тогда бежали из Петербурга.

Он разочарованно вздохнул, признав ее недостаточно пьяной, и налил еще коньяку в рюмки. Лицо его становилось все бледнее.

— Ничего не было интересного.

— Ну как не было? Ведь вы с Федосьевым бежали?

— Да, с Федосьевым.

— А правда, что он стал католическим монахом, чуть только не уходит в какую-то пещеру?

— Правда.

— Вы с ним после того встречались?

— Мы расстались тогда же в Стокгольме: он поехал в Берлин, а я в Париж. Сначала изредка переписывались, хотели даже встретиться, но не вышло. Ни Магомет к горе, ни гора к Магомету, разве встретятся когда-нибудь Магомет с горой на полдороге. У него или, вернее, для него одна правда, для меня другая... Для вас третья, для Вити четвертая. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. К сожалению, плачет оно почти всегда.

— Но как вы объясняете поступок Федосьева?

— Да ведь его правда из лучших... Но много было, вероятно, причин. Главная, быть может, та, что делать ему было решительно нечего. На юге России его не хотели. Не в эмигрантские же бирюльки играть. А он человек очень деятельный. Католическая церковь — большая сила, из церквей единственная или, во всяком случае, самая большая. Одна из главных в наше время сил порядка... Вдобавок, и жить ему было нечем.

— Нехорошо, Александр Михайлович, извините меня, нехорошо так говорить!

— Когда человеку чего-либо очень хочется, он ищет союзников где угодно. Генрих VIII, лишь бы законно развестись с осточертевшей ему женой, обратился за богословской консультацией к докторам синагоги. Людовик XI от страха смерти послал за каким-то амулетом к султану... Федосьеву и жизнь очень надоела, и смерти он, вероятно, боялся чрезвычайно. Вот он и нашел срединный выход. К тому же церковь сейчас — единственное не обезображенное место в мире. «Вдруг здесь спасение? Дай, ухвачусь...» Впрочем, не знаю, зачем он переменил веру, не знаю. Люди меняют религию по самым разным причинам, иногда даже по искреннему убеждению. Единственное, чему я никогда не поверю: будто Федосьев ушел в мона-

стырь *из-за угрызений совести*,— я от кого-то слышал и такое объяснение... Федосьев был слишком поэтический человек для своей должности, художественная натура в полиции. Что ж, и это возможно, в виде исключения из правила несовместимости: вот как женщина, какая-нибудь принцесса, может быть шефом полка и носить военный мундир... Таких других в их кругу не было... Не было в наше время, были прежде, когда-то. В самом его уходе есть нечто летописное — или хоть бессознательная подделка под это, как в «Князе Серебряном». Но почему католичество? Он, помнится, говорил мне, что мать его была полькой... А вам кто сказал, что Федосьев удалился в пещеру?

— Госпожа Фишер.— Браун вдруг изменился в лице.— Я хочу сказать, баронесса Стериан,— пояснила Муся.— Вы разве ее знаете?

— Нет. Кто это?

— Помните, перед самой революцией в Петербурге нашумело дело Фишера: не то он был убит, не то покончил с собой, я точно теперь уж и не помню, хоть мой покойный отец много нам рассказывал: он должен был выступать по этому делу. Но папа за столом всегда говорил о каких-то процессах, и у меня все в памяти спуталось... Так вот вдова этого Фишера вышла потом замуж за какого-то экзотического авантюриста, барона Стериана, не то теперь умершего, не то пропадающего неизвестно где.

— Какое же отношение она имеет к Федосьеву?

— Никакого, но она вообще все о всех знает. О Федосьеве ей, кажется, сообщили в комитете или посольстве.

Браун налил себе еще рюмку коньяку. Бутылка была опорожнена больше, чем наполовину.

— Ну, а что же означает: «я получил первое предостережение»? — спросила Муся.

— Это не ваше дело,— ответил Браун.

XXVI

Позднее, после самоубийства Брауна, когда почти все знавшие его люди говорили, что он, верно, был человек сумасшедший, Муся, в дурные минуты, со стыдом и ужасом думала, что в тот вечер он действовал по определенному плану, как мог бы действовать самый пошлый покоритель сердец: «Напоил меня, а потом, сыграв на пессимизме, *заговаривал*, как знахарь заговаривает больного, как факир заговаривает змею...» Этим объясняла Муся и то, что, вопреки своему обыкновению, он говорил с ней

о предметах серьезных, ей мало доступных и не слишком ее интересовавших. Замыслом покорителя сердец объясняла она и непристойно-циничный тон некоторых его замечаний.

Однако, в минуты лучшие, когда Муся вспоминала о Брауне иначе, ей казалось, что он в самом деле был увлечен, чуть только не влюблен в нее в тот вечер: «Перед смертью хотел взять у жизни и это. А говорил со мной,— да, как Мольер читал комедии своей кухарке, никого другого не было... Хотел хоть перед кем-нибудь все сказать...» По-разному объясняла Муся и слова Брауна о первом предупреждении: может быть, у него было легкое кровоизлияние в мозг,— не потому ли он упомянул и о гатизме?

То, о чем говорил в этот вечер Браун, вспоминалось Мусе смутно, многое в ее памяти и не сохранилось. Она помнила, что он долго говорил о политических делах,— прежде ему это не могло прийти в голову. Говорил, что мир впервые в истории, на свое несчастье, пришел в состояние приблизительного равновесия сил: число людей, стремящихся к сохранению установленного порядка, приблизительно равно числу тех, кто заинтересован в его падении. Половина человечества смотрит на то, как живет в свое удовольствие другая половина,— вот как мосье Прюдом водил свою жену voir manger les glaces [1]. Поэтому демократия, основанная на подсчете голосов, впервые стала нелепой формой правления. Все эти Бруты от станка и Прометеи из хедера — полуидиоты, но полуидиоты хитренькие, и в историческую точку они попали верно. Однако, появятся полуидиоты другие, не уступающие по хитрости этим, и человечество между полуидиотами разных толков будет метаться картинно и отвратительно, как мечутся, прижимаясь друг к другу, прокаженные в скверных фильмах из жизни Востока. История мира есть история зла и преступлений,— из них одна десятая остается нераскрытыми и восемь десятых безнаказанными. Уж и сейчас над большой частью культурного мира владычествуют разбойники, которым место на виселице или на каторге, и, хоть этого не было в Европе по меньшей мере лет двести, все же люди серьезно верят в прогресс,— самая нелепая из нелепых вер! Непрерывно ускоряется темп жизни,— в пору аэропланов поколение надо бы считать в пять лет,— и каждое из поколений поносит, высмеивает, позорит все, к чему стремилось поколение предыдущее. «Дети» составляют свое духовное добро из того, что считали отбросами «отцы»,— как духи готовятся из

---

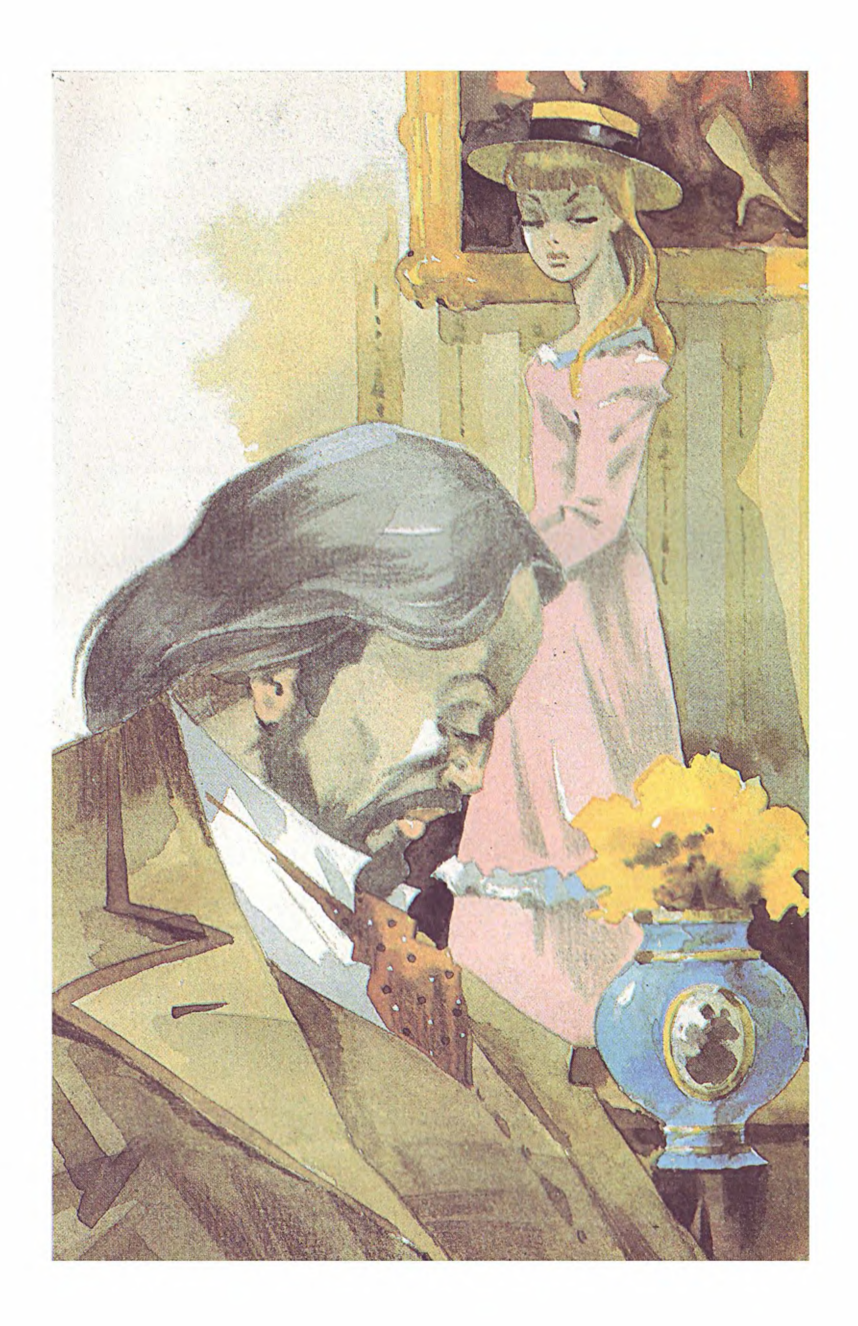
[1] Смотреть, как едят мороженое *(франц.)*.

дурно пахнущих веществ и на такие же вещества со временем разлагаются. Кризис отныне вечное состояние человечества. Может быть, и есть большая дорога истории, но Бог знает, куда она ведет, да и ведет ли вообще куда бы то ни было? Все умственные и моральные ценности будут распродаваться с молотка, за гроши,— и то покупателей не будет,— и правы были афиняне, что на всякий случай воздвигали в храме статую неведомому богу. Недолгое царство свободы кончилось: люди не уважают тех, кто обращается с ними не как с лакеями,— все народы сейчас находятся en état de liberté provisoire [1]. Народоправство стало именно «ненужностью» — и даже ненужностью не очень умной. Человечество само себя поделит, как на старинных картинах: посадит апостолов по одну сторону стола, Иуду — по другую. Один лагерь будет тщетно стараться дать своей красотой моральное оправдание другому. Вожаки, работающие под *великанов революции*, в душе себе цену знают, но от своих балаганных слов пьянеют и они сами. Ничего «дьявольского», ничего от «великого инквизитора», от всей той бутафории, которую им подкидывают враги, у них нет. Мелкий жулик прикидывается фанатиком, так как репутация фанатика чрезвычайно нравится жулику, да еще и полезна ему, ибо эта проклятая «дымка таинственности» действует на воображение балаганной публики; недаром в каждом чемпионате цирковой борьбы есть обязательно «Черная Маска»...

— Да, да! — говорила Муся со слезами в голосе, с восторгом и ужасом. Голова у нее кружилась все больше. Она уже не старалась вставлять свои замечания.

Потом он говорил о том, что есть люди, стремящиеся к абсолютному злу, как другие стремятся к абсолютному добру, и что этих жизнь обманывает так же, как и тех. Мудрые люди, ничего не найдя, придумали утешение себе и другим: главное-то счастье было, видите ли, в искании, в святом искании. Но это просто глупо. Единственный способ не быть обманутым: не ждать ровно ничего,— а всего лучше уйти, как только будут признаки, что пора,— уйти без всякой причины, просто потому, что гадко, скучно и надоело. «Примиренным» ли уйдешь или «непримиренным», это твое, никому не интересное, дело или, вернее, это пустые слова, так как мириться не с кем и не в чем, и не с кем было ссориться, и некому «почтительно возвращать билет»,— а было бы кому, то зачем же «почтительно»? почитать не за что. Если пришлось нам увидеть солнечный закат, лес, озера, прочесть Толстого и Де-

[1] В состоянии временной свободы (*франц.*).





карта, услышать Шопена и Бетховена — и потом всего этого навсегда лишиться,— то мы не можем даже, в маленькое утешение себе, назвать это злым, безнаказанным издевательством, ибо издевательства нет, и ничего нет, и «дьяволов водевиль» это тоже лишь метафора. Люди, на свое несчастье, постоянно принимают метафору за действительность, а действительность за метафору. Балансы же подводить незачем, но отчего и не сказать, что самое волнующее из всего была политика, самое ценное, самое разумное — наука, а самое лучшее, конечно,— иррациональное: музыка и любовь. Затем как-то неожиданно он перешел к Мусе, и она, с никогда еще не испытанным ею стыдом, со страхом, с жуткой радостью, признала, что говорит он о ней чистую правду, что он видит ее насквозь, со всеми чертами ее тщеславия, с ее бестолковой вечной игрой, с сокровенными особенностями ее чувств,— в них она сама себе отчета не отдавала. Потом он еще что-то упомянул о каких-то орбитах, которые могут и должны сойтись,— по-видимому, он уж больше не старался быть особенно тонким. «Орбиты — это значит отдаться ему, тут, сейчас»,— подумала еще Муся.— «Это вздор орбиты! — сказала она,— вот что, хотите, я вам сыграю...» — но на лице его ясно выразилось, что он совершенно этого не хочет.—...«Я сыграю вам вторую сонату Шопена...— Лицо Брауна дернулось.— Помните, я вам играла ее в Петербурге. Но теперь я совершенно иначе играю ее...» Она встала, шатаясь. Он положил папиросу в пепельницу.— «Я зимой слышала, как ее играет»...— Она еще успела прошептать и «что с вами!», и «оставьте меня!», и «нет, вы с ума сошли!» — он все это принимал, как должное,— как то, что ей и полагалось говорить. «Да, да... Вы глупенькая»,— бормотал он.

Потом она плакала. Он сидел в кресле с безжизненным лицом, ничего не говорил, и не слушал ее. Думал, что если она сейчас перейдет на ты и скажет: «любишь ли ты меня?», то ее надо бы тут же убить. Муся говорила, что никогда не была так счастлива, как сейчас, в своем падении.

— В чем падение? — с досадой спросил он и подумал, что слова «я пала» звучат у нее приблизительно так же неестественно, как какой-нибудь «Finis Poloniae» в устах раненого героя.

— Вы придете ко мне завтра?

— Да, разумеется... Или послезавтра... У меня завтра совершенно неотложные дела,— добавил он поспешно.— Но я постараюсь от них отделаться.

— Какие дела? Какие у вас вообще дела? Я все о вас хочу знать, все! Всю вашу жизнь!

Он вздохнул и поцеловал ей руку, повернув ее, для большей нежности, ладонью вверх.

— Я непременно все вам расскажу,— сказал он.— Непременно. Но не теперь.

XXVII

Профессор Ионгман совершил большое путешествие. Желая подготовить всемирный съезд невидимых, он сначала посетил германские земли. Но там дело не налаживалось. В Германии лилась кровь и царило огорчавшее профессора зло. О съезде никто не говорил и не слушал. Иные братья, правда, соглашались, что следовало бы как-нибудь собраться и сообща обсудить разные волнующие вопросы: о спасении мира от бед, о вращении солнца, о несерьезной и непристойной книге «Химическая свадьба Христиана Розенкрейца» и о том, что должно предшествовать при изготовлении философского камня — нигредо, альбедо или рубедо. Но говорили они это глядя в сторону, вполголоса, вскользь и весьма неохотно. Профессор с горьким чувством убеждался, что немецкие братья думают больше о том, как уцелеть, как не ввязаться в беду, как прокормить себя, жену и детей. Настоящей потребности в съезде не было и у лучших. Другие же слышать не хотели о розенкрейцерах, и даже начисто отрицали свою к ним принадлежность: «никогда невидимым не был, а если куда-то как-то меня затащили, то верно в пьяном виде, и я давно об этом и думать забыл, да и время теперь другое». В Кельне же один из братьев, прежде весьма усердный, интересовавшийся наукой, особенно увлекавшийся вопросом о превращении свинца в золото, в словах самых неприятных попросил профессора Ионгмана тотчас убраться подобру-поздорову. Все это весьма огорчало профессора, хоть он и писал бодрые письма братьям, которые остались верны заветам невидимых.

Весну он провел на водах, ибо чувствовал себя усталым. Но не отдохнул и не успокоился духом. Случилась в то время с профессором Ионгманом и неприятность: он вдруг очень потолстел. Сам было сначала не замечал, но шутливо сказал ему об этом владелец дома, где он жил, старый его знакомый и доброжелатель. Как на беду, хозяин собирал старые зеркала, стеклянные, серебряные, полированного камня, и они у него в доме находились везде: висели на стенах, стояли на высоких табуретах;

и даже, по древнему обычаю, вделаны были в блюда, чашки, бокалы. Профессор стал приглядываться: в самом деле, двойной подбородок! И с той поры зеркала с утра до ночи напоминали профессору Ионгману, что он обложился жиром, что появилось у него брюшко, что плешь стала самой настоящей лысиной. Ему казалось также, что молодые женщины на него больше и не смотрят. Это было неприятно. Хоть занимался он главным образом наукой, но иногда думал, что хорошо было бы родиться на свет Божий высоким, тонким человеком, геркулесовой силы и с огненным взором.

На водах застала профессора Ионгмана страшная весть о гибели Магдебурга. Много зла принесла людям эта война, но таких ужасов еще никогда не было. В городе погиб и Тобиас-Вильгельм Газенфусслейн, один из самых лучших людей и наиболее ревностных розенкрейцеров, встречавшихся в жизни профессору. Пытался он навести справки, но долго не мог ничего узнать. Лишь много позднее получил он от шведских братьев сообщение: несчастный Тобиас-Вильгельм Газенфусслейн действительно погиб. Случайно удалось выяснить, что зарезал его драгунский офицер Деверу; он же увел с собой, обесчестив ее, племянницу Газенфусслейна Эльзу-Анну-Марию; дальнейшая участь ее осталась неизвестной братьям; никто из них этой девушки не знал. Не знал ее и профессор Ионгман. Не одну ночь провел он без сна, думая о своем приятеле, об его еще более злосчастной племяннице и спрашивая себя, как допускает Провиденье столь вопиющие дела.

Между тем военные события шли; шведский король Густав-Адольф искал мщенья за Магдебург. Говорили, что война распространится по средней Европе. Профессору Ионгману нужно было побеседовать с итальянскими розенкрейцерами; он стал понемногу продвигаться на юг, останавливаясь, где следовало остановиться в интересах дела невидимых. Ничего худого с ним не случилось в его долгом, опасном путешествии.

В Риме профессор Ионгман оживился. Здесь было совершенно спокойно. Правил мудрый Урбан VIII, по счету 244-й папа, человек характера властного и твердого. Жизнь в городе была легкая, радостная и праздная. Профессору казалось даже, что никто здесь ничего не делает и что всех кормит и поит веселое итальянское солнце, поставляя, точно без человеческого труда, и хлеб, и вино, и фрукты, и масляные ягоды, и все земные плоды.

Невидимые встретили в Риме профессора любезно и приветливо, совсем не так, как немецкие братья. Мысль

о съезде они очень приветствовали, но находили, что лучше бы его отложить: съезд не убежит, торопиться некуда, вот зимой приедет брат Контарини, тогда обо всем можно будет поговорить как следует, а до того отчего же дорогому и знаменитому нидерландскому брату не пожить у них в Риме? Профессору Ионгману казалось, что эти братья недостаточно заняты серьезными розенкрейцерскими вопросами: правда, слушали они его как будто с интересом, но трепетного волнения у них не было, а без душевного жара ничто ценное создано быть не может. Немного странным ему казалось их отношение к съезду: как можно ждать чуть не целый год приезда брата Контарини! Однако он оценил чарующую любезность римских братьев. Вышло так, что после первой встречи разговаривал он с ними больше о посторонних предметах, чаще всего о предметах второстепенных и легковесных.

Говорили, впрочем, и о политике. Римские невидимые ворчали: народ коснеет в невежестве и в предрассудках, семья Барберини забрала слишком много силы, найдутся ведь семьи и не хуже, а папа стал так горд, что и подступиться к нему нельзя — una salda tenacità dei propri pensieri! [1] Кроме того, уж очень он тянет к Франции; кончится это дело еще, чего доброго, войной с императором. И хоть отчего же с проклятыми немцами при случае и не повоевать, все-таки политика эта неосторожная. Говорят ведь, что герцог Фридландский давно советовал императору двинуться походом на Рим: целое столетие не брал Рима приступом неприятель и будет, мол, чем поживиться,— Валленштейн же ни в Бога, ни в черта не верит; по слухам, предлагал он оттянуть от Польши казаков и двинуть в Италию это дикое, воинственное, свирепое племя.

Слухи такие действительно упорно ходили в Германии. Но в Риме профессору казалось, что никакой войны здесь не будет, никакие казаки не придут, а если и придут, то Рим поладит и с казаками, ибо и на них хватит того, что бесплатно дает итальянское солнце — самое свирепое племя, верно, здесь повеселеет и станет мирным. Ничто в Риме измениться не может, теперь правит 244-й папа, а будет и 1244-й.

Понемногу стали меняться и намерения профессора Ионгмана. Первоначально он предполагал пробыть в Италии месяца три, не более — желал обсудить с невидимыми план съезда, узнать, что делается в разных частях мира,— нигде этого не знали лучше, чем в Ватикане,— а затем

---

[1] Редкая твердость собственных мыслей (*итал.*).

отправиться в другие земли. Но теперь думал он, что уезжать ему некуда и незачем. Съезд очевидно надо было отложить. А жизнь здесь была необыкновенно приятная. Профессор Ионгман сам этому удивлялся: ведь свободы нет и народ коснеет в невежестве. Но уезжать от веселого солнца ему не хотелось, и пробыл он в Риме полтора года.

Как-то ученые люди показали ему Галилеевы стекла, при помощи которых сделал столько открытий престарелый философ герцога Тосканского. Чудо науки привело профессора в восторг. И тотчас у него всплыла мысль о давнем научном исследовании: учась в молодости в Германии (мать его была немка), он много занимался вопросом о том, какого пола звезды; теперь можно было довести это исследование до конца, пользуясь для наблюдений великим изобретением Галилея. Мысль эта увлекла профессора. К лету 1633 года он перебрался в Тиволи, пил целебную воду, от которой спадал жир и возвращались волосы, а все свободное время посвящал научным изысканиям.

Работа его подвигалась успешно: Галилеевы стекла очень ему помогли. Выяснилось, что большинство звезд — женского пола. С увлечением читал профессор вышедший незадолго до того труд мудрого философа: «Dialogo intorno ai due massimi sistemi del mondo» [1] и, хоть трудно было ему решить, кто именно прав: Сагредо или Симплицио, он все больше склонялся к мысли, что, верно, прав Сагредо и, как это ни странно, Земля вращается вокруг Солнца: очень бойко отвечали Сагредо и его друг Сальвиати на все доводы Симплицио, и такое имя было дано стороннику вращения Солнца вокруг Земли, что даже неловко было бы соглашаться с ним. Для выяснения же пола звезд Галилеев диалог дал профессору немного; однако кое-какие мысли он из диалога использовал.

Ученый труд его был почти закончен, когда пришло грустное известие: созданная в Риме чрезвычайная комиссия признала еретическими взгляды Галилея, философ должен был коленопреклоненно отречься от своей ереси. Известие это очень потрясло профессора Ионгмана. Он увидел в случившемся тяжкое оскорбление для ума и достоинства человека. Вдобавок при таком фанатизме властей легко могла быть признана опасной его собственная работа о поле звезд. Тиволи вдруг перестал нравиться профессору: слишком много тут развалин, и не так уж хороша вилла кардинала д'Эсте, и немало есть в природе зрелищ

[1] «Диалог о двух главных мировых системах» *(итал.)*.

прекраснее водопадов Тевероне. Воды же реки этой упорно отражали его фигуру. Веселое солнце больше не радовало профессора Ионгмана. При виде забытых могил людей, проживших жизнь шумную и славную, приходили ему в голову те мысли о бренности человеческого существования, которые всегда приходят в подобных случаях. Зачем так устроен мир, что разваливается и сам человек, и каменные дела его, и исчезает о нем память? Одна надежда, что какой-либо не родившийся еще розенкрейцер великого ума в самом деле составит эликсир жизни. Но удастся ли тогда воскресить уже умерших людей? И думая обо всех этих важных предметах, профессор Ионгман решил, что теперь, закончив свой ученый труд, он должен усердно заняться розенкрейцерской работой: съезд совершенно необходим, а созвать его можно будет только в свободных Нидерландах. С умилением и гордостью вспоминал профессор свою родину, где можно мыслить и печатать ученые труды спокойно, под защитой мощных бастионов Амстердама.

Он простился в Риме с друзьями. К его скорби, они отнеслись к осуждению Галилея почти равнодушно — для вида ворчали и бранили правительство, но тотчас переходили к другим, легкомысленным делам. Некоторые, по-видимому, и не знали об осуждении или на следующий день о нем позабыли. Косневший же в невежестве народ не слыхал и имени мудрого философа. Впрочем, римские невидимые соглашались с профессором Ионгманом в том, что так оставить дело нельзя: нужно созвать съезд, вот только приедет брат Контарини. На прощанье в честь профессора устроили большой обед, пили за его здоровье мускатное вино с Везувия, названное именем языческим, и в самых лестных речах желали успеха его ученому труду — предмета же этого труда профессор Ионгман римским невидимым не сообщил.

Затем профессор выехал в Париж для дальнейшей работы по созыву съезда. Но, к глубокому его изумлению, в Париже ни одного невидимого не оказалось. Люди, которые, по его сведениям, были розенкрейцерами, решительно ничего не понимали, когда он обращался к ним с условными словами. Он показывал золотую розу на синей ленте, они с любопытством ее рассматривали, но, видимо, совершенно не знали, что это такое и зачем им это показывают. Так ни разу он и не услышал: «Ave Frater» [1]. Когда же в обществе, где, по его мнению, должны были на-

---

[1] «Здравствуй, брат» *(лат.)*.

ходиться невидимые, профессор осторожно заводил речь о таинственном братстве, все весело хохотали: никаких невидимых на свете нет, это ерунда, скорее же всего выдумывают такие басни для своих целей изуверы и мошенники из «La Cabale» — общество, так именовавшееся, приобретало все большую силу и не было меры злу, которое им творилось. Не нашел в Париже профессор Ионгман и должного внимания к своему ученому труду. Услышав о женском поле звезд, одни ученые умолкали и поспешно отходили, другие трепали профессора по плечу, а то и по животу и с игривой улыбкой говорили слова, которые он понимал плохо, ибо не владел всеми тонкостями французского языка.

Здесь же узнал профессор, что какие-то темные люди убили в Эгере герцога Фридландского. Много воды утекло со времени Регенсбургского сейма; невидимые больше не возлагали особых надежд на Валленштейна. Все же со скорбью принял профессор это известие, ибо трудно человеку расстаться со старыми надеждами. В Париже об убийстве герцога говорили очень много, но путали все чрезвычайно. Фамилию же Валленштейна не мог ни правильно выговорить, ни правильно написать и сам кардинал Ришелье.

Не подвинув дела во Франции, профессор Ионгман вернулся на родину. В Соединенных провинциях он опять воспрянул духом. Подышал родным воздухом, повидал старых друзей, говорил свободно что хотел и о чем хотел — одно было неприятно: все изумлялись его полноте. Сделал он, разумеется, и доклад у невидимых. Как вождь и наставник опытный, профессор предостерегал братьев от уныния: говорил им, что положение в мире тяжелое, но для потери надежд нет никаких оснований: свет науки и благородная работа розенкрейцеров преодолеют все беды, косность, невежество и предрассудки.

Доклад профессора Ионгмана вызвал у невидимых большое внимание. Решено было еще усилить работу и попытаться привлечь в братство новых полезных и достойных уважения людей. Тут же распределили, кому с кем поговорить. Кто-то не без робости предложил: что, если снова побеседовать с Декартом? Обсудили и признали, что надежды мало, но отчего бы в самом деле не попробовать? К общему удовлетворению, попытку эту согласился сделать сам профессор Ионгман. Он сказал, что на днях встретил Декарта в печатной мастерской,— «там набирается мой новый труд,— застенчиво вставил он, все одобрительно кивали головами,— и Картезий звал меня погостить у него в замке...»

Декарт летом 1634 года снимал замок, расположенный часах в четырех езды от Амстердама. Профессор Йонгман выехал утром с расчетом, чтобы, не очень торопясь, попасть к обеду. Для поездки он нанял тележку без кучера — любил править лошадьми. В другой стране непременно потребовали бы залога за экипаж; здесь владельцу это и в голову не пришло, хоть он не знал профессора Йонгмана. По дороге профессор с гордостью думал, что живет в честнейшей стране. Еще приятнее было то, что путешествовать можно было совершенно безопасно. В Германии разбойники хозяйничали на миле расстояния от больших городов. Беспокойно было и на французских дорогах. Только в римской земле был порядок. И профессор в пути удивлялся: разный строй дает одни результаты — под властью папы Урбана VIII такое же спокойствие, как в свободных Нидерландах.

Большая часть дороги уже была позади. Но попался уютный постоялый двор, в стороне от пыльной дороги. Сбоку от домика был маленький сад, в нем стояли два стола с чистенькими клетчатыми скатертями. Профессор остановился, отдал слуге лошадь и спросил бутылку пива.

К постоялому двору подъехала богатая коляска. Из нее вышли господин с дамой, одетые весьма нарядно, не по-дорожному. Дама была совсем молода и очень хороша собой. Они сели за соседний стол. Профессор Йонгман оглядел их незаметно, точно смотрел мимо стола на крыльцо: знал светские правила и нескромным никогда не был. Дамой он полюбовался, ибо любил красивые женские лица. Спутник же дамы, сурового вида человек, в синем атласном плаще, при шпаге и кинжале, не понравился профессору Йонгману. Лицо этого человека показалось ему знакомым, но профессор не мог вспомнить, кто такой: по всему видно, военный. Знакомых же военных было у профессора Йонгмана не много.

Так как коляска была очень богатая, то к новым гостям, кроме слуги, вышла и сама хозяйка постоялого двора. Однако объясниться с нею гости не могли, они были иностранцы. Господин в синем плаще заговорил сначала по-французски,— видимо для важности, потому что говорил он на этом языке плохо,— затем перешел на немецкий язык, по-немецки заговорила и дама. Но хозяйка ни одного иностранного языка не знала и беспомощно оглянулась на профессора. Военный человек, видимо, начинал сердиться: что за постоялый двор! Профессор предложил свою помощь. Господин привстал и с легким поклоном сделал жест рукою. Заказал он целый обед, причем о ценах не спраши-

вал, и потребовал самого лучшего французского вина. Хозяйка почтительно доложила, что у нее есть красное горное вино из Шампани, и белое сладкое, и то, и другое очень хорошие. Еда же есть всякая: можно зарезать и курицу, если гости согласятся немного подождать? Оказалось, что гости не спешат. Дама все ахала и восторгалась: «Горное французское вино? Ах, как хорошо! Яичница? Ветчина с грибами? Курица? Ее любимые блюда! И какой милый садик!..» Говорила она безумолку, глядя нежно-восторженно на своего спутника. Профессор с легкой грустью догадался, что это молодожены: хоть занят он был высшими интересами науки и розенкрейцерских дел, все чаще сожалел, что не женился в ту пору, когда еще не было у него двойного подбородка и были волосы не хуже, чем у молодых людей.

Гостям принесли вино. Военный человек опять привстал, прикоснулся к стакану акульим зубом (чего в Нидерландах никогда не делали) и предложил профессору выпить с ними. Профессор Ионгман вежливо поблагодарил и, чтоб не остаться в долгу, велел принести три рюмки настоенной на травах голландской водки. Господин в синем плаще, видимо, не прочь был поболтать. Тут же рассказал, что он офицер имперской армии, родом ирландец и едет на побывку к себе на родину, после чего вернется в Вену, где ему обещан императором полк. Профессор сказал «Oh!» с почтительной интонацией, относившейся к имени императора и к высокому служебному положению собеседника. Но в душе,— хоть был вообще доверчив и плохо понимал, зачем люди лгут, когда гораздо проще и легче говорить правду,— немного усомнился, действительно ли ирландец имеет чин полковника: по возрасту это было вполне возможно, однако в облике ирландца было что-то грубое, неотесанное,— можно ли в имперской армии получить полковничий чин, не имея должного воспитания?

Вид ветчины с грибами пробудил аппетит у профессора Ионгмана. Он не знал в точности, когда именно обедает Декарт,— да еще кто его знает, как он угощает гостей? Профессор велел хозяйке принести другую порцию ветчины. Полковник ел и пил очень много и жадно. Голландская водка ему понравилась, но заказывать по рюмке было скучно: он велел подать целый графин и опорожнил его так быстро, что профессор Ионгман только дивился — эти военные люди! Дама тоже пила недурно, раскраснелась и весело хохотала при шутках Вальтера (так звала полковника); а когда в словах его ничего шутливого не было, приглашала профессора оценить их справедливость,— бы-

ла, видимо, чрезвычайно влюблена в мужа. Заметив, что профессор смотрит на ее колечко с изумрудом, сняла его с пальца и сообщила, что это подарок Вальтера: он в конце зимы получил большие деньги...

— Много ты врешь! — сказал пьяным голосом ирландец.— Помолчала бы, а то смотри!.. Помнишь, что было в среду?

Дама смущенно-весело засмеялась. Полковник пояснил профессору, что держит жену строго: слишком ее избаловали в детстве. Профессор Ионгман сочувственно спросил даму, откуда она родом. Узнав, что из Магдебурга, тяжело вздохнул. У него, сказал он, был в этом городе приятель, но погиб при тех ужасных событиях... Профессор хотел было узнать, не слыхали ли его собеседники о Газенфусслейне. Но не успел назвать имени своего приятеля: жена полковника побледнела и перевела разговор на другой предмет.

Так они побеседовали еще с полчаса. Профессор с интересом расспрашивал ирландца о последних событиях в германских землях: полезно было поговорить с человеком, который прямо оттуда прибыл. Полковник видел немало, но рассказывал пристрастно, точно совершенно забыв, что находится он все-таки в стране лютеранской. Так, на вопрос профессора, кто, по его мнению, победит, католики или лютеране, расхохотался и сказал, что тут и спрашивать нечего: разумеется, победят католики. Это замечание и особенно грубый смех полковника не понравились профессору Ионгману. Он заметил, что у них, в Соединенных провинциях, военные люди думают иначе. Правда, великого Густава-Адольфа больше нет в живых, но ведь и у императора нет другого Валленштейна. Жена полковника снова изменилась в лице. Полковник же расхохотался еще громче и заявил, что проклятый Валленштейн был изменник: он предался шведам, но, к счастью, Господь Бог покарал его вот этой рукою. При этих словах он, впрочем без всякой злобы, показал огромный и страшный кулак, почему-то засучив рукав шелкового кафтана.

Профессор Ионгман остолбенел: не мог понять, что это такое — если шутка, то какая глупая, если же правда...— но профессор и позднее не мог решить, что он должен был сделать, если правда: не звать же было полицию для ареста человека, который назвал себя убийцей герцога Фридландского.

К общему облегчению, в эту минуту к столу подошла хозяйка постоялого двора. Она с улыбкой попросила профессора Ионгмана перевести господину и даме ее почти-

тельную просьбу: ей было бы очень приятно, если б они согласились расписаться в книге для почетных гостей, с давних пор существующей в ее доме. Профессор так был рад концу неприятной беседы, что и не почувствовал обиды: расписаться хозяйка просила лишь полковника с женой, о нем же ничего не было сказано. Он перевел просьбу хозяйки, обращаясь, в знак протеста, преимущественно к жене полковника. Ирландец, видимо, был польщен, тотчас согласился и, в сопровождении хозяйки, направился к дому.

Жена проводила его счастливым взглядом. Затем объяснила профессору, что Вальтер, конечно, немного вспыльчив, но самый милый человек на свете. Грехи найдутся у всякого воина,— горячо сказала она,— на то они воины и мужчины. Сердце же у Вальтера золотое, и начальство очень его ценит. Вот и теперь в Вене он получил награду за службу, так что они стали богатые люди. Вальтер хочет купить имение в Ирландии, чтобы обеспечить себе покойную старость. Но она решительно против этого: до старости им еще очень далеко. Сейчас, правда, в Германии неспокойно, но не всегда же это будет так, зато все продается очень дешево. А в Богемии, где конфискованы земли разных изменников, можно купить отличнейшее имение совсем за бесценок, и хоть чехов она не очень любит, все же это не так далеко, как Ирландия. Вальтер все равно пока должен служить, ему и отпуск дан только на три месяца, гораздо было бы лучше на время отпуска уехать в Париж, где, все говорят, так весело, правда? Она, впрочем, надеется убедить Вальтера на обратном пути побывать во Франции, там можно будет заказать и платья. Правда, платья и в Вене хороши, она кое-что купила, но в Париже они еще лучше. А Вальтер, хоть иногда и горяч, в конце концов всегда ей уступает: такого любящего верного мужа нет, и это теперь надо особенно ценить, и немало денег он истратил на подарки ей из тех сорока тысяч, что они недавно получили... Тут жена полковника смутилась: ей не велено было говорить о сорока тысячах.

Профессор Ионгман угрюмо мычал. Очевидно, сомневаться не приходилось: он только что дружелюбно пил вино с убийцей Альбрехта Валленштейна. Убийца же, ясное дело, ни малейших угрызений совести не испытывал; был весел, спокоен, счастлив. И странные мысли встревожили душу профессора. За ними не расслышал он вопроса дамы. Ей хотелось знать, к какому ювелиру в Амстердаме обратиться: Вальтер в свое время подарил ей одну золотую штучку, теперь в Вене он купил еще три отличных больших бриллианта: хорошо было бы ими украсить первый по-

дарок Вальтера. А то без драгоценных камней роза не имеет должного вида, не правда ли? С этими словами достала она из сумки золотую розу на синей ленте. Свет погас в глазах профессора Ионгмана: перед ним была священная эмблема невидимых! И в ту же минуту он с ужасом вспомнил: этого убийцу он видел когда-то в Регенсбурге, в доме почтенного врача Майера!

Профессор Ионгман побагровел. Выпучив глаза, он с минуту в упор глядел на удивленную даму, встал, снова сел, затем сорвался с места и, мимо возвращавшегося к столу полковника, почти бегом прошел в дом. Потребовав счет, он заглянул в лежавшую на столе открытую книгу почетных гостей. Там по-немецки было написано: «Вальтер Деверу, полковник службы Его Императорского Величества, с женой Эльзой-Анной-Марией».

Лакей с изумлением и беспокойством смотрел на профессора Ионгмана, пока тот расплачивался по счету. Профессор был смертельно бледен, руки его дрожали. С ужасом оглянувшись в сторону сада, он поспешно сел в свою тележку и, расправив вожжи, сильно хлестнул кнутом по лошади, чего никогда не делал, ибо был очень добр и в отношении животных.

XXVIII

Елена Федоровна вполголоса что-то рассказывала Нещеретову. Вид у нее был оживленно-радостный, не очень шедший к дому, в котором недавно произошло несчастье. Впрочем, хозяев в гостиной не было. Нещеретов молча, хмурым взглядом, смотрел на баронессу. «Да вот они в Петербурге были в близких отношениях. Мама до сих пор в душе не может ей простить, что она его у меня *отбила*,— подумала, входя, Муся.— Были близки, а теперь просто разговаривают, как добрые знакомые, и ничего. У *этих* все просто: сошлись, разошлись...»

Елена Федоровна, здороваясь, подозрительно на нее взглянула. Нещеретов поцеловал руку. Он то целовал при встречах руку Мусе, то не целовал. «Сегодня милостив... Что-то нужно у них спросить...— Муся будто все не могла понять, почему она здесь, у чужих людей, а он где-то в другом месте.— Ах, да, Жюльетт...»

— Как сегодня? — негромко спросила она. Несмотря на выздоровление Жюльетт, в квартире Георгеску еще разговаривали вполголоса и ходили на цыпочках.

— Слава Богу! Дай Бог всякому! — саркастически сказала баронесса.

Нещеретов на нее покосился. К удивлению Муси, он принял близкое участие в горе этой румынской семьи, с которой его связывали лишь деловые отношения, да и то не очень хорошие (Муся слышала о каких-то денежных неприятностях между ними и Леони). Аркадий Николаевич навещал Георгеску раза два-три в неделю и часто привозил больной цветы. К Жюльетт еще никого не пускали.

— Температура тридцать шесть и семь,— сказал он Мусе.

— Не во рту,— пояснила Елена Федоровна.— Ерунда! Зачем только изводят на него деньги? — добавила она, показывая пренебрежительным кивком на соседнюю комнату, откуда доносился негромкий разговор. Муся сообразила, что там Леони совещается с врачом.

— Сказал: везти барышню на юг,— пояснил Нещеретов с легким вздохом.

— На юг,— автоматически повторила Муся. Елена Федоровна опять бросила на нее подозрительный взгляд. «Что он сказал? Да, Жюльетт везут на юг. Бедная девочка! Но мне все равно. Люди, кроме него, больше для меня не существуют. Князь убит, быть может, я никогда не увижу Витю, Сонечку, Григория Ивановича, и, хоть это стыдно, но мне совершенно все равно!..» — Почему же именно на юг?

— Если б велели на север, вы спросили бы, моя милая, почему именно на север,— сказала баронесса и засмеялась, оглянувшись на Аркадия Николаевича. Он не улыбнулся и стал подробно объяснять Мусе, почему Жюльетт везут на Ривьеру. Муся вспомнила, что Нещеретов и сам больной человек. «Этим, верно, и объясняется его участие: масонство больных людей... Он сказал: «Я получил первое предупреждение»... Что же это значит? Нет, не надо думать об этом. Она смотрит на меня... Лишь бы не догадалась. Впрочем, не все ли равно. Она опасная женщина и почему-то опять меня ненавидит. Но повредить мне у него она не может никак. Он просто не замечает таких людей, как она. Почему он заметил *меня*? Он меня любит! В самом деле, как беден наш язык! Ведь о Вите я сказала бы то же самое. Он и сказал: «кажется, вы смешиваете меня с Витей». Витя пропал, но что ж я буду от себя скрывать? Да, мне это безразлично и то, что будет с мамой, с Вивианом, со всеми. Вся моя жизнь была до сих пор сплошное недоразумение... Он все-таки не мог не чувствовать, что это «или послезавтра» оскорбительно... Но пусть делает со мной, что хочет!..» — Муся перевела дыханье.— «Надо говорить с ними. О чем?..»

— Как же ваш кинематограф, Аркадий Николаевич?

— Ничего. Жаловаться грех,— кратко ответил Нещеретов.

Жаловаться в самом деле никак не приходилось. Фильм, придуманный дон Педро и осуществленный с необыкновенной быстротой, имел огромный успех. В кинематографических кругах об Альфреде Исаевиче теперь говорили, как о человеке гениальном. Какие-то люди приезжали к нему из разных стран, почтительно вели с ним переговоры, просили его о совете. Он снисходительно-любезно говорил с ними, в советах никому не отказывал, а кое с кем вел секретные переговоры о новых своих замыслах, вскользь разъясняя, что по сравнению с ними его первый фильм — ничего, так, проба пера. Впечатление от новых замыслов было сильнейшее. Альфред Исаевич получил из Соединенных Штатов несколько блестящих предложений, уже мог считаться состоятельным человеком и несомненно находился на пути к настоящему богатству. За обедом, выпив рюмку водки, дон Педро теперь долго говорил о себе, сообщал разные сведения из своей биографии и неизменно возвращался к ней, к своим планам, когда его собеседники с раздражением переводили разговор на другой предмет; он переживал карьерную молодость. Планы у него постоянно менялись, но все отличались грандиозным размахом. Альфред Исаевич собирался съездить в Америку для переговоров с миллиардерами — миллионеры его больше не интересовали,— он сокрушался, что все еще не знает ни Ротшильдов, ни Шиффа,— как Коперник на смертном одре выражал скорбь, что не пришлось ему увидеть Меркурий. Нещеретов все не мог прийти в себя от изумления: так ему было трудно привыкнуть к мысли, что дон Педро оказался гениальным человеком. Однако результаты были налицо. Иногда, слушая разговоры Альфреда Исаевича с деловыми людьми, Нещеретов и сам ловил себя на мысли: «А кто ж его знает: может быть, и вправду в этом газетчике что-то есть?»

На его собственную долю от успеха дела выпадали гроши или, по крайней мере, суммы, казавшиеся ему грошами. Он понимал, что в свои новые предприятия дон Педро его не позовет, разве на какую-нибудь третьестепенную роль. Другие же дела Нещеретова, начатые им на вывезенные из России деньги, кончились плачевно: он все потерял. Это было, по его мнению, естественно: наживать деньги легче всего, если не иметь в них нужды. Были у него и долги, особенно его угнетавшие. Нещеретов отлично знал, что в пору войны, когда только начинало теряться реальное

представление о деньгах и о богатстве, в калифорнизирующемся Петербурге 1916 года, люди, которых молва называла несметными богачами, были кругом в долгу,— дела их были совершенно запутаны. Если б не большевистская революция, они так же легко могли очутиться на скамье подсудимых, как стать богачами и в самом деле,— некоторым большевики прямо оказали услугу, утопив их неизбежный крах в общенациональной катастрофе. Но тогда все искупалось огромными цифрами. Нещеретов в конце 1916 года исчислял свои долги в 60 миллионов рублей, а актив приблизительно в 100 миллионов. Правда, в случае того, что на деловом языке называлось неудачной конъюнктурой, отношение актива и пассива могло оказаться обратным; однако в 1916 году немногие в Петербурге думали о неудачной конъюнктуре. Как бы то ни было, счет велся на десятки, если не на сотни, миллионов. Теперь Нещеретову приходилось брать взаймы, с поручительством, по 15 — 20 тысяч франков, и для уплаты в срок по этим неприличным векселям надо было напрягать изобретательность. Он чувствовал, что теперь только волосок отделяет его от зачисления в разряд мелких биржевых дельцов. Многие как будто уж и не верили, что в России он ворочал десятками миллионов. Да и все вообще смотрели на него, как на человека, состоящего при Альфреде Исаевиче. Так, Шумана, который был женат на популярной пианистке, ее невежественные поклонники иногда снисходительно спрашивали, интересуется ли он *тоже* музыкой.

В первые месяцы после бегства Нещеретова из России разные знакомые, под предлогом политического разговора, старались узнать его мнение: какие бы ценности купить, время ли продавать те или иные акции, стоит ли начинать за границей дела. В былые времена он находил, что расспрашивать его о таких предметах неприлично, как неприлично в гостиной, при случайной встрече с знаменитым врачом, стараться получить у него указания о лечении: на то есть консультации за плату в приемные часы. Но за границей это льстило Нещеретову, и он никому в советах не отказывал. Теперь его мнением, по-видимому, никто больше и не интересовался. «Если вернутся деньги, все опять бросятся ко мне в переднюю и будут лебезить, ни для чего, просто так, потому миллионер; да, все, даже те, которые считаются *чистенькими*. А если чистеньким швырнуть куш на их *общественные дела*, то они и спрашивать не будут, откуда деньги, какие деньги, хоть бы я большевикам продался, дают, ну и бери»,— думал он иногда со злобной радостью. Но порою приходили ему и другие

мысли: не стоило отдавать деньгам всю жизнь, и не было ни гениальности, ни даже простой заслуги в создании богатства,— вот ведь теперь, в более трудных условиях, чем в России, он все потерял, а гениальным человеком оказался дурак дон Педро. В подобные минуты Нещеретов, случалось, нищим на улицах давал двадцать, пятьдесят, сто франков,— то, что попадалось под руку.

— Жаловаться грех,— повторил он со вздохом.

— Во всяком случае, вы дали возможность жить большому числу людей. Я знаю, вы и помогаете очень многим,— сказала Муся, вспомнив, что дон Педро говорил о благотворительных делах Аркадия Николаевича. У нее не было оснований говорить любезности Нещеретову. Эти слова были видимо ему приятны. «Он *был* враг. А теперь?» — устало спросила она себя. Несмотря на то, что люди были безразличны Мусе, ей страшно было иметь врагов. «Так все мелко, то, из-за чего мы волновались, спорили, ссорились, и так ясно это чувствуешь, когда случается большое, настоящее. Счастье? Катастрофа? Это чувство дают и катастрофа, и счастье, и вино, да, вино... Вот после шампанского, я помню, наступает такая минута, когда хочется всем говорить приятные вещи. И может быть, *настоящее* в жизни только и были эти редкие полупьяные минуты... Я не знаю, счастлива ли я... нет, не знаю. Знаю только, что случилась не глупая пошлая авантюра, а что-то большое, очень большое, смявшее мою жизнь. Но почему же я здесь и говорю вот с ним...» Она встретила удивленный взгляд Нещеретова и поспешно сказала: — Мне дон Педро говорил, что вы и здесь многим помогаете. О ваших пожертвованиях в России я и не упоминаю.

— Уж будто многим!

Нещеретов сконфузился именно так, как хорошим людям полагается конфузиться, когда при них говорят об их добрых делах. Его в самом деле теперь трогали и даже умиляли всякая похвала, всякое упоминание о том, чем он был в Петербурге.

— Слишком часто приходится отказывать,— пояснил он.— И всегда тяжело смотреть в глаза человеку, когда ему говоришь явную неправду: «извините, у меня нет».

— Какая же это неправда? На всех не хватит, а ведь вы теперь и в самом деле небогаты,— сказала Муся. В Петербурге такие слова прозвучали бы для Нещеретова худшим оскорблением.

— Небогат, но состою при богатом деле. Я начинаю понимать своих прежних артельщиков: они получали гро-

ши, а в кассе вечно отсчитывали десятки и сотни тысяч... Это создает особую психологию...— Он засмеялся.— А вот я сам не могу отделаться от психологии богатого человека. Недавно на вокзале носильщик меня спросил, какого класса взять билет. И мне стыдно было ему сказать: «третьего», хоть ведь он-то совсем бедняк.

Муся не усвоила его слов, но тоже засмеялась. «Да, может быть, я ошибалась в нем. Мне его тон действовал на нервы, он из тех, что при встрече спрашивают: «как *живем?*..» Но и у него ведь этот тон, верно, напускной, как *был* напускной у меня,— естественных людей так мало. А в общем, все со всячинкой, и даже плохенькие люди много лучше, чем мы о них думаем. Да где же те, кого все признают хорошими? Ведь даже *он*...» — Муся вдруг почувствовала большую усталость.— Что ж мы все стоим? — сказала она и села в кресло. «Если б я была счастлива, то, во-первых, я об этом с собой не рассуждала бы, а, во-вторых, мне полагалось бы всех людей находить милыми, добрыми, хорошими. Я и настраиваю себя на это... В сущности, во мне теперь говорит страх, тот самый «буржуазный страх», о котором мы так много спорили в Петербурге, наследственность от мамы, от поколений рассудительных честных женщин, которые своим мужьям не изменяли. Но ведь у нас было решено, что все это,— верность, измена,— пустые слова. Это во времена Анны Карениной люди еще серьезно ужасались *адюльтеру*,— и это слово какое глупое и гадкое,— вздрогнув, подумала Муся.— Теперь так смотрят на вещи только провинциалки и уроды! Тысячи женщин делают то, что сделала я, и не считают себя *погибшими* (тоже отвратительное слово!) и, верно, не копаются в своей душе, и счастливы... А если будет худо, то что ж, за все надо платить, и не я ли мечтала взять от жизни все, что она может дать?.. Надо поддерживать разговор, следить за каждым словом, держать себя в руках. Лучше было не приходить сюда. Но я не могла остаться одна, дома... Поехать к нему? Нет, это страшно: страшно то, *как* он может принять меня... Что ж мне от себя скрывать: он жуткий человек, глаза у него пустые и сумасшедшие. Но я люблю его. Мне это и было нужно, а мне судьба послала спортсмена-англичанина! Я знаю, теперь моя жизнь будет полна слез и горя, но только это и есть счастье: любовь, исполненная тревоги и слез... До сих пор у меня не было ничего, кроме тщеславия, притворства, игры в какую-то элегантную жизнь,— да, он совершенно прав, но я не думала, что и ему это может быть видно! Я и сама этого не замечала, даже в свои минуты «самоанали-

за»: была ломающаяся капризная петербургская барышня с мечтами то грязными, то просто глупыми и смешными, вероятно, со стороны довольно противная, вдобавок чрезвычайно требовательная и строгая к другим: это не хорошо, то не хорошо, этот глуп, тот не изящен, этот скучен... У меня, впрочем, взгляды, настроения менялись каждые полчаса... Я жила так же, теми же интересами, что и эта авантюристка, обменивалась с ней колкостями. Да она и в самом деле нисколько не хуже, чем *была* я, только что она злая,— да и то не всегда злая,— я сама вызывала в ней к себе злые чувства нарочно: мне это было забавно. А он, Нещеретов, быть может, просто хороший и несчастный человек, прикидывающийся циником, как я прикидывалась изысканной натурой... Да и важно ли это? не все ли равно, кто подлец, кто ангел! Только *то* важно...» Муся тупым взглядом смотрела на Нещеретова, на Елену Федоровну, они теперь были заняты своим разговором. «Да, все в таком же тумане, никто ничего не знает, и спорить не о чем, и правда, ничего нет, кроме этих полупьяных минут,— пьяных от вина, от морфия, от любви, все равно!»

В передней стукнула дверь. Леони показалась в гостиной и сухо поздоровалась с Мусей. У нее, со времени несчастья с дочерью, вид был особенно гордый и холодный.

— Все благополучно? Температура нормальная?

— Да. Благодарю вас.

— Значит, я сегодня могу зайти к ней? Вы сказали, что сегодня можно будет.

— Да,— нехотя подтвердила Леони.— Но прошу вас оставаться у нее недолго, она еще очень слаба... Я скажу ей.

Госпожа Георгеску вышла в столовую.

«Сейчас идти к Жюльетт, говорить с ней! — с ужасом подумала Муся.— Спрашивать ее о здоровьи, о температуре, рассказывать о Вите, хоть мне нет дела ни до нее, ни даже до Вити! Леони на меня сердится, эта ненавидит меня так, что и скрыть не может, мне все равно, лишь бы только они оставили нас в покое. Но куда же деться? Вернуться в гостиницу, потом вечер, ночь. У меня нервы напряжены так, как у преступника после убийства, я не засну, буду думать все об одном, о чем лучше не думать вовсе... Но разве я виновата, что родилась с низким рассудочным темпераментом? Ну, дойдет до Вивиана, будет скандал, развод, мама сгорит от стыда за меня, какое это может иметь значение! Через все надо пройти! А он, как он будет без стыда смотреть в глаза своему другу Вивиа-

ну?..» Она почувствовала, что Браун будет смотреть в глаза Вивиану вполне равнодушно, и эта мысль не была гадка Мусе. Внезапно ей послышалось его имя. Она изменилась в лице.

— ...Да уж вы мне поверьте: никакой он не псих, а просто глупый человек, ученый дурак,— говорила баронесса.— Кто-то мне говорил, что он масон. Но хоть и масон, а дурак.

— Это неверно. Не дурак, но заговариваться стал малый: сам с собой все больше разговаривает, господин профессор. У него, я слышал, тяжелая наследственность.

— Ну, и Бог с ним. Мой покойный муж был с ним хорошо знаком,— сказала Елена Федоровна и тяжело вздохнула. Несмотря на свой второй брак, она иногда впадала в тон неутешной вдовы.— Кого же вы видели из петербуржцев? Они впрочем теперь все хлынули на Ривьеру, видно по старой памяти. Странно, что люди не отдают себе отчета в положении...

«Какая еще тяжелая наследственность? Что такое? — тревожно спросила себя Муся.— Или она нарочно заговорила о нем при мне? Значит, ей известно?..» Муся сообразила, что это невозможно.— «Но разве она его знает? Кажется, я с ней о нем говорила прежде... Но ведь он сам мне сказал, что не знает ее. Мне показалось даже, будто его что-то тогда задело... Что же это? Почему тяжелая наследственность? Все он врет, конечно! Нет, я в нем не ошибалась: злой пошляк! Надо спросить, но незаметно...»

— ...Нет, главное в жизни все-таки деньги. И даже не главное, а все, дорогой мой, все.

— Вот и он ведь как был богат, а теперь прямо голодает,— говорил о ком-то Нещеретов. Муся не сразу поняла, что говорят не о Брауне.

— Не очень тоже верьте. Их послушать: все были богаты, а от голода здесь еще никто не умер.

— Скоро начнут.

— Тогда и будем говорить,— победоносно ответила Елена Федоровна и просияла. В комнату вошел Мишель, в пальто, со шляпой и перчатками в руках. Он поздоровался с Мусей еще холоднее, чем его мать. У него вид вообще теперь был особенно сухой, почти злобный.

— Куда вы, Мишель? — восторженно спросила Елена Федоровна.

— Надо кое-что купить,— ответил он. Его послала мать в аптеку за новым лекарством для Жюльетт. Нещеретов заговорил с ним о политических новостях. Елена Федоровна смотрела на молодого человека с обожанием.

«Эта не меняется. Нашла свой идеал мужчины. А он принимает ее любовь, как должное, но без восторга, il se laisse aimer [1],— подумала, приходя в себя Муся.— Но у них равенство: они стоят друг друга. А у меня! Я отлично знаю, кто я перед ним! Но все-таки, как он мог сказать: «или послезавтра»?..»

— ...Так вы думаете, что избрание Клемансо президентом обеспечено?

— Совершенно обеспечено.

— Какой удар для социалистов!

— Надеюсь, он свернет им шею! — сказал Мишель и в голосе его прорвалось бешенство. Муся удивленно на него взглянула. «Ах, да, Серизье!.. Вот за что, быть может, со временем заплатят румынские социалисты...» Мишель сухо поклонился и вышел.

— Ну, можно опять говорить по-русски,— сказала Елена Федоровна.— Так вы говорите, президентом республики будет Клемансо? А вы знаете, Аркадий Николаевич, что ваш Федосьев стал католическим монахом и удалился в какую-то пещеру?

— Я тоже что-то такое слышал. Мне давно говорили, что он впал в мистицизм. Но не мистический был мужчина.

На пороге появилась Леони.

— Жюльетт просит вас к себе. Только, пожалуйста, не утомите ее.

— От меня нижайший поклон.

— Она чрезвычайно вас благодарит за чудные цветы.

— Мадам сегодня, видите ли, в лунатическом состоянии. У нас столько поэзии! — сказала Елена Федоровна вполголоса, когда Муся вышла.

XXIX

Скрыть все дело от людей оказалось невозможно: сейчас же узнала консьержка, узнали аптекарь, домашний доктор,— было достаточно ясно, что знать будут все, кому только это может быть интересно. Жюльетт думала, что знает и Серизье, и в первые дни с ужасом ждала: что если он приедет с визитом,— так после поединка победитель оставляет визитную карточку в доме раненого. Серизье не приезжал,— это, очевидно, означало, что ее поступок не произвел на него никакого впечатления: напротив, он, наверное, очень польщен и *грустно* рассказывает об этом прия-

---

[1] Позволяет себя любить *(франц.)*.

телям, которые в кофейне посмеиваются и над *бедной девочкой,* и над ее sacré Cerisier qui n'en fait jamais d'autres [1].

Перед матерью и братом было особенно стыдно. Для других в ее поступке все-таки были и героизм и романтика (это полусознательное ощущение только и поддерживало Жюльетт). Но мать, а тем более брат, она знала, ни в каких ее поступках романтику оценить не могли. Когда они входили в комнату, Жюльетт обычно притворялась спящей или просто отворачивалась к стене (днем никогда не плакала, отводя душу ночью). Она ни разу ни единым словом не обмолвилась с ними о том, что произошло. Мишель был с сестрой так внимателен и деликатен, как никогда до того не был. Он мало выходил и большую часть дня проводил за работой у себя в комнате. Однако его участие, она чувствовала, сводилось к оскорбленной семейной гордости. Жюльетт была уверена, что брат ее презирает,— больше всего за то, что она осрамила семью. «И он прав, разумеется...» Все другие люди были настоящие враги, особенно те, которые приезжали с визитом и участливо расспрашивали об ее здоровьи. Единственное спасение от них было: прикидываться тяжело больной и никого не принимать.

Когда мать в первый раз ей сказала, что Муся хотела бы повидать ее, Жюльетт ответила решительным отказом. Она не думала, что Муся имеет отношение к ее несчастью. Но мысль о ней была неприятна Жюльетт, как разорившемуся человеку неприятно думать о богачах.

— Я слишком устала, мама, я не могу разговаривать с чужими людьми.

— Как хочешь, милая,— поспешно сказала госпожа Георгеску. Она тотчас насторожилась: уж не связана ли Муся с делом? Госпожа Георгеску страстно любила детей: Мишеля с легким оттенком пренебрежения, Жюльетт — без этого оттенка. Отчаянный поступок дочери поверг ее в совершенный ужас, она ничего не понимала: в ее время *жили* гораздо больше (у нее у самой молодость была довольно бурная), но никто с собой не кончал. То объяснение, что после войны пошли какие-то новые люди, в особенности новая молодежь, в обществе еще придумано не было.— Как хочешь, милая, но если кого принять, то, помоему, все-таки ее: она приезжала чуть ли не каждый день и справлялась по телефону постоянно.

— Хорошо, я приму ее, но не теперь, а позднее.

— Разумеется, моя милая, когда ты захочешь...

Потом Жюльетт подумала, что Муся объяснит ревно-

---

[1] Проклятый Серизье, который и не на то еще способен *(франц.)*

стью ее уклонение от встречи. «Да я и в самом деле ревновала, до того разговора на берегу моря...» Дня через два после того Жюльетт попросила мать сказать *госпоже Клервилль*, что будет рада ее видеть.

Она встретила Мусю приготовленной заранее ласковой, болезненной улыбкой и поздоровалась особенно слабым голосом,— этой слабостью Жюльетт инстинктивно защищалась от интимной беседы: хотела на свою слабость скоро и сослаться, чтобы положить конец разговору.

В комнате стоял легкий приятный запах одеколона и лавровишневых капель. Муся и совсем пришла в себя. Исхудавшее матово-бледное лицо, болезненный вид, блестящие измученные глаза Жюльетт поразили Мусю. Она быстрыми шагами подошла к постели больной и горячо ее поцеловала. Обе подготовили слова, с которых надо начать разговор, и обе этих слов не сказали.

— ...Можно сесть к вам на постель? Я так рада вас видеть!...

— Я тоже...

Обеим стало легче. «Нет, она не враг,— подумала Жюльетт,— и, может быть, в самом деле есть искренние друзья...»

— ...Но вы знаете, это вам идет. Вы прямо помолодели, а ведь вам это начинало быть нужным,— правда? Нет, я вас давно такой хорошенькой не видела! Это фарфоровое лицо! — смеясь, говорила Муся, твердо зная, что такие слова и на смертном одре радуют и утешают женщин.— Но как вы себя чувствуете?

Она говорила так, точно болезнь Жюльетт была совершенно естественной, именно этот тон облегчил их встречу. Жюльетт отвечала слабым голосом, больше потому, что так сказала первые слова. Но разговор уже ее не пугал: конечно, перед ней был не враг. «Да, она тут ни при чем... И мне не тяжело видеть ее...» Чтобы дать себе передышку, она спросила о Вите.

— Я была так поражена, когда мне это сообщили. Но он хорошо сделал.

— Господи! Почему хорошо? Что вы говорите, моя милая?

— Это был его долг.

— Ах, это был его долг! Я и забыла. Но если его убьют?

— Будь он тремя-четырьмя годами старше, его взяли бы на ту войну, как миллионы других молодых людей.

— Нет, эта железная логика! Я узнаю свою Жюльетт! — сказала Муся и вспомнила, что то же самое говорил

когда-то Браун. Теперь мысль о Брауне была менее страшной.— Вивиан тоже мне было пояснил, что это был долг Вити. Я так на него прикрикнула, что он больше не настаивал. А вам я бы уши надрала, если б вы не были больны. Я просто ночей не сплю из-за этого поступка, а вы говорите, что он хорошо сделал!

— Меня однако удивила странная форма... Почему надо было бежать тайком от всех? У вас есть догадки?

— Никаких. Кроме той, что я никогда его не пустила бы.

— Этого, быть может, достаточно. Он ведь был в вас влюблен.

— И вы! Разве это было так заметно?

— Очень заметно... А почему: «и вы»?

— Нет, я так.

Муся покраснела. Жюльетт внимательно смотрела на нее. Муся вдруг почувствовала, что теперь можно перейти к Серизье: Жюльетт не оскорбится.

— Из-за чего вы отравились, глупая Жюльетт? — спросила Муся, кладя ей руку на плечо и смягчая мягким тоном и слово «глупая», и самый вопрос. Инстинкт ей подсказал, что лучше принять такой тон, будто речь идет о милой детской шутке. Жюльетт не оскорбилась. За пять минут до того ей в голову не могло прийти, что она может хоть одно слово сказать о случившемся с ней кому бы то ни было, а особенно Мусе. Теперь она принялась рассказывать и рассказала все, почти без утайки, почти без смягчений и прикрас.

Муся слушала разинув рот. Смелость, решительность этой девочки, ее откровенный, чуть только не бесстыдный и одновременно трогательный рассказ поразили Мусю — даже теперь, после случившегося с ней самой. В поступке Жюльетт было то, что Муся теоретически больше всего ценила в людях и чего в жизни она сама была почти лишена. «Ведь это для нас, женщин, заменяет войну, дуэли, авантюры, все, что так скрашивает жизнь мужчин, *настоящих*, и так украшает их... Но эта девочка — и Серизье, пожилой, плешивый, с брюшком! Право, в этом есть нечто патологическое. Мне он никогда не нравился,— совершенно искренно сказала себе Муся.— Браун тоже гораздо старше меня. Мы с ним вместе состаримся, и в этом тоже будет счастье: другое, тихое... Нет, что же тут сравнивать...» Душу Муси переполняла радость (это надо было тщательно скрывать): ей было очень жаль Жюльетт, но чувство жалости вытеснялось в Мусе тем, что соб-

ственный ее поступок и ее положение так выигрывали от сравнения. «Ведь если говорить о грехе (хоть это и глупо), то ее грех настолько постыдней! У меня *он* взял инициативу, и только мужчина может это сделать. Пойти к нему прямо, откровенно *предлагаться* я никогда, никогда не посмела бы. Бедная, милая Жюльетт, насколько ей хуже, чем мне!.. Она не видела, чего он требует от любви: как можно больше свободного времени и как можно меньше неприятностей... У него от ее визита останется приятное воспоминание... Как от обеда у Ларю... Все-таки как у Ларю...» Муся сразу стала прежней,— такой же, какой была два дня тому назад. Она слушала, старательно поддерживая на лице улыбку, которая приблизительно означала, что все это не имеет ровно никакого значения. Когда Жюльетт кончила, Муся снова ее обняла.

— Только и всего?

— Да, только и всего.

— И из-за этого вы отравились?

— Вы находите, что этого недостаточно? Это пустяки, да?

— Я не говорю, что это пустяки. Но травиться не стоило,— говорила, улыбаясь, Муся. Она решительно не знала, как обосновать свое замечание. «Сказать ей, что Серизье ее не стоит? Это оскорбительно. Сказать: «Перед вами вся жизнь, вы полюбите другого», или что-нибудь еще, что говорят в таких случаях,— нет, глупо...» — Моя милая Жюльетт, в жизни каждой умной девушки есть или должен быть хоть один безрассудный поступок, лучше всего именно один. Это поэзия биографии. Но, право, жизнь такая радость, такое счастье, что безумие от нее отказываться даже из-за любви,— сказала она наставительно и тотчас подумала: «Ce n'est pas une trouvaille[1], но сойдет»... Жюльетт смотрела на нее разочарованно.

— Уж будто такая радость? — подозрительно спросила она. Ей с самого начала показалось, что и в Мусе что-то переменилось. «Верно, это ее беременность...» Муся угадала ее предположение и опять покраснела. «В самом деле, я тогда в Довилле ей сказала, а о том она ничего не знает...» Внезапно ей передалась непостижимая зараза откровенности.

— Со мной тоже случилось большое событие,— сказала Муся нерешительно. Жюльетт беспокойно на нее глядела.— Я полюбила, Жюльетт.

Слова эти, неестественные, книжные, неприятно звучащие, «я полюбила, Жюльетт», тотчас ударили ее по

---

[1] Это не открытие *(франц.)*.

нервам. Но отступать теперь было поздно. Жюльетт приподнялась на постели.

— Вы? Кого? — спросила она, забыв даже о слабом голосе. «Нет, разумеется, не его... Тогда она иначе меня слушала бы...»

Муся только что удивлявшаяся беззастенчивости Жюльетт, все рассказала о себе,— тоже просто и спокойно, только не назвала имени Брауна: говорила «один человек», «этот человек»... Ей рассказывать было много легче, она победила. Эту разницу Жюльетт тотчас почувствовала: «Кто? Кто это? Нет, конечно, не Серизье: было бы верхом цинизма, если б она рассказывала мне о нем. Верно, кто-нибудь из ее светских знакомых... Но что же ей сказать? — спрашивала себя Жюльетт совершенно так же, как перед тем спрашивала себя Муся.— Все-таки не поздравлять же ее с тем, что она изменила мужу!.. Какая сумасшедшая!..»

— Я рада за вас,— сказала она, без уверенности в голосе. Они посмотрели друг на друга и засмеялись: сами недоумевали, зачем понадобилась такая откровенность, но не жалели о ней. Теперь Муся могла, не задевая Жюльетт, сказать все, что полагалось: что перед ней вся жизнь, что она полюбит другого. Говорила она это поневоле так, как миллионер, приходя в гости к бедным, живущим в двух комнатах, друзьям, может им сказать: «Но у вас, право, очень уютно...» Все же слова Муси были приятны Жюльетт.

— ...И, повторяю, вы так похорошели!

— Кто бы подумал!.. Но вы? Каковы ваши ближайшие планы? — осторожно спросила Жюльетт.

— Никаких! Я без всяких планов счастлива, как никогда в жизни, и ни о чем другом не думаю! — ответила Муся. Тон ее был такой, точно она в самом деле захлебывалась от счастья. Муся и Жюльетт разговаривали искренно, и все же одна преувеличивала свой восторг, а другая свое отчаянье.— Ни о чем не думаю, и не спрашивайте меня, ради Бога, моя положительная Жюльетт,— по прежней привычке сказала Муся, не подумав, что после попытки самоубийства не совсем подобает называть Жюльетт положительной.

— Меня мама везет на Ривьеру. Что если бы вам приехать к нам? С ним, разумеется, с таинственным незнакомцем,— пояснила Жюльетт, улыбаясь и подчеркивая интонацией неполное доверие Муси: имени незнакомца Муся ей все-таки не назвала.

— С ним к вам на Ривьеру? Это идея,— сказала тем же тоном Муся, словно это совершенно от нее зависело.

«Боюсь, что он тотчас со мной на Ривьеру не поскачет. Да, завтра... Или послезавтра... Нет, конечно, у него сегодня неотложные дела. А как было бы в самом деле хорошо — не с Жюльетт и с Леони, конечно, но с ним поехать куда-нибудь далеко вдвоем!..»

Муся вспомнила, как когда-то, в Петербурге, в пору своей влюбленности в Клервилля, она дома вечером нашла в ящике стола листок пароходного общества, с изображением молодого человека и дамы — в креслах на палубе парохода, перед бутылкой шампанского в ведерке, с садами и замками на фоне... «Тогда я мечтала путешествовать с Вивианом. Я позвонила к нему по телефону в гостиницу, позвала его на банкет папы. Он сказал: «Я плохо говорю по-русски и мне так хочется сидеть рядом с вами». Я ответила: «Если только будет какая-нибудь возможность...» А теперь папа в могиле, а Вивиан...»

— Это идея,— повторила она, чувствуя холод в душе.— Когда вы едете?

— Как только я поправлюсь.

— Да вы совершенно здоровы.

— Докторам это виднее,— обиженно сказала Жюльетт.— Я кстати решила на Ривьере заняться подготовкой докторской работы.

— Господи! Жюльетт, вы будете доктором?

— По крайней мере, надеюсь. Но еще не знаю, на чем остановиться: на частном международном или на финансовом праве?

— Was ist das für eine Mehlspeise? [1] Так говорят в Вене. Ради Бога, не произносите таких страшных слов, все равно я ни одного права не знаю.— Муся чувствовала, что для Жюльетт ее ученость теперь утешение и что она думает о жизни, посвященной суровому труду.— Вдруг я приеду на Ривьеру мешать вам готовить вашу диссертацию.

— Вы думаете, что ваш муж...

— Он сейчас в Лондоне,— сказала Муся, как будто Жюльетт ее спрашивала об этом.— Быть может, он получит назначение в Индию.

— И тогда?

— И тогда... Я ничего не знаю, Жюльетт, ничего! Может быть, я съезжу с ним туда и вернусь. «В самом деле, это мог бы быть выход, если только он согласится на время *отпустить* меня»,— подумала Муся. Недавняя мысль о том, что с ней случилась катастрофа, была теперь непонятна ей самой. «Все-таки, я комок нервов: да, беспрестанно перехожу от одного настроения к другому. Да, неврастеничка

[1] Это еще что за мура? *(нем.)*

самая настоящая»,— с некоторой гордостью сказала она себе; в их петербургском кружке принадлежность к неврастеникам молчаливо признавалась чем-то вроде патента на благородство. «Но как я хорошо сделала, что поговорила с ней!»

— Значит, вы не разойдетесь с мужем?

— Может быть, мы и разойдемся. Я не знаю! Не спрашивайте меня, милая, я ничего не знаю! Ничего, кроме того, что я безумно счастлива! — сказала она и, чтобы загладить неделикатность этих слов, обняла Жюльетт и поцеловала.

Обе они почувствовали, что любят друг друга и что им было бы тяжело расстаться. Муся внезапно прослезилась. «Нет, после того самое лучшее в жизни это моя дружба с ней, с Сонечкой, с Витей...»

— Какая я глупая!.. Ну, до свиданья, мой друг, я и так вас утомила. Ваша мама меня съест.

— Нет, посидите еще.

— Нельзя, нельзя.

— Мне было очень приятно с вами, Муся. Когда вы придете опять? Завтра?

— Завтра? Я не знаю, буду ли свободна.— Она смущенно кивнула головой.— Да... Но я все-таки приду и завтра. Если не вечером, то днем. Если не днем, то утром.

— Непременно. Приходите каждый день.

Жюльетт взяла со стола платок и поднесла его к глазам. Они обнялись опять.

XXX

Мудрый Картезий при встрече позвал к себе профессора Ионгмана, но дня не назначил и не ждал гостя. По своему обычаю, чуть не до полудня оставался он в постели, лежал с закрытыми глазами, изредка приподнимался на локте, брал со столика листок бумаги, карандашом, несколькими словами, записывал приходившие ему мысли и снова опускал голову на подушку, погружаясь в размышления. Это были его лучшие часы. Затем он оделся и перешел в те комнаты, которые служили ему лабораторией. Но только взялся за работу, как слуга доложил ему о приезде профессора Ионгмана. И хоть это означало потерю доброй части дня, Декарт встретил профессора как самого дорогого друга; привык скрывать все свои чувства и видел в этом необходимейшую из добродетелей.

Тотчас распорядился об особых блюдах к обеду; не думал как многие, что для гостей никаких изменений быть не должно, пусть, мол, едят то самое, что каждый день ест хо-

зяин дома. Он повел профессора по своей усадьбе, показал сад, вид на канал и на рощу, показал лучшие комнаты замка, показал лабораторную залу. О своих же в ней трудах сказал ровно столько, сколько было нужно из вежливости: не говорил с посторонними людьми о делах своих так подробно, точно дела эти должны были интересовать их, как его самого. Ибо во всем знал меру мудрый Декарт, и хорошо была ему известна, в большом и в малом, трудная наука жизни. Изысканья его заинтересовали профессора Ионгмана,— заговорил и профессор о своем научном труде, о том, какого пола оказалось большинство звезд. Картезий же помолчал, затем с ласковой улыбкой одобренья пожелал труду его успеха, но о своих работах больше не сказал ни слова и увел гостя в столовую.

За обедом закуски, блюда, вина, все было хорошо, хоть без чрезмерного обилия и роскоши. Только они двое и были за столом: хозяин и гость. И видно, подействовал на профессора Ионгмана дух дома мудрого Картезия, или развязало ему язык старое вино, или был он так взволнован встречей с людьми, с которыми свела его судьба в саду постоялого двора,— но говорил профессор долго, взволнованно и задушевно. Рассказал о поездке своей по Европе, изложил впечатление от событий в германских землях, перешел к Риму и остановился на деле Галилея. И когда рассказал об отреченьи старца на коленях, голос его задрожал и на глазах показались слезы: так было тяжело ему оскорбленье ума и достоинства великого человека. Не менее его был взволнован этой частью рассказа Картезий, хоть не любил Галилея и хоть еще с зимы знал все подробности римского процесса.

После обеда они вышли в сад и сели на скамейку у ключа, который шутливо называл хозяин ключом мудрости: здесь размышлял он о предметах высоких и важных. В саду профессор Ионгман закончил рассказ: сообщил подробно о своей встрече на постоялом дворе с убийцей Альбрехта Валленштейна, полковником Вальтером Девер, и с женой его, племянницей им же убитого праведного человека. Вкратце рассказал он об этом еще раньше, как только приехал; теперь же высказал и свои скорбные мысли. С виду Деверу человек благодушный,— отчего благодушный вид у столь многих злодеев? Отчего вообще торжествует зло над добром? И не нужно ли, не нужно ли срочно, объединение лучших людей для победоносной борьбы со злыми?

И тут профессор Ионгман перешел к тому делу, ради которого приехал в гости к Декарту. Трудное это было де-

ло, ибо, по уставу невидимых, ничего нельзя было сообщать о братстве людям, еще не принятым в его среду,— а как заинтересовать их братством, ничего о нем не сообщая? Приходилось начинать издалека, говорить и двусмысленно, чтоб можно было отступить благопристойно, когда бы мысль о братстве не увлекла того, кого надлежало опросить, или когда бы оказался он при расспросах неподходящим для братства человеком. Но, к счастью, все понимал собеседник профессора Ионгмана и таким же намеком дал он понять, что объяснять больше ничего не надо и что он теперь, как и раньше, не намерен идти в братство невидимых розенкрейцеров. Говорил же он лениво, медленно, раздельно, точно разговаривал с малым ребенком.

Вот что сказал профессору Ионгману мудрый Картезий:

«Объединение лучших людей для победной борьбы со злом? Да, это великое дело, величайшее из всех дел. Но нужно заранее обо всем договориться. Что есть зло? Можно ли с ним бороться? Есть ли хоть малая надежда на победу? Какое объединение людей должно способствовать победе?

Вы отвечаете: всякий знает, что такое зло.— Это неизвестно дикарям. Твердо это знают люди, переставшие быть дикарями. Но тех из них, что умудрены жизнью, снова тревожит сомненье. Вас потрясло: какой ничтожный человек убил великого Валленштейна! В этом лишь одна сторона истины. Многим ли отличался герцог Фридландский от своего убийцы? Поражено наше воображенье: темная ночь, потайная лестница в замке, окровавленный труп человека, долго наполнявшего мир шумом своего имени, блеском титулов и богатств. Поройтесь же в жизни Валленштейна,— сколько человек было расстреляно или повешено по его приказу? За преступленья? Чаще всего за то, что они называют дезертирством,— за неповиновение насилию их набора или, быть может, за нежелание убивать лютеран. Но людей этих казнили бесшумно, и не было ничего в их судьбе, что могло бы встревожить неразумно-восприимчивую душу поэта.

Не спрашиваю вас, за какую правду боролся погибший герцог. Моря крови пролиты подобными ему людьми для славы, для власти или просто для удовольствия. В этом Валленштейн не отличался от других владык мира. И будет доля истины, если я скажу: ничтожный Деверу убил Деверу покрупнее,— это все. Воображение, опаснейшее из человеческих свойств, выделило одно убийство из множе-

ства повседневных злодеяний, с которыми нечего делать труппе бродячих скоморохов.

Не говорите мне о добрых делах Валленштейна: вы не знаете добрых дел Деверу. Не всегда он насиловал женщин, не всегда резал стариков и, верно, недаром полюбила его племянница убитого им человека. Уверены ли вы, что ни разу в жизни Деверу не накормил голодного, не подарил игрушки ребенку, не плакал ночью, вспоминая свою грешную жизнь? Богатство же герцога Фридландского позволяло ему все виды роскоши, в том числе и роскошь душевную.

Однако я не отрицаю: есть доля правды и в ваших словах о нем. Что-то выделяло Валленштейна из немалой толпы ему подобных. Порою делал он то самое, что делал граф Тзерклас Тилли,— без этого не был бы возвеличен людьми,— но на Тилли он все же не походил, и нет в числе его подвигов Магдебурга. В пору мысли ленивой и стадной, окруженный людьми, не имевшими никогда обычая размышлять, герцог Фридландский думал по-своему, тронутый тем же сомнением, в котором и мы видим главную особенность нашего дела. Валленштейн был игрок и жизнь свою проиграл в кости. Погиб он, по-видимому, потому, что не хотел верить в случай; в звездах он искал закона для того, в чем законов нет и быть не может. И так ли уж само по себе малоценно впечатление, произведенное им на души людей? Вот передо мной не юноша — немолодой, поживший, занимающийся наукой человек умиляется над участью герцога Фридландского. Что ж, есть своя правда у поэтов и скоморохов: пусть до конца времен и занимаются они Валленштейном, как занимались Цезарем, Аннибалом, Александром, усердно истреблявшими их предков.

Нет, не ясно и не бесспорно, что такое зло. Предвижу ваше возраженье. Тайное братство лучших людей, о котором вы говорите, просветит мир новой, бескровной, разумной правдой,— в мире вашем отличие добра и зла никаких сомнений вызывать не будет. Пусть так! Но для установления вашего мира не понадобятся ли долгие столетия, исполненные зла, подобного которому не сохранила человеческая память? С легким, очень легким сердцем принимает на себя за это ответственность братство лучших людей. Не скрою от вас: в трудных человеческих делах я побаиваюсь *всякой* новой правды. Но та правда, которая при первом своем появлении выражает намеренье осчастливить мир, внушает мне смертельный, непреодолимый ужас. Палачей всегда приводили за собой пророки. Ибо

все они были и лжепророками — для значительной части людей.

Вы хотите переделать Деверу? В самом деле это главная наша задача. Но подумайте о том, как ее решить, и не говорите, что решите ее скоро. Деверу ходил когда-то в звериной шкуре, теперь ходит в латах,— каков будет его следующий наряд? За три тысячи лет он не очень изменился,— ведите же на тысячелетья счет и вы, надеющиеся на изменение нашего душевного состава. Говорю «нашего»: ибо и во мне, и в вас, поверьте, сидит Деверу.

Борьба со злом! Не будем заблуждаться: зло, творимое человеческими руками, лишь песчинка в общем зле мира. Пусть Деверу палач, он вместе с тем и жертва: Деверу умрет, как умер Валленштейн. Чего стоят его преступления, чего стоят зверства всех исторических преступников взятых вместе по сравнению с нашим общим основным несчастьем! Вы отвечаете на это: эликсир вечной жизни. И я еще недавно надеялся, что проживу пятьсот лет. Но для научных поисков не нужно входить ни в какое братство. Теперь я больше этого не ищу. Вот луч солнца отражается в воде моего ключа. Мне известны законы его отраженья. Через тысячу лет любой школьник будет знать в тысячу раз больше меня. Мир же станет тогда еще непонятнее,— даже если не спрашивать, зачем он существует. Немного поняли мы в мире до сих пор и немного поймем еще. Чем больше будем знать, тем понятнее все будет глупцам, тем непонятнее умным и тем тяжелее. Быть может, мы и откроем эликсир вечной жизни. Но некоторым из нас тогда придется искать от него противоядия.

Этих признаем вольноотпущенниками смерти. Страшно заглянуть им в пропасть, но трудно и отвести от нее взгляд: манит она, и голова кружится. Что тяжелее преодолеть этим людям: радость бытия или тягу к бездне? Говорят, что душа наша в теле словно в клетке птица. Всегда ли стоит птица клетки? Тяжело необычной птице расставаться с клеткой, и велика, беспредельно велика мука выбора. Пожалеем же о людях, потерявших любовь к жизни, еще больше пожалеем о тех, которые ничего не желают оставлять непостижимой воле рока. Худо в мире и с роком, но без него было бы еще много хуже.

Вы со мной не согласны. Это естественно: никому в мире не по пути ни с кем, нет дорог совершенно параллельных. Ограничьте же задачу и устав общества, которое вы хотите создать, или не зовите меня в это общество. Говорю без гордыни и без насмешки. Никто из живших до меня людей не верил крепче, чем я, в мощь и в права разума.

Я не отказываюсь и сейчас от этой веры, но фанатиком разума я не буду: этого не стоит и он.

Кто посмеет смотреть свысока на великого Галилея? Мне ли не сожалеть об его участи: мысли его и мои мысли. Но то, что он сказал, сказал он либо слишком рано, либо слишком шумно. Осудившие его люди невежды перед ним в науке о звездах. Но он перед ними невежда — в науке о людях.

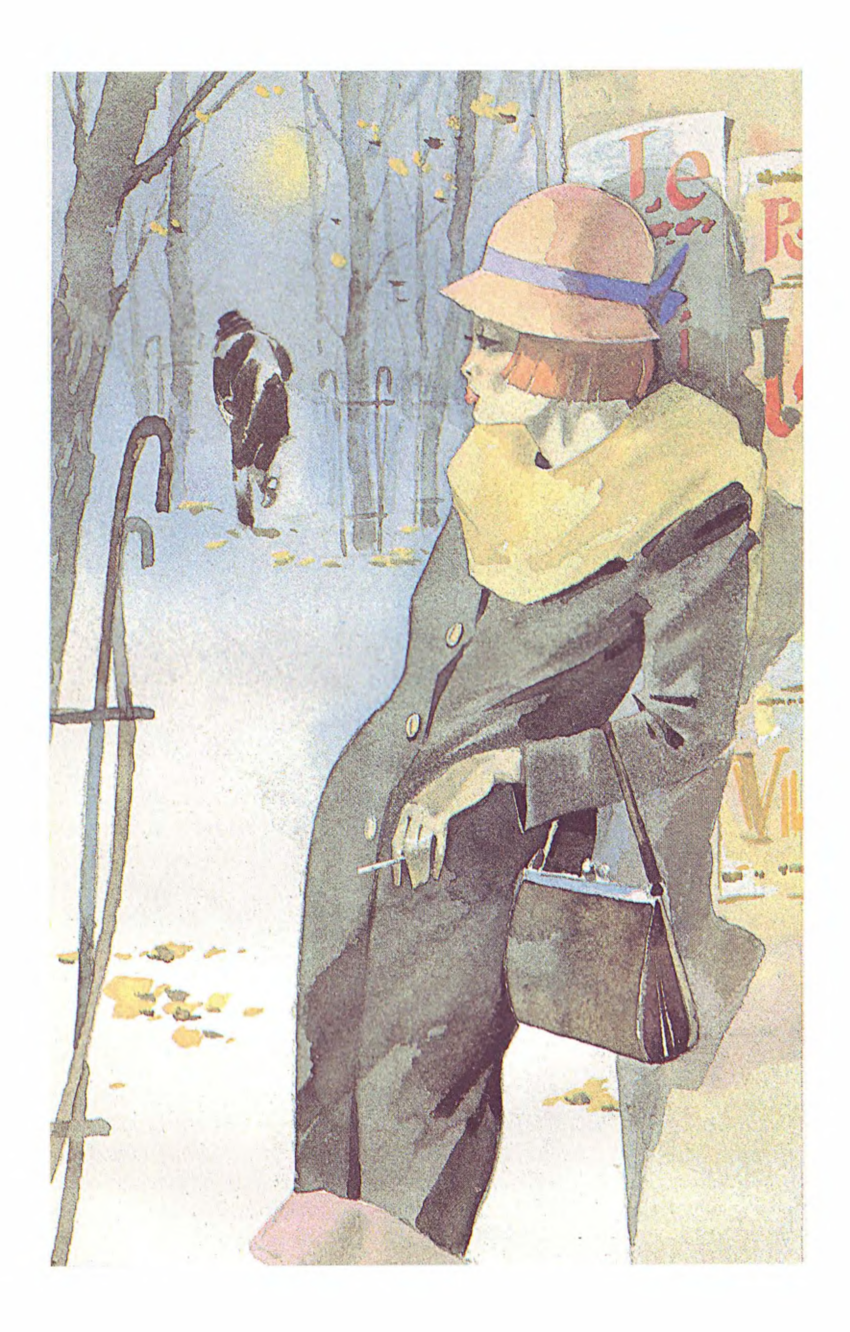
Земля вращается вокруг Солнца, это важно. Но еще гораздо важнее то, что вращается она очень скверно. Как бы в конце концов ни вращалась вокруг Солнца одна грязная кровавая лужа! И Галилею, и мне приятно разгадывать бесчисленные тайны звезд. Однако, если вследствие разгаданных нами тайн, Деверу ворвется сюда в сад, перережет мне горло и швырнет мой труп в этот ключ, я признаю свою жизнь не слишком удачной. Что ж делать: вдруг, благодаря открытиям Галилея, окончательно рехнется Деверу.

Почему рехнется? Эта связь не обязательна, но вполне возможна. Скажем правду: Галилей подкопался не только под ученье Птоломея. Его преемники отберут у Деверу главное и не дадут ему взамен ничего. Вы негодуете? Нет, я не предлагаю прекратить изучение тайн вселенной. Знаю, что на каждую разгаданную тайну появляется десять неразгаданных. Но слишком велики эта радость, это счастье, чтобы мы с Галилеем могли от них отказаться! Отрицать же я не могу: Деверу без наших открытий обошелся бы, как и они обходятся без него. Галилей им интересовался чрезмерно.

Вы говорите, что в человеке исконно добро; зло только наносное начало, созданное дурными учреждениями мира. Можно сказать и обратное: человек неумен, человек низок, человек в особенности слаб, и спасают нас от Деверу только вековые учреждения мира, как бы плохи они ни были. Вывод из обоих преувеличенных утверждений будет в сущности один и тот же. Люди, любующиеся глупостью и низостью людей, тупые моральные самоубийцы. Кому этот мир не нравится, тот в любую минуту волен уйти в другой: незачем отравлять жизнь себе и товарищам по сомнительному несчастью. В месте же общественном, как эта планета, надо вести себя по правилам. Настоящий человек верен себе и в разбойничьей берлоге, и в доме умалишенных, хоть по мере возможности следует держаться подальше от разбойников и от сумасшедших.

Роскошь собственной правды я держу про себя: не говорю людям того, что о них думаю: Bene vixit bene qui la-




Le

tuit[1]. Стараюсь и думать об этом возможно реже. Жить мне десять лет, двадцать лет,— один миг,— я не употреблю его на составление коллекции уродцев. Вы хотите улучшить мировой порядок? Сделаем каждый порознь усилие для достижения этой великой цели. Но пока она не достигнута, благоразумно ли кричать на перекрестках улиц, что мировой порядок отвратителен?

Я сердечно благодарен каждому человеку, который не собирается меня зарезать. Деверу не исключение, а правило. В нас живут черные души наших предков. Сил, хоть немного обуздывающих Деверу, хватит на века, их не хватит на тысячелетия. О нет, я говорю не о кострах и не о карах! Мудрость, правда, предписывает обращаться к худшим побужденьям человека, но это отнюдь не значит, что у него нет побуждений лучших. Поверьте, и у Деверу есть высшая правда. На нее посягать мне запрещает совесть. И если придется сделать выбор, я скажу: пусть лучше солнце и дальше вращается вокруг земли...

Миллионы людей живут в той вере, в которой, по воле случая, родились, и считают ее единственной истинной верой. Быть может, это не делает чести их уму; это делает большую честь их сердцу. Вы хотите создать новую религию. Как республиканцы в политике, вы в области неизмеримо более трудной желаете заменить наследственное начало выборным. Знайте же твердо: вы начинаете великую вековую войну, по сравнению с которой покажутся бескровными войны, вызванные пугливой крошечной реформой Лютера. У крови с мыслью нет общего мерила, поэтому и спорить здесь не приходится. Я примкнул бы к вам, если б вы по времени были первые. Я примкнул бы к вам, если б за верой вашей было триста лет жизни. Так как их у вас нет, разрешите мне держаться веры моего короля. Переделывать мир наскоро у меня охоты нет,— не люблю спешной работы.

О, тяжелы, тяжелы великие, веками неподвижные тела! Грузно и страшно их внезапное паденье! Знаю, что Галилей, его преемники и ваше братство создают мощный таран. Чувствую, что и с моим именем будут связывать начинающуюся на наших глазах борьбу. Между тем, я не хотел ее, я считал ее гибельной, я предостерегал гонителей ваших, как предостерегаю вас. Не скрывайте же хоть от себя: для борьбы, для кровавой борьбы создается ваше братство. Но подкапываясь под чужую веру, вы подкапываетесь и под вашу собственную: Деверу долго разбирать не

[1] Хорошо живет тот, кто скрытен *(лат.)*.

станет. Борьба эта самоубийственная для обеих сторон,— для вас, быть может, больше, чем для ваших противников, и не потому, что во всем, от возраста до размера и уверенности обещаний, они имеют преимущество перед вами: нет, и одержав полную победу, на стотысячном по счету преемнике Галилея вы погибнете от равнодушия и скуки.

Большинство людей живет без всяких мыслей, стоящих этого слова, и здесь ничего худого нет. Опаснее те, что раздавлены одной мыслью. Их тоже довольно много в мире. Из них выходят и члены вашего братства, и его ненавистники. Ни с теми, ни с другими мне не по пути. Вы спрашиваете о выходе. Он был бы для руководителей мира в единении честных людей всех верований, в прочном, искреннем союзе для работы, которой всем хватит надолго: для вековой работы над медленным, очень медленным улучшением черной природы Деверу. Союз предполагает взаимные уступки, он допускает для каждой стороны возможность держать кое-что про себя, он ставит обязанность бороться и с застоем, и с разрушеньем. Истинный, чуждый фанатизма, разум разрушает мало и неохотно, твердо зная, что имеет возможность разрушить решительно все.

Но, разумеется, я себя не обольщаю: это иллюзия, чистая иллюзия. В вопросе же о каждом из нас в отдельности общего решенья нет. Мой выход вы видите: вот перед вами ключ. Кто может, должен спасаться бегством на высоты, подальше от Деверу и даже от Газенфусслейна. Bene vixit bene qui latuit. Предлагаю свой выход и вам: вспомните, что вы еще не решили вопроса о поле некоторых звезд.

Вижу, что этот выход вам не нравится. Вы нашли свою опасную игрушку: грозный братский таран для разрушения того, что разрушать не надо. Вам скучен мой совет, и тишина высот не прельщает вас. Я сожалею об этом. В пещере пророк Илья услышал голос, призывавший его взглянуть на лицо Господне. И была буря, раздирающая горы и скалы, но не в буре был Господь. Потом было землетрясенье, но не в землетрясении был Господь. После землетрясенья был огонь, но не в огне был Господь. А затем услышал Илья веянье тихого ветра. И в веяньи тихого ветра был Господь! Только тогда Илья закрыл лицо плащом своим и вышел, наконец, из пещеры...»

...Из пещеры вылетел аэроплан с шведским флагом и понесся на очень большой высоте к огоньку, который

зловеще дрожал, надвигаясь все ближе. Всем хотелось, чтобы аэроплан тут же упал и разбился. Особенно этого хотелось человеку во френче, в высоких желтых сапогах. «Гут, гут»,— сказал он, и Федосьев ответил «Jawohl»[1]. Из аэроплана вышел Бергер, он же мосье Берже, управляющий гостиницы «Палас», и сообщил: «Один персон желайт...» Рядом с ним был невысокий, толстый, желтозубый человек. Дарья Петровна выбежала навстречу, подала ключ и сказала с почтительной улыбкой, что девушки были, да ничего, придут опять. Следователь Яценко сердился, а Федосьев, напротив, был очень доволен. Огонек резал глаз все неприятнее. Толстый человек говорил входившим девушкам «будем знакомы», весело смеялся и объяснял, что терпеть не может музыки — «неприятный шум»,— однако, если девушки любят, то пусть механическое пианино играет, но веселенькое,— а это дрянь, и только русские купцы любят за шампанским душещипательную музыку,— но впрочем ему все равно, а вот средствице пора принять. Все тоже очень смеялись, и толстый человек сказал, что старость не радость, за веселую жизнь надо платить... Платить же надо по очень простой формуле... Шопен после взятия Варшавы называл Бога москалем. Федосьев же в своей пещере рассердился и написал злое письмо, на которое надо так же ответить... В формуле этой одна молекула кислоты приходится на две... на две молекулы калия. Какой же атомный вес калия? Но сначала надо отправить «Ключ»... Он брошен в Зимнюю канавку... Там страница о богине Кали, покровительнице кладбищ, и Муся Клервилль будет читать. Она хочет сыграть эту самую сонату, где все: и та грязь, и кладбища, и калий... Атомный вес его 39,04... Да, кости выброшены, выпал туз, игра сыграна. Теперь бегство... Огонь нестерпимо разросся, стал жечь...— И вдруг случилось непостижимое: один мир, за секунду до того ясный, логический, связный, стал совершенной нелепостью, появился другой, мучительный и тоскливый,— тот, из которого нужно уходить...

Над изголовьем постели горела лампа, Браун, засыпая, забыл потушить ее. Он весь трясся мелкой дрожью, стараясь вспомнить, что ему снилось. Сел, надел туфли, вышел в лабораторию,— в вытяжном шкапу были приготовлены и банка с цианистым калием, и колба, и дважды пробуравленная пробка с воронкой, с хорошо оплавленной отводной трубкой. Вернувшись в спальную, он снова лег,

[1] «Да, разумеется» *(нем.)*.

хоть знал, что больше не заснет,— принятая накануне огромная доза снотворного дала все, что могла дать: несколько часов беспокойных идиотских видений. «Кажется, Гамлет *боится,* что *там* будут сны. Надо бы сказать обратно, оттого и страшно, что там *ничего* не будет, даже идиотских снов... Во всяком случае, в последний раз спал в этой жизни...»

За окном было темно. С кровати, за садом, над крышей выходящего на улицу дома, была видна одинокая звезда. Трудно было сказать, какое время: вечер, глубокая ночь, предрассветный час? И долго еще Браун лежал в постели, вздрагивая под теплым одеялом, в тысячный раз думая все о том же. Рассуждение было неопровержимое. Случился удар, настоящий удар,— несколько раньше, чем бывает обычно,— но ведь и жил на своем веку больше, чем живет большинство людей. «Да, за это надо платить,— но и за умственную работу также: одна *плата* и за то, и за другое! Был первый удар: тот врач — менее невежественный, чем другие,— так, не стесняясь, и сказал: *первый* удар. Потом будет второй удар,— все как полагается, полуидиотизм, идиотизм, смерть...

С этим спорить не приходилось, но рассуждение все натыкалось на одно и то же: «Правильно, однако отчего именно сегодня?» — «И завтра будет то же самое».— «Да, но можно еще подождать».— «Ждал, ждал, пора и перестать. До вчерашнего дня было оправдание: «Ключ». Теперь книга окончена».— «Можно бы подождать ее выхода».— «А потом можно будет подождать откликов... А вот, он, *второй,* не ждет... Да и не это одно, и не в этом, быть может, главное. Да, совпадение во времени, своего рода предустановленная гармония: душа износилась одновременно с телом: износилось дряхлое тело,— человек умирает; износилась дряхлая душа,— человек кончает с собой. Достойнее было бы, если б было только последнее,— а то выходит: faire de nécessité vertu...[1] Другие убивают себя из-за любви, из-за разорения, от угрызений совести, от позора или «в состоянии аффекта». У меня ничего этого нет: если б не удар, было бы самоубийство в чистом виде, можно было бы взять идейный патент...» Он сердито усмехнулся и взглянул на часы. К удивлению своему, увидел, что уже половина девятого. На дворе стоял холодный туман. «И отлично: в такую погоду и уходить всего лучше... Да, да, вольноотпущенник смерти...»

---

[1] Мужество по необходимости *(франц.)*.

Радуясь собственному равнодушию, он брился, купался, одевался: не было никакой причины не делать того, что полагалось делать утром. Затем позвонил. Хорошенькая горничная — не та, которую видел Витя, а новая — принесла чай: не было никакой причины не пить чаю. Горничная сообщила, что с утра очень холодно: она, пожалуй, предпочла бы, уж если мосье так любезен, поехать в Медон, к своим, в другой раз. — «Нет, в другой раз мне будет трудно отпустить вас,— ответил Браун,— ведь я сказал вам, что сам уезжаю...» — «Прошу мосье меня извинить: мосье мне не говорил, что уезжает».— «Я не сказал? Значит, я забыл. Да, я уезжаю до четверга».— «Тогда я, конечно, поеду сегодня. Но, значит, надо уложить вещи мосье?» — «Нет, не надо, я сам все сделаю. Вы только оставьте у консьержки ваш адрес, на всякий случай».— «Разумеется. И если мосье будет что нужно спешно, то можно позвонить по телефону в бистро, рядом с домом моей матери, нас всегда оттуда вызывают, это стоит только пять су...» — «Отлично, отлично, благодарю вас...» — «Я оставлю мосье номер телефона бистро...» — «Лучше и номер оставьте у консьержки».— «Пусть только она позвонит, и я через два часа буду здесь, если не раньше... Мосье хотел дать мне денег».— «Да, денег, я хотел вам заплатить за два месяца вперед». — «Мне столько не нужно: у мосье деньги будут вернее, чем у меня»,— сказала с улыбкой горничная, поглядывая на него исподлобья.— «Но я уже приготовил для вас, не надо ничего менять». Горничная поблагодарила и взяла деньги, соображая, что по дороге зайдет в сберегательную кассу: все-таки за два месяца это может составить тридцать или даже сорок су.— «Не надо ничего менять»,— повторил Браун. Она взглянула на него с легким удивлением (позднее всем рассказывала, что сразу заметила неладное: мосье в это утро был совсем не такой, как всегда).

Когда входная дверь за горничной захлопнулась, Браун перешел в кабинет, сел в кресло и выдвинул из письменного стола ящик. Еще с вечера назначил: сжечь бумаги,— хоть в этом собственно надобности не было. В среднем ящике, кроме бумаг, оказались револьвер, коробка с патронами, кусочек сургуча, посеребренная ручка для пера с концом в виде разрезного ножа. И долго он смотрел на перо и все не мог вспомнить, где приобрел эту дешевенькую вещицу и почему хранил ее в ящике. На неровно оплавившемся конце сургуча повисла бородка. Браун зажег спичку, поднес к ней сургуч. Бородка растопилась, чернея зажглась и, с дымом, горящей каплей упала

на кожу стола. Спичка обожгла пальцы. Браун вздрогнул, потушил огонь, и что-то далекое, радостное, оставшееся от детских лет, напомнил ему запах сургуча. «Жаль уходить... Душа износилась, все так, но еще пожил бы... Ах, как жаль!..»

Затем он пододвинул кресло к камину и принялся бросать в огонь одну связку бумаг за другой. Подумал со слабой улыбкой, что в действии этом есть что-то тургеневское: «перед смертью он сжег письма женщин». В ящике действительно были и письма женщин, и счета, и квитанции, и рукописи научных работ. Он все сжег с одинаковым равнодушием.

До отхода поезда оставалось еще почти два часа. Но делать больше было нечего: вся программа на утро была выполнена. «Да, адрес монастыря»,— вспомнил он и разыскал письмо Федосьева. Оно лежало не в ящике, а в деревянной коробке на столе. С досадой заметил, что забыл об этих, последних по времени, письмах. Браун записал: rue d'Auge. Раздражение поднялось в нем снова. «Вот уж именно, l'habit ne fait pas le moine[1]: не вытравил в себе ни политического деятеля, ни даже сыщика. И как все глупо! Пожалуй, не стоит и ехать. Ну, да как было решено, все равно, не надо ничего менять...» Он бросил в камин и письма из деревянной коробки.

Быстро пробежал последнюю главу новеллы. Положил один экземпляр в карман, другой добавил к папке, на которой было написано «Ключ». Аккуратно запечатал папку в огромный толстый конверт, надписал адрес, заполнил желтую квитанцию заказного письма и несколько минут внимательно, с удовольствием, следил за тем, как высыхают на конверте чернила. «Теперь, кажется, все? Разве «Федона» почитать?..»

У книжных полок он стоял долго, позабыв, что ему было нужно. «С книгами связано много радости, много гордости за свою породу, благодарю, благодарю от всей души... Вот скоро присоединится и «Ключ». Сколько будет жить? Двадцать, тридцать лет? Здесь многие проживут меньше. Те, что выдержали столетье, наперечет. Наберется и десяток тысячелетних. Но и им скоро конец, темп все ускоряется, надвигается такое наводнение книг, такая лавина печатной бумаги, что самая громкая литературная слава станет чистой фикцией: дай Бог запомнить одни имена, где уж тут будет читать! Это, верно, не помешает умным людям будущих веков так же тратить всю жизнь

---

[1] Не всяк монах, на ком клобук *(франц.)*.

на писанье, как делали многие из нас...» Вспомнил, что ему нужен был том, разыскал томики, но «Федона» среди них не оказалось. «Досадно. Так и не буду до вечера знать, есть ли бессмертие»,— подумал он, сам удивляясь странному *тону* своих чувств: точно все он спорил с какими-то воображаемыми обманщиками,— из тона этого больше не мог выйти. Взглянул опять на часы: рано. «Да, так как же бессмертие? Разве в энциклопедическом словаре спешно навести справку...» Браун в самом деле взял том словаря и вернулся к столу. Дрожь опять у него усилилась. «Беспоместные дворяне»... «Бессилие половое — см. Анафродизия»... «Бессмертие» — вот, вот, оно самое. «Бессмертие, т. е. существование человеческой личности, в какой бы то ни было форме, и за гробом — представление весьма распространенное и встречающееся на всех ступенях человеческой культуры, хотя...» «Нет, я тебя спрашиваю не об этом». Он заглянул в конец статьи. «При современном состоянии науки следует признать, что если до сих пор и нет прямого философски обоснованного доказательства в пользу идеи бессмертия, то с другой стороны нельзя также подыскать такого доказательства против нее...» Да, это очень ценный вывод!..» Вдруг у него подступили к горлу рыданья. «Позор, позор»,— сказал он вслух, стараясь сохранить тон беседы с обманщиками. Браун поставил на место том словаря, заглянул в лабораторию, вынул из шкапа банку с белыми кристаллами, посмотрел на нее у окна. «Богиня Кали, богиня Кали, как глупо»,— пробормотал он. Затем он надел пальто и вышел.

XXXI

Носильщик подбежал к автомобилю и отошел разочарованно, увидев, что никакого багажа нет. Браун разыскал кассу. У окошечка он не сразу вспомнил, куда именно едет. Кассир смотрел на него с нетерпением.— «Какого класса?» — спросил он, услышав, наконец, название города.— «Первого»,— сказал рассеянно Браун.— «Прямой или обратный?» — «Обратный, пожалуйста...» Браун остановился у киоска, купил газету, направился к перрону, все точно вспоминая, как путешествуют люди.

На указанном ему пути уже стоял роскошный коротенький поезд. Слышалась английская речь. У первого вагона провожали какое-то важное лицо. Группа людей столпилась вокруг высокого господина в необыкновенной дорожной шапочке и в превосходном новеньком пальто. Гос-

подин что-то говорил двум журналистам, почтительно записывавшим его слова в книжечку. «Же не рэвьендрэ па? Пуркуа же не рэвьендрэ па? Же ревьендрэ» [1],— сказал господин. Браун пошел дальше. Вдруг сзади его окликнул голос.

— Профессор! Александр Михайлович, мое почтение.

Браун оглянулся. К нему подходил Нещеретов. Они поздоровались.

— Куда изволите ехать? Тоже в Америку?

— Нет. Вы в Америку?

— Не я. Мой хозяин.

Господин в необыкновенной шапочке перевел с журналистов глаза на Брауна, приятно улыбнулся и отделился от провожавших его людей. «Я сейчас вернусь»,— бросил он журналистам внушительным тоном, как бы запрещая им уходить до его возвращения.— «Oui, maître» [2],— сказал журналист, пряча книжечку и дуя на руки от холода.

— Вы знакомы? — спросил Нещеретов.

— Как же, мы встречались в Питере,— небрежно ответил Альфред Исаевич.— Вы в Америку, профессор?

— Нет.

— Жаль. Надеялся на приятного попутчика. А я на «Атлантик» и прямо в Нью-Йорк.

Разговор продолжался две минуты, но дон Педро успел сказать, что его вызвали в Соединенные Штаты по телеграфу, что он едва получил порядочную каюту на «Атлантике», да, пожалуй, и не получил бы, если б американский посол не был так любезен и не позвонил лично в контору общества.

— Вы его не знаете? Это мой большой друг, милейший и любезнейший человек. Если вам к нему что нужно, распоряжайтесь мной, профессор,— с чувством сказал дон Педро.

— Благодарю вас.

— Вы понимаете, что я мог бы обойтись и без кабинде-люкс на «Атлантике», но американским репортерам показаться иначе,— сейчас же потеряют уважение. Вы, быть может, спросите, зачем нам с вами уважение американских репортеров,— смеясь, добавил Альфред Исаевич,— мне из него действительно не шубу шить. Но надо было считаться с интересами дела, ведь дело многомиллионное... Вы, верно, уже слышали? Я свожу Францию с Соединенными Штатами.

---

[1] «Я не вернусь? Почему я не вернусь? Я вернусь» *(франц.)*.
[2] «Да. патрон» *(франц.)*.

— Альфред Исаевич затеял суперфильм,— пояснил Нещеретов.

— Дэ...— Дон Педро теперь как-то особенно произносил слово «да».— Супер не супер, а фильм будет не из последних. Я, видите ли, профессор, решил всецело посвятить себя этому делу. Надо, надо очистить кинематограф от пошлятины, теперь надо больше, чем когда бы то ни было: именно он и создаст то взаимное понимание между народами, о котором мечтает Америка. Он же и приобщит к культуре сотни миллионов людей,— произнес с силой Альфред Исаевич и подумал, что это надо сказать журналистам. Носильщик, странно вывернув назад руки, подкатил тележку с великолепными чемоданами. За ним бежал, с видом необычайно озабоченным и значительным, молодой человек тоже в новеньком и удивительном пальто.— Сдал большой багаж? — спросил дон Педро.— Это мой секретарь, дальний мой родственник, юноша выдающихся способностей, хочу сделать из него человека в нашей бранше,— сообщил он Брауну и простился.— Очень буду рад поболтать с вами в поезде, профессор. Может, вместе позавтракаем в вагон-ресторане? А теперь покоя нет от журналистов, даже на вокзале меня преследуют!.. Дэ... Месье, кэске ву вуле анкор савуар? Дэмандэ, дэмандэ [1].

— Vos projets, maître [2],— сказал журналист, снова вынимая книжечку.

— Вуаля. Жэ вэ ву раконтэ... [3]

— Переезд-то каков будет при этой милой погодке,— сказал Нещеретов.— Вдруг потонет, и ни тебе гения, ни тебе суперфильма.

— А вы не едете? — повторил свой вопрос Браун.

— Нет, мне куда уж! Провожаю хозяина,— ответил Аркадий Николаевич, подчеркивая последнее слово с явным самобичеванием.— Получает тридцать тысяч долларов и тантьему [4],— добавил он вполголоса с насмешливой улыбкой,— относившейся не то к малому, не то к большому размеру платы: тридцать тысяч долларов составляли для Нещеретова прежде совершенно ничтожную цифру,

---

[1] Господа, что вы еще хотите знать? Спрашивайте, спрашивайте *(франц.)*.

[2] Ваши планы, патрон *(франц.)*.

[3] Извольте, я расскажу... *(франц.)*

[4] Определенная доля *(франц.)*.

а теперь чуть ли не богатство.— Главное, впрочем, тантьема. Порядочную может заработать деньгу. Ну, прощайте, профессор, хозяин ждать не должен.

Он поспешно отошел, подавляя вдруг поднявшуюся в нем злобу: ему хотелось на прощанье сказать *хозяину*, что он, Альфред Исаевич, никакой не гений, а мелкий невежественный, влюбленный в себя репортер, что его суперфильм дрянь и что американский посол не знает даже его фамилии. Но сказать это было невозможно. «Не то, не то»,— говорил себе Нещеретов, стараясь успокоиться: он знал, что в таких чувствах к людям ничего, кроме муки, не было; относительное спокойствие было в чувствах прямо противоположных, хоть и они успокаивали не всегда и ненадолго.

XXXII

Несмотря на ранний час, уже горели фонари. Длинная скучная улица шла с легким уклоном вверх. По сторонам одинаковые ветхие трехэтажные дома с худыми, бедными, тускло освещенными лавками. Браун рассеянно вглядывался в вывески. «Comité d'action artisanale de Calvados»...[1] Это, вероятно, товарищи... Вот и маленькое утешение: о товарищах больше ничего никогда не буду слышать. «Jouber, cordonnier»... «Episserie Savary»...[2] Та ли еще улица? Да, rue d'Auge...» Ему сначала показалось странным, что монастырь выстроен в столь сером, непоэтическом, безотрадном месте. «А впрочем, так и должно быть: если в душе ничего нет, то не поможет и «берег живописного озера»... А кто в самом деле ищет уединения, благочестия, «созерцательной жизни», тому внешняя поэзия не нужна. Чем будничнее, тем, должно быть, и лучше: ты здесь посозерцай, по соседству с кальвадосскими товарищами...» И так странно, неестественно ему показалось, что Сергей Федосьев оказался в монастыре, в маленьком нормандском городе, что, быть может, здесь пройдут его последние годы... Впереди, высоко, горел огонек. Браун долго шел, рассеянно на него глядя. Вдруг он остановился пораженный, вспомнив свой сон. «Это огонь монастыря? Нет, просто фонарь...» Огонек горел как будто посредине мостовой, вспыхивая дрожащей звездочкой. «Все вздор,— сказал себе Браун,— самый обыкновенный фонарь...» Пошел дальше, стараясь туда не смотреть;

---

[1] «Комитет действий ремесленников Кальвадоса» *(франц.)*.
[2] «Жубер, сапожник»... «Бакалея Савари»... *(франц.)*

но изредка, вопреки своей воле, все же бросал взгляд вверх: огонек, приближаясь, становился ярче. «Все вздор... Да, жалкая, убогая улица... Очень холодно,— вздрагивая думал он.— Да, не стоило приезжать... После разговора я зайду в кофейню, надо выпить грога: тоже в последний раз... С ним мы пили коньяк в Паласе... Что же он тут делает? Как проходит его день? Не круглые же сутки созерцательная жизнь? Что делает по вечерам? Или вот так, как я, тоскливо бредет по этой скучной улице, смотрит на этот фонарь?..» Огонь теперь горел близким, неприятным, почти ослепительным светом.

По правой стороне показался длинный, идущий уступами, забор. Браун догадался, что это началась монастырская усадьба. За забором уютно мигали огоньки. Тот огонь не имел к монастырю отношения. «Самый обыкновенный фонарь... Казался посредине потому, что загибается улица... Сейчас увижу Федосьева. Как спросить? О чем разговаривать с ним? Он и не ждет меня,— писал: «приезжайте весной...» Не объяснять же, что мне откладывать неудобно. Он предложил бы мне *свою* пещеру, для этого главным образом и писал... У тех, «при современном состоянии науки», есть и с одной стороны, и с другой стороны,— у него официально никаких сомнений быть не может. Его пещера со всеми удобствами, хоть на вид казалась еще жестче, еще тоскливей моей. Но при нашем с ним сходстве, при изомерии,— как могут быть разные пещеры? Вот сейчас и выясним»,— равнодушно думал Браун, подходя к огромной коричневой двери с глазком, с почтовым ящиком. Он позвонил. Огонь исчез за уступом стены.

Ничего не было слышно. Браун позвонил опять. На стене была надпись: «Eau de la ville» [1]. «Да, обыкновенно, просто, без условной поэзии, так и должно быть...» За дверью послышались неторопливые шаги. Что-то мелькнуло у глазка. Дверь отворилась. На пороге показался старый монах, в коричневой, дважды перевязанной веревкою рясе, с умным, спокойным, добродушным лицом. Браун поклонился. В ту же секунду он услышал издали звуки пенья.

— Что вам угодно? — ласково спросил монах.

— Нельзя ли увидеть... Федосьева? — сказал Браун, неясно вставив что-то перед фамилией. Монах попросил его войти. Обстановка передней была тоже самая простая,

---

[1] «Вода» *(франц.)*.

будничная, не поэтическая. Звуки пенья стали слышнее: вероятно, где-то в соседнем помещении происходила спевка хора. Браун прислушался. Мелодия показалась ему знакомой. Слышны были и слова,— не латинские, а французские: «Ayez pitié de l'angoisse de tant de cœurs affligés...» [1] — разобрал Браун. Он только теперь с неловким чувством заметил, что по дороге усиленно настраивал себя на иронический тон. «Нет, все это очень просто, хорошо, даже величественно. Никакой поэзии и не надо...»

— Его сейчас нет,— ответил монах.— Вы могли бы повидать его завтра утром, в приемные часы.

— Мне необходимо сегодня. Никак нельзя?

Монах помолчал, внимательно в него вглядываясь.

— Сейчас его нет. Вероятно, скоро вернется. Если вам необходимо, вы могли бы, пожалуй, наведаться опять, через полчаса. Но лучше завтра...

— Если можно, я хотел бы сегодня,— повторил Браун, стараясь вспомнить мелодию, которую пел хор. Ему показалось, что это из Баха.

— Вы нашего прихода?

— Нет... Я живу в Париже и сегодня должен вернуться обратно.

— Тогда, конечно, приходите опять. Через полчаса или через час. Лучше через полчаса.

— Очень благодарю.

Монах проводил его. Снова тяжело отворилась дверь. Браун поклонился и вышел, еще раз поблагодарив монаха.

Было очень холодно. Браун пошел вверх по той же длинной угрюмой улице. Людей встречалось все меньше. «Да, это прекрасно. Но каждому свое: это не для меня. Я так не прожил бы и трех дней... Покой? Впереди и у него то же беспокойство — большое беспокойство... В сущности, все, что он мог сказать мне, я там услышал, ничего не добавишь. Вернуться через полчаса? Зачем?..» Он вступил в полосу света и взглянул на часы: до отхода поезда в Париж оставалось еще много времени. Браун увидел, что незаметно для себя подошел к тому самому фонарю. Навстречу по улице спускался старый сгорбленный человек. «Да, зайти еще раз можно, времени хватит. Но о чем же мы будем говорить? Ничего, кроме муки, из этого не выйдет... Разве написать ему? Там был почтовый

---

[1] «Смилуйтесь над сердцами страждущих...» *(франц.)*

ящик... Да, конечно, разговаривать не надо и незачем...» Старый человек вошел в полосу, освещенную фонарем. В ту же секунду Браун узнал Федосьева.

У стойки убогой кофейни двое мастеровых в шерстяных жилетах весело болтали с толстой, на редкость безобразной хозяйкой. За столом три человека играли в карты. Все оглянулись на Брауна. Черная труба стоячей печки сначала шла вверх, затем горизонтально вдоль стены, и снова поворачивала под прямым углом. «Все три измерения,— подумал, садясь, Браун,— там, говорят, будет четвертое... Но вот, надеюсь, такой физиономии там, в четвертом измерении, не будет, и это тоже утешенье...» — «Дайте мне,— сказал он хозяйке и остановился.— Дайте мне Перно и бумаги для письма...»

За дверью теперь было совершенно темно. По стеклу наискось шла надпись белыми буквами. «Отлично сделал, что не окликнул его. Едва удержался, но отлично сделал... Он состарился лет на двадцать... Если б он увидел меня, он, верно, сказал бы обо мне то же самое. Что там написано, на той стороне?» — соображал Браун, глядя на черное стекло. «Две... пять... девять букв. Так и мы отсюда стараемся разобрать, что там, по ту сторону... Если разберу, то сегодня, а не разберу, так отложить на три месяца? Увижу в печати «Ключ», послушаю, что скажут люди...» Он не столько прочел, сколько догадался: написано было «téléphone»... «Ну, вот, и тут выходит, что нельзя откладывать. Очень хорошо, слушаю-с, очень хорошо...» Браун дрожал все сильнее. От печки шел жар. «Этак можно и простудиться...» — «Eh bien, mon vieux, rien que pour le plaisir d'assister à ton enterrement...» [1] — говорил мастеровой. Хозяйка захохотала. «De la bière, vous autres, là-bas!» [2] — закричал один из игроков. «Вот для них Бах написал Magnificat... А я себя убеждал много лет, что люблю народ... Но это не идет к делу... Я думал не об этом...» — Хозяйка принесла стакан с желтой жидкостью, графин, истертый до дыр бювар. Браун взглянул на нее с отвращением, вынул карманное перо и принялся писать.

---

[1] «Ну, старина, ничего кроме удовольствия присутствовать на твоих похоронах...» *(франц.)*

[2] «Эй, вы там, пива!» *(франц.)*

XXXIII

«Простите, что не повидался с Вами. Я для этого, собственно, приехал из Парижа. Только что издали Вас видел и не остановил: вдруг почувствовал (именно почувствовал), что разговаривать нам было бы очень тяжело. Вы, вероятно, восхваляли бы мне преимущества Вашей пещеры перед моею. Я не мог бы ответить Вам тем же: своей не очень удовлетворен и не засижусь в ней. Но Ваша мне не годится. Искренно отдаю ей должное: ее достоинству, красоте и величию. Церковь давно уже (почти незаметно для нас) стала одной из добрых сил, все более редких в мире (как все напоминающее людям, что они все-таки не совсем звери). Мне неясно, зачем Вы переменили веру. Если б от православия осталась одна его несказанно-прекрасная панихида, то и этого было бы достаточно для его «оправдания» — и, конечно, не только эстетического. Но это Ваше дело. Знаю только, что мне с Вами не по пути и теперь.

Разрешите послать Вам написанную мною новеллу, из той книги «Ключ», о которой я когда-то Вам рассказывал. Скоро книга эта выйдет (сегодня отослал в типографию); надеюсь, Вы ее прочтете. А до того прочтите новеллу. Она называется «Деверу». Я хотел было назвать ее «Магдебургская кошка», да уж очень было бы литературно, то есть гадко.

Быть может, Вы истолкуете мою новеллу, как капитуляцию перед Вашим кругом мыслей,— и старым, и нынешним. Это будет неверно. Нет, в ней третий выход: не Ваш и не мой. Общего, годного для всех решения задачи — основной задачи существования — нет и, по-моему, быть не может. Думаю, что третий выход самый лучший и достойный,— для него нужно быть Декартом! Я не Декарт, хоть в меру сил, в лучшие свои часы, старался жить как надо: на высотах. Лучших часов было не так много. «Начать новую жизнь»? Какую-нибудь новую жизнь можно было бы придумать. Но поздно мне искать 1002-ую ночь.

Из пещеры человек вышел, в пещеру и возвращается, только в другую. В сущности, так же смотрите на дело и Вы,— Вам угодно выражать это иными словами. Не могу сказать, чтобы слова Ваши обо мне были очень добры. Есть люди, притворяющиеся праведниками,— этот вид притворства тоже может войти в привычку: результат превосходный. Вы, Сергей Васильевич, к числу таких людей не принадлежите. В кротости надо упражняться дол-

го и ежедневно,— вот как Бах каждое утро, чтобы набить себе руку, писал по бессмертному хоралу. Не скрою, многое раздражило меня в письме Вашем. Приписываю это впрочем тому, что Вы всегда были спорщиком (большой недостаток для политического деятеля). Не знаю, зачем Вы заговорили о нашем прошлом. Политика больше ни Вас, ни меня не интересует. Думаю, многое можно бы забыть после всего того, что случилось, после нашей совместной работы. Во всяком случае не могу доставить Вам удовольствия: не могу признать, что Вы во всем были правы, а я во всем ошибался.

Охоты к такому спору у меня нет никакой. Если Вы ограничитесь утверждением, что для тех, кто так смотрит на мир, на жизнь и особенно на людей, как смотрю я, как смотрели прежде Вы, что для них больше подходит реакционная политическая «вера», чем либеральная,— мои возражения сохранят силу, хоть горячности в них еще убавится. Но Вы хотите быть правым до конца, полностью, на все сто процентов. Нет, я должен очень с Вами поторговаться: каяться, Сергей Васильевич, так уж вместе. Мир лежал и лежит во зле, попытка же коренной его починки почти неизбежно влечет за собой зло, в тысячу раз худшее. «Мы» это упустили из виду,— «наш» грех. Но Вы, сторожившие свой мир с его долей зла, отчего вы так легко все отдали, почему ничего не уберегли? Подумайте, какой принцип был у Вас, какая давность для исторических грехов, какая мощная инерция столетий! Подумайте: за всю историю России лучшим, умнейшим царем нашим был Лжедимитрий, первый русский либерал, демократ и западник,— погиб же он оттого, что был самозванцем: иными словами, нельзя было доказать, что он в самом деле родной сын такого хорошего человека, такого прекрасного царя, как Иван Васильевич! Вот какой капитал у вас был в руках, и вы его отдали почти без сопротивления. Только этим доводом и пользуюсь: в споре с Вами он должен заменить сотню других. Я плохо верю в медицину, но не думаю, что надо лечиться у знахарей. И если «Бюхнером и Молешоттом» корили «нас» почти полвека, то, быть может, было бы справедливо и в философии, и в политике не совать теперь «Бюхнера и Молешотта» — наизнанку. Мосье Омэ действительно глуп, однако не все над ним издевающиеся много умнее его.

«Демократией» же Вы меня попрекаете, право, напрасно. Дарю Вам своих тяжеловесов глупости, они стоят Ваших. История государственной власти — смена одних видов саранчи другими. И мы с Вами не для того ра-

зошлись по пещерам, чтобы обсуждать, какая саранча лучше. Но уж если обсуждать, то, по-моему, гораздо лучше и безвреднее наша. В демократии мне нисколько не дорога сущность: чувствую себя в состоянии обойтись без народного голосования; но зато мне очень нужны и дороги ее «аксессуары». Мне дорога свобода мысли (этого подарка я Вам, простите, не сделаю). Дал бы ее царь, принял бы его с благодарностью: так же, если б дал ее диктатор,— хоть мне диктаторы, в отличие от царей, в большинстве очень противны просто как люди. Что ж делать, у царей и диктаторов ее не получишь. Я не знаю, был ли у Вас в свое время «идеал»? Плохо верю в идеалы и в идеализм государственных людей. Но если какой-нибудь «феодальный» идеал был, то признайте, что от него ничего не осталось: туз побил короля. Может быть, история расправится и с тузами (любви к ним большой не чувствую),— глава «возвращение монархов» мало вероятна, хоть и невозможного в ней нет ничего. В эстетическом смысле ее можно было бы и приветствовать, я не отрицаю.

Мне совестно писать Вам все это — сплеча, кратко, плоско. И у меня ведь есть или еще недавно была своя beata solitudo[1]. Не такая beata, как Ваша, но на улицу выходить не хочется. Не стал бы и сейчас думать об улице, если б не странные замечания Вашего письма. Актер, игравший десятилетиями королей, и по уходе из театра ласково-величественно кивает головой знакомым. Не вытравили и Вы в себе старого человека. Что ж, и Вам и мне много простится, потому что (не сердитесь) оба мы много ненавидели.

С гораздо большей силой это впрочем сказалось в другом Вашем замечании,— об «убийстве» Фишера. Признаюсь, с немалым удивлением убедился я, что ночной наш разговор в Петербурге, накануне нашего бегства, как будто не вполне рассеял Вашу давнюю idée-fixe. Очень об этом сожалею, помочь Вам никак не могу: я не специалист по борьбе с навязчивыми идеями. Я Вам тогда сказал чистую правду. Отлично понимаю, что в романтическом и иных смыслах было бы превосходно, если б я убил Фишера, и меня по этому случаю замучила совесть. Но я его не убивал: его и вообще не убивал никто, он умер естественной смертью, именно так, как я Вам рассказал. Магдебургская кошка повела Вас по ложному следу (все забываю, что Вы еще не читали моей новеллы). Вас это

[1] Прекрасное одиночество *(итал.)*.

поразило как разведчика: поэта или философа могло бы поразить символикой, о которой я распространяться не стану. Но катастрофой мне эта история не грозила,— грозила только неприятностями: уж очень грязны были и Фишер, и его квартира, и его женщины, и его смерть. «Огласка чрезвычайно неприятна», как Вы же мне когда-то говорили. Мне и самому странно, что, мало боясь в жизни подлинных опасностей, не слишком боясь смерти, я неприятностей всегда боялся, боялся даже «общественного мнения»,— вот как слоны панически боятся крыс.

Помните ли Вы наш разговор о мирах А и В? Вы тогда его отнесли ко мне не только ядовито, но и верно. Мой мир В был не хуже и не лучше, чем у других людей. Но показывать его сыщикам и газетчикам у меня охоты не было. Позднее, перед нашим бегством, Вы мне говорили, что «уважение к самому себе» выдумали английские сквайры. У меня это выдуманное чувство было, и мой мир В сам по себе на него не очень посягал,— посягнула бы на него именно улица. Вот и все. Воспоминание об этом деле и сейчас одно из самых гадких в моей жизни: уж очень близко от меня проскользнула тогда поганая кошка! Но не менее постыдные воспоминания есть у каждого из нас. У кого, Сергей Васильевич, нет мира В? (у всех он, в сущности, сходный). Во всяком случае, не было в этом деле, то есть в моей в нем роли, ни трагедии, ни фарса, и никакого прямого отношения к дальнейшей моей судьбе оно не имело,— разве только, что жизнь стала мне еще противнее, а она была мне достаточно противна и до тех пор. Разумеется, я нисколько не исключаю возможности, что Вы и следователь Яценко, при ином стечении обстоятельств, могли признать меня убийцей Фишера или тайным большевистским агентом. Отчего бы и нет? В жизни нет ничего, кроме случая,— обычно скверного. Остается удивляться, что находятся умные люди, серьезно убежденные в существовании направляющей силы в мире, и даже силы разумной, и даже силы доброй! В тот миг, когда Земля столкнется с другой планетой и разлетится вдребезги, люди эти скажут, что новая разумная жизнь начинается на Сатурне.

Обо всем этом, то есть о деле Фишера, мне и смешно, и неловко писать Вам. Не в моей, а в Вашей биографии эта страница знаменательна: пересмотрите, с этой точки зрения, всю свою прежнюю жизнь. Забавнее всего будет, если Вы и сейчас мне не поверите. Уж очень видно сильна в Вас эта навязчивая идея, если вы *теперь*, не с Фон-

танки, а с rue d'Auge, сочли возможным написать мне об этой истории, символической во многих отношениях. Понимаю, конечно, что у Вас (кроме рецидива Фонтанки) могут быть соображения от rue d'Auge: на случай, если б Ваше толкование было верным, Вы, так сказать, протягиваете мне ключ к *Вашей* пещере. Искренно благодарю, но воспользоваться не могу, и толкование Ваше выдумано от первого слова до последнего, и повторяю, делать мне в Вашей пещере нечего. Даже в том случае, если *там* бессмертный дух кошки не издевается над бессмертным духом мыши.

Боюсь, что письмо мое сумбурно,— я нездоров или, вернее, тяжело болен, физически во всяком случае, быть может и душевно. Чувствую, что впадаю, в последнее время все чаще, в плоский и грубый тон. Не сочтите этого неуважением к Вашему новому кругу мыслей: повторяю, отношусь к Вашей пещере с величайшим уважением и с завистью. Оба мы рассчитались с миром,— Ваш счет много счастливее, чем мой. Каждому свое. Я грешную смерть Пушкина всегда понимал лучше, чем благостную смерть Толстого. Вы упрекаете меня в элементарном подходе к жизни,— «суета сует, это старо, надо бы придумать что-либо другое». Ничего не поделаешь, жизнь элементарна и в самой сложности своей. От всей души надеюсь, что для Вас не придет час паломничества к Соломону.

Вы пишете о надвигающейся на мир катастрофе. Не спорю. Все то, что привилегированные люди могли отдать без кровопролития, они уже отдали. В остальное они вцепятся зубами — и будут правы, ибо на смену им идут дикари под руководством прохвостов. Уголовный кодекс прав: грязь лучше крови, жулики лучше бандитов, тем более, что жулик сидит и в бандитах. А выбирать из разных шаек надо все-таки наименее опасную.

Внешнему хаосу соответствует хаос внутренний: распад душ, j'en sais quelque chose [1]. Распалась и моя душа,— что ж мне жалеть о жизни! Большое, очень большое явленье медленно выпадает из мира, заменить его нечем, и пустоту скорее всего заполнит дрянь, которую, после некоторой давности, назовут гораздо вежливее,— как вековую грязь называют патиной времени. Появятся, уже появились новые идеалисты. Идеализм их наглый и глупый, зато у них твердая вера в себя, у них душевная целостность, в своей мерзости еще невиданная в истории,— будущее принадлежит идеалистам хамства. Но мне все это теперь довольно безразлично:

---

[1] Об этом я кое-что знаю *(франц.)*.

Sois ce que tu voudras, nuit noire, rouge aurore... [1]

Желаю Вам — без уверенности — счастья, всякого, какого хотите,— *Вашего.*

Глубоко уважающий Вас Александр Браун».

XXXIV

Черный кран вцепился в тележку, медленно поднял ее и потащил куда-то вдаль. Сбоку дрогнула и передвинулась на одно деленье красная огненная стрелка огромных часов. Браун, подняв воротник пальто, медленно ходил взад и вперед по перрону. За стеклом, в уютно освещенной небольшой комнате пожилой краснолицый человек с видимым удовольствием ставил печать на листках. Слышался однообразный, неизвестно откуда идущий свист. Слегка пахло гарью, и запах этот рождал неясные, старые, приятно-волнующие воспоминания. Впереди светились разноцветные, точно игрушечные, огни. За решеткой клетки тяжело опускалась в подземелье, как в преисподнюю, грузовая подъемная машина.

Далеко на полотне низко над землей передвигалась красная светящаяся точка,— кто-то шел с фонарем вдоль стоявшего на запасном пути нескончаемо-длинного товарного поезда. Черная старушка спала в кресле, в ярко освещенной комнате с стеклянной дверью. Краснолицый человек все продолжал ставить печати,— и было в нем, в его листках, в освещении комнатки, в стоявшем у стены большом кожаном диване что-то уютное, ласковое. «Вот так и надо было прожить свой век... Но это от меня не зависело... Она вот как тот кран,— подхватит, перенесет, куда-то выбросит... А если бороться нельзя, то маленькая — очень маленькая — доля утешения в том, что сам помогаешь крану, по крайней мере в выборе времени...»

На перрон стали выходить люди. Одуряюще-протяжно просвистел свисток. Краснолицый человек с сожалением отложил листки и вышел из своей комнаты. Черная старушка проснулась, ахнула и бросилась к носильщику. «Нет, нет, это скорый поезд в Париж. До вашего еще больше часа»,— сказал носильщик, видимо очень этим успокоив старушку. Она вопросительно взглянула на Брауна: верно ли, что поезд в Париж? — и тотчас испуганно отвернулась. Два красных огонька сбоку над полотном погасли, вспыхнули

---

[1] Будь кем хочешь, темной ночью, алой зарею... *(франц.)*

желтые, опять страшно загудел свисток и вдали показался огненный глазок паровоза. Девочка, провожавшая отца, с ужасом, как к пропасти, приблизилась к рельсам и, скосив голову, заглянув в сторону, попятилась назад. «Elise, mais tu es folle!..» [1] — послышался отчаянный крик. С тяжелым грохотом, сдерживая ход, подкатил скорый поезд. Отец семейства наскоро всех перецеловал, подхватил левой рукой чемодан, и с решительным видом принялся отпирать тяжелые дверцы вагона.

Метрдотель с легким неудовольствием сказал, что обед начнется только в семь часов тридцать. Браун, не отвечая, сел у окна. Другой лакей помоложе, пробегавший по вагону с непостижимо-громадной грудой серо-голубых тарелок на одной руке, остановился перед ним с вопросительным видом. «Un porto sec» [2],— сказал Браун, глядя на него мутным взглядом. «Oui, Monsieur... Un porto rouge, un» [3],— с удовольствием прокричал, уносясь куда-то, лакей. За окном сверкнули красные огни. «Вот и вокзала больше не увижу... Тогда и об этой будке пожалей, старый дурак!..»

Поезд все ускорял ход. Уютно-печально стал накрапывать дождь. Капли неровно стекали по черному стеклу. Сверкали огни, металась вверх и падала телеграфная проволока. Лакей принес портвейн. «Посетите Шотландию»,— приглашало объявление на красном дереве стены. «Монте-Карло, спорт и солнце»,— заманивало другое объявление. Когда-то все это составляло одну из лучших радостей жизни. В этих нехитрых объявлениях тоже было что-то непостижимо-сладостное, как в старых, заигранных, именно в заигранности прелестных мелодиях, вроде песенки «Санта Лючия» или интермеццо «Сельской чести», которые подтягивает каждый кто их слышит. Браун вспомнил, что купил в Париже газету. В обзоре печати ему бросилось в глаза имя Серизье. Приводились наиболее замечательные отрывки из его очередной статьи: «Notre foi demeure» [4]. Браун взглянул на третью страницу и убедился, что читать не может.

Суровый метрдотель подошел к нему и сказал, что сейчас начнется обед.— «Это место занято, но если мосье угод-

---

[1] «Элиза, ты с ума сошла!..» *(франц.)*
[2] «Один портвейн» *(франц.)*.
[3] «Да, сударь... Один красный портвейн» *(франц.)*.
[4] «Наша вера живет» *(франц.)*.

но остаться, то еще есть свободные столы».— «Да, да,— ответил Браун с внезапным оживлением,— что у вас сегодня? Ведь à la carte[1] нельзя?» — «К сожалению, во время обеда невозможно,— мягче ответил метрдотель,— но если мосье угодно заказать какое-либо экстра, то я скажу повару...» — «Вот, вот,— торопливо сказал Браун,— и вина получше. Какого бы вина?..» Он долго изучал карту,— «всех в последний раз не попробуешь»,— и спросил шампанского.— «Полбутылки прикажете?» — «Целую бутылку... Или нет, полбутылки шампанского и полбутылки вот этого Шато-Латур. А до того дайте мне еще портвейна... Или лучше что-нибудь другого. У вас есть херес?» — «Превосходный, из нашего запаса, мосье может быть уверен, что это...» — «Вот, вот, дайте мне хереса». Смягчившийся и изумленный метрдотель объявил, что мосье может оставаться на этом месте, если оно ему нравится: «Номер я переменю».— «Ах, да, ради Бога!..»

В вагон-ресторан входили хорошо одетые, по дорожному празднично настроенные люди, и, весело переговариваясь, занимали места. Браун жадно ел, пил и, вздрагивая, что-то бормотал, к недоумению сидевшего против него старичка в сером костюме.— «Vous dites, Monsieur?» [2] — спросил, наконец, вежливо старичок. «Папиросы Честерфильд»,— сказал Браун, глядя поверх головы старичка на объявление. Старичок вытаращил глаза и поспешно налил себе минеральной воды. Дождь шел все сильнее, на створках стекла обозначились мутные пятна, как от крошечных пальцев. Браун пил кофе, ликеры. «Неприятная дрожь... Значит, простудился там, у печки, это очень печально...» — «Очень печально»,— повторил он вслух. Вежливый старичок расплатился, не допив липовой настойки, и ушел с легким, ни к кому в частности не относившимся поклоном. Вагон стал пустеть.

«Но, может быть, рано, как ни безупречно рассуждение? Может быть, и второй удар будет нескоро? Разве нельзя покончить с собой и после того?» — «Нет, тогда будет поздно, тогда паралич сознания и воли...» — «Но разве паралич наступает мгновенно? Проблески сознания остаются, и не так уж хитро произвести последний опыт... Вот, Монте-Карло, sport and sun[3]. Отчего не съездить еще на юг? Разве можно умереть, не простившись с Италией? Не

---

[1] Порционное (*франц.*).
[2] «Что, сударь?» (*франц.*)
[3] Спорт и солнце (*англ.*).

увидев в последний раз Венеции, Рима, не услышав аромата апельсинных садов?.. Да и без Италии живут ведь люди, находят чем жить, есть ведь простая жизнь: «какая хорошенькая!..» «малый шлем без козырей!» «выпьем-ка водочки!..» Ведь *туда* не опоздаешь...» Всякий раз, когда ему приходили в голову эти мысли, тысячу раз передуманные, он испытывал невообразимое облегчение,— так беспрестанно спасался и снова погибал уже не одну неделю. Лакеи убрали скатерти, на столах появился войлок, убавили света в другой части вагона. Из кухни выглянул повар, с распаренным багровым лицом.

— Мосье, через десять минут мы будем в Париже,— сказал метрдотель.

— Да, я очень рад,— ответил Браун. Он встал и пошел, пошатываясь, к двери. Метрдотель смотрел ему вслед с таким же недоумением и испугом, с какими смотрели на Брауна все люди, встречавшие его в тот вечер.

XXXV

Свистки стали учащаться. Поезд остановился. Браун вышел из вагона и направился к выходу. У решетки его остановил контролер. Расстегнув пальто, он достал билет из жилетного кармана, почувствовал холод и страшную усталость. Отделившись от толпы пассажиров, Браун отошел к боковым дверям и, дрожа всем телом, простоял там несколько минут, бессмысленно вчитываясь в иностранную надпись над дверьми. «Liverado...» [1] Что такое liverado? От чего liverado? Да, все это был вздор: и Венеция, и запах апельсинных садов, и Рим... Из-за шампанского менять решение невозможно. Все лучше, чем то... Трусом никогда не был, не был и неврастеником... «Liverado de pakajoi...» Это не освобождение, это багаж, а я пьян или совсем схожу с ума, и некстати: кончать с собой, так просто, спокойно, не работать на психиатров,— «в состоянии невменяемости». Хороша невменяемость!..» Вдруг наверху загремел голос: «Allo! Allo!..» Браун с ужасом поднял голову. Громкоговоритель извещал о предстоящем отходе поезда. «Да, «повестка», «голос свыше», пора...» Он сорвался с места и пошел к выходу. Над лестницей, на зеленом барабане, вспыхнула белыми огнями надпись: «N'avez vous rien oublié?..» [2]

---

[1] Освобождение от... *(исп.)*
[2] «Вы ничего не забыли?» *(франц.)*

Накрапывал мелкий холодный дождь. Бульвар, понемногу оправлявшийся от войны, горел огнями, отсвечивавшими в окнах магазинов, в засыпанных листьями лужах у бортов тротуара. Все эти огни — золотые, красные, зеленые, синие, постоянные, вспыхивающие, горизонтальные, вертикальные, косые, размещенные всюду, где только можно было их устроить, говорили одно и то же: купи, возьми, продается. И то же говорили женщины, в одиночку и попарно гулявшие по пустому бульвару. Браун шел, все ускоряя шаги, не зная, куда и зачем он идет. Проститутки оглядывали его беглым взором, и не одной из них казалось, что с этим иностранцем дело было бы не безнадежно. «Tu ne viens pas, chéri?» [1] — сказала проститутка. «Liverado de pakajoi»,— произнес он и засмеялся. Женщина отшатнулась. «Il est un rien dingo, le pauvre tipe!» [2],— сказала она подруге. «Вот до того дома еще дойду»,— объяснил себе он, с трудом справляясь с дыханием. Далеко впереди, сверху вниз, во всю высоту пятиэтажного дома, огромными красными буквами, по одной, зажигалась и гасла какая-то вертикальная надпись. «Кинематограф? Притон? Да, да, старайтесь! Это для вас старались Фарадеи, Эдисоны... Для вас — для нас... Благодарить, так и за это...» Дрожащий от холода человек в легком пальто, в продырявленном котелке, нерешительно протянул ему рекламу лечебницы венерических болезней. «Вот, вот — и вас благодарю»,— по-русски вслух сказал Браун. На углу боковой улицы висела огромная, многоцветная, с желто-красными фигурами, чудовищная афиша кинематографа, залитая синим светом, страшная неестественным безобразием. «На дон Педро работали, товарищ Фарадей... Это судьба хочет облегчить мои последние минуты: в самом прекрасном из городов показывает все уродливое... Да, так уходить легче... Знаю, знаю, что есть другое, мне ли не знать? Прощай, Париж, благодарю за все, за все...» Он почти бежал. Проезжавший шофер замедлил ход, вопросительно на него глянул. Браун, задыхаясь, сказал свой адрес. «Только скорее, прошу вас, возможно скорее, я спешу...» Сердце у него билось все сильнее. «Может не выдержать, это было бы еще проще. Хоть и так все просто, все очень, очень просто...»

Поднял стекло вытяжного шкафа и вставил в колбу заранее приготовленную пробку с двумя отверстиями: в

---

[1] «Пойдем, дорогой?» *(франц.)*
[2] Ненормальный! Какой-то мерзкий тип! *(франц.)*

одном была воронка с краном, в другом отводная трубка. Кран воронки вращался в отверстии туго. Браун старательно смазал его, вставил опять, насыпал в колбу цианистого калия из банки, в воронку налил кислоты. И тотчас, от привычных лабораторных действий, к нему вернулось спокойствие. «Последний опыт, но такой же, как все другие... Первый был большой радостью, может, лучшей в жизни. Ну, и отлично. Всего понемножку... Хватит и науки, хватит и открытий. Обеспечено место в двух ближайших изданиях Бейльштейна, а то и в трех»,— с улыбкой подумал он уже совершенно спокойно.

Он сел в кресло у письменного стола, с удовлетворением прислушиваясь к себе. «Вот так, так отлично, произведу последний опыт, так же, как все другие: не спеша, не волнуясь, прилично, как подобает настоящему человеку. Что, страшно, настоящий человек? Страшно, да не очень. Что же обдумать еще? «Припомнить всю свою жизнь»? Нет, надобности никакой нет. Но умираешь только раз, надо же почувствовать, что сейчас умрешь... Вот как там на вокзале: «Вы ничего не забыли?..» Нет, кажется, не забыл ничего. «Прошу никого не винить»?.. Разберут и так...» Мысль его перебегала по самым разным предметам, останавливаться ни на чем не было ни силы, ни охоты. «Да, можно приступить...» Почему-то на цыпочках (хоть в квартире никого не было) он обошел все комнаты, вернулся, затем еще постоял перед книжными полками. «Жаль, «Федона» нет, очень жаль...» Вышел в лабораторию, широко, настежь, отворил окно, стало холодно. «Простужен, совсем простужен»,— подумал он с той же слабой улыбкой. Лицо его было смертельно бледно. Туман заволок сад с голыми деревьями. Дождь прекратился. В беззвездном небе не было видно ничего. Со вздохом Браун оторвался от окна, подошел к вытяжному шкапу, сел на высокий табурет. Сердце опять застучало. Расширенными глазами он взглянул в последний раз по сторонам, наклонил голову и взял в рот старательно оплавленный конец отводной трубки. Кран повернулся легко, гладко, без скрипа.

XXXVI

«UN CHIMISTE PUSSE SE SUICIDE A PARIS

Un savant chimiste russe, M. Alexandre Braun, s'est suicidé hier soir à Paris, dans son domicile, rue..., en respirant une forte dose d'acide cyanhydrique qu'il a fait dégager dans un curieux

appareil de sa construction. Le docteur Braun, grand ami de la France, habitait notre pays depuis de longues années. On lui doit des recherches très appréciées pour lesquelles il a reçu, il y a quelques années, le fameux prix Ravy. Il s'occupait aussi de philosophie. Sa disparition prématurée sera très vivement ressentie dans les milieux scientifiques français et étrangers, ainsi que dans la colonie russe où il ne comptait que des amis.

L'enquête confiée à M. Duruy, commissaire de l'arrondissement, put établir que M. Graun avait des ressources largément suffisantes pour subvenir à ses modestes besoins de savant. On attribue son acte désespéré aux chagrins d'amour doublés d'une crise de nostalgie aigüe.

M. Duruy a pu recueillir des renseignements utiles à son enquête chez une dame de la plus haute société britannique, très liée avec le défunt. Cette dame que nous avons pu approcher un instant et dont l'élémentaire discrétion nous retient de dévoiler le nom, parle français sans le moindre accent. Paraissant très affectée, elle a librement laissé éclater sa douleur.

Après les formalités d'usage, le corps a été transporté à l'Institut médico-légal»[1].

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ТРИЛОГИИ «КЛЮЧ» — «БЕГСТВО» — «ПЕЩЕРА»

Второй том «Пещеры» заканчивает трилогию, над которой я, с перерывами, работал более десяти лет. Боюсь, что читатели ее конца давно забыли начало. Писатель не

---

[1] «РУССКИЙ ХИМИК ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ В ПАРИЖЕ

Русский ученый-химик г-н Александр Браун покончил с собой вчера вечером в Париже, у себя дома, на улице.., вдохнув большую дозу паров синильной кислоты, которые ему удалось получить в оригинальном аппарате собственной конструкции. Доктор Браун, большой друг Франции, жил в нашей стране много лет. За весьма ценные исследования несколько лет назад был удостоен премии Рави. Он занимался также философией. Его безвременная кончина будет остро воспринята во французских и иностранных научных кругах, а также русской колонией, где у него были только друзья.

Следствие, порученное г-ну М. Дюрюи, окружному комиссару, смогло установить, что г-н Граун (так в тексте — *ред.*) имел вполне достаточно средств для скромной жизни ученого. Его акт отчаяния объясняют несчастной любовью, обостренной приступом ностальгии.

Во время расследования г-н Дюрюи смог получить полезные сведения у одной дамы из высшего британского общества, тесно связанной с покойным. Эта дама, к которой нам удалось на мгновение приблизиться и имя которой по понятным соображениям мы не можем назвать, говорит по-французски без малейшего акцента. Она очень скорбит, глубоко пораженная этим известием.

После обычных формальностей тело будет перевезено в Судебно-медицинский институт» *(франц.)*.

всегда пописывает, но читатель почти всегда почитывает, и это не может быть иначе, особенно в наше время. Автор не вправе требовать чрезмерно напряженного внимания от людей, читающих его книги. Поэтому, быть может, ему позволительно кое-что разъяснять и самому (согласно довольно многочисленным примерам в литературном прошлом). Я этим правом не воспользуюсь; хотел бы сказать лишь несколько слов.

Иностранный критик первых двух томов трилогии в предположительной форме обратил внимание на то, что она отдаленно, намеками, связана с моей исторической серией «Девятое Термидора» — «Чертов мост» — «Заговор» — «Святая Елена, маленький остров»: как будто иногда проходят те же или сходные положения,— критик выразил мнение, что это не могло быть случайно, таково, вероятно, было намерение автора. Это замечание, разумеется, справедливо. Мне казалось, что авторский замысел здесь вполне очевиден; в настоящей трилогии из современной жизни изредка появляются те же предметы, которые были в моих исторических романах,—вещи ведь переживают людей. Эта подробность связана с более общим вопросом.

В моих исторических романах я пользовался приемами стилистического подчеркивания. Так, например, похоронная процессия в «Девятом Термидоре» написана фразами равной длины, а приближение кавалерийского отряда генерала Бонапарта в «Чертовом мосте» — фразами с равномерно нарастающим числом слов. От этих приемов я давно отказался,— не оттого, конечно, что боялся упрека в «вымученности», который мог бы быть мне сделан, а прежде всего потому, что остались эти приемы совершенно незамеченными и следовательно художественной цели не достигли (пользоваться типографскими способами, треугольничками, печатаньем не с начала, а со средины строчки и т. п. я никак не хотел). Но уж во всяком случае символику романа было невозможно подчеркивать звуковыми приемами. И между тем настоящая трилогия есть произведение символическое, со всеми недостатками этого литературного рода,— помимо недостатков ей особо присущих.

Автор

Истоки

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В этот день, 11 января 1874 года, Николай Сергеевич Мамонтов, как многие жители поздно встававшего Петербурга, проснулся гораздо раньше обычного времени. Он растерянно поднялся на постели, щурясь от заливавшего комнату света, низко опустив голову, и прислушался: «Что за черт? Что такое случилось?»

Гул выстрелов был очень силен; номер гостиницы выходил окнами на Исаакиевскую площадь. Мамонтов не сразу догадался, что это салют. Потом выругался, зевнул и опять опустил голову на подушки, лениво считая выстрелы. «Ну, хорошо, не довольно ли? Я решительно ничего не имею против их свадьбы, но зачем они мешают людям спать? Семь... восемь... Я думал, началась революция... Кажется, что-то о революции и снилось... Довольно... Право, довольно!.. Не хочу, чтобы больше стреляли...» Мускулы на его худом, приятно-некрасивом лице обозначились сильнее, точно от физического усилия. Но попытка подавить салют усилием воли не удалась. «Значит, завтра «новая жизнь»... Но и старая была очень, очень недурна... Стоит ли уезжать?..»

Яркий свет резал глаза: одно из окон было против кровати, Николай Сергеевич никогда не опускал штор. «Что же сейчас делать?» — зевая, спросил себя он. Все скучные дела уже были кончены. «Можно встать, а можно лежать в кровати хоть до полудня, и то, и другое недурно, и в *этой* свободе есть для меня большая прелесть. Что если она мне нужнее политической? — неожиданно подумал он и поморщился — Мысль довольно мещанская, Бакунину или Марксу я об этом не скажу. И о Кате не скажу...» На него как будто беспричинно нашла радость. Выстрелы наконец прекратились с последним глухим, долго замиравшим раскатом «Не поработать ли? Жаль, все в ящике. В солнечный день совестно поздно вставать...» Он вскочил и надел туфли, как всегда забившиеся под кровать дальше, чем было нужно.

Вид у комнаты был неуютный. Почти все уже было уложено. В углу стоял мольберт, под ним лежали гири — и то, и другое Мамонтов оставлял в гостинице. Вместо этого мольберта был накануне куплен складной и уложен в ореховый ящик с отделениями для палитры, для кистей, для красок. Старые краски, еще какие-то измазанные баночки, скляночки, трубочки, тряпочки были свалены в углу. В гостинице из-за этих баночек и скляночек к Николаю Сергеевичу относились без уважения, а Черняков, входя, морщился: «Почему твоя комната всегда имеет такой неряшливый вид? Неужели тебе нравится богемный жанр? Посмотрел бы на мой кабинет: ни соринки»,— на что Николай Сергеевич неизменно отвечал: «Молчи. Мастерские Тициана и Леонардо имели точно такой же вид». Черняков обычно оставлял за собой последнее слово: «Так то Тициан и Леонардо».

«Стенька Разин», не свернутый, на подрамнике, лежал в другом, большом, низеньком ящике. Мамонтов поднял крышку и ахнул: столь новой при взгляде сверху вниз показалась ему уложенная накануне вечером картина. «Точно и не я писал! — думал он, прищурив глаз.— Кажется, хорошо... Посмотрим, что теперь скажут люди... А Стенька у меня все-таки сусальный богатырь. На самом деле он был среднего роста. Картина, кажется, хорошая, но не искренняя или не вполне искренняя. Неправда, будто я так люблю *русскую удаль*. Эту любовь я взял из чужих мастерских, да и туда она попала из газет. Чем мне по-настоящему может нравиться Стенька? Кое-что взято у Василиев.— Два художника, которые ему нравились в Академии, Перов и Суриков, оба назывались Василиями.— Но я не останусь в исторической живописи, буду писать портреты». Он вздохнул, опять лег, взял со стола книгу «Отечественных записок» и дернул шнурок колокольчика. Никто не откликнулся — из-за наплыва иностранцев прислуга гостиницы была перегружена работой. Он дернул шнурок во второй, в третий раз. Наконец кто-то постучал в дверь. Мамонтов приказал подать самовар.

— Не забудьте, пожалуйста, принести льду,— добавил он. Всегда говорил прислуге «вы», что приводило ее в растерянность. Николай Сергеевич улегся поудобнее на трех подушках и открыл на закладке книгу; накануне начал читать роман какой-то дамы: «Попечитель Учебного Округа». «Ох, что-то уж очень скучно...» Он с вечера не верил ни в религиозный экстаз одной героини, ни в то, что в другой героине «все было бархат, начиная от кроткого блеска ее глаз до ласкающего шелеста ее платья». С утра в

романе появился «молодой надменный князь, с нахально-ленивым выражением лица и с несколько лошадиными зубами, через которые он пропускал отдельные фразы, фразы, ценившиеся в Петербурге на вес золота». «Как, однако, скверно пишет эта баба! И какое мне дело до князя с лошадиными зубами?» — подумал Мамонтов и из-под одеяла наудачу подтолкнул правой рукой книгу, которую держал в левой: вдруг откроется на интересном месте? Критик жаловался на полный упадок литературы: не только нет Шекспиров и Дантов, но некого поставить рядом с Тургеневым и Гончаровым, *даже* с Львом Толстым и Крестовским-псевдонимом [1]. «Критик еще глупее романистки»,— сказал Николай Сергеевич, обидевшийся за Льва Толстого: он недавно с тем же восторгом прочел во второй раз «Войну и мир» этого писателя, входившего в большую моду.

Мамонтов встал окончательно и занялся гимнастикой. «За границей можно будет купить гири фунта на три потяжелее. Сила пока растет и уменьшаться начнет не скоро». Тусклое зеркало отражало бицепсы — «сделали бы честь атлету, ну, не профессионалу, как Карло, а сильному любителю... Кажется, во мне начинает развиваться самодовольство. Но люди часто называют самодовольством просто сознание человеком своих сил. Что же мне, собственно, дает уверенность в своих силах? Комплименты профессоров и товарищей в университете, в Академии? Комплименты были большие. Однако это плохой признак, если человек чувствует себя способным ко всему. Катя восторгается мною искренне, но что же понимает в людях Катя? И влюблена она все же не в меня, а скорее всего в Карло, и ничего у меня с ней не будет и слава Богу: была бы грубая мещанская «интрижка»,— неуверенно сказал он себе. В дверь постучали. Мамонтов поспешно опустил гири. Ему всегда было неловко перед прислугой гостиницы и за гири, и за живопись, и за то, что он вставал часа на четыре позже слуг. Вместо лакея самовар принесла молодая горничная. Николай Сергеевич, бывший в ночной рубашке, поспешно сорвал с кресла халат, рукава, как нарочно, были вывернуты наизнанку.

— Виноват... Я думал, это Степан. Пожалуйста, поставьте сюда. Нет, я заварю сам... Что, кажется, очень холодно?

— Лютый мороз, барин,— ответила, улыбаясь, горничная.— Лед в ванной комнате. Неужто будете обтираться?

---

[1] Н. Д. Хвощинская-Зайончковская (1824—1889), популярная в 1870-е годы писательница, подписывала свои произведения «В. Крестовский-псевдоним».

— Да. Я привык.— Он хотел было игриво пошутить и не пошутил. Горничная сказала, что газета на подносе, и вышла с той же улыбкой, оглянувшись в дверях. Николай Сергевич с досадой швырнул на кресло халат, сердито посмотрел на свои голые ноги, и подумал, что ночная рубашка — идиотская вещь, фабрикантам давно следовало бы придумать что-нибудь получше.

Он заварил чай, срезал полукруг еще горячего, с осыпавшейся мучной пылью калача, густо намазал маслом обе половины рога и с наслаждением выпил два стакана чаю. Масла больше не оставалось. Николай Сергеевич налил себе третий стакан и съел весь калач, макая куски его в сладкий чай. «Просто неловко, надо было бы для приличия оставить хоть что-нибудь на подносе...» Он думал немного о миловидной горничной, немного о Кате, думал, что следовало бы заглянуть в газету, хоть в ней, наверное, ничего нет, кроме этих придворных торжеств. Однако не развернул газету, подошел к окну, отворил первую форточку, за ней вторую. «Ах, как хорошо!.. Особенно вон то: золото и снег. И то второе пятно кареты с красным, на розоватом снегу!..»

Крест, фронтоны, купол Исаакиевского собора были покрыты снегом. Дома были разукрашены русскими и английскими флагами. По площади неслись сани, запряженные парой вороных рысаков под сеткой. За ними, сильно отставая, тяжело меся снег, проехала придворная карета с людьми в красных ливреях. Верх кареты, цилиндр лакея были покрыты снегом. В разреженном тумане слабо видны были громады дворцов. «Уж не остаться ли? — нерешительно спросил себя Николай Сергеевич, с новой ясностью чувствуя, как он любит все это: этот великолепный, барский, самый барский в мире город, этот чудесный собор, эти пышные дворцы, даже тот памятник деспоту в кавалергардском мундире на невозможном коне. Да, красота!.. Философствующий граф-помещик, который так изумительно пишет, сказал бы, что красота умрет и что я застыну перед смертью, как застыл перед ней князь Андрей. Но что же мне делать, если я о смерти не хочу думать!.. Не остаться ли?.. Живописью можно заниматься здесь. Бакунин, Маркс не уйдут... И что же, собственно, я скажу Бакунину и Марксу? Ведь это все-таки будет книжный разговор, в котором я распущу перья: буду показывать свой ум, образование, революционные чувства, а они будут стараться заполучить лишнего сторонника — если они вообще будут со мной разговаривать... Могу ли я говорить с Бакуниным или с Марксом о себе, о том, что я не знаю, что с собой де-

лать, что я хочу жить и не знаю, как и для чего, не знаю, зачем вообще живут люди. Для них это скучное «само собой», о котором они и говорить не станут. Могу ли я сказать им о Кате? Об этой горничной, которой я чуть только что не предложил за любовь денег?.. Конечно, я сейчас несу вздор, но во мне, быть может, то единственное и хорошо, что я себе врать не могу. Другим могу... И сколько я ни убеждал себя, что «Капитал» доставил мне великое наслаждение,— не убедил. «Капитал» доставил только такую же умеренную радость, как в гимназии «Пифагоровы штаны» — «слава Богу, главное все-таки прочел, понял и заучил: ловкая штука...» И я знаю, что буду читать и перечитывать, быть может, всю жизнь, «Войну и мир» этого помещика, о котором в Европе, верно, никто никогда не слышал, а в «Капитал» больше в жизни не загляну, разве только нужно будет (хоть едва ли) написать ученую статью и кого-то посрамить какой-нибудь цитатой...»

В жарко натопленную комнату врывался морозный воздух. Мамонтов затворил форточку и надел халат, приведя рукава в порядок. Густо-синий цвет халата вызвал в его памяти вагоны первого класса. «Увижу теперь, что это такое... Во мне сказываются и черты «parvenu». Это более чем естественно: дед крепостной»,— как всегда, с мучительным чувством ненависти подумал он. В детстве он еще ездил по первым железным дорогам в вагонах зеленого цвета, потом, с ростом состояния отца, перешел на желтые и теперь впервые купил место в синем вагоне. «Завтра еду, как хорошо!» — опять подумал он, представляя себе все волнующее в отъезде: «П-п-пер-рвый звонок!», «Л-луга, Псков, В-вильна, В-варшава — втор-рой звонок!» ненужно-торопливую покупку газеты или папирос, ненужно-торопливый бег за носильщиком по перрону, затем радостное успокоение в уютной полутьме жарко натопленного вагона, отчаянный третий звонок — «Теперь звони сколько хочешь, я уже сижу!» — жуткий, точно случилось несчастье, свист, странно-слабый после звонков, ни для чего, наверное, не нужный звук рожка, нерешительно-тяжелый толчок, медленный уход вокзала, города, назад в пространстве и во времени — «кончилась глава!» — мысли о даме, сидящей в углу купе, о том, что будет к обеду, торжественное появление кондуктора с фонарем, с каким-то странным инструментом в руке, сообщение о близости большой станции, новый перебег по перрону с поднятым воротником пиджака, после морозного обжога счастливое тепло, радостная толкотня у буфета в освещенном зале, первая рюмка водки, поспешный выбор первой закуски.

В знаменитой гостинице были две ванные комнаты, которыми пользовались теперь англичане и американцы; русские предпочитали баню, а немцы находили роскошь дорогой. На пороге Николай Сергеевич вспомнил, что во внутреннем кармане пиджака остались деньги, вернулся (хоть тут ничего не крали) и сунул в карман халата бумажник. В нем были две тысячи рублей наличными и перевод в восемь тысяч на Ротшильда. С ними лежало и рекомендательное письмо к Бакунину. Его фамилия, разумеется, в письме названа не была. Из предосторожности не было даже имени-отчества в обращении. Вместо «Михаил Александрович» было написано «Mon vieux Michel» [1], хотя старик земец не так уж близко знал знаменитого революционера. Письма к Карлу Марксу достать не удалось: в Петербурге никто Маркса не знал, по крайней мере из людей, к которым мог бы обратиться Мамонтов. «Да Михаил Александрович сам вас направит к этому — как его? — к Марксу, ведь вы сначала едете в Швейцарию, а только потом в Англию»,— сказал старый земец. «Вот тебе раз! Они лютые враги»,— возразил Николай Сергеевич. «Лютые враги? — недоверчиво переспросил земец,— я думал, это одна компания». Мамонтову показалось, что он хотел сказать: «одна шайка». Он рассердился, но сдержал себя. «Ну-с, а что же вы, молодой человек, скажете о счастливом событии?» — прощаясь с ним, полусерьезно спросил земец. «О каком событии?» — «Я придаю ему большую важность: в первый раз Романовы *сочетаются узами брака* (он шутливо подчеркнул интонацией официальное выражение) с английским королевским домом. Все-таки, не говорите, родственные влияния имеют у них значение. Впредь британская конституционная монархия будет оказывать влияние на наше самодержавие. Возможно, что это начало новой эры в европейской истории».— «Отчего же только в европейской? В мировой, в мировой»,— сказал Николай Сергеевич. «Не шутите, молодой человек, не шутите. Да, да, я знаю, ваше поколение не верит в положительную работу. Все у вас разрушай да разрушай! Вот вы не верите, а Гладстон верит! Ведь этот брак состоялся не без него, он как его в Палате приветствовал! К Гладстону вы лучше бы ездили, молодые люди, а не к Марксу и не к Бакунину...»

11 января великая княжна Марья Александровна, дочь императора Александра II, выходила замуж за герцога Эдинбургского, сына королевы Виктории. Этому браку всей Европой приписывалось большое политическое значение. По случаю свадьбы в Петербург приехали высокие

---

[1] «Старина Мишель» *(франц.)*.

особы из разных стран, каждая в сопровождении большой свиты. Высокие особы и важнейшие из приближенных лиц жили в Зимнем дворце. Для людей менее значительных были сняты комнаты в лучших гостиницах, в их числе и в той, в которой жил Мамонтов. В коридорах, в hall'е, в ресторане ему беспрестанно попадались люди в непривычных его взгляду иностранных мундирах. Каждый вечер устраивалась иллюминация на главных площадях и улицах столицы. Газеты печатали сообщения о завтраках, обедах, приемах, балах.

Николай Сергеевич вернулся в свой номер, дрожа от холода. «Бесполезно было бы утверждать, что ванна со льдом в январе доставляет удовольствие...» Он таким образом закалял волю. Теперь недурно было бы выпить четвертый стакан чаю, если бы не было совестно. Покойный отец, вернувшись с завода, выпивал целый самовар»,— опять с неприятным чувством подумал он. Его отец скончался недавно, наследство все еще не было приведено в ясность: состояние осталось как будто немалое, однако очень запутанное. Наличных денег не было вовсе, был только завод и небольшое имение, приобретенное отцом на юге после получения дворянства. Долгов осталось много — в последние годы дела пошатнулись. Десять тысяч рублей, находившиеся в бумажнике Николая Сергеевича, были им взяты на год под вексель у купца-процентщика. Заключить заем было нетрудно, но купец, хорошо осведомленный о состоянии наследственного имущества, потребовал двадцать процентов годовых и уступил только два процента, которые, очевидно, собирался уступить с самого начала. «Велено потчевать, а неволить грех. Меньше не возьму, нельзя, Николай Сергеевич»,— говорил он почтительно и твердо; он точно подражал изображающим купцов актерам Александринского театра,— только что не разглаживал бороды. Мамонтов не умел торговаться. Подумал было, уж не взять ли в таком случае меньше: тысяч шесть? Решил все же взять десять, так как совершенно не знал, на сколько времени уезжает за границу и скоро ли будут закончены сложные дела, связанные с продажей завода (имение он любил и хотел оставить за собою).

Николай Сергеевич оделся, сел в кресло и развернул газету. В мире ничего важного не произошло,— он каждый день ждал,— вдруг прочтет сообщение о какой-нибудь революции или о походе за дело свободы, вроде гарибальдийских походов, о походе, в котором можно было бы принять участие. Унылая непонятная гражданская война шла в Испании: маршал Серрано кого-то разбил наголову,— хо-

тя как будто не очень наголову,— и требовал от французского правительства выдачи членов хунты, так как они не политические, а уголовные преступники. «Нет, в этой войне я участие не приму,— думал Николай Сергеевич с насмешкой одновременно и над собой, и над маршалом Серрано, и над хунтой (его смешило это слово),— вот и в этой тоже нет»; столь же унылая непонятная революция происходила в Сан-Доминго; кто-то свергнул президента Баэца, президент поспешно бежал, а впрочем как будто не бежал: по крайней мере его представитель в Лондоне называл сообщение о поспешном бегстве президента гнусной клеветой врагов. «Скажем, бежал, но не поспешно. Я думаю, самому Бакунину такие революции не интересны». Дизраэли вел хитрый подкоп под Гладстона, и из Лондона шли слухи, будто положение либерального премьера поколебалось. Во Франции правительство получило, после жарких прений, довольно приличное большинство голосов: 393 против 292. В Японии возможен приход к власти либерально-консервативной партии Ивакура. Либерально-консервативная партия окончательно нагнала скуку на Мамонтова. Он заглянул в некрологи,— умирали все светлые личности и люди кристальной душевной чистоты. Впрочем, большая часть газеты была отведена торжествам бракосочетания, ожидавшимся в этот день обеду и балу в Зимнем дворце. «...При питии за здравие играют на трубах и литаврах и производится в С.-Петербургской крепости пальба: за здравие Их Императорских Величеств и Ее Величества Королевы Великобританской и Ирландской — 51 выстрел; за здравие Высокобракосочетавшихся — 31 выстрел; за здравие Всего Императорского дома и Августейших гостей — 31 выстрел; за здравие духовных лиц и всех верноподданных — 31 выстрел...» Ему нравилась пышность петербургского двора, хотя он при случае говорил, что это грабят русский народ. «Все-таки с их стороны очень мило, что они пьют за мое здоровье...»

II

Черняков, приглашенный Николаем Сергеевичем к завтраку «часов в одиннадцать», явился в одиннадцать часов. Аккуратность шла к его представительной, степенной, довольно грузной фигуре. Мамонтов почти во всем расходился с этим своим школьным товарищем, но любил его или, по крайней мере, любил проводить с ним время. От Чернякова веяло спокойным самоуверенным благодушием, основанным на прекрасном здоровье, на прекрасном аппе-

тите, на прекрасно начатой университетской карьере, на совершенной порядочности, на непоколебимом сознании, что в мире ничего дурного с порядочными людьми не бывает. Он был очень расположен к людям, никогда не отказывал в услугах, но и не допускал, чтобы ему в них отказывали. Действительно, ему никто ни в чем не мог отказать. В двадцать девять лет он был видным приват-доцентом Петербургского университета, писал в журналах солидные статьи, где что-то разбиралось «в общем и целом» и что-то «проходило красной нитью»; он даже с некоторыми правами мечтал о политической карьере. Михаил Яковлевич был холост, состояния не имел, но зарабатывал недурно и, как сам сказал Мамонтову, «в трудную минуту всегда мог обратиться к сестре».— «Обратиться к сестре ты, конечно, можешь, но как отнесется к твоему обращению очаровательный Юрий Павлович, еще неизвестно. Поэтому в трудную минуту, которой у тебя впрочем никогда не было и не будет, лучше, право, обратись ко мне»,— сказал Мамонтов.— «Ты глуп,— ответил Михаил Яковлевич,— Юрий Павлович, если хочешь, столп ретроградства, но прекраснейший человек, и я тебе раз навсегда запрещаю говорить о нем дурное».

— Так ты еще не уехал? — спросил он, опуская воротник шубы и стряхивая снежинки с низкой котиковой шапки.— Хорошая вещь печь! Сегодня температура близка к абсолютному нулю, на котором помешались мои коллеги-физики. Так ты еще не уехал?

— Нет, я еще не уехал,— ответил Николай Сергеевич покорно и даже с некоторым сознанием своей вины; знал, что ему весь день будут задавать этот вопрос; он уже простился в Петербурге с теми, с кем ему полагалось прощаться, и считал глупым положение человека, прощающегося во второй раз. У людей всегда при этом неприятно разочарованный вид: «Как? вы еще не уехали?» — Задержался только на один день и завтра уезжаю наверное, твердо тебе обещаю, не сердись... Постой, не снимай шубы: мы сейчас же пойдем завтракать. Куда ты хочешь?

Михаил Яковлевич так же неторопливо снял перчатки, вынул из кармана своего хорошо сшитого двубортного сюртука модный фиолетовый платочек и протер им золотые очки, которые не только не портили его, но украшали, как его украшали и английский сюртук, и батистовый платочек, и холеная черная бородка; Мамонтов ему советовал отпустить окладистую русскую бороду: «С ней ты будешь еще национал-прогрессивнее, и какой же лидер партии без бороды?»

— Мой друг, от добра добра не ищут,— сказал Черняков. У него был приятный, звучный баритон с внушительными уверенными интонациями, очень подходивший для лекций по государственному праву, для ссылок на основные законы Российской империи или на прецеденты в конституционной истории Англии. Говорил он прекрасно и так правильно и гладко, что точную запись его лекций можно было бы печатать без всякой правки: они в стилистическом отношении были ничем не хуже его статей. Первую свою лекцию он обычно отводил философским вопросам; бывший на открытии его курса Мамонтов после лекции сказал ему, что за трогательные интонации в словах о Спинозе его мало повесить! «Я тебе раз навсегда запрещаю говорить о Спинозе, говори об основных законах...» Они всю жизнь что-то раз навсегда запрещали друг другу, никогда друг на друга не обижаясь.— Я готов, разумеется, идти за тобой в огонь и в воду и в любой трактир. Но отчего бы нам не пообедать в сией гостинице? Сюда ведь люди приезжают из-за границы, чтобы поесть как следует. Особенно немцы.

— Именно. Здесь сейчас слишком много немцев. Вся гостиница заполнена германскими адъютантами, лейтенантами и черт знает кем еще. Русская великая княжна выходит замуж за английского герцога,— казалось бы, при чем тут немцы?

— Я так и знал. Как вся наша радикальная интеллигенция, ты германофоб. Но я не хочу отвлекаться в сторону. Ты, разумеется, сейчас себе говоришь: «Какая свинья этот Черняков! Я его пригласил на завтрак, а он выбирает такой дорогой ресторан...» Постой, не смейся и не кричи, а слушай. По случаю твоего таинственного, бессмысленного и решительно ни для чего не нужного отъезда за границу, мы, конечно, должны выпить шампанского. Но ты хочешь угостить меня, потому что ты уезжаешь, а я желаю угостить тебя, потому что я остаюсь. Поэтому с самого начала предлагаю не ломаться, а платить пополам. Идет?

— Не идет. Я буду ломаться: ты у меня в гостях. И, разумеется, я ставлю бутылку шампанского.

— Если ты такой эрцгерцог, то уж ставь не одну бутылку, а две. Мне очень хочется с тобой выпить как следует, потому что я тебя люблю, хотя ты меня ненавидишь и презираешь. За то, что я буржуа, профессор — по крайней мере in spe [1] — и мирный обыватель, тогда как ты высшая натура, духовное существо, гениальный дилетант и Леонардо да Винчи — тоже in spe.

[1] В будущем (*лат.*).

Смеясь, они спустились вниз. Несмотря на ранний час, ресторан уже был почти полон; они заняли последний стол у окна. Всюду слышалась немецкая речь, реже английская и французская, еще реже русская.

— ...В Париже,— сказал Черняков, закусывая икрой рюмку водки,— я тебе советую, благо ты богат как сорок тысяч Крезов, завтракать в Café Anglais, а обедать в La Tour d'Argent. Мне, скромному приват-доценту и — в полное отличие от тебя — буржуа больше по духу, чем по кошельку, оба сии богоугодных заведения были недоступны. Но, к счастью, меня приглашали моя сестра и Юрий Павлович, с коими я вместе путешествовал. Говорю «вместе», но, под разными предлогами, я, со свойственным мне тактом, деликатно отставал на один день, чтобы не смущать их великолепия своим вторым классом. Они в Париже, разумеется, жили в «Гранд-отеле», а я в маленькой гостинице на rue des Saints-Pères. Однако к обеду и к завтраку бывал их высокопревосходительствами приглашаем неоднократно, вследствие чего с оными заведеньями имею знакомство основательное... Чтоб не забыть: сестра очень просила еще раз тебе кланяться.

— Я ее сегодня увижу. Должен быть там вечером, в семь часов.

— У Юрия Павловича?

— Не у Юрия Павловича, конечно, а у Софьи Яковлевны.

— Хочешь на прощанье вручить ей билет на какой-нибудь благотворительный концерт? Она, конечно, возьмет, если ты завезешь.

— Нет, у меня к ней серьезное дело.— Черняков смотрел на него с любопытством.— Впрочем, это не секрет, по крайней мере от тебя. Я из-за этого дела и остался на лишний день в Петербурге. Ты знаешь Перовскую?

— Какую Перовскую?

— Соня Перовская, молоденькая, очень милая девушка. Ее недавно арестовали и посадили не то в Петропавловку, не то в Третье отделение, толком никто не знает. К ней никого не пускают, но...

— Постой. За что арестовали и посадили?

— Разве у них разберешь? Вероятно, ни за что. Или за пропаганду, то есть опять-таки ни за что.— Черняков пожал плечами.— И меня просили похлопотать у твоей сестры. У нее, говорят, большие связи.

— Связи у нее действительно громадные, особенно с той поры, как ее посетил государь,— сказал Михаил Яковлевич равнодушным тоном. Мамонтов знал, что его това-

рищ очень дорожит и гордится свойством с фон Дюммлером. «Это, разумеется, самая выгодная позиция: оппозиционные, передовые взгляды при влиятельной консервативной родне»,— раздраженно подумал Николай Сергеевич.— Связи у сестры громадные. Но сделает ли она, я не знаю. Юрий Павлович не очень это любит.

— Ах, Юрий Павлович не очень это любит?.. Странная женщина твоя сестра! — сказал Мамонтов.— Она построила свою жизнь, вроде как Бисмарк построил германскую империю: шаг за шагом, от войны к войне, от победы к победе. Первая победа: брак с твоим очаровательным Дюммлером. Победа вторая: первое письмо от Тургенева. Победа третья: знакомство с первым великим князем. И наконец, победа четвертая, полный триумф: государь побывал у нее в доме! Теперь ей больше не к чему стремиться, как Бисмарку больше нечего делать после создания германской империи... Не перебивай и не сердись, ты отлично знаешь, что я большой ее поклонник Всегда держал алебарду! Скажу больше, я, пожалуй, не встречал женщины с более ярким сочетанием даров судьбы. Она умница, красавица, добрая, внимательная. Просто даже непонятно, зачем одной женщине дано так много. И как глупо, что при такой натуре она думает о вздоре!

— Это совершенно неверно... Сестра, напротив, чрезвычайно тебя любит. Не знаю, за что и почему, так как ты болван... И вообще, мы говорим не о моей сестре, а о тебе. Сестра меня спрашивала, зачем ты едешь в Швейцарию. Я ответил, что этого не знаю не только я, но не знаешь и ты сам... Ну, если ты имеешь смелость утверждать, что ты не болван, то объясни мне, зачем ты едешь в Локарно. На какого черта тебе нужен Бакунин? — спросил Черняков, сильно понизив голос.

— Что ж это не несут котлеты? Прислуга тут теперь перегружена...

— Я говорю не о котлетах, а о Бакунине и я утверждаю, что тебе совершенно не нужен Бакунин.

— Ах, да, нужна национально-прогрессивная партия, которую ты хочешь создать.

— Не я хочу создать, а русское общество этого хочет. Эта партия, в отличие от всяких Бакуниных, явление органическое. И, будь уверен, в ней будут работать все порядочные люди. Здесь непочатое поле работы. И рано или поздно государь к ней обратится.

— К тебе, значит?

— Разумеется, не ко мне, а к партии. И поверь, это не только мое мнение. Могу тебя уверить, наши ретрограды

очень боятся, что государь станет на этот путь. Я это знаю из самого достоверного источника... От Юрия Павловича,— добавил он весьма значительным тоном.— Что ты на это скажешь?

— Ничего не скажу. Это мне просто неинтересно. Вы хотите создать при государе какой-то совещательный или полусовещательный орган. Ты что-то такое нашел в истории, земский собор или боярскую думу...

— Я нашел!.. Земский собор или... Какое невежество!

— Да все равно! Я знаю, что не ты это нашел и что земский собор и боярская дума не одно и то же, но мы спорим не о словах. По существу, вы все хотите, чтобы при царе были какие-то представители, от дворянства ли или от купечества или от духовенства,— само собой, чтобы «лидерами» — вы ведь так выражаетесь: «лидеры» — были вы, профессора. А нас все это вообще не интересует. Мы принципиально никак не можем считать нормальным положением, чтобы какой-то генерал bon vivant, может быть даже хороший человек, правил восьмидесятимиллионным народом.

— Извини меня, это не разговор,— сказал Черняков, морщась и оглядываясь по сторонам.— «Какой-то генерал»!.. Это дешевая демагогия. За «каким-то генералом» тысячелетняя историческая традиция. Кому же править Россией? Твоему Стеньке, что ли? Или Бакунину с Нечаевым? В твоих словах я вижу полное неуважение к истории, столь характерное для всех наших радикалов. Вся задача в том, чтобы громадную историческую силу царской власти направить на верный прогрессивный путь. И нашей будущей партии в первую очередь нужно теоретическое и историческое обоснование. Не скрою, что этому я и собираюсь посвятить свои силы. Внимательно ли ты прочел мою работу о вечевых собраниях и земских соборах? Я тебе ее послал.

— Да, я прочел,— солгал Николай Сергеевич.

— Кстати, по поводу этой моей работы. Ты, кажется, хорошо знаком с Клембинским?

— Не так уж хорошо, но знаком.

— Не могу понять, в чем дело. Я ему давно послал и эту свою работу, и заметку о некоторых своих планах для помещения в его хронике «Книги и писатели», но прошло больше месяца, и ни слова не появилось. Ты не мог ли бы ему напомнить?

— Когда же? Ведь я завтра уезжаю.

— Конечно, тебе будет трудно лично ему передать, но ты можешь ему написать. Чтобы не утруждать ни тебя, ни

его, я сам набросал два слова. Вот. Может, у него затерялось.— Он вынул из кармана листок.— Я только попрошу тебя переслать ему с маленьким препроводительным письмом. Можно?

— Постараюсь.

— Извини меня, «постараюсь» — это не разговор. Если тебе трудно, я могу это устроить через кого-либо другого.

— Хорошо, я пошлю.

— Спасибо. Вот, возьми. Теперь вернемся к делу. Итак, зачем ты едешь к Бакунину и к Марксу?

— Я не еду к Бакунину и к Марксу. Я еду за границу, где надеюсь повидать Бакунина и Маркса,— раздраженно сказал Мамонтов.— Не в обиду будь сказано тебе и Юрию Павловичу, то, что делается в России, меня не удовлетворяет. Готов, конечно, сделать исключение для твоей работы о вечевых собраниях и земских соборах...

— Почему ты сердишься?

— И мне хочется узнать, о чем думают умные люди за границей.

— Однако ты умных людей хочешь искать только в революционном лагере.

— Кто же есть еще? Не прикажешь ли обратиться к Бисмарку? Я, пожалуй, и не прочь, да он меня мудрости учить не станет. И потом мудрость Бисмарков!.. Нет, брат, нас Эльзас-Лотарингиями не прельстишь.— Он налил себе и выпил залпом третью рюмку водки.

— Монтень говорил: «Tous les maux de ce monde viennent de l'ânerie» [1].

Все эти Эльзас-Лотарингии от «anêrie» и происходят, что бы там ни говорили о гении Бисмарка и ему подобных! Нет, у них уму-разуму не научишься! А у революционеров — может быть... Видишь ли, я твердо решил вложить в свою жизнь хоть какой-нибудь разумный, не говорю, вечный, но долговременный смысл. Да вот, недавно умер мой отец. Ты его знал. Он был недурной человек, не злой и умный, хоть без образования. Но умер — и никто слезы не проронил. Больше того,— зачем слезы? Я и сам не очень их ронял, хоть многим ему обязан,— но его навсегда все забыли ровно через десять минут после того, как опустили гроб в могилу. И я не хотел бы прожить жизнь так, как ее прожил отец. Если у человека нет ни гения, ни хотя бы большого таланта для личного творчества, то...

---

[1] Все беды этого мира проистекают от глупости *(франц.)*.

— Постой. А у тебя есть?

— Ты отлично знаешь, что нет! То остается вложить свои небольшие силы в какое-нибудь большое общее дело. Я такого дела и ищу. И тут я его пока не нашел. Когда создастся твоя прогрессивная партия и когда государь к тебе обратится, тогда поговорим. До того я здесь ничего не вижу. Вижу только, что народ голодает и погряз в невежестве, вижу, что ни за что ни про что в ссылке Чернышевский. Я не большой поклонник его мыслей, но ссылать его было верхом безобразия! Так именно создают в стране революционное движение.

— Так ты хочешь примкнуть к революционному движению? — с недоуменьем спросил Черняков, опять понижая голос.

— Если б хотел, то не говорил бы об этом... в ресторане гостиницы.— Он хотел было сказать: «То не говорил бы об этом тебе».— Нет, и к этому у меня не лежит душа. Помнишь: «Du weisst, o Gott, dass ich kein Talent zum Martyrtum habe...» [1] У меня тоже нет таланта к мученичеству. Впрочем, не знаю. Ничего не знаю. Я еду осмотреться.

— И отлично. Осмотрись, приезжай назад и прими участие в работе прогрессивно мыслящих людей. И не иронизируй, другого пути нет, все остальное бред и утопия... Какой у нас царь ни есть, он умнее и образованнее, скажем, королевы Виктории. Между тем Англия процветает.

— В Англии, насколько мне известно, Виктория никакой власти не имеет. А у нас... Да брось ты восхвалять царя! Он все-таки деспот, и в нем все-таки порода отца, а может быть, и порода деда. Вспомни, с какой жестокостью было подавлено польское восстание.

— Я так и знал! Восстание индусов было подавлено с меньшей жестокостью? Но англичанам можно, а? Пойми, я не одобряю жестокостей, едва ли мне это нужно объяснять тебе,— прибавил он, взглянув на хмурое лицо Мамонтова.— Думаю также, что с поляками можно было и должно было договориться. Но нельзя все валить на нас одних. Дай срок...

— Даю, даю. Бери срок и жди, пока за тобой пришлют из Зимнего дворца. А я как-нибудь пойду своей дорогой. Вот я только что сказал тебе, что силы у меня небольшие. В конце концов, и это неизвестно.

— Я знаю, что ты горд как Люцифер.

— Какой там черт Люцифер!.. Говорят, у меня талант художника. Я в этом далеко не уверен. Вот главная цель

---

[1] «О Боже, ты же знаешь, что у меня нет таланта к мученичеству...» *(нем.)*.

моей поездки за границу. Кроме того, мне просто хочется повидать Европу, пока есть здоровье и деньги. В Локарно к Бакунину я заеду разве на один или два дня, а жить буду в Париже. Если там знатоки признáют, что у меня большой талант, я уйду в живопись. При малом таланте не стоит и незачем.

— А если большого таланта не окажется?

— Не знаю, что тогда буду делать... Планы у меня разные. Была и такая мысль... Я хорошо знаю иностранные языки. Отец ничего не жалел для моего образования. Не стать ли мне журналистом? Теперь в мире появились международные журналисты. Вот, наконец, наши котлеты... Почему ты смеешься как идиот?

— Так... Одним словом, у Леонардо да Винчи сто тысяч проектов. Что ж, желаю тебе успеха во всех, кроме одного: революционного.

— Этот, быть может, самый лучший. Я тебе тоже желаю больших успехов. Женись на миловидной национал-прогрессивной девице с хорошим приданым, купи себе дом неподалеку от Юрия Павловича и устрой, на зло его ретроградному салону, другой салон, с хорошим либерально-консервативным направлением и с явно выраженным национальным духом. На больших обедах у тебя будут подаваться национально-прогрессивные суточные щи с *няней* и тосты будут произносить известнейшие профессора и писатели. Может быть, самого полоумного Достоевского заполучишь? И непременно чтоб было несколько национал-прогрессивных князей и графов.

— Международный журналист, ты глупеешь не по дням, а по часам. Особенно когда без причины сердишься и стараешься это скрыть,— благодушно сказал Черняков, кладя на тарелку телячью котлету.

После шампанского стало веселее, но не очень весело. Они отказались от второй бутылки. К концу завтрака все уже было сказано и об Александре II, и о Бакунине, и о Марксе, и о положении России, и о положении Европы, и о швейцарских гостиницах, и о парижских ресторанах.

— Почему твоя сестра назначила мне свиданье в семь часов? Самое необычное время,— сказал Мамонтов.

— Разве ты не читал в газетах? Сегодня в пятом часу обед у государя. Они вернутся, верно, только на полчаса: вечером в Зимнем дворце бал.

— Очевидно, Софья Яковлевна теперь не может прожить без государя более получаса?

— Нельзя, брат. По их положению они должны быть и на обеде и на бале... А ты что делаешь вечером?

— Я? Я не у государя.

— Ты, конечно, в цирке? У твоей Катилины или как ее? Шутовское имя.

— Почему «конечно» и почему она «моя»? Что за вздор!

— Ну, хорошо, не буду... Значит, ты едешь завтра? Если только будет какая-нибудь возможность, я приеду на вокзал.

— Ну, вот! Зачем тебе беспокоиться, ты человек занятой. Меня никто никогда не провожает.

— Нет, нет, я приеду, если только будет малейшая возможность,— с силой повторил Михаил Яковлевич так, точно у него в этот день были дела большой важности.

Мамонтов смотрел на него и думал, что это очень милый, благожелательный, услужливый человек, начиненный честолюбием до пределов возможного, не очень интересующийся женщинами, деньгами, наукой, интересующийся только своей карьерой. «Вероятно, его идеал: чтобы каждый день в каждой русской газете были слова «профессор М. Я. Черняков». А позднее, когда их «прогрессивная партия» создаст парламент, чтобы всюду было: «как нам сказал член Палаты М. Я. Черняков», «интервью с проф. М. Я. Черняковым», «по мнению лидера прогрессивной партии М. Я. Чернякова...» И вместе с тем он человек неглупый и хороший, я не могу этого отрицать...»

— А то, может, разопьем еще бутылку? — спросил он. Михаил Яковлевич взглянул на часы и не успел ответить. За соседним столом произошло смятение. Немцы повскакали с мест и бросились к окнам. Послышались голоса: «Der Kaiser!..», «Alexander der Zweite...» [1] Черняков и Мамонтов тоже поднялись. По площади проезжали верхом два человека. Один из них был царь. Слева ехал человек гораздо более молодой, в иностранном мундире. «Эдуард! Принц Уэльский! — восторженно прошептал немец.— Принц Уэльский!» Сзади, на довольно большом расстоянии, ехали два казака. Александр II, чуть наклонившись в седле, что-то с улыбкой рассказывал своему спутнику. «Наверное, они разговаривают о женщинах,— почему-то подумал Мамонтов,— тот, говорят, еще перещеголяет нашего, хотя его перещеголять невозможно...» Об успехах молодого принца Уэльского у дам уже ходили по Европе всевозможные рассказы. «И как смотрит на царя, с каким восторгом. Учится, должно быть. Вот только ему наружностью до нашего далеко. Прав-

---

[1] «Царь!..», «Александр Второй!..» *(нем)*

ду говорят, что наш, как был и его отец, самый красивый человек в России»,— с завистью думал Николай Сергеевич, вглядываясь в лицо Александра II. Немец объяснил, что этих лошадей подарил царю турецкий султан. «Кровные арабские жеребцы, таких нет нигде в мире!»

III

В Петербурге говорили, что дед госпожи фон Дюммлер, будто бы перс или турок, был не то лакеем Екатерины II, не то камердинером Павла I. По другим сведеньям, отец Софьи Яковлевны был армянским стряпчим в Баку. Говорили и то, что она внучка выкреста из евреев. По богатству ее муж не мог соперничать со старыми и новыми миллионерами. Тем не менее их дом считался одним из первых в столице. Почти все признавали, что этим Дюммлер обязан своей жене: «Не она сделала блестящую партию, а он». Знаменитый художник написал портрет Софьи Яковлевны и, назначая за него скромную плату, пояснил, что работа была для него «большой честью и еще большей радостью». Тургенев писал ей длинные письма с черновиками и копией. Шепотом из года в год передавали, что не сегодня, так завтра она будет выведена в очередном великосветском романе Болеслава Маркевича или князя Мещерского и выйдет скандал на всю Россию. Но этой зимой слух оборвался: в декабре в доме Дюммлеров побывал царь, не баловавший посещеньями Рюриковичей и даже великих князей. И стало ясно, что дом не будет изображен ни князем Мещерским, ни Болеславом Маркевичем.

В этот вечер особняк на набережной был ярко освещен огромными огненными вензелями императора и императрицы. У подъезда стояли парные извозчичьи сани. «Если у нее гости, то как же говорить о таком деле? — подумал Николай Сергеевич с досадой, поднимаясь по освещенной карселевыми лампами, выстланной мягким ковром лестнице. Он был в дурном настроении духа. «Верно, будут разные господа в сюртуках и мундирах, с аксельбантами и звездами, изо всех сил старающиеся походить на царя и до смешного на него непохожие».

Расставшись с Черняковым, Мамонтов от скуки поехал в клуб и часа четыре играл в карты. Этот клуб помещался недалеко от Литовского замка, что имело свои основания. В Литовском замке, по слухам, жил палач, тот самый, который повесил Каракозова. Согласно вековому международному поверью игроков, близость палача приносит счастье. Хотя вольнодумцы указывали, что это счастье, оче-

видно, должно распределяться между всеми игроками поровну, в клубе чуть ли не день и ночь напролет шла игра. Николай Сергеевич недурно играл в коммерческие игры, не зарывался в азартных, но ему в последнее время не шла карта. Так и на этот раз он заплатил к вечеру сто семьдесят рублей, выслушав игривые соображения партнеров о счастье в любви и более деловитые о «полосе невезения». Существование «полосы невезения» ни у кого из игроков сомнения не вызывало; о ней говорили как о бесспорном явлении природы, некоторые игроки даже знали, сколько полоса длится и как можно ее сократить.

Мамонтов не обедал в клубе, заказал только чай, рассчитывая на ужин с Катей. Он ругал себя за поездку в клуб, за проигрыш и за то, что ему жалко проигранных денег. «Уж не скупость ли? Тут и наследственности быть не может: отец был щедр и сыпал пожертвованьями, особенно до получения Владимира. Я не скуп, но и не расточителен...» Расплачиваясь с лакеем, он нашел в кармане листок бумаги, развернул и прочел написанную необыкновенно четким почерком заметку: «Приват доцент Санкт-Петербургского университета М. Я. Черняков закончил большой труд: «Этапы и вехи истории идеи самоуправления. Вечевые собрания и земские соборы на Руси». Исследование русского ученого вызвало оживленный интерес в западноевропейской научно-политической литературе. Возможно, что оно будет переведено, целиком или в извлечении, на немецкий язык. В настоящее время М. Я. Черняков готовит новый курс государственного права и ряд специальных работ».— «Как все-таки ему не совестно? — подумал Мамонтов.— А может быть, у них так принято? Иначе Клембинский и не мог бы вести хронику «Книги и писатели». Николай Сергеевич хотел было выбросить записку, но, вспомнив о данном слове, вздохнул, тут же написал препроводительное письмо и покинул клуб.— «Лихача прикажете?» — почтительно спросил внизу швейцар. На это нельзя было ответить иначе, как «Да, позовите лихача».— «Чем не времяпрепровождение для купчика?» Чтобы наказать себя за инстинкт бережливости, он купил для Кати самую дорогую бонбоньерку в самой дорогой кондитерской. «У Дюммлеров оставлю у швейцара, который больше похож на аристократа, чем его барин... Впрочем, их к аристократии, кажется, никто и не причисляет»,— подумал Николай Сергеевич, очень недолюбливавший аристократов. Он с некоторым удовлетворением вспомнил разговор, слышанный им в итальянской опере: рядом с ним какой-то *франт*, восхищаясь красотой сидевшей в ложе госпожи фон Дюммлер, ска-

зал, что по рождению она «deux fois rien».— «Trois fois rien» [1],— поправил другой франт.

Хозяйка дома прощалась с невысокой дамой и, держа в обеих руках ее руку, что-то говорила ей по-французски. На лице Софьи Яковлевны сияла улыбка. «Кажется, и место у нее рассчитано: вот тут под лампой. При этом освещении она действительно красавица,— подумал Николай Сергеевич.— Недурно было бы написать ее портрет...» Увидев его, она ласково улыбнулась. Невысокая дама повернула голову в меховом капоте. Мамонтов вспыхнул.

— Разрешите представить вам моего друга,— сказала, улыбаясь, Софья Яковлевна, видимо довольная эффектом.— Мосье Мамонтов, один из лучших художников России. Маркиза де Ко... Впрочем, вас не называют,— весело сказала она даме.— Это должно быть странное ощущение: знать, что твое лицо известно каждому человеку на земле. Как вы думаете? — обратилась она к Николаю Сергеевичу. Действительно, называть даму не требовалось. Он впервые слышал имя маркизы де Ко, но эти темные глаза с густыми бровями, это бледное «неземное» и вместе детское лицо были известны всему миру: перед ним была Аделина Патти.

На площадку лестницы выбежал мальчик лет одиннадцати в матросском костюме. Софья Яковлевна его подозвала.

— Это мой сын Коля,— сказала она.— У меня к вам просьба: поцелуйте его. Пусть он всю жизнь говорит, что его целовала Патти!

Гостья засмеялась и поцеловала упиравшегося мальчика. Как она ни привыкла к таким и сходным просьбам — как раз в этот день императрица, в точно тех же выражениях, просила ее поцеловать другого Колю, старшего внука государя — они видимо доставляли ей удовольствие. Николай Сергеевич молча вглядывался в ее лицо, чтобы навсегда запомнить. «Да, глаза удивительные... «Les noires étincelles», «La Junon bébé»[2],— вспомнил он то, что постоянно говорили о глазах и лице Патти.— А смеется Катя лучше...» Гостья видимо не знала, что сказать. Софья Яковлевна тотчас пришла ей на помощь.

— Его зовут Коля, это уменьшительное от «Николай»... Мой ангел,— обратилась она по-русски к сыну,— отведи твоего тезку в серую гостиную. Ты знаешь, что такое тезка? Ну вот, будь хозяином дома, а я сейчас к вам

---

[1] «Дважды ничто».— «Трижды ничто» *(франц.)*.

[2] «Черные искры», «Юнона в детстве» *(франц.)*.

приду,— смеясь, сказала она. Мальчик проводил Мамонтова и скрылся.

В гостиной было все то, что считалось обязательным: мебель Булля или подделка под нее, камин серого мрамора, бесчисленные ящички из китайского лака и слоновой кости, картины Виллевальде и Айвазовского. Только не было фамильных портретов, «et pour cause» [1],— подумал Мамонтов. Впрочем, на одной из стен висел фамильный генерал в александровском мундире, дядя или дед фон Дюммлера, но вид у этого портрета был довольно смиренный, точно он говорил: «А все-таки и я предок...»

— Очень рада, что познакомила вас с Патти,— сказала, входя, Софья Яковлевна.— И не удивляйтесь рекламе, которую я вам сделала...

— Да уж, можно сказать!

— Мой милый, это необходимо. Когда вы отошли, я ей еще о вас наговорила. Вы уезжаете, но вы можете встретиться с ней за границей. Если бы Патти заказала вам свой портрет, вы на следующий день стали бы знаменитостью... Я не предлагаю вам чаю: поздно. Хотите портвейна? Нет? Нет так нет. Как же она вам понравилась? Она очень спешила: ей еще нынче петь в опере... Ах, как она сегодня пела!

— Сегодня? Где же это?

— Во дворце, разумеется... Вы, может быть, не слышали? — смеясь, спросила Софья Яковлевна.— Сегодня великая княжна вышла замуж за герцога Эдинбургского.

— Un mariage très discret [2],— сказал Мамонтов,— целый день гремели колокола и палили пушки. Утром мне спать не дали.

— Бедный!.. Так вот по этому случаю государь дал обед. И за обедом пели Патти, Альбани и Николини. Но тех просто никто не слушал. На Альбани мне было жаль смотреть. Патти затмила всех и все. Она спела что-то из Россини с верхним «re», потом, в честь новобрачных, английскую песенку «Home, sweet home» [3]... Я не могла себе представить подобную овацию в Зимнем дворце! Люди забыли о присутствии государя и государыни! Впрочем, государь сам аплодировал, как студент на галерке Большого театра. Он осыпал ее подарками: подарил ей веер, кольцо, браслет, не знаю что еще. Вообще она вывезет из России целое состояние.

— Ей, я думаю, не нужно.

---

[1] И по известной причине *(франц.)*.
[2] Свадьба очень скромная *(франц.)*.
[3] «Дом, милый дом» *(англ.)*.

— Боюсь, что нужно. Вы знаете, ее муж — она с ним не живет — наложил арест на ее имущество. По законам передовой Французской республики это можно. Там женщины совершенно бесправны, не то что в отсталой России. C'est un pauvre sire, Monsieur le marquis de Caux [1]. Она поэтому больше не поет во Франции, так как ее гонорары пошли бы ему. Зачем великие артистки выходят замуж? Все они неизменно несчастны в браке и скоро расходятся с мужьями: Тальони, Малибран, Бозио, Гризи, Патти... Да, она несчастное существо. И какая это мука — выступать каждый день! Я после обеда во дворце захватила ее сюда, чтобы напоить ее чаем,— сказала Софья Яковлевна таким тоном, точно без нее Патти оказалась бы на улице голодной.— Так вы не уехали? Когда вы уезжаете?

— Завтра.

— Ах, какое было великолепие! — продолжала она, не слушая его ответа и видимо еще не в силах справиться с впечатлениями дня.— Мы были во дворце чуть не с утра. Сначала венчание по православному обряду, потом по английскому обряду. Потом обед в самое необычное время: в четыре тридцать. А вечером надо опять туда ехать на бал. Лорд Лофтус, английский посол, сказал мне, что по великолепию ничего не видел похожего на наш двор. Особенно эти bals des palmiers [2].

— Это еще что такое?

— Не «еще что такое», а это сказка из «Тысячи и одной ночи». Из царских оранжерей привозят пальмы, изумительные пальмы, каких нет, кажется, в Африке. Николаевский зал превращается в Альгамбру. На крыше аршин снега, а под ней тропический сад. Между пальмами столы, каждый человек на десять. Перед обедом государь подходит к каждому столу, говорит несколько слов и прикасается к чему-нибудь. У нас он съел ягоду винограда и оставался больше минуты. Обычно остается еще меньше, чтобы не заставлять гостей стоять... Ну, я вас слушаю, рассказывайте, в чем дело.

Мамонтов изложил свою просьбу. Она теперь слушала внимательно.

— Какая это Перовская? Есть графы Перовские. Неужели из семьи министра?

— Кажется. Но они не графы. Это бедная ветвь семьи.

— Ведь Перовские были незаконные дети Разумовского? Значит, они в родстве с царской фамилией?

---

[1] Это бедный господин, маркиз де Ко *(франц.)*.
[2] Балы с пальмами *(франц.)*.

— Не знаю. Они, кажется, не от Алексея Разумовского, а от Кирилла. Но, повторяю, никаких связей у них нет. Если вы можете что-либо сделать, ради Бога, сделайте.

Софья Яковлевна задумалась.

— Конечно, я могу это сделать,— сказала она.— Ее грехи, по-видимому, пустяковые? Я могу попросить государя и не думаю, чтобы он мне отказал. Но... Ручаетесь ли вы, что, если эту вашу Сонечку выпустят, то она не пойдет дальше? Вы сами понимаете, в каком положении я тогда окажусь!

— Поручиться я не могу,— сказал, немного подумав, Николай Сергеевич. Он вспомнил Перовскую, ее круглое личико, крутой лоб под светлыми волосами, ласковые голубые глаза, вдруг становившиеся очень нехорошими, когда кто-нибудь из товарищей оказывался «бабником», внезапное раздражение, пробегавшее по ее лицу, если в ее чистенькую комнату входили в мокрых, грязных калошах. Хотя она была общей любимицей, ее за ворчливость дружески прозвали «Захаром», по имени какого-то дворника или городового.— Нет, я не могу поручиться,— твердо повторил он. Софья Яковлевна вздохнула.

— Тогда я не могу просить,— так же твердо сказала она.— Посудите сами. Что если она полезет к Каракозовым! Только этого мне не хватало бы! Да, правду сказать, и вам! Не могу. Пусть лучше они действуют через родных, можно возобновить родственные связи. Борис Александрович Перовский — очень влиятельный человек. За родственницу хлопотать естественно... Вы сердитесь?

— Не сержусь, конечно, но огорчен. Пока, во всяком случае, ее дело совершенно несерьезно.

— Тогда, быть может, ее скоро выпустят... Объясните мне, что такое происходит с нашей молодежью. Какое дело этой Перовской до политики? Она хорошенькая?

— Нет. Довольно миловидное лицо, но не красивое.

— В этом, верно, и причина.— Она смягчила улыбкой это свое замечание.— Сколько ей лет?

— Не знаю. Лет девятнадцать, должно быть.

— Бог знает что такое! — сказала с негодованием Софья Яковлевна.— Дети занимаются государственными делами! — «Чем же надо заниматься? Как ты, придворными сплетнями?» — подумал Мамонтов.— Но об этом я не хочу говорить. Тем более, что вы начинаете на меня сердиться, между тем я вас очень люблю и не только потому, что вы друг моего брата. Скажу одно: ведь ни вы, ни ваша Перовская, вероятно, не предполагаете, что в России будет республика, как во Франции? Очень, кстати сказать, она

хороша, эта французская республика!.. Ну, а если так, то лучше государя, чем Александр Николаевич, у нас никогда не было и не будет. Вы со мной не согласны?

— Извините меня, это дамский подход к политическим вопросам,— сердито сказал Николай Сергеевич, спрашивая себя, брат ли влияет на сестру или сестра на брата. «Конечно, она на него...»

— Не думаю. А если и дамский, то я не виновата. Вы не знаете государя, а я его знаю. И я в жизни не встречала более очаровательного человека. Начать с того, что он такой красавец! По-моему, он еще красивее отца. Я ребенком видела Николая Павловича. У него было страшное лицо, и он видимо это в себе культивировал. Тут ничего хорошего нет. Конечно, люди приходят в ужас, если на них смотрит зверем человек, который может их казнить. Александр Второй величествен, добр и прост. Все послы говорят, что не видели такого величественного монарха. Еще сегодня Лофтус сказал мне: «Every inch a king» [1]... Это, кажется, из Шекспира, правда? И как он добр! Как умен!

— Вы говорите как влюбленная.

— Да я и в самом деле влюблена в государя. Вы читали «Войну и мир» графа Льва Толстого? Хороший роман, хотя и очень растянутый. У него там офицер Ростов влюбляется в Александра Первого. Так и я влюблена в Александра Второго.

— Полагаю, что это не совсем то же самое... Я слышал, кстати, что император недавно удостоил вас посещением? Как же это было?

— И вы? — спросила она и опять вздохнула.— Все меня спрашивают: как же это было? Подразумевается: «как ты, интриганка, этого добилась?» Не протестуйте, это так. А я вам говорю, что нисколько этого не добивалась. Просто государь к нам заехал, не могла же я его выгнать, правда? И даже не заехал, а зашел пешком. Нашего швейцара Василия чуть не разбил удар. Да и меня тоже... Вы совсем не любите государя?

Он засмеялся.

— В день освобождения крестьян — мне тогда было пятнадцать лет — я хотел отдать за него жизнь... Быть может, потому, что мой дед был крепостной,— добавил Николай Сергеевич. Она с любопытством на него смотрела.

— Я сама не аристократка,— сказала она.

— В их положении чрезвычайно легко очаровывать людей. Если они не рычат, как звери, это уже очаровательно. А если у них вдобавок человеческое лицо и человече-

[1] Каждым вершком государь *(англ.)*.

ская улыбка, то люди, особенно женщины, сходят по ним с ума.

— Не думаю, чтобы вы были правы... Что же касается влюбленности в настоящем смысле слова, то для государя сейчас другие женщины не существуют: он влюблен как мальчик в свою Катю Долгорукую,— пояснила Софья Яковлевна. Лицо ее засветилось. Она не сказала и не могла сказать Мамонтову, что государь, зайдя к ней и впервые в жизни оставшись с ней наедине, неожиданно *попросил* ее пригласить к себе княжну Долгорукую, которую многие в обществе бойкотировали. Эта *просьба* вызвала у нее, потом у ее мужа, растерянность и восторг. Приглашение княжне было послано на следующее утро только потому, что нельзя было послать ночью.— Скажу вам одно: все, что в России есть хорошего, держится на одном государе. Если, не дай Бог, его не станет, вы будете иметь дело с ...Аничковым дворцом (она не сказала: с наследником). Посмотрим, что тогда запоет ваша Перовская... Хотите маленький пример. В России, вы знаете, не любят евреев. Так, вот недавно в Петербурге побывал сэр Мозес Монтефиоре... Вы слышали о нем?

— Понятия не имею. Что это за гусь?

— Не гусь, а очень почтенный человек. Ему девяносто с лишним лет. Он приехал из Англии просить государя о даровании евреям полного равноправия. Государь совершенно его очаровал, я слышала это и от самого Монтефиоре, и от Лофтуса. Государь проводил его до лестницы и чуть ли не поддерживал под руку. Этого он не делает даже для Вильгельма. Его тронуло, что такой глубокий старец совершил далекое путешествие в интересах своих единоверцев.

— И что же? Даровано ли евреям равноправие? — спросил насмешливо Николай Сергеевич.

— Будет понемногу дано. Государь уже сделал для них много. Это вы, молодежь, думаете, что все можно сделать в один день. Да еще при существовании Аничкова дворца и его людей... Да... А кроме всего прочего, зачем лезть на рожон? Этих Перовских горсть, и ничего они сделать не могут, и слава Богу! Только себя губят. И если многое у нас плохо, то революция сделает все в сто раз хуже. Вспомните ужасы Парижской коммуны.

— Ужасы ужасами, но, может быть, новая эпоха пойдет именно от этой Коммуны, которую вы так ненавидите.

Софья Яковлевна посмотрела на него, улыбнулась и перевела взгляд на часы. Мамонтов тотчас поднялся.

— Нет, еще есть время,— сказала она.— Вы говорите,

новая эпоха. Я не знаю, от чего идет новая эпоха. По-моему, скорее всего, от той поры, как люди стали мыться как следует. От Людовика Шестнадцатого и от Дантона, должно быть, одинаково дурно пахло... Вы хотите уходить? Во всяком случае, не сердитесь на меня из-за вашей Сонечки. Если б вы за нее поручились, я попросила бы государя.

— А кто ж тогда поручился бы за меня?

— За вас? — Она с недоуменьем на него взглянула.— Да, в самом деле, кто же поручился бы за вас? Впрочем, я почти уверена, что вы ни к какому революционному движению не примкнете, если такое движение действительно существует. Вы слишком страстно любите жизнь. Как и я... У нас вообще немало общего,— неожиданно прибавила она.— Я была бы очень огорчена, если б ошиблась. Потому что я искренно вас люблю. Мне нравится, например, что вы «внук крепостного» и так прекрасно говорите по-французски, по-английски... Вы надолго уезжаете за границу?

— Может быть и надолго.

— Вдруг там встретимся. Юрий Павлович хочет посоветоваться с врачами. Кстати, вы его извините: он так устал от сегодняшних торжеств, что прилег на полчаса отдохнуть... Когда вернетесь, тотчас дайте о себе знать. Я вас сведу с Патти, вы можете в нее влюбиться. Право, это лучше, чем цирковая артистка.— Она засмеялась.— Извините меня, брат что-то сказал, проговорился, а я обожаю сплетни... Мне нравится в вас и то, что вы легко краснеете, да, да... Ну, счастливого пути, и, ради Бога, держитесь подальше от революционеров. Уж о вас-то я должна буду хлопотать... Что еще? — спросила она с досадой ливрейного лакея, принесшего на подносе карточку.— Вот его только не хватало! Просите. И скажите Юрию Павловичу, что я прошу его выйти. Вы не очень спешите? — обратилась она к Мамонтову.— Останьтесь еще на несколько минут. Вам надо видеть людей и заводить полезные знакомства, иначе вы ничего в жизни не добьетесь... Да, да, я знаю, вы ничего и не добиваетесь, я знаю... Это восточный принц. Он шут гороховый, но у него несметное богатство и огромные связи... Вот он... Только не смейтесь.

Она встала. В комнату вошел невысокий, толстый человек в фантастическом костюме, залитом драгоценными камнями. Он остановился на пороге и прикрыл глаза рукой, точно ослепленный сильным светом.

— Your beauty is more precious to my eyes than a casquet of rubies. Your voice is more delightful to my ears than the song

of ten thousand nightingales [1],— сказал он нараспев, с восхищением поднял к потолку обе руки и тотчас их опустил.

— Честь, выпавшая на долю моего дома, поражает меня,— ответила Софья Яковлевна.— Могу ли я представить вашей светлости моего лучшего друга, мосье *де* Мамонтова. Это один из величайших художников мира. Он уезжает за границу по приглашению австрийского императора и горит желанием побывать в великолепных дворцах вашей светлости.

Принц неторопливо повернулся к Николаю Сергеевичу и благосклонно кивнул ему головой.

— Please leave your glorious palace of crystal and pass one unworthy evening in the pestilential shanty I inhabit [2],— сказал он. Мамонтов откланялся и вышел, стараясь удержаться от смеха.

IV

Он ездил в цирк чуть не каждый вечер, обычно только для одного номера программы, в котором выступала Каталина Диабелли. Это нелепое имя носила русская акробатка Екатерина Дьяконова. Сходство между ее фамилией и псевдонимом было, впрочем, случайным. Она псевдонима и не выбирала, а по старой традиции цирковых артистов вошла в *семью* акробатов-клоунов, которая, тоже по обычаю, приняла итальянскую фамилию. На самом деле в семье ни одного итальянца не было. Белый клоун был русский, а глава семьи, универсальный акробат Карло,— финн. Ни в каком родстве они между собой не состояли.

На арене, под все растущий гогот публики, с криками катался коверный клоун: рыжий. Мамонтов, только заглянув в зал, направился к уборным артистов. Его в цирке уже все знали, ценили за щедрость и всюду пропускали его беспрепятственно. Служитель поспешно раздвинул перед ним красный занавес. Запах конюшни и зверей, заполнявший весь цирк, еще усилился.

— Что сейчас? — спросил Мамонтов, протягивая служителю полтинник.

— Покорнейше благодарю, барин. Минут через пять «Венгерская почта». Пожалуйте: прямо и налево,— весело

---

[1] Ваша красота в моих глазах драгоценнее, чем шкатулка рубинов. Ваш голос пленительнее для моего слуха, чем песня десяти тысяч соловьев *(англ.)*.

[2] Пожалуйста, покиньте ваш прекрасный дворец и проведите один недостойный вечер в отвратительной лачуге, где я обитаю *(англ.)*.

сказал служитель, и в его тоне, в том, что он знал, куда барин идет, Николаю Сергеевичу показалась игривость.

За кулисами проходили мрачные люди с густо выбеленными лицами, со страшными ярко-красными глазами, тяжело ступавшие, неестественно высокие, жирафообразные фигуры в скрывавших ходули длинных мантиях. Уборная семьи Диабелли была довольно далеко, за пустой огромной клеткой, на которой была надпись: «Кровожадные и травоядные звери. Бенгальский королевский тигр. Просят не раздражать», и за общей цирковой конюшней. Дальше, за невысоким барьером, служители держали под уздцы шесть великолепных, белых лошадей. На них были стеганые плоские замшевые седла и странно длинные, собранные у седла красные поводья. Карло, высокий, худой, стройный человек лет тридцати, в красной венгерке, в белых лосинах, поставив на табурет длинную ногу, натирал мелом носки и каблуки лакированных ботфортов. Увидев Мамонтова, он не обнаружил ни удивления, ни неудовольствия и даже не спросил: «Так вы не уехали?»

— Вы к Каталина? — почти без вопроса в интонации, неприятно-равнодушно сказал он.— Прошу оставаться у нее нс более ри минуты. Она не должна волновать себя,— пояснил акробат. Он говорил по-русски довольно бегло, но с ошибками, с финским акцентом (и вместо «три» произносил «ри», что всегда приводило Катю в восторг).

— Я не пробуду и трех минут. А вы волнуетесь?

Карло пожал плечами. Мамонтов знал, что «Венгерская почта» совершенно не интересует акробата: он сам говорил, что, если б напивался, то мог бы исполнить ее в пьяном виде. Теперь его интересовали только прыжки. В двойном сальто-мортале, считавшемся очень опасным номером, он достиг совершенства. Мечтою жизни Карло было тройное сальто-мортале, до сих пор удававшееся лишь нескольким акробатам на земле: остальные разбивались насмерть.

Николай Сергеевич неопределенно махнул рукой и пошел дальше. «Нет, кажется, он не ревнует. Да и нет причины...» Мамонтов до сих пор не знал, какие отношения существуют между Карло и Катей. Иногда ему казалось, что Карло ее любовник, иногда — что они просто друзья. Знающие люди говорили ему о чистоте цирковых нравов: артистам строго запрещалось даже ухаживать за артистками. Еще недавно рыжий должен был проделать пятьдсят флик-фляков и заплатить рубль штрафа за то, что сгоряча хлопнул пониже спины дрессировщицу, показывавшую свинью «Амурчика».— «Это вам не театр!» — говорили пренебрежительно цирковые артисты.

Белый клоун Альфредо Диабелли, он же Алексей Иванович Рыжков, уже проделал свой номер и теперь, в отгороженном отделении уборной, стоя вверх ногами, заканчивал тренировку: у него было правилом — после выступления, даже очень утомительного, еще пять минут упражняться у себя до вечернего чаю; он был немолод и боялся потерять мускульную гибкость. Пот градом катился с его еще замазанного белилами лица; он уже снял мушку с носа и нашлепку со лба. Под расстегнутой странной шелковой с блестками блузой у него была теплая шерстяная фуфайка. Увидев сквозь расставленные руки Мамонтова, клоун в знак приветствия помахал ногой в огромной шутовской туфле, в белом чулке до колена, затем вскочил и сел на табурет, заложив правую ногу за шею. Хотя Николай Сергеевич уже знал штуки Альфредо, это зрелище всегда повергало его в изумление.

— Господи, зачем вы это делаете? Прямо смотреть больно!.. Что у вас сегодня было? Бутылки?

— Да, бутылочки. Публика любит,— скромно ответил клоун, как бы прося не винить его за вкусы публики. Номер этот заключался в том, что клоун, проявляя, как всегда, крайнюю неуклюжесть, на бегу с хриплым криком *нечаянно* наступал на первую из расставленных длинным рядом бутылок; бутылка падала, он перескакивал на другую бутылку, тоже падавшую, и так проходил весь ряд; затем, с аханьем, с криками ужаса, с беспомощными жестами, ни разу не коснувшись земли ногами, шел по бутылкам назад, поднимая перед собой неуклюжими движениями туфли и ставя на прежнее место одну за другой все упавшие бутылки. Только знатоки могли оценить, какой изумительной ловкости, какой точности в движениях, какого гимнастического совершенства требовал этот номер программы, шедший под бурный хохот зрителей.— Публика любит,— повторил он, опустил правую ногу, заложил за шею левую ногу и, наконец, сел по-человечески, тяжело дыша.— Другие после номера отдыхают, а я сначала еще работаю, это очень полезно.

Он взял с другого табурета полотенце и, глядя внутрь колпака, где у него было пришито крошечное зеркальце, стал стирать с лица пот и белила. Мамонтов положил на освободившийся табурет бонбоньерку и прикрыл ее своей высокой меховой шапкой. Ему всегда неловко было наедине с Рыжковым. Алексей был очень почтенный, степенный и неглупый человек. Он и говорил всегда рассудительно, серьезно, порою даже интересно. Неловкость происходила от контраста между этими его свойствами и его костюмом,

его штучками, особенно его криками на сцене. В начале их знакомства Мамонтову после представления бывало совестно смотреть ему в глаза. Этой неловкости он не испытывал при разговорах с Карло или с Катей.

— А вы бы сели, Николай Сергеевич. Катя сейчас выйдет. Вот ей будет сюрприз, она, бедненькая, вчера плакала, когда вы ушли, а мы отправились к директору.

— Неужели? — быстро спросил Мамонтов. Дверь в перегородке распахнулась, из своей уборной вдруг вылетела Катя, в одном трико телесного цвета и в сапожках. Она с визгом бросилась с разбега на шею Николаю Сергеевичу. Он крепко ее поцеловал, затем, вспыхнув, оглянулся на Алексея Ивановича. Клоун, впрочем, даже не повернул к ним головы: поцелуи у Кати не имели никакого значения; они просто были условной формой приветствия, вроде рукопожатия.

— У-у, какой холодный!.. Так вы не уехали?! Ах, как я рада!

— Я должен был задержаться на один день. Завтра уезжаю... Я хотел... Я думал, что вы, быть может, нынче свободны? — начал Николай Сергеевич, еще не совсем пришедший в себя. Рыжков отнял полотенце от лица.

— Катя, поди, надень мантию. Так не выходят к публике.

— Какой же он публика? Он публика! — Она вдруг залилась смехом. «Да, где Патти так смеяться!» — с восторгом подумал Николай Сергеевич.— Вы публика? Или вы наш друг? Мой друг?

— Я ваш друг, большой друг! Больше, чем могу выразить,— неожиданно сказал Мамонтов гораздо более торжественными словами, чем следовало по разговору.— Впрочем, вы это знаете... Я только на одну минуту. Знаю, что вам сейчас не до меня, да и Карло не велел вас беспокоить. Вот что: хотите поужинать сегодня со мной после спектакля? Я и вас прошу, Алексей Иванович. И, разумеется, Карло (почему «разумеется»?).

— Господи, как я рада!.. Так жаль, что вчера мы не могли, я плакала полчаса! Выходит, у нас все-таки будет *отъездной* ужин!.. Господи, как я рада!

«Значит, плакала она из-за ужина, а не из-за меня»,— отметил Николай Сергеевич, только теперь ясно сознавший, что если он охотно остался в Петербурге на лишний день, то отчасти из-за надежды на «отъездной ужин». Накануне семья Диабелли была, к крайнему его огорчению, неожиданно приглашена вечером на чай к директору.

— Тогда я зайду за вами тотчас после выстрела. Идет, Алексей Иванович?

Клоун положил полотенце, вздохнул и покачал отрицательно головой.

— Нельзя, Катенька.

— Почему нельзя? Это еще что? — Она ахнула.

— Что такое? Что случилось?

Рыжков, немного поколебавшись, объяснил, что на вечере у директора Катя сильно запачкала вареньем платье, его утром пришлось отдать в чистку.

— Так в чем же дело? — начал было удивленно Николай Сергеевич и осекся, вспомнив, что всегда видел Катю в одном и том же сером платье. «Это моя вина! — с досадой подумал он.— Не бонбоньерки ей надо было приносить. Экий я осел, не догадался...» — Так знаете что? Если у вас нет другого платья, то мы устроим ужин у вас в фургоне, а? Я съезжу и привезу все, что нужно. Мне и то ресторации смертельно надоели. Что вы об этом скажете?

— Разве что так? Это другое дело,— сказал клоун.

— Господи! Конечно, у нас! Какой вы умный! И Карло будет страшно рад... Впрочем, у него сегодня тренировочный вечер. Он каждый третий день после представленья ходит пешком на острова! Гимнастическим шагом туда и назад, без шубы! Сумасшедший! Но он к часу ночи возвращается... Так вы все привезете, милый? Я вас так люблю! Страшно!.. Голубчик, привезите свежей икры! Немножечко! Я ее обожаю!

— Катя! — строго сказал Рыжков. Николай Сергеевич засмеялся и обещал привезти и икры.

— А пока позвольте поднести вам это,— сказал он, вынимая из-под шапки бонбоньерку и заранее наслаждаясь эффектом. Эффект превзошел его надежды: от визга Кати минуты две нельзя было сказать ни слова.

— ...Потом, когда мы съедим все конфеты... Тут три фунта, да? Когда мы съедим все конфеты, я сделаю из этого шкатулочку... Зеркальце приклею,— говорила она, глотая одну конфету за другой; она их, по-видимому, и не разжевывала.— Алешенька, вы все умеете, вы мне устроите перегородочку: тут, где ананас. Это можно?

— Можно. Все можно. Только не жри столько конфет. Цирковой артистке нельзя, потому что...— начал Рыжков. Она тотчас его перебила.

— Вы сами же, Алешенька, говорите, что все можно! А я только сегодня! Ах, какая чудная бонбоньерка! — сказала она, видимо, наслаждаясь не только вещью, но и ее названьем.— Просто прелесть! Я уверена, вы дали пятнад-

цать рублей, правда? Вы не скажете, потому что вы такой светский. Но я страшно вас люблю, вы милый, милый! — Она поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. От нее пахло шоколадом, одеколоном.— Все еще холодный!..

— А теперь, Николай Сергеевич, извините, вам надо уходить,— сказал Рыжков. Издали уже доносились трубные звуки.

— Ах, да. У Карло сегодня двойное сальто-мортале? — спросил Мамонтов. Ему уходить очень не хотелось. В этом трико вблизи он еще никогда ее не видел.

— Избави Бог! — испуганно сказала она.— Позавчера было последнее. Нет, сегодня только «Венгерская почта», потом мой выстрел, а потом пантомима «Сон фараона».

— Вы волнуетесь?

Она опять залилась смехом. «Это плохие писатели говорят «серебристый смех», а ведь, действительно, точно серебро звенит...»

— Какой вы глупый!

— Катя! — еще строже сказал клоун.

— Он не обидится. Он знает, что он умен. Вы страшно умный, в сто раз умнее меня, но в цирке вы, милый, не смыслите ничего. Выстрел — это пустяки, никакой опасности, падаешь на сетку, как на постель. Это мы в России выдумали, говорят, за границей они еще выстрела не знают, такие дураки!.. А вот когда у Карло проклятое двойное, я дрожу как осиновый лист: нет ничего проще убиться. А тут он еще себе вбил в голову тройное сальто-мортале! Он сумасшедший, Карло!..

«Из-за чужого она верно не дрожала бы как осиновый лист... Если б Карло разбился, она наверное досталась бы мне,— неожиданно подумал Николай Сергеевич. «*Отбивать*» ее у другого было, по его понятиям, недостойно.— А может быть, я *боюсь* его? — с еще более неприятным чувством спросил он себя.— Нет, не боюсь, хотя он страшный человек...» Мамонтов опять поцеловал руку Кате и простился.

— Значит, через полчаса после выстрела в фургоне,— сказал он.— Да, я найду, я помню, где ваш фургон.

Когда он занял свое место, Карло Диабелли уже стоял на арене с длинным бичом в руке. Музыканты на балконе играли старенький, милый общеизвестностью галоп. Первая лошадь из белой шестерки перескочила через низкий барьер и размеренным галопом пошла кругом вдоль барьера. Медленно поворачиваясь на каблуках, Карло следил за ней взглядом. Когда она поровнялась с ним, он без замет-

ного публике разбега вскочил на седло и нашел равновесие, наклонивши к центру арены свое сжатое, точно ставшее более коротким тело. Это была единственная трудная часть «Венгерской почты». Вторая лошадь тяжело поскакала по кругу, поровнялась с первой и пошла рядом с ней. Карло перенес одну ногу на ее седло. Третья лошадь прошла между двумя первыми, под его ногами; он на ходу подхватил и развернул ее поводья. Через несколько минут Карло, стоя на двух лошадях, правил всей шестеркой, скакавшей цугом по краю арены и все ускорявшей ход. Проделав последний тур, он спрыгнул на песок, побежал наперерез шестерке и остановился, высоко подняв бич. Музыка оборвалась. Лошади остановились, выстроились в ряд и поднялись на дыбы, теперь изумляя, почти страша, точно невиданные звери, зрителей своей громадной величиной и мощью. Держась на задних ногах, перебирая в воздухе передними, они медленно попятились к барьеру под оглушительные щелчки бича и повелительные непонятные окрики Карло. Музыка опять заиграла, сливаясь с восторженными рукоплесканиями публики. Этот номер программы всегда имел огромный успех, но Карло им не гордился. Двойное сальто-мортале, связанное для него со смертельной опасностью, обычно оваций не вызывало.

Шесть служителей в красных ливреях с позументами, изображая величайшее напряжение, выкатили на арену громадную пушку из выкрашенного под бронзу дерева, затем закрепили против нее на столбах сетку. Карло внимательно проверил столбы и попросил публику соблюдать полную тишину. Эту тщательно заученную наизусть фразу он произносил, почти без акцента, мрачным гробовым голосом. Музыканты заиграли что-то боевое. На арену в трико, покрытом синей мантией, выбежала Каталина Диабелли. Ее встретили рукоплесканьями. Она раскланялась с публикой и, бросив служителю мантию, побежала навстречу Карло. Он высоко поднял ее. Затем, держа над головой ее ставшее прямым как палка тело, понес Каталину к пушке. Ее сапожки вошли в дуло,— кто-то ахнул,— она исчезла в дуле с головой. По залу пронесся восторженный гул. Музыка перестала играть. Настала совершенная тишина. Карло стал за пушкой. незаметно положил руку на пугач, приделанный к ней сзади, рядом с пуговкой пружины, и стал очень медленно считать: «Раз!.. Два!.. Р-ри!..» Отпустив пружину, он выстрелил. Каталина вылетела из пушки, пронеслась над ареной и упала в сетку. Через полминуты они, держась за руки, раскланивались с ревевшей публикой.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

— Locarno! Piazza Grande! — прокричал кондуктор. Мамонтов встал и взвалил себе на плечи купленный в Цюрихе дорожный мешок. На нем был костюм альпиниста, придававший ему, по его мнению, несерьезный вид. «Эти идиотские чулки — просто второе детство. А альпеншток на ровном месте совершенно не нужен и делает человека смешным. Иван Грозный всаживал кому-то в ногу такой остроконечный посох, это по крайней мере было занятие...» Николай Сергеевич был в хорошем настроении духа, несмотря на то, что ноги у него горели, а плечи были натерты ремнями мешка. Он вышел и остановился в восторге, окинув взглядом площадь. «Да ведь это Италия! Точно в другую страну переехал!»

День был солнечный и довольно холодный. «Что же сейчас делать?» — нерешительно спросил себя Мамонтов. Можно было бы тотчас отправиться на поиски виллы Бароната, но лучше было сначала устроиться, умыться, отдохнуть. «Конечно, теперь ехать к Бакунину поздно. Пока разыщу его и доеду, пройдет два или три часа. И какой же разговор, если у меня будут слипаться глаза? Да и нельзя вваливаться к незнакомому человеку в обеденное время. Городок крошечный, но, верно, и тут найдется какой-нибудь Отель Бориваж или Вилла д'Англетэрр. Сегодня я имею право на хороший обед. Говорят, в итальянской Швейцарии есть недурные вина, и кормят будто бы гораздо лучше, чем в немецкой...» Он вспомнил о петербургских обедах, о водке, об икре, но тут же решительно себе подтвердил, что нисколько не сожалеет о своей поездке. «Когда, постранствуя, воротишься домой,— И дым отечества...» Все у нас кстати думают, что дым отечества это из Грибоедова. А Грибоедов это взял у Гомера как нечто общеизвестное... Месяца три-четыре можно провести и без дыма отечества и даже без отечества...»

В Цюрихе Мамонтов узнал, что Бакунин живет в вилле «Бароната», расположенной на Лаго Маджоре, поблизо-

сти от Локарно. Николай Сергеевич доехал до Флюэлена на пароходе, там переночевал и на заре отправился по Локарнской дороге пешком. В мешке были туалетные принадлежности, перемена белья, мольберт, кисти, краски. Были еще съестные припасы, но от них ничего не осталось уже к девяти часам утра: на первом же привале он съел все, что взял с собой в дорогу. Хотел было после завтрака поработать, но так и не вынул кистей из мешка. Дорога была на редкость живописна, один грандиозный пейзаж следовал за другим и не было оснований предпочесть один другому. «Может быть, дальше попадется что-нибудь еще лучше? Все равно я в один присест не мог бы ничего набросать. Да я и не пейзажист, и трудно писать, когда плечи болят от ремней, а ноги от этих проклятых башмаков...» Затем его нагнал дилижанс, в котором оказалось свободное место, и только теперь в Локарно Николай Сергеевич почувствовал, что ему очень наскучили красоты природы и что его начинает утомлять Швейцария, по крайней мере немецкая, с ее швейцергофами, бориважами, бельведерами, эспланадами. «Право, люди творят не хуже природы! Как хороши эти линии аркад! А эта церковь на горе! Колокольня немного высока для фасада... Вот где бы поселиться до конца дней!» — подумал он без уверенности: вдруг через три дня станут невыносимыми и эта площадь, и колокольня, и весь этот городок, по ошибке попавший сюда из Италии.

Он зашел в аптеку, чтобы справиться о гостинице. Аптекарь, живой, бойкий старичок, свободно говорил по-французски, с забавным итальянским акцентом. Он снисходительно осмотрел Мамонтова, очевидно расценивая его финансовые возможности. «Кажется, расценил их весьма низко»,— подумал Николай Сергеевич.

— Наш городок мало посещается туристами, несмотря на то, что он гораздо лучше многих прославленных курортов,— сказал аптекарь внушительно, как будто даже с угрозой прославленным курортам.— Больших гостиниц у нас нет. Рекомендую вам Albergo del Gallo, очень прилично и недорого. Вы сюда надолго?

— Я завтра думаю уехать,— ответил Мамонтов. «Что, если его и спросить? Еще, пожалуй, в гостинице ни по-французски, ни по-немецки не понимают. Мы в свободной стране, конспирация тут и вправду не нужна».— Не можете ли вы мне сказать, где находится вилла «Бароната»? Я знаю, что это на озере и близко, но как туда проехать?

Аптекарь вышел из-за прилавка и, к удивлению Николая Сергеевича, протянул ему руку.

— Вы друг Микеле Бакунина? — спросил он.— Я тоже его друг и поклонник. Когда он приезжает в Локарно, то всегда заходит ко мне. Разумеется, я могу вам объяснить, я сам там бывал много раз. Туда можно проехать на лодке, это чудесная прогулка: одна из самых прекрасных частей Лаго Маджоре,— опять строго сказал он, точно Мамонтов это оспаривал.— Можно также, если хотите, нанять извозчика. А если вы любите ходить, то можно пройти и пешком. Так вы друг Микеле? — снова спросил он, радостно улыбаясь.— Это великий человек! Мы все его обожаем. Мы ему немного и помогали, кто как мог, когда ему приходилось совсем плохо. Теперь его дела поправились и он купил эту виллу.

— Разве это его вилла? — удивленно спросил Николай Сергеевич. «Кто же это мы? Аптекари? Локарнцы? Анархисты? Неужели этот аптекарь анархист?»

— Его и Каффиеро. Это тоже мой друг. Когда вы хотите ехать к Микеле?

— Сегодня уже поздно. Я хотел бы завтра, скажем, часов в девять?

— Если б сегодня вечером, я, пожалуй, поехал бы с вами,— с сожалением сказал аптекарь.— Завтра утром не могу: я работаю. Но вы приходите сюда в десять часов, я сговорюсь с лодочником. Он возьмет с вас недорого, а, может быть, даже отвезет бесплатно: он тоже друг и ученик Микеле. И хозяин Albergo del Gallo сделает вам скидку, если вы скажете, что вы друг Микеле: хозяин тоже анархист.— Николай Сергеевич невольно оглянулся на дверь, но тотчас вспомнил, что здесь такие слова можно произносить совершенно безопасно.

Они простились как добрые знакомые. Аптекарь сделал скидку на мыле, сообщив, что *своим* продает без всякого заработка. «Я даже не сказал ему, что я *свой*,— с недоумением подумал Николай Сергеевич.— Что если бы я был полицейским агентом?»

Гостиница была живописная,— тоже такая, какой полагалось бы быть в Италии, а не в Швейцарии. «Живописность это конечно, но пообедаю я где-нибудь в другом месте»,— подумал Мамонтов, поднимаясь вслед за хозяином по покрытой тонким рваным ковром лестнице. Комната, впрочем, была хорошая: большая, с двумя окнами, с камином, в котором, над газетной бумагой и щепками, лежали дрова. Она стоила так дешево, что Николай Сергеевич не счел нужным ссылаться на Микеле. Он попросил затопить камин. Хозяин сказал, что обед будет готов часа через полтора и что он стоит полтора франка: два блюда с сыром и вином.

— Если вам угодно, вам подадут обед сюда,— предложил хозяин.— Без всякой надбавки.

— О нет, я спущусь вниз, как только умоюсь,— ответил Мамонтов. Хозяин ничего не сказал, но ушел как будто не совсем довольный. Николай Сергеевич подошел к окну. Оно выходило в небольшой запущенный сад с уже знакомыми ему фиговыми деревьями. Между ними на веревках висело белье. В садике была беседка со столиком и двумя стульями, и в этой беседке было что-то необыкновенно уютное и даже умилительное. «Вот бы что писать, а не Сен-Готард! — сказал себе в восторге Мамонтов.— Кажется, во мне пропадает «второстепенный фламандец семнадцатого века...» Другое окно выходило на улицу. Против него были домики, тоже умилительные, чуть ли не средневековые, с аркадами и балкончиками, с садиками и с бельем на веревках. Николай Сергеевич сел в кресло, стоявшее у окна под старинным Распятием. К окну на уровне спинки кресла было на подвижном стержне прикреплено зеркальце. «Это зачем?» — с любопытством спросил себя Мамонтов, наклонившись. Зеркало отразило всю улицу, с обоими тротуарами. «Какая прелесть! Очевидно, местные кумушки так проводят время: шьют или вяжут в кресле и видят все, что делается на улице, а их самих не видно...» В зеркальце показалась тележка, запряженная клячей. Ею правил старик в сером балахоне и в странной фуражке. «Право, это русский стиль,— с удивлением подумал Мамонтов,— чем не Рязань!» Действительно, в крупном, необычайно массивном облике, в широком лице старика, в его бороде, в фуражке и в балахоне, даже в том, как он сидел в тележке и правил лошадью, было что-то необыкновенно напоминавшее Россию, что-то старозаветное, барское, помещичье, даже степное. «А вдруг это Бакунин!» Сердце у Мамонтова немного забилось. Тележка подъехала к гостинице и остановилась, из гостиницы выбежал юноша. Старик в балахоне, с видимым усилием, вылез из тележки и оказался человеком исполинского роста. «Помнится, кто-то говорил, что Бакунин гигант? Или это Маркс гигант? Или они оба гиганты? Нет, не может быть, чтобы это был Бакунин...» Старик потрепал юношу по плечу и, предоставив ему тележку, вошел в дом.

В дверь постучали. Немолодая, иссиня-черная служанка принесла два кувшина воды и полотенце. Она опустилась на колени перед камином и принялась его растапливать. Мамонтов смотрел на нее, чувствуя неловкость, как всегда в тех случаях, когда на него работали женщины.

— Могу ли я вам помочь? — нерешительно спросил он. Но служанка по-французски не понимала. Николай Сергеевич подошел к ней и стал подталкивать в камин щепки и бумагу. На старых, пожелтевших газетах были названия: «Equaglianza»... «Fratellanza» [1]...

— Как называется та церковь на горе? — спросил он как умел по-итальянски, больше для того, чтобы не молчать. Его итальянского языка служанка тоже не поняла, но, быть может, по жестам, означавшим гору, или потому, что об этом спрашивали все, догадалась и радостно ответила, что церковь называется Madonna del Sasso. Николай Сергеевич утвердительно закивал головой, точно именно этого ожидал, но уже не решился спросить, как зовут только что приехавшего великана. Дрова загорелись. Мамонтов долго стоял у камина, не отрывая глаз от пламени. Он сам удивлялся своему волнению.

Николай Сергеевич еще мылся, когда снизу донеслись рукоплесканья. «Это еще что такое?» — изумленно спросил себя он. Рукоплесканья продолжались довольно долго. Затем оттуда же стал доноситься мужской звучный, низкий голос. Разобрать слова было невозможно. «Конечно, это не разговор, а лекция или речь... Да тогда, верно, это тот старик! Неужели в самом деле Бакунин!..»

Мамонтов поспешно оделся и, ориентируясь по голосу, пошел по уже полутемному коридору. На лестнице голос был слышен гораздо лучше. Внизу пробежал на цыпочках тот самый юноша, с необыкновенно взволнованным лицом. Он нес канделябр с незажженными свечами. Речь доносилась из комнаты, бывшей в конце другого коридора. Николай Сергеевич отправился туда. «Если спросят, почему я лезу, куда не звали, скажу, что ищу столовую...» Но его никто ни о чем не спрашивал. Он, тоже на цыпочках, подошел к двери.

В узкой, довольно длинной, полутемной комнате за столом, положив на него огромные руки, сидел, уже без балахона и фуражки, бородатый великан. При слабом свете кончавшегося дня Николай Сергеевич не мог разглядеть его как следует. В комнате на стульях, на табуретах, на скамейке, принесенной, очевидно, из сада, разместилось человек двадцать пять или тридцать. Мамонтов, согнувшись, скользнул к скамейке и сел. Никто и здесь не обратил на него внимания.

Старик говорил что-то по-итальянски необыкновенно выразительно. Он довольно сильно пришепетывал, по-ви-

---

[1] «Равенство»... «Братство»... *(итал.)*.

димому, по недостатку зубов. Тем не менее, в каждом его звуке, в жестах, в необыкновенной внушительности речи, чувствовался замечательный оратор. Говорил он гладко, не заглядывая в лежавшую перед ним бумажку, и лишь очень редко, в поисках нужного выражения, нетерпеливо морщась, щелкая пальцами правой руки, переходил на французский язык и снова возвращался к итальянскому. Обычно ему с разных сторон радостно подсказывали перевод французского слова. Слушали его все с благоговейным вниманием. Николай Сергеевич не понимал речи, но теперь уже не могло быть сомнений в том, что это Бакунин. «Какая сила! Да, это очень большой революционный оратор, не чета петербургским студентам! Что же это за сборище? Неужели тут все анархисты? На вид мастеровые...» Старик вдруг сильно повысил голос. Что-то пробежало по залу. «...Creare una minoranza dirigente e communicarre la scintilla rivoluzionara: la masse sarrebero venute poi!» [1] — прокричал старик, ударив кулаком по столу. В комнату на цыпочках вошел юноша с канделябром. Он пробрался вперед, поставил канделябр на стол и присел на кончик скамьи, не сводя глаз со старика. «Какая замечательная голова! Лев!» — подумал Мамонтов, вглядываясь в оратора. В комнате, впрочем, почти не стало светлее. При свете свечей лицо старика изменилось и теперь казалось грозным.

Николай Сергеевич слушал, но понимал очень плохо. Старик говорил о неудаче испанской революции. По-видимому, он приписывал ее провал тому, что революционеры слишком церемонились. «Что же надо было делать? — с недоумением спросил себя Мамонтов.— О каких бумагах он говорит? Бумаги надо было сжечь? Зачем жечь бумаги? Верно, я не так понял...» Вдруг рядом с ним со скамьи вскочил бледный, измученный человек и принялся что-то разъяснять. На него неодобрительно зашикали. «Кажется, этот говорит по-испански... Да, «х-х» это испанский звук...» Старик тотчас тоже перешел на испанский язык, но на нем ему было говорить не так легко.— «Не понимаем», «не понимаем»,— послышались жалобные голоса. Испанец, немного владевший французским языком, повторил свое объяснение по-французски.— «Свобода, равенство, братство», говорите вы?» — закричал старик и опять ударил по столу кулаком так, что на канделябре что-то сильно зазвенело. Испанец испуганно замолчал и сел.

---

[1] «...Создайте руководящее ядро и зажгите революционную искру: тогда массы пойдут!» *(итал.)*.

— Liberté, égalité, fraternité [1],— сопя, повторил старик и сердито засмеялся.— Liberté, égalité, fraternité! — Быть может, по рассеянности, он продолжал говорить по-французски. «Говорит совершенно как француз, только «р» твердое. Как будто чуть старомодно, так, верно, говорила русская аристократия в начале столетия. Может быть, царь так говорит»,— думал, улыбаясь, Николай Сергеевич. Теперь он слушал очень внимательно. Старик издевался над республиканским девизом. Он доказывал, что всеобщее избирательное право и есть самая настоящая контрреволюция, что оно непременно будет использовано эксплуататорами против трудящихся.— В современном обществе работник — раб! — закричал он так, что его наверное было слышно на противоположном конце дома. Юноша рядом с Мамонтовым вскочил и зааплодировал, за ним зааплодировали все другие. Старик сказал более спокойно:

— Il faut avoir vraiment l'esprit mensonger de Messieurs les bourgeois pour oser parler de la liberté des ouvriers! Belle liberté qui les enchaîne par la faim à la volonté du capitaliste!.. Et la fraternité! Encore un mensonge! Je vous demande si la fraternité est possible entre les exploiteurs et les exploités, entre le oppresseurs et les opprimés? Comment? Je vous ferai suer et souffrir tout un jour et le soir, ayant recueilli le fruit de vos souffrence et de votre sueur, le soir, je vous dirai: «Embrassons-nous, mes amis, nous sommes des frères!..» [2]

Послышался смех. Старик, однако, даже не улыбнулся. Лицо его осталось нахмуренным и грозным. «Игра ли это? — спросил себя Мамонтов.— Нет, едва ли... С ним, очевидно, по душам не разговоришься. Но как же мне быть? Подойти после окончания и передать ему письмо? Лучше это сделать через хозяина. И потом все-таки, вдруг это не Бакунин, а какой-нибудь другой революционер? Надо для верности спросить...»

— ...Мы, сторонники великой социальной революции, мы тоже хотим свободы, равенства и братства. Но мы желаем, чтобы великие слова эти стали из глупых выдумок правдой, настоящей, подлинной правдой жизни! И для этого мы не остановимся ни перед чем! Сейчас перед нами

---

[1] Свобода, равенство, братство *(франц.)*.

[2] Нужно, правда, обладать лживостью господ буржуа, чтобы сметь говорить о свободе рабочих! Хороша свобода, которая приковывает их цепью к воле капиталиста!.. И братство! Еще одна ложь! Я вас спрашиваю, возможно ли братство между эксплуататорами и эксплуатируемыми, между угнетателями и угнетенными? Как? Я заставляю вас потеть и страдать целый день, а вечером, собрав плоды вашего труда, вашего пота, вечером я скажу вам: «Поцелуемся, друзья мои, все мы братья!..» *(франц.)*.

великая задача разрушения! Многое погибнет! Гнилое должно погибнуть! Много крови будет пролито! — прокричал он.— Но я скажу, как один деятель Французской революции: «Разве так была чиста та кровь, которая пролилась?»

Опять послышались рукоплесканья. Кто-то из слушателей воспользовался передышкой и робко попросил говорить по-итальянски, а то, к несчастью, не все понятно. На лице старика вдруг выступила детская, веселая и вместе чуть жалостная улыбка, совершенно не шедшая к его страшным словам. Николай Сергеевич тоже воспользовался минутой и на цыпочках скользнул к двери. Хотя на него никто в комнате не обратил внимания, он чувствовал себя неловко, точно без билета, минуя контроль, проскочил в театральный зал. «Это, быть может, верно даже в настоящем смысле: ведь в самом деле тут за вход, должно быть, платят. Да, это новый, совсем новый мир,— думал Николай Сергеевич.— Конечно, в Швейцарии революционеры могут выступать открыто, но, кажется, хозяин не очень хотел, чтобы я обедал внизу. Верно, столовая тут где-нибудь рядом, а его голос слышен за версту... Вот он, хозяин...» Из отворенной хозяином двери донесся запах жареного мяса и лука. Николай Сергеевич только теперь почувствовал, как он голоден. «Ничего не поделаешь, придется отложить обед, но, разумеется, теперь я пообедаю здесь...» Он вынул из кармана письмо земского деятеля и, скрывая смущение особенно непринужденным тоном, окликнул хозяина, который бросил на него подозрительный взгляд.

— Скажите, пожалуйста...— Он на мгновенье запнулся: слово «мосье» показалось ему неподходящим.— Это Бакунин? Если это Бакунин, то я хотел бы передать ему одно письмо из России. Я к нему и приехал... Не будете ли вы любезны сказать ему после его лекции? Ведь это Микеле Бакунин?

— Да, это сам Микеле Бакунин. Вы хотите, чтобы я передал ему письмо?

— Нет, вы только ему сообщите, что у меня есть письмо для него из России. Я буду у себя. Если он может меня принять, пожалуйста, скажите мне, я тотчас спущусь.

— Очень хорошо,— недоверчиво ответил хозяин без обращения. «Не знает теперь, кто я «мосье» или... Как анархисты называют друг друга?» — Николай Сергеевич, шагая через две ступени, поднялся в свою комнату, где теперь ярко горели в камине дрова, и зажег свечу на столе. Он очень волновался. Походив немного по комнате, Ма-

монтов, больше от нервности, снова вышел в еле освещенный далекой свечой коридор. Снизу снова донеслись рукоплесканья, на этот раз особенно долгие. «Кажется, он кончил. Сейчас разговор...» Николай Сергеевич бессознательно преобразился, стал очень серьезным, вдумчивым, ищущим правды человеком, страстно желающим освобождения мира. Он заметил это не сразу, но заметил. «Еще новый Мамонтов! Нет, нет, я ломаться не согласен! Буду вообще говорить возможно меньше. Постараюсь, чтобы говорил он»,— подумал Николай Сергеевич, нагнувшись над перилами лестницы. Под лампой стоял тот же юноша. «Кажется, и он его ждет...» Через минуту донесся низкий баритон старика, теперь, впрочем, совершенно иной по тону: «Компатриот? Какой еще компатриот?» Внизу показался хозяин с зажженной лампой в руке. За ним следовал, окруженный слушателями, Бакунин. Они на ходу восторженно ему аплодировали. В эту минуту юноша выбежал вперед, оттолкнул кого-то, вцепился в руку Бакунину и поцеловал ее.

Николай Сергеевич вернулся в свою комнату. «Кажется, я тоже ошалел, как этот мальчик!..» Он бросил в мешок валявшееся на полу белье, зачем-то передвинул на столе свечу, поправил рукой прическу и снова вышел в коридор. Старик, смеясь, шел к его комнате тяжелой, грузной походкой. За ним, почтительно улыбаясь, следовал хозяин с лампой. Увидев Мамонтова, он что-то шепнул Бакунину.

— Михаил Александрович Бакунин? — спросил Мамонтов.— Очень счастлив познакомиться с вами.

Старик вгляделся в его лицо. Хозяин высоко поднял лампу.

— Это вы компатриот? — спросил Бакунин, насмешливо-благодушно повторяя по-русски только что им употребленное французское слово.— Я тоже очень счастлив... А как, компатриот, ваша фамилия? Мамонтов? Ну, отлично, ведите меня к себе. Вы мне привезли письмо? От моих братьев? Может, и еще что-нибудь кроме письма?

— Я не имею чести знать ваших братьев. Письмо от...— Николай Сергеевич назвал имя-отчество земского деятеля.

— Кто такой? У меня на крещеные имена стала слаба память... А-а,— разочарованно протянул он, услышав фамилию,— он жив еще?.. Ну, хорошо, я с ним посижу, Джакомо,— обратился он по-французски к хозяину и взял у него лампу.— Это ваша комната? И камин горит, отлично! — сказал он, входя.

— Ради Бога, садитесь, Михаил Александрович,— растерянно сказал Мамонтов, подвигая кресло. Старик стал

спиной к камину, заложив назад руки, осмотрелся в комнате и затем с любопытством уставился глазами в Мамонтова. По-видимому, впечатление у него было благоприятное. «Экий, однако, гигант! Я, кажется, не встречал человека крупнее...» Только теперь Мамонтов разглядел старика как следует. Все в нем было нечеловечески-огромно: рост, голова, лоб, черты лица, руки, ноги. Лицо у него было необыкновенно широкое, обрюзглое, густо обросшее седоватыми волосами. От носа косо спускались резко обозначившиеся складки. Николая Сергеевича поразили его глаза, глубоко засевшие под густыми седоватыми бровями. «Как у хищного зверя? Впрочем, нет. Прекрасные глаза, но определить их трудно... Да, именно лев! Вот бы его написать! И в этом рубище!» Бакунин был в самом деле одет очень плохо. На нем было что-то вроде плисового сюртука,— таких больше не носили,— и сюртук этот был крайне изношен и вытерт. На рукавах фланелевой рубашки и на брюках виднелась бахрома.

— Ну-с, давайте письмо,— сказал, сопя, старик. Неохотно оторвав от огня руки, он наклонился к лампе и принялся читать, неодобрительно покачивая головой.— «...Mon jeune ami Nicolas Mamontoff» [1],— бормотал он. Прочитав короткое письмо, он при свете лампы еще раз вгляделся в Мамонтова, наклонившись к нему вплотную.— Ну-с, ладно, прочел и восчувствовал.

— Михаил Александрович, *чайку* позволите? — спросил Николай Сергеевич и решительно на себя рассердился за это слово, показавшееся ему развязным.— Ведь здесь, верно, есть чай?

— Чай у них скверный, сколь я ни учил Джакомо. Но какой же теперь чай? Вот что, друг мой, мы с вами тут пообедаем. Ежели у вас нет денег, это не беда. Я нынче богат. У меня есть десять франков, а обед у них стоит только полтора. Так что я вас, *компатриот*, угощаю.— Мамонтов так растерялся, что не сразу мог ответить. Очевидно, объяснив себе его смущение по-своему, Бакунин бросил взгляд на его дорожный костюм, на мешок, на грязные башмаки и добавил: — А ежели у вас нечем заплатить за комнату, то я вам дам три франка. Три оставлю себе на табачок и на франкировку писем. У меня тут, впрочем, кредит, да и у аптекаря я могу взять, так что вы, компатриот, не тужите.

— Ради Бога!.. Напротив, я прошу вас сделать мне удовольствие и честь быть моим гостем. Для меня будет величайшим удовольствием, если вы со мной пообедаете.

---

[1] «...Мой юный друг Николай Мамонтов» *(франц.)*.

— Я могу сделать вам и это удовольствие, и эту честь,— благодушно ответил Бакунин. Он произносил «чешть».— Разве вы тоже при деньгах?

— У меня есть деньги... Я свои вещи оставил в Цюрихе,— невольно пояснил Мамонтов в ответ на подразумевавшийся вопрос старика.— Из Флюэлена я вышел пешком, но скоро устал и сел в нагнавший меня дилижанс. Уж очень болели плечи от этого мешка... Значит, мы спустимся вниз?

— А зачем? Там меня облепят люди. Здесь все итальянские эмигранты, простые люди, лучшие мои друзья. Один мальчуган мне нынче руку поцеловал! — смеясь, сказал он,— дурачок этакий!.. Нет, мы с вами пообедаем в этой комнате... Джакомо! — прокричал он так, что Николай Сергеевич вздрогнул.— У них сегодня, я знаю, спагетти, бифштекс и сыр. А ежели вы богаты, то закажите и бутылочку вина, хоть оно у них дрянное.

— Ради Бога! — в третий раз сказал Мамонтов.— Позвольте мне... Вы не можете себе представить, какая для меня радость увидеть живого Бакунина!..

— «Живого Бакунина»,— насмешливо повторил старик, впрочем, как будто довольный.— Ну, и что же из этого следует?

— Позвольте мне выпить с вами шампанского. У них, быть может, найдется шампанское?

Бакунин весело засмеялся.

— Отчего же нет? Хотя, должно быть, здесь с сотворения мира никто шампанского не спрашивал!.. Джакомо, у тебя есть шампанское? — обратился он к вошедшему хозяину. Тот сначала было растерялся, но потом гордо ответил, что за шампанским дело не станет.— Верно, он в лавочку пошлет или, может быть, в Цюрих. Но у вас *наверное* есть деньги, Мамонтов? У меня тут, правда, неограниченный кредит... Неограниченный так франков до двадцати. Однако шампанское мне не по карману... Значит, два обеда и бутылку шампанского.

— А нельзя ли получить что-нибудь à la carte? [1]

— Никогда не заказывайте, молодой человек, ничего à la carte, особливо в дешевеньких гостиницах. Что у них к обеду отмечено, то, по крайней мере, свежо... Два обеда, Джакомо, ему обыкновенную человеческую порцию, а мне *мою*. И пойди поторопись, мой друг, я голоден, как зверь... Ну вот, будет, значит, пир горой. Ладно, теперь рассказывайте о себе. Вы прямо из Петербурга? Из каких это вы

[1] Из порционных блюд *(франц.)*.

Мамонтовых? Из новгородских? Там, кажется, были помещики Мамонтовы?

— Нет, я не из этих. Мой отец вышел из народа, он был сын крепостного,— сказал Мамонтов. Бакунин взглянул на него из-под бровей, радостно ахнул и оживился.

— Вот это хорошо! Это хорошо! — воскликнул он.— Как вы счастливы, что вы внук крепостного! («Зачем *он* мне это говорит?» — с неприятным чувством подумал Николай Сергеевич.) — Наше дворянское сословие давно сгнило. Кто это сказал, что Россия сгнила, не успев созреть? Наполеон, что ли? О России это такой гнусный вздор, что и опровергать совестно. А вот дворянство наше, действительно, насквозь прогнило, уж там я не знаю, успев созреть или не успев. Это, верьте мне, очень, очень хорошо, что вы внук крепостного!

— Я думаю, это ни хорошо, ни нехорошо, это просто факт,— сказал Мамонтов. Бакунин опять на него посмотрел. Николаю Сергеевичу казалось, что старик все время его изучает.

— Нет, это отлично. От этого крепче революционное сознание. Мне надоели даже лучшие буржуа. Способные к жизни и к смелому знанию теперь только внизу: работники. Вот почему я хочу и жить, и умереть с ними... В этом проклятый Маркс прав... Вы знаете Маркса? Не врите, будто читали,— смеясь, вставил он.— Его почти никто не читал, кроме его немецко-еврейской своры да еще меня, но вы, верно, слышали о нем? Он немец из евреев, самая скверная из всех возможных национальных комбинаций... Вы не еврей? Нет? А то есть евреи с русскими фамилиями, вроде Утина. Слышали? Об этом индивиде можно бы целый меморий написать, и даже должно, да неохота и времени нет. Впрочем, между евреями есть хорошие люди. Вы в Цюрихе не встречали Рабиновича? Это мой ученик. Он еще юноша, даже мальчик: ему всего лет семнадцать. Способный парнишка! Немцы хуже, гораздо хуже! Нехорошо так говорить, но каюсь, я терпеть не могу немцев! Не во многом я сходился с покойным Герценом, а в этом сходился. Он тоже немцев не выносил... У вас, надеюсь, нет немецкой матушки или бабушки? Хотя среди крестьян смешанных браков не бывает, и это тоже большое преимущество («Хорошо бы, если б он перестал заниматься моим происхождением!» — с досадой подумал Мамонтов).— Наше дворянство на добрую четверть немецкой крови, и это одна из причин, по которым я на него махнул рукой. Наш дворянский Петербург всю жизнь прожил и умрет немцем... Почему это мы заговорили о немцах? Я позабыл...

— Вы что-то хотели сказать о Марксе.

— Да, да, да! Так вот, видите ли, Маркс сказал, что не сознание людей определяет их бытие, а бытие определяет их сознание. Правда, Маркс это разумеет в несколько ином смысле, но это верно и в смысле персональном и единоличном. Вот те итальянские и испанские работники, которым я читаю детские лекции, в их революционность я верю. А в наших дворянчиков не верю! Когда у нас зачнется революция, дворянчики и толстосумы ее и предадут, и погубят, уж это непременно.

— Однако вы сами дворянин.

— К несчастью! — сказал Бакунин.— И даже столбовой: пятнадцатого века. Поэтому верно и накопилось во мне столько всякого дрянца! — Он засопел и тяжело вздохнул.

— И среди немцев, должно быть, есть прекрасные, подлинные революционеры,— сказал Николай Сергеевич, желавший вернуть разговор к Марксу. Бакунин вдруг расхохотался заразительным веселым смехом. Все его огромное тело затряслось. Он опустился в кресло, затрещавшее под его тяжестью.

— Немцы?.. Подлинные революционеры?.. Да где вы это видели?..

— Уж будто нет? — спросил Мамонтов, тоже садясь. Он больше не чувствовал смущения.

— Клянусь, ни одного!.. Я ни одного не встречал!.. Не единой живой души... Ведь я их всех знаю!..— Он вытер глаза и лоб платком и опять захохотал.— Немцы революционеры!.. Ох, уморил!.. Молода — в Саксонии не была... А вот я в Саксонии *была*. Даже была там приговорена к смертной казни!.. Нет, брат, немец и революция это идеи невместные. Ежели у них когда произойдет революция, то это будет одна уморушка. А они революцию произведут, непременно произведут, потому в Англии и во Франции революции бывали, а им надо, чтобы у них было как в лучших домах. Они все лакеи, и самое комическое в том, что они этого не замечают... Разве только чуть-чуть подозревают? Немцы на весь свет кричат, что они самая высшая раса. Ну, а в душе, кажется, иногда в трезвые минуты сомневаются: вдруг не самая высшая, а самая низшая? И уж не дрянь ли и не мерзость весь их фатерланд, тысячу раз воспетый их собственными поэтами,— какой же чужой поэт будет их фатерланд воспевать? Хотя нет: едва ли подозревают. Вот англичанин и не говорит, что он самая высшая раса: он в этом так убежден, что тут и говорить не стоит, какой может быть разговор?.. Один только немец и есть не лакей, а великий человек. Это Шопенгауэр. Я в нем

теперь умудряюсь. Когда вам пойдет седьмой десяток, купите, Мамонтов, сочинения Шопенгауэра и сделайте из них livre de chevet... Как это по-русски, я свой язык стал позабывать.

— Настольная книга. Шопенгауэр меня не интересует. А вот этот Маркс?

Бакунин вдруг подозрительно на него уставился.

— Послушайте, Мамонтов, вы не марксид?

— Я Маркса никогда в глаза не видал, а с его учением знаком плохо. Приобрел русский перевод «Капитала» и читал, да не совсем кончил, что-то помешало, последних глав не прочел.

— И напрасно,— сказал Бакунин, опять засопев.— «Капитал» — замечательная книга. Я ведь ее переводил... Вы, впрочем, не мой перевод видели. Там вышла одна неприятная история... Конечно, вы слышали?

— Нет, не слышал. В чем дело?

— Не стоит рассказывать. Все равно дойдет до вас, как и ведра других помоев, которыми меня поливали всю жизнь Маркс и его шайка, все его лакеи, Энгельсы, Либкнехты, Боркгеймы и черт знает кто еще. Как только у людей хватает низости и мелкой злобы, просто не могу этого понять. Я знаю, что в политической борьбе грязь неизбежна. На ком ее нет? И на мне много, ох, как много! — сказал он, сопя.— Но этакие подленькие штучки это их специальность. Это их система политической борьбы... Впрочем, не система, а натура, чего они тоже не замечают. Просто они никогда об этом не думают: делают гадости, не мудрствуя, гадость ли это или нет! Ах, когда-нибудь весь свет узнает, что это за народ,— прокричал он злобно, стукнув кулаком по столу, как за час до того на лекции. На столе подпрыгнул подсвечник.— Хотя и грех то, что я говорю... Нет, нет, надо быть справедливым... Вы спрашиваете: Маркс. Я его ненавижу, но он умница, у него замечательная голова. Я не встречал человека ученее, чем Маркс, и я многому у него научился. Голова у него светлая, хотя он путаник и доктринарист... Вы не удивляйтесь: это бывает, что одновременно и путаник, и светлая голова. Такие-то люди именно всего опаснее. И Маркс теперь самый опасный человек на свете, опаснее Бисмарка, с которым он, кстати, во многом схож, особливо же своей ненавистью к славянству.

— Но он хоть революционер. Вы не отрицаете?

— Не отрицаю. Ведь Маркс все-таки не совсем немец, как мой Рабинович не совсем русский. Да, да, я признаю, он предан классу работников, он имеет большие заслуги,

все это так. Может, я и к нему, и к Энгельсу несправедлив. А все-таки душа у него маленькая. И хотя он предан классу работников, а в тысяча восемьсот семидесятом году он всей своей маленькой душой желал победы своему проклятому фатерланду... Ведь мы, международные революционеры, все в одном котле варимся и все друг о друге знаем. Я знаю наверное, что Маркс был в восторге от поражения Франции. Он это тоже как-то объяснял интересами работников: в фатерланде, мол, работники сознательнее. Да еще объяснял своей ненавистью к «Баденгэ»... Заметьте, кстати, ни один немецкий революционер в разговоре ни за что не скажет «Наполеон III», а непременно «Баденгэ», потому что такова у Наполеона была кличка в Париже, а ежели так говорят в Париже, то так и надо говорить, чтобы быть echt Pariser[1]. Только произносят они не по-парижски, а как-то необыкновенно мерзко: «П-пат-тенкэ»,— старик очень похоже воспроизвел немецкий говор.— Маркс и ссылался на «Баденгэ», но я доподлинно знаю, что желал он поражения Франции не поэтому, а ради гегемонии его немецкого племени: гегемонии военной, политической и особливо культурной. Он сам друзьям говорил, что ежели немцы разобьют французов, то его теория восторжествует над теориями Прудона. Что, кстати, и оказалось верно. Протестовать же против политики Бисмарка он стал только после Седана...

— Может быть, именно потому, что после Седана «Баденгэ» пал и война уже шла с республикой?

— Так марксиды говорят,— сердито сказал старик.— В действительности же, после Седана стало совершенно ясно, что Германия победила, что гегемония германскому племени обеспечена и что, стало быть, уже можно протестовать. А Энгельс — чистокровный немец, человек туповатый, хоть ученый,— Энгельс после Седана просто именинником ходил, не хуже любого немецкого офицера. Приличнее других держался Либкнехт. Этот тоже чистокровный и уж совсем кретин, но он юго-западный немец, не то из Гессена, не то из Пфальца, черт их разберет, и с детства помнит, что для его юго-западного фатерланда внешний враг не столь француз, сколь пруссак... Ну, а ежели Бисмарк объявит войну России, то все они распоясаются и совершенно потеряют стыд: Маркс хоть запрется на ключ у себя в кабинете, чтобы никто не видел, и там помолится Богу или черту о победе Бисмарка. А чистокровные и запираться на ключ не станут: в солдаты добровольцами пойдут! И, разумеется, объяснят очень подробно, почему

[1] Истинный парижанин (*нем.*).

интересы фатерланда случайно опять совпали с интересами класса работников. Книги об этом напишут: глупые, бездарные книги о том, как они с первого дня все предсказали! С тех пор, как я их знаю, Маркс и Энгельс все предсказывают, и просто не было случая, чтобы хоть одно их предсказание сбылось. Но Боже избави им об этом сказать! Ежели что не сбылось, то вот по каким причинам, а то непременно, ей-Богу, случилось бы именно так, как они сказали! Сам Маркс, впрочем, отлично знает им цену. В душе и Энгельс знает, да не скажет, всегда его хвалит. Энгельс богатый человек и кормит его... Это тоже может быть только у немцев: глава партии работников — промышленник и был членом Манчестерского биржевого комитета! Английские биржевики очень его любят, и он их очень любит, и в их кругу прожил лет двадцать, пил, ел, то он у биржевиков, то биржевики у него! А тайная, великая любовь Энгельса, ежели вы хотите знать, это военное дело. Он убежден, что он великий стратег и тактик, вроде как Мольтке, только, по воле злой судьбы, попал не в генеральный штаб, а в Интернационал и на Манчестерскую биржу: не повезло. Одно в нем хорошо. Маркса он точно любит и почитает. Кормит его и поит, и даже, кажется, этим не попрекает. Маркс, разумеется, другого полета птица. Этот не биржевик, нет! Не сомневаюсь, что Энгельса он ни в грош не ставит, как и всех других членов Санхедерина. Но, в благодарность за кров и стол, он подарил Энгельсу половину паев в своем учении. Впрочем, не половину, а, скажем, сорок процентов. И, разумеется, тут с его стороны риска мало: потому всякий, кто хоть немного знает Энгельса, понимает, что этот немец не мог написать «Коммунистический манифест», произведение весьма замечательное. Он в их акционерской фирме имеет, по существу, разве каких-нибудь десять процентов. А других Маркс держит по той же причине, по какой когда-то Рашель окружала себя бездарностями. Впрочем, ни один крупный человек никогда с Марксом ужиться не мог бы и не мог. Вот, Лассаль был крупный человек, и, верьте слову, Маркс ненавидел Лассаля гораздо искренней, чем ненавидел «Баденгэ». Не могу это доказать, но голову на отсечение дам, что тот день, когда убили Лассаля, был одним из счастливейших дней в жизни Маркса. А когда я умру, он за счет Энгельса шампанское закажет, как вы сегодня. Да что, кстати, его не несут? Джакомо! — опять закричал он так, что Николай Сергеевич содрогнулся.

— Все-таки, в Германии Либкнехт и тот, другой, Бебель, очень ругают Бисмарка.

— Ругают, пока Бисмарк не объявил России войны. Бисмарка можно ругать только в мирное время. А когда война, то забудем все и объединимся для фатерланда, интересы которого всегда так чудесно совпадают с интересами международного класса работников. Они, впрочем, и в мирное время ругают Бисмарка с тайной гордостью: социализм социализмом, а очень хорошо, что у фатерланда есть дурхлаухт фон Бисмарк и экселленц фон Мольтке... Вы думаете, я все это говорю оттого, что они мои враги? Да вот возьмите Лаврова. Не так давно вся русская колония в Цюрихе поделилась на лавристов и бакунистов, даже до мордобоя дошло в «бремершлюсселе». А разве я против Лаврова что-нибудь говорю? Лавров, ежели вы хотите знать, просто..,— неожиданно произнес он не принятое слово. Николай Сергеевич засмеялся.— Ну да!.. Очень исправный был полковник, полковником бы ему всю жизнь и оставаться: командовать дивизией Лаврову было бы уже трудно. Он либеральный поп, как мой полунедруг Вырубов позивистический поп, и больше ничего. Но ежели вы меня спросите, способен ли полковник Лавров на мелкие низости и гадости, купается ли полковник Лавров в мелких гадостях, как в своей стихии, я, разумеется, отвечу: нет, не способен, нет, не купается... Вот несут обед! Благодарите судьбу, а то я вас заговорил! Я и Герцену, и Маццини, и Прудону, и Тургеневу не давал слова сказать, хоть они все были мастера поговорить.

Он ласково улыбнулся горничной и дружелюбно с ней поговорил. Знал, и как ее зовут, и кто ее родители, и попросил кланяться какому-то Беппо. Девушка радостно вспыхнула. Николай Сергеевич разлил шампанское по бокалам. Бакунин поднес бутылку к лампе.

— Неважная марка.

— А вы знаете толк?

— Когда-то знал... Ну, вот что: мы должны выпить на «ты»! Тебя зовут Николай? Я тебя буду звать Nicolas, а ты меня зови Michel. Меня все бакунисты зовут Мишелем. А за глаза, подлые, говорят: «старик». Число же мое в шифре: тридцать... Что ты вытаращил глаза? Или ты не хочешь быть со мной на «ты»?

— Помилуйте, такая честь! — ответил Николай Сергеевич, действительно не ожидавший, что будет на «ты» с Бакуниным.

— Да что ты все так странно говоришь: «честь», «удовольствие»! Что за вздоры! Ты человек и я человек, ты революционер и я революционер.

— Почему же вам известно, что я революционер? — с

улыбкой спросил Мамонтов. У него язык не повернулся сказать «ты» этому знаменитому старику. Николай Сергеевич, впрочем, уже понимал, что Бакунин один из тех людей, которым физиологически трудно говорить знакомому «вы», особенно за бутылкой вина.

— Ежели бы ты не был революционером, то зачем бы ты ко мне пожаловал? Зачем ты бы мне сделал «честь»? Ты тогда запасся бы рекомендациями в какую-нибудь амбассаду, а не ко мне. Мне все буржуа давно изрекли анафему, чему я сердечно рад. Ну, твое здоровье, Nicolas.— Он чокнулся с Мамонтовым, выпил бокал вина и поморщился.— Дрянное шампанское!.. Вот макароны у них первый сорт.

Он поднял крышку огромного блюда. Николай Сергеевич ахнул, увидев гору облитых томатовым соусом макарон.

— Господи!

— Не поминай всуе имени Господня... Что, много? Ты, брат, съешь разве одну четверть, а три четверти я беру на себя. Ну, ладно, теперь я буду уписывать макароны и молчать, поскольку это в моих силах. А ты тоже ешь, но за едой рассказывай о себе все: кто ты, откуда, что за человек, какие твои убеждения, чего ты хочешь, как смотришь на жизнь, что любишь, что ненавидишь. Одним словом, все.

— Да как же все это рассказать?

— Так просто и рассказать,— сказал Бакунин, навалив себе в несколько приемов на тарелку нечеловеческую порцию макарон.— Постой, сначала выпьем еще по бокалу, чтобы у тебя развязался язычок... Вот так... Ну, будем здоровы. Теперь ешь и рассказывай.

Николай Сергеевич ел с аппетитом и, к собственному удивлению, действительно принялся рассказывать «все». Рассказал о своих родителях, о своем детстве, о гимназии, об университете, о смерти отца. «Потом будет совестно... Или вправду у меня от вина развязался язык? Вздор, от нескольких бокалов! Должно быть, в самом деле он так действует на людей...» Он изредка вставлял замечания вроде: «Не надоело еще? Ведь это совершенно не интересно...» — «Рассказывай, рассказывай, нечего»,— сердито-ласково отвечал Бакунин, слушавший очень внимательно, иногда даже задававший вопросы с любопытством, очень лестным Мамонтову. Николай Сергеевич почти дошел до встречи с цирком — «неужели и об этом рассказать?» — когда кончились и вино, и макароны. Горничная как раз принесла две тарелки с бифштексами, из которых один был тоже невиданных размеров.

— Да что ты удивляешься? — благодушно спросил Бакунин. Ведь во мне без малого три аршина, восемь пудов живого веса. Надо же мне есть. Я редко ем мясо, а вина почти никогда не пью: финансы не дозволяют. Зато, когда заказываю бифштекс, то *свою* порцию: они считают по-божески, только за две порции, потому что хозяин меня любит. Ему кормить меня чистый убыток, а тебе тем паче... Но по случаю нашей дружбы надо выпить еще... Ты жженку любишь?

— Люблю.

— Вот и отлично. Я не то что люблю, но она мне напоминает Россию и молодость. Впрочем, здесь я ее готовлю не так, как у нас, а с апельсинами и лимонами: уж очень они тут хороши и отшибают вкус их скверного рома.

Он обратился к горничной и подробно, ласково, с шуточками, которых не понимал Мамонтов, заказал ей все необходимое для жженки. Горничная слушала его с восторгом; она, видимо, его обожала, как все в этой гостинице. Когда она ушла, Бакунин с тем же аппетитом принялся за бифштекс.

— Герцен тоже всегда изумлялся моим порциям. Сколько он меня кормил и поил, покойник!.. Он думал, кстати, что он гастроном. А на самом деле аппетит у него был как у старушки, и он все заливал мерзким английским соусом, так что настоящие гастрономы на него смотрели с отвращением, а на меня изумленно. Вот, например, Вырубов, тот самый, Контовский поп,— пояснил он видимо довольный своим определением.— Ну, хорошо, ешь и продолжай. Ты очень хорошо рассказываешь.

«Сказать о Кате или нет?» — спросил себя Мамонтов и решил не говорить.

— Да что же все я и я? Мне вас слушать хочется.

— Не ври. И не «вас», а «тебя». Я поговорю потом, когда поем как следует. Тогда тебе слова не дам сказать... Ты начал об отце, я знавал таких людей, как твой отец. Это интересные люди. Ну, ну, рассказывай.

Узнав, что Николаю Сергеевичу досталось от отца наследство, Бакунин по-детски наивно раскрыл рот.

— Так, значит, ты богатый человек?!

— Какой же богатый? Сам еще не знаю, что у меня есть. Наследство под запретом и тяжба,— ответил Мамонтов смущенно. Ему вдруг пришло в голову, что Бакунин может от него потребовать отдачи всего состояния на революционные цели.— Наличных денег у меня немного, да и те я взял у купца-процентщика под вексель.

— Ну, хорошо. И ты вправду хочешь стать художником? — разочарованно спросил старик. Николай Сергеевич засмеялся.

— Не хочу стать, а уже стал. Везу в Париж картину... Я знаю, вы не любите искусства. Правду мне говорили, будто вы, когда руководили дрезденским восстанием, устроили пороховой склад рядом с Сикстинской мадонной?

— Не устроил, но отлично мог устроить. Я добрым немцам советовал тогда поставить эту самую Сикстинскую на валы, чтобы пруссаки не посмели стрелять: они для этого zu klassisch gebildet [1]. Впрочем, только тогда, когда дело идет о Мадоннах, принадлежащих им самим. Чужих Мадонн им не жалко. А ежели говорить правду, то все эти Мадонны ерунда. Из тысячи людей девятьсот девяносто девять восторгаются ими неискренне. И ни один человек от них счастливее не стал. Кто говорит, что стал, тот врет, а я терпеть не могу лжи... Впрочем, у меня тут противоречие: музыку я очень люблю... Ты Вагнера знаешь?

— Композитора Вагнера?

— Да, композитора. Это один из самых поганых немцев, каких я когда-либо встречал. А я, брат, поганых немцев знал на своем веку видимо-невидимо. Но музыкант он гениальный, самому Бетховену вровень. Я его «Увертюру» к «Тангейзеру» могу слушать часами подряд, как Бетховена... Так вот, видишь ли, Вагнер когда-то со мной участвовал в немецких революционных делах. Он тогда тоже называл себя революционером. Но меня посадили на цепь и приговорили к смертной казни, а он, разумеется, вовремя улепетнул и теперь лижет пятки какому-то из немецких королей, немножко более сумасшедшему, чем другие. Вагнер часто спорил со мной об искусстве и все ужасался. Я ему говорил, что и музыку надо уничтожить: больше дурачился, конечно. А он только жалостно ахал и охал: «Aber nein, lieber Genosse Bakunin! Nein, nicht die Musik!» [2] Почему это я вспомнил о Вагнере? Ох, стар я стал: все позабываю.

— По поводу моей живописи.

— Да, да... Тут ничего тебе присоветовать не могу. Что же ты пишешь? Дам каких-нибудь? Или фрукты? Теперь в Париже молодые художники все пишут фрукты.

— Нет, не дам и не фрукты,— обиженно ответил Мамонтов.— Я написал картину на сюжет из жизни Стеньки Разина.

— Неужто? — радостно воскликнул Бакунин.— Вот

---

[1] Слишком классически образованны *(нем.)*.
[2] «Но нет, дорогой товарищ Бакунин! Нет, не музыку!» *(нем.)*

это хорошо! На это я тебя, пожалуй, благословляю. Стенька Разин был большой человек, нам всем до него далеко: и Марксу, и Мацини, и мне, грешному. Я всегда думал, что разбой самая отрадная и почетная страница всей народной жизни. В России только разбойник и был настоящим революционером!.. Ну да, ты носа не вороти! А то кто же: декабристы, что ли? Или Герцен? Герцен был либеральный барин, сибарит, фрондер и чистоплюй, вообразивший себя революционером, вот как он воображал себя гастрономом! Умница был, талантливейшее перо, но революционер он был курам на смех. Он всю жизнь рефлектировал на самого себя, а это для революционера вещь вреднейшая и невозможная... Это прекрасно, что ты написал Стеньку! Прощаю тебе то, что ты занимаешься живописью. Где же ты его изобразил? В каком антураже?

— На Волге, естественно. Он захватывает струг богача Шорина... Помните?

— Конечно, помню! Стенька — мой любимец. Что ж, ты, верно, многое приукрасил, а? Он тогда на шоринском струге много людей перевешал. Ты это изобразил?

— Смягчил, конечно,— нехотя ответил Мамонтов.

— Почему «конечно»? И почему «смягчил»? Ведь это же и есть революция. Ты думаешь, мы-то, ежели что, будем донкишотствовать?

Улыбка у него стерлась. Глаза стали холодными, почти жестокими. Мамонтов смотрел на него с любопытством. Контраст между выражением странных глаз Бакунина и его старческим добродушием был разительный. «Вот бы с него Стеньку писать? Хотя нет, какой же он Стенька? Он и по наружности старый барин. Глаза у него рембрандтовские, какой-то clair-obscur, как-будто серые, а вот сейчас чуть только не темные. Никогда в жизни не видел такого «зеркала души»... А на вид степной помещик восемнадцатого века, гвардии поручик в отставке, с разными «петербургскими действами» в прошлом. Может быть, Орловы были такие? Да, хорошо бы написать его портрет, хоть тогда, чего доброго, нельзя будет вернуться в Россию»,— подумал Николай Сергеевич.

— Стенька не только вешал людей, но и пытал их, и на кол сажал,— сказал он.— Как же не смягчать? Да и вы, если начнете революцию, то будете «донкишотствовать».

— Не говори вздору. Мы мстить и не собираемся. Хотя у меня есть за что мстить! Я у немцев на цепи с полгода просидел, прикованный к стене, ты понимаешь, что это такое? Два раза был приговорен к смертной казни и долго-долго ждал ее весь день, всю ночь... Сидел в казематах Ке-

нигштейна, Праги, Петропавловки, Шлиссельбурга, лучшие годы там просидел! Пытать меня не пытали, но в Алексеевском равелине я каждый день ждал пытки, особливо вначале. При Николае очень просто могли прогнать сквозь строй: я ведь еще раньше был лишен дворянства... У меня есть за что *им* мстить! Но для такого глубокого чувства, как мщенье, в моем сердце, к несчастью, нет места. Русские люди отходчивы. Мы никого казнить не будем. Мы просто в момент переворота всех их перережем.

Николай Сергеевич изумленно на него взглянул: так не вязалась последняя фраза с тем, что ей предшествовало.

— Хороша же ваша «отходчивость»,— сказал он, улыбаясь не совсем естественно: выражение глаз Бакунина не располагало к улыбке.— Не знаю, чем задуманная заранее резня отличается от казней? Каких же «их» вы перережете? Александра Николаевича зарежете?

— Какого Александра Николаевича?

— Царя.

— А ты как думал? Его, разумеется, первым. Тебе, что, царя жалко?

— Все же, как-никак, он освободил крестьян... Вопреки дворянам. Моих родных освободил,— сказал Мамонтов, с удивлением замечая, что в разговоре с Бакуниным занимает почти такую же позицию, какую в разговоре с ним самим занимали Черняков и Софья Яковлевна.

— Освободил, потому что боялся, как бы они не освободились «снизу»: ведь сам же он об этом цинично сказал. А что он в Польше проделал? Мне Польша так же дорога и близка, как Россия. Тебе нет?

— Мне нет.

— Жаль. Очень сожалею... Нет, ты пока не созрел для революции, да еще мондиальной,— нетерпеливо сказал Бакунин.

— А вы верите в мондиальную революцию?

— Какое кому дело, верю я или не верю! Достаточно того, что я для нее жил и живу. Но ежели ты хочешь знать, то я верю, хоть знаю, что мне не дожить. Наступают великие и жесткие времена. Лихо морю расколыхаться, но ежели оно расколыхнется, то успокоится не скоро, очень не скоро. Молодым людям надо готовиться к буре. Да ты, брат, видно, мягкосердого исповедания? Таким в революцию в самом деле носа совать не следует... Зачем же ты собственно ко мне приехал? — с недоумением спросил Бакунин.— Ведь ты, значит, не хочешь отдать свои силы революции?

— Я сам не знаю, чего я хочу... Я всего хочу! Скажу

правду, я поехал в Европу, чтобы научиться уму-разуму. Думаю, что «ума-разума» сейчас больше всего у революционеров. Так теперь думает в России все наше поколение.— Бакунин одобрительно кивнул головою.— Может быть, мы и ошибаемся. Но трудно думать (он хотел было сказать «мыслить») против своего поколения.

— Твое поколение не ошибается. Какие бы мы, революционеры, ни были — а уж кому их и знать, как не мне? — мы, многогрешные, соль земли: без нас ей и существовать было бы незачем.

— Не знаю. Но во всяком случае я хотел побывать непосредственно у источника мудрости. И первым я хотел повидать... Михаила Бакунина,— сказал Мамонтов, выражаясь не вполне естественно все оттого, что он не мог выговорить: «тебя».— Я хотел бы узнать, к чему стремятся бакунисты?

— Ты мою «Государственность и анархию» читал? Первый том уже вышел.

— Нет еще. Я достану в Цюрихе, конечно, но...

— Ну, так вот, ты там можешь все прочитать. Каюсь, я не люблю говорить об ученых предметах. Прежде любил, теперь надоело. Но в двух словах, изволь, скажу. Наша цель: разрушение всех государств, уничтожение буржуазной цивилизации, вольная организация снизу вверх посредством вольных союзов, освобождение всего человечества волей восставшей черни...

— Вот как! «Черни»!

— Разрушение всех религиозных, политических, юридических, экономических и социальных учреждений, составляющих настоящий порядок вещей. Полное и окончательное уничтожение классов, равенство индивидов обоих полов, уничтожение наследственных прав,— сказал Бакунин, закончив, наконец, свой бифштекс. Он с наслаждением закурил папиросу.

— А чем вы отличаетесь от марксистов? Я очень невежествен, я знаю, что мой вопрос смешит... Ну, мне говорили, что Маркс признает государство, а Бакунин нет,— уныло сказал Николай Сергеевич,— я это двадцать раз слышал и никогда не мог понять. Что это значит: не признавать государство? Что вы сделали бы, если бы пришли к власти?

— Прочти мою Лионскую программу.— Бакунин тяжело откинулся на спинку кресла и стал перечислять: — Правительственная и административная машина отменяется. Народ берет всю власть в свои руки. Суды, уголовные и гражданские, уничтожаются с заменой народным судом. Уплата налогов и гипотек прекращается. Богатые

классы облагаются должной контрибуцией. Каждая коммуна выбирает делегатов для революционного конвента...

— Так ведь это значит: другой парламент, другой суд, другие налоги, но ведь это все-таки государство?.. Однако я не смею спорить. Значит, Маркс с этой программой не согласен?

— Для Маркса моя программа, как все мое, что ладан для черта. А какая его собственная программа, этого никто и в его Санхедерине не знает. Я тебе берусь доказать, что у Маркса есть все пункты моей программы. Но есть и прямо противоположное. У Маркса все есть. Он ведь только дал *штандпункт*,—саркастически сказал Бакунин,— а уж пусть там кашу расхлебывают другие. Штандпункт же у него такой, что и толковать и применять может каждый дурак: вот ты и представь, что из сего может выйти. Маркс признает и вооруженное восстание. Разумеется, в свое время. Единственное, чего он не хочет, это чтоб вооруженное восстание произошло в *его* время. Потому ему, видишь ли, надо работать в Британском музее и единственное, что он в жизни любит, это его теория и работа над ней в Британском музее... Говорят, впрочем, он еще и жену любит, и в таком сухаре это весьма удивительно. Но ежели тебе кто скажет, что Маркс любит трудящихся людей или своих учеников, то плюнь тому в бесстыжие глаза. Маркс в тысячу раз умнее и ученее всего своего Санхедерина, и он прекрасно понимает, какую они без него сделают революцию! — Бакунин опять захохотал.— Ох, не доживу, а хотел бы я одним глазом посмотреть на мондиальную революцию с Либкнехтом, скажем, во главе! Или еще лучше, провизорное правительство с гнуснецом Борхгеймом!.. Я не Бог знает какой моралист, но одно мое слово ты, брат, запомни: революция должна искать опоры не в подлых и не в низменных, а в благородных страстях. Знаю, что без гнуснецов не обойтись, на это порой приходится полузакрывать глаза, но ежели наверху преобладают гнуснецы, то революция погибнет, верь моему слову.

Горничная, не постучав в дверь, осторожно внесла в комнату большой поднос, на котором были две бутылки, сахар, тарелка с фруктами и какое-то сооружение со спиртовой горелкой. Бакунин опять ласково заговорил с горничной по-итальянски, одновременно занявшись приготовлением жженки. Горничная, смеясь, ему помогала. В комнате запахло ромом и жженым сахаром. Николай Сергеевич молча улыбался и обдумывал, о чем спрашивать старика дальше.

Они выпили по бокалу горячего напитка, который показался Мамонтову очень крепким: Бакунин вылил в ведерко чуть не половину бутылки рома. Николай Сергеевич похвалил жженку.

— Да разве это настоящая жженка? — сказал Бакунин.— Настоящей я с Сибири не пил! Но уж у нас тут такой обычай: с кем перехожу на «ты», кого принимаю в наше братство, с тем пью жженку. Ну, брат, будем здоровы...

— Ведь я еще в братство не принят.

— Это от тебя зависит. Хочешь, сейчас тебя запишу? — Он полез в карман сюртука и вынул кучу стареньких потертых и погнувшихся карточек. Николай Сергеевич пробежал одну из них: «Association Internationale des Travailleurs. Fédération Jurasienne. Carte de membre central. Sur la précentation de... le porteur de cette carte... né en... originaire de... profession de... a été admis comme membre central. Les membres centraux ont à payer une cotisation annuelle de fr. 1.50» [1]. Могу сейчас же тебя записать. Полтора франка заплатишь и будешь центральным членом нашего братства. Я тебе и шифр дам, чтобы сноситься со мной. Шифр у нас старый, боюсь, что его уже знают кому его знать не надо. Я там обозначен числом 30, генеральный совет Интернационала был 76, конгресс Юрской федерации 153... Постой, а не 135? — Он задумался, вспоминая.— Нет, кажется, 153... Ох, становлюсь стар, все позабываю,— сказал он со вздохом, закуривая новую папиросу.

— А что если я все это немедленно сообщу Третьему отделению? — смеясь, спросил Мамонтов.

— Ты намекаешь, что я неосторожен? Но, во-первых, у тебя рекомендательное письмо. А во-вторых, пора бы мне знать толк в человеческих физиогномиях. Ведь у меня какая жизнь была! Опыт кой-какой в людях набрался. Твое лицо мне понравилось. Так как же, хочешь стать бакунистом?

— Могу ли я так сразу стать бакунистом? Я теперь знаю общие цели бакунистов, но какие ваши планы сейчас, я не знаю и даже спрашивать не могу, а то вы в самом деле примете меня за агента Третьего отделения.

Бакунин подумал с минуту, глядя на Мамонтова в упор.

---

[1] «Международное товарищество рабочих. Юрская федерация. Членская карточка. По рекомендации... предъявитель этой карточки... родившийся в ... году, уроженец ... по профессии ... принят в качестве действительного члена. Действительные члены платят ежегодный взнос в размере 1,5 франка» *(франц.)*.

— Я тебе скажу. Верю тебе, у тебя душа молодая и честная. Ты с норовом человек, но прямолинейный. Мы точно стоим за восстание. В результате восстания власть перейдет к революционному меньшинству, а оно создаст коммунистическое общество.

— Да ведь только что было восстание в Испании и не удалось. И ваше восстание в Лионе не удалось, и еще...

— И еще будет десять восстаний, и тоже не удадутся,— нетерпеливо перебил его Бакунин.— А одиннадцатое удастся. Теперь мы задумали думу о восстании в Италии. Мы и «Баронату» купили для этой цели.

— Что такое «Бароната»? Мне еще в Цюрихе русские говорили, что Бакунин живет в вилле «Бароната». Я и собирался там завтра побывать, но вот встретил здесь... Так эта вилла имеет отношение к восстанию?

— А ты как думал? Понятное дело, мы распускаем слухи, будто я получил от братьев из России деньги, остепенился и бросил к черту все публичные дела. А на самом деле мы купили эту виллу для революционного дела. Вилла дрянная, но вид — очарованье! С Премухиным может сравняться!.. Премухино — это наше бакунинское имение в Тверской губернии, где прошла моя юность,— со вздохом сказал он, тряся головой и точно отгоняя от себя воспоминание о Премухине.— Я в этой «Баронате» впрочем заодно фрукты развожу и разное другое. Ты Eucalyptus Globolosus знаешь? Великолепное австралийское дерево и растет здесь не по дням, а по часам. Вот вправду скоро за старостью брошу публичные дела и займусь сельским хозяйством. Что я за каторжник такой, чтобы страдать всю жизнь, а? Разве я не имею права на отдых?

— Как не иметь? — ответил, смеясь, Мамонтов.— Быть может, в Михаиле Бакунине пропал мирный помещик.

— Помещик не помещик, но иногда заквакают лягушки, и у меня комок к горлу подступает! — сказал Бакунин. Он вдруг приложил к глазам платок и отвернулся.— Так мне это напоминает Премухино и Россию!.. Ведь ни Премухина, ни России я больше не увижу. Умирать пора...

— Как же умирать, если вы хотите поднять восстание? — смущенно заметил Мамонтов. Ему в самом деле казалось, что этот замученный жизнью человек скоро умрет.— Но какая же эта вилла?

— Маленькая старая вилла на холме над Лаго-Маджоре. В саду сажен двадцать виноградника, несколько гряд овощей и цистерна... Тропинка незаметно спускается к озеру. Кроме того, мы прокапываем подземный ход, так

что из одной комнаты виллы можно будет пройти к озеру под землей.

Мамонтов вытаращил глаза.

— Зачем же к озеру идти подземным ходом?

— Как ты не понимаешь? — раздраженно спросил Бакунин.— В «Баронате» у нас будет квартира, убежище для революционеров всех стран, склад оружия и тайная типография. Ежели вдруг нагрянет полиция, мы пробираемся подземным ходом вниз, садимся на лодку, и поминай как звали.

— Куда же можно бежать из Швейцарии? Ведь это самая свободная страна в Европе.

— Найдем, куда бежать! Но главное, разумеется, не в том, чтобы бежать от полиции: до того, как полиция нагрянет, мы еще натворим дел. Понимаешь, один берег Лаго-Маджоре итальянский, и мы на нем знаем такие уголки, где нет ни стражи, ни таможен, ни часовых. Нужно доставить для восстания оружие — мы подземным ходом выносим к лодке и переправляем в Италию.

— Да сколько на лодке можно переправить оружия? Ведь такое игрушечное восстание подавит одна полиция без всяких войск.

— Я тебя, брат, не учу, как краски класть на картине. Что ж ты Бакунина учишь, как делать революцию! — сердито сопя, спросил старик, очевидно не любивший возражений, несмотря на свой бытовой демократизм.— Молод ты, брат, меня учить!

— Ради Бога, прошу извинить! Я в мыслях не имел...

— В революции, ежели ты хочешь знать, всегда три четверти фантазия и лишь одна четверть действительности. Этого только Маркс в Британском музее не понимает! — сказал Бакунин и опять стукнул кулаком по столу. Жженка пролилась из стакана. Он залпом его опорожнил.— И все-таки революция будет! Будет мондиальная, универсальная революция! Злая шутка, что я до нее не доживу и что не я буду ею руководить! Но это все равно, *кому* выпадет счастье: Бакунину ли, Стеньке ли али кому другому! Лишь бы слились в России две могучие стихии: крестьянская и разбойничья, и тогда заварится каша на весь мир!

— Ну, хорошо,— нерешительно сказал Николай Сергеевич.— Ну, вы уничтожите врагов. Дальше что?

— Присутственные места сожжем! В первый же день, с их архивами, бумагами, с их вековой человеческой грязью.— Лицо у него вдруг передернулось.— Их сожжем в первый же день!

— Архивы? Если я правильно разобрал по-итальянски, вы и на лекции тоже говорили об уничтожении бумаг? Почему это имеет такое значение?

— Сожжем в первый же день! — угрюмо повторил старик, все с той же судорожной гримасой.— Как ты не понимаешь? Ежели все бумаги сожжены, имущественные, судебные, архивные, то к прошлому не может быть возвращения,— пояснил он, мотая головой.— Разумеется, все сожжем, все! Не в первый день, а в первый час! — «Кажется, у него это мания»,— подумал Мамонтов, с недоумением и испугом глядя на бледное, дергающееся лицо старика.— И заварим такую кашу, какой еще никогда не пробовал мир!

— А когда каша будет сварена и съедена?

— Что же ты хочешь сказать?

— Ну, установите новый общественный порядок. У всякого трудящегося, сначала в Италии, потом, скажем, в России, потом во всем мире, будет домик, курица в супе, и не только в воскресенье, а каждый день. Что вы будете делать дальше? Что при новом общественном порядке делать таким людям, как Бакунин?

— Дальше что? — переспросил озадаченно старик.— Дальше я сейчас не заглядываю. — Он засмеялся и лицо его опять приняло добродушное, почти спокойное выражение.— Дальше скоро я все разрушу и начнем все сначала... Ты мне нравишься, право! Ну, довольно об этом говорить. Значит, ты приехал в Локарно единственно для того, чтобы меня, старика, повидать? Польщен весьма. Я повез бы тебя в «Баронату», ты мог бы погостить на нашей квартере, но беда, видишь ли, в том, что я уезжаю по делам.

— Вы уезжаете? Ах ты, Господи! — сокрушенно сказал Николай Сергеевич.

— Так что же?

— Как что! — Мамонтов вздохнул.— Значит, первый блин комом. Ведь я хотел написать ваш портрет,— сказал он, решив за трудностью отказаться от фраз без «вы» и без «ты».

— Вот, значит, для чего ты ко мне приехал! Так бы и говорил! А то «учиться уму-разуму»... Тогда подожди меня, братец, здесь. Я через недельку вернусь.

— Нет, я лучше снова к вам приеду,— ответил Николай Сергеевич. «Если он говорит «через недельку», то может приехать и через три, а ты его жди в этой дыре!» — подумал он.— Если будет ваша милость, я напишу вам и приеду в «Баронату» дня на три-четыре, чтобы работать целый день и написать вас как следует. Согласны?

— Согласен. Но поторопись, ежели не хочешь меня писать в гробу... Я шучу, приезжай, всегда буду рад.

— Однако вы не думайте, Михаил Александрович, будто я вам солгал: я приехал не только для того, чтобы написать ваш портрет. Ведь я еще и не знаю, выйдет ли из меня хороший художник, а плохим быть я не желаю. Не знаю, что я буду делать в жизни. Я действительно хотел научиться у вас.

— Хотел? Больше не хочешь?

— Хочу, конечно,— ответил Мамонтов. Как ни интересен был ему Бакунин, он понимал, что не научится у старика мудрости, которая ему подходила бы.— Я только не знаю, по пути ли нам? Вы моря крови проливать хотите, а я, Михаил Александрович, не люблю кровь.

— Ты, что ж, думаешь, я ее люблю! — сказал Бакунин.— Терпеть не могу. И жестоких людей не люблю. Но ежели надо, то надо.

— Одним словом, вы готовы ее проливать. А я думаю, что тех же целей можно достигнуть мирно. Не сразу, конечно, но сразу и ценой крови нельзя... Впрочем, с моей стороны нахально спорить с вами: вы об этом думали всю жизнь, а я так мало знаю... Не сердитесь на меня. Может быть, почитаю ваши книги и сам к вам приду: «возьмите меня». Я завтра утром уеду в Париж и по дороге в Цюрихе куплю все ваше, что найду в книжной лавке.

— Ну, что ж, твое дело. Насильно мил не будешь... Хорошо, хорошо, не протестуй... Так ты спешишь в Париж? Фрукты писать? — насмешливо спросил Бакунин.— А то, когда прочтешь мои книги, тотчас и возвращайся. Будешь с нами работать.

— С вами работать? С кем же и над чем?

— Над чем, я тебе сказал. А с кем? С бакунинцами, ежели они так именуются. Ну, с Кафиеро. Не слышал о нем? Это мой итальянский ученик. Он тоже получил наследство, но он его целиком отдает на дело революции.— Николай Сергеевич вспыхнул.— Нет, это я тебе говорю не в укор, а потому, что пришлось к слову. Что же, ежели ты революции не сочувствуешь? Жаль.

— Я этого не сказал. Я сказал, что сам еще ничего ровно не знаю и не понимаю.

— На деньги Кафиеро мы и купили эту виллу. Я там числюсь хозяином, но, разумеется, она не моя. Я на ней имею стол и кров. Много ли мне нужно? Чай и табачок есть, больше человеку ничего не требуется. Одно только: болеть стал! Это, братец мой, последнее дело.

— Что такое? Какая болезнь?

— Разные, верно, а, главное, сердце ожирело и очень я стал нервозен. Почти не сплю, лежать трудно, одеваться и раздеваться трудно. Иногда по нескольку дней не раздеваюсь, ежели помочь некому. С зубами тоже нехорошо: надо бы заправить челюсть, да не хочется и денег нет.

— Михаил Александрович, возьмите у меня денег! — горячо сказал Мамонтов.— Я не могу отдать свое состояние на революцию, потому что... Потому что этого никто не делает. Но...

— Не говори — никто: вот Кафиеро отдает.

— Кафиеро я не знаю. Но Герцен, например, был богатый человек и не отдал. Да я и сам ведь не знаю, кому сочувствовать...

— Я тебя ничуть и не обвиняю и в причины твоего нехотения не вхожу. Не отдаешь — твое дело. Тут и объяснять нечего.

— Не отдаю, потому что хочу жить свободно, а это без денег невозможно. Но если б вы согласились взять у меня несколько сот франков, то я был бы, прямо скажу, счастлив. Не на итальянскую революцию, а на ваше леченье, а? Вы мне сделаете честь.

— Да ты меня так не убеждай. Меня и убеждать не надо. Несколько сот франков, говоришь? Пятьсот?

— Отлично, пятьсот.

— Возьму с благодарностью, вот приятная неожиданность! Надо еще выпить,— сказал Бакунин, разлив по стаканам остаток жженки.— Твое здоровье! — Он выпил и закусил остатками сыра. Николай Сергеевич смущенно отсчитывал деньги.— Спасибо, голубчик. А челюсти я себе все-таки не заправлю. К доктору, пожалуй, пойду, и лекарства куплю, и аптекарю, кстати, долг заплачу.— Он вздохнул.— Странно, я всю жизнь брал взаймы справа и слева и никогда по сему поводу не чувствовал смущения. А что меня за это ругали, сказать тебе не могу. Еще покойный мой друг-недруг Белинский ругал... Он, впрочем, сам брал деньги взаймы, где только мог, но он это делал с мукой. А я, видишь ли, без муки. Никогда я этого не мог понять. «Честь, честь»! — с досадой передразнил кого-то Бакунин.— При чем тут честь? И что такое честь? «Мое», «твое»!.. Я своей жизнью, смею думать, завоевал себе право на то, чтобы за мой чай с хлебом и за табак платили другие и чтобы меня этим не попрекали, а?

— Да, разумеется!

— Ну, спасибо тебе. Вот не думал, не гадал! Признаюсь, когда Джакомо сказал мне о компатриоте, я подумал,

что надо выручать этого компатриота из беды. Помнится, я даже предложил тебе денег, а? Ну да, предложил. Ты не думай, что я только беру. Я сам с каждым рад поделиться, когда у меня есть... Господи, у кого только я не брал взаймы! Помню, в Сибири я задумал бежать из ссылки, нужны деньги, а их-то, как всегда, и нет. Был там вице-губернатор, хороший человек... Как его звали? Забыл, сейчас вспомню... Ну, мы с ним были знакомы, я всех знал. Ведь генерал-губернатор граф Муравьев приходился мне близким родственником. Поехал я к вице-губернатору, говорю ему: «Так, мол, и так, дайте, говорю, тысячу рублей взаймы». Он заахал: «Да у меня, говорит, Михаил Александрович, таких денег нет в свободном состоянии! Да и зачем вам, говорит, Михаил Александрович, такая сумма? Тут в глуши такие деньги и истратить не на что!» — «Тут, в глуши, говорю я ему в ответ, точно истратить не на что. Но мне, видите ли, ваше превосходительство, бежать нужно отсюда, из ссылки, а на это требуются немалые деньги». И что же ты думаешь? Дал! «Ежели, говорит, на побег, то я не могу отказать. Получите...» Ты смеешься? Ну да, потому он русский человек. Немецкий вице-губернатор, небось, не то что не дал бы, а сейчас же послал бы за полицией, уж в этом ты верь моему слову... Или вот, не очень давно, разозлил меня этот контовский поп Вырубов своими писаньями. Смерть хотелось ему ответить брошюрой, а напечатать ее не на что: было тогда полное безденежье. Что ж, взял я и написал Вырубову: хочу тиснуть о вас ругательную брошюру и пороха не хватает, не пришлете ли мне для уплаты за нее типографии триста франков? Прислал! Потому он тоже русский человек... Да что ты хохочешь?

— От восторга, Михаил Александрович!

— Ежели б ты мне не предложил денег, я сам бы к тебе обратился, узнав, что ты богатый человек. Я не говорю тебе, когда отдам: ты сам понимаешь, что не отдам никогда. Но это очень мило, что ты предложил по своей воле. За это я тебя угощаю: и за обед, и за шампанское плачу я... Не спорь, слушать ничего не хочу!.. А на твои деньги я теперь разведу музыку,— добавил он, подумав.— Нет, я ни к доктору не пойду, ни к аптекарю, ни к дантисту. Они подождут. Завтра же пошлем одного человека в Болонью! Разлюбезное дело!

Он засмеялся от радости. Николай Сергеевич хотел было возражать, но раздумал.

— Я в жизни не видал такого человека, как вы, и даже не предполагал, что такие люди возможны! — совершенно

искренне сказал он.— Хотелось бы еще выпить с вами, да боюсь, что вам вредно?

— Вредно? Конечно, вредно. А что мне не вредно? И мясо вредно, и табак вреден. Но больше заказывать вина не надо: и поздно, и выпили мы достаточно. Посчитай: на двоих бутылку шампанского, бутылку красненького и по стакану рому. В молодости, когда я был офицером, я много мог выпить. Теперь не могу, уходили сивку крутые горки.

— Не думаю: уж очень мощная сивка!

— Сивка, пожалуй, крепкая, да горки были очень крутые... А ты пьешь недурно. Ты вообще мне нравишься. Tu as le diable au corps et le poivre au c...[1] Я люблю это выражение. Чего ты все гогочешь? Пора тебе, брат, спать. Ты, чай, устал от прогулки с мешком? А я пойду работать.

— Как работать?

— Я всегда работаю до утра. А нынче много надо написать писем разным человечкам. Сколько у меня времени уходит на письма, да и денег: ведь я почти все франкирую,— не без гордости пояснил старик.— Теперь особливо пишу к итальянцам и испанцам... Понравились тебе мои слушатели? Хороший народ: это все эмигранты. Ну, прощай, голубчик. Может, завтра увидимся, а, может, и нет: я с утра уйду из дому. Моя комната вон та, против тебя.— Он тыкнул рукой в окно и с большим усилием встал с кресла. Деньги упали на пол, он наклонился, чтобы их поднять. Лицо у него мгновенно налилось кровью. «Он может умереть каждую минуту! — подумал Николай Сергеевич, не успевший помочь старику.— Самое время устраивать восстание!» Бакунин неожиданно его обнял.

— Ежели не увидимся, не позабывай и не поминай лихом. И еще раз от души тебя благодарю за деньги. А «мудрости», боюсь, я тебя не научил! Ох, чувствую, выйдет из тебя лаврист! — сказал старик, сопя крепче прежнего.

Несмотря на большую усталость, Николай Сергеевич от волнения долго не мог заснуть. По природе он легко находил в людях смешное и дурное,— при желании это можно было найти и в Бакунине. «Однако, кто в нем отыскал бы *это*, тот выдал бы самому себе патент на неизлечимое мещанство. В нем не смешно и не гадко даже то, что было бы смешно и гадко в другом. Вероятно, это происходит от размеров личности: уж очень все титанично в Бакунине.

[1] У тебя черт в теле и перец в ж... *(франц.)*.

И самое удивительное, пожалуй, его простота, так необычайн. сочетающаяся с умом, блеском и, главное, с мощью... Да, необыкновенный, необыкновенный человек! Но самое странное его глаза! Так они не идут к его простоте»,— думал Николай Сергеевич. Неожиданно простота Бакунина вызвала в его памяти воспоминание о Кате. Он сам улыбнулся этому сопоставлению, и подумал, что из Парижа, быть может, скоро вернется в Петербург. «Зачем мне, собственно, ехать в Лондон?»

Мамонтов сам себе ответил, что собирался в Лондон больше по чувству симметрии: «Уж если Бакунин, то и Маркс. Но, прежде всего, нет никаких оснований думать, что Маркс меня примет. К Бакунину было все-таки рекомендательное письмо, хотя оно на него не произвело впечатления. К Марксу нет письма. Допустим, что я как-нибудь найду рекомендацию. Distingons[1]. Для того чтобы написать портрет Маркса, нужно все-таки иметь некоторое имя, иначе он меня примет за любителя в поисках знаменитостей, и в этом будет доля правды. Я поеду к Марксу и к другим, когда создам себе хоть некоторое положение в мире живописцев, а для этого нужно время. Разговоры же об «уме-разуме»... Что дал мне сегодняшний разговор? Решительно ничего, в этом Черняков был прав. Так же было бы, вероятно, и у Маркса. Правда, я рад и счастлив, что познакомился с Бакуниным, и не только из тщеславия, не только потому, что можно будет об этом рассказывать. Конечно, нынешний день дал мне сильнейшее впечатление, которого книги Бакунина не дали бы. Но «уму-разуму» у бакунистов не научишься, с их подземными ходами и мондиальной революцией, которую они развозят на лодке... Должно быть, это очень смешно, его «Бароната»,— улыбаясь, думал Николай Сергеевич.— Как только такой умный человек может быть столь наивен? Ведь у него и чувство юмора есть, и большой жизненный опыт, и вот со всем этим — «Бароната»!.. Нет, к Марксу мне скакать незачем. Поеду в Париж, и там будет видно... Буду много работать, попробую показать «Стеньку» и другое...»

Николай Сергеевич проснулся от угара: засыпая, забыл потушить лампу. Он с досадой поднялся на подушке, на которой медленно оседала сажа, дунул в стекло, встал и отворил окно. Уже почти рассветало. В окне против его комнаты светилась свеча. Бакунин сидел за письменным столом и, низко наклонившись, что-то писал.

---

[1] Здесь: разница в следующем (*франц.*).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Юрий Павлович вернулся со службы на извозчике раньше обычного часа, что с ним случалось чрезвычайно редко. В министерстве он вдруг почувствовал себя плохо: сильно разболелась голова, как будто был и жар. У себя дома Дюммлер с трудом поднялся по лестнице и даже остановился передохнуть, держась рукой за перила. «Надо было бы перенести спальную вниз»,— подумал он. Юрий Павлович вошел в свою любимую, самую теплую в доме, комнату, которая называлась диванной, и там опустился в первое же кресло. «Уж не позвать ли врача?»

В последнее время он говорил, что не верит в медицину. Это в Петербурге было с некоторых пор модно, после огромного успеха романов графа Льва Толстого. Но к Юрию Павловичу мода пришла кружным путем: он вообще романов не читал и только перелистывал в «Русском вестнике» главы «Анны Карениной»: о ней теперь говорили в каждом доме столицы. «Нет, кое-что врачи все же умеют лечить... Зубы, например, это бесспорно...»

Узнав, что у мужа болит голова и что он решил вечером остаться дома, Софья Яковлевна насторожилась. Она знала, что Юрий Павлович без серьезной причины не отказался бы от бала у германского посла.

— В чем дело? Только оттого, что голова болит?.. Конечно, теперь не очень удобно отказываться. Но если ты нездоров... Кажется, у тебя жар! — сказала она, вглядываясь в усталое бледное, с воспаленными глазами лицо Юрия Павловича.— Сколько раз я тебе говорила, что при нашем гнилом климате нельзя в апреле так сразу переходить от шубы к пальто!

— К сожалению, промежуточные формы между шубой и пальто еще не изобретены господами портными,— ответил со слабой улыбкой Юрий Павлович и вдруг, схватившись за грудь, стал кашлять неприятным сухим кашлем.

— Ты простужен, и очень простужен! — сказала Софья Яковлевна, приложив руку к его лбу.— Вот что значит

ходить без фуфайки в такую погоду! Ты отлично знаешь, что у тебя хронические катары. Я сейчас же посылаю за Дмитрием Ивановичем.

— Ни за что. Я просто выпью чаю с лимоном и завтра буду совершенно здоров. А тебя я решительно прошу, Софи, отправиться на бал.

— Ты «ни за что», и я «ни за что»,— ответила Софья Яковлевна. Оба «ни за что» были без восклицательного знака. Юрий Павлович знал, что его жене очень хочется быть на балу, а Софья Яковлевна понимала, что ее муж согласится вызвать врача.— Эти балы вообще начинают становиться невозможными, надо положить конец этому безумию: ни одного вечера нельзя спокойно провести дома.

Дюммлер устало зевнул. Ему было известно, что в те действительно редкие вечера, когда они оставались одни дома, Софья Яковлевна, уложив Колю, очень скучала. После недолгого спора был достигнут компромисс. Вместо двадцатипятирублевого профессора Академии был вызван скромный молодой трехрублевый врач, введенный в их дом Черняковым и приглашавшийся тогда, когда у Коли «слегка подскакивала температура» или, реже, в случае болезни слуг. Дело было, впрочем, не в расходе, а в том, что появление профессора создавало тревожное впечатление в доме и вне дома. Почему-то Дюммлеры тщательно скрывали свои болезни, точно в них было нечто постыдное или могущее повредить им в общественном мнении.

Трехрублевый врач Петр Алексеевич никакой тревоги не вызывал. Из-за его имени-отчества и крошечного роста все называли его Петром Великим; хотя эта вечная шутка казалась ему в высшей степени неуместной, он, по своему благодушию, не сердился. Петр Алексеевич принадлежал к давно обедневшей, старой дворянской семье. Быть может, поэтому к нему благоволил Дюммлер, много занимавшийся генеалогией (он имел большую генеалогическую библиотеку и состоял членом общества геральдики; в России Юрий Павлович особенно ценил балтийскую аристократию и в душе только ее признавал самой настоящей). Ему было жалко Петра Алексеевича, который, принадлежа к родовитой семье, был врачом, да еще трехрублевым. Иногда Дюммлер снисходил до разговоров с Петром Алексеевичем на философские и политические темы. В философии оба были материалистами; Юрий Павлович, впрочем, свои философские взгляды держал про себя. Он находил, что религия полезна народу, хотя и не очень полезна. Твердая власть при хорошей полиции могла заменить религию. Этого, впрочем, Дюммлер никому не говорил. В политике он из

материализма выводил консервативные воззрения, а Петр Алексеевич — передовые.

Был достигнут компромисс и по вопросу о бале: Софья Яковлевна обещала поехать, если Петр Алексеевич признает нездоровье мужа несерьезным. По ее настоянию Дюммлер надел халат и прилег на диван. Ему дали чаю с лимоном. Лампу заменили свечой с абажуром. Коле велено было не шуметь. Для больного заказаны были бульон и куриная котлета, хотя он с отвращением сказал, что просто не может думать о еде. В доме установился дух любви и общей готовности к жертвам,— «поэзия болезни»,— подумала Софья Яковлевна.

— Пустяки, конечно,— уверенно сказал Софье Яковлевне доктор по пути в диванную, откуда слышался кашель.— Сейчас в городе у всех инфлюэнца или, по крайней мере, насморк.

— Вы думаете, он может нынче выйти? Только, ради Бога, не пугайте его. Юрий Павлович говорит, что он совершенно не мнителен, но я не знаю человека мнительнее, чем он.

— Все мнительные люди уверяют, что они и не думают о своем здоровье,— сказал Петр Алексеевич и, войдя в полутемную диванную, остановился. Он все боялся раздавить, опрокинуть, разбить что-либо дорогое в этом богатом доме.— Здравствуйте, ваше высокопревосходительство, что же это вы? — спросил шутливо доктор, всегда называвший Дюммлера по имени-отчеству.

Когда в комнату внесли лампу, шутливость с Петра Алексеевича соскочила; да и Софья Яковлевна теперь впервые с тревогой подумала, что, кажется, ее муж заболел по-настоящему. Доктор тоже приложил руку ко лбу больного, сделав над собой некоторое усилие: этот материнский жест выходил не совсем естественным в отношении пожилого человека, вдобавок министра и тайного советника.

— Да, конечно, некоторый жар,— сказал Петр Алексеевич, понемногу бессознательно стирая улыбку на лице. Он пощупал пульс, измерил температуру и, поспешно встряхнув термометр, объявил, что тридцать восемь с хвостиком.

— С каким именно хвостиком? Хвостики бывают разные,— попробовал опять пошутить Дюммлер. Доктор сделал вид, будто не слышит, вынул из футляра старой формы цилиндрический стетоскоп, выслушал больного и нехотя объявил, что ничего опасного нет.

— Обострение вашего застарелого катара. Придется, Юрий Павлович, полежать... Служба? Нет, на неделю-другую вам надо о службе забыть! Служба не убежит.

Поговорив еще о Бисмарке, Петр Алексеевич вышел и в гостиной, уже без улыбки, объявил Софье Яковлевне, что у Юрия Павловича, по-видимому, крупозное воспаление легких. Он сам предложил устроить консилиум, понимая, что в этом доме, при крупозном воспалении легких, поднимут на ноги всю Академию.

— Не могу скрыть от вас, что температура тридцать девять и пять. Вероятно, еще повысится к ночи,— сказал он и, увидев ужас, скользнувший по лицу Софьи Яковлевны, поспешил добавить: — Большой опасности я не вижу. Само по себе воспаление легких не страшная вещь. Лишь бы не было осложнений, особенно в области сердца... Если хотите, я сам сейчас съезжу за Кошлаковым? Может, на счастье, застану дома.

— Умоляю вас, доктор, привезите его тотчас. Вы поедете в нашем экипаже.

— Вы думаете, его так легко найти! Ведь ваш человек и меня застал случайно: опоздай он на пять минут, не нашли бы до самой ночи.

Приехавший поздно вечером профессор подтвердил диагноз Петра Алексеевича. Температура была 40,1. Больной учащенно дышал и жаловался на боль в груди. Врачи, вполголоса даже в гостиной, говорили о возможности гнойного плеврита, перикардита и эндокардита. Софья Яковлевна старалась понять значение этих слов, не обещавших ничего хорошего. Самым тревожным признаком было то, что профессор, человек вполне бескорыстный и обладавший громадной практикой, первый, не дожидаясь приглашения, сказал, что завтра заедет опять.

— Но все-таки, профессор, это опасно или нет?

— При общем состоянии организма Юрия Павловича, это довольно опасно,— ответил, немного подумав, профессор.

На следующий день в том обществе, в котором проходила жизнь Дюммлера, пронесся слух, что Юрий Павлович очень, очень болен. А еще дня через два или три стали шепотом говорить, что он умирает. Дюммлер имел множество знакомых и сослуживцев, и среди них волнение было велико. Как почти всегда, болезнь поразила всех своей неожиданностью. Люди вспоминали, что видели Юрия Павловича чуть ли не накануне болезни: «Он был вот как сейчас мы с вами! Шутил и был весел».— «Ну, весельчаком он никогда не был...» Разговоры сводились к бессмысленному удивлению: был здоров — пока не заболел.

К общему облегчению, стало известно, что Софья Яковлевна никого не принимает. Знакомые оставляли карточки и поспешно уезжали, как бы опасаясь: вдруг все-таки примут. По утрам первым делом заглядывали в траурные объявления газет. Объявление, которого ждали, не появлялось.

Через неделю стали приходить более успокоительные сведения. Новый консилиум признал улучшение, сердце выдержало, кризис миновал. Почему-то сообщалось это чуть ли не с некоторым разочарованием, хотя все поспешно добавляли: «Слава Богу!» Непонятное разочарование чувствовалось даже у людей, которые не только не желали зла Дюммлерам, но всячески им сочувствовали. Точно после прежнего полнозвучного шепота: «Слышали, умирает Юрий Павлович Дюммлер!» — новые сообщения не удовлетворяли человеческой потребности в драматизме.

Сам больной не догадывался, что его положение так опасно. Врачи и Софья Яковлевна бодро говорили ему о некотором обострении его катара. Мысль о смерти не доходила до сознания Юрия Павловича, то ли вследствие крайней непривычности этой мысли или из-за полной внезапности болезни. Неизменно веселая улыбка жены, ее шутливые упреки, успокоительный тон врачей действовали на Дюммлера, хотя, как все, он отлично знал, что тяжело больных людей всегда обманно успокаивают врачи и родные. Софья Яковлевна обманывала его искусно (она находила бессознательное удовлетворение в этой своей актерской игре). Однако по тому, что врачи приезжали два раза в день, что несколько раз устраивали консилиум, что применялись общеизвестные средства, при помощи которых поддерживается деятельность сердца у умирающих, Дюммлер мог бы догадаться о правде.

Впрочем, он большую часть дня и ночи был в полузабытьи. Острых болей у него не было, страдал он, главным образом, от затрудненного дыхания, от частого сухого кашля, от озноба, от слабости и беспомощности. Ему все хотелось переменить положение: лечь повыше, лечь пониже — и все было худо, хотя сменявшиеся при нем сиделки постоянно перекладывали, взбивали подушки. Эти сиделки особенно раздражали Юрия Павловича, отчасти своей глупостью, сказывавшейся и в том тоне, в котором они с ним говорили, отчасти самой своей работой: в ней отсутствовала элементарная стыдливость,— как на беду, это были молодые миловидные женщины. Одна из них, самая глупая из трех, проводила ночи в спальной, на диване, поставленном вместо кровати Софьи Яковлевны. Дюммлер не мог

привыкнуть к тому, что в комнате, куда и днем редко допускались люди, теперь ночевала чужая, неизвестная ему даже по имени женщина. Измерив температуру, сиделка радостно объявляла: «Ну, вот как хорошо, ваше высокопревосходительство! Всего каких-нибудь тридцать восемь. Молодцом». Этот полушутливый тон, точно он был ребенком, сочетание «вашего высокопревосходительства» с «молодцом», казались ему идиотскими. Угнетали его и непривычная ему бездеятельность, и полная неопределенность положения,— он постоянно спрашивал врачей, сколько оно может продолжаться; они отвечали уклончиво или шутливо.

Кроме докторов, жены и сиделок, Юрий Павлович никого не видел. В те часы, когда ему становилось лучше, Софья Яковлевна сообщала мужу, кто присылал справиться, кто заезжал. К этому он проявлял интерес, спрашивал, переспрашивал. Среди приезжавших были его недоброжелатели и даже враги. Их внимание его трогало, и Юрий Павлович думал, что по выздоровлении пересмотрит свои отношения с этими людьми. «Что такое мелкие — да пусть и не мелкие! — счеты по сравнению со здоровьем!.. А Василий Петрович, я знаю, сам больной человек, и тяжело, не то, что я...» Дюммлер теперь особенно интересовался больными. Физически он очень изменился за несколько дней болезни. Между бакенбардами у него появилась седая щетина, старившая его лет на десять, и под ней теперь особенно неприятно обозначилось адамово яблоко. Около ноздрей появилась легкая сыпь. Глаза были воспалены. Его все время била дрожь, в которой он, впрочем, находил и что-то вроде удовольствия. Софья Яковлевна говорила Чернякову, что Юрий Павлович изменился и морально — «размяк». Она, впрочем, и сама подобрела.

На пятый день болезни наследник престола прислал адъютанта справиться о здоровье Юрия Павловича (государь был за границей). Софья Яковлевна тотчас сообщила об этом больному, хотя и знала, что это его взволнует (сама она скрыла удовольствие, тем более, что не сочувствовала политическому направлению наследника). Юрий Павлович неожиданно прослезился и долго расспрашивал, какой именно адъютант приезжал и что он сказал и что ему ответили. «Надо было его пустить ко мне!» — взволнованно прошептал он. Этот знак внимания тоже мог бы навести Юрия Павловича на предположение, что он очень плох,— и тоже не навел.

Под вечер, после третьего консилиума, сиделка, измерив температуру больного, вышла из спальной, забыв на столи-

ке термометр. Юрий Павлович с трудом поднялся на кровати, дрожащими руками вынул из футляра очки и, придвинув свечу, выследил кончик ртутного столбика: 40,2! Он выронил термометр и, задыхаясь, кашляя, повалился на подушки. Только теперь он понял, что его все время обманывают. «Что же это? Неужели смерть? Ist das möglich? [1]» — с ужасом спросил он себя. Он подумал, что не успел оформить некоторые изменения в завещании. Вдруг оно окажется недействительным? Юрий Павлович старался и, к своему изумлению, не мог вспомнить, кому по закону пошло бы его состояние: все сыну? нет, часть жене, но какая именно? И то, что он не мог вспомнить законов, известных каждому юристу, еще усиливало его ужас. «Не может быть, чтобы это было правдой! Смерть от того, что не надел фуфайку!» Подумал, не продиктовать ли письмо к государю, как делали перед смертью некоторые сановники. «Нет, не может быть! Ausgeschlossen! [2]» — прошептал он.

— В чем дело? Отчего ты в очках? — тревожно спросила Софья Яковлевна, войдя в спальную. Она быстро подошла к кровати.— Что это? Ах, я раздавила термометр! Верно, та дура уронила?

— Я видел: сорок с половиной! — прохрипел Дюммлер.— Все обманывали! Зачем обманывали?.. Я умираю, да?...

Софья Яковлевна дала ему честное слово, что у него никогда 40 с половиной не было, что он просто не разглядел, что ртуть, быть может, поднялась из-за тепла свечи на столике. Он сначала не поверил, потом почти поверил, мысли его смешались, он стал бредить, хриплым шепотом произносил мало понятные немецкие и русские фразы. Ночью опять вызвали профессоров. Они не скрыли от Софьи Яковлевны, что есть *непосредственная опасность*, что не исключен *неблагоприятный исход*. Эти слова, благозвучно означавшие смерть, привели ее в ужас. В эту ночь она почти не выходила из спальной. Дежурил в доме и Петр Алексеевич, упорно говоривший, что он был и остается оптимистом.

Мнение Петра Алексеевича оказалось верным. На следующий день больной проснулся, обливаясь потом. Софья Яковлевна сама измерила температуру и не поверила глазам. Новый термометр показывал 36,8! Петр Алексеевич, немного вздремнувший в диванной, радостно объявил, что произошел кризис, кончившийся благополучно. Его заявление подтвердил и приехавший профессор.

---

[1] Это может быть? *(нем.)*
[2] Исключено! *(нем.)*

— Сердце вчера особенно *пошаливало*, но теперь все обойдется,— сказал он (это выражение, казавшееся Софье Яковлевне игривым и почему-то семинарским, прежде ее раздражало). Получив от профессора подтверждение, что непосредственной опасности больше нет, Софья Яковлевна вошла в спальную.

— Ну, вот, кончено! Теперь ты перестал быть интересным! Больше ни малейшей опасности нет. Температура тридцать шесть и восемь, ты сам видел. А сорока с половиной никогда и не было,— весело сказала она. «Мысленная резервация» заключалась в том, что выше 40,2 температура действительно не поднималась; Софья Яковлевна не любила лгать на честное слово, даже для успокоения больного. Преодолевая некоторую брезгливость, она поцеловала мужа в мокрый лоб и объявила, что теперь сама хочет отдохнуть. Действительно, она была измучена и волнением, и бессонными ночами, и всего больше той необычной жизнью, которую вела в последние десять дней. Ей хотелось и выспаться, и подумать *обо всем* по-настоящему. О чем именно,— это ей самой было не вполне ясно.

В доме перестали ходить на цыпочках. В гостиных все увеличивалось количество цветов, а на серебряной тарелке в передней — число визитных карточек. Посетителей, неосторожно спрашивавших, принимают ли, теперь принимали. Впрочем, очень скоро дом Дюммлеров стал опять почти таким же приятным, каким был всегда,— и только вначале гости еще говорили испуганным сочувствующим шепотом. Визиты утомляли, но и развлекали Софью Яковлевну. Она даже не очень тяготилась тем, что каждому приезжавшему гостю надо было все рассказывать сначала: когда именно заболел Юрий Павлович, что сказали врачи в первый день, что они говорят сейчас. Уже почти не меняя выражений, лишь несколько ускорив темп, Софья Яковлевна послушно все рассказывала. Гости сообщали, как они узнали о болезни Юрия Павловича, выражали свои чувства и давали советы. Потом начинался обычный разговор, теперь, из-за пропущенного времени, особенно интересный Софье Яковлевне. Она постоянно ругала петербургскую жизнь и иронически относилась к обществу, в котором жила, но в эти дни особенно ясно почувствовала, что любит это общество и никакого другого не желает.

Черняков бывал теперь в доме сестры каждый день. В прежние времена Михаил Яковлевич лишь *забегал* к Дюммлерам. Теперь это слово к нему больше не подходи-

ло. Общественное положение Чернякова очень поднялось в последний год. Его работа о вечевых собраниях была лестно отмечена в немецкой печати; он готовил новый большой труд и считался на вакансии экстраординарного профессора: должность ему даже была почти обещана,— потребовались, правда, не совсем приятные для его достоинства ходы и просьбы, но он утешал себя тем, что без таких ходов нельзя стать профессором и вообще ничем стать нельзя. Имя Чернякова не менее двух раз в месяц появлялось и в ежедневных газетах. Михаил Яковлевич теперь стал еще самоувереннее. Софья Яковлевна не стыдилась брата; она даже старалась вводить его в такие дома, которые могли быть ему полезными. Черняков вдобавок был тактичен, в политические споры с ретроградами не вступал, а от особенно важных гостей уходил в библиотеку, где любовался прекрасно переплетенными книгами (среди них преобладали политические, исторические и генеалогические труды на немецком языке). Михаил Яковлевич был страстным библиофилом. Он не был завистлив, но вздыхал, глядя на библиотеку Дюммлера. Книги в ней стояли плотными ровными рядами, как стоят книги у людей, которые их не читают.

Четвертый консилиум признал, что опасность миновала совершенно и что больному необходим продолжительный отдых: надо через некоторое время отправиться на воды в Германию, лучше всего в Швальбах, а то в Эмс,— не столько из-за миновавшего воспаления легких, сколько из-за застарелых катаров. Затем рекомендовалось поехать до сентября в Швейцарию, а на осень на французскую или итальянскую Ривьеру. Врачи не стеснялись в предписаниях, зная, что денег у больного больше, чем нужно. Юрий Павлович, уже очень оживившийся, заявил, что не имеет никакой возможности оставить службу на столь продолжительное время. Профессор-генерал слегка развел руками, показывая, что это не его дело: вдобавок, он недоверчиво относился к пользе службы фон Дюммлера.

— Ты отлично знаешь, что тебе дадут какой угодно отпуск,— сказала Софья Яковлевна так сердито, что врачи посмотрели на нее с удивлением, а муж с робостью.

В заключение консилиум себя распустил, разрешив больному читать,— по возможности легкие, не утомительные книги,— и есть что угодно, кроме тяжелой пищи. Профессор Академии признал излишними и свои дальнейшие визиты:

— Я всецело полагаюсь на Петра Алексеевича,— сказал он. Молодой врач радостно вспыхнул. Все же, уступая просьбе Софьи Яковлевны, профессор согласился заехать еще раз, через несколько дней. И в самой неопределенности этих слов «денька через три» было тоже нечто весьма успокоительное.

Профессора уехали. Петр Алексеевич, ставший, особенно в последние дни, своим человеком в доме, пошел пить чай в серую гостиную. Софья Яковлевна направилась было в спальную, но по дороге, в диванной, силы ее оставили, она опустилась в кресло, только теперь вполне ясно поняв, как ее измучила болезнь мужа. Все кончилось благополучно. Тем не менее решение консилиума совершенно ломало ее жизнь. «Швальбах! Потом Швейцария, потом что-то еще!..» До сих пор она держалась нервным подъемом, зная, что на ней лежит все. Теперь оставалась только скука,— та, большей частью уютная, скука, которую она испытывала в обществе Юрия Павловича.

Софья Яковлевна никогда не была влюблена в мужа. Юрий Павлович смутно подозревал, что у его жены были *увлечения*. Другого слова он мысленно не употреблял и гнал от себя мысли более определенные. По своим материалистическим взглядам он не придавал чрезмерного значения супружеской верности. Сам впрочем был жене верен, частью из-за переобременности работой, частью потому, что нежно ее любил. Любовью — еще больше, чем своим положением в обществе и богатством,— он ее в свое время и подкупил. За четырнадцать лет у Дюммлеров создались ровные, спокойные дружеские отношения, которым способствовало и то, что оба они были так заняты: он службой, она жизнью в свете и воспитанием сына. Для Софьи Яковлевны муж давно был *все-таки* свой и самый близкий человек.

«Полгода быть сиделкой при больном!» — подумала она. В этом было новое проявление того, чего Софья Яковлевна боялась больше всего на свете: ей в последний год казалось, что жизнь ее, в сущности, кончилась, что впереди остается лишь более или менее сносное *доживание*. «Да, немного же мне было дано. Другим гораздо больше... За что это?.. Ничего не поделаешь: буду сиделкой... Но как быть с Колей? Отдать его в Лицей? Эти ужасные мальчишеские интернаты... Взять к нему гувернера и повезти с нами? Да, так, очевидно, придется сделать...» У Коли давно не было воспитателей. Софья Яковлевна бессознательно ревновала его к гувернанткам и даже к гувернерам. «Лет через пять-шесть он все равно перестанет обращать на меня внимание!»

В диванной на столе лежал «Русский вестник» с «Анной Карениной». «Вот это ему и дать»,— подумала она с неприятным чувством. Ей при чтении казалось, что есть какое-то внешнее сходство между их домом и домом Анны. Софья Яковлевна находила, что в их обществе теперь чуть не все немного подделываются под этот вызывавший небывалый фурор роман. «Недаром спорят, кто с кого писан... Ну, я на Анну никак не похожа, и уж сейчас-то менее всего думаю о Вронских!» — с улыбкой подумала она и, вздохнув, отправилась к мужу.

— Вот, ты хотел читать. Все-таки надо же тебе прочесть «Анну Каренину»,— сказала она. Юрий Павлович сам понимал, что надо. Ему было и скучно, и несколько неловко за автора: совестно, что пустяками занимается и заставляет заниматься других почтенный, по-видимому, человек, помещик, принадлежащий к хорошей титулованной семье,— русской, но через Остен-Сакенов породнившийся с Брюлями, Мантейфелями, Унгерн-Штернбергами и даже косвенно с Кеттлерами,— вдобавок, кажется, дальний родственник графа Дмитрия Андреевича.

В спальной уже горела лампа. У Дюммлера подбородок еще не был выбрит, бакенбарды не нафабрены и запущены. Это было одной из причин, по которым он никого не принимал. От жены давно туалетных секретов не было.

— Спасибо, моя милая,— сказал Юрий Павлович, редко в здоровом состоянии так обращавшийся к жене.

— Ну, что ж, ты очень огорчен? Несколько месяцев наедине с женой, это ужасно, правда? — спросила она, наливая в ложку лекарства.— Выпей, пора.

Он с трудом приподнялся с подушек, проглотил, морщась, лекарство и поцеловал руку жене.

— Несколько месяцев? Да ты шутишь,— сказал Юрий Павлович слабым голосом.

— Не я: доктора так шутят.

— Но несколько недель провести с тобой и с Колей на водах, это, может быть, в самом деле стоит, а? Мы с тобой мало пользовались отдыхом: десять месяцев в году ужасной петербургской жизни и два месяца в деревне или на море, это было неблагоразумно. Вот и приходится расплачиваться.

— Это даже нельзя считать расплатой: нам за границей наверное будет очень приятно,— так же весело сказала Софья Яковлевна.— А сейчас, ради Бога, постарайся заснуть. Они сказали, что это самое главное. Я тушу лампу.

— Да, пожалуйста. Кажется, Швальбах — очень милое место... Ты знаешь, Софи, мое завещание находится у на-

шего нотариуса... И позволь сказать тебе: я хотел бы лежать на Смоленском Евангелическом кладбище, рядом с графом Канкриным...

— Хорошо, хорошо,— вполне равнодушно сказала Софья Яковлевна, знавшая, что ее муж очень любит говорить о своих похоронах, когда чувствует себя недурно.

— Извини меня, но я должен обо всем подумать. Тебе известно, что я совершенно не боюсь смерти, но...

— Да, да.

— Государь наследник больше не осведомлялся?

— Нет, больше не осведомлялся,— ответила Софья Яковлевна, подавляя раздражение. Юрий Павлович всегда говорил: «государь император», «государь наследник».

— А кто это приехал во время консилиума? Я слышал звонок.

— Это Миша. Я его оставлю к обеду.

— И сердечно поблагодари его за внимание. Я очень оценил и тронут,— сказал Дюммлер еле слышно. Она поцеловала его в голову и вышла. «Да, именно, поэзия болезни...»

В серой гостиной Михаил Яковлевич и молодой доктор говорили тоже об «Анне Карениной».

— Я сегодня был в редакции «Голоса»,— сказал, потягивая портвейн, Черняков.— Там говорят, что Левин женится на Кити и что у Каренина будет дуэль с графом Вронским.

— На здоровье,— ответил доктор, с любопытством и осторожностью гладивший ящичек из слоновой кости.— Поразительно, что люди так интересуются какими-то великосветскими хлыщами, вдобавок никогда не существовавшими. Пусть Каренин и Вронский смертельно друг друга ранят пониже брюха и умрут, не обратившись к врачам: ведь граф Толстой врачей не признает,— саркастически добавил он.— Меня этот роман с графьями весьма мало интересует.

— Что вы, Петр Великий, это замечательная вещь,— сказал Михаил Яковлевич. Он всегда с некоторым испугом и без уверенности в голосе хвалил «Анну Каренину», но в душе недоумевал: чем, собственно, восхищаются люди? Доктор осторожно поставил ящичек на место и закурил папиросу.

— Какое, собственно, назначение этого странного предмета?

— Соня, милая, сердечно поздравляю,— обратился Михаил Яковлевич к вошедшей сестре.— Петр Великий

сказал, что, по общему мнению всего синклита, больше ни малейшей опасности нет. Слава Богу! Но я всегда говорил, что этот ваш Кошлаков любит пугать людей.

— Так вам теперь кажется. Могу вас уверить, что в начале положение казалось чрезвычайно серьезным. Но и сейчас, хотя опасности нет, надо, господа, соблюдать осторожность, я прямо вам говорю, Софья Яковлевна.

— Когда же нам ехать, Петр Алексеевич?

— Я думаю, числа десятого мая уже можно будет.

— В Швальбах?

— Непременно в Швальбах. Эмские воды почти такие же, но все-таки не совсем то. И главное, уж очень в Эмсе шумно: это теперь самое модное место в мире.

— Фактическая поправка, почтеннейший. Эмские воды были в моде еще у древних римлян. Кроме того...

— Миша, не мешай. Вы говорите, в Эмсе шумно, доктор?

— По слухам, съезд там невероятный, особенно из-за того, что туда ездит государь. В Эмс бросились франты со всех концов мира.

— Да, правда, ведь государь в Эмсе!— сказала Софья Яковлевна.— Я и забыла. А воды почти такого же действия, как в Швальбахе?

— Более или менее: углекислый натр, углекислый литий. Действие почти одно и то же. Затем, разумеется, надо будет поехать на Nachcur [1],— заметил доктор, произнося немецкое слово особенно значительным тоном. Он вдруг поймал взгляд Софьи Яковлевны, направленный на его папиросу с покривившимся кончиком. Петр Алексеевич поспешно пододвинул к себе пепельницу, но пепел упал на ковер.— Господи, как я задержался! Еще в два места нужно,— сказал смущенно доктор.— Значит, завтра, часов в одиннадцать?

— Да, пожалуйста. До свиданья, Петр Алексеевич, и спасибо. Миша, проводи доктора, будь так добр.

Софья Яковлевна взяла со стола газету, но и не заглянула в нее. «Какого же гувернера можно найти так быстро? Иметь на шее чужого скучного человека... Неужели так придется прожить полгода? Конечно, я люблю Юрия... Да, правда, люблю, и мне его очень жаль... Однако за что же мне послано это наказание? Впрочем, стыдно так думать...»

— Практика прямо изводит нашего Петра Великого! — сказал Черняков, возвращаясь в гостиную.— Он еще

[1] Дополнительное лечение *(нем.)*.

не может прийти в себя: на равных правах участвовал в консилиумах со знаменитостями!.. Впрочем, он отличнейший врач! Вот и у Юрия Павловича сразу поставил правильный диагноз. Ну, еще раз сердечно тебя, Соня, поздравляю. Мне без вас будет скучно... Жаль, что вы едете в Швальбах. Ты знаешь, в Эмсе будет не только государь, но и сам Мамонтов! Я вчера удостоился получения от него письма. Кажется, это второе за год с лишним!

— Николай Сергеевич? Ему-то что делать в Эмсе?

— Вероятно, cherchez la femme[1]... Представь, он продал «Стеньку» и получил какие-то заказы на портреты!

— Почему ты думаешь «cherchez la femme»?

— Я *так* говорю, зная нашего Леонардо... Теперь к тебе небольшая обычная просьба,— сказал Михаил Яковлевич, вынимая из кармана конверт.— Билеты на концерт в пользу недостаточных студентов. Дай на радостях двадцать пять целковых.

— Я дам пятьдесят.

— Вот это очень мило. Не говорю тебе: приходи, так как, во-первых, вы будете в Швальбахе, а во-вторых, ты никогда на этих концертах не бываешь.

— Не сердись: это всегда очень скучно. Вперед знаю: сначала будет хор студентов-медиков под руководством профессора химии Бородина, затем Платонова или Леонова споет какую-нибудь «Ночь» или «Вечер» или «Утро» под аккомпанимент пьяненького Мусоргского, и pour la bonne bouche[2], Достоевский прорычит пушкинского «Пророка». Благодарю покорно.

— Достоевского, пожалуйста, не ругай. Мы с ним, может быть, осенью выступим вместе на одном вечере.

— Ты, Мишенька, с Достоевским?

— Да, я, Мишенька, с Достоевским... Он Достоевский, а я Черняков.

— Я ничего не хотела сказать... Разве ты его знаешь?

— Я хочу предложить ему совместное выступление. Может, еще кого-нибудь пригласим, хотя мы и вдвоем соберем полный зал. Это в пользу голодающих.

— Да, я читала в газете, что ты избран в Комитет. Представь, вижу «профессор М. Я. Черняков» и не сразу догадалась, что это ты! — сказала Софья Яковлевна с улыбкой. Она любила своего брата, но знала его слабости и с неудовольствием думала, что именно слабостями он похож на нее, «хотя в другом роде».— Ты остаешься обедать. Надеюсь, ты свободен?

---

[1] Ищите женщину (*франц.*).

[2] На закуску (*франц.*).

— Как птичка Божия. Мой университетский курс позавчера кончился, так что и к лекциям не надо готовиться.

— Твой курс кончился?.. Постой, дай подумать минуту. Кажется, у меня блестящая мысль... Значит, до осени тебе нечего делать в Петербурге?

— Как нечего? Я всегда работаю для себя.

— Да, разумеется, но для себя ты можешь работать где угодно. Послушай, Миша, что если бы ты поехал с нами?.. Это прекрасная мысль! Знаешь что? Ты ведь на меня не обидишься, правда? Ты очень любишь Колю, и он тебя очень любит. Теперь Юрий Павлович болен, и я должна буду находиться часть дня при нем. Если б ты поехал с нами, я была бы гораздо спокойнее!

— Ты, что же, хочешь, чтобы я был гувернером при Коле? — обиженно спросил Михаил Яковлевич.

— Да нет же! Какой ты странный! Нам гувернер при Коле и не нужен, он отлично себя ведет. Но вдруг, например, нужно Колю увезти назад в Петербург, а я должна буду остаться с Юрием Павловичем? Вероятно, это будет именно так. Вот он с тобой бы и вернулся. Ну, а если ты не как «гувернер», а как дядя захочешь иметь общий надзор за его образованием, я была бы тебе вообще чрезвычайно благодарна. До сих пор этим занимался Юрий Павлович, теперь он болен, а я, как ты знаешь, совершенно невежественна... Может быть, тебе и самому было бы полезно отдохнуть на курорте? Ты ведь тоже устал за год! А весь день у тебя оставался бы для работы,— говорила Софья Яковлевна, не заботясь о противоречиях в своих словах.

— Я, право, не знаю... Я собственно предполагал летом уехать недельки на три в Сестрорецк.

— Ну, вот видишь: «недельки на три». А так ты уедешь на самые жаркие месяцы года, будешь жить в хороших условиях. И, разумеется, если б ты согласился оказать мне эту громадную услугу, то я потребовала бы, чтобы ты взял деньги на свои личные расходы.

— Как тебе не стыдно, Соня!

— Нисколько не стыдно. Иначе это для *меня* неприемлемо. Что такое? — обратилась она к лакею, остановившемуся на пороге гостиной. Узнав, что Юрий Павлович просит ее к себе, Софья Яковлевна поспешно вышла из комнаты.

— Отчего же ты не спишь? — спросила она мужа.— Ведь они сказали, что первое и главное это отдых.

— Не могу уснуть... Я хотел узнать: ты спросила у Дмитрия Ивановича, к какому доктору в Швальбахе обратиться? Это очень важно.

— Он дал письмо к Фрериху. Это берлинская знаменитость. А Фрерих тебя направит к эмскому врачу.

— Как к эмскому? Ведь они велели ехать в Швальбах?

— Они велели в Швальбах или в Эмс. Я думаю, что надо выбрать Эмс.

— Почему?

— Почему? Коле, говорят, в Эмсе будет гораздо лучше... Кроме того, Петр Алексеевич и мне давно велит пить эмскую воду с молоком. Если так и если тебе, как они говорят, одинаково хорошо то и другое, то я предпочла бы Эмс. Ты против этого?

— Нисколько! Если так, то я всячески за это! — горячо сказал Юрий Павлович.

II

Дог князя Бисмарка околел поздно вечером. Очевидцы передавали, что князь, сидя на полу у трупа собаки и держа ее голову обеими руками, не то истерически рыдал, не то просто плакал, не то чуть не плакал. Очевидцы несомненно привирали, соблазненные эффектностью рассказа: «железный канцлер рыдает над телом своего верного пса» (Бисмарка уже называли «железным канцлером»; почему-то это прозвище понравилось и привилось). Весь вечер князь просидел у себя в кабинете, никого не принимал, ни с кем из семьи не разговаривал и пил очень много — «даже для него»: старые знакомые Бисмарка уверяли, что он теперь пьет гораздо меньше, чем прежде, в молодости; но это лишь вызывало недоумение: сколько же он пил прежде?

Утром в служебных комнатах канцлерского дворца все говорили о случившемся несчастье. Высшие должностные лица были очень довольны: за редкими исключениями, они ненавидели князя. Ближайшие его сотрудники вполголоса (хоть и в своем кругу) обменивались шуточками: надо ли выражать князю сочувствие и не называть ли собаку «покойницей»? Врали, будто в кабинет за вечер было принесено две бутылки шампанского и две бутылки «дюркгеймера»,— это было в последнее время любимое вино Бисмарка. Врали, будто княгиня, очень обеспокоенная состоянием мужа, спешно вызвала Блейхредера, «чтобы утешить скорбящего, как его предки утешали Иова»: банкир Герзон фон Блейхредер, управлявший, к негодованию антисемитов, особенно антисемитов-банкиров, имущественными делами канцлера, был одним из близких к нему людей и будто бы обладал способностью действовать на него успокоительно. Врали, будто фельдмаршал фон Мольт-

ке уклонился от приезда к князю, так как очень занят: с утра пишет стихи. Врали, будто о смерти собаки и об отчаянии канцлера сообщено императору, который только вздохнул и развел руками; это толковалось и как выражение покорности воле Божьей, и как легкий намек на мысль: «Что ж делать, связался навсегда с сумасшедшим!» Престарелый император считался близким другом князя, но в том же тесном кругу говорили, что нельзя сделать большего удовольствия его величеству, как показав ему остроумную карикатуру на Бисмарка или ехидную статью о нем в газете.

В это утро в канцлерском дворце, в ожидании появления князя (он вставал не раньше двенадцати), болтали о нем больше обычного. Незадолго до полудня пришло и серьезное сообщение: ссылаясь на нездоровье, Бисмарк объявил, что не поедет на вокзал встречать царя. Улыбки исчезли, оживление улеглось; начался обмен мнениями о политическом положении, которое считалось очень серьезным. Были все основания думать, что канцлер решился на новую войну с Францией. Поэтому очень многое, если не все, зависело от позиции Александра II: обещает ли он, что Россия сохранит нейтралитет? Один высокий чиновник сказал, что в нынешних обстоятельствах лучше не раздражать царя, хотя бы в мелочах. Другие должностные лица осторожно промолчали. Критиковать действия Бисмарка не полагалось, да было и небезопасно, как показал опыт графа Арнима. К тому же, и ненавидевшие канцлера люди про себя считали его никогда не ошибающимся, гениальным человеком.

Бисмарк заснул только под утро. Он называл собаку своим единственным другом и едва ли очень в этом ошибался. Канцлер прекрасно знал, что в обществе его ненавидят, относился к окружавшей его ненависти равнодушно, признавал ее естественной, но почему-то приписывал, главным образом, своему богатству,— он считал немцев завистливым народом. Богатство его очень преувеличивалось сплетнями. Весьма преувеличены были и слухи о том, будто он, при помощи и посредстве Блейхредера, успешно играет на бирже. Блейхредер никогда не позволял себе справляться у канцлера об его планах, да и знал, что канцлер ему их не сообщит. Однако, часто беседуя с Бисмарком о политике, он старался *угадывать* планы князя, и его отличное угадыванье очень благоприятно отзывалось на делах обоих: Блейхредер оставил своим наследникам сто миллионов марок, Бисмарк же богател умеренно и

солидно,— столько же благодаря государственным наградам и подношениям от признательного народа, сколько благодаря мудрому, безотчетному, самодержавному ведению Блейхредером его имущественных дел. Канцлер, не веривший в политическую гениальность, был твердо убежден в финансовом гении евреев вообще и Блейхредера в частности. Этот бывший служащий франкфуртских Ротшильдов, присланный ими в Берлин в качестве советчика, по просьбе Бисмарка (поставившего непременным условием, чтобы советчик был еврей), в пору войны с Австрией, когда ни сам Бисмарк, ни Вильгельм, ни министры не знали, где достать на войну деньги, дал совет, после которого они долго изумленно переглядывались. Тем не менее, слухи о том, будто Блейхредер пользуется большим расположением князя и имеет влияние на его политику, были совершенно неверны: за исключением своей семьи, да еще двух-трех человек, Бисмарк никого не любил; влияния же на него не имел никто.

Здоровье князя все ухудшалось. У него были невралгия лица, тик, подагра, воспаление вен, мигрени, геморрой, несварение желудка, сильнейшие боли в левой ноге. Врачи вдобавок подозревали у него рак печени в результате злоупотребления спиртными напитками,— и продолжали подозревать еще двадцать пять лет до самой кончины князя. Некоторые же из близких к нему людей смутно предполагали, что Бисмарк болен тяжким нервным расстройством. Это противоречило решительно всему: и его прозвищу, и его богатырской фигуре, и его общепризнанной гениальности. Преданные князю газеты считали гениальным все, что он делал.

Сам он этого не думал. С собой Бисмарк был правдив беспощадно; с другими, пересиливая себя, старался скрывать свои мысли,— иначе было бы трудно управлять государством,— но изредка, за третьей бутылкой шампанского (вторая еще не очень действовала), доходил до той степени откровенности, которую очень честные или очень лицемерные люди называли циничной. Канцлер признавал за собой ум, настойчивость и волю, да еще то, что называл способностью угадывать ход истории. Он и определял политику как уменье в нужную минуту «услышать в истории поступь Бога, подпрыгнуть изо всех сил и вцепиться в фалды Его сюртука». Бездарные и самодовольные государственные деятели, по его долгим наблюдениям, всегда верили в собственную *интуицию*. Бисмарк не знал, что такое интуиция, и обычно старался выяснять ход истории логически. Теперь, весной 1875 года, он собирался начать но-

вую войну с Францией. Однако уверенности в том, что такова Божья поступь, у Бисмарка не было.

Доводов против войны оказывалось больше, чем доводов за нее. Бисмарк собирался провозгласить новую войну «превентивной»; однако он знал, что превентивными были все войны во все времена. Могущество Франции, несомненно, восстанавливалось, но он не имел оснований думать, что оно растет быстрее германского. «Так ли велика опасность нападения со стороны французов? И что если Франция уже сейчас достаточно могущественна для отпора? Что если Россия, обещав нейтралитет, не сохранит его? Что если все кончится крахом? Тогда, после всей славы, я перейду в историю с репутацией залитого кровью неудачника, и те самые люди, которые передо мной пресмыкаются и называют меня гением, будут кричать, что с первого дня разгадали во мне бездарность. Так было и с Наполеоном III»,— думал в бессонные ночи канцлер. Он презирал чужие суждения (хотя они часто крайне его раздражали), но, в противоречии с этим, очень заботился об истории и почти наивно верил в славу. История и была тем логическим, лишь изредка полусознательным, мостом, по которому от интересов Германии он переходил к своим собственным интересам. Свои интересы Бисмарк забывал не часто. Однако новая война не могла ему дать *почти* ничего: он и так был первым государственным человеком Европы, имел княжеский титул, прочно обеспеченное место канцлера и, главное, полноту власти: парламент ограничивал ее не слишком, а император редко ему мешал, только отнимал время. Новая война была нужна ему не больше, чем те бесчисленные дуэли, которые у него были в молодости; требовали войны не столько его интересы, сколько его натура бреттера. Ему и на старости лет еще хотелось волновать мир и себя самого; мелкие волнения повседневной политической жизни больше его не удовлетворяли.

В эту ночь невралгия левой части лица мучила его еще сильнее обычного. Он до рассвета ворочался в скрипевшей под его огромным телом старой и безобразной деревянной кровати. Все в его квартире было грубо и некрасиво. В спальной, слабо освещенной стоявшей на столике свечой, ничего не было, кроме кровати, весов, переносной ванны и старых стульев; по стенам висело несколько больших фотографий: императора, жены, детей и дога. Фотография собаки висела слева в полосе света, и всякий раз, как его взгляд на нее падал, усиливалось его горе. «Да, вот кто был настоящим товарищем по несчастью: по

жизни»,— думал он и опять, точно мстя кому-то за что-то, сердито возвращался к своим планам, от которых зависели судьбы мира и жизнь миллиона людей.

В сотый раз обдумывая все связанное с новой войною, он видел, что трудно не только довести до конца, но даже начать это дело. Народ, разумеется, войны не хотел, как не хотел ее и в 1866-м, и в 1870-м году. Это большого значения не имело: доведение народа до белого каленья было просто вопросом техники, хорошо ему известной. Несколько хуже было то, что о новой войне не хотел слышать престарелый император: он все еще не мог опомниться от радостей, выпавших на его долю в конце долгой жизни, от своей военной славы и от того, что он, почти вопреки собственному желанию, стал неожиданно главой германской империи; кроме того, по своей богобоязненности, Вильгельм I не хотел больше проливать кровь. Не слишком желал войны и другой старик, фельдмаршал Мольтке, по тем же причинам, что и император. «Отяжелел, дряхлеет, дай Бог, чтобы совсем не выжил из ума...» В военную гениальность Бисмарк верил еще много меньше, чем в политическую: потерял эту веру именно с тех пор, как гением стал Мольтке, деятельность которого он наблюдал в пору прославивших фельдмаршала войн. Зато хотели войны почти все офицеры: для них война была лучшим, единственным быстрым способом сделать карьеру, что и было во все времена главной причиной войн. «Ну, стариков можно будет переубедить»,— думал Бисмарк, заранее подготовляя доводы и исторические фразы.

Эти *вырывавшиеся* у него исторические восклицания он обычно придумывал в бессонные ночи — готовил их заранее, впрок, еще точно не зная, где, как и когда *воскликнет*. Дело было не очень трудное; изредка он кое-что подновлял из старого запаса. На случай новой войны можно было бы подать в измененном виде: «Gesta Dei per Germanos» [1]. Канцлер не верил в этой фразе ни одному слову: какие «gesta Dei»! Все это было *его* делом. И почему бы Бог избрал орудием своей воли светловолосый, круглоголовый, во многих областях малоодаренный, а в политике совершенно тупой народ? Под утро ему пришла в голову еще одна фраза, тоже с именем Божьим: «Мы, немцы, никого не боимся, кроме Бога», затем небольшое дополнение к ней, особенно удобное на случай, если б он от войны отказался: «Лишь страх Божий запрещает нам воевать». В этой фразе тоже не было ни слова правды: он очень многого боялся (особенно фран-

---

[1] «Божественная миссия германцев» *(лат.)*.

ко-русского союза), никогда в своей политике страхом Божиим не руководился и в Бога верил больше по семейной традиции, по затверженным в детстве правилам, по общему для всех немцев высочайшему повелению; духовенство всех исповеданий он ненавидел (говорил, что наиболее неприятные ему люди — священники и бюрократы). Правда для исторических восклицаний и не требовалась: все они, как он знал по своему опыту, были лживы, вымучены, заранее придуманы для райка, когда не просто присочинены историками или услужливыми людьми.

Свой народ он любил, также по усвоенной с детства привычке, но ни малейшего уважения к нему не чувствовал. Он знал, что представляется немцам воплощением любви к родине, и поддерживал эту свою репутацию, не смешивая своего патриотизма с особенной любовью к немцам. Уж если существовали люди, которые ему нравились, то они скорее попадались среди русских или американцев. Русской была и единственная женщина, к которой он в зрелые годы испытывал нечто похожее на влюбленность; княгиня Екатерина Орлова теперь была тяжело больна, и ее болезнь его волновала. Бисмарк был не влюбчив и за шампанским с усмешкой говорил, что служить можно либо Вакху, либо Венере, и что он предпочитает Вакха.

Из болей, которые, точно сменяясь, мучили его почти беспрерывно, особенно сильны были дергающая боль левой щеки и тупая, сводящая — в области печени. Он разыскал коробочку с пилюлями, проглотил одну; она оставила шероховатость во рту, запил огромным, в полстакана, глотком коньяку. Сначала стало легче, потом боль возобновилась, смешавшись с какой-то другой, и усилилась легкая, за работой забывавшаяся, но редко оставлявшая его надолго мысль об опухоли, быть может, злокачественной (врачи успокоительно улыбались, когда князь их об этом спрашивал, но улыбались не вполне естественно). «Всѐ равно один конец!» — сердито пробормотал он и взглянул в угол комнаты, где вчера на коврике спала собака. Воспоминание о том, как дог просыпался, потягивался, подходил к нему и лизал ему руку, когда он слишком долго ворочался в постели или в мягких туфлях тяжело ходил по спальной, было непереносимо. Бисмарк потянул со стола лежавшую на нем толстую книгу. Упала салфеточка грубого кружева с какой-то склянкой. Он пробормотал ругательство и допил коньяк, назло врачам.

Попробовал другие способы борьбы с бессонницей. Тихо бормотал слова своей любимой песенки, которой когда-то

его научил американский друг юности. Песенка начиналась словами: «God made bees, bees made honey; God made men, men made money» [1], но всего текста князь вспомнить не мог, и напряжение памяти скорее мешало сну. Попробовал считать по порядку цифры, от единицы до десяти, затем назад, от десяти до единицы. Способ скоро показался ему глупым, он бросил считать. Раскрыл книгу,— в последние годы канцлер мало читал, больше подновляя оставшиеся в памяти немалые запасы. Бисмарк предпочитал книги, называемые вечными; на столике у него лежал Шекспир.

«Ну, хорошо, Ричард кого-то убил, и Макбет кого-то убил, и они все кого-то убивали, кто одного, кто по нескольку людей»,— думал он, бегло соображая, сколько людей погибло из-за него; по приблизительному подсчету, выходило не менее восьмисот тысяч. «Правда, я объединил Германию. Однако что ж теперь скрывать,— тут не рейхстаг,— Германия, по всей вероятности, объединилась бы и без меня. Было, верно, десять способов объединить Германию, и как ни глупы были либеральные профессора и адвокаты 1848 года, их способ тоже мог привести к объединению, без трех войн, которыми впрочем теперь восторгаются те из них, что еще живы и не впали в старческое слабоумие. С другой стороны, мой способ мог не дать результатов, мог повлечь за собой для нас катастрофу, если б австрийцы и французы были немного умнее и их офицеры немного лучше (солдаты приблизительно стоят друг друга во всех странах). Да и была ли строгая логика в моих собственных действиях? Разве она в политике возможна? Разве есть страна, политика которой была бы логична и последовательна? Основой нашей политики в течение ста лет была дружба с Россией. Однако в 1854 году мы едва на Россию не напали в союзе с Австрией и с Францией, на которых напали немного позднее при дружеском нейтралитете России. Правда, в 1854 году была не моя политика, надо мной тогда все смеялись, сам *старик* (он разумел Вильгельма) называл меня политическим школьником. Я был проницательнее других, но это только значит, что в мире слепых я был одноглазым. А я тогда носился с планом вечного союза между Пруссией, Россией и Францией. Позднее, в 1863 году, я очень колебался: помогать ли России усмирять польское восстание или, обманув и поляков, и русских, присоединить к Пруссии Варшаву? И нет страны, которая в своей внешней политике руководилась бы какими-либо принципами. Англия? Англи-

---

[1] «Бог сотворил пчел, пчелы сделали мед; Бог сотворил людей, люди сделали деньги» *(англ.)*.

чане серьезно уверяют, что у них принципы есть: не то поддержка свободы в мире, не то борьба с наиболее могущественной континентальной державой. Но это совершенно разные вещи, да и то, и другое вздор, они уже лет тридцать не могут сообразить, кто именно их исторический враг: Франция, Германия или Россия; они меняют своих исторических врагов каждое десятилетие, и вовсе не потому, что та или иная страна стала слишком могущественной: в 1853 году Франция и Россия были приблизительно равны по могуществу, теперь приблизительно равны по могуществу Россия и Германия, и у каждого из знаменитых англичан, сейчас у Гладстона и у Дизраэли, есть свой «исторический враг Англии». Что до свободы, то главный ее проповедник — тартюф Гладстон, который еще не так давно защищал торговлю рабами»,— думал он с ненавистью (Гладстона он особенно ненавидел и усердно собирал о нем дурные слухи). «...Methought I heard a voice cry «sleep no more! Macbeth doth murder sleep, the innocent sleep, sleep that knits up the ravell'd sleave of care the death of each day's life, sore labour's bath...[1] «Почему ж он, бедный, потерял сон? Макбет, старый полководец, конечно, десятками, если не сотнями, в походах вешал, колесовал, четвертовал людей, с его попустительства, если не по его приказу, солдаты после штурмов насиловали женщин и разбивали головы детям. а вот от этого убийства и он, и мадам потеряли сон! Сон теряют не от угрызений совести, иначе кто из политических деятелей не страдал бы бессонницей? Вот невралгия другое дело...»

Один из более глупых врачей советовал ему при бессоннице «думать о приятном», «будить в себе радостные воспоминания». Потирая рукой щеку, князь старался вспомнить, что было особенно приятного в жизни. Кое-что радостное было как будто в молодости, в пору его чудачеств и скандалов, в ту пору, когда его называли «der tolle Bismark»[2] — про себя он думал, что почти не изменился с того времени, так сумасшедшим Бисмарком и остался, изменились только характер и размер скандалов. В зрелые годы радостного было немного. «Сцена в Galerie des Glaces[3]? Да, я поднес старику императорскую корону. Это, конечно, было большое дело, но на сколько времени? Во Франции за год до революции ни один человек не предполагал, что

---

[1] «...Почудился мне крик: «Не надо больше спать! Рукой Макбета зарезан сон! — Невинный сон, тот сон, который тихо сматывает нити с клубка забот, хоронит с миром дни, дает усталым труженикам отдых...» (В. Шекспир. «Макбет». *Перевод Б. Пастернака.)*

[2] «Сумасшедший Бисмарк» *(нем.).*

[3] Галерея зеркал *(франц.).*

монархия может кончиться, и даже ни один человек этого не желал... Что же: великое дело на десятилетия? Великий человек до противоположного великого человека? Вдруг Евгений Рихтер или Виндгорст окажутся великими людьми германской республики! Германию Рихтеров мне совершенно не стоило объединять»,— с отвращением подумал князь, ненавидевший и презиравший Рихтера.

Несмотря на свой живой ум и живой характер, он понемногу деревенел с годами. Бисмарк насмехался над людьми, которых либеральные газеты называли «юнкерами», и, встречая их беспрестанно при дворе, в армии, в обществе, дивился их тупости, самодовольной ограниченности, неспособности понять что бы то ни было не усвоенное ими в детские годы. Но, как люди, они были неизмеримо ближе ему, чем образованные Рихтеры, Виндхорсты, Вирховы, чем либеральные адвокаты и социал-демократические токари. Он до конца своих дней чувствовал, что прусский офицер в нем самом сидит очень прочно, гораздо прочнее, чем все иное. Канцлер знал цену своему монарху и за третьей бутылкой шампанского, не стесняясь, объяснил разницу между Вильгельмом I и померанским волом: «Если померанскому волу покричать «Хью!», то он знает, что надо идти направо, а если прокричать «Хет!», то он понимает, что надо повернуть налево. Между тем его величество еще в этом не разбирается, я за всю жизнь не мог научить его и этому». Однако не только Вильгельм I, но самый мелкий монарх был для него не совсем таким человеком, как обыкновенные люди. В этом, да и во многом другом, он почти не отличался от юнкеров, как далеко ни превосходил их умом, опытом, образованием, чувством юмора, злым, колким, находчивым остроумием.

Как почти все старые немцы, он в детстве благоговел перед Александром I, в юности благоговел перед Николаем. Преклонение перед русскими царями было до зрелых лет основой его миропонимания; их империя внушала ему особенное уважение своими неимоверными размерами, размахом, огромными, еще нетронутыми богатствами. Это была настоящая страна, и цари были настоящие монархи, не связанные парламентами из говорливых дураков. В ту пору, когда он жил в России, к политическому обаянию прибавилось еще бытовое: очень бедно было по сравнению с Петербургом все, что он видел у себя на родине. Его удивляло великолепие русских дворцов, богатство русских вельмож, их жизнь с ежедневными балами, рекой лившееся шампанское, бочонки с икрой, французский театр только

для *своих*, кутежи у цыган, охота на медведей. Нравился ему и сам Александр II: он был *большой барин*,— черта, которую Бисмарк, вышедший из небогатой семьи, особенно ценил в людях. Его собственный *старик*, которого он искренне любил, был тоже барин, но не такой большой. «В нем хорошо хоть то, что ему ничего не нужно, так как у него все есть, и в этом одно из бесчисленных преимуществ монархического строя... Как жаль, что он приближает к себе карьеристов и интриганов».

Эти ругательные слова князь употреблял беспрестанно, хотя ему было и неясно, можно ли вложить в них такой смысл, при котором они не относились бы к нему самому. Он смутно думал, что тут все зависит от размеров: очень большой карьерист уже не карьерист, очень большой интриган уже не интриган. Мелкие люди, окружавшие императора и особенно императрицу и наследного принца, отравляли канцлеру жизнь, и без того тяжелую и мрачную. Бисмарк никогда не забывал обид, иногда мстил за них через много лет. К интриганам он причислял и князя Горчакова, которого, ввиду его глубокой старости, нельзя было причислить к карьеристам. Почему-то русского канцлера, несмотря на внешне дружеские отношения, Бисмарк особенно ненавидел, еще больше, чем Гладстона (Рихтер был все-таки никто: член рейхстага). И он не мог от себя скрыть, что иногда, в своих политических планах, хоть немного, хоть отчасти, руководится желанием сделать неприятность князю Горчакову.

Мысли о войне, о собаке, об опухоли мучили его всю ночь, сплетясь все теснее. Он больше не знал, где кончается одно, где начинается другое. Сам порою с усмешкой думал, что, кажется, смерть его дога увеличивает вероятность войны, но тотчас отгонял от себя эту вздорную мысль и логически проверял Божью поступь. К утру он окончательно склонился к войне: Франция может стать слишком могущественной, а теперь победа почти обеспечена и с ней не пятимиллиардная, а десятимиллиардная контрибуция. Себе он наметил герцогский титул. Впрочем, титул этот не очень его привлекал, не ласкал его слуха, как недавно ласкал княжеский, как еще больше когда-то графский. На первом месте были интересы Германии. Теперь все зависело от завтрашней беседы с царем. К утру, приняв во второй раз снотворное, он задремал тяжелым сном.

В одиннадцать часов, раньше обычного, он проснулся с еще усилившейся в левой щеке болью. Чтобы не переодеваться к завтраку, канцлер, вместо своего обычного черного сюртука, надел генеральский кирасирский мундир.

В этом мундире, с крестом под третьей пуговицей, громадный, грузный, тяжелый, он медленно прошел в свой кабинет, наводя, как всегда, страх на вытягивавшихся служащих, холодно и хмуро кивая им головой. В кабинете он опустился в кресло,— и опять ему вспомнился дог, который обычно, положив морду на колени хозяина, бегло лизнув его, затем удобно свернувшись, устраивался под письменным столом. Князь Бисмарк, мотая головой, незаметно смахнул слезу, взял свой, всем известный по фотографиям карандаш в фут с лишним длиной. Секретарь подал ему груду бумаг и почтительно осведомился об его здоровьи.

— О, оно превосходно! — беззаботно сказал канцлер.— Но все-таки первые шестьдесят лет в жизни человека обыкновенно бывают наиболее приятными.

III

Поезд императора Александра пришел в Берлин в понедельник, очень точно по расписанию, в 12 часов 30 минут. Визит был неофициальный: Александр II отправлялся на воды в Эмс и по дороге останавливался ненадолго в германской столице, чтобы повидать родных. Тем не менее, встречали его на вокзале император Вильгельм, принцы, фельдмаршалы Мольтке и Мантейфель и множество других людей, нагонявших на царя скуку, самое нестерпимое для него чувство.

В этот день в «Норддойтше Алльгемайне Цайтунг» появилась статья о приезде русского императора, удивившая осведомленных во внешней политике людей своим восторженным и даже подобострастным тоном. Царь назывался в правительственной газете лучшим другом, чуть ли не благодетелем Германии, ему выражалась глубокая сердечная признательность, восхвалялась вечная историческая дружба русского и немецкого народов. «Эта испытанная дружба,— писала газета,— делает для нас Его Величество императора Александра еще более драгоценным. Вместе с остальным миром мы изумляемся его мудрости и энергии. Но и в дальнейшем право на дружбу России принадлежит одним немцам. Неблагодарность никогда не была пороком германского народа».

Статья, переданная по телеграфу во все концы Европы, вызвала переполох в министерствах иностранных дел. Дипломатам было ясно, что она либо написана самим Бисмарком, либо им *инспирирована*, и склонялись к тому, что все-таки скорее инспирирована. «Уж слишком для не-

го лизоблюдский тон. Верно, перестарался редактор»,— говорили русские дипломаты. Тон статьи был, очевидно, связан с надеждой на нейтралитет России в предстоявшей новой франко-германской войне.

Царь внимательно прочел статью еще в поезде: она была ему привезена на одну из близких к Берлину станций. Александр II недолюбливал газеты, не любил читать по печатному тексту (в немецких газетах почему-то всегда казавшемуся липко-грязноватым) и терпеть не мог готический шрифт. Похвалы и тон статьи доставили ему удовлетворение; однако, хотя было неприятно разочаровывать автора, он еще в Петербурге твердо решил, что войны быть не должно и что Россия не останется нейтральной в случае нового нападения на Францию: чрезмерное усиление Германии нарушило бы европейское равновесие. В Берлине предстояли неприятные разговоры. Александр II имел давнюю репутацию charmeur'а[1] и, действительно, *очаровывал* на своем веку множество самых разных людей; однако он чувствовал. что тут никакие чары не помогут.

Прочитав статью, царь отдал ее Горчакову *для изучения*. Изучать в статье было, собственно, нечего, но это был лучший способ ненадолго освободиться от говорливого 77-летнего князя, тоже обладавшего способностью нагонять на него смертельную скуку. Канцлер с озабоченным видом унес газету в свой вагон.

Император выехал из Петербурга в самом лучшем настроении духа. Летняя поездка на воды всегда бывала ему приятна. За границей забот, огорчений, беспокойства бывало гораздо меньше. Гораздо меньше было и дела. Хотя царь, как Людовик XIV, любил son délicieux métier de Roy[2], он чрезмерно работой не увлекался и, в отличие от того, что о себе говорили другие монархи и государственные люди, вполне чувствовал себя способным провести несколько недель без всякой работы.

Как всегда, дурное настроение на него нагнала Варшава, по которой он в коляске переехал с одного вокзала на другой. Царь догадывался, что этот город (неприятный ему тем, что он был как будто свой и вместе с тем совершенно не свой) для него почистили и прибрали. Тем более тягостна была, до моста через Вислу, скучная бедность улиц, домов, людей. Он помнил, что это предме-

---

[1] Очарователь (*франц.*).
[2] Свое прелестное ремесло монарха (*франц*).

стье называется Прагой, что здесь когда-то происходили кровопролитные бои между наступавшими русскими и защищавшимися поляками. Сидевший с ним в коляске генерал давал какие-то объяснения, но царь чувствовал, что генерал в этой части города никогда не бывает, что люди, кричащие «ура!», согнаны сюда полицией и что даже это сделано не очень хорошо: «ура» звучало довольно жидко и нисколько не походило на тот бешеный, восторженный рев, который неизменно, особенно в прежние годы, вызывало его появление в русских городах. За цепью солдат, в боковых улицах, виднелись люди, изумленно смотревшие на царские экипажи (впереди императора все должностные лица ехали стоя, повернувшись лицом к его коляске и неловко держась сзади за козлы). Эти люди, срывавшие с себя шапки еще при появлении передовых казаков конвоя, были одеты очень бедно. Особенно тягостное впечатление производили бородатые старики в черных длинных, до земли, не то смешных, не то страшных одеждах. Царю было известно, что это евреи; он помнил, что уже лет двадцать безуспешно предписывает сделать что-либо для улучшения положения этих людей. За Вислой город стал нарядным, но из-за пасмурной ли погоды или оттого, что в воскресенье магазины были закрыты, оживления было мало. Генерал бодро докладывал о своей работе по поднятию благосостояния края. Бодрый тон обычно бывал приятен царю, но на этот раз ему казалось, что генерал говорит вздор, тот же вздор, какой ему тем же бодрым, радостным тоном докладывают здесь уже двадцать лет. Александр II слушал молча, очень хмуро, и чувствовал, что с ним может случиться припадок дикого бешенства. Таким припадкам он был изредка подвержен, сам их смертельно боялся и после некоторых из них плакал от стыда и раскаянья. На вокзале Варшавско-Бромбергской дороги царь сухо простился с генералом, не пригласив его в поезд, и поспешил войти в свой вагон.

Вскоре после того, как поезд тронулся, показалось солнце. Александр II, очень чувствительный к погоде, стал успокаиваться. Он подумал, что его впечатления от Варшавы поверхностны, что поляки сами во всем виноваты, что, вероятно, население живет не так плохо и что генерал, хотя и туповатый человек, заботится о благосостоянии края. Все же, когда у царя бывало предчувствие припадка ярости, он обычно старался пробыть некоторое время в одиночестве (которого вообще не любил). Сопровождавшие его свитские генералы и флигель-адъютанты (ге́нерал-адъютантов он в последние годы по возможности

не брал с собой, инстинктивно избегая общества старых людей) разошлись по своим вагонам, чтобы не попадаться ему на глаза: им было известно, что в состоянии бешенства он очень страшен: хуже отца,— Николай редко терял самообладание,— должно быть, таков бывал дед Павел. Однако именно то, что припадка ярости с ним не случилось, что он не сделал и не сказал ничего лишнего, скоро привело царя в его обычное хорошее настроение духа: по природе Александр II отличался необычайной жизнерадостностью и по убеждениям был оптимистом.

Он достал из футляра записную книжку. Для него специально, по его любви к красивым вещам, печатались такие книжки на золотообрезной бумаге, в необыкновенных переплетах с двуглавым орлом и с короной, с прекрасными гравюрами, в дорогих футлярах. Александр II всегда носил с собой очередную книжку и своим изящным почерком заносил туда события дня. Частью из предосторожности, частью от нетерпеливости характера, он писал так сокращенно, что разобрать его записи было очень трудно; иногда царь и сам не разбирал того, что написал год-два тому назад: слова обычно обозначались лишь первыми буквами, а то и одной буквой. Так и теперь он закончил запись своих впечатлений от Варшавы строчкой: «непр. н. ч-н. сд.». Это означало: «непременно надо что-нибудь сделать».

Записи в книжке всегда его успокаивали, хотя по опыту он мог бы знать, что за ними редко, особенно в последнее время, следовали какие-либо важные действия. Царь спрятал книжку,— в том, как мягко и ровно книжка, точно по бархату, вошла в футляр, было тоже нечто успокоительное. Он вынул из несессера каллиграфически переписанный роман Тургенева. Почему-то Александр II неохотно читал по печатному тексту, и для него переписывались книги, которые он желал прочесть. Тургенев был его любимым писателем; когда-то он читал «Записки охотника» со слезами (вообще нередко плакал). Этот роман Тургенева «Дым» был старый, но по случайности царь его не читал. Накануне его отъезда в Эмс кто-то из великих князей сообщил ему, что в «Дыме» изображена княжна N, одна из прежних его любовниц. Царь изумленно приказал переписать «Дым». Работавшие на императора лучшие писаря России в течение суток переписали роман.

Не останавливаясь пока на первых страницах, Александр II разыскал и с любопытством прочел главу о княжне Ирине Осининой. Царя и раздражила бесцеремонность писателя, осмелившегося, хотя бы отдаленно, намекать на его частные дела, и позабавила его неосве-

домленность. Некоторое сходство у Ирины с княжной N было, но очень небольшое. «То, да не то. Совсем она не такая *была*»,— улыбаясь, думал царь, давно бросивший княжну, но сохранивший к ней ласковый сочувственный интерес, как ко всем бесчисленным женщинам, которых он любил. В других главах романа ничего связанного с его частной жизнью не было, и тем не менее, он чувствовал, косвенно весь роман был направлен против него. У Тургенева описывался «молодой, но уже тучный генерал с неподвижными, точно в воздух уставленными глазами и густыми шелковыми бакенбардами, в которые он медленно погружал свои белоснежные пальцы», другой «подслеповатый и желтый генерал с выражением постоянного раздражения на лице, точно он сам себе не мог простить свою наружность»,— и царь догадывался, что Тургенев именно на него возлагает ответственность за обоих генералов, за подслеповатость и желтизну одного, за шелковистые бакенбарды и белоснежные пальцы другого. Были в романе еще «несравненный граф X», «восхитительный барон Z», «княгиня Бабетт», «княгиня Пашетт», «смешливая княжна Зизи», «слезливая княжна Зозо», и царь чувствовал, что он отвечает за всех этих людей, и не понимал, почему отвечает. «Может быть, это остроумно и смешно, но, право, «Помолвка в Галерной гавани» остроумнее и смешнее, и там уж я, по крайней мере, ни за что не отвечаю,— с недоумением думал он.— Что ему нужно? Почему он пристает? Чего они все от меня хотят?» Впрочем, варшавский генерал как будто в самом деле был чуть-чуть похож на одного из генералов Тургенева. «Ну, хорошо, пусть Тургенев и даст мне других. Или пусть сам Тургенев управляет Польшей, тогда все пойдет отлично. Пусть бы *они* отвечали за эту бедность, за нищету, за лачуги, за тех людей в черных хламидах»,— с усмешкой думал он. Его успокоило описание радикалов и нигилистов в романе. Нигилисты и радикалы были, очевидно, еще противнее Тургеневу, чем смешливая княжна Зизи и слезливая княжна Зозо. «Это уж у него вышло гораздо остроумнее. А может, он просто страдает катаром печени, и ему надо лечиться. Вот и любовь у него всегда не любовь, а черная меланхолия»,— удивленно думал Александр II, плохо понимавший, как что-то меланхолическое, неудачливое может связываться с лучшей вещью в мире. У него никогда неудач в любви не было.— «И что он нашел в своей Виардо? На нее давно смотреть гадко»...

Царь отлично знал, чего *они* от него хотят. «Да, они убеждены, что конституция все разрешит, накормит го-

лодных, оденет голых,— думал он.— Кроме того, им хочется править, носить мундиры, иметь почет и власть. Что ж, я их понимаю: я сам люблю все это. Отчего же они не идут на службу, эти господа Тургеневы? Я ничего против них не имею, они могли бы иметь все это и без конституции... А что если в самом деле дать им конституцию и раз навсегда от них отделаться?» Ему, впрочем, казалось, что в России есть гораздо больше противников конституции, чем сторонников ее. Вдобавок, все противники принадлежали к кругу, который он знал и любил с детских лет. Требовала же конституции малоизвестная ему часть общества, недавно кем-то названная интеллигенцией. Царь не то чтобы ненавидел эту группу, но у него было к ней наследственное, профессиональное, смешанное с нерасположением и с иронией недоверие, которое он замечал и у конституционных монархов: у австрийского, у германских, даже у Виктории. В его собственном тесном кругу о конституции почти все говорили не иначе как с насмешкой, ужасом или ненавистью. Сам он не чувствовал в себе ни прежних сил, ни прежнего задора, и введение конституции казалось ему менее спешным и гораздо менее бесспорным делом, чем в свое время освобождение крестьян. Кроме того, царь смутно понимал, что он *понизится в чине*, если из самодержавного императора превратится в одного из многочисленных конституционных монархов. И хотя он не был чрезмерно властолюбив, это соображение, которым он ни с кем никогда не делился, имело большое значение. Он знал и то, что его немецкие родные преклоняются перед ним именно как перед самодержцем. Многие из них, и больше всего сам Вильгельм, молили его не давать России конституции; тон их при этом был такой, точно они, в свое время попавшись, теперь хотели его уберечь от выпавшего на их долю несчастья. «А, может быть, я им нужен, как repoussoir [1], пусть немецкие либералы не слишком ворчат: в России еще хуже! Но я власть принял от батюшки самодержавной и такой же должен передать ее Александру. Что, если при них все пойдет к черту? Ведь я помазанник Божий, а не они!» — решительно сказал себе он. Ему, как и всем его предкам (за исключением Екатерины II), никогда и в голову не приходило усомниться в том, что они помазанники Божьи.

Он положил рукопись «Дыма» на стол и стал думать о княжне, тоже отправившейся в Эмс, в другом поезде, с их трехлетним сыном, с компаньонкой Шебеко, с няней Боро-

---

[1] Здесь: для контраста *(франц.)*.

виковой, еще с какими-то людьми. И тотчас от его дурного настроения не осталось ни следа. «Не устал ли Гого в дороге? Не плакал ли? И хорошо ли спала княжна?» У него опять зашевелились неосуществимые, несбыточные мысли о том, как можно было бы соединить, совершенно соединить, их жизнь с его жизнью: «Чтобы княжне не надо было ни прятаться, ни путешествовать отдельно, ни искать чьего-то снисхождения. Вот тогда я счастлив был бы дать им конституцию!» — сделал он вывод, который ему был ясен, хоть другие логической связи тут никак понять не могли бы.

Спал он отлично и на следующее утро вышел в десятом часу завтракать к своей свите, тотчас оживившейся от его прекрасного настроения. За завтраком он просмотрел программу двух берлинских дней. Несмотря на неофициальный характер визита, она была длинная и торжественная. Предстоял большой военный парад,— император Вильгельм собирался лично провести перед племянником первый гвардейский полк. Предстоял придворный спектакль: Théâtre paré [1]. Предстояли завтрак у Вильгельма и обед у прусской гвардии, за которым оба императора должны были произнести тосты, а затем *облобызаться* в порыве дружбы. Горчаков пока составил только предварительный текст тоста: окончательный текст зависел от бесед обоих императоров и от его разговора с Бисмарком.

— Но непременно, Александр Михайлович, намекни, что на войну мы ни при каких обстоятельствах согласия не дадим, ты это умеешь,— сказал царь и вздохнул.— Еда будет скверная, шампанское отвратительное, и спектакль невыносимый.

С вокзала он ехал в коляске вдвоем с Вильгельмом Великим (так многие называли императора, хотя официально он стал так называться лишь после смерти). Как всегда, престарелый император был уютно-скучен и достойно-туповат. На этот раз он поглядывал на племянника не без робости: в Петербурге уже знали о планах князя Бисмарка. Собственно, наедине в коляске было бы всего удобнее поговорить о важных делах. Но царю не хотелось начинать этот разговор: он очень неохотно говорил «нет», любил дядю, был у него в гостях и ценил оказанное ему чрезвычайное внимание. Вильгельм, старейший в мире Георгиевский кавалер, получивший орден четвертой степени

[1] Парадный театр (*франц.*).

больше шестидесяти лет тому назад за сражение с Наполеоном I, недавно расплакавшийся от радости при получении первой степени («глубоко тронутый, со слезами, обнимаю, благодарю за честь, на которую я не смел рассчитывать»,— телеграфировал он Александру II), приехал на вокзал в черно-желтой ленте через правое плечо и без других орденов. Наследный принц и граф Мольтке были на вокзале в русских фельдмаршальских мундирах. Сам царь немецкого мундира не надел и был в синей венгерке лейб-гусарского полка и в красной фуражке.

Говорили почти исключительно о родных и о здоровьи. Вильгельм Великий вздыхал и жаловался на болезни. Из сочувствия царь сообщил, что тоже по временам испытывает необыкновенную усталость. Это была неправда, он физической усталости никогда не испытывал и чувствовал себя, особенно теперь, в обществе дяди, чуть ли не молодым человеком. Поговорили о предстоящих водах, об Эмсе, о Гаштейне, куда уезжал Вильгельм Великий, выразили надежду, что воды обоим очень помогут, и сказали, что непременно надо будет встретиться еще раз летом: либо в Гаштейне, либо в Эмсе. Когда их экипаж, в сопровождении других колясок и конвоя, выехал на Унтер ден Линден, Вильгельм Великий нерешительно спросил, хорошо ли себя чувствует княжна Долгорукая. Как все в Европе, он знал о последней любви Александра II; он даже говорил об этом с царем и был знаком с княжной. И царь, и княжна очень обиделись бы, если б император не спросил о ней. Но Вильгельму было неловко спрашивать царя о княжне: только что говорили об императрице.— «Княжна? Она вчера должна была приехать в Берлин»,— беззаботно ответил Александр II. «Вот как! Я не знал»,— робко сказал старик: он не любил лгать, между тем ему было известно, что княжна Долгорукая приехала накануне, остановилась в «Petersburger Hof» и одновременно с царем выедет в Эмс. Вильгельм спросил и о Гого; но оттого ли, что царю не понравился смущенный тон дяди, или потому, что германский император сказал «Gogo» с ударением на первом слоге, Александр II сам перевел разговор на политику. Он сказал, что слышал о воинственных планах князя Бисмарка.

— Ты догадываешься, что я им не сочувствую. Уверен, что не сочувствуешь и ты!

На лице Вильгельма Великого появилось виноватое выражение: в душе он был совершенно согласен с племянником и никаких войн больше не желал.

— Князю часто приписывают планы, которых он не имеет,— ответил он сконфуженно, почти так же, как го-

ворил о княжне Долгорукой.— Все это очень преувеличено.

— Я чрезвычайно рад это слышать,— сказал царь с облегчением, хотя слово «преувеличено» было неясно.— Я, впрочем, и сам так думал, зная тебя. Надеюсь, ты мне разрешишь поговорить об этом и с князем.

— Я буду очень этому рад,— ответил Вильгельм Великий. В душе он, действительно, был почти рад тому, что нашел опору в своей глухой борьбе с канцлером. Но, как почти всегда, он опасался, не сказал ли чего-либо лишнего и не придет ли Бисмарк в ярость.

— Просто изумительно, как растет твой Берлин. За год его не узнать! — сказал царь, чтобы загладить не совсем хорошее впечатление от разговора. Он часто бывал в Берлине, и ему было не слишком приятно, что этот провинциальный, скучноватый, не исторический город вдруг стал столицей могущественной империи. Впрочем, это немного и веселило его, как его веселило то, что дядя, очень хороший и достойный человек, стал на старости лет Вильгельмом Великим. Александр II с детских лет привык считать бедными родственниками немецких монархов, вечно кланявшихся и угождавших его отцу, дяде и деду. Теперь Вильгельм был по положению равный, а по могуществу — кто знает? — быть может, и высший.

Разговор с Бисмарком был единственной неприятностью, которой ждал царь, отправляясь за границу. Он не любил германского канцлера и, как все, его боялся. Так и теперь, после завтрака, удалившись с канцлером в небольшую гостиную (все тотчас их оставили), он чувствовал смущение. Было что-то тяжелое и напористое в этой огромной фигуре, в бульдожьем лице с густыми седыми бровями, ясно чувствовалось, что уж он-то не только умеет, но любит говорить «нет»: ответить «нет» обычно было его первым инстинктивным побуждением; ему требовалось скорее усилие над собой, чтобы согласиться с собеседником. Бисмарк был еще мрачнее, чем утром. Невралгические боли у него усилились, и его раздражил длинный, скучный, плохой завтрак, немецкое шампанское (старый император, вздыхая, говорил, что, имея большую семью, должен беречь деньги). Александр II закурил папиросу, не зная, как начать разговор, и придавая себе храбрости.

— Хотите настоящую турецкую папиросу, дорогой князь? — спросил он.— А знаете, вам очень идет, что вы сбрили бороду.

— Я было отпустил ее, ваше величество, потому, что терпеть не могу бриться. А о своей красоте мне уже беспокоиться не приходится,— сказал с усмешкой Бисмарк. Это

было не слишком любезно: царь был всего тремя годами моложе его.

— Меня сегодня, князь, очень обрадовал император. Он сообщил мне, что слухи о вашем намерении объявить войну Франции решительно ни на чем не основаны. По-видимому, вы опять стали жертвой клеветы, которую так часто распускают о вас ваши враги. Я так и думал, что вы никакой войны не хотите, как не хотели ее и в тысяча восемьсот семидесятом году,— сказал царь, улыбаясь чрезвычайно мягко. У Бисмарка лицо передернулось от злобы. Он тяжелым взглядом уставился на Александра II, ожидая продолжения.— И это мне тем более приятно, что, при всей моей испытанной любви к императору и к Германии, Россия не могла бы остаться равнодушной в случае нового нападения на Францию. Русское общественное мнение этого не потерпело бы,— с силой сказал царь. В беседах с иностранцами о внешней политике он часто ссылался на русское общественное мнение. Теперь самое неприятное уже было сказано. Он бросил в пепельницу недокуренную папиросу и закурил новую, больше для того, чтобы отвести глаза от так неприятно молчавшего, уставившегося на него человека.

Бисмарк, с перекосившимся от злобы лицом, помолчал еще с полминуты. Он и раньше допускал возможность такого ответа царя, но считал ее маловероятной. Теперь ему стало ясно, что в Петербурге принято окончательное решение: иначе царь, которого он хорошо знал, говорил бы не столь твердо. «Если так, то дело сорвалось! Старики не согласятся на войну на два фронта, да и в самом деле это слишком опасно. Невозможно!» — с бешенством подумал он и занес в память жестокую обиду. Но к нарушению своих планов Бисмарк привык: из доброй половины их обычно ничего не выходило (хоть об этом лучше было не говорить: это вредило его репутации гения). Как ни хотелось ему высказать царю все, что он думал о русской политике и о князе Горчакове,— доводы, колкости, обидные слова были бесполезны, даже вредны. В политике имели значение только выводы. «Конечно, надо faire bonne mine» [1]. На лице его появилось подобие улыбки.

— О, это в Париже распространяют слухи, будто мы собираемся напасть на Францию,— любезным тоном сказал он.— И я догадываюсь, что князю Горчакову было бы очень приятно выступить в роли ангела мира с белыми крылышками за спиной.

---

[1] «Делать хорошую мину» *(франц.)*.

Царь слабо засмеялся, понимая, что Бисмарк говорит не только о Горчакове, но и о нем самом.

— Повторяю, я чрезвычайно рад тому, что распускаемые французами слухи оказались клеветой на вас, князь. Вы знаете мое глубокое уважение к вам и к вашему гению.

— У меня нет никакого гения, ваше величество,— холодно сказал канцлер.— У меня есть разве только одно достоинство: я друг моих друзей и враг моих врагов.— Против его воли, в голосе Бисмарка прозвучала угроза. Хотя он принял решение faire bonne mine, справиться со своей природой, с душившим его бешенством, ему было трудно. Александр II раздраженно улыбнулся.

— Ваша верность друзьям, дорогой князь, известна всему миру... Мне было чрезвычайно приятно увидеть вас в добром здоровье и побеседовать с вами,— сказал он и поднялся, опасаясь своего припадка гнева. Оба знали, что для приличия следовало бы поговорить дольше: никто не ждал их выхода из маленькой гостиной раньше, чем через полчаса или даже через час; столь короткий разговор мог бы вызвать толки. Но им больше разговаривать не хотелось. Царь чувствовал некоторое облегчение, какое, расставаясь с Бисмарком, испытывали почти все люди, даже его горячие поклонники. «Все-таки главное сказано и подействовало»,— решил Александр II, с удовлетворением думая о том, как сообщит Горчакову о проявленной им твердости; он бессознательно собирался даже немного ее преувеличить.

Начальник полиции был предупрежден, что русский царь совершит инкогнито прогулку по городу и что охрана его должна быть совершенно незаметной. Такие предписания начальник полиции получал нередко и они всегда приводили его в уныние: несмотря на свой опыт, он не знал, как можно от нормального и не слепого человека скрыть, что его охраняют. Он вздохнул и почтительно спросил, куда именно *может отправиться* его величество. Узнав, что император, по всей вероятности, пойдет в «Петербургер Гоф», начальник полиции увеличил в пять раз число городовых между дворцом и гостиницей и приказал им *не замечать* царя, не сводя с него, разумеется, глаз, пока он будет находиться на их участке пути. Кроме того, по улицам с трех часов дня *незаметно* шныряли агенты полиции в штатских костюмах. И, наконец, одному из наиболее опытных сыщиков велено было незаметно идти впереди царя.

В светлом костюме, в мягкой шляпе, с модной тросточкой, без пальто, царь вышел на Унтер ден Линден. В отличие от большинства военных, он любил и умел носить штатское платье, но привыкал к нему каждый год лишь через несколько дней пребывания за границей. Теперь, в первый день, он испытывал такое чувство, будто находился на маскараде. Лишь только Александр II снял свой мундир, ему показалось, что он стал свободным человеком, точно его самого давила та нечеловеческая власть, которую он имел в России. «Здесь я никто, и, право, это очень приятно! В самом деле, уж не дать ли им конституцию? Пусть они правят!» — подумал он. В этот прекрасный солнечный день царь не сомневался, что, с конституцией или без конституции, все будет отлично.

Он с первого взгляда признал сыщика в человеке, который, не вытянувшись при его появлении, но как-то внутренно подтянувшись и чуть изменившись в лице, пошел впереди него. Царь всякий раз за границей просил не приставлять к нему охраны, однако понимал, что хозяева правы и иначе поступать не могут. Прохожие на улицах его не узнавали. Дамы искоса с любопытством окидывали взглядом высокого элегантного человека и отводили глаза; он на большом расстоянии замечал красивых женщин, замедлял шаги и провожал их ласковым взглядом. Хотя Александр II был страстно влюблен в княжну Долгорукую, мнение Софьи Яковлевны, будто другие женщины для него не существуют, было неверно. Сама княжна нередко устраивала ему сцены ревности. Он смущенно оправдывался, как-то что-то объяснял (был очень изобретателен), но чувствовал, что переделать себя не может, да и не собирался себя переделывать. В женщинах был главный интерес его жизни, и он чувствовал, что ему не вредит прочно установившаяся за ним в мире репутация. Иногда ему даже казалось, быть может, и не без основания, что едва ли не вся Россия гордится ходившими о нем легендами (число его побед, действительно, очень большое, еще преувеличивалось молвою). На Унтер ден Линден красивых женщин было не так много. Проходившая старая дама вдруг, взглянув на него, остолбенела. Он ускорил шаги с чувством и неприятным, и не совсем неприятным. Впереди его ускорил шаги сыщик. Огромный городовой на перекрестке вытянулся вопреки приказу и своей воле, поспешно принял нормальный человеческий вид, но отвернуться все-таки не мог. Царь подумал, что этот городовой похож на Бисмарка. «На него, впрочем, кажется, похожи все не-

мецкие городовые... Почему он не может жить, как другие люди? Говорят, женщины его совершенно не интересуют, да и никогда особенно не интересовали! — изумленно думал царь.— Чего ему еще нужно? Зачем война? Зачем проливать кровь, когда так хорошо жить?.. Этого здания, кажется, прежде не было? Да, они прямо выходят в люди. И магазины появились совсем хорошие!»

Он вспомнил, что надо купить подарок няне Гого, Вере Боровиковой, которую очень любил и которая, как все слуги, его обожала (самой княжне покупать подарки в Берлине было бы невозможно: все выписывалось из Парижа). Царь подошел к магазину, увидев дамские вещи. «Кажется, княжна сказала, что ей надо купить сумку? Да, вот у них есть сумки». Сыщик впереди замедлил шаги: его инструкция не предусматривала такого происшествия. Он нерешительно остановился у витрины соседнего магазина. Царь вопросительно на него взглянул, как будто спрашивая, можно ли войти, и вошел. Сыщик торопливо подошел к двери.

В магазинах на товарах были написаны цены. Александр II в них не разбирался, совершенно не зная покупательной способности денег: никогда ничего не покупал. В дамских вещах он, однако, знал толк и безошибочно выбрал самую красивую сумку.— «Geben Sie mir bitte diese...» [1] — вежливо сказал он, забыв, как по-немецки называется сумка. Немецкий язык всегда его забавлял. Он довольно хорошо знал этот язык, но, еще в детстве, несмотря на наставления Жуковского, не мог к нему относиться серьезно. Теперь с немецкой речью у него тягостно связывалось воспоминание об императрице Марии Александровне (императрица, в которую он тоже был когда-то страстно влюблен, была решительно во всем перед ним права, он был решительно во всем перед нею виноват и поэтому, да еще вследствие ее весьма заметной кротости и ее болезни, мысли о ней всегда бывали ему тяжелы). С Вильгельмом, с принцами, с Бисмарком царь обычно говорил по-французски, по привычке и из полусознательного расчета: чтобы оставить за собой преимущество лучшего знания языка. «Jawohl, mein Herr» [2],— почтительно ответил приказчик, с безотчетной тревогой глядя на этого иностранца. Две покупательницы с любопытством смотрели на царя. Александр II вспомнил, что у него нет денег: никогда не носил при себе ни бумажника, ни кошелька.

---

[1] «Дайте мне, пожалуйста, эту...» *(нем.)*
[2] «Конечно, господин» *(нем.)*.

— Нет, без денег мы дать не можем, но мы можем послать... Куда прикажете? — вежливо и твердо сказал приказчик. Сыщик поспешно вошел в магазин и, наклонившись над прилавком, что то прошептал приказчику, свирепо на него глядя. На лице приказчика выразились ужас и благоговение. Он низко поклонился, что-то пробормотал, с необыкновенной быстротой завернул сумку, выбежал с ней из-за прилавка и широко растворил дверь. Царь вышел очень довольный и приветливо кивнул сыщику: оба раскрыли свое инкогнито. Позади них у дверей на тротуаре стояли, восторженно вытаращив глаза, приказчик и обе покупательницы. На них грозно смотрел с мостовой очередной Бисмарк.

Хозяин гостиницы был предупрежден о посетителе и с трех часов дня нервно прогуливался в холле. Ему очень хотелось послать мальчика за женой, которая жила недалеко; но он не знал, будет ли это соответствовать пожеланиям властей. Кроме того, ему было неясно, надо ли говорить «Фрау Боровикова» или «Фрау фон Боровикова» (княжна Долгорукая везде снимала комнаты на имя няни). Но как он ни готовился к посетителю, появление высокого господина в сером костюме все же оказалось точно внезапным и вызвало у хозяина растерянность. Он не выдержал и низко поклонился.

— Jawohl!.. Frau von Borovikova... Jawohl! Nummer 108... Bitte... Da ist es...[1] — прерывающимся голосом говорил он, усиленно борясь с желанием вставить слово «Majestät» [2] хотя бы один раз.

IV

Эмс в семидесятых годах из-за ежегодных приездов императора Александра и навещавших его там германских родных стал одним из самых модных европейских курортов. В крошечном городке уже было все, что требовалось: приличный вокзал с особой комнатой для «Allerhöchste Kurgäste» [3], лечебные заведения и ванны, устроенные по новейшим предписаниям науки, хорошие гостиницы и, главное, курзал с мраморными колоннами, с толстыми мягкими ковра-

---

[1] Конечно! Госпожа фон Боровикова... Конечно! Номер 108... Пожалуйста... Это там... *(нем.)*

[2] «Величество» *(нем.)*.

[3] «Высочайшие гости на водах» *(нем.)*.

ми, с «Freskomalerei» [1] и с залами в помпейском стиле. Воды источников вытекали в сталактитовых гротах и мраморных нишах из посеребренных трубок; у них бело-желто-красные девицы с жизнерадостными улыбками протягивали больным их стаканчики, превращаясь в столбы при виде германского или русского императора. Каким-то чудом они помнили лица и фамилии всех больных и твердо знали, кому надо говорить «Jawohl, Durchlaucht», кому «Guten Morgen, Herr Doctor», а кому «Wie geht's, Herr Müller?» [2]. Коронованным особам они ничего не говорили, так как у них при появлении коронованных особ отнимался язык.

Дюммлеры еще из Петербурга снеслись с агентством, получили планы Эмса, объяснительные брошюры, фотографии домов и сняли на лето виллу на левом берегу Лана, в отдаленной старой части города. Через агентство были наняты горничная и кухарка, так что к приезду Дюммлеров все было готово и даже стоял на столе холодный завтрак. Владелица виллы почтительно, но с твердым сознанием своих прав, заставила «Фрау Баронин» принять по описи все вещи, белье, посуду, горестно отмечая чуть поврежденные тарелки или чашки, которых оказалось очень мало. Это продолжалось долго, утомило Софью Яковлевну и раздражало ее. Кое-что в обстановке виллы неприятно-карикатурно напомнило ей обстановку их петербургского дома. Здесь, разумеется, все было гораздо беднее, хуже и дешевле, но также было множество ящичков, резных шкатулок, огромных фарфоровых ваз, бронзовых пастушек с козочками, замысловатых пепельниц, домиков с автоматически выскакивавшими на крыше папиросами, так же, хоть в гораздо меньшем числе, военным строем стояли в книжном шкафу, выровненные раззолоченные «Sämmtliche Werke» [3] и даже, вместо генерала в александровском мундире, висел против Сикстинской мадонны в золоченой рамочке пожилой прусский офицер, очень похожий на Фридриха-Вильгельма IV до его окончательного сумасшествия. В вилле, стоявшей довольно глубоко в прекрасном саду с грядками цветов, с посыпанными желтым песком дорожками, с подстриженными по-версальски деревьями, были большая угловая гостиная, отделенная от нее раздвижной дверью столовая и четыре спальные комнаты. Лучшую из них отвели Юрию Павлови-

---

[1] Фрески *(нем.)*.

[2] «Конечно, ваша светлость», «Доброе утро, господин доктор», «Как дела, господин Мюллер?» *(нем.)*.

[3] «Собрания сочинений» *(нем.)*.

чу, который прилег отдохнуть, как только его комната была сдана хозяйкой по описи.

— Ах, она меня просто замучила! — сказала Софья Яковлевна вернувшемуся с прогулки брату.— Но все-таки я очень рада, что мы сняли виллу. В гостинице и Юрию Павловичу, и Коле было бы хуже. Жаль, что нет веранды, по плану мне казалось, будто веранда есть. Вилла недурна, и если хочешь, в этом немецком безвкусии есть свой charme.

— Отличная вилла! — подтвердил Черняков, настраивавший себя по-курортному бодро и благодушно.— И городок просто прелестный.

— Да, ведь вы с Колей уже успели погулять. Вам понравилось?

— Чудесный городок,— сказал Михаил Яковлевич.— Я уже все здесь знаю. Государь живет в «Hôtel des Quatres Tours», а княжна Долгорукая на нашем берегу. Ее вилла называется: «La Petite Illusion», и, представь, она в двух шагах от нас.

— Вот как? — рассеянно переспросила Софья Яковлевна. Чернякову показалось, однако, что это для его сестры новостью не было. Он еще не понимал, зачем им требовалось поселиться поблизости от княжны Долгорукой, но твердо верил в практическую гениальность Софьи Яковлевны. «Если она признала нужным, значит, нужно».

— Государь бывает на водах каждое утро, днем он не появляется. Княжна вод не пьет. Кстати — или некстати,— здесь получаются русские газеты. Но последние номера еще от четверга! Я в Петербурге читал от пятницы... Что же завтрак? Я голоден, как зверь. Или в ресторан пойдем на первый случай? — спросил Михаил Яковлевич, недоверчиво поглядывая на накрытый стол. На нем были только «kalter Aufschnitt» [1], масло, булочки и какой-то немецкий сыр. Но все было подано так уютно, с таким изобилием вазочек, сеточек, колпачков, войлочных кружков, полотняных и бумажных салфеточек, что решено было позавтракать дома. Юрий Павлович не любил ресторанов, а на людей, ходящих в кофейни без крайней необходимости, смотрел как на развратников.

Дюммлер вышел к завтраку в самом лучшем настроении. Он по-настоящему оживился, оказавшись за границей. В Берлине они пробыли один день. Профессор Фрерих поставил сдержанный диагноз, впрочем, скорее успокоительный и близкий к диагнозу петербургских врачей, о которых говорил с корректной улыбкой. Он дал письмо

---

[1] «Холодная закуска» *(нем.)*.

к эмскому врачу и велел пить кессельбруннен с молоком, для начала по три стакана в день,— «разумеется, если доктор Краус не предпишет другого режима»,— добавил он так же корректно, но, очевидно, никак не предполагая, что доктор Краус изменит его предписание.

После успокоительного диагноза Юрий Павлович стал еще больше восхищаться всем, от гениальности Фрериха до чистоты берлинских улиц. Теперь, за завтраком Дюммлер восхищался виллой, воздухом, булочками, ветчиной, маслом и услужливостью горничной, на лице которой, как и на лице владелицы виллы, было написано сознание не только своих обязанностей, но и своих прав (из них главным было ее право *старшей* горничной говорить хозяевам «Sehr wohl» вместо «Jawohl» [1]). Дюммлера она почтительно называла «Exzellenz» — это слово чуть резало слух Юрию Павловичу, хотя он знал, что на немецком языке — непостижимым образом — нет особого слова для «высокопревосходительства».

В тот же день они побывали на водах и встретили знакомых: профессора Муравьева с дочерьми. Это были приятели Михаила Яковлевича; Дюммлеры их почти не знали и в другом месте едва ли поддержали бы такое знакомство. Профессор считался либералом, чуть ли даже не радикалом. Но тут на водах Софья Яковлевна скорее обрадовалась встрече: младшая дочь профессора, немного постарше Коли, играла в Эмсе в теннис, знала других детей и могла свести с ними Колю (позднее, впрочем, Софья Яковлевна встревожилась: так ли полезно Коле бывать в обществе четырнадцатилетней девочки, хотя бы и не очень хорошенькой?). Сам профессор был любезный пожилой человек, видимо нимало не искавший общества тайных советников, но и не считавший себя обязанным избегать их. Старшая дочь его, красивая, прекрасно одетая барышня лет девятнадцати, поздоровалась с Софьей Яковлевной холодно и тотчас с ними рассталась, даже не постаравшись выдумать для этого предлог. Михаил Яковлевич проводил ее взглядом.

— Я знаю ее платье, это модель Ворта. Разве профессор богат? — спросила брата Софья Яковлевна, когда Муравьевы отошли.

— Не то удивительно, что я не могу тебе на сие ответить, но не может наверное ответить и он сам. Это самая безалаберная семья в Петербурге. Едва ли милейший Павел Васильевич имеет понятие о том, сколько у него дохо-

---

[1] «Очень хорошо» вместо «хорошо» (*нем.*).

да и сколько он проживает. Он знает только, что свободных денег у него почти никогда нет и что проживают они очень много, неизвестно как и неизвестно зачем. Правда, у него только миллионеры и святые не берут взаймы...

— Ты, Миша, не святой и не миллионер, а наверное никогда не брал.

— Ты отлично знаешь, что я принципиально ни у кого не беру взаймы денег, да мне и не нужно, я достаточно зарабатываю,— сказал Михаил Яковлевич. С той поры, как сестра заставила его принять плату за надзор за Колей, он при разговорах о деньгах всегда чувствовал неловкость, хотя и Софья Яковлевна, и ее муж считали эту плату совершенно естественным, само собой разумеющимся делом.— Верно и то, что в их доме каждый день и целый день толкутся люди тоже неизвестно зачем и почему. Однако и при его широком хлебосольстве они наверное могли бы проживать вдвое меньше, если бы он хоть в малой степени обладал способностью считать деньги. Павел Васильевич у нас в университете признается выдающимся физиком, и я ему говорил, что он, вероятно, интегральное исчисление знает лучше, чем арифметику.

— Где же он все-таки берет средства, чтобы так жить? Я никогда не верила легендам, будто можно роскошно жить ни на что.

— У него прекрасное родовое имение в московской губернии, должно быть, заложенное и перезаложенное... Это приятно, что они здесь, я очень люблю их семью. Знал еще его жену, она умерла года три тому назад. Ее смерть была для него ужасным ударом. С тех пор у него пошли какие-то катары.

— Он из московских Муравьевых? Довольно родовитая семья. Они происходят от боярского сына Муравья из рода Алаповских.

— Не знаю, Юрий Павлович. Как тебе известно, все сие не по моей части... Так ее платье модель Ворта? Она пугает, будто уйдет в народ. Очевидно, уйдет в платье от Ворта. Но никуда она не уйдет, вздор! А правда, очень хорошенькая?

— Хорошенькая.

— Что такое значит «уйти в народ»? — с тревожным изумлением спросил Юрий Павлович.

— По совести, я и сам не знаю, что это собственно значит.

В списке курортных гостей оказались и другие знакомые, однако, тоже малоинтересные. Дюммлеры побывали у врача, который благоговейно подтвердил предписание

Фрериха, купили градуированные стаканчики и записались в курзале. Черняков попробовал наудачу воду одного из источников и, не допив, сделал гримасу.— «Гадость невообразимая!» — сказал он сестре вполголоса, чтобы не слышал Юрий Павлович. Музыка жалобно играла что-то веселое. Они вернулись домой к ужину и очень рано легли спать. Михаил Яковлевич приуныл. Он вообще не любил уезжать из Петербурга, да еще в такие места, куда петербургские газеты приходят на четвертый или пятый день.

На следующее утро Дюммлеры встретили на водах государя. Он был с ними очень любезен и прошелся с Софьей Яковлевной по Unter-Allee, что необычайно подняло их престиж в городке, где все тотчас узнавали все. Однако об их адресе государь не спросил и ничего не сказал о княжне. Софья Яковлевна тщательно скрыла разочарование.

— Для нас всех главное отдохнуть и возможно меньше видеть людей,— говорила она убедительно.

Жизнь скоро наладилась. Юрий Павлович пил воду очень рано утром, тотчас возвращался домой и проводил большую часть дня у себя в саду, в парусиновом кресле у стола, читая «Норддойтче Алльгемайне Цайтунг», местную кобленцскую газету, а также книги, теперь преимущественно по медицине, в частности, главы о катарах и о действии вод. Черняков, как все, вставал рано, подчиняясь распорядку дня в Эмсе. Он немного занимался с Колей, уводил его к Муравьевым под предлогом тенниса, затем гулял по Колоннаде. В восемь приходили русские газеты. Их для него оставлял книгопродавец, с которым, как везде со всеми книгопродавцами, у Михаила Яковлевича установились приятельские отношения. С газетами он возвращался домой, проходил в саду к столу не по дорожке, а через траву под неодобрительным взглядом Юрия Павловича, и тоже надолго устраивался в парусиновом кресле. Дюммлер в Эмсе русских газет не читал,— говорил, что отдыхает от них душою: для одного этого стоит уезжать за границу. Черняков, очень уважавший зятя и не любивший заниматься изысканиями ни в своей, ни тем менее в чужой душе, все же находил, что Юрий Павлович расцвел, оказавшись в Германии. «Конечно, он верноподданный, но, ей-Богу, в душе ему Вильгельм ближе, чем наш государь, тем более, что он государя считает либералом»,— думал Черняков, искоса поглядывая на Юрия Павловича. По давнему молчаливому соглашению, они редко говорили о политике.

После немецкого диетического завтрака, Дюммлер уходил в спальную отдыхать, а Михаил Яковлевич зевал все в том же кресле. В четыре часа они снова отправлялись на воды, слушали музыку, обменивались со знакомыми новыми сообщениями о коронованных особах и о княжне Долгорукой. Дня через три Дюммлеры опять встретили государя; на этот раз он спросил, где они остановились. Софье Яковлевне было известно, что государь после завтрака уезжает верхом к княжне и обычно проводит у нее весь остаток дня. Как-то встретились они и с княжной на левом берегу Лана. Беседа была приятная, но краткая; с обеих сторон была выражена радость по случаю соседства, однако о дальнейших встречах ничего определенного сказано не было,— только неясно говорилось, как приятно было бы встречаться почаще: в Эмсе так скучно.

Скучно действительно было невообразимо, особенно Чернякову. Занятия с Колей отнимали у него не более часа в день. Работа не шла. Без библиотеки Михаил Яковлевич сразу терял большую часть своего ученого дара. И он чрезвычайно обрадовался, когда получил из Берлина следующую телеграмму: «Priesjaiu sevodnia 7 vechera prochu sniat komnatu spacibo privet mamontov».

— Узнаю нашего Леонардо! «Прошю сниат комнатю»,— благодушно сказал сестре Черняков, точно Николай Сергеевич так и произносил эти слова.— Это не разговор. На сколько времени «сниат комнатю?» В какую цену? В гостинице или в приватном доме? С табльдотом или без табльдота? Обо всем этом ни слова!

— Возьми без табльдота: он, надеюсь, будет часто приходить завтракать и обедать к нам.

— В приватном доме без табльдота, пожалуй, не сдадут. Назло ему, я сниму комнату в «Энглишер Гоф», пусть тратится!

— Почему, однако, он едет из Берлина? Ведь между Эмсом и Парижем прямое сообщение.

— Вот увидишь: cherchez la femme.

Михаил Яковлевич отправился встречать Мамонтова на вокзал и к обеду не вернулся. Дюммлер осведомился о нем у жены.

— Мамонтов?.. Ах, да, тот первой гильдии купеческий сын. Но разве поезд еще не пришел?

— Вероятно, они куда-нибудь пошли вместе обедать. Они большие друзья и давно не видались. Я тоже очень рада Николаю Сергеевичу и через Мишу просила его бывать у нас возможно чаще,— сухо сказала Софья Яковлевна, раздраженная «купеческим сыном».

— Очень рад. Я решительно ничего против него не имею,— поспешил добавить Юрий Павлович.

Черняков вернулся лишь в одиннадцать часов. Вопреки установившемуся порядку гостиная виллы еще была освещена. Софья Яковлевна сидела у лампы, как всегда, затянутая в корсет и, тоже как всегда, на стуле, хотя в комнате были диван и покойные кресла (это изумляло ее брата: он любил говорить, что «жизнь ничего не стоила бы без лежачего положения»). Она читала «La curée» [1] Золя. Ей показалось, что Михаил Яковлевич очень весел.

— Ну что? Приехал? Где же вы были? — спросила она вполголоса: Юрий Павлович уже спал, и его спальня была рядом с гостиной.

— Приехал,— так же тихо ответил Черняков и засмеялся.— И не один! Что я тебе говорил? Конечно, cherchez la femme!

— В чем дело?

— Ларчик просто открывался! Та самая питерская цирковая артистка! Помнишь, я тебе рассказывал? Это он к ней ездил в Берлин! И привез оттуда целую труппу... Ее зовут Катилина! Но, должен сказать, мила, очень мила!

— Да? Ты успел познакомиться?

— На вокзале имел честь быть оной Катилине представлен. Слава Богу, они живут в фургонах, а то наш Леонардо верно их бы притащил со слонами в «Энглишер Гоф»!.. Мы с ним там пообедали и выпили бутылочку-другую очень недурного рейнвейнцу.

— Я вижу. Что ж, он изменился, твой Мамонтов?

— Изменился. И ломается немного больше прежнего. Вероятно, от продажи «Стеньки». Но я его все-таки очень люблю. Мы в ресторане встретили...

— Утром увидим его на водах?

— Он сказал, что органически не способен встать раньше десяти... Встретили Павла Васильевича, я их познакомил.

— Значит, он у нас завтра завтракает?

— Завтракать не может, занят. Врет, конечно: пойдет к Катилине. Но соизволил принять приглашение на обед. Так что ты, во всяком случае, увидишь его вечером.

— Да я не так жажду его видеть,— сказала с досадой Софья Яковлевна.

---

[1] «Добыча» (*франц.*).

V

Мамонтов весной получил в Париже от Кати письмо. Она сообщала, что Карло в Варшаве проделал тройное сальто-мортале, и не разбился, и стал знаменитостью, и получил приглашение в какой-то знаменитый цирк, разъезжающий по всему миру. Заодно взяли ее и Алексея Ивановича,— «без нас Карло, конечно, не принял бы»,— с гордостью писала Катя. Она умоляла Николая Сергеевича встретиться с ними где-нибудь перед их отъездом за море. «А то, ей-Богу, едем с нами в Америку, я и забыла сказать, что ведь мы едем в Америку, ей-Богу, правда!.. А вы все говорили, что любите меня и нас всех. Так как же, милый, не приехать хоть проститься, ведь когда же мы вернемся в Россию!.. А я вас так люблю!.. Вы опять скажете, что это надо доказать, видите, как я все помню, голубчик, но, накажи меня Бог, я говорю правду, ведь я и не умею врать, вы сами говорили... И я так рада за Карло, хоть берет страх, просто ужас и ночью не сплю, впрочем, вру: сплю...»

Все письмо было нежное, счастливое, бессвязное, бестолковое и безграмотное (почему-то Катя беспрестанно употребляла многоточия, видимо, приписывая им какое-то особое значение). Мамонтов с улыбкой прочел и перечел письмо.

Получение этого письма совпало у него с неудачами и разочарованиями. Он вдруг почувствовал желание пристать к цирку. Ему стало совестно, что в последний год он почти забыл о Кате,— только изредка обменивался с ней письмами. «Все эта глупейшая история с Ивонн...» У него был роман с натурщицей, закончившийся денежным расчетом, о котором ему и теперь, через месяц, было стыдно вспоминать.

Он долго ходил по своей мастерской, останавливаясь, улыбаясь и пожимая плечами. Думал, что, быть может, цирк пригодился бы ему как художнику новизной впечатлений и сюжетов. «Вот эта тема почти не использованная. А уж если в самом деле *подтвердится*, что большого таланта к живописи нет, если в самом деле переходить на карьеру журналиста, то, пожалуй, поездка в Соединенные Штаты подходит как нельзя лучше?..» Ему казалось, что это мысленное слово «подтвердится» уже, в сущности, предрешало дело, и теперь, впервые, эта мысль не вызывала у него тревоги. «Ну, допустим, что я писал не так, как нужно, допустим, большого таланта не оказалось,— это, вдобавок, пока неизвестно,— все-таки еще два-три

года можно выбирать жизнь заново... И как прелестно-безграмотно она пишет! Что, если в самом деле поехать с цирком? Я не подрядился прожить жизнь так, как это угодно мещанам». Он думал и о том, что в присоединении к цирку было бы нечто устарело-романтическое и теперь дешевое, «à la Алеко».

На следующее утро он проснулся с очень тоскливым чувством, как все чаще в последнее время (прежде, в Петербурге, этого не было). Николай Сергеевич первым делом подумал о письме Кати и сам удивился своим вчерашним мыслям: «Что мне делать в Америке?» Он встал, оделся, хотел было начать работу и не начал: опять стал ходить по комнате. «Вот ведь мне казалось, что и в Ивонн я влюблен... Другое дело, если говорить о поездке в Америку *вообще*. Собственно, я подумывал о Соединенных Штатах, когда собирался стать журналистом. Но о чем я только не подумывал! Верно и то, что за деньгами остановки не было бы: еще на несколько лет жизни денег хватит во всяком случае, если даже ничего не зарабатывать. Да и для живописи Америка могла бы кое-что дать». Он почти с отвращением взглянул на свой «Уголок Компьенского леса» и подумал, что таких уголков в лесу, на заре и под вечер, в серых, голубоватых, серебряных тонах только что всеми оплаканного Коро есть, наверное, сотни. «Да, ясно, что надо все, все пересмотреть, надо понять, что я писал вздор, что «Стенька» никуда не годится, как никуда не годятся всякие княжны Таракановы, Грозные у гроба сына, становые на следствии и колдуны на свадьбе, которые десятками фабрикуются у нас в России... Если же с позором из живописи уйти, то... Куда же уйти? В революцию? В журналистику?.. Верно, это судьба всех бездарных неудачников — бросаться из стороны в сторону»,— думал он полупокаянно-полуиронически. «А вот просто повидать Катю было бы очень соблазнительно, но где-нибудь поближе, без всякой Америки...» Он опять прочел письмо. Из него нельзя было понять, куда и когда едет цирк. «Но как мило, что она «умею» пишет с «е».

Николай Сергеевич так же нежно ответил Кате и просил Карло и Рыжкова толком сообщить все об их поездке. Очень скоро пришло от Кати новое письмо, настолько восторженное, что после него не встретиться с семьей Диабелли было бы просто невозможно. В конце, на немецком языке, без обращения и подписи, был записан, очевидно, рукой Карло, их маршрут с обозначением дней, часов и гостиниц. Оказалось, что они будут выступать в Гамбурге, Бремене, Бреславле, Берлине и закончат европейские гаст-

роли в Эмсе. «Ну, что ж, в Эмс ездят теперь все. Отчего же мне не пробыть там несколько дней с ними?»

Узнав из письма Чернякова, что Дюммлеры тоже едут в Эмс, Николай Сергеевич поколебался; потом рассердился и сказал себе, что в таком случае приедет туда с Катей наверное,— точно он бросал кому-то вызов.

В последний день Мамонтов решил сделать сюрприз: заехать в Берлин за семьей Диабелли. На долгой остановке в Кельне он вынул из чемодана новый костюм, переоделся и выбрился. «Совсем, как влюбленный!» — иронически думал он.

Но, когда в крошечной комнате их убогой гостиницы на окраине Берлина Катя, смеясь и плача, повисла у него на шее, Николай Сергеевич почувствовал, что улыбался он напрасно, что это очень серьезно, что его неудачи и глупая история с Ивонн никакого значения не имеют, что он поедет за Катей и в Эмс, и в Америку, и куда она захочет.

Алексей Иванович встретил его со своим обычным степенным радушием: как будто и в самом деле очень ему обрадовался. И только в приветливости Карло было, как всегда, нечто не совсем приятное. «Точно он еще выше ростом стал после сальто-мортале...» О поездке в Америку Николай Сергеевич не сказал ни слова, да и не было времени: их поезд отходил через несколько часов. Для международного цирка были сняты особые вагоны. Катя предложила взять туда и Мамонтова. Карло кратко ответил, что это невозможно; все места заняты и постороннего человека не впустят. «Это ничего не значит, я поеду в другом вагоне»,— поспешил сказать Николай Сергеевич. Легкий холодок исчез, когда Карло предложил Мамонтову повести Катю и Рыжкова в кондитерскую: сам он все бегал по делам.

— Разумеется, он страшно рад нас вам подбросить, мы у него на шее сидим,— объявила Катя. Оказалось, что она и Алексей Иванович, не зная ни одного слова ни на одном иностранном языке, почти не выходят из гостиницы, из боязни заблудиться.— Мы и то носим при себе его записочку с адресом, как собаки ошейник с надписью, чьи они!— объяснила она и залилась смехом, который в следующую ночь снился Николаю Сергеевичу.

По пути в Эмс, на большой станции, Мамонтов, в другом, светлом, тоже слишком хорошем для дороги костюме, подошел к вагонам цирка. Кати у окон не было. «Значит, не очень меня ищет...» Из ее вагона слышался веселый говор, женский смех,— не Катин. Николай Сергеевич по-

стоял на перроне, не поднялся в вагон, почему-то сделал даже вид, что стоит не у этого вагона, затем отошел с неприятным чувством. У буфета Карло пил пиво с высоким, благодушного вида человеком, который что-то рассказывал ему на ломаном немецком языке. «Так Карло не с ней в вагоне»,— с облегчением отметил Мамонтов. Акробат представил его своему собеседнику. Это был директор цирка, американец Андерсон. Узнав, что Мамонтов владеет английским языком, он тотчас с ним разговорился и через минуту стал называть его по фамилии, которую легко усвоил и произносил правильно. Андерсон бывал в России и знал несколько русских слов.

— А по-французски я совсем хорошо говорю, с чистым пенсильванским акцентом,— добавил он.— В нашем деле иначе нельзя.

— Вы давно в Европе?

— Несколько лет. Америка слишком бедная страна для такой труппы, как моя. Нас разорила эта несчастная гражданская война,— пояснил он со вздохом.— Впрочем, теперь наши дела как будто начинают поправляться. Мы едем домой, и не могу сказать, чтобы я был этим огорчен... Выпьем еще по стакану? А вы ничего для цирка не умеете делать? — с любопытством спросил Андерсон.— Едем с нами в Америку? Лучшей страны нигде в мире нет!

«Да, странный и, кажется, интересный мирок,— думал у себя в вагоне Николай Сергеевич.— Конечно, он ничего не теряет от сравнения с нашим, где все так и дышит завистью и злобой. Было бы очень хорошо познакомиться с ними поближе. Но неужто я в самом деле поеду в Америку? Не сойти ли на первой станции, не сбежать ли в Париж или, еще лучше, в Петербург, а им послать какую-нибудь телеграмму?» — с улыбкой спрашивал себя он. Хотя он отлично знал, что ничего такого не сделает,— Мамонтов довольно долго думал о том, как и когда они получили бы его телеграмму, что сказали бы и долго ли плакала бы Катя. Затем снова у него завертелись памятные по Петербургу мысли об отношениях между Катей и Карло, он гнал от себя эти мысли и даже отрицательно мотал головой. «...Я так вас люблю, так люблю! Ей-Богу!» — говорила Катя в кондитерской, уплетая пирожные и срываясь с места, чтобы поцеловать его. Немки принимали их за молодоженов.

Когда поезд замедлил ход у Эмского вокзала, на перроне Николаю Сергеевичу бросился в глаза Черняков,

в не очень шедшем к его солидной фигуре легком белом костюме. Михаил Яковлевич еще издали помахал высоко над головой рукой с растопыренными пальцами, затем обнял Мамонтова, обдав его смешанным запахом крепкого одеколона и хорошей сигары, и минуты две высказывался о наружности Николая Сергеевича.

— ...Совсем парижанин! Так ты и усы подстриг? Но прямо цветешь, а? Вот что значит успех и миллионы! Я тебе и комнату приготовил в гостинице для миллионеров... Не надо было? Пеняй на себя, зачем не сообщил, что тебе нужно?

Узнав, что у Мамонтова друзья в вагонах для цирка, Михаил Яковлевич вытаращил глаза.

— Как в вагонах для цирка? Я читал в местной газете — газетка, кстати, паршивая! — что сюда приезжает цирк или зверинец... Они что же, со зверьми едут, твои друзья? Может, ты с тиграми хочешь заехать в «Энглишер Гоф»? Об этом, я извини, не договаривался, ты сам им объяснишь. Так ты стал укротителем зверей?

Увидев Катю, Михаил Яковлевич догадался, кто она, и обрадовался, быть может потому, что сбылось его предсказание «cherchez la femme». У Кати был испуганный и растерянный вид.

— Ради Бога! — сказала она Мамонтову с мольбой в голосе.— Ради Христа, зайдите за нами завтра пораньше! Голубчик, приходите рано утром, умоляю вас! Мы тут без вас пропадем!

Николай Сергеевич обещал прийти рано и познакомил ее с Черняковым. Катю, видимо, немного успокоило то, что в этом месте могут быть русские. В другое время она, наверное, тут же поцеловала бы Михаила Яковлевича. Но здесь общая суматоха, слышавшаяся отовсюду иностранная речь так ее напугали, что она не поцеловалась на прощанье даже с Мамонтовым. Карло позвал ее, она покорно пошла за ним, держа в руках какой-то кулек и коробку. Легкий багаж семьи вообще состоял только из бумажных и картонных предметов. В конце перрона она оглянулась и горестно помахала кульком. Черняков изумленно глядел на цирковых артистов.

— Что это? Клоуны? — испуганно спросил он.— Неужто ты их знаешь?

— Только этих трех и знаю.

— Ведь это та твоя петербургская, правда?

— Да, да, «та моя петербургская»,— с досадой ответил Николай Сергеевич. Михаилу Яковлевичу, однако, показалось, что Мамонтов не слишком задет его словами. «Уж

больно стал ломаться»,— благодушно подумал Черняков, охотно прощавший людям маленькие слабости.

За поздним обедом в «Энглишер Гоф» бессвязный разговор, еще до жаркого, раза два прерывался. Михаил Яковлевич сообщил, что мог бы получить должность экстраординарного профессора в провинции, но уж очень не хочется уезжать из Петербурга, авось и там кое-что навернется; сообщил предположения о своей докторской диссертации, сообщил об отклике, который нашли его работы в русской и немецкой печати. Он спрашивал и Николая Сергеевича об его успехах, но Мамонтов отвечал уклончиво и с некоторым нетерпением. Чернякову показалось, что его друг вообще стал раздражительней.

— ...Ты, как Бисмарк, который, по появлении в газетах сенсационных слухов, «не подтверждает, но и не опровергает». Значит, «Стенька» имел в Париже успех?

— Некоторый успех, если хочешь, имел.

— «Если хочешь»! Я хочу. И тебе были заказаны портреты. Значит, все отлично?

— Значит, все отлично.

— Ну, так и говори. Хорошо, какие же теперь твои планы? — спросил Михаил Яковлевич, любивший за вином то, что он называл «интимными беседами». Ему хотелось поговорить о Катилине.— Когда ты возвращаешься в Петербург?

— Сам еще не знаю... Быть может, я поеду в Америку.

Черняков поставил бокал на стол и изумленно уставился на Мамонтова.

— В Америку? В какую Америку?

— В Северную.

— Еще слава Богу, что не в Патагонию! Зачем тебе Америка? Что ты будешь делать в Америке?.. Постой, я, кажется, читал, что эти циркачи отсюда едут в Соединенные Штаты?

— Да. И я, быть может, поеду с *циркачами*,— с вызовом в голосе ответил Николай Сергеевич. Черняков сокрушенно замолчал. Он любил Мамонтова, желал ему успехов в жизни (хотя не слишком уж блистательных успехов: в меру), и ему было больно, что из его друга, по-видимому, ничего не выходит. «Все он *мечется* и, должно быть, этим гордится, как все *мятущиеся души*. А в действительности тут дело не в мятущейся душе, а просто в юбке. По-видимому, он в самом деле втюрился в эту Катилину!»

— Но что ты там будешь делать?

— Не знаю. Впрочем, о себе мне сейчас не хочется го-

ворить... Что же твоя прогрессивная партия? Кажется, государь к вам еще не обращался? — насмешливо спросил Николай Сергеевич. Черняков пожал плечами.— Помяни мое слово, все это добром не кончится.

— Что именно «все это»?

— Ты знаешь, что именно. Это желание государя всех очаровать, никому ничего не дав. Эта его манера рассматривать Россию как свое родовое имение, где мужики и дворня, кроме нескольких неблагодарных негодяев, обожают доброго барина. Но à la long[1] это не годится. Я видел в Париже, в Швейцарии кое-кого из молодых русских поколения, следующего за нашим с тобой. Они все отпетые революционеры и нигилисты.

— Очень жаль. Теперь, впрочем, у нас намечается новое увлечение славянской идеей. Кстати, из Герцеговины идут тревожные слухи, там, кажется, назревают серьезные события. Что ты об этом думаешь?

— Если есть вещь, о которой я совершенно не думаю, то это события в Герцеговине. Я даже не знал, что в Герцеговине бывают события.

— От свечи, брат, Москва сгорела,— сказал Черняков и вдруг, радостно улыбнувшись, помахал кому-то рукой. Николай Сергеевич оглянулся. Из дальнего угла ответно улыбался их столику человек, в котором за версту можно было признать русского. К нему подходил лакей со счетом на тарелочке.

— Кто это? Русский, конечно?

— Павел Васильевич Муравьев. Знаешь? Почему ты морщишься? Или ты тоже делаешь вид, будто не любишь встречаться за границей с русскими? Это какая-то повальная мода. И все люди врут, потому что разговаривать нам интересно только с русскими же.

— Да я не потому, что он русский. Он аристократ, да? Ты знаешь, я не люблю аристократов.

— Почему «аристократ»? И что такое «аристократ»? Муравьевых в России пруд пруди. Он профессор физики. Очень дельный физик и милейший человек. Сам говорит, что он и не из тех Муравьевых, которых вешают, и не из тех, которые вешают. Иными словами, не состоит в родстве ни с семьей декабристов, ни с Муравьевым-Виленским. Никакой он не аристократ, просто помещик второй руки. А его старшая дочь, если хочешь знать, даже симпатизирует, как ты, революционерам,— сказал Черняков неожиданно с легким вздохом.— Это ей, впрочем, не ме-

[1] В конце концов *(франц.)*.

шает выписывать платья от Ворта и ездить верхом на кровных лошадях.

— Дочь тоже здесь?

— Да, две дочери.

— Хорошенькие?

— Младшая еще ребенок. Старшей лет девятнадцать, очень хорошенькая, и умная, и образованная. Замечательная девушка.

— Волочишься?

— Без малейшего успеха. Но часто у них бываю... Вот он подходит.

Профессор, знакомясь, крепко пожал руку Мамонтову и с полной готовностью принял предложение «подсесть». Это был человек лет пятидесяти с очень приятным, умным лицом, с окладистой, уже седеющей бородой.

— ...Вот я донесу вашему врачу, что вы в Эмсе ужинаете,— сказал Черняков.— Это строго запрещено. Мы? Мы не в счет: мы вод не пьем... Но отчего же вы не привели Елизавету Павловну?

— Ее приведешь! Она с кем-то в Курзале. Что до ужина, то в нашем табльдоте кормят дрянью. Ешь — противно, и через час после «абендброта» [1] хочется есть. А я голодный заснуть не могу... Так вы прямо из Парижа? — спросил он Николая Сергеевича.— Ну, что же там слышно?

— Да что же он мог слышать? Он, кроме революционеров, никого, кажется, и не видел! — сказал Михаил Яковлевич. Мамонтов с досадой пожал плечами. Профессор смотрел на него, благожелательно улыбаясь и, видимо, ожидая пояснения.— Николай Сергеевич такой же отчаянный радикал, как ваша Лиза. Он с нашим братом, с «ретроградами», разговаривает только в случае крайней необходимости.

— Да мы с вами, кажется, не такие уж ретрограды, особенно я,— смеясь, сказал Муравьев.

— А кто вчера царя восхвалял?

— Нисколько не восхвалял, а просто отдавал должное.

— Должное? За что же, собственно, должное? — хмуро спросил Николай Сергеевич.

— Неужто и в Эмсе говорить о политике, да еще в такую жару? — вздыхая, ответил вопросом профессор.— Да что я вчера сказал? Сказал, что ненависти к царю у меня нет. К его отцу была, а к Александру Николаевичу нет... Никакой ненависти к нему не чувствую,— твердо

---

[1] «Ужин» (*нем.*— Abendbrot).

повторил он, точно подумав и проверив себя.— Скажу, что плохо его понимаю, это да. Может быть, и факты мне известны не все. Извините педантизм естествоиспытателя,— с улыбкой обратился он к Мамонтову,— у нас первое дело знать факты.

— Какие же такие факты нам неизвестны? Факты те, что у нас полный застой, страна в развитии остановилась и вперед не идет. И в этом вина тех, кто ею правит.

— С этим я готов согласиться лишь отчасти. Полный застой? Полного застоя нет, Россия растет и цивилизуется. Но, к сожалению, совершенно верно то, что темп ее движения вперед за последнее десятилетие очень замедлился. Вот это мне и непонятно. Александр Второй был одним из величайших реформаторов в истории. Если говорить правду, то по сравнению с его реформами реформы Петра отходят на второй план.

— Ну нет,— вмешался Черняков.— Наш Питер особь статья. Недаром — «Великий».

Профессор опять вздохнул.

— Если б Александр Второй при осуществлении своих реформ тоже потоками проливал кровь, то и его, должно быть, прозвали бы Великим.

— Это парадокс.

— Нет, к несчастью, не парадокс. Великими в истории всегда прозывали только тех, кто с видимым на протяжении отрезка времени успехом пролил очень много крови. Без этого можно стать «Добрым», «Кротким», «Благословенным», «Святым», но для «Великого» нужны успех, кровь и больше ничего. Поверьте, если б Наполеон Третий выиграл войну тысяча восемьсот семидесятого года, он тоже стал бы Великим. Людовик Четырнадцатый пролил много крови и получил «Великого». А Людовик Шестнадцатый не пролил и окончил свои дни на эшафоте.

— Вот же наш Николай Великим не стал.

— Крымская война помешала. И хоть это уж другой вопрос, в Николая ведь Каракозовы не стреляли. Я, кстати сказать, всегда тех, кто ненавидит Александра Второго, спрашиваю, почему они никак не проявляли ненависти к его отцу?

— К нашему поколению этот риторический вопрос не относится: мы при Николае еще под столом бегали.

— Поэтому ваше поколение и не может понять, *что* для нас означало вступление на престол Александра Второго. Мы точно глотнули воздуха после того, как едва не задохлись... Я прямо скажу: я Александра Николаевича не понимаю... Ничего не понимаю,— повторил профессор,

опять подумав.— Этот человек освободил крестьян, ввел земство, самоуправление, прекрасный суд вместо старого дрянного, отменил рекрутчину, уничтожил телесное наказание, без срама выпутал нас из проигранной войны, затеянной Николаем вопреки его совету, умиротворил Кавказ, мирно, не пролив ни единой капли крови, присоединил к России богатейшие земли Дальнего Востока... Разве я не вправе сказать, что он сделал больше Петра? И разве у него не было мировой славы, вроде славы Линкольна? Кстати, помните ли вы, что после покушения Каракозова Конгресс Соединенных Штатов прислал в Петербург особую делегацию во главе с Фоксом, чтобы приветствовать Александра Второго, «уму и сердцу которого русский народ обязан свободой»,— это, кажется, был первый такой случай в истории. Его в северных штатах всегда и сравнивали с Линкольном. Вот какая была слава! И мне непонятно, что же такое произошло с царем? Почему человек, бывший величайшим реформатором, больше ничего не хочет делать? Я не политик, но каждому нормальному человеку ясны преимущества конституционного строя перед самодержавным. По каким мотивам, только ли по усталости, этот бесспорно хороший, неглупый и добрый человек окружил себя ретроградами...

— Да нам его мотивы совершенно не интересны. Если он устал, то пусть идет к... Пусть уходит на покой!

— А мне мотивы интересны. Вы Голохвастова Дмитрия Дмитриевича не знаете? Это клинский предводитель дворянства. Очень милый человек, хороший оратор, конституциалист. Так вот, видите ли, Голохвастов имел с государем беседу. Государь ему сказал со слезами в голосе...

— У него всегда слезы в голосе.

— Сказал ему следующее: «Чего вы все от меня хотите? Конституционного правления? Вы думаете, что я его не даю из мелочных чувств, не желая поступиться своими правами? А я тебе клянусь, что вот сейчас на этом столе подписал бы какую угодно конституцию, если б это только было возможно...»

— Кто же ему мешает?

— Не скрою, что это он объяснял Голохвастову невразумительно: говорил, что Россия на следующий день распадется на куски, все, мол, отделятся: Польша отделится, Финляндия отделится...

— И пусть отделяются.

— Это не разговор, Леонардо, «пусть отделяются»! — сказал Черняков.— Но эти опасения ни на чем не основаны.

— Я тоже думаю. Так какие же истинные причины? Думаю, скорее всего сильное давление оказывает на него окружение, состоящее на три четверти из крепостников...

— Вот бы он всю эту шайку и разогнал.

— К этим твоим словам, Леонардо, я присоединяюсь,— сказал Черняков.— Давно пора приструнить этих господ.

— Вы оба совершенно правы, но... Вот у меня дочь, молоденькая девушка, собственно, чуть не девочка, и ее приструнить невозможно, и я даже спорить с ней не хочу и не могу: я слово, а она мне двадцать. Мне просто лень, и я махнул рукой, Михаил Яковлевич знает,— смеясь, сказал профессор.— Вы думаете, так легко приструнить старую Россию, с ее тысячелетней инерцией? Один пример: отмена крепостного права. Вам так кажется: сел государь в хорошую минуту за письменный стол и подписал указ об освобождении крестьян. А этого указа не хотели девяносто девять процентов всех его близких и девять десятых дворянства... Нет, вы не спорьте, это так! И как не хотели! Смертельно боялись, боролись, тормозили, готовы были на *все*, чтобы не допустить освобождения. Я прямо скажу, что для царя была опасность: ведь и при его неограниченной власти очень трудно справиться с дворянством. Вспомните участь его деда и прадеда: ведь их убили дворяне, а не революционеры. Да вот у меня есть маленькое личное впечатление,— сказал профессор, видимо, увлеченный спором.— Я только раз в жизни вблизи видел и слышал царя. Это было на приеме московского дворянства незадолго до освобождения. Почему-то я пошел, в первый и в последний раз в жизни, я плохой дворянин. Ну, собрались мы в Кремле... Не верьте вы, молодые люди, тем, кто говорит, будто большая часть дворянства стояла за освобождение крестьян. Да и в самом деле, вот ведь и на Западе из-за какого-нибудь пустякового нового налога поднимается дикий вой, а тут дело шло не о налоге, а о потере доброй половины состояния. Герцен, конечно, хотел освобождения, но сколько же дворян Герценов?

— Герцен вдобавок своих крестьян продал или заложил до эмансипации,— сказал Черняков и ласково положил руку на рукав профессора,— Павел Васильевич, кофейку не хотите?

— Нет, поздно, я сейчас побегу... Ну, так вот, выстроились мы в кремлевской зале, хмурые, мрачные, насупившиеся, точно на похоронах. Впереди старики, все больше князья, богачи, генерал-адъютанты, ну, Английский клуб. Ну-с, вошел царь и заговорил. Говорит он, кстати,

прекрасно, как настоящий оратор, только что грассирует. По-моему, царям не полагается грассировать. И с первых слов начал он нас, московских дворян, ругать, да как! Вы, говорит, и крестьян на волю отпустить не желаете, и земли им дать не хотите, и палки мне в колеса вставляете, но ничего вам не поможет: крестьяне свободу получат во что бы то ни стало! Слов не помню, а смысл был таков. Слушали его наши крепостники ох как хмуро: верно, считали Робеспьером! Смотрел я на них и думал, что страшна сила косности этих людей и не так легко царю сесть за стол и подписать указ! И продолжаю думать: без Тургеневых и Герценов эмансипация все-таки могла бы состояться, а без Александра Второго русские крестьяне, то есть лучшее, что есть в нашем народе, и по сей день были бы рабами... Хоть я не легко очаровываюсь, он тогда меня очаровал. И тем больнее мне теперь, что он губит свое же собственное историческое имя. Страх ли, или усталость, или разочарование от того, что он, верно, считает неблагодарностью? А что, если вся трагедия просто от легкомыслия? Ведь это, право, трагедия. Я много вижу молодежи и ясно вижу, что дело идет к беде... Ну, простите меня, я что-то больно разговорился. Прямо стыдно: в Эмсе на водах вести политические дискуссии! — Он взглянул на часы, ахнул и поднялся.— Рад бы еще посидеть, да одиннадцатый час, и Маша дома одна. Это моя младшая дочь,— пояснил он Мамонтову,— ей уже четырнадцать лет, и, представьте, она еще не решает судеб России.

— А старшая решает?

— Уже решила. И до споров со мной не снисходит. У нее политика дамская: без доводов, просто: «Ненавижу вашего царя!» — и кончено. Александр Второй, видите ли, мой!.. Так завтра увидимся на водах, правда? Ну, всего хорошего, и не сердитесь, если я что не так сказал. Я ведь физик, а не политический деятель,— ласково сказал Муравьев и, крепко пожав им руки, направился к выходу, опираясь на палку.

— Понравился он тебе? — после недолгого молчания спросил Черняков, допивая остаток вина в бокале.

— Так себе. Да, скорее понравился, хоть ничего умного он не сказал... Но в самом деле, что за манера: с первого знакомства заговорить о политике!

— Да ведь это ты заговорил о политике! И потом, что же это? О себе ты говорить не хочешь, о политике тоже не хочешь, о чем же ты хочешь говорить? — обиженно спросил Михаил Яковлевич. Мамонтов засмеялся.

— Извини. Я действительно немного устал. Но расскажи мне, как вы здесь в Эмсе живете... Уж очень приятное слово «Эмс». Мне в детстве ласкал слух «Багдад».

— Завтра утром ты на водах увидишь все и всех.

— Воды далеко отсюда?

— Разумеется, нет, два шага. Да вот я тебе объясню,— сказал Черняков, вынимая из кармана золотой карандаш. Он нарисовал на меню план Эмса.— Вот тут «Энглишер Гоф», здесь курзал. Тут Кессельбруннен, а тут Кренхен. Юрий Павлович пьет Кессельбруннен, а государь Кренхен.

— Ах, как досадно! Это у вас семейное горе?

— Какой ты, брат, стал «каустический», просто выдержать невозможно. Это Лан. Наша вилла на левом берегу, ты перейдешь по мосту, свернешь направо, и наша вилла по левой стороне, шестая по счету, «Schöne Aussicht», запомнишь? Значит, завтра приходи к обеду, уж если ты завтракаешь с Катилиной...

— Не твое дело, с кем я завтракаю!.. Но скажи толком, здесь хорошо?

— Чудесно! Какие ландшафты! Красота! — ответил Черняков, вздохнул и засмеялся.— Если же ты хочешь знать правду, то городишка паршивый и скука адская. Смотри, вот и здесь, в «Энглишер Гоф», в десять часов вечера уже ни души!.. Я страшно рад, что ты приехал. Особенно если надолго и если ты не будешь торчать целый день у Катилины...

— Ненадолго. Дня через три они уедут и я тоже.

— Сестра тебя не отпустит. Она тоже была очень рада, что ты приезжаешь... Ты просто не поверишь, что это за скверный городок! Петербургские газеты приходят на четвертый день! Конечно, ландшафты один восторг!

В одиннадцать часов Николай Сергеевич уже лежал в постели. В прошлую ночь в поезде он почти не спал, но, несмотря на вино и усталость, спать ему не хотелось: слишком много было впечатлений, слишком много было предметов, о которых следовало бы подумать. Следовало особенно подумать о Кате, и Мамонтов пытался это сделать, однако вспоминал ее звонкий смех и больше ни о чем думать не мог. «Об этом позднее. Быть может, я еще завтра с ней поговорю и все выясню,— говорил он себе и смутно чувствовал, что едва ли поговорит и что

ничего не выяснит.— То есть выясню, но не завтра. Карло? Это туда же,— думал он, как будто откладывая в тот же ящик и мысли о Карло.— Что еще? Цирк? Да, очень интересный и милый мирок. Черняков? Он все такой же, как был, и странно было бы, если б за год очень изменился. Этот верноподданный профессор? У него приятное лицо... Надо познакомиться с его дочерью...»

Можно было бы встать и взять из дорожного плаща купленную на станции и не развернутую в вагоне газету. Но это было бы слишком сложно: и вставать не хотелось, и у туфель сплюснулись задки, и в шкафу, конечно, посыпались бы пиджаки, брюки, жилеты, искусно развешенные лакеем гостиницы по тесно наседавшим одна на другую вешалкам. «Да ничего нового, кажется, и не было. Войны не будет. А то можно было бы пойти воевать? Хорош я воин, если лень добраться до шкафа... А это что такое лежит?» На столике, рядом с небольшой лампой, лежала отпечатанная на прекрасной глянцевитой бумаге немецкая брошюра об Эмсе. Николай Сергеевич посмотрел на рисунок набережных с горами,— «кажется, в самом деле очень красиво»,— заглянул в список гостиниц, строго разделенных на ранги,— «Englischer Hof» был в первом ранге «de luxe», тотчас за «Hôtel des Quatre Tours»,— и это почему-то было приятно Николаю Сергеевичу. Нечто успокоительное, сознание места, прав и ранга каждого, было и в обстоятельном перечислении магазинов, церквей, синагог, врачей,— чувствовался твердый, устоявшийся быт, исключающий возможность потрясений. В историческом очерке, невообразимо скучном даже по шрифту, Николаю Сергеевичу бросились в глаза выделявшиеся стихи с белевшими обвалами в средине строчек. «Почему стихи? И почему такие длинные?» Сюжетом стихов была легенда о жившей некогда под Эмсом знатной госпоже фон Штейн, которая так удачно женила своих сыновей и выдала замуж дочерей, что не было пределов ее земному счастью.

«Dieser Ehre ist zu viel!»
        sprach die edle Frau von Steine.
Auch das Glück will End und Ziel.
        Ziel noch Ende hat das meine.
Beide Söhne sind vermählt,
        sind es Schmuck des Ritterstandes,
Drei der Töchter auserwält
        haben Edle dieses Landes.
Blieb mir doch das letzte Kind,
        heute gab ich's einem Grafen,

Also dass es zwölfe sind,
die sich hier zur Hochzeit trafen...[1]

В этих ровных парных стихах, как и в глупости легенды, было тоже нечто приятно-успокоительное. «Что же мне нужно? Жениться на графине и стать «Schmuck des Rittersiandes». Или не на графине, но непременно на дочери адвоката, инженера, профессора?.. Люди будут пожимать плечами, как Черняков? Какое мне до них дело? Что тут дурного, если ею стреляют из пушки? Катя бросит пушку, только и всего. Она необразованна? Зачем мне ее образование? Об ученых предметах я могу говорить с Черняковым и с его сестрой, которая, впрочем, по существу ненамного образованнее Кати, только что знает языки и читает газеты... Как она меня завтра примет, фрау гехеймрат[2] фон Дюммлер?.. Фрау фон Дюммлер — фрау фон Штейне...' «Штейне» вместо «Штейн» это поэтическая вольность, и в ней почему-то тоже слышится какая-то уютная глупость... А моя поездка в Америку — да неужели я в самом деле поеду в Америку?» — думал, засыпая, Николай Сергеевич.

VI

В шесть часов утра его разбудил слышавшийся отовсюду кашель. «Энглишер Гоф» вставал. Коридорный настойчиво стучал в двери и почтительно в одном тоне что-то пел, всем одно и то же. Из номеров высовывались взлохмаченные люди в ночных рубашках, стыдливо оглядывались по сторонам и отскакивали, схватив вычищенные башмаки. Окно очень темной маленькой комнаты Мамонтова почти упиралось в глухую стену; нельзя было даже разобрать, какая погода.

---

[1] Этой чести я не стою! —
Так сказала фрау фон Штейне, титулованная дама.—
Мое счастье беспредельно,
Большего желать не смею.
Оба сына, что женились,
Гордость рыцарства всего,
И три дочки вышли замуж,
Обрели мужей знатнейших.
С самой младшею моею
Обвенчался граф светлейший.
Все двенадцать, что венчались,
Здесь на свадьбе повстречались...

(Перевод с немецкого *Э. Гуревич.*)

[2] Госпожа тайная советница (*нем. Geheimrat* — тайный советник).

Через полчаса он вышел на улицу и ахнул: так прекрасна была набережная с маленькими садами и домиками, прижавшимися к подножью гор. Пахло мокрой травой, Все было залито белым, чуть золотистым светом. Николай Сергеевич почувствовал прилив бодрости и энергии, какого не знал с Петербурга. Ему показались нелепыми его мысли о будто бы неправильно и неудачно сложившейся жизни. «Да, конечно, я был прав, что решил ехать с ними. Влюблен? Старый дурак! — подумал Мамонтов, бессознательно подражая каким-то разочарованным людям, которых и не встречал в жизни; он не считал себя ни дураком, ни старым.— «Влюблен до безумия», как пишут в романах. Я в жизни был по-настоящему влюблен четыре раза, это пятый, и, разумеется, в тридцать лет нельзя быть *так* влюбленным, как в восемнадцать... Нет, я никогда не думал, что влюблен в Ивонн!» Он был так весел, что даже не поморщился при воспоминании о последнем разговоре с натурщицей.

Из гостиниц и пансионов медленно выходили, тяжело опираясь на палки или на зонтики, кашлявшие люди с изможденными лицами. Несмотря на прекрасное солнечное утро, многие из них были в пальто и в шарфах. Почему-то с Эмсом у Николая Сергеевича не связывалось представление о тяжелобольном человечестве. «Да, прелестный, хоть смешной городок!» — думал он, улыбаясь.

Той же безобидной, уютной глупостью, как ему казалось, веяло от всего: от того, что гостиница называлась «Gasthaus der Witwe Jost», от того, что на вывеске лечебного заведения огромными буквами значилось «Einspritzungen und Klystiere» [1], от того, что уродливая, пожилая, толстая дама ехала верхом на ослике, победоносно улыбаясь немцу, шедшему за ней по тротуару с градуированным стаканчиком.

Из боковой улицы на набережную выехала барышня в амазонке на прекрасной гнедой лошади. Она с вызывающим любопытством оглядела Мамонтова, затем стегнула лошадь хлыстом и поскакала к мосту. «Уж не это ли дочь Муравьева? — спросил себя Николай Сергеевич.— В самом деле, хорошенькая, и похожа на русскую. Зачем она все же несется как сумасшедшая? На таком галопе и задавить больного нетрудно. А отлично, кажется, ездит...»

Мамонтов спросил дорогу у полицейского, который в этом городке не имел внушительного грозного вида; он и говорил как обыкновенный человек и даже улыбнулся,

[1] «Вливания и клистиры» *(нем.)*.

узнав, что прохожий направляется в цирк. В конце набережной больные исчезли. Город перешел в деревушку. За ней открывалась роща, издали слышался радостный гул.

На отведенной цирку большой, залитой холодноватым светом поляне за рощей стоял смешанный запах мокрого сена, конюшни и зверей. За ночь в средине поляны подняли и закрепили на канатах, цепях, блоках огромный шатер цирка; на нем развевались германский и американский флаги; вход был задрапирован пологом, спешно сшитым из синих, золотых и красных кусков полотна (это были цвета города Эмса). С раннего утра составлялся забор из больших деревянных щитов, на которых были намалеваны ярко-красная толстая женщина с волочившейся по полу косой, танцующие многоцветные карлики, раззолоченно-фиолетовая девица, мчащаяся под острым углом к арене на широкоспинном белом коне и на лету прыжком пробивающая бумажный обруч, полуголый атлет с громадными буграми мускулов, элегантный господин в синем фраке, вынимающий из цилиндра птицу, яростно выпучившую глаза и распустившую крылья. За шатром цирка стояли другие шатры, поменьше. Из-за отдернутых пологов виднелись то раскормленные, белые, лениво жующие овес лошади, то длинные столы и табуреты кухмистерской, то расставленные правильными рядами черные сундуки костюмерной. С железнодорожных платформ были ночью сняты, перевезены на лошадях и поставлены за шатрами красные нумерованные фургоны с высокими козлами, с бронзовыми фигурками, с талисманами. В них и около них устраивались или отдыхали артисты. Везде из фургонов уже были вынесены скамейки, табуреты, складные кресла и протянуты веревки, на которых сушилось белье. На мокрой траве валялось битое стекло, кульки, окурки, обрывки газет. К облепленным грязью колесам фургонов были привязаны собаки разных пород и размеров. Огромная, с мохнатыми книзу ногами лошадь, очевидно отставная той же широкоспинной цирковой породы, медленно везла бочку, однообразно мотая головой сверху вниз, точно обсуждая что-то важное. Поводырь лениво вел слона, еле сгибавшего на ходу ноги. Около них бежали дети. Детей всех возрастов на поляне было множество, их восторженный визг выделялся в общем гуле,— такой гул первобытной радости бывает только в цирке, да еще в воде морских курортов во время купанья. Особенно много детей было по другую сторону шатров, где стояли фургоны-клетки хищных зверей. У многочисленных ларей люди

в белых фартуках и колпаках торговали мороженым в вафельных трубочках и мутновато-желтой жидкостью из стеклянных чанов. Вокруг будки с кассой деловито устраивались нищие цирка.

— Николай Сергеевич, пожалуйте! — радостно окликнул Мамонтова Рыжков. Он сидел у своего фургона на скамеечке с фуфайкой и иголкой в руке. После тройного сальто-мортале положение Карло в высшей аристократии цирка стало совершенно бесспорным, и семье теперь везде полагался отдельный фургон. Против Алексея Ивановича сидел на табурете карлик и что-то деловито починял, болтая в воздухе ножками. Рядом в парусиновом кресле дремал голый человек в трусиках и темных очках, с чудовищными мускулами, едва ли не тот самый, который был изображен на стене цирка. На него восторженно глядели два подростка с вафельными конусами. Кати и Карло не было. Дверь фургона была открыта, и Николай Сергеевич, здороваясь с Рыжковым, невольно в нее заглянул. Его волновало, как расположены койки и перегородки в фургоне. По-видимому фургон был пуст.

— Здравствуйте. Где же ваши?

— Карло репетирует, у нас вечером номер. А Катя ездит на слоне,— ответил Алексей Иванович.— Как изволили почивать?

— Отлично. Как ездит на слоне? Ведь мы должны завтракать?

— Да она сейчас придет. Слон оказался, изволите ли видеть, земляк: в России был когда-то. Дурочка этакая!

— Можно взглянуть на ваш фургон? Мне интересно, как тут живут артисты.

— Сделайте милость, только, извините, у нас еще не убрано.

Николай Сергеевич поднялся по крутой лесенке. Фургон был разделен пологом на две части. В первой из них стояли две койки. «Карло и Рыжков или Карло и Катя?» — тревожно спросил себя Мамонтов. Он отодвинул полог. Там была одна койка, и было ясно, что тут живет женщина. Николай Сергеевич узнал и коробку, стоявшую перед зеркалом: это была та бонбоньерка, которую он в Петербурге поднес Кате. Его охватило радостное умиление. Как ни первобытна была обстановка фургона, Николаю Сергеевичу, очень любившему комфорт и чистоту, страстно захотелось хоть немного пожить и этой жизнью, ее жизнью.

Он спустился по лесенке. Со стороны рощи послышался радостный визг: Катя издали его увидела. Она ехала на слоне, очень удобно усевшись на его голове во впадине; слон вытянул вперед хобот, и Катя расположила на нем ноги. В руках у нее были синие очки. Она соскочила и хотела было броситься в объятия Николаю Сергеевичу, но не бросилась: накануне Карло сказал ей, что за поцелуи на улице в Германии сажают в тюрьму, и Катя этому поверила, как верила всему, что ей говорили мужчины: только с ужасом вытаращила глаза. Она гладила слона по его одноцветной морщинистой коже, похожей на плохо пригнанное покрывало, целовала его в странно-нежный раздвоенный кончик хобота и одновременно без умолку говорила.

— ...Идем кофе пить!.. Ах, как я вас люблю! Или нет, лучше не кофе, а шоколад! Я страшно люблю шоколад, со сдобными булочками и с маслом. Какое чудное место. Гадкий, почему вы так опоздали? Я умираю от голода!

— К тридцати годам ты растолстеешь так, что тобой разве из царь-пушки можно будет стрелять,— сокрушенно сказал Рыжков.

— Вот вы царь-пушку для меня и купите, Алешенька. К тридцати годам я давно умру, не хочу быть старухой! Или нет, в тридцать лет я стану укротительницей зверей! Постойте, я вас познакомлю с Джумбо! Его наверное зовут Джумбо, все слоны Джумбо. Это мой лучший друг! И он русский, вы знаете? Ей-Богу, русский, он долго был в России. Чудный слон, ему сто лет, он помнит Ивана Грозного!.. Отчего вы смеетесь? Я глупость сказала? Это со мной случается, я страшно необразованная. А об Иване Грозном я сама читала, что он любил слонов. Где это я читала? Постойте, я вот только освежусь, и пойдем пить шоколад.

— Без Карло?

— Карло еще будет репетировать добрый час, и он по утрам пьет два стакана горячей воды,— как будто с уважением, но и с отвращением в голосе сказала Катя. Она взбежала по лесенке в фургон. Слон неторопливо пошел дальше. Он здесь, очевидно, был таким же безобидным членом общежития, как бежавшая рядом собачка. Ни карлик, ни атлет даже не взглянули на него, когда он прошел в двух шагах от них, и только восторг подростков раздвоился между слоном и атлетом.

— Мне страшно нравится, как вы живете,— сказал совершенно искренне Алексею Ивановичу Мамонтов.— Вот увидите, я присоединюсь к вам!

— Мы хорошо живем,— убежденно сказал Рыжков.— Но куда же вам к нам? Соскучитесь.

— В цирке соскучусь?

— Да, это публике только так кажется, будто мы такие веселые люди. Пришел раз к одному знаменитому доктору человек, жалуется на черную меланхолию. Ну, осмотрел его доктор и говорит: «Да вы, господин, здоровы как бык. А ежели у вас меланхолия, то вы пойдите в цирк, развлекитесь, там теперь гастролирует сам Гримальди, первый клоун в мире». А он отвечает: «Да ведь я-то, господин доктор, он самый Гримальди и есть»,— сказал с удовольствием Алексей Иванович, видимо, любивший эту историю.

Катя что-то с хохотом кричала им из фургона. Мамонтов заглянул в растворенное окно. Она быстро расчесывала волосы, опуская гребешок в ведро.

— Извините, Катенька, я думал, вы меня звали.

Катя выскочила из фургона, не пользуясь лесенкой, на ходу подняла и поцеловала собачонку, которая лизнула ее в губы.

— ...Назло Алешеньке я сегодня выпью не одну, а две чашки шоколада. Да!.. Правда, Николай Сергеевич, вы и за две заплатите. А то у меня в кармане один ихний гривенник, да и то не серебряный. И не две чашки, Алешенька, а три! «Ри», как говорит Карло.

Она опять залилась смехом. Николай Сергеевич видел, что американский атлет снял темные очки и смотрел, любуясь, на Катю. Впрочем, ни он, ни карлик, ни женщина, развешивавшая белье на веревке соседнего фургона, не старались вмешиваться в разговор. Мамонтова удивляла сдержанность цирковых артистов, то что французы называют непереводимым словом discretion. Радостный гул и веселье на поляне создавала публика, артисты были серьезны и молчаливы.

Николай Сергеевич повел рощей Катю и Рыжкова. Он по дороге в цирк заметил у Кургауза кофейню с открытой террасой. Они шли быстро, Катя то опиралась на его руку, то убегала вперед, то с хохотом надевала синие очки и спрашивала, очень ли они ей к лицу, то срывала веточку венгерской сирени,— на ее счастье сторожей в роще не было: начальству просто не приходило в голову, что кто-либо может позволять себе столь дикие, караемые законом поступки.

— ...Ах, как хорошо!.. Ах, какая дивная роща! Собственно, это даже не роща, а сад. Но у нас в России рощи

еще лучше! Вы Волгу знаете? Правда, нигде в мире нет такой реки?.. Голубчик, я *так* рада, что вы приехали к нам! А вы рады? Правда, ей-Богу? Ну, спасибо, чудно! Ей-Богу, я предчувствовала, что вы приедете! Я и Алешеньке говорила, правда, Алешенька?.. Ужасно смешные немцы и по-русски ни слова не понимают! — говорила Катя. На набережной опять показались гуляющие с градуированными стаканчиками, тяжело опирающиеся на палки, кашляющие люди, и переход к ним от радостного веселья цирка, от его артистов, в громадном большинстве молодых, здоровых, сильных людей, был разителен.

Когда они проходили мимо курзала, из боковой двери вышел крупный, грузный некурортного вида человек в необычном здесь темном сюртуке. Он быстро окинул их взглядом и вдруг, раздвинув локти, так неожиданно и так уверенно надвинулся на них, что почти прижал их к стене. Прежде чем Мамонтов успел выругаться, грузный человек грозно прошептал: «Der Russische Keiser!» [1] и поспешно повернулся к двери. На пороге появился Александр II, в белом костюме, со стаканчиком в правой руке. За ним следовал другой грузный человек. Катя взглянула на высокого господина — и обмерла. Остолбенел и Алексей Иванович. Царь окинул Катю очень ласковым взглядом и, приподняв левой рукой шляпу, кивнул головой. Рыжков низко поклонился, Мамонтов тоже автоматическим движением снял свою шапочку, за что позже себя бранил. Снимали шляпы и другие прохожие, даже те, что шли на противоположной стороне улицы. Отойдя на несколько шагов, император оглянулся, опять ласково улыбнулся Кате, смотревшей ему вслед выпученными глазами, отпил воды из стаканчика и пошел дальше своей бодрой военной походкой, беспрестанно отвечая на поклоны сторонившихся перед ним или сходивших на мостовую прохожих.

— Ведь это наш государь?! — прошептала, придя в себя, Катя. Она совершенно не знала, что государь находится в Эмсе, что он вообще может быть за границей и особенно что он может гулять в штатском костюме.

— Вот так штука! — изумленно проговорил и Алексей Иванович.— Как же вы нам не сказали, что государь тут?

— Совершенно забыл.

— Ах, какой красавец! Ах, какой чудный! И глаза какие! Голубые-голубые и блестят! — восторженно говорила Катя, все еще жадно глядя вслед Александру II.— Ей-Богу, он на меня посмотрел! Вы видели? Ей-Богу!

---

[1] «Русский царь!» *(нем.)*

— Катенька, он ни на одну женщину не может смотреть равнодушно. Это всем известно.

— Как вы смеете так говорить о государе? Вам не грех? — возмущенно спросила Катя, впрочем не видевшая большого греха в том, что сказал Николай Сергеевич. Тут же выяснились ее политические взгляды: Катя обожала царя, но находила, что всех министров нужно повесить, так как из-за них очень плохо живется бедным людям. Алексей Иванович прикрикнул на нее и объявил, что царь прекраснейший человек, а министры как министры; есть, верно, хорошие и есть плохие.

В кофейне лакей, привыкший к диетическим заказам кашлявших и задыхавшихся людей, с приятным удивлением смотрел на то, как Катя уписывала булочки с маслом, с ветчиной, с медом. Он и прислуживал за этим столом охотнее, чем за другим. Ему было не совсем ясно, *дама* ли Катя. Что-то не *дамское* было и в ее платье, и в манерах.

Черняков, до прихода русских газет старательно восхищавшийся природой на Unter-Allee, увидел их и радостно к ним подошел с книгой в руке. За их столиком не было свободного стула. Михаил Яковлевич с несвойственной ему легкостью, происходившей от белого костюма и белых туфель, скользнул к другому столику и, галантно приподняв шляпу, получил от сидевшей за ним семьи разрешение взять стул. Он, так же скользя, вернулся, держа стул высоко над головой и не вполне естественно улыбаясь. Катя смотрела на него с сочувственным любопытством. Николай Сергеевич, несмотря на свою дружбу с Черняковым, опять почувствовал безотчетное раздражение.

— Вы воды не пьете? — спросил Катю с улыбкой Михаил Яковлевич. Она не поняла вопроса. Узнав, что здесь все пьют натощак два-три стакана очень противной, пахнущей тухлым яйцом воды, Катя вытаращила глаза.

— Разве есть такой приказ?.. Нет, не смейтесь! Ну, я сказала глупость! И вы тоже пьете?

— Я нет, я здоров, тьфу-тьфу,— сказал Черняков и прикоснулся к столу, хотя нисколько не был суеверен.— Но все больные пьют и вы не можете себе представить, с какой олимпийской серьезностью: одни с молоком, другие без молока, третьи утром с молоком, а днем без молока! Кто Кренхен, кто Кессельбруннен, кто сначала Кренхен, а потом Кессельбруннен.

— Неужели и государь это пьет? Я видела у него стаканчик!

— Государь пьет Кренхен раз в день, по утрам. А гер-

манский император не пьет. Он сейчас тоже здесь, вы его не видели? Прямой важный старик, никому не отвечает на поклоны, не то что наш государь, который чуть ли не первый кланяется. Днем государь у княжны Долгорукой и вечером тоже.

Катя, слышавшая о княжне Долгорукой, с жадным любопытством расспрашивала о ней Чернякова: какая она? действительно ли так красива? вся ли в бриллиантах? Михаил Яковлевич сообщил о романе царя приличные юмористические подробности (в Эмсе передавали и не совсем приличные).

— Сам я ни разу ее не видел. Она не показывается ни на водах, ни на музыке, ни в саду. Иногда, по вечерам, ездит с государем кататься, но всегда за город, к Рейну.

— Что же вы-то здесь делаете, если разрешите узнать? — солидно спросил Алексей Иванович.— Вы здесь давно?

— Целую вечность: больше недели.

Черняков благодушно-юмористически описал жизнь в Эмсе. Он хорошо рассказывал,— гораздо лучше, чем писал. Ему очень понравилась Катя, но он все-таки не мог привыкнуть к мысли, что разговаривает с настоящей акробаткой; улыбка на его лице была напряженно-галантной.

— А где же твои? Еще спят? — спросил Николай Сергеевич.

— Что ты? Кто же в Эмсе спит в восьмом часу утра? Сие запрещено полицией, polizeilich verboten. Они пьют Кессельбруннен, в Верхнем курзале... Надеюсь, ты не забыл, что ты у нас сегодня обедаешь? Обед ровно в семь тридцать. А то, может, и утром зайдешь? — спросил он и немного смутился, подумав, что собственно законы не запрещали бывать в их доме и друзьям Мамонтова. «Божия запрещения, конечно, нет, но Юрий Павлович умер бы от разрыва сердца, если б на его пороге появились акробаты. Да и Соня была бы, пожалуй, недовольна. Все-таки, может не следовало звать его при Катилине...»

— Нет, я не забыл,— кратко ответил Николай Сергеевич. Катя на него взглянула. Черняков поднялся, сообщив, что должен зайти за русскими газетами: они уже наверное пришли.

— Неужто тут есть русские газеты? — радостно спросил Рыжков.— Голубчик, позвольте мне пойти с вами? Я ни слова по-ихнему не знаю.

— Очень рад.

— Покажи ему курзал,— сказал Мамонтов.— Постой, это у тебя «Русский вестник»? Майский? Давай его сей-

час сюда! Там должно быть продолжение «Анны Карениной»!

— Представь, почему-то в этой книжке нет ее продолжения! Я сам очень жалел. Зато есть интереснейшая статья Соловьева о судебной реформе в Царстве Польском...

— Это сам читай,— сказал Николай Сергеевич.

— Вы у его жены нынче обедаете? — спросила Катя, немного насторожившись.

— Нет, у его сестры. Он не женат. Он здесь с сестрой и с ее мужем.

— Она молодая?

— Молодая и очень красивая,— ответил Мамонтов. Они помолчали.— Завтракаю я, конечно, с вами. Хотите здесь, на свежем воздухе?

— А здесь не очень дорого? Мы и то вас разоряем. Но мы сейчас без копейки.

— Нет, не разоряете... Почему же у вас и теперь нет денег? Ведь после тройного сальто-мортале, вы говорите, Карло стал знаменитостью?

— Не я говорю, а это все говорят! — обиженно сказала Катя.— Телеграммы были во всех газетах, даже в Америку телеграфировали! И везде нам теперь большой почет. Почему нет денег? У нас никогда нет денег,— пояснила она, точно сообщая закон природы, вполне все объясняющий.— Ну, мы немного приоделись после тройного: Карло нас заставил взять из общей кассы, деньги, говорит, не мои, а нашей семьи. А какая это общая касса? Мне грош цена, Алешенька уже стар, деньги платят Карло. Конечно, мы долги заплатили, все до копейки, мы страшно честные,— сказала Катя, слизывая с ложечки остатки меда.— Вот ничего денег и не осталось. Да это неважно: Карло теперь знает весь мир! Ах, если б вы видели, что это было в Варшаве! Это был не успех, а Бог знает что такое! Вы понимаете, что значит тройное? Это значит, прыгнуть надо так, чтобы перевернуться в воздухе три раза! Между тем, даже если два раза, то и то это страшно опасно. Я Христом Богом умоляла Карло, чтобы он тройного не делал. Да ведь вы знаете, что он за человек! Вбил себе в голову тройное и кончено. Ему для славы нужно! — «Нет, говорит, не все разбивались. Этот, говорит, не разбился, и тот не разбился». А что другие десять разбились насмерть, это ничего!

— Вы очень волновались?

— Безумно! Просто и вспомнить страшно! Я сидела в уборной и молилась: «Господи, спаси!.. Господи, помоги!» Вдруг стало тихо: знаете, как когда объявляют публике?

Ну, понятно, публику часто обманывают, вот и перед моим выстрелом Карло тоже просит «господ зрителей соблюдать полную тишину». Но здесь-то ведь я знала, что дело вправду идет о жизни!.. Сижу, трясусь (лицо у нее побледнело). Вдруг слышу: рев! Что это было, сказать не могу! Я выбежала на арену и бросилась ему на шею. А он ничего! Только голова немного кружилась. Журналисты побежали на телеграф, ей-Богу, правда! Потом нам газеты показывали: английские, финляндские. С его *биографией,*— старательно выговорила Катя.— Я умоляла, чтобы он перевел. Да он не перевел. А сам мне сказал, что для этого дня жил. Такой он человек!

— Какой же он человек?

— Хороший! Чудный! Прелесть какой!

— Вы любите его?

— Страшно люблю! А то как же? У меня кроме него и Алешеньки никого нет. Вот еще вы,— сказала она и потянулась, чтобы его поцеловать, но вспомнила о тюрьме и не поцеловала.— Они меня и воспитали. Я вам ведь рассказывала, что я, можно сказать, в цирке родилась. Нет? Мой отец был жонглер и первый человек на всей Волге. Он меня отдал в Мариинское училище. И не в трехклассное, а в шестиклассное! — с гордостью сказала Катя.— Я пять классов кончила, ей-Богу не вру! Была в пятом классе, когда папаша скоропостижно умер, царство ему небесное! Ну, как у нас водится, похоронить было не на что, хоть он чудно зарабатывал, больше всех. Ну, Алешенька, спасибо ему, стал собирать деньги на сироту (у нее на глазах показались слезы и тотчас исчезли, как будто испарились). Так можете себе представить, артисты собрали денег и на похороны, и на мое ученье! Ах, какие у нас в цирке чудные люди! Я еще шесть месяцев училась. Потом, понятное дело, собирать стало труднее, стали там разное говорить: пусть, мол, работает, уже не маленькая. Да и правду говорили. Вот позвал меня Алешенька, погладил по голове и спрашивает: «Хочешь, Катенька, учиться у меня делу?» Я страшно обрадовалась, хоть и жалко было бросать училище, но правду сказать, мне все эти алгебры осточертели. И, верно, цирк у меня в крови. И как видите, с тех пор без алгебры живем, и чудно живем. Теперь Америку увидим... Вы нашего директора Андерсона видели? Красивый старик, правда?

— Какой же он старик?

— Да ему сорок лет! И он американец, ей-Богу! Но очень хороший человек, хотя не русский. Вы знаете, он порусски немного говорит. Только его какие-то шутники на-

учили нехорошим словам, дураки такие! И вообще в цирке всегда хорошие люди. Только наездница Кастелли язва, думает, что она красавица, и важничает.

— Это та, что на белой лошади?

Катя засмеялась его невежеству.

— У наездниц обыкновенно белые лошади. Чтобы не видна была канифоль... А вы где же ее видели? — подозрительно спросила она.

— Да ведь она намалевана на стене, там, где лотки.

— Да. Это *наши* лотки. И вы знаете, они платят нам, то есть Андерсону, аренды миллион рублей в год... Нет, что я вру! Тысячу. Тысячу талеров,— поправилась Катя, для которой, впрочем, и миллион, и тысяча были одинаково невообразимыми числами.— И нищие у нас тоже свои: всегда переезжают с цирком, но они нам ничего не платят.

— Что же вы будете показывать в Америке? Тройное сальто-мортале?

— Это главное, конечно, но не только это. На тройном сальто-мортале нам с Алешенькой ведь нечего делать. Алешенька, тот хоть на подкидную доску прыгает, а мне и показаться нельзя. Нет, мы уже *составили номер*,— серьезно и многозначительно сказала Катя. Николай Сергеевич по ее выражению понял, что это очень важная вещь: составить номер. «Не может быть, чтобы она притворялась насчет Карло. А что, если прямо ее спросить? — Грубо и глупо, но, право, я спрошу»,— подумал Мамонтов и сказал совершенно другое:

— Должно быть, это особая порода людей: люди тройного сальто-мортале. Верно, и Бисмарк такой же.

— Какой Бисмарк? Бисмарк с тремя волосинками? Разве он прыгает?.. Опять я вру!

— Да, Бисмарк с тремя волосинками,— повторил Николай Сергеевич. Ему было досадно, что она не очень оценила его замечание, как ему казалось тонкое. Вдруг на аллее, в нескольких шагах от себя, он увидел Софью Яковлевну. Она шла с мужем и с какой-то дамой.— «Подойти? Не могу же я бросить Катю!» Николай Сергеевич нерешительно привстал и поклонился, почему-то чувствуя себя смущенным. Софья Яковлевна ласково улыбнулась и кивнула, бегло оглянув Катю. Дюммлер его не заметил.

— Кто эта черная? — спросила Катя. В голосе ее вдруг послышалась недоброжелательность.— Какая красивая!

— Да это и есть сестра Чернякова, с которым я вас познакомил. Ее фамилия Дюммлер. А Черняков мой товарищ по гимназии и университету. Он вам понравился?

— Ничего... Только какой же он вам товарищ?
— Почему же нет? Что вы хотите сказать?
— Нет, я так.

VII

Софья Яковлевна тоже нашла перемену в Мамонтове.

— Вы *возмужали*, дорогой мой,— говорила она, вставляя в вазу принесенные им цветы.— Надеюсь, это слово вас не задевает? Вы не в том возрасте, когда оно может обрадовать, и не в том, когда оно может обидеть. Брат сказал мне, что вы стали «величественнее», и в этом есть маленькая доля правды. Успехи сделали вас самоувереннее, это сказывается даже в вашей наружности. И слава Богу: так и надо.

— Какие же мои успехи?

— Я знаю вашу скромность.

— Она знает твою скромность, Люцифер! — сказал Черняков, бывший в самом лучшем настроении духа. В петербургской газете, которую он купил в это утро, была корреспонденция из Эмса. В числе видных русских, уже находившихся или ожидавшихся в Эмсе, был назван «профессор Я. М. Черняков». Как ни досадно было, что газета перепутала инициалы, заметка доставила Михаилу Яковлевичу большое удовольствие. Назван он был в списке на последнем месте, но это, очевидно, объяснялось алфавитным порядком фамилий. Михаил Яковлевич проверил: «Да, конечно, все по алфавиту». Только «Ю. П. Дюммлер с супругой» шел впереди «писателя Ф. М. Достоевского». «Порядок второй буквы не всегда соблюдается. Достоевский, кажется, еще не приехал. А не повезло мне с первой буквой»,— подумал Михаил Яковлевич.

— Нет, особенных успехов я что-то за собой не знаю,— повторил Мамонтов. За минуту до того он нисколько не собирался говорить о своих неудачах и стал отрицать свои успехи *нечаянно:* так вышло.

— Леонардо, ты продал «Стеньку», это во-первых...

— Продал потому, что в Париже в некоторых кругах появилась мода на все русское. Французы надеются, что Россия поможет им отвоевать Эльзас и Лотарингию, а для этого, разумеется, необходимо было купить мою картину: ничто ведь не может доставить больше радости государю, правда?

— А во-вторых, тебя засыпали золотом заказчики и особенно заказчицы. В-третьих, наконец, ты имел сказочный успех у парижанок. И тем большую честь тебе

делает то обстоятельство, что ты и после всего этого не забыл старых друзей. Ведь ты мне за полтора года написал целых два письма, шутка ли сказать! Впрочем, и тот Леонардо, говорят, после «Жоконды» еще подавал два пальца старым приятелям.

— Да что ты к нему пристал? — сказала брату Софья Яковлевна.— Это правда насчет заказов?

— Совершенный вздор. Я за умеренную плату написал три портрета среднего достоинства. Только и всего.

— Это уже несомненный успех. А как отнеслась к вам критика?

— Критика была больше устная. Рецензий было мало. Кое-кто хвалил, кое-кто ругал. А один молодой художник выругал мою картину непечатным словом.

— Кто и каким? — радостно спросил Черняков.

— Это было так. Наша прошлогодняя выставка помещалась недалеко от выставки импрессионистов на Boulevard des Capucines. Вы слышали об импрессионистах?

— Кажется, я что-то читала во французских газетах. Они так называются по названию картины одного из них: «Impressions de...». «Impressions de»[1] не знаю, что именно?

— Просто «Impressions». Они в прошлом году устроили в Париже свою первую выставку. Над ними все издевались и, по-моему, очень глупо: между ними есть одаренные люди. Но публика нарочно к ним валила свистеть и скандалить. Чтобы не остаться в долгу, они ходили к нам и хохотали самым непристойным образом. Один из них, вообще, впрочем, человек мрачный, Сезанн, проходя мимо моего «Стеньки», будто бы воскликнул: «Dieu, quelle saloperie!»[2] Быть может, он даже выразился еще сильнее, но мне добрые люди передали именно так,— сказал, улыбаясь, Мамонтов. «Зачем я им это рассказываю? Как глупо!» — подумал он и нахмурился, вспомнив, сколько горя причинило ему это происшествие. Именно на выставке импрессионистов Николаю Сергеевичу пришла мысль, что, быть может, ничего не стоит и его картина, и живопись всех его учителей. «Что если именно эти мальчишки правы, и мне надо всему учиться с азов?»

— И ты не заколол оного Сезама каким-нибудь флорентийским кинжалом шестнадцатого века?

— Я сделал другое: я решил купить его картину «La Maison du pendu»[3]. Как бы все над ним ни издевались, он человек очень талантливый. На их выставке любую карти-

---

[1] «Впечатления от...» *(франц.)*

[2] «Боже, какая гадость!» *(франц.)*

[3] «Дом повешенного» *(франц.)*.

ну можно было бы купить за десять — пятнадцать франков, но эта как раз уже была продана: я опоздал.

— Твой поступок прямо из первых времен христианства!.. Ты разочаровался в живописи и сожжешь «Стеньку», как Гоголь сжег «Мертвые души»! Не делай этого, умоляю тебя!

— Я не разочаровался в живописи. Скорее она во мне разочаровалась,— сказал Мамонтов, обращаясь к Софье Яковлевне. «Точно он с *вызовом* это говорит: «влюблен, и ни живопись, ни ваше мнение теперь не имеют для меня значения!» — подумала она с удивившей ее досадой и улыбнулась.

— Меня очень радует, что ваш очевидный успех не вскружил вам головы и что вы остались таким же простым, милым и умным человеком, каким были... Ну, а как же Бакунин и Маркс?

— Никак. Маркса я так и не повидал. Зато с Бакуниным — не сердитесь — я на «ты»... Юрий Павлович не выгонит меня из дому?

— Вас даже не оставят без сладкого... Надеюсь, вы приехали в Эмс надолго?

— Нет, всего на несколько дней. Вы довольны Эмсом?

— В восторге.

— Ведь это теперь самое модное место. Съезд огромный. Кто здесь из русских?

— Могу дать тебе список. Сегодня его зачем-то напечатали петербургские газеты. Вот... Только верни, я еще не все в газете прочел.

— Кто из русских? Прежде всего, государь.

— Да, я знаю. Вы его, разумеется, часто видите?

— Да, как все, на водах. Он очень милостив к Юрию Павловичу и постоянно справляется об его здоровьи... Не то что некоторые.

— Ради Бога, извините! Но мне Михаил вчера сказал, что Юрий Павлович чувствует себя гораздо лучше и что вообще его болезнь не опасна.

— Это так. В Петербурге он в последнее время не вставал с постели, а в Эмсе теперь вот гуляет, как юноша. Здешние воды делают чудеса. Он и сейчас на музыке. Вы не очень голодны? Мы сядем за стол, как только вернется Юрий Павлович... Вы спрашивали о государе. Он здоров, весел и жизнерадостен. Отдыхает и наслаждается жизнью. Вы знаете, княжна Долгорукая тоже здесь. Государь проводит у нее целые дни, с ней и с Гого.

— Кто это Гого?

— Сын государя и княжны, Георгий, очаровательный

ребенок, писаный красавец, весь в отца. Он здесь на водах имеет бешеный успех. Когда он гуляет с няней, за ним так и бегут восторженные немки. На днях его встретил император Вильгельм. Немного поколебался, но подошел, потрепал Гого по щеке, сказал: «Der kleine ist wirklich bildschön»[1], добродетельно вздохнул и оглянулся по сторонам: не донесли бы его жене или нашей императрице... Я редко вижу княжну. Она живет очень уединенно. Государь обожает и ее, и сына: он своих законных детей никогда так не любил и не баловал. Каждый день привозит ей бриллианты, ему игрушки, все выписывается из Парижа. При Гого няня, славная женщина. И представьте, государь сам купил сумочку, наполнил золотом и подарил ей. Он с няней здоровается за руку! Этого мы с вами не сделали бы. Александр Николаевич самодержавнейший из всех монархов, но он по природе демократ!

— Не говорите мне таких вещей: у меня льются слезы умиления.

— Он ее и при посторонних, и наедине называет «княжна»,— продолжала с увлечением Софья Яковлевна. Брат смотрел на нее и дивился. «Откуда ей все это известно? Выходит так, будто она проводит с ними целые дни...» Михаил Яковлевич был в душе разочарован невниманием государя к Дюммлерам и понимал, что это для них тяжелый удар, как они ни притворяются, будто ничего лучшего нельзя было и ожидать.— А она называет государя «Саша». У меня в ее положении просто не повернулся бы язык сказать государю «Саша» и «ты»!

— Что ж, она старику изменяет?

Софья Яковлевна только на него посмотрела.

— Изменяет? Государю!.. Ну, не будем об этом говорить. Какие же ваши планы? Когда вы возвращаетесь в Петербург?

— Это зависит от многого... Прежде всего, от состояния моих дел.

— Да, кстати, я у тебя вчера забыл спросить. Что же твой процесс?

— Оказалось, что у меня не один процесс, а два. Первый, небольшой, кончился миром: мой адвокат заключил соглашение с противной стороной, она заплатила мне сорок тысяч. Но второй процесс выходит сложный, путаный и, по-видимому, очень затяжной. Другая сторона не идет на соглашение, хотя я предлагал ей выгодные условия.

— Леонардо, сорок тысяч тоже большие деньги.

---

[1] «Малыш действительно необыкновенно красив» *(нем.)*.

— Не очень большие,— сказал с досадой Николай Сергеевич. Он вернул долг купцу-процентщику; заплатил четыре тысячи адвокату, немало истратил в Париже, и денег у него оставалось не так много.

— Какая же связь между вашим процессом и возвращением в Петербург?

— Прямой связи нет,— сказал Мамонтов, чувствуя, что говорит неправду: его планы зависели теперь только от Кати.— Мне хотелось бы сначала выяснить состояние моих дел.

Из передней послышался недовольный голос Дюммлера. Юрий Павлович вошел усталой походкой, тяжело опираясь на трость с массивным золотым набалдашником, изображавшим голову птицы. Эта купленная в Берлине трость обладала способностью раздражать Софью Яковлевну. Он снисходительно поздоровался с Мамонтовым. «Должно быть, так с ним здоровается государь»,— подумал тотчас раздражившийся Николай Сергеевич.

Дюммлер опустился в кресло, вытирая платком лоб и голову. В первый раз в Эмсе он находился в дурном настроении духа: на музыке Юрий Павлович вдруг почувствовал странную боль, как будто не имевшую ничего общего с его катарами — или с тем, что катарами называли врачи. Боль прошла, но он не мог понять, что это такое значит. Вслед за отцом в гостиную вошел Коля, уже не в матросской куртке, но еще в коротких панталонах.

— Узнаете его? Помните, вы его видели полтора года назад с Патти?—спросила Софья Яковлевна, нежно поправляя волосы сына, который тотчас с досадой отклонился в сторону.

— Узнаю, конечно, но мог бы и не узнать: так он вырос.

— На вид мы, кажется, не такие старые, но нам больше двенадцати лет.

— Скоро будет тринадцать,— поправил Коля и тотчас исчез.

— Я ему заметил, что он слишком много бегает к этим... как их? — сказал Юрий Павлович и, не дожидаясь ответа, заговорил с Мамонтовым о Париже.— Если говорить правду, то Париж просто грязный город. Да и красота его ложная слава.

— Что ты, Юрий Павлович, стыдно! — возразил Черняков, отстаивавший самостоятельность своих суждений. Дюммлер, впрочем, никогда на его самостоятельность не посягал. Он признавал своего шурина очень способным и

подающим большие надежды ученым, все же хорошо выделяющимся на общем фоне радикальной интеллигенции. Их спор о Париже, который оба знали очень мало, был прерван горничной. Она широко раздвинула на шарнирах дверь из гостиной в столовую и очень отчетливо произнесла видимо на всю жизнь заученные слова.

— Das Essen ist angerichtet [1].

Николая Сергеевича, надеявшегося на хороший обед, ждало разочарование. На столе не было ни закусок, ни водки, подавались диетические блюда, а вместо вина — пиво, правда, превосходное. «Почему бы это такое падение?» — спросил себя Николай Сергеевич, слышавший, что дом Дюммлеров в Петербурге славился кухней. Его на обеды в этот дом никогда не приглашали, однако, не из-за невысокого социального положения, а потому, что Софья Яковлевна, зная его взгляды, опасалась неприятных разговоров с другими гостями. Тут, в Эмсе, ей было решительно все равно, как и о чем говорят. Говорили о возможности новой франко-германской войны.

— Теперь, благодаря вмешательству государя, опасность может считаться устраненной,— сказал Черняков.

Юрий Павлович пожал плечами. Он во внешней политике называл себя реалистом.

— Какое нам до этого дело? Германия нам нигде и ни в чем не конкурент. Союз с ней был, будет и должен быть краеугольным камнем нашей иностранной политики. Я боюсь, что неожиданная интервенция государя императора очень задела князя Бисмарка. Мне пишут, что он прямо сказал государю императору и князю Александру Михайловичу: «Je suis l'ami de mes amis et l'ennemi de mes ennemis» [2].

Дюммлер совершенно правильно и чисто говорил порусски, но когда он произносил французские фразы, в них немедленно сказывался немецкий акцент.

— Ну, нам незачем особенно считаться в нашей политике с тем, что приятно и что неприятно князю Бисмарку,— сказал Михаил Яковлевич.

— С германским канцлером приходится считаться всем, хотят ли они того или нет. Вся ориентация нашей внешней политики сейчас едва ли отвечает прочным, правильно понятым интерсам России и европейского концерта. Я не понимаю этой нашей сентиментальной любви к французам, от которых мы ничего не видели, кроме Севастополя, поддержки польских революционеров и так далее, что-

[1] Кушать подано *(нем.)*.
[2] «Я друг моих друзей и враг моих врагов» *(франц.)*.

бы не восходить к пожару Москвы. Теперь наше застарелое франкофильство еще стало у государя императора осложняться англофильством, в чем я вижу последствие брака великой княжны Марьи Александровны с герцогом Эдинбургским. Будущее покажет, чего нам ждать от Сент-Джемского кабинета,— сказал Дюммлер и замолчал, пожалев, что начал серьезный разговор с людьми, не имеющими никакого значения.

— Ну, уж с этим я никак не согласна. Герцог очень мил,— возразила Софья Яковлевна.— А твоего Бисмарка я просто терпеть не могу! Если бы я была художником, как вы, Николай Сергеевич, я изобразила бы его встречу с императором Александром: злое начало и доброе начало в мире. Бисмарк отнюдь не безобразен, но взгляните на его лицо: злой бульдог.

С дамами, кроме великих княгинь, Юрий Павлович вообще никогда не говорил о политике, как Ньютон никогда не говорил с дамами о науке. Услышав замечание жены о наружности Бисмарка, он улыбнулся и сказал:

— Странно, что выпавший ночью сильный дождь нимало не освежил воздуха. Но в общем климат Рейнской области и стоящие здесь погоды выше похвал.

— Вы довольны лечением? — спросил, подавляя зевок, Мамонтов.

— Да, доволен,— ответил Дюммлер. До появления новой боли, о которой еще не знали ни жена, ни врачи, он ответил бы гораздо восторженнее. Софья Яковлевна тотчас с удивлением на него взглянула.— И я всем советую пить именно Кессельбруннен. Он много теплее Кренхена, сорок шесть градусов, а не тридцать пять и содержит в три с половиной раза больше аммониевых солей.

— Меня забавляет немецкая обстоятельность,— сказал Черняков.— В заведении, где полощут горло, есть Rachengurgeln, Kehlkopfgurgeln, Rachennasengurgeln, Kehlkopfnasengurgeln[1] и еще с полдюжины разных гургельнов.

— Не понимаю, что тут может *забавлять,*— возразил Юрий Павлович.— От каждой болезни свое полосканье, что же тут забавного? Да эта обстоятельность и составляет силу Германии, являясь одним из серьезнейших факторов ее необычайных успехов во всех областях. Благодаря ей, хотя, разумеется, не только благодаря ей, Германия стала самым могущественным и самым благоустроенным государством в мире. В Германии нет места крайностям, утопиям. А мы, чем подражать этому, смеемся над этим.

[1] Полоскание носоглотки, орошение носоглотки, полоскание гортани, орошение гортани *(нем.)*.

И профессора, как ты, тоже смеются. Это, я прямо скажу, нехорошо, Миша.

Мамонтов вяло поддерживал разговор, скучал и досадовал, что принял приглашение на обед. «Можно было пообедать с Катей, пожалуй, даже вдвоем: Рыжков собирался ужинать дома. Но неудобно было отказываться от приглашения. Теперь скоро конец, и я еще попаду к Кате... После этого дрянного компота будет кофе, вопрос о том, подадут ли его здесь или в гостиной; если здесь, то через полчаса можно будет проститься, но если перейдут пить кофе в гостиную, то, значит, начинается второе действие пьесы... Кажется, она еще похорошела»,— думал Мамонтов, глядя на Софью Яковлевну. Его безошибочная память художника сохранила ее точно такой, какой она была полтора года тому назад. «Ей, должно быть, года тридцать два? Мальчику тринадцатый... Да, Михаил говорил, что он двумя годами ее моложе. Бальзаковский возраст... Есть ли у нее любовник? Неужели она верна этому тупому старому немцу? Не выставить ли свою кандидатуру? Конечно, она *красивее* Кати, но Катя в сто раз лучше. Эта — сюжет для скульпторов».

— О нет, я не отрицаю гения Бисмарка, однако ничего не надо преувеличивать,— почти механически сказал Николай Сергеевич, сам удивляясь тому, что его замечания выходят все же складно, хотя он думает совершенно о другом. Пьеса оказалась в двух действиях: Софья Яковлевна велела подать кофе в гостиную.

— Меня прошу извинить,— сказал, поднимаясь, Дюммлер.— Кофе мне запрещено, и доктор велит после обеда лежать не менее часа. Надеюсь, завтра увидеть вас на водах,— обратился он к Мамонтову, очевидно, не выражая желания, чтобы гость оставался очень долго. Хотя Николай Сергеевич только и мечтал о том, как бы уйти пораньше, нелюбезность хозяина его раздражила: все в этот вечер раздражало его у Дюммлеров. Юрий Павлович кивнул головой и вышел. В конце обеда он опять почувствовал боль в боку. Эта боль надолго связалась в его памяти с гостем, пришедшим в их дом в день ее появления. За отцом скрылся Коля. Горничная внесла зажженные канделябры, затем стала зажигать свечи в гостиной. Их задувал легкий ветерок из сада.

— Очень способный мальчик Коля,— сказал после минуты молчания Черняков.— Еще два года тому назад не было более шаловливого ребенка во всем Петербурге. Теперь он присмирел, но глубоко презирает всех нас.

— Да что ты выдумываешь, Миша!

— Не сердись, Соня, это так.

— Ну, а что же ты сам делаешь теперь? Над чем работаешь? — спросил Мамонтов.

— Немного работаю над курсом, который буду читать в предстоящем семестре. Читаю... Представь, на днях я от скуки съездил в Кобленц и за бесценок купил у букиниста отличнейшее издание Шеллинга. Знаешь, четырнадцатитомное издание его сына, в хорошем переплете. Ты понимаешь, что это такое для страстного шеллингианца, как я!

— Я знал, что ты библиофил, это в тебе самое подлинное, но я не знал, что ты страстный шеллингианец. Верно, для оригинальности, потому что все наши философы кантианцы или гегелианцы,— сказал Мамонтов, перенесший свое раздражение на Михаила Яковлевича. Тот поднял брови чуть не до верхушки лба.

— Какой вздор ты несешь!

— Все-таки ты не станешь говорить *мне*, что в твоей жизни Шеллинг или какой бы то ни было вообще философ играет какую бы то ни было роль,— сказал неприятным тоном Николай Сергеевич. Софья Яковлевна смотрела на них с улыбкой.

— К кофе я велю подать коньяк и ликеры, это, быть может, умиротворит страсти... Прошу вас извинить дурной обед,— смеясь обратилась она к Мамонтову.— У нас немецкая кухарка, этим все сказано. Кроме того, Юрию Павловичу все вкусное запрещено. При нем я не даю вина, чтобы не вводить его в соблазн, но...

— Софья Яковлевна, вы дома? Добрый вечер,— послышался через гостиную из сада чей-то очень звучный, приятно грассирующий мужской голос. Софья Яковлевна вдруг изменилась в лице, быстро поднялась и вышла в гостиную. Мамонтову показалось, будто она хотела было задвинуть дверь между обеими комнатами, но удержалась. Он вопросительно посмотрел на Чернякова, тот с недоумением пожал плечами.

— Кого это еще Бог принес? Мы никого, кажется, не ждали,— вполголоса сказал он.

— Меня княжна прислала... Здравствуйте, дорогая, позвольте через окно ручку поцеловать... Княжна у ваших ворот в коляске. Не хотите ли поехать с нами кататься? — говорил тот же грассирующий голос. В столовой неожиданно появился Дюммлер, на ходу застегивавший жилет. Он бросил страшный взгляд на Мамонтова и Чернякова, поспешно прошел в гостиную и исчез за дверью, сделав попытку задвинуть ее за собой. Тяжелая дверь не сдвинулась.

— Ваше величество, как я счастлива! — сказала Софья Яковлевна слегка срывающимся голосом.

— Это государь! — прошептал Черняков.

— Какой вечер, а? Я чудом нынче освободился: удрал от дяди Вильгельма. Он, что и говорить, мудрый император, но мне с ним смертельная скука,— говорил веселый голос.— Ах, какая была эти дни жара! Но теперь дивно! Луна какая, а? Едем, право? Мы к замку собираемся. Рейн так пышен при высокой полной луне! Княжна меня послала к вам на огонек:

Спит иль нет моя Людмила?
Помнит друга иль забыла?
Весела иль слезы льет?

— Помните, а? Нет, попались, вовсе это не из «Руслана и Людмилы»! Это моего покойного учителя Жуковского. Я наизусть выучил к его рождению и, представьте, не возненавидел его, и сейчас все помню:

Вот и месяц величавый
Встал над тихою дубравой:
То из облака блеснет,
То за облако зайдет;

С гор простерты длинны тени;
И лесов дремучих сени,
И зерцало зимних вод,
И небес далекий свод
В светлый сумрак облеченны...
Спят пригорки отдаленны,
Бор заснул, долина спит...
Чу!.. Полночный час звучит.

— Но до полночного часа еще далеко. Едем, дорогая, дайте ручку, я еще раз поцелую.

— Ваше величество, благоволите взойти к нам. Вы нас осчастливите,— взволнованно сказал в саду Дюммлер.— Мы...

— Ах, это вы, Юрий Павлович? — гораздо менее радостно сказал император.— Нет, какое взойти к вам! Это в другой раз. Меня ждут. Едем, Софья Яковлевна, а? Как жаль, что вы нездоровы, Юрий Павлович, да и коляска тесная,— не слишком церемонно добавил он. Видимо, царь совершенно не собирался звать Дюммлера, и это доставило чрезвычайную радость Николаю Сергеевичу. На пороге показался Коля.

— Это государь! Ах, какие у него лошади! — восторженно прошептал он. Черняков приложил ко рту палец и посмотрел на племянника так, как только что на него самого смотрел Дюммлер.

Николай Сергеевич, не прощаясь, вышел через кухню и обошел дом, направляясь к выходу. Сад был слабо освещен луной. Подстриженные деревья бросали черные тени. Остановившись у забора, Мамонтов увидел, как Дюммлер страшными знаками что-то показывал выходившей жене. Софья Яковлевна приятно улыбалась: прорыв в ее самоуверенности продолжался не более минуты. Царя, стоявшего у бокового окна по другую сторону виллы, Мамонтов не видел. Издали снова послышался тот же голос, только теперь еще более радостный:

Что, родная, муки ада?
Что небесная преграда?
С милым вместе — всюду рай;
С милым розно — райский край
Безотрадная обитель...[1]

«Все-таки жалко уходить, другого такого случая в жизни не будет»,— сказал себе Николай Сергеевич и, осторожно ступая по рыхлой земле, спугивая блестевших на луне лягушек, пошел вдоль забора к калитке. Его никто увидеть не мог. На улице у ворот стояла коляска с фонарями, запряженная парой английских лошадей, с бритым английским кучером. Высокая дама с улыбкой смотрела в сторону сада. В полосе света появились государь и Софья Яковлевна. Александр II остановился у коляски, мотая отрицательно головой: очевидно, он не хотел занять место на задней скамейке.

— Нет, нет, за границей я не государь, здесь я просто никто... Не хотите? Also nach Stolzenfels [2],— весело сказал он своим звучным, далеко слышным голосом.

VIII

Железная дорога была выстроена лишь недавно, и маленький живописный, с садиком при каждом доме, южный городок неожиданно превратился в важную станцию. Через нее был проведен телеграф, еще мало распространенный в России. Под вечер, к приходу двух главных поездов, на *вокзале* (это слово в его новом значении уже вошло в общее употребление) собиралась местная интеллигенция, среди которой главенствовали киевские и одесские студенты, жившие на кондициях у дачников и у местных помещиков. На вокзале стоял смешанный запах

---

[1] В. А. Жуковский. «Людмила» (неточная цитата).
[2] Итак, к Штольценфельцу *(нем.)*.

дыма и цветов. В окружавшем вокзал садике и по другую сторону железной дороги росли сирень, черемуха, акации, розы. Обмахиваясь платками и шляпами, отгоняя бесчисленных мух, люди торчали на вокзале до ужина. Места на трех скамейках перрона брались чуть не с бою и передавались по соглашению. В буфете, у длинного стола с огромным самоваром, с сеточками поверх тарелок и блюд, дачники спорили о том, сколько нажили концессионеры на постройке дороги и кто из должностных лиц какую взятку получил. С гордостью говорили, что городок как *узловой пункт* имеет важное *стратегическое* значение на случай войны с Австрией. Старожилы слушали рассказы о взятках с полным веры любопытством, а о стратегическом значении довольно недоверчиво: они не знали, что их городок — *пункт*, и сомневались, чтобы могла начаться какая-то война, да еще не с турками, а с Австрией: никогда такой войны не было, и вообще на этих местах со времен запорожцев никто не воевал.

В комнату для проезжающих, с новенькими твердыми скамейками и стульями, заглянули телеграфист и пожилой толстый дачник в чесучовом пиджаке, без воротничка и галстуха, обмахивавшийся выжженной соломенной шляпой и доедавший бутерброд с паюсной икрой и с зеленым луком. Об этих бутербродах местные остряки говорили, что буфетчик перед приходом главного поезда их «подлизывает для свежести». Тем не менее, ели их и остряки. Телеграфист с любопытством оглядел сидевшую у окна миниатюрную барышню и, очевидно разочарованный, сказал:

— Я ж тебе говорил, что она не придет! Конечно, надула, стерва.

— Придет. Куда ей деться? — равнодушно ответил тяжело дышавший дачник, и оба вышли.

Миниатюрная барышня улыбнулась.

— Забавные личности,— сказала она.

Сидевший рядом с ней молодой человек расхохотался, показав из-под усов ровные, крепкие, очень белые зубы. Наружность этого человека привлекла на вокзале общее внимание, когда он появился часа полтора тому назад. Он был высокого роста, держался необычайно прямо и как будто нарочно (в действительности же совершенно естественно) закидывал назад большую красивую голову с бородкой, с вьющимися волосами, с непослушным малороссийским чубом. Войдя в комнату для проезжающих, он положил на пол небольшой пыльный мешок, оглянул одиноко сидевшую миниатюрную барышню, вежливо поклонился и вышел в буфет. Люди, уже начинавшие собираться

на вокзале, невольно останавливали взгляд на его статной атлетической фигуре и думали: «Какой молодец! Кто бы это такой был?» Старый близорукий буфетчик издали сначала подумал, что это гвардейский офицер, уезжающий в штатском платье из имения за границу, но тотчас увидел, что ошибся: он знал всех местных помещиков, да и одет был молодой человек, как одевались студенты на кондициях, и носил не бакенбарды, а бороду. Он сказал что-то шутливо дачнику, лениво тыкавшему вилкой в тарелочку с селедкой, выпил стакан холодного пива с таким наслаждением, что смотреть было любо, и вернулся в комнату для проезжающих. Через полчаса молодой человек снова появился у буфета, заказал два стакана чаю со связкой бубликов и унес все без подноса так ловко, что не пролил ни капли. Он уже успел завязать знакомство с миниатюрной барышней.

Эта барышня, дожидавшаяся главного поезда с полудня, напротив, не вызвала на вокзале большого интереса. Она не была ни хороша, ни дурна собой. Хороши у нее были только нежный румянец и большие светло-голубые глаза. В ее подстриженных, зачесанных гладко назад волосах, в слегка нахмуренных бровях и плотно сжатых губах сказывалось что-то мужское. *Стриженые* уже не вызывали любопытства и в провинции,— к ним понемногу все привыкли. Одета барышня была бедно, и, несмотря на жару, все на ней было очень темное. Не обратившись к носильщику, она внесла в комнату для проезжающих большой, потертый чемодан со сложенным под ремнями пледом, хотела было положить его на стул, в изнеможении уронила тяжелый чемодан на пол, тотчас подогнула концы пледа так, чтобы они не касались пола, и опустилась на первый стул у окна. Позднее барышня пообедала на вокзале: заказала борщ и битки в сметане, самое дешевое из того, что было на карте, не спросила ни напитков, ни сладкого, съела все с аппетитом и нерешительно оставила на чай вдвое больше, чем полагалось,— буфетчик, презиравший стриженых и обращавшийся с ней грубовато, был приятно удивлен. После обеда барышня вернулась на прежнее место в пустую комнату для проезжающих. Эта пахнувшая краской, жарко нагретая солнцем комната, выходившая одним окном в садик, а другим на перрон, днем обычно пустовала. Буфетчик решил, что стриженая — фельдшерица или деревенская учительница.

— Нет, я с вами не согласен,— сказал молодой человек, продолжая давно начатый разговор.— И, если хотите, тот факт, что любая беседа в любом образованном русском

доме теперь неизбежно переходит на царя, сам по себе не лишен некоторой значительности. Он, во-первых, свидетельствует о том, что Александр не такое ничтожество, как большинство из них. Во-вторых же, он лишний раз показывает необходимость конституционного образа правления: ненормален ведь такой общественный строй, при котором все зависит от одного человека и все говорят об одном человеке. Отсюда непреложно вытекает и необходимость противоправительственной деятельности под лозунгом конституции. Резюмируя наш разговор, я скажу, что царь не злодей и даже, быть может, не злой человек, но...

— Я, кажется, и не говорила, что он «злодей»,— перебила его барышня.— Он просто ничтожная личность... И бабник,— брезгливо прибавила она. Ее собеседник взглянул на нее озадаченно, точно не зная, что на это ответить. «Может быть, он сам бабник»,— с огорчением подумала барышня. Были основания предполагать, что этот человек имеет большой успех у женщин.

— Его частная жизнь меня не интересует,— сказал он и засмеялся.— Знаете, говорят, я похож на него лицом! Мне это сказал смотритель Одесской тюрьмы, когда меня выпускал. Старичок все убеждал меня больше не участвовать в противоправительственном движении. «Кончайте,— говорил,— поскорее университет и займитесь адвокатурой. Любя вас, советую: будете деньги загребать».

Миниатюрная барышня улыбнулась и подумала, что, пожалуй, и то, и другое верно: маленькое сходство с царем у него есть, и в самом деле говорит он отлично.

Он полтора часа назад первый заговорил с ней; сказал, что едет из Городищенского сахарного завода, и назвал безобразием то, что так плохо подогнано расписание поездов: «Если б у этих господ была голова на плечах, то публике не приходилось бы ждать часами». Она сначала отвечала кратко и сухо, частью по застенчивости, частью потому, что терпеть не могла приставаний (мужчины, впрочем, приставали к ней редко). Но молодой человек был так любезен, так весел и, видимо, так хотел поговорить, что ее запаса сухости хватило ненадолго. Начался разговор, тотчас, по обычаю, перешедший на политические дела. Молодой человек очень ругал правительство. Хотя окна были отворены, он нисколько не понижал голоса, и его прекрасный, звучный, безукоризненной дикции баритон мог быть слышен и на перроне, и в саду, и в буфете. Впрочем, правительство ругали все, и в провинции полиция за этим следила без усердия. Молодой человек не

умолкал ни на минуту, речь у него лилась гладко и красиво, он не запинался даже на таких трудных словах, как «противоправительственный». «Никто так не говорит, все говорят «революционный»,— думала она, внимательно его слушая, еще внимательнее на него глядя. «Необыкновенное лицо: так и дышит умом! Хотя он не народник, он мог бы быть подходящим для нас человеком... И что-то есть в нем необыкновенно располагающее, хотя *это*, разумеется, никакого значения иметь не может»...

— Я, впрочем, признаю, что после освобождения крестьян, бывшего очень большим историческим делом, что бы там ни говорили наши доктринеры, Александр окружил себя, извините меня, всякой швалью,— продолжал молодой человек.— Но какой же, я вас спрашиваю, из сего следует для нас вывод? Опять-таки борьба за политическую свободу, за столь многими презираемый конституционный образ правления. Вот великая задача, поставленная историей перед нашим поколением. Каковы должны быть формы и методы борьбы? На это я пока не могу ответить. Это надлежит обсудить, не отводя от обсуждения образованных и честных людей, хотя бы и умеренного образа мыслей. У нас все не хотят понять, что борьба за освобождение России никак не может быть делом одной небольшой кучки народолюбцев, ибо в такой борьбе соотношение сил неизбежно сложилось бы для них в высшей степени неблагоприятно. Здесь нужны соединенные силы всей русской интеллигенции, поскольку народ пока безмолвствует. Поэтому, по крайнему моему разумению, отпугиванье людей либерального лагеря явилось бы глубокой, коренной и, быть может, непоправимой ошибкой. Зачем пугать их призраком социализма, еще нигде не осуществленного и у нас едва ли теперь осуществимого?

— Вы меня неправильно поняли. Меня не интересует политическая борьба, но никто и не собирается устраивать сейчас социализм. Сейчас самое нужное дело уплатить хотя бы в малой части наш страшный долг народу. Вы с этим не согласны?

— Поскольку речь касается меня лично, то мой долг народу маленький. Я из помещичьих дворовых,— сказал молодой человек. Лицо миниатюрной барышни вдруг стало испуганным и виноватым.— Мой родной дядя был до эмансипации лакеем, его на конюшне драли... Каким-то образом я попал в гимназию, затем стал студентом юридического факультета в Одессе, был исключен и угодил в тюрьму. Считаю позволительным заключение, что мой *долг* народу не так велик. Просто я очень люблю народ и к

нему принадлежу... А вот вы, конечно, дворянка? Я мгновенно узнаю дворян,— с усмешкой сказал он.

— Да, к сожалению, дворянка, но это вы *так* говорите,— обиженно ответила барышня.— Меня все принимают за крестьянку.

— Моя фамилия Желябов,— сказал он, вопросительно на нее глядя и, видимо, ожидая, что она назовет себя. Барышня пробормотала что-то невнятное. Он встал и заглянул в выходившее в садик окно.— Ах, как хорошо! Чудесные это места: предстепье. В лесах тут полно волков, везде лисицы, белки, водятся даже бобры!

— За что же вы сидели в тюрьме?

— В сущности, за ерунду. Ничего драматического в моей жизни не было... *Пока* не было... Я не Каракозов и не Нечаев, никого не убивал и убивать не собираюсь.

— Вы живете в Одессе?

— Сам не знаю, где я живу! Жил в Керчи, в Одессе, учил там русской грамоте еврейских девочек... Ужасно они смешные были, славные, но так смешно произносили русские слова. «Зима, крестьянин торжествуя...» — передразнил он кого-то.— Отчего бы это, кстати, крестьянину было «торжествовать»? Скажу вам правду, не люблю, не люблю Пушкина, хотя, разумеется, отдаю должное его гению. Вот Лермонтов совершенно другое дело. Лермонтова и Гоголя я боготворю... Да, так где же я, в самом деле, живу? В Киеве жил. Чудесный город, еще лучше Одессы! Ах, какие сады в Киеве! Царский над Днепром, Ботанический. Там я в Коммуне сапоги тачал со старичками, щирыми украинцами. Но мне скоро смешно показалось; право, немногим это важнее, чем стихи читать одесским швеечкам. Я и бросил. А они, громадяне, по сей день тачают сапоги и при этом спорят, как поскорее освободиться от кацапов... Ведь вы кацапка? Петербургская? Ну да, я сейчас узнаю. Я и в Великороссии живал: у графов Мусин-Пушкиных был на кондиции в Симбирской губернии. Хорошие люди, хотя по взглядам чуть не крепостники. Со старым графом, дядей моего ученика, я все время имел дискуссии. Он меня любил, но называл Сен-Жюстом и предсказывал, что я тоже окончу свои дни на эшафоте!

Оба засмеялись. Желябов отошел от окна и сел на чемодан барышни, но, увидев скользнувшее на ее лице неудовольствие, тотчас встал. Только теперь он заметил, что, несмотря на бедность ее платья, у нее все так и сверкало чистотой, вплоть до непостижимо белоснежных в дороге рукавчиков. «Это уж их, дворянское,— подумал он — А сама симпатичная, хотя и не красива...»

— Вы и на сахарном заводе были на кондиции?

— Нет, там я жил барином. Мой тесть, сахарозаводчик и помещик Яхненко, тоже ретроград и тоже хороший...

— Так вы женаты? — перебила она его, как будто с огорчением в голосе.— Извините, я вас перебила.

— Женат, но с женой не лажу. Уж очень мы разные люди: разные и по происхождению, и по взглядам, и по наклонностям. Я мужик и очень горжусь этим. Вероятно, мы рано или поздно разойдемся,— сказал он очень просто и спокойно. Она смотрела на него с сочувственным любопытством, удивляясь его откровенности, столь странной при первой и случайной встрече.— Я из своих маленьких дел мировой трагедии не делаю,— пояснил он, точно угадав ее мысль.— Ну, что ж, не вышло, ничего не поделаешь. Неприятно, разумеется, тем более, что есть сын. Но уж я поставил себе правилом: что бы там в моей личной жизни ни случилось, хоть какое угодно несчастье, огорчаться не более трех дней. По моим наблюдениям над собой и над другими, трех дней достаточно, чтобы изжить какое угодно личное горе. Дальше начинается неискренняя скорбь, а я терпеть не могу неискренности. Впрочем, может быть, у нас с женой еще жизнь наладится.

Миниатюрная барышня вдруг расхохоталась так весело, как не приходилось ждать от нее при ее строгой внешности. Он сначала смотрел на нее с недоумением, потом тоже засмеялся.

— Извините меня... На меня иногда находит... А вы очень *легкий* человек...

— Это хорошо или плохо?

— Разумеется, хорошо... Очень хорошо... По крайней мере, я очень это люблю в людях... Вы не сердитесь? Это я так... Куда же вы теперь едете?

— Да вы опять будете смеяться. Я еду в Одессу, а оттуда на Балканы, сражаться с турками.

Ее лицо мгновенно стало серьезным и строгим.

— Как? И вы? Да это просто поветрие. В Москве теперь вся молодежь хочет освобождать славян! Мы бы прежде себя освободили.

— Одно другому не мешает. Но тут дело не в рассуждениях. Когда я прочел в газетах о зверствах, совершаемых турками, я ни с кем не советовался и не спрашивал, поветрие ли это или нет, и даже, поверьте, не знаю, что это будто бы поветрие. Я сказал себе, что пойду добровольцем. И не в том вовсе дело, что они славяне. Достаточно того, что они люди, и что за них заступиться некому.

Он встал и прошелся по комнате, на ходу ловким, точным движением поправив криво висевшее, засиженное мухами зеркало. Миниатюрная барышня подумала, что ему, верно, неприятно все неровное, беспорядочное, бесхозяйственное и, что он, должно быть, вообще не может спокойно сидеть без дела. «А на себя в зеркало, кажется, и не взглянул, хотя мог бы собой полюбоваться: необыкновенно красивое и умное лицо!» — почему-то со вздохом подумала она. Из-за окна тяжело грохнул звонок. Барышня вздрогнула. Послышался радостный гул. На вокзале все пришло в движение.

— Это повестка моего поезда,— сказал он.— У нас на юге называют повесткой предварительный звонок. Кажется, у вас этого слова нет? Мне сейчас ехать.

В комнату опять заглянул телеграфист с толстым дачником.

— Теперь, если она, стерва этакая, и придет, то пусть провалится к черту,— яростно сказал телеграфист.— Мне через полчаса после поезда становиться на работу.

— Поезд в шесть двадцать не отойдет,— заметил толстый дачник, по-прежнему что-то жевавший.— Графиня прислала нарочного, просит подождать ее с четверть часика...

— Ну, это дудки, будь там она хоть разграфиня,— сказал расстроенный телеграфист.— Нет, конечно, надула, я так и знал!

— Придет, придет,— ответил, тяжело дыша, дачник, и опять оба исчезли. Разговор в комнате для проезжающих возобновился не сразу.

— Странно, как мы с вами разговорились,— сказала миниатюрная барышня. Ей было неловко и грустно. Он, напротив, не находил ничего странного в том, что они разговорились, и, по-видимому, не слишком сожалел, что сейчас, верно, навсегда, ее покинет. «Надо бы *все-таки* спросить его адрес»,— подумала она и сказала:

— Какие чудесные цветы здесь в саду. И все так бесцеремонно их рвут, я сама видела.

— Это шотландские розы, махровые, их здесь везде пропасть. Хотите, я вам сорву на́ память,— ответил молодой человек и, опершись рукой о подоконник, легко перескочил в садик. Он сорвал там розу и вернулся к окну.

— Спасибо... Послушайте, вы это серьезно насчет Балкан?

— Очень серьезно. Хочу быть, как «Бейрон»! — сказал он, смеясь.— Помните у Рылеева «На смерть Бейрона»:

Царица гордая морей!
Гордись не силою гигантской,
Но прочной славою гражданской
И доблестью своих детей.
Царящий ум, светило века,
Твой сын, твой друг и твой поэт,
Увянул Бейрон в цвете лет
В святой борьбе за вольность грека.

— А вы хорошо читаете.

— Плохие стишки, хотя написал большой человек... Но если поезда для этой графини не задержат, то мне сейчас ехать. Разрешите проститься с вами. Поговорили, царя побранили, все в порядке,— сказал он, и его веселый тон неприятно ее задел.— Вам еще больше часа ждать. Вы в комнате останетесь? Уже не так жарко.

— У меня тяжелый чемодан, не стоит его переносить.

— Чемодан — это пустое, я сейчас перенесу на перрон,— сказал он и, не дожидаясь ответа, с той же легкостью перескочил назад через окно. Без малейшего усилия он поднял ее чемодан правой рукой, взял в левую свой мешок и ухитрился отворить перед ней дверь. На перроне они столкнулись с толстым дачником и телеграфистом. С ними была огромная дама в разноцветном наряде, с лорнетом.

— Ах, нет, я так вам и сказала: *около* шести, уж это вы напрасно. Кто же, скажите пожалуйста, приходит за час до поезда? — жеманясь говорила дама и отвела от глаз лорнет, чтобы получше разглядеть стриженую. Толстый дачник прощался.— Да нет же, не уходите, Осип Иванович, вы нисколько не мешаете, по крайней мере *мне*.

— Не могу, у меня нынче к ужину уха! Не разогревать же.

— Дарья Степановна, у них к ужину уха, он мне еще раньше объявил.

— Как можно в такую погоду! Я и зимой почти ничего не ем, а теперь, хоть убей меня, я не прикоснулась бы к ухе! — кокетничала Дарья Степановна, снова поднося лорнет к глазам.

— Нет, я прикоснусь.

— Хоть бы поезда, право, подождали.

— А что мне в поезде? Я никуда не уезжаю.

Вдали уже показался извивавшийся дымок. Молодой человек довел барышню до скамейки, на которой теперь освободились места, положил ее чемодан и весело сказал, что, верно, они скоро опять встретятся.

— Где и как, не знаю, но вот увидите! — сказал он и, пожав ей руку, пошел навстречу замедлившему ход поезду.

Снова прогремел звонок. По перрону тяжело бежала старушка, изнемогая под тяжестью мешка. Молодой человек что-то ей сказал и подхватил ее мешок. Она бежала рядом с ним, еле поспевая за его большими шагами, благодаря его и подозрительно на него поглядывая. Миниатюрная барышня смотрела им вслед.

Поезд, шипя, остановился. Молодой человек еще на ходу очень ловко отворил дверцы первого зеленого вагона. Как только из него вышли пассажиры, он бросил на площадку мешки, подсадил старушку и вскочил за ней в вагон. «Больше никогда его не увижу»,— подумала миниатюрная барышня. Перед синими вагонами взволнованно толпились дачники. Поезд стоял на станции несколько минут. «Выйдет он еще или не выйдет? Должно быть, теперь устроился рядом со старушкой и с ней разговаривает так же уютно и весело, а о моем существовании думать забыл. Да, легкий человек... Но чего же я, собственно, хотела?» — с приятной грустью думала барышня, прислушиваясь к медленно замиравшему грохоту третьего звонка. Поезд дрогнул, отшатнулся и отошел. Она невольно проводила взглядом зеленый вагон. Молодой человек в окне не показался.

Перрон пустел. Дачники медленно расходились. Лишь немногие фанатики развлечений остались ждать второго поезда. На другом конце скамейки разговаривали телеграфист и Дарья Степановна.

— Юзы, Дарь Степанна, пропускают до тридцати слов в минуту, а Морзы не более пятнадцати. Зато Морзы много проще. В Юзе, Дарь Степанна, все основано на синхроническом вращении диска и бруска...

— Ах, как интересно! — рассеянно говорила Дарья Степановна, глядя поверх лорнета на фарфоровые чашки телеграфного столба.— Однако я не вижу, чтобы телеграммы пролетали по проволоке. Или сейчас телеграф не работает?

— Нет, Дарь Степанна, вы не так поняли,— сказал, вздохнув, телеграфист.— Папироску не прикажете ль?

— Что вы! Избави Бог! Я только пахитоски курю и как на беду забыла дома... А то дайте, если у вас «Огонек»,— сказала Дарья Степановна.

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

Трилогия М. А. Алданова «Ключ», «Бегство», «Пещера» занимает важное место в прозе русского зарубежья 1920—1930 годов. Замысел «Ключа» возник у писателя в период работы над романом «Чертов мост»: 25 декабря 1923 г. в парижской газете «Дни» был напечатан первый отрывок. Об этой публикации сочувственно отозвался И. А. Бунин, но вплотную Алданов взялся за работу над романом на современную тему лишь летом 1927 г., окончив «Заговор». Возможно, замысел романа о «канунах» сформировался под воздействием А Н. Толстого: оба писателя совместно редактировали первый толстый журнал русской эмиграции «Грядущая Россия», в нем была начата публикация «Сестер». Подобно А. Н. Толстому, не предполагавшему тогда, что «Сестры» станут первой книгой трилогии «Хождение по мукам», Алданов, создавая «Ключ», тоже не собирался писать продолжения, а заканчивая «Бегство», не замышлял «Пещеру». Хотя каждый роман задумывался самостоятельно, трилогия Алданова отличается цельностью и внутренним единством. Сравнивая ее с «Хождением по мукам», исследователь «русской литературы в изгнании» Г. П Струве решительно отдавал предпочтение трилогии Алданова, находил в ней больший историзм, объективность и глубину. Работа Алданова над трилогией завершилась в начале 1935 г., 20 января 1935 г. писатель сообщил В. Н. Муромцевой-Буниной, что заканчивает «Пещеру» на днях.

Критиками было замечено: Алданова в истории больше привлекают люди, чем события, его постоянная тема — воздействие событий на характеры. Персонажи трилогии отражаются в трех зеркалах. В канун Февральской революции они еще не жертвы истории, но, сконцентрированные на самих себе, уже обречены, исторический поток начинает их захлестывать («Ключ»). Грандиозные события 1917—1918 годов вовлекают каждого в свой водоворот, в далеких от политики людях пробуждаются черты общественных деятелей («Бегство»). Оказавшись в эмиграции, герои трилогии снова уходят во внутреннюю жизнь, оторванные от родины, страдают, тяготятся бесцельностью бытия («Пещера»).

Ироничная интонация, характерная для начала повествования, постепенно отступает, начинает преобладать сочувствие. Алданов сам был одним из тех, кто лишился состояния в результате революции, вынужден был бежать за границу, жизнь его раскололась надвое. Но он и не помышлял о плакатной задаче возвеличить в романах белое движение и осудить революцию. Писателю была свойственна беспристрастность ученого, слишком сильно было в нем скептическое начало, чтобы однозначно принять ту или иную сторону: «Неясно и не бесспорно, что такое зло...» («Пещера»). Трилогия создавалась в годы «великого перелома» в СССР, кровавой коллективизации и первых показательных процессов, в Германии пришел к власти Гитлер, в Ита-

лии усиливался террор Муссолини. Развитие событий подводило Алданова к трагическому выводу, что человечество движется назад, «черт на пути ко всемогуществу». Очень характерно, что в «Бегстве» наиболее лояльный к революции Николай Яценко становится ее жертвой, а те, кто участвовал в заговоре против нее, спасаются. Возникает алдановский мотив иронии судьбы, тщетности попыток воздействовать на события: все решает случай.

В трилогии писатель развивал свой взгляд на человеческую природу, противопоставляя две жизненные позиции, два типа — людей действия и людей аналитического ума. Он отдавал должное первым, подчеркивая в них целеустремленность, своеобразное обаяние, но Кременецкий, дон Педро, Загряцкий, при всей разнице их возрастов, социального положения, одинаково пошловаты. Симпатии автора на стороне другого типа — идеалистов, интеллигентов-острословов типа, восходящего к Пьеру Ламору из «Девятого термидора». Браун, Федосьев, отчасти Горенский, также при всех их различиях представлены особого свойства резонерами. Исторические катаклизмы, выпавшие на их долю, заставляют их задумываться над «вечными» вопросами, однако в отличие от героев Достоевского и Толстого их больше, чем бессмертие души, волнует преемственность культуры (внимание В. В. Набокова привлекла сцена в «Пещере», когда скептик Браун перед самоубийством ищет в словаре статью «Бессмертие» — о бессмертии герой, по-видимому, задумался впервые). Персонажи Алданова, как он сам, опираются только на факты, которые они могут доказать и проверить умом, но совершенная трезвость взгляда, отказ от «возвышающего обмана» в конечном счете, свидетельствует автор, приводят к нравственной пустоте, даже к гибели. Алданов считал отличительной чертой русской классики XIX в. традицию «беспощадной правдивости» [1] и стремился ей следовать.

Сопоставляя два типа героев, Алданов сравнивает, кроме того, модели поведения мужчин и женщин. Рельефны его Муся, которая проходит путь от восторженной романтической девицы до искушенной светской дамы, Тамара Матвеевна, скромная, преданная жена (этот образ часто варьируется у Алданова, не без умысла писатель дал этой героине, а позднее в «Самоубийстве» Татьяне Михайловне Ласточкиной, инициалы собственной жены), Ксения Карловна Карова, похожая на Любовь Яровую, нарисованную ироничным писателем-эмигрантом.

В. Вейдле назвал «Бегство» умной, трезвой и горькой книгой. Характеристика эта по праву может быть распространена на трилогию в целом. Трилогия многими нитями связана с русским романом XIX в. Из него заимствованы отдельные сюжетные мотивы, к нему восходят реминисценции. Внутрилитературность, однако, не свидетельство слабости таланта писателя, а осознанная эстетическая позиция. Размышляя о прогрессе, о нравственности, сталкивая героику и будни, анализируя поведение человека перед лицом смерти, Алданов, по существу, остается в кругу традиционных тем, но главный его мотив подсказан опытом эмигранта: бессилие человека перед историческим потоком, тщетность исторического деяния.

Этот горький мотив контрастирует с внешней легкостью занимательного повествования. Уголовное начало в романе «Ключ», описание политического заговора в «Бегстве» приковывают читательское внимание. Та же роль отведена вставной исторической новелле, восходящей к шиллеровскому «Валленштейну» в «Пещере», но Алданов не достиг здесь органической ее связи с сюжетом романа. Г. Газданов

---

[1] М. А. Алданов. О новой книге Бунина. «Последние новости», Париж, 1929, 18 июля.

заметил, что подлинный безотрадный смысл алдановских произведений остается недоступным среднему читателю, который следит преимущественно за интригой: «Автор пишет одно, читатель понимает другое» [1].

Работая над трилогией, Алданов одновременно публиковал очерки о событиях и людях революционной эпохи. Эти очерки — «Картины Октябрьской революции», «Взрыв в Леонтьевском переулке», «Убийство Урицкого», «Клемансо», «Ллойд-Джордж» — своеобразная документация, научный аппарат к художественной прозе. Очерк «Вопрос № 66» [2] лег в основу эпизода второй части «Пещеры» (глава XXII). Вставной новелле «Деверу» соответствует очерк «Гороскоп Валленштейна».

До трилогии Алданов имел репутацию крупного исторического прозаика, теперь он был признан и мастером современной темы.

Основные рецензии на трилогию были напечатаны в журнале «Современные записки»: на «Ключ» рецензия М. О. Цетлина в № 41, 1930, на «Бегство» рецензия В. В. Вейдле в № 48, 1932, на «Пещеру» рецензия В. В. Набокова в № 61, 1936. Подробный разбор трех романов см. в кн.: C. Nicholas Lee. The Novels of M. A. Aldanov. The Hague-Paris, 1969.

«Ключ» печатался в журнале «Современные записки» в №№ 35—36, 1928, и 38—40, 1929. «Бегство» в №№ 43—44, 1930, 45—46, 1931. «Пещера» в №№ 50, 1932, 51, 1933, 54—57, 1934. Первые отдельные издания в Берлине: «Ключ» — 1930, «Бегство» — 1932, «Пещера», ч. I—1934, ч. II—1936. В 1955 году к предстоящему юбилею Алданова «Ключ» был выпущен Издательством им. Чехова, Нью-Йорк.

Андрей Чернышев

---

1 «Русские записки», Париж, 1938, № 10, с. 195.

2 «Последние новости», 1934, 24, 25 февраля, 6 марта.

СОДЕРЖАНИЕ

Марк Александрович АЛДАНОВ
Собрание сочинений
в шести томах
Том IV
Редактор тома
Н. А. Крылова
Оформление художника
Ю. К. Бажанова
Технический редактор
В. Н. Веселовская

ИБ 2469

Сдано в набор 27.12.90. Подписано к печати 19.04.91.
Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл печ. л. 30,66. Усл. кр-отт. 31,50. Уч.-изд. л. 34,99.
Тираж 760 000 экз. Заказ № 27 Цена 4 р. 00 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда».
125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Индекс 71201